АЛЕКСАНДР ЯШИН

ЗЕМЛЯКИ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ



АЛЕКСАНДР ЯШИН

ЗЕМЛЯКИ

ПОВЕСТИ
●
РАССКАЗЫ
●
МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ
●
ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989

ББК84Р7
Я96

Составители — *Попова-Яшина З. К.*
и *Попова-Яшина Н. А.*

Рецензент *Г. Гусев*

Яшин А. Я.
Я96 Земляки: Повести, рассказы, из дневника п…
Предисл. В. Солоухина. Худож. В. Шорц.— М.:
менник, 1989.— 590 с.
ISBN 5-270-00444-5

Настоящий сборник — наиболее полное издание прозы талантливого ру… писателя Александра Яшина (1913—1968). Многие из вошедших в книгу … и рассказов ранее не публиковались или были изданы лишь в период… изданиях.

Творчество А. Яшина отличает большая правда о нашей жизни в сороковые пятидесятые годы, жизни во многом трудной, горькой, противоречивой.

Я $\frac{4702010200-112}{М106(03)-89}$ 103 — 89 ББК84Р7

ISBN 5-270-00444-5

ДОРОГОЙ СОВЕСТИ К ПРАВДЕ...

Поэт, писатель, вообще художник формируется под воздействием нескольких сил. Во-первых, надо назвать обстановку, в которой проходит детство, а потом и юность художника. Для одного это большой город, троллейбусы, кинотеатры, городские дворы, скверы, парки, дворцы пионеров, многоэтажные дома, асфальт, камень... Для другого — природа, небольшая деревенька, река, лес, корова, птичьи гнезда, лошади, поля, крестьянские полевые работы, изба, сеновал, керосиновая лампа, удочки, пилка дров, горячая печка после катания на салазках...

Понятно, что два писателя, выросшие в столь разных условиях, будут писать по-разному.

Второй формирующей силой надо признать народ, к которому писатель принадлежит, из недр которого вышел. Бальзака не спутаешь с Тургеневым, Диккенса со Львом Толстым. Строго говоря, и родная природа, и народ формируют писателя, художника, дабы он потом, сформировавшись, изображал их в своих произведениях, рассказывал о них, воспевал их.

Сказки, песни, предметы быта, характеры людей, обычаи, обряды, праздники, игры, весь жизненный уклад у испанцев, скажем, один, у норвежцев второй, а у русских третий. Затем идут книги, любимые писатели, живописцы, история родины, ее города, архитектура, музыка, славные имена, деяния, подвиги — одним словом, все, что составляет понятия «народ» и «родина».

Третья внешняя сила — время, в которое художник живет и творит. Каждый художник, о чем бы он ни писал, так или иначе рассказывает о своем времени.

Замечательный писатель Александр Яшин (поэт и прозаик) родился и вырос в вологодской деревне, вышел из недр русского народа, жил и творил в советское время. Эти три обстоятельства определяют Яшина как писателя, его творческое лицо.

Его биография внешне ничем, пожалуй, не примечательна. Родился в 1913 году в деревне Блудново во глубине Вологодской области. Не за тремя волоками, как напишет потом его ученик Василий Белов, но,

пожалуй, за семью, за пятнадцатью волоками. Ведь даже самолет (правда, двухкрылый) летит от Вологды до районного городка Никольска около двух часов. В «Вологодской свадьбе» читаешь, что А. Яшину потребовалось на дорогу от Москвы до Блуднова трое суток.

Дед писателя Михайло Попов был блудновским крестьянином, но, очевидно, не бедняком безлошадником (каковых, впрочем, водилось тогда один-два на деревню), но крестьянином справным, он своей деревне даже подарил школу. Правда, среди северных лесов, когда в каждых мужицких руках — умелый топор, а лес не считан, не мерен, срубить бревенчатое просторное помещение — не такая уж, наверно, была дороговизна, но тем не менее подарок есть подарок, и подарено не что-нибудь, а ведь школа.

Своего отца Якова Михайловича Попова писатель не помнит. Его взяли солдатом на войну 1914 года, и там он погиб.

Почему же все-таки «Яшин», а не «Попов»? Некоторые биографы объясняют это тем, что писатель хотел увековечить в своей новой фамилии имя погибшего отца. Думаю, что слишком сложное объяснение. Разве, нося фамилию отца, сын тем самым не увековечивает его память? Но слово «поп» и как производное от него «Попов» были не самые популярные слова в конце двадцатых, в начале тридцатых годов. Возможно, это был первый компромисс будущего писателя в отношениях со временем, который продолжался потом почти четверть века.

Итак, внешне биография Александра Яковлевича Попова (теперь уж Яшина) не сложна. Он начинает писать стихи, печатается в районной газете «Никольский коммунар», в газетах Великого Устюга — «Ленинская смена», «Советская мысль», «Северные огни», а также в московском журнале «Колхозник». Сами названия этих печатных органов, если в них вдуматься, определяли характер стихов начинающего деревенского поэта.

Можно ли вообразить себе стихи Есенина (а тем более Блока, Гумилева, Ахматовой), опубликованными в газете «Никольский коммунар»? А. Яшин оканчивает Никольский педтехникум, некоторое время работает учителем, но его стихи уже замечены, и когда в Вологде создается оргкомитет Союза советских писателей (перед предстоящим учредительным съездом СП СССР), то Яшин становится его председателем, а затем и делегатом всесоюзного съезда. Ему в это время 21 год.

И вот там, где доклад делает Горький, а в зале (или в президиуме) сидят Леонид Леонов и Пастернак, Тихонов и Всеволод Иванов, Серафимович и Шолохов, Федин и Паустовский, Пришвин и Катаев (не будем перечислять), оказался и вологодский паренек, как написал бы М. Булгаков, рыжеватый, с бойкими зелеными глазами.

Делегат Первого съезда СП СССР! Тогда это значило очень много.

На свой Север Яшин уже не вернулся (хотя и ездил туда не ежегодно ли, потому что жить без своей деревни не мог). Дальше — Литературный институт, война, московская квартира, выходящие одна за другой книги стихов и, наконец, Сталинская (теперь Государственная) премия за поэму «Алена Фомина».

Это была высшая точка, так сказать, официального взлета поэта А. Яшина и низшая точка на его творческой синусоиде. После этой точки начался настоящий подъем, настоящий взлет, который, к великому огорчению и сожалению, не успел закончиться полностью, потому что его оборвала преждевременная смерть. После этой, упомянутой нами точки родился, укрепился и сформировался замечательный русский писатель — Александр Яшин.

Если я говорю про поэму «Алена Фомина» как про низшую точку на творческой синусоиде А. Яшина, я не хочу сказать тем самым, что она была плохо, слабо написана. Писать стихи Яшин умел всегда... «Нехудожественность этой поэмы» заключена в другом. Когда-то пишущий эти строки побывал в Вологодской области в журналистской командировке и столкнулся со следующим явлением. Там у них была передовая показательная свинарка Люскова, знаменитая на всю страну, депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда, почетный академик и т. д. и т. п.

Я действительно увидел образцовое свиноводческое хозяйство там, в вологодской глуши. Без белого халата меня даже не пустили в свинарник. Девушки суетились там все как одна тоже в белых халатах, не то лаборантки, не то ассистентки. А между тем это был единственный на всю область крохотный островок, оазис в океане полного развала сельского хозяйства. Сараи без крыш (солома скормлена скоту), коровы, стоящие по брюхо в навозной жиже, телята, подыхающие с голоду и облепленные мухами, коровы, подвешенные на веревках, ибо не могли уже стоять... «Да что же это за гений такой,— подумалось мне тогда,— эта Люскова, что сумела среди этакой черноты и разрухи создать свой белоснежный оазис?» Но тогда же я и догадался, что это не она все создала, а ее создали, одну на всю область, чтобы пустить пыль в глаза. Хозяйство это создавалось сверху, как образец. Потом это стало называться показухой и очковтирательством. Я потому так подробно остановился на свинарке Люсковой, что поэма Яшина и воспевала такую вот Люскову, хотя она и называлась Аленой Фоминой.

Сама задача воспеть единичный случай, а не рассказать об общем состоянии деревни, о земледелии и положении вологодских крестьян-колхозников, сама эта задача была антихудожественна и антинародна. А стих, что ж... стих сам по себе мог быть и хорошим. Потом Яшин напишет повесть «Выскочка», где как русский писатель-реалист расскажет правду об этой свинарке.

Да, стих мог быть и хорошим. Ну, скажем, так:

Никогда так низко не свисали
Наливные яблоки в саду.
В жизнь свою так парни не плясали,
Как плясали в нынешнем году.

Казалось бы, чем плохое четверостишие? Но когда мы увидим, что оно помечено 1937 годом, то мы вправе над ним задуматься. Вернее, не над ним, а над гражданской, социальной позицией их автора.

Сам А. Яшин пишущему эти строки рассказывал: «Получил я премию за «Алену Фомину» (он впоследствии никогда не переиздавал этой поэмы.— В. С.), купил «Победу» и поехал к своим землякам-вологодцам хвастаться. Собирать дань славы. Приехал, а там голод... До сих пор как вспомню, так и краснею».

В том-то все и дело, что он сохранил способность краснеть.

Начало его биографии, его «вход» в литературу связан не с ослепительным блеском литературного успеха, а с обстоятельствами. Ведь он в свои двадцать лет не написал «Тихого Дона», подобно Шолохову, или «Страны Муравии», подобно Твардовскому. Но... Есенин уже ушел. Гумилев и Блок — ушли, Бунин и Куприн (каждый по-своему) — ушли. Надо было показать, «что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» советская земля рождать. А. Яшина на первых порах породили не его собственные стихи, но обстоятельства. Я не хочу останавливаться, а тем более выписывать строки и строфы из его ранних стихов; читатель, если захочет, может сам обратиться к ранним книгам поэта и поймет, что я хотел тут сказать.

Конечно, спору нет, Яшин родился с большим литературным талантом, если бы это было не так, не получилось бы в конце концов того замечательного писателя и поэта Яшина, каким мы его знаем теперь. Но время было такое, что одного литературного таланта могло не хватить. Машина, создававшая из талантливого вологодского юноши нужного ей поэта, дала осечку. Обтесав его со всех сторон, как нужно, она, не сумев добраться, оставила ему совесть. Способность краснеть. Это-то обстоятельство, наложившись на врожденный талант, и породило потом Александра Яшина.

Внешне, если сопоставлять даты, пробуждение совести и гражданского, сыновнего по отношению к родному народу, истинно патриотического самосознания произошло в первой половине пятидесятых годов, после известных всему миру событий. Но не хотелось бы думать, что это так. Хотелось бы думать, что этот процесс был более постепенным и продолжительным, а известные события пятидесятых годов послужили последней каплей в уже полной чаше, той крупицей вещества, которое вызывает быструю кристаллизацию. Спелое яблоко падает мгновенно, но созревало оно перед этим постепенно и долго.

Первая ласточка «нового» Яшина был рассказ «Рычаги», появившийся в альманахе «Литературная Москва» в 1956 году. Нелепо (да и возможно ли) излагать содержание рассказа объемом в десять машинописных страничек, но трудно и передать тем, кто не помнит того времени, какое впечатление произвел тогда этот рассказ. Он произвел впечатление разорвавшейся бомбы и вызвал изумление, недоумение, озлобление, открытое негодование, восхищение и полный восторг. Эти десять страничек не потеряли своей первозданной свежести, своей драгоценности и сегодня. «Рычаги» вместе с романом Дудинцева «Не хлебом единым», с очерком Ф. Абрамова «Вокруг да около» явились знамением времени, это было то попадание в «яблочко», после которого в тире мельница начинает крутиться, медведь заваливается на бок, утка падает...

Выстраданный, проникновенный, несущий огромный обобщающий момент, написанный в лучших традициях русской классической литературы, хотя и незатейливый на первый взгляд, этот рассказ вызвал яростный огонь критики. На Яшина наклеили ярлык «очернителя». «Снимите черные очки!» — кричали ему заголовки критических газет. Но очки не были черными, просто он снял розовые очки и увидел действительность, как поется в песне, «при ярком свете дня». А еще вернее, просто упала повязка с глаз.

Литературная жизнь А. Яшина складывалась так, что к критике (не просто к литературной критике, но к критике «сверху») он не привык. Она привела его в недоумение и замешательство, а если учесть его повышенную ранимость, то можно вообразить, каким для него это было ударом. Однако, к чести А. Яшина, нужно сказать, что, встав однажды на свой новый путь, он с него уже не сворачивал до конца жизни.

В это время меняется тональность и глубина стихов А. Яшина. Он заговорил совсем другим голосом.

Эти заметки предваряют книгу яшинской прозы, поэтому здесь не место распространяться о его поэзии, но пусть читатель сам возьмет и ранние и поздние книги стихов А. Яшина и сам во всем убедится. Даже уже названия ранних и поздних сборников говорят очень много. Сравним хотя бы несколько названий первого и второго ряда. «Песни северу», «Земля богатырей», «Советский человек», «Свежий хлеб», а потом «Бессонница», «Совесть», «Лирическое беспокойство», «Босиком по земле», «День творенья». От гармоней, разукрашенных зеркалами, от залихватских плясок парней под эти гармони, от безоблачных (а на самом деле — призрачных) деревенских колхозных идиллий творчество Яшина совершило эволюцию в сторону истинной любви к своему вологодскому северу и к людям, его населяющим.

Едва-едва начали затихать круги на воде брошенного в омут рассказика «Рычаги», едва-едва поутихла критика и стало Яшину как-то поспокойнее жить, как он бухнул в воду другой камень, и назывался

он «Вологодская свадьба». С точки зрения традиций русской литературы это был хороший, добротный, бытовой, этнографический очерк. Ну, правда, реалистический, правдивый. Но когда же русская литература была неправдивой? Гоголь и Тургенев, Глеб Успенский и Короленко, Куприн и Чехов... «Антон Горемыка», «Подлиповцы», «Сон Макара», «Записки охотника», «Сахалин», вся публицистическая и очерковая литература девятнадцатого века.

Наследуя эту традицию, Яшин и написал свою «Вологодскую свадьбу». И боже мой, что же тут началось! Ведь законы литературы того времени предписывали изображать действительность не такой, какая она на самом деле, а такой, какой она должна была быть, какой ее хотело бы видеть руководство того времени.

Ладно, если бы просто пресса, статьи в центральных газетах, но возмездие оказалось более изощренным. Местные вологодские власти организовали (теперь это доподлинно известно) так называемые письма земляков, заставляли людей ставить свои подписи под этими сфабрикованными письмами, и письма эти посылались в центральные газеты, а копии, естественно, самому Яшину. Яшин — очернитель, Яшин — клеветник, он исказил нашу светлую, счастливую, культурную жизнь — вот основные мотивы и основная тональность этих писем. Конечно же, Яшину, любящему свою родную землю и своих земляков так, как никому и не снилось их любить, эти письма с десятками подписей были обиднее и больнее, нежели статьи записных московских критиков-профессионалов.

Когда сейчас перечитываешь «Вологодскую свадьбу», возникает легкое недоумение: за что, почему вдруг такая яростная реакция? Ну, подумаешь, разучились петь старинные свадебные песни, волокнистые, как их называет одна старушка; ну, подумаешь, жених приехал за невестой на самосвале (раньше тройки с бубенцами и в лентах); ну, подумаешь, жених, напившись вусмерть (раньше жених и невеста только пригубливали), кричал всем, что он — Чапай; ну, подумаешь, один старик, захмелев, подходил к каждому и, вынимая вставную челюсть, хвастался, какая у него прекрасная вставная челюсть... Все как будто бы — безобидная мелочь...

Дело в другом. Официальную критику, а сказать точнее — официальные инстанции напугал подлинный, в традициях настоящей русской литературы реализм этого очерка. Этим очерком послушная до сего времени литература, вместе с упомянутыми уже романом Дудинцева «Не хлебом единым», с очерком Федора Абрамова «Вокруг да около», с теми же яшинскими «Рычагами», сворачивала с пути синтетической лжи в сторону ржаного хлеба правды. Этого допустить было нельзя. Но не допустить этого тоже было уже нельзя. Процесс начался, процесс продолжается. Не забудем же, что у истоков этого процесса стоял замечательный русский писатель Александр Яшин.

Александр Яшин скончался, как пишется в некрологах, от продолжительной тяжелой болезни летом 1968 года. Значит, если мерить от «Рычагов», ему на свой новый путь, на новую «раскрутку» своего литературного дарования было отпущено двенадцать-тринадцать лет. С одной стороны, не так уж и мало. Но так как этот новый путь лежал главным образом через прозу (хотя повторю, что как поэт Яшин в эти годы заговорил совсем другим голосом и написал много прекрасных стихотворений), а проза требует времени и времени, то, когда Яшин ушел, у всех осталось ощущение, что он ушел на самом своем подъеме, на взлете, что он к своим пятидесяти пяти годам не обозначил еще своего литературного «потолка», что он ушел не договоря, что болезнь его сбила влет.

Поэтому особенно горька эта утрата, поэтому с особенным вниманием вчитываемся мы в каждую яшинскую последнюю, предпоследнюю строку, в последний рассказ, в последнюю повесть. Мы как бы стараемся угадать, а чем бы еще одарил нас А. Яшин, проживи он подольше. Ведь его путь — был путь к правде, и этот путь резко набрал крутизну.

В письме своему ученику и, я бы сказал, воспитаннику, замечательному русскому писателю Василию Белову, Яшин завещал похоронить его на родине, около деревни Блудново, на Бобришном угоре, над рекой Юг, в сосновом бору.

Там он и лежит, человек, чье сердце после заскорузлых десятилетий открылось добру, свету и правде. Уже нет организованных «писем земляков», есть, напротив, ежегодный литературный праздник А. Яшина на Бобришном угоре, есть улица имени Яшина в Вологде, есть улица его имени и в Никольске, есть даже пионерский лагерь имени Яшина. Все встает на свои места. Осталось его литературное наследие. Многое из него впервые включается в эту книгу, многое ждет публикации, например дневники. Нет только самого человека, которому сейчас, когда я пишу эти строки, исполнилось бы семьдесят пять лет. Нет человека одаренного, острого, колючего, доброго, правдоискателя и правдолюба, человека крайне ранимого, человека... Хотел сказать беззаветно любящего свою землю и свой народ, но потом подумал, что частица чего-либо не может любить то целое, частицей чего она является. Яшин был частицей родной земли и народа.

Сколько-то лет тому назад меня остановила на улице одна общая наша знакомая.

— Вы знаете, у сына Яшина родился сын и его назвали Александром. Теперь будет на свете еще один, новый Александр Яшин.

Я вспомнил своего друга. Как в кино, прокрутилась у меня в мозгу и его Вологодчина, и коллективизация, и колхозы, и война, и послевоенная и современная российская наша деревня, все боли, все горести: все,

подчас, бессилие что-либо сделать, чем-либо помочь, весь его характер, все его человеческие качества, сформировавшиеся под воздействием тех трех изначальных слагаемых, о которых писалось на первой странице этих заметок, и я подумал: «Нет, нет. Никакие, ни земные, ни космические силы не создадут еще одного Александра Яшина!»

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

ПОВЕСТИ





В ГОСТЯХ У СЫНА



день приезда матери Никита Петрович не явился на службу, сообщив в главк, что с утра отправляется на объект. О настоящей причине его отлучки знал только начальник главка Викентий Федорович. Он же дал Никите Петровичу ЗИМ — не на «Победе» же встречать старушку, тем более что она приезжает к сыну в первый раз.

Матрена Савельевна давно была не прочь побывать у своего старшего сына Микитушки, да все как-то не удавалось: то семья не позволяла — надо было всех выходить, вытянуть, поставить на ноги, то война мешала, то колхоз не отпускал, боялись давать паспорт на руки — хоть и старая, а ведь может не вернуться, как со многими случалось.

Когда же Матрена Савельевна осталась почти одна, вдруг выяснилось, что сам-то Микитушка никогда особенно не надоедал ей просьбами и приглашениями в гости. И поехала бы, да не зовет.

Затосковала Матрена Савельевна: жизнь, казалось, подходит к концу — старика ее, Петрована, задавило сушиной на лесозаготовках; двое сынов не вернулось с войны; третий вернулся, но сразу ушел в приемки в соседнюю деревню; старшая дочка вышла замуж; младшая, последняя, привела себе муженька на дом и все хозяйство взяла в свои руки. Что оставалось Матрене Савельевне? Детишек младшей дочке бог не давал, и бабушке, не очень здоровой, при зяте доверены были только корова да куры с петухом во главе. Выходить на колхозную работу ее уже не заставляли, а по своей воле не очень хотелось, корысти не было да и зять запрещал.

Вот когда бы поехать Матрене Савельевне к своему удачливому сыну, посмотреть на большую городскую жизнь. Каких только рассказов не доходило о нем — все-таки один такой из всей деревни вышел, до Москвы допер, в министерстве работает — и это ее сынок, Микитушка!

А вот не зовет!

Раньше думала — недосуг и утешалась тем, что ничего,

мол, от нее не уйдет, когда сможет, тогда и поедет, было бы только желание... И вдруг поди ж ты...

На похороны Петрова́на, отца своего, Микита пожаловал, пожил с недельку, посмотрел еще разок на деревенское житье-бытье и с тех пор не показывается — не приглянулось, видно. Деньги матери посылает чуть не каждый месяц и письма пишет, а к себе не зовет.

Ну, не зовет, значит, так и надо. Значит, нельзя иначе.

Матрена Савельевна и тем уже была довольна, что про ее сынка по всему району хорошая слава шла. И когда соседки начинали уговаривать — что ж ты, дескать, в Москву не едешь, пожила бы месяц-другой, хоть принарядилась бы! — она отнекивалась:

— Куда уж мне, старой. Боюсь от коровы отстать, от печки-лежанки отвыкнуть.

— А требует ли хоть?

— Требует! В каждом письме пишет: приезжай, говорит, помрешь около меня, уж я тебя не оставлю.

А Никита Петрович долго не звал мать к себе не потому, что забыл о ней или не любил ее. Он умело и довольно скоро продвигался по служебной лестнице и, упоенный успехами, не раз мечтал о том, как привезет к себе родную мать и даст ей все, чего бы ее душенька ни пожелала: смотри, мама, какие мы стали ныне!

Но ему все казалось, что время для этого еще не наступило. Сначала надо закрепиться в главке! — думал он. Потом потребовалось обзавестись квартирой. Еще до брака родился сын — надо было срочно оформлять брак, чтобы не получить нагоняй по партийной линии. Появилась квартира — захотелось обставить ее как следует. А для этого нужны деньги да деньги. Сын рос — тоже расходы. Не до матери было. Если уж ее вызывать, так не к разбитому корыту, а чтобы показать товар лицом, чтобы старушка могла погордиться своим Никитой, чтобы у нее голова закружилась после деревенской жизни. Без серьезных издержек тут не обойтись.

Так шли год за годом. Благосостояние Никиты Петровича росло, но ему все чего-нибудь недоставало, чтобы встретить свою мать, как того она заслуживала.

Не мало средств унесла рижская мебель. Когда ее обнаружили в магазине, старая, своя, вдруг показалась такой неказистой, такой постыдно безвкусной, что супруги сон потеряли. А однажды жена, к несчастью, увлеклась чешским хрусталем. Это увлечение пришло в дом от каких-то

министерских подруг. Опять неизбежные, вынужденные расходы...

Но вот появился еще один ребенок, девочка. Затем еще один, третий,— опять девочка. О третьих родах жена Никиты Петровича, Алла Сергеевна, и думать не хотела. Она боялась, что это станет концом ее личной жизни, ее молодости. А личную жизнь Алла Сергеевна ценить умела. Но сделать ничего уже было нельзя, она опоздала, и третий ребенок, дочка Светлана, появился. Хозяйских забот по дому становилось все больше. Полагаться во всем на домработницу или няню Алла Сергеевна не могла, самой же заниматься только хозяйством и детьми не хотелось — это значило навсегда лишить себя личной жизни. В доме нужен был еще один свой человек. Алла Сергеевна попробовала залучить к себе младшую сестру, но та сдуру поступила в институт. Оставался один выход — бабушка.

Детям потребовалась бабушка.

Дети и впрямь стали время от времени поговаривать о том, почему у многих есть бабушки, а у них ее нет. Начал подумывать об этом и Никита Петрович. Но особенно остро почувствовала нужду в бабушке сама Алла Сергеевна, она же первая настойчиво стала напоминать мужу о его давней сыновней любви к своей матери.

— Зови ее к нам, Ника, да не в гости, а совсем. Ты давно об этом мечтаешь! Мы обязаны позаботиться о ее старости.

Матрена Савельевна не заставила долго себя ждать, собрала котомочку и пешком осилила волок до железной дороги, километров в сотню. На станции выстояла двадцатичасовую очередь за билетом, добрые люди составили телеграмму для сына, она послала ее, затем сутки просидела, не разгибаясь, в переполненном и душном бесплацкартном вагоне — и, наконец, вот она в Москве, впервые в жизни.

На вокзале Никита Петрович долго бегал вдоль поезда от вагона к вагону, прежде чем разглядел свою мать.

Бегал — это, конечно, неточно. Даже очень волнуясь перед предстоящей встречей и нервничая от того, что в этой сутолоке был риск совсем не встретить старушку, он все-таки ходил, а не бегал; правда, ходил крупным шагом, то и дело озираясь по сторонам, крутясь и неестественно вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше людей, но достоинства своего не терял и не забы-

вал, даже при этих необычных обстоятельствах, кто́ он таков есть.

— Прошу, прошу! — говорил он низким, полным спокойного превосходства голосом, раздвигая толпы обнимающихся и целующихся людей, и перед ним покорно расступались.

На Никите Петровиче было темно-серое габардиновое пальто-реглан, мягкая, такая же темно-серая заграничная шляпа, ярко-желтые чехословацкие, ни разу еще не чищенные ботинки; белый шелковый шарфик выскальзывал из-под пальто, и концы его развевались от быстрой ходьбы; Никита Петрович часто заправлял шарфик, но в спешке делал это не очень аккуратно, и шарф выбивался снова на грудь.

На вид Никите Петровичу было лет сорок пять; лицо свежее, чистое, здоровое; конечно — никаких усов, никакой бороды; на пышных висках проступала небольшая седина, но она не старила его, а красила. Если бы Никита Петрович держался менее строго, не так солидно ступал, говорил без нарочито замедленной важности, если бы в нем сохранилось побольше непосредственности, он, конечно бы, выглядел значительно моложе своих настоящих лет.

Матрена Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала, вернее, не сразу решилась узнать. В памяти ее и на фотоснимках он был гораздо проще, и моложе, и не такой красивый. Неужели этот высоченный, раза в полтора выше ее, обходительный и нарядный гражданин и есть ее Микитушка? Окликни его — а вдруг ошибешься, неловко ведь.

Матрена Савельевна как остановилась у фонарного столба, выйдя из вагона с мешком за плечами, так и стояла не двигаясь. Стояла, следила за Никитой Петровичем и гадала: он или не он?

Наконец сын увидел ее, остановился, узнал:

— Где ты, мама?

— Вот я, Микита Петрович, вот! — сорвавшимся голосом чуть слышно отозвалась старушка и сразу расплакалась, еще не успев ни обнять, ни поцеловать его.

Она была маленькая, как девочка, в суконном пальто, из-под которого виднелся подол старинного домотканого деревенского сарафана, напомнившего ему далекие родные места, бесконечные лесные волока, заливные сенокосы, милое буйное детство — полуголодное, неласковое, а все-таки всегда милое, милое. А лицо-то у мамы худенькое, все в морщинках, щеки-то впалые, а глаза-то печальные, испуганные и мокрые, всегда мокрые!

На какое-то время Никита Петрович забыл и о своем

шарфике, концы которого опять бились на груди, и о своем возрасте, о своем общественном положении и о том, что кругом люди, которые всегда на него смотрят. Он просто кинулся к маме, наклонился над ней, взял ее голову в свои руки, притиснул к груди, целовал ее в лоб, в ситцевый платочек, в мешок за спиной и ничего не говорил.

— Встаньте в сторонку, пожалуйста! — буркнул кто-то на ходу, кажется, носильщик.

Никита Петрович не услышал этих слов. Он прижал к своему лицу руку матери — грубую, шероховатую, словно с зазубринами, с тонкими костлявыми пальцами, руку, которая его много раз шлепала, била, трепала за вихры, но это была рука его матери.

— Простите, пожалуйста! — это опять носильщик, обвешанный чемоданами, узлами.

На этот раз Никита Петрович услышал, вскинулся обиженно, словно его посмели оскорбить, и... заправил концы шелкового шарфа за отвороты пальто.

— Ну пошли, мама. Как ты доехала? Устала, наверно? Сними свою котомку, давай ее сюда.

Он взял котомку и, небрежно размахивая ею, повел Матрену Савельевну к выходу в город, то и дело останавливаясь и привычно пропуская ее вперед.

— Нас ждет ЗИМ. Ты знаешь, что такое ЗИМ? А это здание видишь? Это небоскреб. У нас их зовут недоскребами... Как тебе нравится? Хорош дом, правда? Там гостиница. Ты знаешь, что такое гостиница?

Никита Петрович говорил беспрерывно, засыпа́л мать разными вопросами, не ожидая ответов на них, и она молчала, довольная, что можно слушать и ничего не говорить.

На стоянке автомашин их встретил шофер, услужливо подхватил у Никиты Петровича мешок, сказал Матрене Савельевне: «Здравствуйте, мамаша!» — и побежал вперед к сверкающему автомобилю.

— Кто это? — настороженно спросила Матрена Савельевна и заторопилась за ним.— Мешок-то...

— Не бойся, мама, это мой шофер! — успокоил ее сын.

Водитель открыл заднюю дверцу ЗИМа, в которой отразился, как в зеркале, шпиль высотной гостиницы.

— Пожалуйста, Матрена Савельевна!

«Ишь ты, имя мое знает!» — отметила про себя Матрена Савельевна и долго вытирала ноги об асфальт, прежде чем забраться в машину.

Никита Петрович сел впереди и приказал:

1120313

— Поездим по Москве. Давайте к университету, на Ленинские горы.

Они двинулись по Садовому кольцу.

На повороте Никита Петрович показал матери министерский дом, в котором он работает, пообещал, что как-нибудь при случае покатает ее на лифте и познакомит со своим кабинетом.

— Лифт есть и там, где я живу, но здесь особенный, непрерывно двигающийся, со множеством кабинок.

Матрену Савельевну очень пугал поток встречных автомашин, особенно когда они с остановок перед светофорами кидались сплошной лавиной прямо на них. Сын все время что-то рассказывал, просил посмотреть то направо, то налево, а она, вжимаясь в спинку сиденья, с ужасом ждала, что вот-вот произойдет столкновение, и шептала про себя: «О, господи!»

На Ленинских горах они вышли из автомобиля. Никита Петрович неизменно восхищался зданием университета, этим величественным творением ума и рабочих рук, и сейчас старался передать свое восхищение матери. Но Матрена Савельевна так измучилась, что уже ничего не воспринимала, ничему не удивлялась. Не удивилась она и тому, что шпиль университета оказался в облаках.

Никита Петрович помнил, что раньше в его деревне облако причислялось к явлениям божественным, старушки представляли облака в виде студня, и когда ранней весной находили кусочки священного студня в дождевых лужах (видимо, это была молодая лягушачья икра), то клали их в квашню, в хлебное тесто. Вспомнив об этом, он думал, что мать будет совершенно потрясена, убедившись, что облако — это почти то же, что туман, и что не всегда оно бывает на недостижимой высоте.

— Вот оно, облако, мама! Ты понимаешь, что дом выше облаков? — возбужденно спрашивал он.

Но Матрена Савельевна не была потрясена и этим.

— О, господи! — вздохнула она, задрав голову к небу, и заметно было, что она это говорит только потому, что надо же что-то ответить.

Не удивилась мать и Москве, которая проглядывалась с гор на десятки километров и все-таки не было у нее ни конца ни края.

Матрена Савельевна чувствовала себя как во сне, и все, что сейчас переживала, представлялось ей как бы ненастоящим, неправдоподобным.

А Никита Петрович решил, что этого еще мало, что она еще недостаточно обрадована и надо ей сразу показать как можно больше всего.

— На Красную площадь! — приказал он водителю.

На Красной площади мать не вышла из машины, а только боязливо смотрела сквозь стекла по сторонам и повторяла:

— О, господи!

Тогда Никита Петрович повез ее на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. По пути, на улице Горького, затащил в большой, знаменитый на всю Москву гастроном, чтобы поразить обилием еды. Мать не сопротивлялась, но и не выражала никаких чувств.

Он купил бутылку коньяку, банку икры, немного колбасы, колбасного сыру, несколько лимонов и, как чудо из чудес,— граммов двести сыру рокфор, с плесенью.

— Хорош сыр, мама!

На сельхозвыставке он таскал ее около часа от павильона к павильону среди фонтанов и золоченых скульптурных фигур под оглушающую музыку, летящую из всех видимых и невидимых репродукторов.

— Вот она какая Москва, смотри, мама. А здесь все тебе родное, колхозное, все свое и все на виду.

Матрена Савельевна уже не могла произнести ни слова. Ошеломленная наглядностью богатства колхозной жизни, устрашенная маршами, подавленная смертельной усталостью, безучастная ко всему, натыкалась она на людей и мечтала только об одном: как бы живой добраться до машины.

В ЗИМе она забилась в угол и, вздохнув, попросила тихо, жалостливо:

— Поедем уж к твоим-то, Микита Петрович.

— Какой я тебе Никита Петрович? — расхохотался довольный сын.— Я твой сын, Никита. Отвыкла, что ли?

— Ну ладно, Микита так Микита. Только ты уж не обижайся.

— Может, еще взглянуть на что-нибудь хочешь?

— Поедем к твоим-то.

В квартиру сына Матрена Савельевна ступила робко, как в большое учреждение.

— Неужто здесь и живешь, Микита? Теперь мне как?..— заволновалась она, когда машина остановилась перед подъездом многоэтажного нового дома.

— Чего — как? Познакомлю тебя со всеми, и все. Пошли!

Робость Матрены Савельевны росла по мере того, как они поднимались по широким ступенькам каменной лестницы к лифту, а потом на лифте — все выше и выше. Сердце ее совсем замерло, когда Никита Петрович остановился перед дверью с ящиком для корреспонденции и нажал белую кнопку звонка. Все для Матрены Савельевны здесь было незнакомо и непонятно, и чем непонятнее было все, тем она больше робела. Еще несколько минут назад сын казался человеком словно бы из чужого мира, а теперь не было никого ближе и надежнее его на всем белом свете, и она, как девочка, ухватилась за его рукав.

Но дверь открылась, надо входить, и мать переступила порог.

Чужая, непонятная, вроде старой барыни, женщина, открывшая дверь, бросилась ее обнимать:

— Здравствуй, мамочка! Раздевайся, пожалуйста.

На женщине был шелковый цветистый халат с какими-то невероятными по величине поблескивающими пуговицами.

«Сарафан-то какой!» — подумала Матрена Савельевна и ничего не ответила.

— Вот невестка твоя, мама,— Алла Сергеевна, моя жена! — сказал Никита Петрович и обнял их обеих сразу.— Знакомьтесь, привыкайте друг к другу.

«Невестка? Вот она какая? А ведь совсем на карточку свою не похожа»,— продолжала думать Матрена Савельевна.

В деревне у нее в сутнóм углу, около божницы, висел не один фотоснимок сына и его жены, но там Алла Сергеевна была и проще и не такая яркая. Правда, сын тоже ведь не похож на свою карточку.

В коридор из боковой двери вышли дети — девочка лет десяти, черноглазая, в коричневой школьной форме с черным фартуком, и другая, лет пяти, с озорной рожицей,— но, кажется, это был мальчик — в синих шерстяных штанишках на лямках, в мягких комнатных туфельках; за ними появился франтоватый молодой верзила в клетчатом костюме, в ботинках, плетенных в клетку,— весь клетчатый, но все-таки очень похожий на Микиту, на своего отца. Все трое молча выжидающе остановились и внимательно разглядывали гостью, папину маму — интересно!

Какие они все тоже непонятные и чужие. Вот в деревне выскочит на тебя сорванец, в соплях, рубаха навыпуск, лоб в синяках, босые ноги в ссадинах, и — откуда он, чей? — кто знает, а только все в нем насквозь видно, никаких тебе

секретов, и можно сказать заранее, что он проделает в следующий миг, о чем закричит, куда бросится сломя голову. Никаких клеток на нем, все открыто, все на виду.

А тут внуки, и вот поди ж ты...

— Это ваша бабушка, дети! — громко сказала Алла Сергеевна.

Матрена Савельевна, не зная, что надо делать — руку ли подать внукам или земно поклониться им,— смотрела на всех смущенно, словно просила прощения за то, что доводится им бабушкой, а сама думала, что ведь писали, будто у сына две девочки и один парень, а тут, кажись, два паренька и одна девочка.

Все непонятно, загадочно, необъяснимо!

Между тем Алла Сергеевна продолжала:

— Это, мама, Эвир, кончает десятый класс, осенью должен поступить в институт; это — Нина, окончила третий класс, учится только на пятерки; а Светлана еще не учится, но также будет отличницей, она у нас последыш.

«Последыш? Заскребыш, значит? — думает Матрена Савельевна.— Рановато ручаешься, матушка, не по-нашему, все еще может случиться».

— Да раздевайся же, мама! — подступил Никита Петрович и снял с нее черное суконное, почти не ношенное пальтишко, которое он сам когда-то — наверно, лет десять назад — привез ей в деревню.— Что ты будто онемела? Не робей, не к чужим приехала, а домой, к сыну своему.

— Проходи, мамочка, в столовую,— сказала ей Алла Сергеевна и приняла от шофера пакет с покупками.— Что это? — спросила она мужа.

— Вино и закуски по дороге купили,— ответил Никита Петрович.

— Зачем? У нас все приготовлено, все есть. Проходите в столовую.

Матрена Савельевна, еще не сказав ни слова, прошла за сыном в одну из комнат и опять про себя ахнула: «О, господи!»

В столовой она поначалу не увидела ничего — ни ковра на полу, ни картин на стенах, ни горки, полной хрусталя и слоников, ни телевизора — ничего, кроме круглого стола под люстрой, накрытого белоснежной скатертью и заставленного всякой едой и бутылками с вином.

— Садись, мама, за стол! — сказал Никита Петрович.— Теперь это будет твой дом.

Матрена Савельевна осторожно, чтоб не зацепить чего-

нибудь, опустилась на краешек стула, но сын перевел ее на другое место — усадил в большое мягкое кресло, в котором старушка почти утонула, и над столом стала видна только ее неподвижная голова в пестреньком ситцевом платочке.

Внимание растрогало Матрену Савельевну, и она произнесла наконец первые слова:

— Спасибо, Микита. Сам-то садись!

За стол уселись всей семьей. Эвир — справа от отца, девочки (все-таки и младшая оказалась девочкой) — между матерью и бабушкой. Не садилась только домработница Фаина, молоденькая, бойкая, очень милая, но с каким-то печальным, неулыбающимся взглядом чуть выпуклых глаз. Должно быть, в детстве Фаина переболела оспой, и на лице ее остались еле видимые следы. Сильно заметна была лишь одна глубокая ямочка на самом кончике носа, но и она не портила лица, а придавала ему особую миловидность.

«Казачиха, видно, батрачка»,— по-своему определила Матрена Савельевна ее положение в доме сына.

Фаина то и дело приносила с кухни новые блюда.

Никита Петрович сам налил граненые хрустальные бокалы — коньяку себе, матери и сыну, жене — вина из особой бутылки, девочкам по рюмке вишневой воды.

— Ну, мама,— обратился он к гостье,— с приездом. Будь здорова и счастлива в нашем доме. Хозяйство у нас большое, живем по-новому, обстоятельно. Приглядывайся, будь за старшую. Дети, любите вашу бабушку!

И он выпил первый — привычно, не морщась, одним глотком.

Матрена Савельевна дрожащей рукой взяла бокал и поджала губы, словно приготовилась к чему-то небывалому, еще неизведанному в жизни. Пила она медленно, мелкими глотками, а когда выпила все до капли — удивленно взглянула на всех и сказала:

— Тоже горькое!

Она почувствовала некоторое облегчение от того, что вино, хотя и красное, оказалось, вопреки ее ожиданиям, крепким и горьким, как самая обыкновенная водка. Открытие это придало ей смелость: значит, не все в доме сына чужое и незнакомое. Водка — она всегда водка, как ее ни подкрашивай.

И вероятно, поэтому, а может, еще и потому, что коньяк быстро оказал свое действие, Матрена Савельевна начала понемногу отходить, оживляться.

Она похвалила малосольные огурчики и хлеб, при этом сказала:

— А у нас хлебушко все еще с мякиной запекают, не в каждом доме, конечно! — Заметив белый хлеб, она поразилась: — Белый! Давно я его не видала,— и, взяв кусок белого хлеба в руки — мягкий, пышный, с маком,— сжимала его, нюхала и радовалась: — Как дышит... а корочка-то розовая!

Затем она потрогала пальцем лезвие мельхиорового ножа, сказала:

— Серебряный, а не шибко-то остёр!

От рокфора она брезгливо отказалась, даже попробовать хоть крошку на зубок не взяла и на все уговоры и разъяснения сына, что это не простая плесень, а вроде как бы пенициллин, ответила твердо:

— Конечно, жизнь в колхозе никудышная, но до плесени мы еще не дошли, не придурковатые!

Понравилось ей, что за многими диковинными названиями скрывалось самое простое и знакомое ей. Вот сказали, что на обед будет суп-пюре, суфле из судака и мусс клюквенный. А пюре-то оказался гороховым супом, и ничем больше. Осторожно ковырнула она вилкой суфле, попробовала и даже улыбнулась — не проведешь, дескать, рыба она рыба и есть. И чего голову морочат? Только мусс обманул Матрену Савельевну: думала, будет кисель, ан нет — студень, а попробовала — и на студень не похож, разве что дрожит...

За столом все ухаживали за Матреной Савельевной. Ей первой Никита Петрович наливал вино, Фаина первой подавала блюда, Алла Сергеевна положила для нее полотняную салфетку, хотя все остальные пользовались салфетками бумажными; правда, Матрена Савельевна не притронулась ни к какой. Наконец, Эвир отказался в пользу бабушки от последней рюмки коньяка:

— Выпей, бабка, за мое здоровье, ты совсем не пьяная.

— Это невероятно! — восхитилась Алла Сергеевна.— Чтобы Эвирик отдал кому-нибудь свою рюмку? Это же геройство! Мама, ты его покорила.

— Геройство геройством,— заметил отец,— а бабушку, Эвир, надо называть бабушкой, а не бабкой.

— Спасибо, внучек,— поклонилась Матрена Савельевна Эвиру,— я выпью. А что это за Эвир такой? Имя-то какое выдумали, нехристи.

Эвир криво ухмыльнулся:

— Отец мне такое имя выдумал, бабушка. Эвир — это «эпоха войн и революций». Дружки проходу не дают: «Выпьем за эпоху!..» Умирать буду — не забуду!

— Папин сынок! — кивнула на него бабушке Алла Сергеевна.

— Ладно! — огрызнулся Эвир.— Я уже сказал: пока отец не станет министром или, на худой конец, заместителем, не называйте меня папиным сынком.

Девочки поглядывали на бабушку с удовольствием и доброжелательностью. Казалось, что они уже успели свыкнуться с ней. Все в ней было для них понятно и просто, все доступно и легко объяснимо. Нина решила, что ждала именно такую бабушку, что именно такою всегда ее себе представляла. А Светлана шепнула матери, что никаких иных бабушек вообще не бывает на свете.

После обеда Алла Сергеевна сняла праздничный шелковый халат и надела попроще, домашний.

— Мамочка, ты, может быть, отдохнуть желаешь? — спросила она Матрену Савельевну.

— Поспать?

— Может быть, и заснешь?

— Нет, не засну. Вы мне лучше квартиру свою покажите, да, может, помочь надо в чем-нибудь по хозяйству?

— Помогать, мамочка, не надо, у нас Фаня справляется со всем. А квартиру покажу.

Показывать матери квартиру вызвался и Никита Петрович.

— С чего начнем? — поднялся он со стула.— Это вот столовая, с нее и начнем. Квартира у нас, мама, небольшая, только три комнаты и кухня.

— И ванная,— добавила Светлана.

— Ну, и ванная, вместо бани вашей.

— И уборная! — съязвил Эвир.

— В столовой обедают,— продолжал Никита Петрович,— принимают гостей, если нет особой гостиной. В серванте — вот он! — хранится посуда, сервизы, внизу — скатерти, салфетки и... Что там еще, Алла?

— Да все можно хранить, любые ценные вещи,— ответила Алла Сергеевна.

— Кроме вил и граблей,— добавил Эвир.

— Перестань, Эвир! — прикрикнула Алла Сергеевна.

— А это, мама, называется горка. В ней обычно лежат для украшения разные фарфоровые безделушки, китайские костяные шары, хрусталь. «Ценные вещи»,— как говорит

Алла. У нас больше чехословацкий хрусталь, это Аллина любовь.

Матрена Савельевна слушала внимательно, но думала о другом. Она до сих пор не могла уразуметь, как ей называть свою невестку. Что это за имя — Алла? Может быть, то же, что Эвир — эпоха?.. А сейчас прислушалась к голосу сына и вдруг поняла: Алла — это Аля, Аля — Алевтина, очень просто. Так же как пюре — это гороховый суп, а суфле — рыба.

И с этого часа она стала называть Аллу Сергеевну Алей.

— Это, мама, телевизор,— объяснял Никита Петрович.— Вечером ты будешь смотреть кино.

«Значит, телевизор — это кино, маленькое домашнее кино»,— решила Матрена Савельевна, и телевизор стал ей близок и понятен: в кино она бывала много раз. Много позднее, когда она увидела по телевизору самого Никиту Петровича и прослушала его выступление, домашнее кино превратилось для нее в чудо.

— Теперь перейдем в мой кабинет.

Здесь были шкафы с книгами, письменный стол, кресла, кушетка под ковром, ковер на полу, портреты на стенах.

В третьей комнате, в детской, Никита Петрович обратил особое внимание матери не на мебель, не на письменные столики, за которыми готовили уроки Эвир и Нина, не на диваны, которые на ночь превращались в постели, а на домашнюю аптечку в чудесном резном висячем теремке и на содержимое огромного шифоньера.

— Это Аллино богатство,— сказал он и показал на костюмы, меха, платья.

Матрена Савельевна смотрела на роскошные туалеты своей невестки довольно безучастно, так, по крайней мере, показалось Алле Сергеевне.

— Ну что тебе еще показать?

Эвир, который вместе с сестрами также ходил из комнаты в комнату и нередко подтрунивал над взрослыми, напомнил:

— Не показали динамики для радиотрансляции, патефон и пианино, сервировочный столик в столовой с мамиными помадами, магнитофон в кабинете отца.

— Магнитофон, да! — сказал Никита Петрович, и все вернулись в его кабинет.

Ознакомление с магнитофоном, запись и прослушивание заняли около получаса. Матрена Савельевна ничего о магни-

тофоне не сказала, похоже было, что он представился ей никому не нужной забавой.

— Что это у вас куклы везде валяются? Нехорошо! — вдруг, словно бы ни с того ни с сего, заметила она.

Алла Сергеевна снова поразилась, как спокойно проходила бабушка мимо подлинных диковинок, будто не видела их, и удивлялась и радовалась совершенно простым, давно знакомым ей бытовым вещам.

— Кухню-то покажите! — попросила мать, когда Никита Петрович выключил магнитофон.

На кухне она почувствовала себя свободно, как дома. Здесь все для нее было понятно, кроме, пожалуй, газовой плиты, и все вызывало живой интерес. Понятен утюг, а то, что он электрический,— умилило Матрену Савельевну. Понятны водопровод, мусоропровод, мясорубка, кофейная мельница и даже холодильник. Фаина показала ей чудо-печку, утятницу, набор кастрюль и сковородок, ножи, вилки.

Матрена Савельевна несколько раз открывала и закрывала кран водопровода, попробовала воду на вкус и наконец сказала:

— Ничего, жить у вас можно.

Так она начала жить в доме сына.

Телевизор Матрену Савельевну не удивлял до тех пор, пока она не увидела на экране своего сынка, Никиту Петровича, который рассказал для работников сельского хозяйства, как должен быть организован труд в колхозах. До этого она считала телевизор просто маленьким кино, и только. Слыхано ли дело, чтобы в кино вдруг показывали знакомых людей. А тут, поди ж ты, сам Никитушка, вот он, рядом,— чудо!

Матрена Савельевна не сразу сосредоточилась, но, когда это ей удалось, внимательно прослушала все, что говорил Никита Петрович о распределении колхозной рабочей силы по объектам, особенно во время уборочной кампании, и буркнула будто про себя:

— Ишь ты, учит! А ведь ничего уж, видно, не помнит и не разбирается в нашем деле. Да и немудрено, давно дома-то не бывал. Разве он нашу жизнь знать может?!

На это Алла Сергеевна заметила с некоторой обидой:

— Ты ошибаешься, мамочка. Ника считается здесь большим специалистом по сельскому хозяйству. Правда, я

не вижу смысла в том, что он выступает по телевизору для горожан.

— Как это я ошибаюсь? — возразила Матрена Савельевна.

Никита Петрович вернулся с телецентра, как с кремлевского банкета,— возбужденный и безгранично довольный собой. Девочки открыли ему дверь и бросились на шею:

— Папочка, мы тебя видели!

И стали наперебой рассказывать, какой он, как он хорошо говорил — очень громко, авторитетно и совершенно, ну совершенно своим голосом.

Старшая, Нина, передавала подробности:

— У тебя галстук выбился из-под пиджака, и мне очень хотелось его поправить. Но ты догадался сам, убрал галстук и вдруг стал строгий-строгий.

— Папочка, а кому ты пальцем грозил? — спрашивала четырехлетняя Светлана.— Ты нас тоже видел?

Алла Сергеевна принесла мужу пижаму, а пиджак с его плеча, новенький, голубоватый, с искрой, повесила в шкаф и только после этого высказала свое суждение:

— Хорошо, Ника, говорил и все правильно, только в следующий раз не приглаживай так сильно волосы, не прилизывай, а то на экране получается, будто у тебя лысина. И почему-то левый висок совершенно светлый, белый, будто уж совсем, совсем седой, а правый, наоборот, совершенно черный, никакой седины нет.

— Это от освещения. Там такие анафемские свечи горят кругом, жара, и не знаешь, куда глаза девать.

Никита Петрович ждал, что скажет мать, это его интересовало больше всего. Но Матрена Савельевна молчала, и он наконец не выдержал, спросил:

— Ну, видела меня, мама? Что скажешь?

— Видела,— неторопливо ответила старушка.— Неужели это сам ты был?

Все засмеялись. Особенно весело смеялся Никита Петрович.

— Сам, сам, мамочка, собственной персоной. Разве не похож? Изменился я?

Тогда Матрена Савельевна сказала еще:

— Вот послушай, как от нас рабочая сила уходит. Первое дело, надо получить паспорт. А как его получишь — не дают. Только ведь начальники хитрые, а народ еще хитрее. Придет, скажем, к человеку немочь, заболеет он, ну, говорят, ему повезло. Везут того человека в город, в больницу.

А в больницу без паспорта не кладут. Выписывают паспорт. Поправится человек, а у него уже паспорт в кармане, и везде ему дорога. Второе дело — посылают человека куда-нибудь в командировку, задание дают. Опять без паспорта нельзя. Конечно, он выполнит что следует и в ножки поклонится. Третье дело — армия. Послужил парень в армии, вышел ему срок, дают бумагу, так, мол, и так. А по этой бумаге он паспорт везде получит. И в колхоз только деньги из жалованья родителям посылает.

Начальство догадалось. Теперь в больницу попадать трудно стало, разве что смерть к горлу подступит. А командировки совсем закрывают, на лесозаготовки по списку отправлять начали. Вот как, сынок! В деревне нашей одни старики остаются, половину домов на дрова сожгли либо окна досками забили. Распределяй рабочую силу.

Никита Петрович помрачнел, задумался.

— Слыхал я про это, мама. Нехорошо получается.

— Да уж куда хуже.

— Несознательный народ.

— Да уж что говорить — хитрый.

Алла Сергеевна почувствовала в этих словах тоску и решила успокоить свекровь:

— Ты об этом больше не думай, мамочка. Твоя жизнь теперь изменилась, у нас тебе хорошо.

— Я не жалуюсь,— вздохнула старушка,— да ведь и там люди свои, жалко...

— Надо бы маму почаще в город выводить, в магазины, еще куда-нибудь, ей веселее будет,— посоветовал Никита Петрович, обратившись к жене.

— Пожалуйста,— охотно согласилась Алла Сергеевна.— В магазины хоть сегодня.

— Ты, Микита, хотел мне метро показать,— напомнила Матрена Савельевна.

— Метро? Это Алла покажет. Я в метро не езжу.

До замужества Алла Сергеевна работала чертежницей в мастерской по проектированию сельского и колхозного строительства. По окончании техникума она могла поступить в архитектурный институт, чего ей многие желали, имея в виду ее ум и незаурядные способности, но она не захотела, потому что, кроме ума и незаурядных способностей, обладала незаурядной красотой. А красивой женщине бог дает ум не для того, чтобы бесконечно учиться, а для того, чтобы

с умом выйти замуж,— это отлично знала молодая Аллочка, Алиса, Лисочка, как ее звали еще в техникуме. Тем более что учись не учись, а выйдешь замуж — все равно работать не придется. Да неизвестно еще, и удастся ли дотянуть до конца института: видные женихи долго ждать не любят.

Никита Петрович Круглов появился в архитектурной мастерской, где работала Лисочка, в качестве представителя заказчика. Уже одно это ставило его в положение видного жениха, и она заторопилась. К сожалению, Круглов не оказался видным женихом, он тогда еще не работал в министерстве, Лисочка просчиталась, но ошибку исправлять было уже поздно, родился ребенок. Потребовалось закрепиться хотя бы на занятом рубеже и добиться при сложившейся обстановке наибольших успехов.

Никита Круглов попытался ретироваться, уйти от брака, ссылаясь на отсутствие квартиры и материальные трудности. Тогда Алиса написала несколько гневных и слезных заявлений в разные инстанции, и Круглов сдался, испугавшись обвинения в моральном разложении.

После этого Алла Сергеевна делала все возможное, чтобы помочь мужу занять положение ответственного работника. Немалое содействие в этом оказал ей Викентий Федорович, старый начальник главка крупного министерства, ее недавний приятель.

Брачную партию свою Алла Сергеевна не считала удачной и победой над Кругловым никогда не гордилась, он в ее представлении был человеком неудачливым, неловким, недобычливым, чрезмерно увлекающимся, а потому не очень умным. В устроении жизни она решила полагаться главным образом на себя. Средства — известные, женские.

Заблуждаются те, кто думает, что красивая жена ответственного работника томится от вынужденного безделья. Любой день Аллы Сергеевны был предельно заполнен.

И это не потому, что у нее по неосторожности оказалось трое детей. Дети отнимали времени немного: она их не то что не любила, а просто не занималась ими.

Алле Сергеевне всегда везло с домработницами, с нянями. Их надо уметь находить и выбирать. Она выбирала из таких, которые были ей чем-то обязаны, которых нужно было предварительно от чего-нибудь спасти. Так, одной молодой девушке, сбежавшей из дому и находившейся на грани самоубийства, Алла Сергеевна устроила подпольный аборт. Другая готова была на много лет запродать свою душу только за то, чтобы получить московскую прописку.

Алла Сергеевна прописала ее и стала не просто хозяйкой, а благодетельницей. Так на прислугу можно больше положиться.

Домработницы в доме Кругловой несли на себе все обязанности по хозяйству и вырастили ее детей. Сама Алла Сергеевна в детской комнате спать не любила, и, если ночью ребенок начинал плакать, она кричала на няню: «Что у вас там? Отдохнуть не даете!» Нелегких материнских забот она хватила лишь с первым ребенком, с Эвиром, когда у них еще не было квартиры, а была одна небольшая комната. Грудью своей она кормила также только Эвира, и то не больше двух месяцев. Материнское молоко для Нины и Светланы покупали няни в детской консультации. Алла Сергеевна боялась испортить фигуру. Дочка Светлана появилась на свет лишь потому, что старый подпольный абортарий, знакомый Алле Сергеевне, был ликвидирован милицией, а нового найти в срок она не сумела.

Домработницы у Кругловой крутились без отдыха и почти без выходных, за это она, кроме зарплаты, покупала для них подарки по праздникам.

— Разве у меня домработница? — говорила Алла Сергеевна при случае гостям и знакомым.— Она у меня домоуправительница. Я же сама не хозяйничаю, она хозяйка, я ей служу. Но зато она — член семьи. Она — у себя дома.

Правда, это не мешало Алле Сергеевне незамедлительно избавляться от «члена семьи», если появлялись на то причины или находилась на примете другая, более подходящая кандидатура.

Последняя домоуправительница, Фаина, оказалась наиболее ценным из всех предыдущих приобретением Аллы Сергеевны. Она нашла ее случайно в одном из подмосковных домов отдыха, в семье завхоза.

Завхоз приютил Фаину «из жалости», потому что ее под Москвой нигде не прописывали, а девушка хотела жить только вблизи своей старшей сестры, работавшей в доме отдыха официанткой. Оказавшись на нелегальном положении, Фаина служила семье предприимчивого завхоза верой и правдой, была у них, как говорится, «и швец и жнец и в дуду игрец». Не прописывали ж Фаину потому, что во время Отечественной войны она жила на оккупированной территории. В сорок первом году восьмилетняя Фаня на время летних каникул была отправлена в гости к бабушке в Смоленскую область и вынуждена была прогостить у бабушки до возвращения советских войск. Вина ее была невелика, и

завхоз обещал, что в ближайшую предвыборную кампанию, когда оформлять прописку становится легче, он обязательно осчастливит ее.

По возвращении из оккупации Фаня окончила в своей деревне семилетку, но оставаться там больше не могла, потому что умерла мать, все родственники разъехались по разным городам и новостройкам — отец погиб еще раньше, на фронте,— и в колхозе ей просто не у кого было жить. Ближе всех находилась старшая сестра, теперь единственная ее подруга, и она приехала к сестре.

Алла Сергеевна сначала разузнала о Фаине все, что можно было узнать от людей, встречавшихся с ней и сочувствовавших ее судьбе. Отзывы были самые хорошие: толковая, скромная девушка, безотказная в работе и умеет себя блюсти.

Ночной сторож, решивший, что отдыхающая интересуется Фаиной как невестой, авторитетно порекомендовал:

— Берите и не думайте, не прогадаете, она за всю жизнь ни одной мухе сесть на вас не позволит.

Затем Алла Сергеевна познакомилась с сестрой Фаины, официанткой, и намекнула ей, что, кажется, завхоз и в мыслях не держит выполнять свои обещания; куда же он пропишет Фаню, на какой площади, ведь он сам занимает не жактовскую квартиру, а казенную: пока служит — живет, выгонят — выселят.

Разговор с самой Фаиной был уже недолгий. Девушка мечтала устроиться как-нибудь хотя бы под Москвой, а тут предлагают переехать сразу в столицу на все готовое и с хорошей зарплатой и даже паспорт московский дадут.

Алле Сергеевне девушка понравилась сразу: миловидная, краснеет, теряется.

— Работы у меня много, Фанечка,— сказала она ей начистоту,— дочка Светлана совсем еще ребенок, за нею придется даже ночью ухаживать. Но вы будете жить у меня как дома, как член семьи. Поживете сколько пожелаете, паспорт мы вам дадим московский — я думаю, конечно, вы будете благодарны,— а потом сама устрою вас куда-нибудь на производство или, скажем, в швейную мастерскую.

— Да что вы, да разве я не понимаю,— растерялась обрадованная Фаина.— Вы меня так осчастливили! Вы отнеслись ко мне как мать родная! Я всю жизнь буду с вами, пока не прогоните!..

— Ну вот и хорошо. Меня зовут Алла Сергеевна. Через три дня мы уедем. Приготовьте, что у вас есть, об остальном я позабочусь сама.

Благодаря самоотверженности Фаины Алла Сергеевна могла совершенно не заниматься ни кухней, ни детьми. Тем более что старшие — Эвир и Нина — с утра уходили в школу и не требовали к себе никакого внимания. А Светлана была устроена в группу к частной воспитательнице, учительнице-пенсионерке, живущей в этом же доме, и тоже с утра находилась в чужих руках.

Утро Аллы Сергеевны неизменно начиналось с продолжительного туалета. У нее было несколько халатов: один, роскошный, из китайского шелка с вышивкой, с большими перламутровыми пуговицами,— для курортов и для особых случаев, когда кто-нибудь неожиданно входил в квартиру. В этом халате встречала она Матрену Савельевну и в нем же обедала при ней в первый раз после приезда; второй халат — обеденный, домашний, попроще, но тоже шелковый; третий — для ванны, махровый, теплый; четвертый — кухонный. Кухонными халатами обычно становились поношенные обеденные, поэтому их было несколько, разной степени износа.

С утра Алла Сергеевна надевала халат махровый и, выпив чашечку черного кофе, принимала прохладную хвойную ванну. Затем она устраивалась на низком пуфике перед раковиной и не меньше получаса плескала себе на лицо то горячей, то холодной водой поочередно, от чего кожа лица должна была становиться свежей и бархатистой.

Процедура эта была самой мучительной из всех и требовала большой внутренней сосредоточенности и терпения, но Алла Сергеевна считала, что она много потеряла из-за того, что родила троих детей, и потому выдержке ее не было предела.

Покончив с «обливанием живой и мертвой водой», как называлась эта операция, Алла Сергеевна переходила в столовую и садилась к туалетному зеркалу.

Отсутствие своей комнаты и трельяжа она переживала тяжело, но вышла из положения благодаря тому, что приспособила для себя стеклянный сервировочный столик.

В столике под стеклом и на столике находилось все необходимое для сохранения молодости и красоты. Тут были всевозможные кремы — миндальный, спермацетовый, ланолиновый, бархатный; пудры тонкотертые розовые и белые; бутылочка миндального молока, тушь для ресниц, лаки для ногтей; губные помады разных цветов и в различном оформ-

лении, в металлических и пластмассовых гильзах,— в основном рижские, несмываемые; набор туалетных инструментов — ножницы, ножички, пилочки, щипчики для выщипывания бровей, щетки для массирования лица и головы и так далее и тому подобное.

Конечно, все это было далеко от идеала, но что поделаешь: Москва не Париж. Пополнять свои запасы Алла Сергеевна умела через подруг и знакомых, через маникюрщиц и парикмахеров. Благодаря знакомствам она получала, например, кремы особого приготовления, по сто рублей за коробочку. Частный крем, без названия и рецепта, считался «ценною вещью», хотя, чем он был лучше стандартов ТЭЖЭ, она не знала.

Манипуляции перед зеркалом отнимали у Аллы Сергеевны в общей сложности не меньше часа. Но ведь давно уже сказано, что искусство требует жертв.

Час — это в обычный день. А бывают дни необычные.

Раз в месяц Алла Сергеевна уходит с утра в дамскую парикмахерскую. Там производятся завивка, массаж, припарки, распарки, выпарки и прочее. Возвращается она из парикмахерской с закутанной головой, как из бани, в лучшем случае к обеду, когда Никита Петрович приходит с работы.

Время от времени она кладет себе на лицо питательные маски либо из яичных желтков, либо из белков, поочередно, и несколько часов лежит на диване почти не двигаясь. Яичная жижа, подсохнув, стягивает кожу лица, и Алла Сергеевна не может в эти часы ни разговаривать, ни улыбаться.

Смеяться она вообще не позволяет себе, особенно смеяться заливисто, с раскрытым ртом, потому что от такого смеха на лице могут появиться преждевременные морщины. Смех слишком большая роскошь для красивой жены ответственного работника. Алла Сергеевна по совету одной милой знакомой, артистки театра имени Станиславского, выработала для себя сдержанную, сухую, но обворожительную улыбку.

Утренний туалет завершался, когда в доме уже не было ни мужа, ни детей: Никита Петрович уезжал на работу, Эвир и Нина уходили в школу, а Светлана — в группу. Алла Сергеевна спала подолгу, потому что ложиться приходилось слишком поздно.

После завтрака, часов с одиннадцати, с двенадцати, в квартире начинал работать телефон. Звонили соседки по дому, вместе с которыми она брала уроки кройки и шитья.

Разговоры были продолжительными и интересными: о новых модах на платья, костюмы и халаты, о выкройках, о выставках заграничных моделей летней одежды, а заодно — о кинокартинах и опереттах, о приезде зарубежных театральных трупп.

— Аллочка, родная, как вы себя чувствуете?

— Ах, это вы, Римма? Спасибо! Что новенького?

— Судя по рижскому журналу мод, мы все скоро будем ходить в брюках, и очень узких. Надо приготовиться!

— Надеюсь, вы мне покажете журнал. А может быть, уже есть готовые образцы?

— Ах, я с удовольствием забегу к вам.

Посещение курсов кройки и шитья волновало Аллу Сергеевну и доставляло ей удовольствие не потому, что она собиралась шить для себя или для своей семьи сама, а потому, главным образом, что работа над выкройками напоминала ей о профессии чертежницы.

Если к шитью подходить как к творчеству, то любое платье требует не простой выкройки, а настоящего сложного чертежа.

Что за дом, если он построен пусть даже умело, но без предварительного проекта и множества чертежей! Составление архитектурных проектов, скажем, сельского клуба, или потребительского ларька, или колхозной чайной должно поглощать, по крайней мере, половину средств, отпущенных на строительство,— Алла Сергеевна знала это по опыту работы в архитектурно-планировочных мастерских. И потому любые выкройки платья или халата она вычерчивала по всем правилам искусства, тушью, с применением рейсшины и рейсфедера.

Правда, пошивку платьев для себя она продолжала заказывать профессиональной первоклассной портнихе, которая делала все на глазок и никогда не ошибалась. Ну и что из того?!

До увлечения кройкой и шитьем Алла Сергеевна страстно занималась автомобильным спортом. Вместе с другими женами ответственных работников министерства она окончила курсы водителей и после хорошо организованного банкета для экзаменационной комиссии ОРУДа получила любительские права на управление легковыми автомашинами.

Водить машину она тоже не стала, не научилась. Но в этом уже виноват был муж. Он счел, что нет необходимости покупать личную машину, когда в их распоряжении всегда находится министерская персональная «Победа». А шофер

разрешил однажды Алле Сергеевне сесть за руль и так напугался, что больше не соглашался рисковать своим служебным положением: она нажала на стартер при работающем моторе, затем тронулась с места, чуть не сорвав сцепление, и, наконец, уловчилась со второй передачи включить задний ход и вывела из строя коробку передач.

Сама Алла Сергеевна перепугалась не в меньшей степени, чем шофер, и на этом ее увлечение автомобильным спортом закончилось.

На смену ему пришел чехословацкий хрусталь, ежедневные поездки по магазинам. Последний вид спорта оказался особенно обременительным для Никиты Петровича, и он был счастлив, когда Алла Сергеевна переключилась под конец на кройку и шитье.

Чрезмерная перегрузка не позволяла Алле Сергеевне заниматься чтением. Единственная книга, которую она одолела меньше чем за две недели, была «Дамское счастье». Остальные, даже Дюма, валялись на кушетках месяцами.

Алла Сергеевна имела обыкновение совершать набеги на центральный универмаг и комиссионные магазины не реже раза в неделю. Иногда приходилось выезжать и чаще, если от знакомых поступали важные сведения. Денежные средства для таких набегов составлялись из разных сумм, которые Никита Петрович получал сверх заработной платы. С годами и по мере продвижения его по службе эти дополнительные получки росли и теперь значительно превышали основную узаконенную зарплату.

Алла Сергеевна надела белое легкое пальто с голубым песцом, шляпку с каким-то пушистым хохолком и была очень хороша собой.

— Ты будто на престольный праздник нарядилась,— сказала ей Матрена Савельевна.— Либо к заутрени.

— Оденься и ты получше.

Матрена Савельевна надела все новое, что ей было куплено на днях...

ГУМ ее испугал и восхитил.

Испугал очередями. Задолго до открытия все прилегающие к нему переулки, вероятно, не на один километр в длину, были заполнены народом. В очередях стояли даже офицеры, полковники. «Приезжие, вроде рядовых!» — сказала про них Алла Сергеевна. Порядок в переулках устанавливала милиция — пешая и конная.

Восхитил — обилием товаров. Тут не только шерстяную шаль, а, наверно, даже иглу для швейной машины можно было купить.

— У нас в городе ничего нет,— шепнула Матрена Савельевна, тронув сноху за рукав.— А очереди такие же.

В очередь они не становились, выждали, когда открылся магазин и вся она постепенно вползла в распахнутые двери, словно длинная змея. Сквозь широкие боковые окна было видно, как люди, вырвавшись из дверей, потные, с вытаращенными глазами, некоторые с оборванными пуговицами на одежде, кидались в разные стороны и, определив нужное направление, бегом неслись в тот или иной конец.

Алла Сергеевна вошла в магазин как хозяйка, когда толкучка улеглась, и, высоко вскинув красивую голову, двинулась на второй этаж в отдел дамской обуви.

— Мама, за мной! — скомандовала она Матрене Савельевне, и старушка, боясь отстать, но и не решаясь взять ее за руку, ничего не видя перед собой, кроме желтой кожаной сумочки своей невестки, затопотала вверх по лестнице.

В обувной отдел пробиться было уже невозможно, очередь растянулась вдоль перил почти во всю длину этажа, и мужчин в ней стояло больше, чем женщин.

— О, господи,— вздохнула Матрена Савельевна.— Хоть чего дают-то?

— Становись сюда и жди меня! — приказала Алла Сергеевна.— Выбросили чехословацкие танкетки.

Сказала и исчезла.

«Танкетки? Какие такие танкетки? — тяжело соображала Матрена Савельевна.— Это, кажись, что-то военное? Для чего это ей? Ведь и так уж всего много, вся квартира заставлена товарами».

Матрену Савельевну толкали, передвигали с места на место, одни вежливо: «Прошу прощения!», «Извините, бабушка!», другие покрикивали на нее: «Ты-то зачем здесь, старуха, сама, что ли, носить будешь?» Кто-то хохотнул:

— Она перепродаст, а то корову на танкетки выменяет...

«Корову выменяет! — думала Матрена Савельевна.— Легкое это дело — корова. Говорит, а поди-ко и не знает, чего у нас корова стоит... А танкетки — это, значит, носить. Сапоги бы вот дочке послать. Осень скоро, грязища, ноги мерзнут. Хоть бы простые какие-нибудь, парусиновые. Да с галошами бы. А еще бы лучше шубенку ей какую-нибудь захудалую. Зятек получился необоротистый, недобытчивый, не то что Микитушка, начальника из него не выйдет».

Пока Матрена Савельевна размышляла о том о сем да сравнивала жизнь городскую с житьем-бытьем в своем далеком колхозе, о котором она ни на один день забыть не могла, появилась Алла Сергеевна, словно из-под земли выросла.

— Поехали, мама! — решительно взяла она ее за руку и вывела из очереди.

— Что, али раздумала? — спросила Матрена Савельевна.

— Поехали. Я уже взяла.

— Ишь ты как!.. Куда теперь?

— Поедем, там увидишь. Каков магазинчик-то, а?

— Наших бы баб сюда на денек! — мечтательно сказала Матрена Савельевна.— Понабрались бы, запаслись бы коечем. У нас ведь так: и деньги заведутся, а ничего не купишь. Шибко уж далеко живем, не видно нас.

— Об этом тебе теперь думать нечего. Ты не деревенская теперь. Обижаться нечего.

— Да я не обижаюсь. Только какая уж я городская. Так, горе одно. Сама уехала, а душа все там, словно на нее паспорта не выдали. К тому же и грамоты не знаю, да теперь уж и не совладать с ней, если бы и захотела.

— И об этом нечего тосковать,— решительно сказала Алла Сергеевна.

На такси они доехали до большого комиссионного магазина. Там Матрена Савельевна засмотрелась на гармони, на баяны — в них для нее что-то было от родной деревни, знакомое.

Той порой Алла Сергеевна переворошила все, что имелось нового среди старинного фаянса, янтаря, инкрустированных шкатулок и разных костяных изделий, вывезенных из Китая.

Затем они побывали в ювелирном магазине. Здесь народу было мало, и Матрена Савельевна, освоившись, подошла к сверкающим прилавкам. Ей понравилось колечко с камушком.

— Покажи-ка, сынок! — попросила она продавца.

Тот вопросительно взглянул на Аллу Сергеевну, достал колечко и подал матери. При этом заметил:

— Оно не дешевое, мамаша.

Продавец, видимо, сообразил, что у старушки нет реального представления о бриллиантах.

— Знаю, что не дешевое. Да ведь не дороже денег,— твердо ответила Матрена Савельевна.

Должно быть, уверенность, с которой ее невестка бра-

лась в магазинах за любую вещь, уверенность в том, что на свете нет ничего недоступного, передалась и ей. Взяв кольцо, Матрена Савельевна с явным удовольствием надела его на свой сухой прозрачный палец.

— Стеклышко-то какое светлое да чистое, будто слеза богородицы. Вот бы дочке послать, пусть пофорсит, в девках-то не приходилось.

Припомнилось, как однажды, получив перевод на сто рублей от Никиты, она купила для дочери колечко за пятнадцать рублей. И до чего же та была рада-радешенька — прыгала, целоваться лезла. Посмотрела на нее Матрена Савельевна и деньги истраченные жалеть перестала. Сбежались подружки, примеряют колечко, одна просит поносить часик-два, другая просит на воскресенье. Добрая душа всем дает, все носят ее колечко по праздникам. Сама она ходит без колечка, а все равно счастлива: знает, что ее это колечко, да и все про это знают.

Только вот горе: не хватило, видно, у Матрены Савельевны соображения взять кольцо с запасом, на вырост, не додумалась она до этого. Прошел год, надевает дочка подарок, а пальцы от работы толстые стали, даже на мизинец колечко не лезет. Повздыхала дочка и упрятала его в сундучок — сберегу, говорит, для своей дочки. Так оно и лежит без пользы — детей бог не дал. Уж продала бы, что ли...

Матрена Савельевна еще раз осматривает новое платиновое колечко с бриллиантом, вертит его так и сяк, примеряет на все пальцы, думает: «Не ошибиться бы и на этот раз. А это, кажись, не хуже того будет, поярче!» — и спрашивает продавца:

— Чего оно стоит-то?

— Две с половиной тысячи, мамаша.

— Я про колечко спрашиваю.

— Две с половиной тысячи.

Матрена Савельевна, кажется, даже побледнела. Трясущейся рукой осторожно сняла она кольцо с пальца, сказала: «Золотое оно, что ли?» — и отошла от прилавка.

Кольцо взяла посмотреть Алла Сергеевна.

— Мамочка, у тебя хороший вкус. Кольцо и вправду замечательное. Выпишите, пожалуйста! — обратилась она к продавцу.

Матрена Савельевна больше не говорила ни слова.

В последнем магазине, куда они зашли, Алла Сергеевна закупила тысячу швейных игол — простых и для машины — и пять коробок с кремешками для зажигалок.

— Это мамане в деревню для подарков,— показала она продавцу на Матрену Савельевну, хотя тот ни о чем не спрашивал и ни в чем ее не заподозрил.

Матрена Савельевна продолжала думать что-то свое о покупке кольца и на иголки и кремни и на эти слова не обратила внимания.

Домой ехали на метро окружным путем. Выходили из поезда на нескольких станциях, чтобы Матрена Савельевна могла полюбоваться подземными дворцами. Алла Сергеевна была в отличном настроении, водила ее под сияющими сводами из конца в конец, от одной скульптурной фигуры к другой, толковала о содержании мозаичных панно и о том, как они делаются, часто употребляла слова «чудо», «сказка», «как в сказке» — и хвасталась, хвасталась, будто все эти богатства принадлежали ей одной, для нее одной были созданы.

Матрена Савельевна ходила, смотрела, поднималась на эскалаторах, но опять словно бы ничего не воспринимала, ничему особенно не радовалась. Поразило ее, что здесь очень много свету, светло, как на улице, и что этот свет должен гореть и днем и ночью.

А думала она все о бриллиантовом колечке, купленном невесткой с такой легкостью, и видела перед собой родную деревеньку в северных лесах, колхоз «Путь Сталина» в ста километрах от железной дороги, темные избы с прогнившими крышами («в лесу живем — лесу на ремонт дома выпросить не можем»), видела сельмаг, в котором почти не бывает сахара, керосина, мыла, валенок, но зато всегда есть водка и книжки о минеральных удобрениях и травопольном севообороте; видела голопузых ребятишек у колодца, поля с неубранной картошкой, уходящие под снег, вспоминала о хлебозаготовках, льнозаготовках, мясозаготовках, молокозаготовках... Разглядывала Матрена Савельевна мозаичные картины — и каждый сверкающий золотом квадратик казался ей бриллиантовым колечком в две с половиной тысячи рублей.

«Господи, что же это такое? Откуда это? Какое же сын жалованье получает?»

Два года назад Матрена Савельевна не смогла сдать государству пять десятков яиц, причитавшихся с ее хозяйства,— куры в том году передохли. Пришел налоговый инспектор, она перепугалась и бросилась пешком в райцентр, чтобы продать шаль, полученную от сына в подарок. Продала шаль за бесценок, купила на базаре пятьдесят яиц, да по дороге упала и разбила больше половины. Добрела до

деревни и — прямо на птицеферму, потом к председателю: выручи, дай в долг. А колхоз сам закупал яйца на стороне, чтобы рассчитаться с заготовителями. Дала сыну телеграмму: вышли молнией семьдесят пять рублей. Что там случилось, может, телеграмма не дошла, может, что другое, только не выслал. Опять пришлось бежать в город на базар, выходить из положения. Уж она-то знает, как достаются трудовые рубли.

А тут две с половиной тысячи за одно колечко на розовый пальчик милой женушке!

В колхозе до войны был выстроен клуб, была читальня, показывали два раза в неделю кинокартину, ребята с девками сами спектакли ставили. Теперь в клубе ссыпной пункт Заготзерна, окна заколочены досками, парни по ночам ходят по улицам пьяные и дерут горло под тальянку. Каждую осень клубное здание до верху засыпают рожью, а вывезти ее не могут, потому что дороги, разбитые грузовиками, стали непроходимы и непроезжи. За зиму неприкосновенный государственный хлеб успевает сгнить, откормленные мыши и крысы с пункта разбегаются по всему селу, их сторонятся даже кошки. Остатки хлеба весной из клуба выметают, и все списывается по акту, помещение готовят под новый урожай. А в это время колхозному скоту скармливают солому со всех крыш, колхозники — каждая семья на свой страх и риск — добывают себе хлеб, где могут. Председатель колхоза правдами и неправдами получает где-то семена, по ужасающей грязи доставляет их на поля, чтобы осенью снова неукоснительно в сжатые сроки выполнить первую колхозную заповедь.

Почему же ее невестка покупает кольца за две с половиной тысячи рублей? Откуда у сына такие деньги? Ладно ли это? Чистые ли они, деньги эти?

В деревне бабы идут на работу, нередко оставляя своих детей без присмотру, в яслях не хватает места для всех. Не выработаешь нормы трудодней — тебя могут исключить из колхоза, отлучить от земли, от общества. Да и о хлебе насущном думать надо.

А у невестки есть своя работница, батрачка, и сама она нигде не служит, только по магазинам ездит да муженька улещивает. Ладно ли это? Где мой сын берет такие деньги, господи? Не случилось бы беды какой, не сбился ли он с пути праведного?

Матрена Савельевна вспомнила, что в сельпо совсем недавно опять заведующего посадили. Тоже был свой человек,

из своей деревни. А начал жить на широкую ногу — откуда что берется: жёнка вырядилась, ребятишки в костюмчиках, словно с картинки. И вот разнюхали-таки, добрались до корня, арестовали мужика.

Господи, что же будет с Микитушкой?

Вернулась домой Матрена Савельевна мрачная, раздевалась нехотя.

— Устала, мамочка? — ласково спрашивала ее Алла Сергеевна.— Или обиделась на что?

— На что я обиделась? Я не обижаюсь,— угрюмо ответила Матрена Савельевна.

И вспомнила про иглы и кремешки.

И стала думать про иглы. Зачем ей столько иголок? Для матери, говорит. А куда мне такую прорву? Не в деревню ли отправить меня задумала, с рук сбыть? Вот бы хорошо-то!..

Подъехал сын с работы, из высокого дома. Отпустил шофера, сел за стол.

— Что у нас сегодня на обед?

— Бульон с фрикадельками, рулет говяжий, бланманже,— защебетала, появившись с кухни, бойкая Фаина.

— Садись, мамочка, поедим что бог послал,— сказал Никита Петрович и засмеялся своей шутке.— Метро видела?

— Видела,— ответила мать.

— Понравилось?

— Понравилось, сынок, богато! Нам бы немножко золота, колхоз бы подняли.

— Не все сразу, мать. В богатстве этом и ваши трудовые копейки вложены, и ваш пот есть.

— Да уж потеем...

Никита Петрович опять засмеялся.

— А по магазинам шлындали?

— Что у тебя за слова появились, Ника? — вмешалась в разговор Алла Сергеевна.— Были мы в ГУМе, в ювелирном, в комиссионном, мамочке все нравится. Купили колечко с бриллиантиком, реставрированное. Хорошее, но дорогое. Не заругаешься?

— Покажи хоть.

— Купили еще иголок швейных тысячу штук да кремней для зажигалок, давно я хотела это сделать.

Матрена Савельевна решила сказать свое мнение об иголках:

— Для чего мне столько иголок, короб целый? Не торговать же ими в деревне, еще плохое что скажут про вас.

Алла Сергеевна удивилась:

— Что ты, мамочка, это не для тебя. Уж не подумала ли, что хотим тебя в деревню отправить? Эти иголки для нас для всех, на всякий случай.

Никита Петрович буркнул, насторожившись:

— Не понимаю! Что ты опять задумала?

— Я же тебе, Ника, рассказывала, что во время войны в тылу это был самый ходовой товар — на масло, на сало, на хлеб. Забыл, что ли?

Муж взглянул на нее недружелюбно:

— Значит, ты всерьез думаешь об этом, готовишься?

— Ты, что ли, об этом подумаешь! — в свою очередь зло, с вызовом, отрезала Алла Сергеевна.

Никита Петрович молча встал и ушел в свой кабинет, чтобы отдохнуть после обеда. Матрена Савельевна захотела смягчить разговор.

— Ты на него не сердись, Аля. Что поделаешь: наше дело бабье, он поилец и кормилец. Устает, поди-ко, на работе.

Алла Сергеевна вздохнула:

— Верно, бабье наше дело! Он устает, а я, видите ли, не устаю. Я не сержусь, мамочка! Скорей бы только дело наладилось. Ждем, мамочка, повышения, тогда легче будет.

— Или еще выше надо?

— Надо, мамочка. Вот дачи у нас еще нет.

— Какое же он жалованье получает?

— Не в жалованье дело, мама. Жалованье — чепуха. Важно, что за жалованьем стоит. Ему бы еще один шаг ступить — и будет у нас дача, будет ЗИМ, а не «Победа», будет квартира другая, поликлиника особая, курорты особые. Быт наладится, мы никаких забот не станем знать, вот что дорого! И о детях за нас подумают, для них — лагеря закрытого типа, путевки на дом будут приносить. А поедем мы куда-нибудь, в другой город,— там уже гостиница приготовлена, люкс нас ждет, пустует давно. За границу будем ездить...

Но Матрена Савельевна, видимо, думала о чем-то своем.

— Где он деньги-то такие берет, доченька? — настойчиво допытывалась она.— Ведь не по торговой части служит. На стороне где, что ли, еще подрабатывает?

— Ничего ты, видно, не понимаешь, мама. Деньги у него не ворованные, не бойся, с торговлей он не связан.

Никита Петрович позвонил домой, предупредил, что везет детям подарок. Нина и Светлана стояли у окна, ждали, когда подойдет машина.

Машина подошла. Шофер с трудом вытащил из «Победы» громоздкий фанерный ящик.

— Опять кукла,— разочарованно сказала Светлана.

Нина не согласилась:

— Таких больших кукол не бывает. Что-то другое.

— Тогда интересно.

Застрекотал лифт, словно подъемный кран. Хлопнула металлическая дверь.

— В столовую, в столовую! — командовал Никита Петрович, входя в квартиру.— Алла, мама, стол — в угол, лишние стулья долой! Сейчас начнем работать.

— Что это такое? — спросила Алла Сергеевна.

— Сейчас всё увидите. Ковер убрать!

— А обедать когда?

— Обедать на кухне.

Захлопотали все. Отодвинули стол, горку. Фаина вынесла часть стульев в коридор, свернула ковер в трубку и уложила его вдоль стены. Девочки старались всем помогать и всем мешали.

Сын высокомерно стоял в стороне, смотрел на возню почти безучастно, но, когда открыли ящик, загорелись глаза и у него.

— Что это, папа? — спросила Нина.

— Не видишь — электрическая железная дорога! — тоном превосходства сказал Эвир.

На пол начали выкладывать перевязанные шпагатом секции рельсов, электровоз, вагоны, мост, станцию «Пионерская», будку с будочником, фонари, светофоры, электрокабель.

— Ника, пообедать надо,— просила Алла Сергеевна.

— Не могу. Обедайте без меня. Эвирик, помогай!

Обед не состоялся.

Никита Петрович снял сначала пиджак, потом переоделся совсем, лазил по полу в пижамном костюме и сам, согласно инструкции, собирал по частям всю железную дорогу. Он потел, пыхтел, волновался и радовался больше всех. Эвир так же увлекся, но отец ревниво относился к каждому его шагу: как бы чего не испортил.

Не меньше часа прошло, прежде чем соединены были все рельсы и подключен кабель. Никита Петрович сам встал к реостату, легкий щелчок пульта управления — и загоре-

лись фонари, светофоры, появился свет в станционной кассе, в вагонах поезда, и, что особенно важно, вспыхнула фара на электровозе.

— Ах! — вскрикнули в один голос девочки.

— О, господи! — не удержалась от восклицания и Матрена Савельевна.

У Никиты Петровича дрожали руки: а вдруг поезд не пойдет?! Казалось, он приготовился дать ход большому промышленному предприятию, пустить воду на лопасти турбин только что отстроенной гидростанции или открыть прямое сообщение между Москвой и Пекином. Торжество и тревога боролись в его сердце.

— Внимание! — по-мальчишески крикнул он.— Приготовиться всем! Пускаю!

Поезд пошел. Пошел сразу, свободно набирая скорость, постукивая на стыках рельсов, на стрелках, грохоча по мосту. Заработали светофоры, красный свет сменялся желтым, желтый — зеленым, перед станцией оглушительно заревела сирена, открылась дверца будки и вытолкнула стрелочника с зеленым покачивающимся фонариком в руке, начальник станции взмахнул флажком.

— Пошел! Пошел!

Никита Петрович переключил стрелки на малый круг. Поезд, слегка покачнувшись при резкой перемене направления, выправился и начал описывать кольцо за кольцом.

— Зашторьте окна! — распорядился Никита Петрович.

Он пока никому не доверял прикасаться к игрушке. Он играл сам и был счастлив. Перебегая от стрелок к реостату, от реостата к станции, он то выключал, то включал сигнал, переставлял фонари и светофоры, смотрел — как лучше.

Когда окна были наглухо зашторены от дневного света, освещение железной дороги стало особенно ярким.

В комнату пришла сказка.

Светлана носилась за поездом и боялась его, перескакивала через рельсы, хохотала, визжала.

— Ой, спасибо вам, товарищи!

В этом возгласе, казалось, вылилась вся ее душа.

— Папочка, родненький, дай мне, дай я!..— умоляла Нина.

— Давай полный, папа, полный, черт возьми! — орал Эвир.

— Не трогайте ничего, ничего не трогайте! — горячился отец.— Только не испортите!

Матрена Савельевна с удивлением смотрела на своего

разыгравшегося большого и умного сына и умилялась до слез: господи, какой же он еще ребенок! Вот взять да и отшлепать, как в детстве, по тому месту: «Перестань шалить, мочи моей нет!..»

И ей стало вспоминаться многое из босоногого, сопливого детства Микитушки.

— Сколько же это стоит, Микита?

— Эх, мама, да сколько бы ни стоило! Разве можно такое чудо на деньги мерить! У меня раньше ничего не было, пусть хоть дети мои всё имеют. Да и самому играть захотелось.

Никита Петрович вытирал пот с лица, а в глазах его сияли огоньки светофоров — зеленые, желтые, красные, брови разлохматились, на лоб опустилась ребячья наивная прядка. Он подобрел, помолодел от счастья, даже седина, казалось, исчезла с висков. Трудно было представить сейчас этого человека, такого непосредственного в своей радости, сидящим в большом кабинете за несокрушимым канцелярским столом, с несколькими телефонами, с целой планкой пластмассовых кнопок и изрекающим: «Сегодня не могу», «Я занят», «Я один — вас много»...

— Ты действительно как маленький, Ника,— капризным обличающим голосом заговорила Алла Сергеевна.— Можно подумать, что ты для себя купил эту железную дорогу. Угомонись же наконец!

Никита Петрович весь встрепенулся.

— А что? И для себя купил! Разве я играл когда-нибудь? Какие у меня игрушки были, кроме спичечных коробок да костяных бабок?

И Никита Петрович так же, как мать, вспомнил о своем детстве, о юности, представил за какое-то мгновение весь свой жизненный путь.

Никита Петрович ухаживал за матерью как только мог. Ему хотелось как бы вознаградить ее за все лишения и горести, перенесенные за долгую и трудную жизнь.

Что она хорошего видала? В молодости пришлось ходить по чужим людям, батрачить, нередко голодать. Вышла замуж — опять оказалась в чужих людях. А когда стала сама себе хозяйка, забот только прибавилось. Куча детей, каждые два года — новые роды то на поле, то на сенокосе. В страдную пору вместе с мужем, с Петрованом своим, затемно возвращалась с работы. Он садится где-нибудь на лавке в избе или на крылечке покурить, покалякать с соседями насчет

мировой буржуазии и ждет, когда жена приготовит ужин. А она покормит маленького грудью и торопится управиться по хозяйству, обряжает коров, поит парным молоком остальных ребятишек, укладывает всех на сеновале, кормит мужа и спать ложится последней. Утром, задолго до зари, все начиналось для нее сначала: доила коров, провожала их на выгон, топила печь и готовила еду для всех на целый день, потом уже будила детей и мужа, кормила их и опять вместе с мужем выходила на работу.

Когда она успевала сама поесть и отдохнуть — никто не знал, да никто и не задумывался над этим. Все шло так, как было заведено от века.

Не многое изменилось для нее и в колхозе. По-прежнему она оставалась ломовой лошадью. Разве только почести прибавилось: назвали ее в колхозе большой силой. А настоящей сытной жизни там, на севере,— Никита Петрович это знал,— колхозники еще не видали.

За войну мать поседела от горя и сгорбилась. Старость наступила быстро, почти незаметно.

Все понимал Никита Петрович и хотел так покоить старость своей матери-труженицы, чтобы каждый день она получала в его доме какую-нибудь радость.

Было и другое желание, но в нем он не признался бы и самому себе. Хотелось Никите Петровичу побахвалиться перед матерью, показать ей, что живет он на широкую ногу. Было самодовольство: смотри, мол, чего добился твой сын, каких высот достиг, куда вхож! А ведь в лаптях ходил твой Микитка! Смотри и гордись! И в деревню сообщи об этом, чтобы все знали: вот мы теперь какие! И пользуйся всеми благами, каких достиг твой сынок — сам, умом своим достиг! А если не верила ты в его ум, так покайся, что не верила.

Не говорил об этом Никита Петрович даже Алле Сергеевне, но та понимала мужа и тянулась за ним, во всем старалась угодить матери. Вместе они предупреждали ее желания и вместе огорчались, когда не видели у нее никаких особенных желаний.

Подойдет старушка к окну и смотрит, смотрит, и думает о чем-то, и вздыхает. Чего ей недостает, чего не хватает?

На улице идет дождь. Листья деревьев посветлели, зашелестели и, кажется, смеются, смеются до слез.

По асфальту потекли ручьи, серый асфальт стал черным и волнистым, как гофрированное железо. Вся улица — черная река. Кое-где развертываются зонтики, словно разноцветные паруса.

Смотрит мать, думает о чем-то и вдруг спросит:

— А куда здесь вода уходит?

От дома к дому перелетают под дождем голуби, садятся на края крыш, отряхиваются. Распушат перья на шее, словно зонтики раскроют. Мать залюбуется ими, вот-вот улыбнется и вдруг спросит:

— Ласточки у вас тоже есть?

Подойдут к ней девочки, заглянут в лицо, потом в окно — куда бабушка смотрит. Нина заинтересуется:

— Бабушка, ты чего видишь?

А бабушка ей со вздохом:

— Дождь этот, внученька, не ко времени. Сейчас рожь цветет, вёдро бы надо, да чтобы ветер не шебуршал сверх меры.

Вот и пойми ее!

Как-то Алла Сергеевна достала билеты для всей семьи на дневной балет. Побывала бабушка в Большом театре. В перерыве сидели в буфете, ели пирожные, пили шипучую воду. Бабушка все оглядывалась, словно боялась, что ее выгонят.

Вернулись домой, она молчит.

— Тебе понравился балет, мама? — спрашивает ее Никита Петрович.

— Шибко понравился. Хорошо петухи поют.

— А еще что?

— Зачем там все голые, Микита?

Даже девочки рассмеялись:

— Так надо, бабушка, чтобы легче танцевать.

Бабушка подумала и еще сказала:

— Что-то у них колечек много на руках. Да и на шее всего много. За какую это работу? Дорогое ведь все.

Однажды Алла Сергеевна сводила бабушку к зубному врачу. Тот предложил удалить ненужные корни и сделать протезы. Невестка посоветовалась с мужем.

— Может быть, на курорт ее послать, там заодно и зубы новые вставят? — предложил Никита Петрович.

Матрена Савельевна услышала, поняла, запротестовала:

— Я у вас и так на курорте. Чего еще надо старухе, спасибо за все!

Тогда Никита Петрович решил свозить ее в однодневный подмосковный дом отдыха. Нацелился на лучший, закрытого типа, куда и сам еще доступа не имел, но он верил в свою звезду. Пускай мать ахнет. А он все равно доберется скоро и до этих высот.

Походил Никита Петрович по начальству, рассказал о

приезде старушки из далекого северного колхоза и неожиданно для себя получил разрешение съездить в дом отдыха со всей семьей, кроме няни.

Сборы были серьезные, долгие. Всю неделю Никита Петрович с женой только об этой поездке и говорили.

Особенно волновалась Алла Сергеевна, ей надо было не ошибиться с туалетами — утренним, обеденным, вечерним. Она понимала, что это первое появление чуть ли не в самом высшем свете многое значило не только для нее, но, главным образом, для ее мужа.

Накануне отъезда Алла Сергеевна исчезла на целый день в парикмахерской. Ей повезло: в кресле знаменитого дамского парикмахера застала она балерину Лепешинскую, которой в это время делали какую-то супермодную прическу по образцам последних кинокартин в стиле итальянского неореализма. Когда подошла очередь Аллы Сергеевны, она кивнула в сторону Лепешинской:

— Я подожду с в о е г о парикмахера.

Ждать ей пришлось около трех часов, но какое это было сладостное ожидание! Устроившись наконец в кресле, еще теплом,— тепло́м каким-то особенным, закулисным, неподражаемым тепло́м театральной славы,— она торжественно произнесла:

— Сделайте, пожалуйста, со мною то же самое!

— Но у вас другие волосы, мадам...

— Сделайте то же самое, прошу вас!

Алла Сергеевна просидела в парикмахерской еще три часа и вернулась домой предельно измученная, с ломотой во всем теле и забинтованная, закутанная до глаз, словно получила ранение в голову. Но зато теперь она была спокойна за себя: она понесет в народ новую прическу.

Девочкам срочно купили новые летние платья.

Относительно того, во что одеть Матрену Савельевну, разгорелся спор. Никита Петрович предложил нарядить мать в праздничный северный сарафан, который она захватила с собой в котомочке.

— Это будет настоящий северный национальный костюм, пускай смотрят. Жаль только, что кокошника не привезла. У нас там старые женщины все еще в кокошниках ходят.

Алла Сергеевна очень испугалась, что такой наряд свекрови может скомпрометировать их.

— А что, если заподозрят, что она просто из народного хора, как мы тогда, куда денемся?

Матрена Савельевна, замерев от страха, тоскливо смотрела

на эти сборы, настойчиво уговаривала сына и невестку не брать ее с собой, не срамиться, и, наконец, заболела.

Все предприятие могло сорваться. Но приглашенный на дом врач из спецполиклиники заявил, что ничего страшного у старушки нет и что ей будет даже полезно на сутки сменить обстановку, выехать за город отдохнуть.

Матрена Савельевна проглотила выданную врачом таблетку бромистой камфары, поднялась с постели и больше не сопротивлялась и не робела.

Ее решили везти в ее собственной деревенской одежде: серая в полоску кофточка с оборками на груди, сарафан ситцевый, набивной в горошинку, с воланами по подолу, поверх сарафана — синий атласный фартук с кружевной отделкой по низу, и на голове цветистый полушалок, протамбуренный строчкой на уголках.

Алла Сергеевна уже не беспокоилась за свой престиж. Она согласилась, что «так будет экзотичнее».

— Эх, жаль, кокошника нет! — еще раз воскликнул Никита Петрович, когда вокруг разодетой бабушки крутилась вся семья и девочки повизгивали от удовольствия.

Выехали в субботу часов в шесть вечера на служебной «Победе». Матрену Савельевну посадили впереди, рядом с шофером. Родители с детьми втиснулись на заднее сиденье. Младшую дочку Светлану Алла Сергеевна хотела посадить к себе на колени, но вовремя сообразила, что так может помяться ее платье.

Эвир не поехал.

За городом, когда свернули на боковое шоссе, их зеленая, не первой свежести, «Победа» оказалась затертой среди длинной кавалькады черных зеркальных ЗИСов и ЗИМов.

Сейчас явные признаки робости начал проявлять сам Никита Петрович. Он то и дело напоминал шоферу:

— Держись правее, пропусти их!

— Здесь без обгона,— сказал наконец шофер.

— Кому без обгона, а для других — дай дорогу пошире. Знать надо.

Когда вереница роскошных бесшумных машин промчалась мимо, Никита Петрович шепнул жене:

— Это все туда, к нам...

По обеим сторонам дороги потянулись тихие сосновые леса. Спуск к речке — к одной, к другой — и подъемы были ограждены белыми, с черным ободком, каменными столбиками, и на каждом поблескивал треугольничек из стеклян-

пых глазков — отражателей света. Казалось, шоссе вклинилось в зону тишины.

Все здесь было необычайно чисто, нарядно и строго. Местами появлялись асфальтированные площадки с ответвлениями дороги, и в глубине леса можно было рассмотреть высокие ограды с парадными воротами и сторожевыми будками. Деревни, встречавшиеся на пути, тоже казались необычно нарядными, чистенькими, праздничными.

Чем дальше, тем огражденных участков было больше. Наконец высокие заборы пошли по сторонам шоссе сплошной стеной.

Наилучшие участки леса, с оврагами, речушками, прудами, прикрывались от посторонних глаз наиболее высокими заборами, поверх которых щетинилась в несколько рядов колючая проволока. И за этими заборами — зелеными, голубыми, коричневыми — носились страшные собаки овчарки.

Матрена Савельевна сама опустила боковое стекло, и смолистый бодрящий запах проник в «Победу». Из всех лесов, какие встречались на севере, она больше всего любила сосновый бор.

— Нравится, мама? — спросил Никита Петрович.

— Хорошая боровинка! — ответила мать.— Дух здоровый, полезный. И места на загляденье. Тут только и отдыхать людям. Не пойму одного, зачем здесь колючая проволока, от войны, что ли, осталась?

Никите Петровичу, видимо, не очень понравились ее слова, он сразу засопел и ответил полушепотом:

— Это государственные дачи, мамочка.

Санаторий, в котором был и однодневный дом отдыха, увидели издалека. Трехэтажный дворец из железобетона и стекла, со всевозможными надстройками, башенками, возвышался над рекой, словно огромный трехпалубный пароход. Радиоантенна с двумя опорами и большая телевизионная антенна на гребне крыши сходили за мачты парохода. А за ним, по всему берегу и во всю глубину берега, от земли и до неба простирался сосновый бор.

Никите Петровичу стало тесно в машине от гордости и самодовольства, он заерзал, словно расплываясь на сиденье, потеснил еще больше жену и детей и, склонившись к матери, торжественно произнес, указывая на дворец:

— Видишь, мама? Вон куда мы едем! Смотри, где ЗИСы идут.

По мере приближения к санаторию, он вырастал над рекой все выше и выше, и стали открываться подробности его оформления — колонны, балкончики, скульптурные фигуры под окнами, матовые фонари на металлических столбах, величественная группа каменных лосей на берегу. Крутой скат к реке оказался укрепленным бетонными плитами, а в них как бы врезаны зигзагообразные тропинки и прямые лестничные спуски с бесчисленным множеством гранитных ступенек.

При въезде на территорию санатория навстречу «Победе» вышел вахтер и рукой приказал стать в сторонке. К воротам подкатились два ЗИСа и промчались вперед. Вахтер козырнул им, видимо, издалека узнавая своих постоянных посетителей, после этого подошел к «Победе» и, как показалось Никите Петровичу, недоверчиво осмотрел ее со всех сторон, проверил путевки и сказал, словно бы нехотя: «Пожалуйста!»

«Не очень-то, видно, уважают здесь «Победы»,— подумал Никита Петрович, когда они двинулись дальше по широкой аллее в глубь соснового бора.

А в машине стали почему-то разговаривать шепотом.

Никита Петрович снова начал терять самообладание, особенно когда шофер подрулил к подъезду с колоннами и остановился между двух зеркальных ЗИСов, из которых швейцар и шоферы таскали кожаные чемоданы.

Куда девалась гордость и величественность Никиты Петровича! Он торопливо выскочил из машины, засуетился, сам достал свои вещи из багажника, цыкнул на девочек, которые, едва ступив на землю, бросились к цветочным клумбам, и, не оглядываясь на жену и на мать, заспешил по лестнице.

Ему как можно скорее хотелось уйти от своей зеленой «Победы» — до чего же она здесь неприглядна! Он даже сделал вид, совершенно непроизвольно, что не имеет к ней никакого отношения. Пока «Победа» стояла у подъезда, Никита Петрович не мог чувствовать себя спокойным. А вдруг кто-нибудь подумает, что он прибыл сюда не на законных основаниях, а по недоразумению, в результате ошибки или небрежности хозяйственного аппарата. Вдруг кто-то, поважнее его, выйдет сейчас из дверей, узнает его и удивится:

— А вы как сюда попали? Кто разрешил?!

Но едва он поднялся на две-три ступеньки, как навстречу ему поспешила женщина в белом халате и, поздоровавшись, взяла у него из рук чемоданы.

«Значит, все в порядке!» — успокоительно подумал Ни-

кита Петрович, повернулся к семье, махнул шоферу, чтобы тот возвращался в Москву, подал руку жене и матери и вместе со всеми вошел в подъезд.

В фойе, огромном, как танцзал, и светлом, в глаза бросилось прежде всего обилие роз. Были здесь и олеандры, и аралии, и бегонии, и агавы в кадках — все их по названиям вряд ли знала даже Алла Сергеевна,— но заметнее других были розы, разной величины, разных сортов и разных цветовых гамм.

Передняя стена фойе, прямо против входа, со стороны реки, была сплошь застеклена от пола до потолка. И закатный свет делал все помещение солнечным, прозрачным. Казалось, само летнее небо вошло сюда и царствовало — не было ни потолка, ни пола, только небо, одно небо, и под ним красовались, играли, хороводились розы, розы, розы.

Алла Сергеевна вошла и ахнула:

— Как прелестно!

Ахнула и кинулась сразу нюхать махровые кусты, так что Никита Петрович счел нужным предостерегающе окликнуть ее:

— Алла!

— Пожалуйста, Никита Петрович! — обратилась между тем к нему женщина в белом халате. Он обернулся, приятно удивленный, и понял, что все необходимые сведения о нем в санаторий уже сообщены заранее.

— Вы с семьей. Может, вам будет удобнее разместиться всем вместе, в одном номере, в люксе — у нас такая возможность сегодня есть,— чем в двух смежных комнатах? Кровати на ночь мы добавим.

— Пожалуйста, можно в люксе,— согласился Никита Петрович, а в душе его все ликовало.

И вот они поднимаются по лестнице на второй этаж, идут гуськом (бабушка на цыпочках, девочки вприпляску) по мягким разноцветным ковровым дорожкам из одного коридора в другой, куда-то очень далеко, и, наконец, перед ними открывается дверь, затем вторая — и:

— Пожалуйста, это ваш номер. В девять часов ужинать, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста!

Чемоданы были уже здесь.

В первой комнате стояли пианино, телевизор, радиоприемник, круглый стол и зачехленные стулья, на столе пепельница, цветы; у стены — диван, мягкие кресла; на полу ковры. Это была гостиная.

Во второй комнате, за ковровым занавесом,— письменный стол орехового дерева, кожаное кресло, кожаный диван. Из кабинета винтовая лестница с резными перилами вела на антресоли в третью комнату — спальню.

— А где ванная комната? — первым делом поинтересовалась Алла Сергеевна.

Дверь в ванную нашли, она была прикрыта шелковой занавеской.

Девочки сразу бросились на антресоли. Казалось, они не удивлялись ничему, им просто было весело и легко жить на свете.

Мать стояла у входа, боясь двинуться дальше, не зная, куда девать свои руки.

Никита Петрович осмотрелся, крякнул, снял неторопливо пиджак, как у себя дома, повесил его на спинку стула и сказал:

— Ну что ж, приемлемо. Света много, вид из окон хороший.

К нему вернулось спокойствие, настороженность исчезла, плечи расправились сами собой, в осанке появилась прежняя статность и гордость, на лице выражение значительности. Все шло правильно!

И он вспомнил о матери.

— Ну что ж ты, старушка, не робей. Иди к окну, посмотри!

Матрена Савельевна, осторожно ступая по ковру, шурша своим широченным сарафаном, подошла к окну.

Отсюда, с высоты, река представилась ей очень маленькой. Солнце еще не село, но воды уже не касалось, берег мешал, и река казалась густой, маслянистой и отчетливее, чем днем, отражала синее, с подкрашенными облаками, предвечернее небо.

За рекой просторный луг, наверное заливной, наполовину был скошен, и несколько стогов сена, похожих на юрты кочевников, отбрасывали в сторону длинные тени. На лугу работали две конные сенокосилки. Еще дальше виднелась небольшая аккуратная деревня в один посад.

— Мимо этой деревни мы проезжали, мама, узнаешь? — спросил Никита Петрович и открыл дверь на балкон.

Девочки, топоча, опережая друг друга, спустились с антресолей и первыми прорвались на балкон. За ними Никита Петрович вывел бабушку. Видимый горизонт сразу раздвинулся, и сосны с двух сторон подступили к балкону, зашумели.

— Сеном пахнет,— тоскливо сказала Матрена Савельевна.

— Точно, пахнет! — подтвердил сын и, потянувшись, мечтательно добавил: — Когда-то и я сено косил. И пахал. И жал. Да, все было...

— Деревенька чистенькая. Наверно, хорошо живут?

— Здесь есть крепкие колхозы, мама.

— Слава богу!

— А сенокосы эти принадлежат санаторию.

— Для чего они вам?

— Хозяйство большое, есть скот, кони.

Алла Сергеевна на балкон не вышла, а открыла чемоданы и готовилась к появлению в столовой. Когда она надела вечернее бархатное платье, ахнул даже сам Никита Петрович.

— Хороша ты у меня, чертовка! — сказал он.

До ужина оставалось часа полтора, и Никита Петрович предложил пройтись осмотреть санаторий.

Матрена Савельевна хотела остаться с внучками в номере, но девочки не согласились, и ей пришлось отправиться вместе со всеми.

Сначала сориентировались: они находились в левом крыле здания, стало быть, по коридору надо было идти вправо.

Двинулись направо.

Помещений общего пользования во дворце оказалось очень много, одна роскошная гостиная сменяла другую, и похожих не было: каждая чем-нибудь отличалась от остальных — по обстановке, по убранству, по оформлению. В одной комнате стоял стол для игры в пинг-понг и в углу телевизор, в другой — рояль и в углу телевизор. Две комнаты с массивными бильярдными столами, комната для утренней физкультурной зарядки, библиотека, читальный зал, наконец — кинозал. Всевозможные лесенки, переходы, площадки, затененные уголки, где можно посидеть за круглым столиком, покурить, подумать о жизни.

И всюду — цветы, как в оранжерее.

Высокое начальство съезжалось на выходной день, и дворец, почти пустой целую неделю, постепенно заполнялся.

Никита Петрович шел впереди семьи, держался с достоинством, объяснял, что для чего предназначено, как будто он бывал здесь уже не раз, но говорил полушепотом, и глаза его настороженно шмыгали по сторонам.

Знакомых, с которыми он мог бы раскланяться и покаля-

кать, пока не встречалось, и это его устраивало, так было спокойнее, но в то же время и не волноваться было невозможно: а вдруг столкнешься с кем-нибудь из таких...

Никита Петрович на всякий случай первый здоровался почти со всеми, с кем приходилось встретиться глаза в глаза.

На мать, в ее деревенском пестром сарафане, действительно обращали слишком много внимания. Это, пожалуй, нехорошо, Алла была права.

В одной гостиной играли в домино. Никита Петрович повернулся к своим и сказал полушепотом:

— В домино играют!

В следующей комнате за двумя столами сидели мужчины и женщины по четыре человека и молчаливо, с ожесточением дулись в карты. Никита Петрович сообщил своим:

— В карты играют!

В небольшой полукруглой нише на переходе за шелковым занавесом раздавался стук костяшек и дружный женский хохот, подкрепленный мужскими утробными басами. Никита Петрович бережно приоткрыл занавес, заглянул и, довольный увиденным, как бы одобряя озорство изысканного общества, опять доложил своим:

— Играют в домино!

Игра в домино, по-видимому, была здесь одним из самых излюбленных развлечений, потому он то и дело шептал:

— В домино играют!

— Опять в домино!

Он все еще робел, словно бы чего-то боялся, иногда вздрагивал, и Матрена Савельевна, заметив это, узнавала в нем себя, свой характер, свои страхи.

Но вот Никита Петрович встретил наконец знакомого человека. Это был начальник главка, его непосредственный хозяин, Викентий Федорович, тучный, невысокого роста, почти квадратный, с умными недоверчивыми глазами.

И мать перестала узнавать своего сына. Высокий, красивый Никита Петрович ринулся навстречу своему шефу, схватил его за руку обеими руками и с таким обожанием смотрел на него и так припадал на обе ноги, что, казалось, стеснялся и своего высокого роста и своей дородности.

А начальник, высвободив руку из его рук, шагнул к Алле Сергеевне и заговорил с первой с нею — они были знакомы уже давно.

— Рад вас видеть, Алла́ Сергеевна. Вы очаровательны, как всегда. Это ваши отпрыски, очень рад. Познакомьте меня с вашей матушкой, Никита Петрович.

— Матрена Савельевна.

— Здравствуйте, Матрена Савельевна! Как вы себя чувствуете? Смóтрите всё?

— Спасибо, батюшка, приглядываюсь! — ответила Матрена Савельевна.

— О-о! — с любопытством вскинул на нее глаза начальник и, тут же повернувшись к Никите Петровичу, заговорил с ним в тоне фамильярно-покровительственном:

— Хóдите, знакомитесь с обстановкой? Ну, ходи́те, ходи́те, приобщайтесь.

Начальник шутил, всем задавал вопросы, но ответов на них не ждал: либо они ему были не нужны, либо он знал заранее, кто что ему может сказать.

С последней шуткой он обратился к Матрене Савельевне:

— А у сынка-то вашего брюшко растет, далеко пойдет сынок!

Пошутил, сам рассмеялся и скрылся.

Аллу Сергеевну эта встреча очень оживила и возвысила в собственных глазах. Сейчас, когда семья двинулась дальше, она вырвалась вперед и, вся внутренне сосредоточившись и напрягшись, с нетерпением ждала случая присоединиться к какой-нибудь подходящей компании и совсем отделиться от родных.

Никита Петрович тоже ликовал. Ему не показалась обидной даже шутка насчет брюшка, тем более что и брюшка-то у него совсем не было, и начальник, скорей всего, шутил над собой.

Так они дошли до спортивного зала, специально пристроенного к санаторию, такого просторного, что, кроме игры в хоккей, здесь в плохую погоду можно было по окружности свободно кататься еще и на велосипедах.

Алла Сергеевна не успела пристроиться ни к одной компании, как общество из всех гостиных и комнат начало постепенно перебираться в столовую.

Где-то поблизости раздался звучный, напевный бой стоячих часов, настолько похожий на далекий звон церковного колокола, что Матрена Савельевна от неожиданности начала креститься.

— Мамочка, не надо здесь! — испугалась Алла Сергеевна, и мать, не завершив креста, безвольно опустила руку.

И в столовой люди расположились среди цветов.

Большие, во всю стену, зеркала создавали впечатление,

что цветов бесчисленное множество, а зал бесконечен. Люстры, зажженные все сразу, также напоминали букеты цветов, спускающиеся с потолка.

Сдержанный гул голосов постепенно нарастал. Особенно усилился он, когда из буфета начали подавать вина, коньяки, водку и под олеандрами зазвенели хрустальные бокалы. Народ был свой, не стеснялись.

Никита Петрович с семьей заняли целый стол, на который им указала сестра-хозяйка, но им все равно было тесновато.

Алла Сергеевна в столовой, как и в гостиных, пытливо осматривалась вокруг, интересуясь, главным образом, дамскими туалетами, и, когда убедилась, что она не хуже других, с аппетитом принялась за еду.

Заказывать можно было неограниченное количество блюд, на выбор. В меню особенно много значилось всевозможных закусок, и удержаться от стопки водки или коньяка просто сил не хватало. Никита Петрович попросил бутылку коньяка для себя и для матери. Тогда Алла Сергеевна потребовала себе бокал массандровского муската.

— Давайте для храбрости,— поднял рюмку Никита Петрович, и они выпили. Девочки при этом опустили глаза.

— Я тебя не понимаю, Ника,— капризно заговорила Алла Сергеевна, бережно вытирая накрашенный рот концом накрахмаленной салфетки.— Почему для храбрости? Разве мы не у себя дома? Я смела и без вина.

И хотя она сказала это негромко и голос ее в эту минуту был особенно приятен и бархатист, потому что она нежилась от удовольствия и сознания, что она не хуже других,— муж все-таки взглянул на нее неодобрительно.

— Потом поймешь, кушай! — буркнул он.

Вторая рюмка коньяка размягчила и Никиту Петровича. Он подобрел, выпрямился, посмотрел с независимым видом на соседние столы и захотел разговаривать.

— Вот, бабушка дорогая, так мы и живем! — начал он, обращаясь к матери.

Никита Петрович называл мать мамой, когда был естествен и прост в своей человеческой сути и не занимался чрезмерно своей особой.

Иногда он называл ее Матреной Савельевной, причем произносил это имя то язвительно, растягивая по слогам, то почтительно и как-то вдумчиво, словно прислушиваясь к его звучанию. Это значило, что он либо злится, либо настроен благодушно, сентиментально.

Но нередко он называл мать бабушкой, или дорогой

бабушкой, или старушкой и при этом покровительственно похлопывал ее по плечу. Это случалось, когда разные житейские удачи кружили Никите Петровичу голову и он начинал обольщаться до самозабвения, а с людьми, подчиненными ему по службе, становился высокомерен, заносчив.

— Вот, дорогая наша бабушка,— сказал он сейчас, приятно хмелея от коньяка.— При коммунизме все так жить будут. Мы это сделаем! Мы к этому ведем! Ты понимаешь это?

— Скоро ли, Микитушка? У нас еще плохо живут.

— А ты подожди, все будет в свой срок. Для всех хорошая жизнь настанет, подожди только. Работать надо много. Тут одно с другим связано: не поработаешь — не поешь, не разбогатеешь. Знаешь, как раньше у нас было...

Матрена Савельевна, видимо, тоже начинала хмелеть.

— Раньше нам все говорили про тот свет: «Вот подождите, на том свете рай будет!» Мне, Микита, жить-то мало осталось. Дождусь ли?

— Ты же, мамочка, дождалась,— вмешалась в разговор Алла Сергеевна.— Чего тебе еще надо? Все для тебя готовое.

— А я не обижаюсь. Только ведь и о других подумать не грех. Кажись, не мы одни на белом свете живем.

Алла Сергеевна в первый раз не выдержала:

— Ну что у тебя за язык, мама: рай, грех, кажись... А в гостиной еще креститься стала... Отвыкай от деревенского, пора!

И произошло неожиданное — тихая Матрена Савельевна в первый раз огрызнулась:

— А мы в деревне, милая, не языком работаем, руками.

— Ты слышал, Ника? — вскинулась Алла Сергеевна.

Но хорошее настроение у Никиты Петровича не испортилось. Он только засмеялся и шутливо, в полуголос, прикрикнул:

— Цыц, бабы! Вам вина не хватило? С вином всегда так: перепьешь — плохо, недопьешь — еще хуже. Надо уметь определить золотую середину, дойти до нормы и остановиться. Выпьем еще, родная моя старушка! — обратился он к матери.

Они выпили еще по рюмке.

— А насчет коммунизма не беспокойся, все сделаем, что Ленин обещал. Тебе тоже будет хорошо, будь спокойна. Вот вернемся домой, зубы тебе вставим, полный рот зубов — ровных, белых, на выбор. Как у нас говорилось раньше: полон хлевец белых овец. Хороши у народа пословицы. Мудрый у нас народ. С таким народом мы горы своротим.

А дело пойдет на лад, мы тебе и жизнь продлим. Омолодим тебя! Для нас все можно. Прикрепят меня к кремлевской поликлинике, а там, мама,— врачи, какие врачи! Профессора! Эскулапы! Умрет человек, а они его оживят и опять на ноги поставят: работай! А какая аппаратура, тончайшая техника, умные машины и препараты! Все лучшее, что есть в мире. Если своего нет — из заграницы выпишут. И — внимание, понимаешь, внимание к каждому человеку, потому что каждый человек на вес золота. Если уж человек вырос, выдвинулся, значит, его беречь надо. Он государству больших денег стоит.

Матрена Савельевна долго слушала, не перебивая его, думала, наверно, о чем-то своем и наконец спросила:

— Микита, неужто и вино здесь бесплатно подают?

— Эк, ты все о своем! — с неудовольствием воскликнул Никита Петрович.— Вино, конечно, здесь платное. Не в вине дело. Ты пойми, когда человек дорог, когда он видный, ответственный, для него ничего не жалко. Понимаешь, старушка? Чтобы он никакими мелочами не занимался. Знай работай, служи народу, живи с ним одной жизнью, не забывай о его надеждах!

— Так ты уж служи, Микита! — заметила Матрена Савельевна.

Сын будто не слышал ее слов, продолжал:

— При коммунизме все так жить будут. Конечно, пока еще трудно людям. Кое-где трудно. Много трудностей! Но мы перед трудностями не остановимся. Сил своих не пожалеем, себя не пожалеем, а дальнейший рост обеспечим...

Матрена Савельевна посмотрела на него пытливо, пожевала губами и сказала:

— Девочки носом клюют, Микита, поели давно, может, их спать отвести?

Девочки действительно очень устали, их ничто уже не интересовало, Светлана закрывала глаза.

Алла Сергеевна поднялась со стула и тоскливо осмотрела сидящих в столовой. Ей не хотелось покидать общество.

— Пошли, дети, спать!

Поднялся и Никита Петрович.

Но когда вышли в коридор, Алла Сергеевна передумала:

— Мамочка, тебе ведь тоже спать надо. Может быть, управишься с ними одна? Разденутся сами, кровати там приготовлены. Вы будете спать в гостиной.

— Конечно, управлюсь,— охотно согласилась Матрена Савельевна,— вы не сомневайтесь. Все сделаем как надо и спать ляжем. Я им сказочку расскажу.

Никита Петрович не возражал. Родители остались, а девочки с бабушкой пошли спать.

— Найдете ли комнату? — крикнула Алла Сергеевна вдогонку как последнее напутствие и тотчас перестала о них думать.

Нина пошла впереди, и скоро люкс был найден. В гостиной и впрямь стояла раскладушка, а две постели были постланы на диванах, одна из них в кабинете.

Дверь на балкон оставалась открытой, в комнатах пахло прохладной свежестью леса, реки, луга. Но ни лу́га, ни реки, ни дальней деревни не было видно. Все прикрыла ночь. Лишь по обеим сторонам балкона вырисовывались на фоне ночного матового неба богатырские шлемы сосен. А когда включили свет, и сосны исчезли.

Матрена Савельевна закрыла дверь на балкон, и тотчас за стеклом появилось отражение комнаты: круглый стол с пепельницей на бархатной скатерти, бронзовая люстра под потолком, поблескивающее пианино в заднем углу.

Нина подняла крышку пианино и, не садясь, положила руку на клавиши. Раздался тихий, мягкий звук, как всплеск рыбы на ночной реке. Но играть она не стала.

— Бабушка, ты хорошо отдохнула?

— Я, Нина, устала, кости ломит, и голова трещит.

— Я тоже устала. Только спать не хочется.

— А у меня глаза слипаются,— сказала Светлана.— Мне даже телевизор теперь ни за какие деньги не нужен.

— Спи, внученька. Куда ляжешь, выбирай сама.

Светлана облюбовала раскладушку и разделась.

— Спокойной ночи, бабушка. Мне и сказки теперь не надо.

— Спокойной ночи, внученька!

— Спокойной ночи, Нина.

— Спокойной ночи, сестричка.

Нина подошла, поцеловала сестру и уселась за круглый стол в гостиной. Сидела она выпрямившись, сосредоточенно глядя вперед, будто готовилась к серьезному шагу в жизни, и, наконец, спросила:

— Тебе, бабушка, очень все нравится здесь?

Матрена Савельевна села с ней рядом.

— Как не нравится, внучка, только ведь я не привыкла к этому. Я в богатстве никогда не жила. Мы дома лаптем щи хлебаем. Это тебе все будто так и надо, а мне порой кусок в горло не лезет.

Нина обрадованно взглянула на бабушку и вдруг, словно решившись открыть ей какую-то страшную тайну своей души, заговорила шепотом:

— Знаешь, бабушка, я не понимаю, что со мной делается, а только и мне иногда кусок в горло не лезет. Подруги из школы ко мне домой не ходят. Пришли раза два, посмотрели и больше не ходят. Говорят, ты богатая. А я разве виновата, что богатая?! Бабушка, я же не виновата? Мне в прошлом году билет на елку в Кремль не дали. Все в классе проголосовали за меня, потому что кругом пятерки, а учительница сказала, что все равно на кремлевскую елку надо посылать бедных, а Круглова богатая. И не дали. Дали двум мальчикам, а они хоть и бедные, но троечники и знаешь какие хулиганы! Папа мне сказал, что он сам достанет билет в Кремль, а я не пошла, это же нехорошо, когда папа все достает. Мама говорит, зачем ты плачешь, дурочка. А я же не виновата, бабушка!

Говоря это, Нина продолжала пытливо всматриваться в бабушку, понимает ли она ее неутешное, неотвязное горе, и крупные чистые слезы вдруг потекли из детских, широко открытых печальных глаз.

— О, господи! — заволновалась Матрена Савельевна.— Как же это я, старая, не подумала о тебе? Голубушка ты моя! Твоей ли голове заботиться о таких делах! — И она придвинулась к Нине, обхватила ее всю, фартуком своим вытерла ей щеки, глаза, нос.— Милая ты моя, зачем же ты себя утруждаешь!

А Нина припала к бабушке и заплакала еще сильнее, еще безутешнее. Плакала, почувствовав в бабушке свою единомышленницу («вот кому можно все, все рассказывать!»), свою настоящую подругу («как же это я раньше не понимала, что бабушка тоже мучается?»), и жалела себя, и радовалась, что теперь она никогда, никогда не будет одна со своими мыслями.

— Папа привез меня однажды в школу на машине, и теперь надо мной смеются: «Ты на чем любишь кататься, на лыжах или на коньках? — Я на папиной машине!» А я не люблю кататься на машине. Я люблю ездить на трамвае. Я говорю маме: «Не провожай меня, ты так одета, словно барыня». А она говорит: «Дурочка, ты ничего не понимаешь!»

А чего я не понимаю, если надо мной смеются? Я же не виновата!

Пока Нина плакала и выкладывала все свои горькие горести, Матрена Савельевна успела собраться с мыслями и решить, о чем следует поговорить с девочкой.

— Богатство богатству рознь, внучка! Папино богатство честное. Он никого не обокрал, не ограбил. Такое богатство не зазор. Всем охота стать богатыми.

Нина подняла голову, задумалась, как будто нащупывала для себя какое-то утешение и вот-вот готова была улыбнуться. Но улыбка не появилась на ее лице.

— Я понимаю, бабушка, но ведь моя Люба как в подвале живет.

— И у нас в деревнях, Нина, не все живут одинаково. Есть колхозы хорошие, есть — так себе.

— Я просила папу: ты все можешь достать, достань, пожалуйста, для Любы комнату. Папа только засмеялся. А знаешь, какая Люба хорошая девочка. Она ничего, ничего никому не говорит, а отца у нее убили фашисты, мама работает врачом в детском саду; директорша закрыла одну уборную, вот они и живут в этой комнате. Люба меня не пускала к себе, а я не понимала и пришла. Пришла, а у нее брат лежит в постели, не шевелится, у него позвоночник туберкулезный; он уже два года лежит не шевелится. Я заплакала, а Любочка бросилась ко мне и давай меня целовать. Целует меня, а сама не плачет. Отчего это, бабушка, одни богатые, а другие бедные?

— О, господи! Нельзя же всех сразу богатыми сделать.

— Так лучше бы всем бедными быть. А то я возьму вот да и уйду из дому!

— Что ты, внученька! Мыслимое ли это дело — от отца с матерью уходить!

Нина сама испугалась того, что сказала, прильнула к бабушке всем телом и зарыдала не сдерживаясь.

Матрена Савельевна с трудом уложила ее в постель.

Аллу Сергеевну пригласил на танцы начальник главка Викентий Федорович, а Никита Петрович направился в одну из бильярдных комнат. Он уже освоился с новой для него обстановкой, почувствовал атмосферу дома отдыха и вел себя непринужденно. Правда, этому ощущению непринужденности и свободы немало способствовал и выпитый коньяк.

В бильярдной стоял дым коромыслом. На каждого игрока

было по меньшей мере шесть-семь болельщиков. Зеленое сукно стола напоминало футбольное поле стадиона. Шары метались от борта к борту, сшибались с резким костяным стуком и, казалось, расщеплялись, будто атомные ядра во время цепной реакции.

Игроки ходили вокруг стола с засученными рукавами, пиджаки их висели в углу. Болельщики потели, не снимая пиджаков. Конечно же среди них были и присяжные остряки. В синеватом папиросном дыму — реальном, а не том, о котором говорится, что он стоит коромыслом,— все происходящее представлялось в призрачном свете, как если бы совершалось под водой.

Никита Петрович поискал глазами, нет ли знакомых, и, никого не обнаружив, сел за шахматный столик у стены.

— Здравствуй, Круглов! — неожиданно обратился к нему сосед.— И ты здесь?

Это был товарищ по институтской скамье, когда-то бывший ему даже другом, Андрюшка Филиппов, ныне начальник видного отдела крупного министерства Андрей Андреевич Филиппов.

В течение ряда лет Филиппов работал в области, часто приезжал в Москву и неизменно навещал Никиту Круглова. Много было выпито вместе бутылок коньяка и водки, много сказано сердечных слов друг другу. Оба раскрывали друг перед другом свои души так, что сейчас и вспомнить страшно.

Филиппов всегда отличался свободомыслием и был большим охотником до сердечных приключений. Все об этом знали, и все ему сходило с рук, пока жена не устроила скандала из-за совершеннейшего пустяка — она случайно застала своего мужа с его собственной секретаршей и написала об этом жалобу по инстанции, то есть вынесла сор из избы. Пока не пойман — не вор, но раз поймали — держи ответ. И Филиппов в области «загремел», его освободили от работы и записали в личное дело партийный выговор. Но в номенклатурных списках работников областного масштаба он остался. В областной газете была дана информация, что «тов. Филиппов А. А. освобожден от занимаемой должности, как не обеспечивший надлежащего уровня руководства», хотя всем было хорошо известна истинная причина свершившегося возмездия.

После этого Филиппов еще чаще стал наведываться в Москву и останавливался на квартире у Круглова. Жену он простил.

Когда семейный скандал в области стал забываться, его вызвали на курсы переподготовки в Москву, а по окончании курсов посадили в министерство. Получив повышение по службе и попав в сферы, до которых Круглов еще не дотянул, Андрей Андреевич все реже стал навещать своего старого друга, ссылаясь на чрезмерную занятость, а потом перестал даже звонить по телефону.

Никита Петрович все понимал и, признавая министерские субординации законом, не обижался.

Сейчас, повстречавшись с Филипповым после двухлетнего перерыва, он поначалу очень обрадовался и несдержанно забросал его вопросами.

— Здравствуй, Андрей! Как я рад тебя видеть. Что поделываешь, как живешь? Что не звонишь?

— Да знаешь, брат, некогда все, штаны просиживаю...

— А здесь ты часто? Неужели каждый выходной?

Последний вопрос задавать, конечно, было нельзя; Никита Петрович спохватился, да поздно. Филиппов равнодушно и с холодком взглянул на него и, отвернувшись к соседу справа, продолжил, видимо, прерванный разговор:

— Что там случилось с Паршиковым, как вы сказали?

— Умер. Сегодня во всех газетах некролог: «Скончался после тяжелой болезни».

— Ай, Ай! Чем же он болел?

— Формулировки у нас определились и в некрологах. «После тяжелой болезни»,— значит, был инфаркт. «После продолжительной и тяжелой» — рак. «Скоропостижно» — самоубийство. Вы еще не знали этих тонкостей?

— Фу, черт! Разве тут догадаешься.

Они разговаривали о смерти знакомого человека так спокойно, как будто не допускали мысли, что им самим когда-нибудь доведется умирать.

— Слышали, сегодня Корней Иванович здесь.

— Сам?

— Да!

— Разве он сюда ездит?

— Очень редко, но старается не отрываться.

В это время один из игроков положил кий, сдавая партию. Никита Петрович встал и так решительно взялся за кий, что очередной претендент, не зная, с кем имеет дело, не посмел заявлять о своих правах.

Никита Петрович играл редко и не очень хорошо, поэтому решили попробовать для начала в «американку».

Противник с первого же удара положил шар в лузу и, довольный собой, громко произнес:

— Смерть немецким захватчикам!

Никита Петрович мысленно вычертил на сукне треугольник и тоже удачно срезал шар в середину. Второй его удар оказался не менее точным, и он ответил на вызов:

— Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!

Бильярдный стол немедленно обступили болельщики.

— О, мастера появились!

— Шакалы!

Посыпались обычные шуточки, с которыми игра становится вдвое интересней и азартней.

Костяные шары сшибались лбами и, кидаясь от борта к борту, вычерчивали сложные кривые и ломаные линии. Если бы эти линии оставались заметными и наслаивались одна на другую, зеленое сукно в надлежащий момент могло бы показаться какому-нибудь восторженному почитателю современного сюрреализма гениальным произведением живописи.

Никите Петровичу неожиданно повезло, и он клал шары в лузы один за другим.

— Вот это работа! — поощряли его репликами.— Квадратно-гнездовой способ.

— Удар на высоком уровне.

— Полюбуйтесь, шары дымятся!

— Классика!

Когда он делал очередной удар, в бильярдной что-то произошло: голоса стихли, болельщики отошли от стола, кто-то с кем-то здоровался, курящие поспешно тушили папиросы. Никита Петрович не успел сообразить, что случилось, и обернуться, как его партнер передал свой кий другому, только что вошедшему в комнату человеку.

Круглов поднял глаза: «В чем дело?» — и увидел перед собой самого́ Корнея Ивановича, большого министра.

— Не откажитесь сыграть со мной одну партию,— сказал Корней Иванович, и у Никиты Круглова ноги подкосились.

Он, вероятно, побледнел, а может быть, покраснел — самому судить об этом трудно. Одно бесспорно, что первая мысль у него была: бежать, немедленно бежать, бросить кий и ринуться прямо в двери, головой вперед! Это было первое желание, и, должно быть, в это мгновение он и был бледен.

В следующее мгновение Круглов испытал совершенно противоположное чувство: торжество! К нему пришла удача!

Наконец-то взошла его звезда! Не растеряйся же, не упусти случая, не проворонь! И, ощутив в душе это везение, осознав его, Круглов покраснел.

Но все это произошло так быстро, что он не сразу взял себя в руки. По крайней мере, не смог ответить на первые слова большого министра, а только пробормотал:

— Здравствуйте, Корней Иванович!

— Здравствуйте, здравствуйте! Сыграем, что ли?

Отступать было нельзя и некуда. Никита Петрович собрался с силами и сказал насколько мог спокойно:

— С удовольствием!

Кто-то, кажется Филиппов, торопливо собрал шары в треугольник (ему помогали), поставил их по всем правилам к точке, и игра началась.

Корней Иванович был высок, выше Круглова, широкоплеч и крепок, но совершенно сед: седая голова, седые брови и, кажется, седые даже ресницы. Из-за того, что хорошо отглаженный тонкий костюм на нем был очень светлым, серебряно-светлым, и ботинки были из белой кожи, Корней Иванович казался седым весь — с головы до ног. И только одно темное пятно было на этом фоне, вернее, два пятна — это были черные пытливые глаза Корнея Ивановича.

Вел он себя просто, старался не смущать людей, ничем не выделяться и потому во время игры говорил какие-то совершенно незначительные слова. Но многими из присутствующих и эти слова воспринимались как откровения, их повторяли, охотно отвечали смехом на любую шутку большого министра.

Первый удар сделал Корней Иванович. Костяной треугольник рассыпался, шары расскочились к бортам и замерли, как отскочили от стола болельщики и рассредоточились вдоль стен в тот момент, когда Корней Иванович только что вошел в эту комнату. Ни один шар в лузу не упал.

— Ваша очередь,— приветливо и добродушно предложил Корней Иванович.

— С удовольствием! — сказал опять Никита Круглов. Странное дело, как он ни волновался, а счастье не покинуло его. С первого же захода он положил в лузы два шара.

— Ого, а вы опасный противник! — воскликнул Корней Иванович.

— Ну что вы, Корней Иванович, это случайность,— скромно заметил Круглов, а сам обрадовался своему везению: «Так, так, только бы не осрамиться, не растеряться, не проиграть, а то он плохо подумает обо мне».

— Прошу, Корней Иванович! Вот эти два лучше стоят...

Министр срезал шар в лузу и удовлетворенно выпрямился:

— Начало есть! Хорошее дело — начало.

Второй удар не дал результата.

— Прошу, ваша очередь.

Зрители постепенно отодвигались от стен, окружали стол. В бильярдную стали заходить новые люди. Откуда ни возьмись, за спиной Круглова появился его хозяин, Викентий Федорович, начальник главка, и дал о себе знать:

— Не робей, Никита Петрович, не робей!

Круглову понравилось, что его назвали по имени и отчеству. Конечно, Корней Иванович не мог знать его, Никиту Круглова, да, вероятнее всего, и не запомнит его, не захочет запоминать — ему и так приходится держать в памяти слишком большое число людей, а это трудно. Но все-таки... а вдруг!..

— Ваша очередь!

Круглов положил еще один шар.

— Держись, Никита Петрович!

На этот раз по имени и отчеству назвал его Филиппов.

«А, черт, вспомнил, как меня зовут! — подумал о нем Круглов.— «Держись...» Почему держись, когда у меня уже три шара, а у Корнея Ивановича только один?»

— Корней Иванович, взгляните на эти, сами падают.

Министр согласился, долго целился, но шар в лузу не упал.

— Увы, у меня не падают, я несчастливый.

Эти слова были приняты как шутка, и все засмеялись.

— Сюда, Никита Петрович! — это сказал опять начальник главка.

Он и Филиппов то и дело подавали голоса из-за спины Круглова. С самим Корнеем Ивановичем они не заговаривали, видимо, не решались, но, казалось, всячески старались обратить внимание присутствующих и его лично на то, что близко знакомы с Кругловым.

С самим Корнеем Ивановичем разговаривал только сам Круглов.

Никита Петрович играл лучше, удачливее, чем министр, но его никто не хвалил, как раньше, а наоборот — подбадривали его, словно и в мыслях не допускали, чтобы кто-то всерьез мог играть лучше Корнея Ивановича.

А когда Круглов, увлекшись, и впрямь начал выигрывать партию,— все притихли. Кто-то даже снова закурил.

Надвигалась угрожающая тишина осуждения, которая должна была вовремя предупредить, остановить Круглова, заставить его опомниться, подумать о своем жизненном пути, наконец, о семье, о детях.

Но Круглов ничего не замечал. Он увлекся, забылся.

Больше других забеспокоились непосредственный начальник Круглова, Викентий Федорович, и его старый друг Филиппов. Казалось, на карту была поставлена их собственная судьба, их служебная карьера.

Наконец Викентий Федорович не выдержал, улучил момент и, ткнув Круглова в бок, шепнул ему:

— Что вы делаете, черт возьми! Разве так можно?!

Шепнул и осклабился, делая вид, что он шутит.

Но Круглов принял его предупреждение всерьез и так сразу заволновался, так у него начали дрожать руки, что он стал мазать и действительно проиграл партию.

— Что с вами? — спросил Корней Иванович, когда Круглов, вместо того чтобы положить последний шар, выставил два штрафных.— Нехорошо!

— Простите, Корней Иванович, сам не понимаю, устал, наверно, глаз притупился.

И хотя Круглов проиграл партию вовсе не потому, что захотел проиграть, все решили, что он сделал это сознательно, и, по окончании игры, окружили его, одобрительно заглядывая ему в глаза, заговаривали с ним, будто поздравляли с победой.

Корней Иванович положил кий, мыл руки и смеялся:

— Задали вы мне жару, коллега. Ну, думаю, пропал мой авторитет безвозвратно!

Настроение у всех было хорошее, но играть в бильярд после такой знаменательной партии больше никто не стал.

Викентий Федорович проводил Никиту Петровича до его номера, пожелал ему спокойной ночи, а утром в столовой сел с ним завтракать за один стол.

В комнату Никита Петрович не вошел, а ворвался.

— Жена! Алла! — закричал он еще от порога.

— Тише, Микита, девочки спят,— полушепотом предупредила его Матрена Савельевна.

Она стояла у балкона в своем экзотическом наряде, чуть приоткрыв дверь, и плакала. Сын увидел ее печальные, покрасневшие от слез глаза, набрякшие веки, мокрые щеки.

— Что с тобой, старушка? Ты еще не ложилась?

— Не ложилась.

— А плачешь зачем?

— Так, плачу, и все. Петуха вот услышала...

— Опять петух? При чем тут петух?

— Поет, полуношник. Хорошо поет. Дома у меня тоже поет в этот час. И голоса схожи.

— Ну и что?

— Ну, я и заревела.

— Ничего не понимаю! Да ты знаешь, что сейчас произошло?

— Не знаю, Микита.

— Где жена?

— Она еще не приходила. Наверно, с начальником твоим опять...

— Начальник со мной был, мама. Чего ты выдумываешь?

— Я ничего не выдумываю. У тебя свои глаза есть... С жиру вы беситесь оба. А у нас там, Микита, знаешь, как живут?

— Знаю, знаю!.. Но тебе-то чего не хватает?

В голосе его появилось раздражение.

— Ложись-ка ты спать, мама,— сказал он немного погодя.— Об этих деревенских делах думают головы получше наших с тобой. Есть руководители, которые на три метра под землей видят.

— Эти руководители на таких, как ты, надеются. А ты, вишь, и думать не хочешь. Да хорошо бы и мужикам самим дать думать.

— Ложись спать! У меня в жизни назревают такие события, с ума сойти можно. Хотел тебе рассказать, а ты все о своем. Надо тебя свозить в хороший колхоз, может, поймешь что-нибудь, поглядишь и успокоишься.

— Душа ведь болит, Микита.

На следующий день после завтрака Никита Петрович с женой, матерью и детьми бродили в окрестностях санатория. Они осмотрели спортивные площадки, заглядывали во всевозможные крытые беседки в сосновом бору, побывали в оранжерее, где выращивают цветы для помещений санатория, прошлись по поселку, в котором живет обслуживающий персонал,— около пятнадцати двухэтажных домов с клубом, детсадом, магазином.

Девочки бежали впереди, кидались за бабочками, всему радовались. Нина забыла все свои горькие ночные мысли о

бедности и богатстве. Солнце светилось из ее глаз, ей было легко жить — и всё тут.

Никита Петрович после всего того небывалого, невероятного, что произошло с ним вчера, чувствовал себя счастливым необычайно и расхваливал матери все, что ни встречалось на пути, словно он водил ее по своим личным владениям.

Особенно хорошо было на озере. С железного мостика, который заходил далеко в воду, они долго следили за рыбой. На глубине, среди мелких водорослей, караси то и дело показывали свои золотые кольчужки. Сазанчики всплывали на поверхность и ловили с воды мотыльков и кузнечиков. Стрекозы, стрекочущие как маленькие вертолеты, парили среди камышей.

И озеро, и весь роскошный сосновый бор были ограждены высоким забором.

На берегу в разных местах на металлических столбиках виднелись надписи: «Запретная зона. Ловля рыбы воспрещена». Или: «Вход посторонним воспрещается». Кое-где забор был сломан, доски растащены. Никита Петрович, как настоящий хозяин, потребовал объяснений у проходившего служащего:

— Чья это работа? Ремонтировать некому, что ли?

И служащий, вроде бывалого старосты, сразу начал скулить:

— Не успеем отремонтировать, опять ломают. Из соседнего колхоза лезут, на дрова тащат. Фонарей набраться не можем, камнями сшибают. Раньше здесь было поместье, ну и вредят по старой памяти.

— Несознательные! — сказала на это Матрена Савельевна.

— Конечно, несознательные. Злятся! Это ж какой народ!

В полкилометре от озера, за сосновым бором, они вышли на территорию совхоза. Матрена Савельевна издали увидела дождевальные установки и ахнула:

— Что это?

Гидромониторы, высоко взметнув к небу свои железные хоботы, похожие на телескопы, плавно и медленно поворачивались вокруг своей оси и на большом пространстве поливали землю дождем. Солнечный свет преломлялся в водяной пыли, и над землей стояла самая настоящая многоцветная радуга. Иногда их появлялось две, даже три.

Девочки первые бросились по полю и, пока взрослые подходили, успели принять холодный душ. Платья их при-

липли к телу, волосы обвисли, голубые ленты потемнели, стали синими. Сами они повизгивали и сияли от счастья.

— Кукурузу видала, мама? — спросил Никита Петрович.

— Второй год сеем, а еще не видала.

— Ну вот смотри!

Они сошли с дороги и углубились в мокрую кукурузу, как в молодую бамбуковую рощу. Матрена Савельевна и невестка скрылись с головой, Никита Петрович был выше кукурузы. На сочных зеленых стеблях завязывались початки с пушистыми серебристыми кистями — два, три, четыре на каждом стебле.

— Вот она какая! А у нас только росточки тут, да — инде появятся — и всё. Даже не убираем. Председатель подсчитал, говорит, каждый росток обходится в пятнадцать трудодней. И земля пустует. Надо бы начать с малого, приноровились бы, так нет, нельзя, заставляют сеять сразу двадцать гектаров. Сеем... По миру, что ли, хотят пустить нас?

— Видишь, растет же!

— Растет. С таким дождем что хочешь вырастет. Записали бы нас всех в совхоз, посадили бы на жалованье, тогда и командуй как знаешь, сей, что в голову взбредет. А без жалованья с умом надо.

Подошли к картофельному полю. Матрена Савельевна огляделась кругом — народу близко нет! — и выдернула из гнезда куст ботвы.

— Посчитайте — сколько?

Насчитали пятнадцать картофелин, больших и маленьких.

— Нет ли еще?

Она погрузила руки в мягкую влажную землю, нашла еще несколько штук.

— Вот это урожай будет. Дай-то бог!

— Убегайте скорей,— закричали девочки,— дождь подходит!

Алла Сергеевна вскрикнула и, подобрав подол своего креп-жоржета, опрометью бросилась назад. Она вышла сухой из воды. Никита Петрович не заторопился, не изменил своей солидности, а Матрена Савельевна просто не понимала, почему нужно бояться смокнуть, поэтому оба они были застигнуты струей из гидромонитора, который сделал за это время полный оборот.

— Как святой водицей окропило,— сказала Матрена Савельевна.

С опушки соснового бора все они еще раз обернулись и полюбовались радугой, передвигавшейся над полем по кругу вместе с фонтанирующей трубой. Можно было подумать, что эта труба не только выбрасывает воду, но и подсвечивает ее.

— Вот тебе и небесное явление! — сказал Никита Петрович.— Наглядная антирелигиозная пропаганда.

После этого Кругловы спустились к реке, посидели на берегу с рыбаками. В ведерке у одного из них плескались окуньки, подлещики, и это раззадорило Нину: ей захотелось во что бы то ни стало дождаться, когда будет вытянута у всех на глазах хотя бы еще одна рыбка.

— Вы не возражаете, посидим около вас? — спросила Алла Сергеевна, узнав о желании дочери.

— Пожалуйста!

— Попробуем дождаться удачи.

— Ждите.

Рыбак, человек средних лет, прилично одетый, в шляпе, в кожаных с высокими голенищами сапогах, осмотрел с головы до ног Аллу Сергеевну, Никиту Петровича и девочек, скосил глаза на бабушку и начал возиться с червями в коробке. Он не изъявил особого желания разговаривать, но бабушка вызывала доверие и заинтересовала его. Взглянув на нее сбоку еще раз, он промолвил:

— Вот это одеяние! Либо из Каргополя, либо из хора имени Пятницкого.

— Одёжа приглянулась? — догадалась Матрена Савельевна.

— Так и есть, говорок каргопольский,— утвердился в своей догадке и рыбак.— А наряд яркий, что тебе наживка на окуня.

— Вы бывали в Каргополе? — полюбопытствовал Никита Петрович, усаживаясь на траву рядом со всеми.

— Доводилось.

— Родом оттуда?

— Нет, по делам службы бывал. Песни записывал.

— Каково клюет?

— Какой здесь клев! По сотне охотников на каждый рыбий хвост.

Тогда Матрена Савельевна посоветовала ему:

— Ты, милой, иди на озеро, вон оно, рядышком. Там никого нет, а рыбы хоть пруд пруди.

— Спасибо, добрая душа! — нарочито окая, ответил рыбак.— Только здесь не Каргополь. Все лучшие угодья, охотничьи и рыбные, огорожены оградами. Иной начальник не больше окунька, а у него свое озеро, свой бор-косогор. А я, как говорится, простой человек. Негоже лезть куда не положено.

— Разреши ему, Микита! — попросила Матрена Савельевна сына.— Озеро не руками сделано, оно для всех свое.

Никита Петрович на мгновение смутился, но вышел из положения.

— Хорошее дело, мама, но я же не могу. Притом разрешить одному — все пойдут, что́ останется от парка! Закон для всех одинаков.

— Не для всех одинаков! — снова резко, как уже было однажды вчера, сказала Матрена Савельевна и поджала губы.

Рыбак даже про удочку свою забыл, опешил и пытливо смотрел то на бабушку, то на Никиту Петровича. Он вспомнил вдруг, что находится вблизи очень важного санатория, и, кажется, вообразил, что может узнать Никиту Петровича по портретам.

— Прости, милой, что я понапрасну раздразнила тебя,— извинилась перед ним Матрена Савельевна и встала.— Пошли, девочки!

Никита Петрович и Алла Сергеевна послушно поднялись и двинулись за нею. Девочки чуть не заплакали от огорчения.

Рыбак долго смотрел им вслед. «Вот тебе и Каргополь! — думал он.— Как она их в руках держит. Справедливая старуха!»

После обеда Матрена Савельевна забралась в комнату и больше никуда не хотела выходить. У Аллы Сергеевны появилось много знакомых, она из столовой не вернулась. Девочки бегали в парке одни.

В гостиных дома отдыха опять играли в домино, в карты, гоняли шары на бильярде, сидели у телевизора, несколько человек в кинозале просматривали новый итальянский кинофильм.

Никита Петрович не любил итальянские фильмы, слишком много было в них трагедий, тяжелой будничной жизни.

Нравились ему фильмы венские — пышные декорации, роскошные женщины в изысканных туалетах: было чем полюбоваться, о чем помечтать. Венские фильмы давали отдых, итальянские раздражали, утомляли.

Никита Петрович долго бродил один из гостиной в гостиную, поднимался по винтовой лестнице в стеклянную башенку на крыше, напоминавшую рубку корабля, и оттуда смотрел поверх сосен вдаль, на все четыре стороны.

На большом протяжении была видна река — то узкая, то широкая, с крутыми изломами и поворотами, с берегами, то высокими, поросшими лесом, то низкими, луговыми, на которых стояли стога сена. Местами река совсем исчезала в густом лесу, словно уходила под землю, оставляя после себя лишь видимый след оврага; вершинная кромка леса там понижалась, прогибалась, образуя большой зеленый лоток. Местами вода опять появлялась на поверхности, как бы выпирала из-под земли, и, сверкающая под солнцем, казалась выгнутой, бугрообразной, текла выше леса.

Кое-где видны были и деревни — в низинах, на холмах; какие-то заводы с высокими кирпичными и металлическими трубами, подпирающими небо; телеграфные столбы, водокачка, ажурные опорные мачты высоковольтных электролиний, похожие на Эйфелеву башню. Над лесом летали вороны.

Если бы хороший бинокль, может быть, отсюда можно было разглядеть и высотные здания столицы.

Никита Петрович подумал, что неплохо бы сюда привести мать. Только ведь не поймет она ничего! Разве красота может до нее дойти? Удивительная заскорузлость души и ума — ничего не хочет знать, кроме своей деревни, своей земли, своего навоза. Не ценит, какие блага на нее свалились, настолько не ценит, что порой она, родная мать, становится непонятной ему, сыну.

А хорошо здесь! Никита Петрович еще раз посмотрел на все четыре стороны. Советская Россия была перед ним во всей своей красоте и неповторимости. Орлам бы здесь парить, а не воронам летать.

Но ему все-таки было скучно, чего-то не хватало. Покинув стеклянную беседку на крыше, он снова стал ходить по гостиным. В одной из них среди танцующих под радиолу он увидел жену с Викентием Федоровичем. Квадратный, с брюшком, начальник главка проделывал все, что требовалось в танце,— и крутился, и притопывал, и приседал, но делал

все это небрежно, как-то снисходительно, словно выполнял никому не нужные формальности, а сам имел в виду одну, заранее обдуманную, определенную цель и старался ради достижения этой цели: «Вы же меня знаете,— казалось, говорил он,— не это мне надо, совсем не это, мне гораздо большего хочется, но ежели иначе нельзя, ежели нельзя без этого — пожалуйста!..»

И Викентий Федорович и Алла Сергеевна заметили Круглова. Викентий Федорович озорно, по-приятельски, подмигнул ему, словно хотел сказать: дескать, мы-то понимаем друг друга, мы-то знаем, чего нам обоим хочется... Алла же Сергеевна слегка смутилась и покраснела.

Никиту Петровича это никак не тронуло, не взволновало. «Мало ли что мать говорит, ерунда все, мелочи...»

Ему не хватало чего-то другого. Чего? Почему он не находил себе места? Он, кажется, сам не знал.

И лишь когда исходил все здание и случайно услышал разговор о том, что рано утром из Москвы был звонок по вертушке и Корней Иванович срочно выехал на какой-то официальный прием, Никита Петрович осознал свою тревогу, понял самого себя. Честнее сказать, он понимал себя и раньше, но только сейчас признался себе в том, что весь день думал о Корнее Ивановиче и искал встречи с ним.

В доме отдыха было немало разных министров, еще больше заместителей министров, но такой, как Корней Иванович, приехал только один. И не могло быть простой случайностью, что судьба столкнула Круглова так близко, накоротке, именно с ним. Судьба что-то имела в виду, Никита Петрович в это верил. Такие встречи случайно у нас не происходят. Невозможны у нас такие случайности!

Если быть честным до конца, то можно признаться еще в одном: всю эту ночь Никита Петрович не спал. Спокойно спали девочки, спала жена, спала даже мать, он не спал. Он готовился к большим событиям, к большим свершениям в своей жизни. К каким? Предугадать невозможно, но они должны были произойти.

В столовой за завтраком Корнея Ивановича не оказалось. Круглов решил, что это к лучшему, не следует часто, с утра попадаться ему на глаза. Вероятно, Корней Иванович принимает пищу у себя в люксе. («Интересно, какой у него люкс — такой же, как этот, или совсем другой? Не может быть, чтобы был такой же!») Потом, отправившись с семьей на прогулку, Круглов думал, что будет лучше, если он не

увидит Корнея Ивановича и до обеда. Как бы не выдать себя, как бы не показать, что он ищет встречи с Корнеем Ивановичем! Пусть она произойдет как бы случайно, так же как произошла вчера на бильярде.

В том, что встреча еще будет, Круглов не сомневался и потому не волновался.

Волноваться Круглов начал только после обеда, когда, обходя дом отдыха, он не только ни разу не увидел Корнея Ивановича хотя бы издали, но даже не почувствовал нигде его присутствия. А подслушанный разговор об отъезде большого министра совершенно ошеломил его.

Всю ночь не заснув ни на минуту, всю ночь проворочавшись с боку на бок, Круглов с утра был в отличном настроении, здоров, бодр. Сейчас же — сразу сник, сразу смертельно устал, глаза его померкли и остановились, как от испуга.

«Не может быть, чтобы он забыл об этой встрече,— думал Круглов.— Не может быть, чтобы никогда, ничего подобного больше не произошло. Ведь так все хорошо получилось!»

Никите Петровичу тяжело дышалось, словно он только что был на большой высоте, в разреженном воздухе, и вдруг резко, стремительно снизился.

— Что, Микитушка? — спросила Матрена Савельевна, когда он вошел в номер и опустился на кожаный застонавший диван.

— Ехать надо,— сказал он.

— Ехать? Я сейчас девочек поклича.

— Где Алла? Ах да, я же ее видел.

Никита Петрович с трудом сходил вниз, к телефону, и вызвал из Москвы машину.

Домой все, кроме девочек, вернулись утомленные, измученные, как будто ездили не на отдых, а на уборку картофеля.

Никите Петровичу казалось, что они с женой делают все, чтобы мать-старушка обосновалась в их семье навсегда, чтобы жизнь в большом городе ей полюбилась. Но прошло три месяца, а он вдруг стал замечать, что мать все еще тоскует по родной деревне.

На днях, после возвращения из дома отдыха, старшая девочка его, Нина, неожиданно заявила отцу:

— Бабушка от нас все равно уедет!

Почему уедет? Зачем уедет? Чего ей здесь не хватает? Одета, обута, питание — дай бог! И никакой работы, только и дела, что сказки внучкам рассказывай с утра до вечера да по ночам у телевизора сиди. Разве можно сравнивать эту жизнь с ее тамошней, с деревенской? Уж он-то знает, что́ за сладости там, в ее лесных пенатах.

Никита Петрович был обижен. Оскорблены были его лучшие чувства! Чем еще он не угодил ей?

— Бабушка от нас все равно уедет! — повторила Нина.

И заплакала.

1957 г.

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Ничего особенного не случилось: Павел Алексеевич Солодков по-прежнему оставался секретарем райкома партии, коим был уже много лет. Его только перебрасывали в новый район. Правда, менялась обстановка: район был высоко в горах, далеко от областного центра и заселен в основном алтайцами и казахами — животноводами, а не русскими хлебопашцами. Но какая разница! Солнце там есть? Есть! Земля наша, советская? Без сомнения! Значит, можно жить и работать по-прежнему! — думал он, припоминая нечто подобное, сказанное летчиком Чкаловым. Не встревожилась и семья Павла Алексеевича. Жена его, предприимчивая и осторожная, настоящая хозяйка в доме секретаря, давала мужу обычные перед отъездом наставления:

— Ты, Павлуша, только не горячись, не спеши, присмотрись — все будет хорошо, все наладится и на новом месте.

— Ладно, Рая, молчи! — повторял Павел Алексеевич, хотя всегда ждал и хотел, чтобы она высказывалась по любому серьезному поводу.

С некоторым беспокойством и неловкостью думал Павел Алексеевич лишь о предстоящей встрече с Крюковым, которого должен был заменить на посту первого секретаря.

Крюкова он знал и помнил по областным совещаниям. Это был высокий красивый человек лет сорока с крупными чертами лица, с твердым пристальным взглядом, видимо, властный и уверенный в себе. На совещаниях выступал он не часто, но когда выступал — его слушали. Четкий круглый бас свободно доходил до самых дальних рядов, мысли были ясными, предложения определенными и понятными для всех. Крюков говорил так, будто размышлял вслух. Казалось, что он далеко пойдет, и Павел Алексеевич это учитывал. Да, многие учитывали!..

Вспомнил Павел Алексеевич, как однажды Крюков вступился за какого-то председателя райисполкома, которому давали нагоняй за то, что он ежегодно возвращает средства, отпускавшиеся на строительство Дома культуры, а в районе негде было даже кинокартину провернуть. Крюков просто и

убедительно доказал, что бессмысленно начинать стройку с такими мизерными ежегодными ассигнованиями, к тому же район ни разу не смог получить каких-либо строительных материалов, а закупать их на стороне по свободным ценам не имел права. В другой раз Крюков, в присутствии приехавшего в область министра, рассказал о нелепой практике, когда сборные деревянные дома, поступавшие чуть ли не из Финляндии, оседали в лесозаготовительных районах, где они были совершенно не нужны, а в степи в это время новоселы-целинники мерзли в палатках. Крюков требовал сборные дома и для себя, в свой высокогорный район, и ему не прочь были бы дать, но ведь хлопот сколько, далеко возить надо... В общем, получалось так, что он выносил сор из избы, и хотя областному начальству тогда его выступление не очень понравилось, для дела оно оказалось очень полезным.

Но был у Крюкова и недостаток: он не всегда мог хорошо ответить на реплики из президиума, вероятно терялся, и не умел, когда требовалось, признавать свои ошибки и надлежащим образом каяться...

Павлу Алексеевичу не совсем было ясно, почему Крюкова снимали с работы. Чего-то, видно, не вытянул, на чем-то споткнулся. На чем?.. И Павел Алексеевич снова и снова пробовал представить, каким будет его разговор с этим человеком, к которому он раньше относился с уважением. Возможно, Крюков будет зол и угрюм — это, пожалуй, больше вяжется с его независимым характером. А может, наоборот, будет чрезмерно услужлив и добр, попытается завязать дружбу, чтобы, при случае, опереться на его, солодковский, авторитет, если в районе обнаружатся еще какие-нибудь неприятности. Может, даже попросит не все доводить до сведения высокого начальства — все-таки спасать положение в крюковском районе послали не кого-нибудь, а его, Солодкова, и от него теперь зависит многое... Последние предположения относительно Крюкова казались для Павла Алексеевича при нынешнем стечении обстоятельств более вероятными и естественными, хотя он даже себе не признался бы в том, что хотел иногда увидеть своего товарища и с такой неприглядной стороны.

К месту нового назначения Солодков выехал рано утром, когда густой туман ограничивал видимость, и первые десятки километров пути ничто не отвлекало его от этих воспоминаний и размышлений. Стекла обкомовской «Победы» казались матовыми, сквозь них иногда лишь проглядывались

какие-то темные пятна, неясные очертания близко мелькавших скал и огромных хвойных деревьев.

Но вот утренний туман исчез. Он не рассеивался постепенно, а оборвался на крутом подъеме сразу, стеной, как это часто бывает в горах, словно машина вдруг вырвалась из длинного подземного тоннеля. Сразу наступил солнечный день, появилось небо, лесистые вершины, бурные потоки и убегающее вдаль по ущелью, вьющееся среди зелени серебристое асфальтовое шоссе.

Чем выше, тем ущелье становилось у́же, и когда одна его сторона ярко освещалась солнцем, другая погружалась в тень, краски ее меркли, а каменные обрывы местами казались совершенно черными.

На дороге и по сторонам ее стали попадаться бесчисленные овечьи отары. Их охраняли конные пастухи-алтайцы и собаки. Эти скопища овец издали напоминали осыпь серых камней-валунов. Пробиться сквозь встречную отару было невозможно, приходилось останавливать машину и пережидать, пока овцы — блеющие, жующие, поднимающие тучи пыли и беспрерывно посыпающие асфальт черным горохом,— скатятся, обтекая машину с обеих сторон, вниз.

Встречались также табуны откормленных лошадей, стада коров, среди которых мелькали какие-то странные, незнакомые Солодкову коровы с конскими хвостами и с рогами широкими, как у буйволов. Когда «Победа» попадала в средину стада, Солодкову становилось страшно этих огромных и острых рогов: казалось, они вот-вот начнут дробить боковые стекла, колоть и кромсать жестяные стенки кузова.

Замирал Павел Алексеевич также на резких поворотах и на крутых спусках дороги.

— Ты не лихач? — спрашивал он шофера, подозрительно посматривая на его простецкое напряженное лицо с широко поставленными глазами и на заскорузлые рабочие руки, слившиеся с колесом рулевого управления.— Осторожнее, не картошку везешь!

А шофер побаивался только военных грузовиков. Они проносились целыми колоннами с воем, со свистом по самой середине узкого шоссе и не сторонились, а, наоборот, старались сбить маленькую «Победу» на обочину или под откос. Особенно опасно было обгонять их. Шофер «Победы», выждав, когда появится наиболее ро́вный и прямой отрезок пути, подходил к грузовику сзади вплотную и начинал настойчиво, беспрерывно сигналить, как бы упрашивая, умо-

ляя военного водителя посторониться, но тот нарочно давал газу и ехал левой стороной.

— Вот кто лихачи,— ругался и жаловался шофер Павлу Алексеевичу.— Управы на них, видно, нет. Тут что ни день, то авария. Двинут тебя кузовом и — драпа, а ты загорай в канаве. Действуют, как на фронте: ищи ветра в поле!

— Это уже не лихачество, а хулиганство, уголовщина! — разъяснил Павел Алексеевич.

— Военные ж!

Во второй половине дня потребовалось заправить машину: бензоколонка на трассе была единственная, дальше, вплоть до государственной границы, надеяться ни на что не приходилось.

Заправлялись машины самых разных марок — районные и областные, совхозные и курортные, горнорудных шахт и научной экспедиции по раскопке древних курганов. Только колхозные грузовики добывали бензин «налево»: открыто перекупали его у самосвалов тут же, у бензоколонки. Солодков видел это, вздыхал, но ничему не удивлялся: колхозам повсюду не хватало лимитного бензина.

В очереди на заправку простояли около двух часов, поэтому пришлось подумать о ночлеге. Шофер предложил свернуть в оленеводческий совхоз, где можно было неплохо провести ночь. Павел Алексеевич согласился.

Остановились в доме для приезжающих. Из окна дома Солодков увидел на склоне горы могучие лиственницы и кедры — целый бор. За высокой бревенчатой изгородью на изумрудно-зеленых, освещенных закатом полянах паслись маралы, спокойно, как коровы, а вдали, среди стволов, изредка мелькали стройные пятнистые олени.

Директор совхоза, юноша, недавно окончивший Московский пушно-меховой институт, узнав, что в его поселке проездом отдыхает новый секретарь соседнего райкома партии, пришел познакомиться с Солодковым и настойчиво рекомендовал ему задержаться на денек, чтобы осмотреть хозяйство совхоза и присутствовать при срезке пант. Крюков однажды провел у него два дня, и директор рассказывал о нем много и охотно.

— Разносторонний человек, пытливый, дотошный. Интересно, что уже на другой день олени его признали и не боялись.

В глазах молодого директора это, видимо, была наилучшая характеристика, какую можно было дать человеку.

За что Крюкова сняли с работы, он также не знал и даже не хотел разговаривать об этом.

Павел Алексеевич не остался в совхозе, решив, что все еще успеется и он побывает здесь в другой раз.

На следующий день с утра дорога по ущелью еще резче пошла на подъем. Порожистая река, которую они то и дело пересекали по деревянным и металлическим мостикам, кипела, как водопад, уже на всем ее протяжении. На горизонте все чаще появлялись снеговые вершины. Маленькие водяные потоки, срывавшиеся с отвесных каменных громад, походили на сыпучие струи сухого распыленного снега.

Павла Алексеевича начало немножко поташнивать. Шофер заметил это и сказал:

— Трудно вам здесь будет. К такой высоте привыкать придется.

С одного из перевалов Солодков увидел строящуюся гидростанцию. К зданию ее сверху спускались под большим углом две мощных трубы. Вода еще не поступала. По-видимому, монтировались агрегаты.

— Чья это? — спросил он.

— Крюковская,— ответил шофер.— Теперь ваша, межколхозная. Крюков, я слыхал, сам инженер.

И Солодков начал опять думать о предстоящей встрече с Крюковым.

Наконец миновали последний скалистый выступ и вырвались в солнечную степь. Сразу стало так светло и просторно, словно они въехали прямо на небо. Не успел Павел Алексеевич осмотреться, как с обеих сторон замелькали домики районного поселка.

Когда машина остановилась перед деревянным двухэтажным зданием райкома партии, в окнах его что-то замельтешило, забегало, и с крыльца, заскрипевшего, словно от боли, быстро спустился сам Крюков. Пригнувшись, он заглянул в машину через ветровое стекло и, узнав Солодкова, поспешно распахнул для него переднюю дверцу.

— Ну, здравствуй, Павел Алексеевич, здравствуй! С приездом! Как добрался? — радушно заговорил он.

«Видно, сидел в райкоме и ждал»,— подумал Павел Алексеевич, вылезая из машины и радуясь, что встреча произошла так просто.

— Добрался, спасибо. Ох, и дорога сюда: вверх-вниз, вверх-вниз, да кругами, кругами... Небо и горы, орлиные места. Красоты всякой много, только с непривычки в глазах

рябит,— и он хотел было обнять Крюкова, но не решился, потому что не знал в точности, за что он снят с работы, и потому только подал руку, которую тот крепко потряс.

Солодков был невысок, кругловат от рождения, из-за чего даже собственная жена называла его порой Колобком. Щеки у него были тоже круглые и розовые, а брови белесые, реденькие, их почти не было заметно, и потому все лицо Солодкова казалось еще более круглым и ласковым. Да весь он казался очень ласковым.

— Красоты много. И высота здесь большая, воздух разреженный, здоровый. Но поначалу может и голова заболеть, привыкать придется,— сказал Крюков и снова заглянул в машину через заднюю дверь, готовясь открыть и ее, но в машине никого не было.— Где же твоя семья? — спросил он.— Почему хоть жену не взял?

— За женой дело не станет, приедет. Надо осмотреться сначала, устроиться... Зачем спешить?

— А чего устроиться? Для тебя уже все подготовлено. Квартиру я освобожу немедленно. Правда, квартирка неважная, но лучшей здесь нет. Видишь, какие постройки! — Крюков кивнул головой в сторону поселка.

Районное селение находилось с краю широкой ровной долины среди гор. Мелкие глинобитные домики с плоскими крышами примыкали один к другому, как лепные птичьи гнезда. Среди них двухэтажное здание райкома стояло торчком, словно сурок, настороженно поднявшийся у степной дороги. Улиц не было — только переулки, проезды да проходы между домами и такими же низкими глинобитными оградами. Ни одного деревца, ни одной побеленной стены. Не было зелени и вокруг поселка. Вся долина просматривалась до горизонта — гладкая, круглая, окаймленная снежными вершинами гор. И хотя горы казались совсем рядом, а долина маленькой, на самом деле это высокогорное плато было такое широкое, что представлялось выпуклым, как безбрежная гладь моря, и на горизонте виден был не весь горный хребет, а лишь его белоснежные вершины, алтайские белки́. Орлы здесь летали совсем низко, над самым поселком, как воро́ны,— они чувствовали себя в своих владениях, на своей орлиной высоте. Вдали среди альпийских трав в разных местах стояли одиночные пастушьи алтайские аилы, казахские юрты. Полдневное солнце жгло со всей возможной силой, но жары не ощущалось, с белков струился прохладный чистый воздух. И только из-за пыли, мелкой, удушливой, накрывавшей весь поселок после каждой проез-

жей машины, возникало впечатление тяжелого июльского зноя.

Особое место занимал в этой оголенной пастушеской степи небольшой военный городок. Из-за массивной стены с тяжелыми, наглухо запертыми воротами и часовыми у ворот вздымались к небу кирпичные московского типа дома с белыми колоннами и балкончиками, блестели на столбах матовые шары электрических фонарей, у кинотеатра покачивались ярко-зеленые вершинки молодых тополей, шумели фонтаны. Там была другая жизнь. Перед воротами городка, в двухстах метрах от райкома, избитая, изрытая, ухабистая дорога резко обрывалась, переходила в асфальт. Верилось, что вот-вот раздвинутся стены городка, электрические провода перекинутся в кривые переулки старинного районного центра и весь он оживет, зашумит тополями, выравняется, преобразится. Но когда это будет? А пока плоские крыши и облезлые стены мазанок рядом с этой величавой стеной казались еще более неприглядными.

— Да, столица! — раздумчиво протянул Павел Алексеевич и как бы ободряюще похлопал по плечу Крюкова.— Ничего, все наладится. Ну, пошли, что ли?

— Пошли, пошли, Павел! — вдруг заторопился Крюков и взял из рук шофера один из солодковских чемоданов.

Крюков был на голову выше Солодкова, и Павел Алексеевич помнил об этом, помнил, как в обкоме, в перерыве между заседаниями, он, бывало, издалека в толпе замечал его красивую крупную голову и протискивался, чтобы обменяться с ним рукопожатиями. Но сейчас они стояли рядом и у Павла Алексеевича не было ощущения, что Крюков выше его ростом. Тревожное ожидание неловкости первой встречи сменилось у нового секретаря удовольствием, что все обошлось так хорошо, и он относил это за счет своего покладистого, мягкого характера, своей общительности. Казалось, что и Крюков держался совершенно свободно, без какой бы то ни было скованности. Более того, Павел Алексеевич вдруг увидел, что тот просто рад его приезду, увидел и поверил в это, и ему стало легко и хорошо.

На крыльцо райкома первым поднялся шофер с чемоданом. Сухо заскрипели тесовые доски, дрогнули и чуть перекосились перила, и вслед за этим невидимая рука изнутри распахнула входную дверь. За шофером через порог шагнул Павел Алексеевич, за ним Крюков с чемоданом. Пока они входили, дверь придерживал чистенький, подобранный молодой человек с усиками, в очень широком плечистом пид-

жаке. Он же первый и приветствовал нового секретаря: какое-то мгновение быстрые глаза его растерянно смотрели то на шофера с чемоданом, то на Солодкова, то на Крюкова, напрягались, волновались и, наконец, решительно остановились на Павле Алексеевиче, и молодой человек воскликнул:

— Проходите, Павел Алексеевич! Здравствуйте!

— Здравствуйте! — ответил Солодков.

— Это наш общий отдел — Брошкин,— отрекомендовал его Крюков.

А Брошкин отпустил наконец дверь, которая сразу захлопнулась, подхватил чемодан у шофера — у солодковского шофера, а не у Крюкова — и бросился вперед по узкому темному коридору к кабинету первого секретаря.

«Наверно, местный сердцеед»,— подумал о нем Солодков.

По обе стороны коридора было много фанерных дверей, как во всяком сельском райкоме. В коридор выходили и печи. Одна из дверей чернела клеенкой. Ее открыла и, так же как Брошкин, попридержала девушка-машинистка.

— Здравствуйте, Павел Алексеевич! — сказала она.— Пожалуйста! — и показала на следующую дверь, которая вела уже непосредственно в кабинет первого секретаря. Эта последняя оказалась значительно тяжелее других, так же обита клеенкой и была двойной, а потому напоминала вделанный в стену шкаф.

«Все, как было и у меня»,— подумал Павел Алексеевич и, вскинув глаза, удивился: на темной стеклянной дощечке поблескивали уже его фамилия и его инициалы. «Ишь ты, подготовились... успели вывеску переменить... быстро!» — и он взглянул на Крюкова. С такой предупредительностью он еще не сталкивался ни разу.

— Входи, входи, Павел Алексеевич, не робей! — весело заговорил Крюков, ставя его чемодан у стола машинистки, и уже взялся было за дверную ручку, чтобы открыть перед ним свой кабинет, но также заметил новую надпись, заметил, видимо, впервые и невольно помрачнел и замялся. При этом он сделал такое движение, словно хотел постучать в дверь, прежде чем войти в нее. Заминка эта была недолгой и почти незаметной ни для кого. Крюков быстро овладел собой, резко распахнул дверь и вошел в кабинет первым.

— Вот, друг, твои владения, принимай, садись и властвуй! — шутливо сказал он.

К большому письменному столу секретаря, заваленному папками, газетами, примыкал под прямым углом другой стол, покрытый зеленым сукном, с обеих сторон которого

были вплотную придвинуты дешевые гнутые стулья. На одной из стен висели карты — района, области и Советского Союза и, как всюду,— портреты членов Президиума ЦК партии. На другой — образцы овечьей шерсти, фотоснимки колхозных отар и стад и портреты местных знаменитых чабанов. Особо красовались породистые выхоленные бараны и, как языческие боги, мохнатые сарлыки — коровы с конскими хвостами. Справа в углу стоял стандартный несгораемый шкаф для партийных документов, слева — высокий белый холодильник ЗИС. Все в этом кабинете было для Павла Алексеевича знакомым и обжитым, все до мелочей, даже буква «Т», составленная из двух столов, все было таким же, как в любом кабинете любого ответственного работника в любом конце страны,— где побогаче, где победнее. Только в иных районах вместо клочков шерсти на стене висели бы пучки пшеницы, овса, ржи или початки кукурузы, а на столе в коробках под стеклом могли лежать образцы рудных пород, куски каменного угля и тому подобное, в зависимости от экономической специфики района. Необычным казался в этом кабинете лишь холодильник, похожий на белый аптечный шкаф.

— Для чего он, откуда? — сразу спросил Солодков.

— Я сам не знаю. Брошкин говорит, что получен по разнарядке для кабинета секретаря, чтобы под рукой всегда были на пробу овечий сыр местного производства, кумыс, верблюжье молоко... Начальство ездит, спрашивает. Правда, нет тока, а то бы можно ставить любые прохладительные напитки. В общем — так положено, так Брошкин сказал. Я занимался не холодильниками. Да что холодильник! Сюда хлебные комбайны даже засылали...

— А вывеску-то рано сменили... Надо еще выборы провести...

— Я тут ни при чем, Павел Алексеевич! Это, видно, Брошкина дело. А выборы? Что ж выборы... послезавтра проведем.

— Брошкин да Брошкин... Старый работник, что ли?

— Давний! Уже четырех секретарей пережил.

Они стояли, и Крюков предложил Солодкову садиться, кивнув на кресло у письменного стола. Солодков в кресло не сел. Не сел в свое кресло и Крюков, и они устроились за столом для заседаний, один против другого. Павел Алексеевич тронул пепельницу, стоявшую на зеленом сукне, и Крюков немедленно достал из кармана пачку «Беломорканала».

— Кури, Павел Алексеевич! — сказал он и чиркнул спичку.

Пока Солодков вынимал из пачки и разминал в пальцах папиросу, спичка догорела. Крюков зажег вторую — Солодков закурил и, не поднимаясь, стал рассматривать фотоснимки на стене и коллекцию волнистой тонкорунной шерсти. Крюков тотчас встал, снял фотоснимки, коробки с шерстью и подал Павлу Алексеевичу.

Шерсть оказалась жирной, немытой,— Павел Алексеевич отложил ее и взял фотоснимки.

— Что это за чудовище? — спросил он о сарлыке.— Я таких видел уже по дороге.

— Местная горная корова. Молока дает мало, но жирность до восемнадцати процентов. Сейчас выведен гибрид сарлыка и обыкновенной коровы — кайлык. Больше дает мяса и молока при той же высокой жирности, а неприхотливость — что у сарлыков.

— Значит, ухватили сарлыка за рога. А это? Коза?

— Коза не простая, ангорская. Шерсть овечья, пух, как на кошке, а выносливость козья. В жару овцы задыхаются, лежат, а козе хоть бы что...

Казалось, что Крюков следил за каждым движением Павла Алексеевича и старался предупредить все его желания. Что это — простое радушие или он действительно начинает заискивать? Во всяком случае, Солодков стал замечать, что Крюков очень изменился. Черты лица его стали слишком мягкими, строгость исчезла. Должно быть, здорово провинился в чем-то.

— С чего начнем? — спросил его Крюков.

— А ты не торопись, дай отдышаться.

— Ну что ж, отдышись. Может быть, на квартиру поедем, там отдохнешь?

— Я не устал. Расскажи-ка вот о районе поподробнее, что за люди здесь, какой актив?

— Об аймаке?

— О каком аймаке?

— Район — аймак по-алтайски. Завтра у нас большой национальный праздник — День пастуха. Впервые в истории. Многое завтра увидишь. Задумали широко. Съедутся люди из всех колхозов. Центральные усадьбы у нас малолюдны, народ в основном на дальних стоянках, в степи, в горах со скотом, за сотни километров от райцентра. Туда за лучшими пастухами подаем машины. Тебе придется открывать праздник и взять руководство на себя.

— О нет, я лучше сначала посмотрю со стороны.

— Да ты не опасайся, у нас все подготовлено как следует. И хор будет. Для алтайцев это событие небывалое, поэтому в хоре у нас даже начальник милиции участвует, даже председатель райисполкома. Весь партийный и комсомольский актив поет.

— Я посмотрю со стороны! — твердо заявил Солодков, и Крюков смолк.

Потом они подошли к карте, и Крюков стал рассказывать об особенностях этого высокогорного района, о том, чем он был и чем может стать.

— Места здесь, Павел Алексеевич, суровые. Иногда снег лежит вплоть до июня. Правда, на самом плато все сдувает ветер. А летом жара градусов до тридцати пяти и выше, вот как сегодня. Все выгорает. Степь превращается в пустыню. Хотя за лето земля успевает оттаять разве на метр-полтора, не больше. Так что, по существу, здесь вечная мерзлота. И холодок при любой жаре лицо печет, а по спине мурашки бегают, один бок горит, другой замерзает.

Население занимается исключительно скотоводством. Овцы, сарлыки, козы, верблюды, кони... У нас на одного человека приходится около двухсот семидесяти голов разного скота. Есть колхозы, в которых только овец до двадцати шести тысяч. И все — на подножном корму летом и зимой.

Сенокосы у нас плохие, кормов удается заготовить очень немного — только чтобы застраховаться на время сильных бурь. Лучшие сенокосы принадлежат воинской части. Зато наше альпийское сено по калорийности чуть ниже овса.

Понятно, что народ ведет полукочевой образ жизни: где скот — там и люди. Весной — в степи, на свежей травке. В степи проходит и окот овец. Окот овец — это наш урожай. В степи и стрижка. Позднее отары уходят на горные высоты, где меньше мошки.

Зимние стоянки скота там же, в горах, пониже ледников, в безветренных местах. Зимой в горах тише, чем летом, а в степи наоборот: летом сравнительно тихо, зимой — бураны, земля с небом перемешивается. Чтобы объехать стоянки скота только одного колхоза, требуется не меньше двух месяцев. Представляешь себе, как трудно здесь работать с людьми, обслуживать их. Показать людям кинокартину — это уже проблема.

— Да-а! — вставил Солодков.— Обстановочка!

— По аймак наш ежегодно поставляет государству огромное количество скота, примерно третью часть всего, что

сдает область. Сейчас на трассе находится тридцать шесть тысяч голов. Эти стада растянулись на двести километров. От нас до мясокомбината они идут месяца три, нагуливая в пути жир. И там — наши люди, наши пастухи и политработники. Спят в седле.

Крюков говорил, все больше и больше увлекаясь, свободно называя цифру за цифрой, и память ни разу не изменила ему. Голос его округлялся, твердел.

Обилие цифр не показалось скучным Павлу Алексеевичу. Он вдруг поймал себя на том, что потерял ощущение, будто находится в немудреном кабинете с дешевенькими стульями и смешным белым холодильником в углу. Он снова увидел Крюкова таким, каким помнил его на трибунах областных совещаний, снова услышал тот же уверенный гордый бас и узнал манеру говорить, которая покоряла всех.

А Крюков уже начал ходить по кабинету от одной стены к другой, медленным широким шагом думающего человека.

— Трудно, брат, здесь,— продолжал он.— Колхозы разбогатели, а народ разобщен, живет в аилах, в юртах. Какой уж тут новый быт, когда в аиле, по старым обычаям, женщины не могут ступить на левую половину, жена ест только то, что остается после мужа.

Надо убрать аилы и юрты. А это значит, что для каждого колхозника потребуется по крайней мере три дома — в разных местах кочевья. Да и разумно ли это здесь?.. Тот ли это путь? Ведь юрту легко разобрать, погрузить на двух верблюдов и — переходи куда нужно вместе с домом и со всем скотом.

В центральном колхозном поселке, понятно, юрты надо изживать совсем. Жизнь оседлая может быть изменена и полностью благоустроена. Но и в поселках: построим мы колхознику дом, а юрта, крытая кошмами, стоит рядом, он не дает ее сносить. Там у него родовой очаг, висит казан, готовится сырчик, кумыс, висят шкуры. Трудно, брат. Тут одних приказов мало...

Дети учатся самое большее до семи классов. Я говорю не об исключениях, конечно. Есть школы-интернаты для детей скотоводов. Но отцу-пастуху удается приехать к своему ребенку раз в год, ну два раза. Тоскуют и дети и родители. Натоскуется отец, приедет и забирает сына с собой.

Начали мы строить межколхозные дома животноводов — в местах, где больше всего стоянок. В таком доме — и кинозал, и библиотечка, и медпункт, и магазин. Можно лекции читать, проводить собрания. Но лес для строительства надо

возить километров за триста-четыреста с дальних перевалов. Есть и ближе, в горах, но попробуй доберись до него — недоступен. В районе больше сотни грузовиков и ни одной авторемонтной мастерской. Да нет ее, кажется, и в областном центре.

Крюков остановился у письменного стола, сел в свое кресло, выдвинул боковой ящик стола и достал шкатулку с кусками горных пород.

— Вот на что мы надеемся! — сказал он, любовно показывая цветные, поблескивающие разными оттенками и ничего не говорившие Павлу Алексеевичу камни.— Много богатств в горах. Добывается уже ртуть, молибден, вольфрам... Высоконько, черт возьми, ох высоко! Но времена меняются, и не так страшен черт. Будет железная дорога, все будет. Правда, пока есть одни проекты.

И Крюков опять встал и начал ходить.

Павел Алексеевич слушал очень внимательно, ему было интересно все, о чем говорил Крюков, и старые симпатии к этому человеку не только не уменьшались, а росли, крепли. Но Солодкову казалось, что все это не самое главное и нужное из того, что он должен немедленно узнать и почувствовать, прежде чем приступить к работе на новом месте. Ему казалось, что самое важное для него сейчас — это выяснить, почему Крюков снят со своего поста, в чем он провинился, что не учел, чего недосмотрел, и что, выяснив это, он больше разберется в условиях своей будущей работы, больше поймет особенности района, чем из сообщений о вечной мерзлоте, о сарлыках, о юртах, о сенокосах.

И Павел Алексеевич попросил Крюкова сесть рядом с ним, на прежнее место, сам поудобнее, поплотнее устроился на стуле и, склонившись к нему через стол, доверительно заглядывая в глаза, спросил:

— Послушай, друг Крюков, скажи по-товарищески, что все-таки произошло с тобой? За что тебя?

Крюков словно испугался этого вопроса, сжался, положил локти на стол, а голову на руки и вдруг начал признавать свои ошибки.

— Нагрубил я, Павел Алексеевич, погорячился. Виноват. Знаешь ведь, с кем не бывает? Нам здесь на местах не все видно, многого часто понять не можем. Перспективы не учитываем, живем как бы на подножном корму. А надо глядеть вперед, в народ верить и звать его в завтрашний день. В общем, нагрубил я начальству...

Крюков взял папиросу, закурил, но папироса оказалась

прорванной и не горела, дым не тянулся. Тогда он ткнул ее в пепельницу, скомкал и взял другую.

— Ну, а все-таки? — тихо, но энергично настаивал Солодков.

— Да видишь ли... Я отказался от заготовки картофеля. Дали нам весной план — сто тысяч тонн. Цифра небольшая, но дело в том, что картофель у нас вообще не растет, его никогда и не сажали. Народ здесь питается в основном мясом, даже хлеба едят мало. Мясо, молоко да сырчик, твердый такой, словно камень, а калорийный. На первый взгляд как будто я прав: раз картофель не сажают, значит, не сажают, и заготавливать нечего. Но это не значит, что картофеля здесь не должно быть. Он должен расти. И руководитель обязан был заранее об этом подумать и налечь на картофель. Правда, люди за скотом не успевают присмотреть, до картошки ли им. Но сверху, видишь ли, оно видней. Перспектива должна быть. Ты не думай, что я оправдываюсь...

— И это все? — спросил Солодков, словно подбадривая и амнистируя своего собеседника.

— В нашем деле это не мало. Нам много доверяется, много и спрашивается с нас. Потом — с сеном...

В это время кто-то постучал в дверь. Крюков выпрямился и крикнул: «Можно!», но потом словно бы виновато посмотрел на Солодкова. Павел Алексеевич подтвердил:

— Можно, входите!

Вошел Брошкин. Опять глаза его секунду перебегали с одного секретаря на другого, наконец решительно остановились на Солодкове, и Брошкин обратился к нему:

— Павел Алексеевич! Звонил Гладышев, хочет зайти к вам, спрашивает, у себя ли вы.

— Кто это — Гладышев? — спросил Солодков у Крюкова.

Ответить поторопился Брошкин:

— Простите, Павел Алексеевич, это из военного городка, начальник политотдела части, член бюро нашего райкома.

— Так. Но я, собственно, еще не у дел. Ладно, познакомимся.

Брошкин вышел. Затем в кабинете побывали второй секретарь райкома алтаец Тудуев, два молодых паренька-инструктора, девушка — секретарь райкома комсомола Сарыева. Крюков встал и, уже не садясь, несколько торжественно представлял их по очереди Солодкову.

Тудуев, очень подвижный черноглазый крепыш, вошел без стука и, не закрывая за собой двери, без обиняков сказал Павлу Алексеевичу:

— У меня дел нет. Просто зашел взглянуть на вас и пожать руку.

— Вот с кем ты должен сработаться, Павел Алексеевич,— сказал Крюков, дружески оглядывая Тудуева.— Человек, правда, горячий, но народ его любит, и он сам знает тут всех до единого.

Тудуев не смутился такой рекомендацией, а простодушно и всерьез подтвердил:

— Правильно, со мной нужно сработаться!

— Будем работать! — улыбнулся ему Солодков.

Затем Тудуев повернулся к Крюкову и воскликнул:

— Как же мы с вами расставаться будем?!

— Да так и расстанемся. Не забывай обо мне, и все будет хорошо.

Инструкторы райкома поздоровались с Солодковым, а с Крюковым уточнили маршрут их очередной поездки по району.

Сарыева никому не сказала ни слова, просто, удовлетворив любопытство, скрылась за спинами инструкторов райкома и исчезла.

Павел Алексеевич держался со всеми приветливо и свободно. Он знал, что умеет нравиться людям с первого взгляда, располагать их к себе, и немножко гордился этим. Партийный работник должен быть общительным со всеми и вызывать к себе расположение и симпатии.

Когда секретари снова остались наедине и сели за стол, Солодков предложил Крюкову папиросу из его же пачки и закурил сам.

— Ну, что же сенокосы?

Крюков чувствовал себя уже явно смущенным, казалось, он не хотел продолжать этого разговора, но и недоговаривать было неудобно.

— С сенокосами я, конечно, тоже погорячился,— тоном покаяния начал он.— Тут видишь какое дело. Область спустила план аймаку заготовить сена триста десять тысяч центнеров. А у нас вся сенокосная площадь одиннадцать тысяч гектаров, и в хорошем случае мы собираем центнеров по пять с гектара. Значит, тысяч шестьдесят центнеров, а не триста десять. Лучшие угодья в свое время были отданы погранотряду. Им за глаза, а колхозам обида. Ну, я опротестовал. Вышел конфликт. Меня побили.

— Ничего не понимаю,— возмутился Павел Алексеевич.— Ты же прав! Ты совершенно прав.— Сказал он это громко, горячо и оглянулся, словно бы задумался, потом

заговорил тише: — А может быть, я чего-то не понимаю? Может быть, ты разъяснишь мне? Правда, у меня точно такая же история была с целиной. Поначалу план подъема дали такой, что он чуть ли не превышал всю площадь района вместе с лесами и озерами. Я осторожно спросил: нет ли ошибки? Стали понемногу сбавлять. Я распахал все пастбища, все солончаки, даже посадочные площадки для самолетов и все равно не выполнил плана, остался в хвосте... Но зачем же ты горячился?!

Павел Алексеевич, казалось, искренне огорчался и жалел Крюкова за безрассудность. Удивительный человек — самонадеянный, гордый, а ведь умный. Разве так можно?

Солодков решил, что разобраться во всем этом он сейчас все равно не сможет, и в его положении лучше пока не только не возражать Крюкову, но даже поддерживать его... а там видно будет.

Крюкова же обрадовало участие и понимание Павла Алексеевича, он сам себя вдруг пожалел и начал каяться.

— Все-таки нам снизу не все видно. Надо уметь находить внутренние ресурсы, в горах пошуровать надо было. Я, признаться, до сих пор не весь аймак исходил. У нас некоторые колхозы удалены от центра километров на двести пятьдесят. На машине везде не проедешь—на коне, да верхом и то не в любую погоду. В общем — виноват.

«А здорово, должно быть, его помяли,— думал меж тем Павел Алексеевич.— Вот так и учат нашего брата, так и воспитывают. Не побьешь — разве научишь?»

— О нашей воинской части разговор большой и особый,— продолжал Крюков.— Сенокосы — это, может быть, мелочь. Да у них и должны быть лучшие сенокосы, хотя кое-какие излишки могли бы они вернуть колхозам.

Не нравится мне другое. Пограничники живут в отрыве от населения, за этой вот высокой стеной, словно в чужом государстве. Сила большая, организованная, много коммунистов-офицеров, еще больше комсомольцев, а помочь нам не хотят. Сделать доклад, прочитать лекцию — не допросишься.

Говорят, у них особые задачи и культурно-воспитательная работа среди населения не входит в их обязанности. Но ведь бдительность гражданскую они ставят себе в заслугу. Задачи у нас одни! Связь с народом — всесторонняя, постоянная — одна из святейших традиций Советской Армии, и в этом всегда была ее сила.

Завтра аймачный национальный праздник — День пастуха. Прошу Гладышева: помогите в организации конных ска-

чек, дайте несколько наездников. «Нельзя!» Почему нельзя?! Дайте самодеятельность! «Нельзя!» Дайте духовой оркестр на день! «Не можем!» Почему не можете?.. А у них, видите ли, на этот выходной день по плану назначен офицерский пикник. Перенесите! «Не можем, у нас все подготовлено, и оркестр самим нужен». Вот как, Павел Алексеевич!

Крюкову не сиделось на стуле, он разгорячился и начал говорить громко, резко, словно отчитывал самого Солодкова за плохую работу.

— Зимой во время многодневного бурана, когда все пути к району были отрезаны снежными заносами, нам потребовалась срочная помощь для спасения скота. Я — к Гладышеву: дайте людей, дайте машины! Он попросил обратиться к вышестоящему командованию, сам ни на что не решился. Я — туда. Начались звонки, запросы, уточнения. А время идет. Начальника отряда в ту пору на месте не случилось. Кончилось тем, что Гладышев предложил оказать помощь советами, консультацией. Разве нам такая помощь была нужна? Народ руками снег разгребал, бабы в подолах ягнят перетаскивали, отогревали их на груди. Солдаты, которым довелось видеть беду, сами рвались, чтобы помочь колхозникам, но приказа не было, а устав есть устав. И хотя бы какое-нибудь военное положение было, особые условия!.. Нет, могли помочь, а не помогли.

— Да, это не похоже на нашу армию. Я ее знаю не такой,— раздумчиво протянул Солодков.

— В том-то и дело. Но я не обобщаю, не думай. Бывает же, что одна паршивая овца целое стадо сбивает с пути. Вот и в нашем отряде завелась такая, и никто пока на нее управы не найдет. Начальник отряда и тот пугается гладышевской демагогии.

Крюков встал, стукнул кулаком по столу. Солодков вздрогнул. В дверь заглянул «общий отдел» — Брошкин. Крюков ничего не заметил, он был в гневе.

— Не нравится мне все это, не нравится начальник политотдела Гладышев, а он в силе. То, что они делают,— не политработа. Казенщина, зубрежка, от сих до сих, нет страстности, нет живой связи с большой жизнью страны. Равнодушие, самоуспокоенность, безынициативность. Оформление в клубе, в красных уголках сделано лет восемь назад и словно на веки вечные. Сколько событий произошло за это время и внутри страны и на международной арене. Ни одной буквы, ни одной формулировки не изменили. Только и следят за чистотой, чтоб нигде ни одной пылинки. Исче-

зает человечность, сердечность в отношениях между офицерами и рядовыми. Разве в этом суть советской воинской дисциплины?! Солдатам увольнительная дается на несколько минут, чтобы успели добежать до магазина и — обратно, за высокую стену. Начнут общаться с населением — начальству хлопот больше. Да ты посмотри на этот городок и на наш поселок! — Крюков подошел к окну, выпрямился, и голова его пришлась на уровне с верхним косяком.— Посмотри! Ночью у них целая иллюминация, а в райкоме партии, за двести метров от стены, с керосиновыми лампами сидим. Хоть в райком-то могли бы дать несколько электролампочек, пока у нас нет своей станции!

Павел Алексеевич долго не мог вставить ни одного слова, хотя, казалось, тоже негодовал, и потому изредка только вскрикивал: «Черт знает что такое!», «Это же ни на что не похоже!», «Да куда ж ты смотрел?!» Круглое лицо его округлялось еще больше и порозовело.

Когда Крюков услышал последнюю реплику: «Куда ж ты смотрел?» — он резко остановился и с недоумением уставился на Солодкова.

— Как — куда смотрел? Отсюда все и пошло... А в области на совещании — ты ведь был там? — стоило хозяину только сказать, что так, мол, руководить нельзя, ну, и потащили меня по отделам. Знаешь, как это бывает? Ошибок всяких и недостатков у меня сразу нашлось невпроворот.

Павел Алексеевич насторожился.

— Но Гладышев — член бюро райкома,— сказал он.— Жизнь района должна его интересовать.

— Должна бы... но это лишние хлопоты.

— Зачем тогда было его в бюро вводить?

— Ну, это вроде как по положению.

— А обязать ты его мог?

— Обязать?

— Ну, вот, скажем, дать оркестр для завтрашнего праздника?

— У них своя субординация, свои планы. Всегда есть на что сослаться. Кроме того, мы постоянно от них в чем-нибудь зависим, не в большом, так в малом. Райком, например, вынужден выканючивать у них бензин для машины. Своего не хватает.

— Ну, со мной так не будет. Разве нельзя договориться обо всем, все согласовать. С любым человеком можно сговориться. Давай попробуем вместе, он скоро придет. Да и не один же Гладышев там?

— Давай попробуем!— усмехнулся Крюков.

Павел Алексеевич задумался, протянул: «Да-а!» — и заключил свои размышления:

— Только не надо спешить, не надо горячиться. Как же все-таки ты с ним ладил?

— А я не ладил.

— Мда-а! — снова протянул Павел Алексеевич не то с укоризной, не то с удивлением, словно нащупал самый главный просчет в работе Крюкова.

— Не ладил, значит... А бензин брал...

Гражданский пафос его явно остывал, но Крюков в увлечении ничего не заметил.

— Посуди сам. Этой весной трех офицеров перебросили на новое место службы. Три учительницы, жены их, оставили школу и немедленно уехали вместе с мужьями, когда до окончания учебного года оставалось всего два месяца. Причем — бездетные. Когда они появились здесь, мы сделали все, чтобы сразу устроить их на работу. И вот — занятия в школе срываются, ломаются судьбы многих школьников. Разве бы нашим женам, не военных, позволили бы так поступить? А Гладышев санкционировал. И ни отдел народного образования, ни я ничего не смогли поделать.

— Мда-а! — опять протянул Павел Алексеевич.— Чудовищно! Нет, с таким человеком надо говорить всерьез.

И вот появился Гладышев, майор. Он громко стукнул в дверь кабинета и сразу вошел — стройный, аккуратный, чисто выбритый. Из-под новенькой фуражки над правым ухом щеголевато торчали кудерки льняных волос, прикрывая немного правый глаз и, вероятно, мешая ему видеть. Походка майора была неторопливая, даже чуть с ленцой, а во всей фигуре и повадках столько достоинства и убежденности, что все идет правильно, согласно уставу, что земля, конечно, шар и что она вращается вокруг своей оси, что все реки текут туда, куда им надлежит течь, а он — майор, и это бесспорно и не подлежит обсуждению, и что так же, как после сегодняшней субботы обязательно будет воскресенье, он будет подполковником, а потом полковником, а потом генералом и что иначе и быть не может,— в общем, столько было в нем всякой чистой веры в свою необходимость и в свое высокое предназначение на этом свете, что при нем немедленно затихали все земные страсти.

Замерли при его появлении и Крюков, и Солодков. Солодков тотчас встал.

— Майор Гладышев, начальник политотдела! — отреко-

мендовался майор, подойдя вплотную к Солодкову и пожимая ему руку, перед этим козырнув неторопли.во и деликатно.— Приветствую нового секретаря райкома.

— Да я еще не секретарь, не избран,— застеснялся Павел Алексеевич.

— Изберем,— твердо заявил Гладышев,— была бы дана команда.

Глаза его прищурились в знак того, что он шутит и что шутки его надо понимать, но тем не менее шутки шутками, а то, что он сказал, не подлежит обсуждению, ибо он знает цену своим словам. Голос у майора был негромкий, чистый, внушительно отчетливый — таким голосом громко не говорят, его должны слушать, затихая, чтобы не проронить ни слова.

— Как доехали, товарищ Солодков?

— Спасибо, доехал. Ох, и дорога к вам: вверх-вниз, вверх-вниз, да кругами, кругами... Орлиные места!

— Точно, орлиные,— подтвердил Гладышев, усаживаясь рядом с Павлом Алексеевичем и бережно кладя на стол свою новенькую твердую фуражку.— И народ здесь — орлы. Золотой народ. С таким народом большие дела можно делать.

— Народ у нас везде золотой. Что ж, будем делать, вместе будем делать большие дела,— заторопился Павел Алексеевич, точно желая сразу наладить хорошие отношения с новым для него человеком.— Ну, как живете, рассказывайте!

— Стоим на посту!— ответил майор.

— Как с политической работой в мирных условиях?

— Для нашего рода войск мирных условий не существует. Мы всегда начеку!

— Вероятно, появились новые формы политработы? Я, признаться, давно не был в воинских частях.

— Воспитываем бдительность!— негромко и четко ответил майор Гладышев.

— А конкретнее?— настаивал Солодков.

— Что ж, конкретнее? Воспитываем преданность Родине, точное соблюдение уставов.

— Говорите, говорите!

Новый секретарь хотел сразу дать понять, что хозяином положения в районе будет он, но краткость ответов майора обескуражила его, и он не знал, как продолжать разговор. К тому же вспомнились слова Крюкова: «Отсюда все и пошло» — это был намек на Гладышева, значит, надо с Гладышевым вести себя осторожно. А Крюков в разговор пока не вступал.

— Расскажите же что-нибудь. Может, поведаете о чрезвычайных происшествиях?— стараясь быть предельно приветливым, упрашивал Солодков.

— Нам рассказывать много не положено. Мы не разговорчивы,— не сдавался майор.

Опять на помощь пришли папиросы. Павел Алексеевич подал пачку «Беломора» Гладышеву. Тот, в свою очередь, достал «Казбек» и предложил Солодкову и Крюкову.

Закурили.

— Значит, праздничек завтра?— начал Солодков издалека.— Народ соберется. Можно будет заглянуть в его душу, познакомиться с местными обычаями... Надеюсь, там увидимся, походим, посмотрим?

Майор понял.

— К сожалению, у нас по плану другое мероприятие — день офицерского отдыха.

— Не можете быть с нами?

— Не могу. Дисциплина!

Майор пальцем откинул со лба кудерки, совсем прикрывавшие его правый глаз. И Павел Алексеевич сдался.

— Ну, раз дисциплина — тут ничего не поделаешь. А как у вас с хозяйственными работами, с сенокосом?

— Хозяйство у нас большое. Справляемся своими силами. Иначе нельзя.

— Может, помочь?— спросил вдруг Крюков.

Гладышев не повел бровью.

— Справимся сами!

Опять появилась заминка в разговоре. Тогда Павел Алексеевич встал и, похохатывая, начал рассказывать анекдоты. Майор сразу оживился. Но все солодковские анекдоты ему были знакомы, он же рассказывал самые свежие.

Коснулись царя Гороха и служителей культа, имея в виду культ личности, посмеялись над тем, как муж с женой целину поднимали, и над тем, что кот — то же, что кошка, только с архитектурными излишествами — попробуй их ликвидируй... «Войны не будет,— авторитетно заявил Гладышев,— но будет такая грандиозная борьба за мир, что камня на камне не останется».

Заметив страсть Гладышева к анекдотам («И откуда он их только берет?»), Павел Алексеевич оживился сам и не жалел времени на этот своеобразный способ знакомиться друг с другом. Он весело ходил, будто колобком катался по кабинету, двигая стульями, садился то на один, то на другой и снова вскакивал.

— Я думаю, что мы сработаемся с вами, как вы полагаете?— напоследок спросил Солодков.

— Обстоятельства того требуют! — коротко ответил майор.

В общем, так получилось, что они расстались почти друзьями.

Когда Гладышев ушел, Павел Алексеевич обратился к Крюкову:

— Что ж ты меня не поддержал?

— В чем не поддержал? Ты же не начал настоящего разговора.

— Ты так считаешь? Мне кажется, в подобных случаях неторопливость полезнее. С людьми надо уметь ладить.

— Ты ладил? Да ты просто лебезил перед ним, прости господи! Ты старался быть ему по плечу, угодничал, черт возьми!..

— Мда-а! — обиженно протянул Павел Алексеевич.— Не знаю, кто перед кем угодничает...

Крюков покраснел. А Солодков оскорбился еще более, считая, что Крюков держится с ним чересчур самоуверенно и независимо,— в его положении не так бы надо вести себя.

Ночевал Солодков на квартире у Крюкова, вернее сказать, в своей квартире. Когда они шли по пыльной ухабистой улице мимо разбитого вдребезги моста через пересохшую речушку, Брошкин с чемоданами Солодкова часто забегал вперед и упрашивал Павла Алексеевича обойти то одну, то другую рытвину. А Крюков думал о том, что Солодков отослал свою машину обратно и со дня на день следует ожидать приезда всей его семьи. Значит, надо немедленно освобождать квартиру — другой подходящей для секретаря райкома здесь не найти. А куда ему, Крюкову, перевезти своих — жену, детей? Его положение оставалось пока неясным, никаких распоряжений из обкома еще не поступало.

В домике, который занимала семья Крюкова, было две небольших комнаты и кухня. Для его жены и двух детей школьного возраста этого было вполне достаточно, так как сам Крюков все дни проводил либо в райкоме, либо в разъездах по колхозам, в степи, в горах. Даже ночевать дома удавалось не очень часто.

В полутемных сенях Брошкин поставил чемоданы и, раскланявшись, повернул обратно. Крюков и Солодков вошли

в широкую кухню, которая в сельских домах одновременно служит и «черной избой». Вторая половина дома считается горницей.

Вся кухня, с русской печкой в левом углу, была заставлена вещами — чемоданами, связками, коробками, корзинами. Здесь же стояли две кровати, одна большая, другая для подростков. Из-под кроватей торчали незаколоченные фанерные ящики с книгами. Книги и тетради лежали также на подоконниках и просто на полу. На одном подоконнике стоял школьный глобус.

Секретарей встретила жена Крюкова, учительница, примерно одних лет с ним и очень похожая на него — такая же черноглазая, бровастая, стройная, выпрямившаяся, казалось, раз и навсегда. Она не ахнула, не всплеснула руками, не захлопотала, как обычно начинают хлопотать женщины, встречая гостей, а внимательно взглянула сначала на мужа, потом быстро с головы до ног осмотрела Солодкова, поздоровалась с ним и предложила обоим раздеваться и вымыть руки.

— Будем обедать,— сказала она.

— Павел Алексеевич Солодков,— назвал себя Павел Алексеевич.

— Я знаю вас. Меня зовут Настасья Наумовна.

— Это на мое место, Наумовна, Павел Алексеевич!— неестественно громко, почти весело, сказал Крюков жене, видимо стараясь сгладить ее нелюбезный, как ему показалось, прием, и тут же смутился своего высокого голоса.

— Понимаю, Коля!— с неудовольствием посмотрела на него жена, и Крюков смутился еще больше.

— Ну, ладно уж,— забормотал он,— ты покорми нас, пожалуйста. Павел Алексеевич, наверное, давно голоден.

— Сейчас будем обедать,— повторила Настасья Наумовна.— Вы одни?— обратилась она к Солодкову.

— Пока один. Вот осмотрюсь, тогда вызову и жену, и наследника.

— Вещи есть?

— Что-то есть, в сенях.

— Возьмите вещи, я вам покажу ваши комнаты. Мы почти освободили их.

Павел Алексеевич только сейчас понял, почему так была загромождена кухня. Он замялся, не зная, как принять такую поспешность, вспомнил о черной стеклянной дощечке на двери кабинета, где уже красовалась его фамилия, вспомнил слова об угодничестве и хотел было начать отнекиваться,

сказать, что Крюковым не было никакой нужды до поры до времени так стеснять себя, но Настасья Наумовна предупредила его:

— Тут нет ничего особенного, все естественно: вам жить здесь и следует устраиваться сразу, а нам все равно надо было укладывать вещи для переезда. В школе сейчас каникулы и, надеюсь, меня задерживать не будут.

Павел Алексеевич сказал:

— Вы меня ставите в неловкое положение!— но в сени пошел и чемодан принес.

Ослушаться Настасью Наумовну, казалось, невозможно: она держалась с большим достоинством и во всем походила на своего мужа, каким его помнил Солодков по старым встречам. Но если муж ее, как представлялось Павлу Алексеевичу, сегодня в чем-то все же сдавал, выглядел порой удрученным, помятым, доходил даже до подобострастия (так показалось Солодкову, и это он оправдывал сложившимися обстоятельствами), то с женой ничего подобного не произошло, она, видимо, ни в чем не изменила себе.

— Прошу сюда!— позвала Настасья Наумовна и, пока Крюков мыл руки, провела Павла Алексеевича в горницу.

Горниц было две. Две очень маленькие комнатки, оклеенные обоями. Первая из них — проходная, немного побольше второй. В ней еще стояли цветы, письменный стол, несколько стульев. «Кабинет!» — решил Павел Алексеевич. Во второй комнате для него была оставлена кровать.

— Здесь будет ваша спальня,— тоном хозяйки разъяснила Настасья Наумовна.— Вы заметили, что пол в кухне значительно ниже, чем здесь. Если будете делать ремонт, прежде всего надо поднять и выровнять полы и желательно покрасить их. Обои можно не менять, они новые.

— Вы не беспокойтесь, все будет сделано,— сказал Павел Алексеевич.— Моя жена...

— А сейчас идемте обедать,— перебила его Настасья Наумовна и вернулась в кухню.

Солодков тоже вымыл руки.

На столе стояла водка. Поначалу почти не было разговора, но когда Павел Алексеевич выпил, он снова стал думать о том, что Крюков все-таки должен чувствовать себя неловко, стесненно — положение снятого с работы не может быть завидным!— и что поэтому он, Солодков, должен сделать все, чтобы эту неловкость сгладить и поднять настроение Крюкова. Ради этого Павел Алексеевич решил быть возможно простым, и добродушным, и приятным. А уж он ли не

умеет общаться, ладить с людьми! Надо первому заводить разговор, проявлять инициативу, быть запевалой, чтоб, не дай бог, не подумали, будто он чувствует превосходство своего положения.

— Ты не представляешь себе, Николай... Николай...— начал Солодков и запнулся, сообразив, что он еще ни разу не назвал Крюкова по имени-отчеству да и не знает его отчества.

— Его зовут Николай Егорович,— спокойно вставила Настасья Наумовна.

— Ну, это не важно,— возразил Крюков.

— Не представляешь себе, Николай Егорович, как трудно мне было согласиться поехать в твой район, как я перепугался. Думаю, если уж Крюков, сам Крюков чего-то недосмотрел, значит, действительно район из самых трудных.

— Да, район действительно трудный, и тебе, Павел Алексеевич, не будет здесь очень легко,— сказал Крюков.— Но, я полагаю, что в обкоме решили правильно и обдуманно, послав именно тебя: твоя кандидатура при создавшемся положении одна из самых подходящих.

— Ты, значит, считаешь, что я справлюсь здесь?

— Несомненно, справишься. Если нельзя менять обстановку в корне, то лучшей кандидатуры, чем твоя, и придумать невозможно.

Солодков ничего обидного для себя в этих словах не заметил.

— Ну, спасибо!— обрадовался он.— Ты, Николай Егорович, немного успокоил меня. А то знаешь — люди новые, я новый, все новое... А в нашем положении самое главное — что? Самое главное — понять расстановку сил, сжиться с людьми, найти свое место среди них, почувствовать основу для хороших взаимоотношений.

— Основа эта должна быть рабочей,— сказал Крюков и покосился на жену.

— Конечно, рабочей,— подтвердил Солодков.— Иначе я не выполню своего назначения. Взаимное доверие должно быть.

— Я верю, Павел Алексеевич, что тебе удастся наладить здесь хорошие взаимоотношения. Правильно, что тебя послали сюда.

Солодков был удовлетворен. А Крюков впервые пожалел, что откровенничал с ним, разговорившись о Гладышеве, об организации политработы в погранотряде, о сенокосах, о картофеле и многом другом. «Разве можно так распахи-

ваться! Сколько раз меня уже били за это. Да и зачем Солодкову моя точка зрения?..»

Сейчас Крюков старался быть с Солодковым только любезным и сдержанным, чтобы тот, не дай бог, не подумал, будто ему тяжело или что он обескуражен решением обкома или не согласен с ним и потому злится на Павла Алексеевича или даже завидует ему. К тому же Крюков — хозяин, а законы гостеприимства обязывают быть особенно терпеливым и снисходительным по отношению к своему гостю. И хотя ему сейчас приходили на память случаи, когда его внимательность, и радушие, и уступчивость были, пожалуй, чрезмерными настолько, что лучше бы и не вспоминать о них, Крюков тем не менее не хотел ни в чем изменять принятого им тона. Солодков — гость, он, Крюков,— хозяин. При данных обстоятельствах ему иначе и нельзя поступать. Да, собственно, все шло так, будто и не зависело от его воли.

Настасья же Наумовна принимала все хорошие намерения Солодкова, ради которых он заводил разговоры, за простую развязность, а радушие и терпеливость мужа за непонятную для нее оскорбительную податливость, беспринципность. Она одна, действительно, ни в чем не изменила себе, держалась естественно, но была молчаливей, чем обычно.

— Отношения между руководителями должны быть принципиальными,— продолжал уже захмелевший Солодков,— и основываться на взаимном доверии. Мы ведем людей и потому сами должны сплотиться. Вот ты, Николай Егорович, упрекнул меня, будто я не смог начать настоящего разговора с майором Гладышевым. А зачем я должен такой разговор начинать сразу? Надо было проявить выдержку, и я проявил ее. Я также не сделал никому замечаний насчет таблички на дверях кабинета. Может быть, ты считаешь, что я опять не прав? Нет, я прав! Человек еще не успел приехать, не приступил к своим служебным обязанностям, а на кабинете уже вывеска: «Первый секретарь райкома Солодков П. А.» — Павел Алексеевич сделал движение рукой в воздухе, словно написал табличку заново.— Разве это правильно? А твой Брошкин — разве он не лебезит? Лебезит! И я это вижу! Но я опять не сделал никаких замечаний. Зачем сразу? А сделаю! Правильно это? Правильно! Я терпеть не могу никакого угодничества. Тут все дело в обстоятельствах, и надо их уметь различать...

Крюковы больше в разговор не вступали. Настасья Наумовна начала убирать со стола посуду.

Воскресное утро выдалось сухое, солнечное. Снежные вершины, четко очерченные по всему горизонту, казались нарисованными то белой, то розовой, то синей краской, с очень нежными и чистыми переходами от одного тона к другому. Местами голубые горы выглядели совсем прозрачными, и легко можно было представить себе, что сквозь них проглядывает далекое спокойное море.

В степи, невдалеке от районного поселка, рано начали группироваться всадники, подходили грузовики с народом в пестрых национальных костюмах, в праздничных халатах, словно подвозили цветы, и, разгрузившись, спешно отправлялись за новыми. Вокруг дымились костры без пламени, ржали кони, гудели автомобильные сигналы, шумели ребятишки. Кое-где были наскоро разбиты походные юрты, разостланы по земле ковры местной ручной работы — сармаки. Степь становилась нарядной, бойко торговали буфеты. Появился кочующий фургон — библиотека-читальня. Аймачный День пастуха походил на большой красочный восточный базар. Низко, над головами людей, ширяли орлы.

Крюков, Солодков и второй секретарь райкома Тудуев подъехали к месту праздника на «Победе». Навстречу им из толпы первый вынырнул Брошкин. Он указал шоферу, куда нужно поставить машину, толково доложил обстановку — из каких колхозов, с каких стоянок, сколько народу прибыло, сколько и откуда еще ожидается, какие машины отправлены во второй и в третий рейсы, при этом все время называл фамилии местных знаменитостей — пастухов, верблюдоводов, председателей колхозов.

«Незаменимый человек!» — подумал о нем Солодков и подал Брошкину руку.

Быстрый Тудуев исчез среди людей, лошадей и повозок, словно боялся что-то пропустить, кого-то не встретить, кому-то не пожать руку. Вокруг него образовалась толпа, вроде пчелиного роя вокруг матки, слышались взаимные приветствия, смех, и по движущейся плотной кучке некоторое время можно было следить, где находится и куда держит путь этот низкорослый, но пышущий здоровьем, удивительно энергичный алтаец.

Крюков и Солодков шли за Брошкиным к трибуне и так весело беседовали между собой, словно вчерашняя встреча за столом еще больше сблизила и подружила их.

Брошкин, видимо, уже успел многих оповестить о приезде нового секретаря райкома, и Павел Алексеевич не раз замечал на себе любопытствующие взгляды. С ним здоровались, но

в разговор вступали пока только с Крюковым. Крюкова, должно быть, любили, как и Тудуева. Павла Алексеевича это не обижало. Более того, ему казалось, что было бы лучше для него вообще оставаться пока незамеченным, чтобы самому больше увидеть и понять.

Праздник начался с короткого обращения к алтайским животноводам, которое с дощатой трибуны от имени райкома партии и райисполкома прочитал Тудуев, то и дело прерывая чтение своими вставками на алтайском либо на казахском языках.

Потом в дело вступил сводный хор. Многих позабавило, что в составе хора находилась вся местная милиция в парадной форме, с кобурами на ремнях.

Настоящее оживление началось во время скачек. Наездники, молодые и старые, человек пятнадцать — двадцать, на низкорослых, видавших виды горных лошадках с криками пустились по кругу в степь. Вряд ли здесь соблюдались какие-либо правила и установления ипподрома, да и скорость колхозных скакунов не показалась Павлу Алексеевичу внушительной, зато азарт болельщиков — а болельщиками были все присутствующие от мала до велика! — превосходил все его ожидания. Здесь было всё — гиканье, оглушительный свист, крики одобрения и язвительный смех, приседания и пляска — всё, кроме слез. Уже наездники стлались по степи далеко от старта, уменьшаясь с каждой минутой, вот они совсем скрылись в ложбинке, а подстегивание, одобрение и хула в публике не утихали и летели за ними вдогонку.

Павел Алексеевич подметил особую заинтересованность зрителей в успехе одного маленького наездника, за которым следили все неотступно. Об этой заинтересованности он впервые догадался по заметно возросшему шуму, когда вдали этот всадник обскакал впереди идущего коня и занял пятое место от головы цепочки, и по тому, как затем шум и крики начали усиливаться, когда он, набирая скорость, постепенно приблизился к хвосту следующего соперника.

Крики восторга превратились в сплошное ликование: ловкий лихой наездник одержал новую победу, оттер еще одного скакуна и стал третьим по счету. То, что за это время второй всадник занял место первого, что многие другие сзади, меняясь местами, также вели ожесточенную борьбу друг с другом, казалось, проходило почти незамеченным, но что третий начал напирать уже на второго, взбудоражило и Крюкова, и Тудуева. Тудуев — тот просто визжал от восторга.

Пятнадцатикилометровый круг скачек замыкался вблизи трибуны, всадники стали приближаться к финишу, и тут Солодков разобрал наконец, что человек, находившийся в центре всенародного внимания, был глубоким стариком с седенькой клинообразной бородкой.

— Что за богатырь?— спросил он у Крюкова и в гуле и громе рукоплесканий еле расслышал ответ:

— Аксакал... Кунарбай... наш прославленный верблюдовод!

Вслед за этим до ушей Павла Алексеевича донесся высокий, пронзительный, торжествующий визг Кунарбая — тот стегал коня плеткой, атакуя последние сотни метров. И хотя большего он достичь не смог, к финишу пришел только третьим, ему были оказаны наивысшие почести. Десятки людей бросились к его коню, подняли старика с седла и на руках понесли к трибуне. Тудуев кинулся к нему навстречу, Крюков подал руку и, подтянув к себе, обнял его.

Кунарбай обхватил Крюкова, припал к нему доверчиво, словно ребенок, и, тяжело дыша, долго не мог говорить; по лицу и по жиденькой бородке его струился пот.

Он оказался низкорослым, худощавым, с кривыми ногами заядлого кавалериста дедом — в полном смысле дедом: ему нельзя было дать меньше семидесяти лет.

Отдышавшись и заметив фотографов, Кунарбай распахнул свой меховой жакет и открыл на груди награды: ордена Ленина, «Знак Почета» и несколько медалей с замусоленными лентами. Это первое, что он сделал, очутившись на трибуне.

А люди не утихали, секретарь райкома комсомола Сарыева закричала «ура», и Кунарбай поднял над головой руку, потом приложил ее к сердцу, к орденам, снова поднял и, наконец, привычно раскланялся.

Павел Алексеевич попросил Крюкова представить его аксакалу. Крюков вложил руку Солодкова в руку Кунарбая, сам встряхнул обе руки и сказал:

— Новый секретарь райкома партии. Прими, аксакал!

Кунарбай рассеянно взглянул на Солодкова, ответил одним словом «ага!» и сошел с трибуны.

Следующим по программе праздника состязанием были стрельбы из старинных шомпольных ружей — курлы. Тяжелые, длинноствольные, с россошками, ружья эти всем своим видом напоминали ручные пулеметы, а еще больше противотанковые ружья.

Из курлы алтайские охотники бьют сурков, используя их врожденное любопытство. Завидев в степи жирного, как поро-

сенок, толстопузого сурка, охотник начинает приближаться к нему, размахивая каким-нибудь меховым лоскутком. Сурок замирает, смотрит; иногда, встревоженный, делает небольшую перебежку к норе, но любопытство берет верх, и он опять останавливается и следит за движением лоскутка. Охотник, подобравшись к сурку на расстояние выстрела, ложится на землю, не переставая помахивать флажком, устанавливает курлы на россошки и бьет сурка пулей в голову: так зверек не уйдет в нору и шкурка не будет повреждена.

Стрельба из курлы требует немалой сноровки и навыка. Точное попадание в яблочко обязательно для уважающего себя человека.

Но самый большой интерес у Павла Алексеевича вызвала алтайская национальная борьба. Собственно, даже не сама борьба, а то, что при этом произошло, чему он стал свидетелем.

На травянистой площадке возилось сразу несколько пар. Бойцы, перегнувшись в пояснице, молчаливо старались утомить и перехитрить друг друга, делали всевозможные обманные движения. Порой они похрапывали, словно лошади-тяжеловозы, когда тех заставляют тянуть непосильный воз.

Площадка для борьбы ничем не была ограждена. И возбужденная, вскрикивающая, галдящая толпа постепенно начала сужать кольцо вокруг борющихся. Задние становились на цыпочки, беззлобно лезли на плечи передним. Никакие усовещевания начальства, понятно, не могли помочь: кольцо наконец сжалось настолько, что борьбу пришлось прервать.

На помощь пришли хористы-милиционеры. Они очистили площадку, взялись за руки и так, живой цепью, стали сдерживать напор зрителей. Но силы у милиционеров хватило ненадолго, к тому же всякий страх, внушаемый милицейской формой, и обычное представление об административной власти сегодня исчезли. Достаточно было одному из борцов одержать решительную победу над своим противником, как милицейская цепь лопнула и площадка для борьбы снова была захлестнута людской волной. На милиционеров же обрушился и гнев толпы. «Куда вы смотрели?», «Зачем вас тут поставили?» — кричали то с одной стороны, то с другой. А отказываться от продолжения состязаний никому не хотелось.

Тогда Крюков что-то шепнул Тудуеву. Тудуев бросился с трибуны в толпу разыскивать старика Кунарбая, нашел его и, в свою очередь, что-то шепнул ему на ухо. Кунарбай разгладил свою жиденькую бородку так, словно она была, по

крайней мере, до пояса, и попросил дать ему шесть флажков. Флажки — маленькие, красные, те, что стояли вдоль маршрута скачек,— принесли. Кунарбай с флажками протиснулся на середину площадки, где минут пять назад происходила борьба, и что-то крикнул, резко, повелительно. При этом на груди его покачивались ордена и медали. Все земляки Кунарбая мгновенно перестали шуметь и расступились. Что он крикнул и о чем говорил дальше, Солодков понять не мог, поэтому спрашивал Крюкова:

— Что он приказал?

— Он попросил, чтобы вся милиция исчезла.

— Что дальше?

— Просит аксакалов навести порядок и всем встать на свои места.

Крюков говорил об аксакале с любовью, как о своем родном отце.

Сам Кунарбай, не трогаясь с места и больше не повышая голоса, делал движения рукой от себя, словно отодвигал толпу, и толпа, как по мановению некоей волшебной палочки, пятилась, свободный круг становился все шире и шире. Затем Кунарбай воткнул все шесть флажков по кругу, что-то сказал еще и сам отступил за невидимую черту.

— Теперь что он сказал?— спросил Солодков.

— Сказал: стоять, не двигаться. Приказал уважать закон.

— Вот это да!— ахнул Солодков.— Вот это секретарь райкома!

Отмеченной Кунарбаем черты не переступил ни один человек, и состязания по борьбе закончились при абсолютном порядке.

Все остальное, что было на празднике, не волновало Павла Алексеевича так, как взволновал предыдущий эпизод. Он продолжал думать о почтенном аксакале Кунарбае, о его мудрой власти, приобретенной, по-видимому, не только умом и долгой жизнью, но и повседневным трудом наряду со всеми и на виду у всех. Думал Павел Алексеевич и о своей будущей судьбе в этом интересном и своеобразном районе.

Поздно вечером, в райкоме, когда все, утомленные праздником, разошлись по домам и лишь один Брошкин не покидал своего поста у кабинета первого секретаря, Солодков наедине спросил его:

— Ну, каково прошел, по-вашему, День пастуха?

У Брошкина от удовольствия засветились не только глаза, но даже усики.

— Хорошо, Павел Алексеевич. В обкоме будут довольны.

— А что это за аксакал?

— Кунарбай? Ему, Павел Алексеевич, уже семьдесят пять лет. Он тут самый старый, и человек, можно сказать, всеобъемлющий. К нему надо съездить, Павел Алексеевич. Если такому старику секретарь не понравится, то можно сказать, что долго ему здесь не продержаться.

— Крюков не понравился?

Брошкин зашептал:

— Крюкова аксакал уважал, но тут особое дело, Павел Алексеевич, другая ситуация...

— Мда-а! А далеко до Кунарбая?

— Шофер дорогу знает, Павел Алексеевич. Дорога хорошая. Возьмите ружьишко с собой, я достану. Позабавитесь.

— Бензин-то есть?

— Бензинчику нет, Павел Алексеевич. Только нас всегда может выручить майор Гладышев. Если позволите, сделаем так: я для начала поговорю с ним от вашего имени, а после, при случае, скажете свое слово и вы. С Гладышевым всегда можно договориться. Мы тоже для него не бесполезные люди, мало ли что может быть.

— Хорошо! — согласился Павел Алексеевич, мысленно похвалив себя за то, что вчера, при первом знакомстве с Гладышевым, был сдержан и не наделал глупостей. — Только, пожалуйста, товарищ Брошкин, не кладите ему палец в рот и не обещайте ничего. Держитесь потверже.

С улицы донеслось несколько властных автомобильных гудков. Брошкин подскочил к окну.

В ворота военного городка входили легковые автомобили разных марок.

— Приехали! — сказал Брошкин. — С праздника офицеры приехали.

— С пикника? — спросил Солодков. — Долгонько они гуляли.

— Для отдыха здесь мест много, Павел Алексеевич. Есть ущелья, куда ни один орел не залетит, а красоты не оберешься. Ключевая холодная вода, минеральные источники — лучше всякой закуски. Товарищи сегодня резвились, должно быть, у Синего озера. Вот бы вам туда съездить. Хотите, я договорюсь?

— А вы бывали?

— Я же служил у майора Гладышева. Он уговаривал меня остаться на сверхсрочной, но в райкоме человек нужен

был, и Гладышев порекомендовал меня. Против райкома и он не устоял.

— Понятно...

В кабинет секретаря позвонил по телефону Гладышев:

— Может быть, зайдете сейчас ко мне, товарищ Солодков, продолжим знакомство. Все необходимое для этого у меня есть.

— Поздновато уже,— начал отбиваться Павел Алексеевич.

— Лучше поздно, чем никогда!— глубокомысленно заявил Гладышев.

Но Солодков от встречи все-таки отказался.

«А зачем я отказался? Правильно ли я поступил?— думал на следующее утро Павел Алексеевич.— Почему я должен отказываться от таких встреч? Знаю я его только со слов Крюкова. Но почему Крюков прав? Может быть, Гладышев вовсе не паршивая овца? И потом, посидеть с ним — еще не значит сблизиться, это еще не уступка. Какая уступка? в чем? кому? Крюков уедет, а мне здесь оставаться, жить с этими людьми, работать с Гладышевым вместе. «Отсюда все и пошло...» — сказал Крюков. «Отсюда» — значит, от него, от Гладышева. А что, если и у меня все пойдет «отсюда»? Тогда зачем же было менять секретарей? Ведь не Гладышева отзывают, а Крюкова, значит, правда за Гладышевым. Если не правда, так сила. Значит, иначе нельзя, значит, так сложились обстоятельства...»

Настасья Наумовна приготовила яичницу, покормила секретарей, и оба они заспешили в райком.

Но в райкоме, в кабинете, снова наступила неловкость: с чего же начинать рабочий день?

Крюков чувствовал себя уволенным и не мог спокойно садиться в свое старое руководящее кресло.

А Солодков не мог решиться принимать дела, потому что не имел еще на это формальных прав: принцип демократии все-таки надо было соблюсти.

Неловкость передалась всем работникам райкома, и хотя они понимали, что все уже решено без них, тем не менее не хотели ничем обидеть Крюкова, которого любили и уважали.

Посетители толпились в приемной, шептались и переходили к кабинету второго секретаря Тудуева.

Только Брошкин чувствовал себя уверенно. Для него существовал лишь один секретарь, Солодков, а с Крюковым он поздоровался — и все, и сразу словно бы перестал его замечать.

— Павел Алексеевич! — обращался он то и дело к Солодкову. — В охотсоюз прибыли патроны для мелкокалиберных винтовок. Разрешите забронировать тысячу штук.

— Павел Алексеевич, подпишите требование на двести партбилетов!

— Павел Алексеевич! Тут один председатель жалуется, что колхозники гонят самогон. Как прикажете поступить?

Солодков каждый раз взглядывал на Крюкова и отвечал Брошкину неохотно, смущенно.

— Требование на партбилеты должен подписать Николай Егорович... Самогон? А что ж самогон? При чем же тут райком партии? Сообщите в милицию, если арачку гнать нельзя. Закон для всех одинаков.

Крюков же при появлении Брошкина опускал глаза и умолкал, как при Гладышеве. Неспроста, наверно?

Наконец Брошкину, видимо, надоело вертеться между двух огней, и он из своей комнаты позвонил в политотдел Гладышеву:

— Товарищ майор! Сейчас Павел Алексеевич мог бы к вам прийти. Я думаю, мог бы... Только вы пригласите сами. Они вдвоем, у себя.

Майор позвонил немедленно, и Солодков обрадовался случаю уйти из райкома, хотя снова смущенно заглянул в глаза Крюкову.

— Гладышев приглашает познакомиться с военным городком. Я, брат, схожу...

— Конечно, Павел Алексеевич, конечно. Надо идти. Тебе все равно придется с ним ладить.

— Ты считаешь, придется?

— Вот именно — придется.

У проходных ворот Солодкова встретил дежурный офицер, спросил: «Вы товарищ Солодков?» Потом поприветствовал: «Приветствую вас по поручению товарища майора!» — и повел по асфальтированным дорожкам мимо цветных клумб и молодых деревьев в политотдел.

Павел Алексеевич с этой минуты действительно почувствовал себя как бы в другом мире. От настороженной тишины и от того, что мелькавшие вокруг солдаты то и дело молча приветствовали их и других проходивших мимо офицеров, он поначалу даже оробел немного.

В высоком и строгом штабном здании, в фойе, прямо против входа, часовой с винтовкой и примкнутым штыком охранял воинское знамя.

Здесь все приветствия повторились снова, и Солодков был передан с рук на руки другому офицеру, который повел его по длинному светлому коридору в правое крыло дома.

В коридоре опять их приветствовали все встречные и поперечные, и так без конца. Павлу Алексеевичу показалось, что люди здесь только тем и занимаются, что непрестанно приветствуют друг друга.

Начальник политотдела майор Гладышев сидел в кабинете почему-то одетый и в фуражке и, встав из-за стола, также козырнул Солодкову по всей форме. Кудерки его над правым ухом шевельнулись, а лакового козырька на мгновение коснулся солнечный зайчик.

— Вы куда-то собрались, товарищ Гладышев?— спросил Солодков, пожимая его руку.

— Да, хотел ехать. Дело одно есть...

— Может быть, встретимся в другой раз?

— Что вы, Павел Алексеевич! Все отложить можно. Прошу, садитесь!

Кабинет у Гладышева был небольшой, но значительно богаче райкомовского. Особенно красили его ковры, электрическая люстра и массивный чернильный прибор чугунного литья. Расстановка мебели была такой же, как во всяком служебном кабинете: к письменному столу примыкал другой, длинный и узкий, образуя букву «Т». Сукно на столах здесь было ярко-красное, цвета воинского знамени. На стенах те же портреты, но никаких экспонатов. В двух застекленных шкафах строго, как по линейке, стояли чистенькие собрания сочинений Маркса — Энгельса, Ленина, Сталина и сборник Клаузевица «О войне». На отдельных полках были расставлены по ранжиру, соответственно их высоте, всевозможные брошюры, воинские наставления и уставы. Художественной литературе здесь не было места. И не было никаких признаков, что шкафы эти время от времени кто-то открывает.

— А хорошо у вас в городке,— похвалил Солодков, чтобы начать с чего-то разговор.— Зелень, чистота, порядок.

— Культурно живем!— согласился майор.— Даже благодарность от округа получили.

— Если бы так все жили!..

— Это вы зря, товарищ Солодков! Народ знает, кому как надо жить. Бюджет составляем не мы. Сверху виднее.

— Да я понимаю. Я просто говорю, что не плохо бы...
— Как это «просто»? Просто говорить нельзя. У нас это не положено.
— Ладно, не надо каждое слово в донесение ставить. Хорошо живете — вот и все.
— Культурно живем! — повторил Гладышев.— Охраняем мирный труд страны.
— Да мы все охраняем. Впрочем, вы правы! — вдруг резко оборвал он сам себя и вслед за тем заговорил с Гладышевым как-то свободнее и даже с некоторым чувством превосходства, словно груз какой с плеч сбросил или вспомнил вдруг, что он все-таки не ординарец, а секретарь райкома партии и подполковник запаса.— Вот что, товарищ Гладышев! Вы меня пригласили, ну и принимайте гостя. Пошли — показывайте городок.

Гладышев, закрывая кабинет, бросил кому-то на ходу, чтобы доложили полковнику, который должен скоро вернуться из командировки, что он будет с секретарем райкома, выехать никуда не сможет, и двинулся впереди Солодкова по коридору.

Опять начались взаимные приветствия — сухие, четкие, напоминавшие некий религиозный обряд. И Солодков опять сжался весь.

По территории городка не прошли они и сотни метров, как майор свернул в подъезд небольшого жилого коттеджа.
— Зайдем ко мне! — сказал он тоном, не допускающим возражений.

Солодков молча переступил порог. Откуда-то из глубины квартиры тявкнула собачонка. В прихожую, навстречу им, выпорхнула гладенькая молодая дамочка в шелковом халате, с желтыми волосами, с пухлыми губками, с очень черными ресницами, которые бросались в глаза.
— Начальничек мой пришел,— пропела она и, не стесняясь присутствием незнакомого человека, потянулась к майору за поцелуем.

Майор поцеловал ее и представил Солодкову:
— Это Ляля!

Затем он отдал приказ:
— Лялечка, все на стол, живо, чтобы Павел Алексеевич был доволен. Он — вместо Крюкова.
— Вместо Крюкова? — взвизгнула Лялечка.— Как это хорошо! Ах, если бы вы знали, как это хорошо, Павел Алексеевич! Раздевайтесь, пожалуйста, будьте как дома.

Павел Алексеевич заулыбался от удовольствия, покруг-

лел и, раздевшись, прошел за Гладышевым в одну из трех комнат. Это был домашний кабинет с ковром на полу, с письменным столом и книжным шкафом. В шкафу так же в неприкосновенном виде красовались толстые корешки солидных томов с золотым тиснением и военно-политические брошюры. Художественной литературы не было и здесь, если не считать нескольких песенников и эстрадных сборников Культпросветиздата.

Гладышев не предложил сесть, он сначала хотел показать гостю всю свою квартиру.

Все три комнаты казенной квартиры начальника политотдела — кабинет, столовая, спальня — были обставлены добротной казенной мебелью. Особенно эффектно выглядела столовая — квадратная, емкая, с круглым столом посередине и дюжиной массивных стульев.

На серванте, на горке, на черном пианино, на коричневом радиоприемнике, на сервировочном столике — всюду сияли белизной всевозможные кружевные дорожки и салфеточки — вероятно, Лялечкины изделия,— а на них резные слоники, слоники, слоники, разной величины, то костяные, то пластмассовые, то снежно-белые, как гуси на пруду, то серые, словно мыши.

Лялечкино рукоделье пестрело и на диване — бесчисленное количество расшитых подушечек, а над диваном коврик с цветами, с лебедями, с охотниками.

Около дивана, в углу, громоздилась гора детских игрушек — на разные возрасты. Тут были куклы разодетые и куклы-голыши, заводные автомобили всяких марок и заводной мотоцикл с водителем, лошадки и ослики, кроватки и качалки. На коврике рядом с игрушками лежала маленькая волосатая собачка — помесь щетки с гусеницей — собачка живая, но также похожая на игрушку для детей. Она ворчала, но не лаяла.

Павел Алексеевич с умилением посмотрел на собачку, на игрушки, на обилие стульев вокруг обеденного стола и восхищенно сказал хозяевам дома:

— Молодцы!

— Что — молодцы?— спросила Ляля, которая принесла в это время с кухни первый набор закусок и графинчики с вином и водкой.

— Молодцы, что семья — дай бог! Правильно живете. Где же дети?

Ляля Гладышева как-то печально взглянула на него и неторопливо ответила:

— У нас нет детей.

И ушла на кухню.

Павел Алексеевич виновато посмотрел ей вслед, испугавшись, что совершил большую бестактность. Может быть, он прикоснулся к незаживающей ране, напомнил о беде, о трагедии? Все-таки недавно была война, а майор — пограничник... все могло быть.

— Простите, пожалуйста...— обратился он к Гладышеву и замялся, не зная, что говорить дальше.

Но Гладышев даже рассмеялся и посмотрел на него весело, с озорством.

— Чего — простите? Мы, товарищ Солодков, живем без детей. Вдвоем оно спокойнее. В доме порядок, тишина и все на своих местах. Для нашего рода войск дети — излишняя роскошь, обуза. Возможны всякие переброски, да и работы много. А игрушки?— Гладышев кивнул в сторону жены, опять появившейся с кухни, и уже совсем залился добродушным смехом.— Игрушки эти Лялины. Она их заводит, забавляется, играет в куклы. Дни долгие, делать нечего, вот и чудит... Лялечка, покажи Павлу Алексеевичу свои любимые. Заведи клоуна!

Гладышева как-то жалко улыбнулась и, ничего не ответив мужу, стала разливать водку. Майор хмыкнул, нахмурился, тряхнул кудерками, которые совсем закрыли его правый глаз, и так, одним глазом, покосился на жену.

— Прошу, Павел Алексеевич! Посидим, выпьем. Без бутылки в наших делах не разберешься,— обратился он к Солодкову, решительно оборвав предыдущий разговор, словно забыл о нем.

— Что ж, посидим!— ответил Солодков.

А сам смотрел не отрываясь на жену Гладышева, смотрел с сочувствием и недоумением. Да разве игрушки нужны для этих рук, для этих глаз? Разве может устроить молодую сильную женщину такое вот заводное счастье? И так ли уж прочны у него пружины? Надолго ли хватит их?

Но продолжать говорить на эту тему не было никакого смысла. Солодков это понял совершенно отчетливо и потому просто поднял свою стопку. Закусок было много. Водка шла хорошо, легко. Счастливая Ляля умела угощать, правда, сама ничего не пила и не ела.

— Понятно ли вам, Павел Алексеевич, что произошло здесь с Крюковым? Все ли понятно?— начал Гладышев о самом главном, о том деле, в котором, как он сказал, без бутылки нельзя было разобраться.

— А разве что-нибудь произошло с ним?— попытался схитрить Солодков.

— Так точно!— коротко отрубил Гладышев, словно забил последний гвоздь в крюковское домовище.

— А я давно его знаю. Человек он, правда, резкий, но прямой, последовательный, принципиальный...

— Вот-вот, прямой! Гнался за дешевой популярностью среди местного населения. То картофель заготовлять не желает, то сена не наберет, сколько требуется для скота на черный день.

— Убрать не успевают?— продолжал выпытывать Солодков.

— Всего никогда не уберешь. Его тут много. Только в горы лезть надо. С людьми работать надо, а не быть на поводу у масс. Первый закон руководителя — не допускать никакого самотека.

— А если картофель не растет здесь?

— Вот-вот! И Солодков так же. А почему он не растет здесь? Потому что не потакать надо людям, а возглавлять их, управлять ими. В Заполярье растет, у нас не растет. Должен расти — и все тут! За безрукость надо бить по рукам. Если на местах будут делать то, что им в голову взбредет,— что останется от планов? А план — это закон. Прислушиваться к голосу местного населения? Пожалуйста! Развязывать творческую инициативу? Пожалуйста! Но от плана отступать не смей. План есть план. План — это устав.

Гладышев не волновался, не горячился. Он произносил свои слова медленно, негромко, как уважающий себя лектор, и, казалось, сам прислушивался к тому, что говорил. Он не открывал истин. Он знал, что сказанное им известно всем, но зато и обсуждению не подлежит.

А Ляля притихла еще больше.

Солодкову гладышевская самоуверенность начинала претить, но про себя он все-таки подумал, что майор не так глуп.

— Вы знаете, что здесь не хватает людей, чтобы обслуживать скот?— спросил он.— Главное здесь не картофель, а животноводство.

— Я и говорю не о картофеле. Планы должны выполняться всюду и безоговорочно.

— Но если народ здешний никогда не занимался картошкой?

— Народ за собой вести надо. Заранее предусматривать каждый его шаг, все определять и все предугадывать. А Крю-

кова потянуло на ложную демократию. Любимцем хотел стать. Это не пройдет.

«Нет, майор не глуп,— снова подумал Павел Алексеевич,— только что за нелепая прямолинейность? У Крюкова крен в одну сторону, у этого в другую. Почему это плохо — стать любимцем, иметь авторитет среди людей?»

Солодков сам считал, что руководитель должен нравиться людям, его должны любить. И ничего предосудительного в этом не видел. Более того, хотеть надо, чтобы люди тебя не только не сторонились, но и уважали, и любили.

Павел Алексеевич все больше склонялся на сторону Крюкова.

— Видите ли, товарищ майор,— сказал он,— о таких вещах надо думать и говорить серьезнее. Вопросы хозяйственной жизни района весьма сложные вопросы. Может быть, Крюков имел в виду, что выгоднее, практичнее подвезти сюда картофель, чем отвлекать рабочую силу от ухода за скотом. Животноводство — главное. Надо вытягивать животноводство. Обеспечивать скот сеном на время снегопадов, беречь его от падежа, от зимних стуж. Все зависит от того, как сложатся обстоятельства для животноводства. И уж тут нельзя не считаться с людьми. С людьми тоже ладить надо.

— А я о чем говорю?— удивленно тряхнул кудерками Гладышев.— Я что-то вас не понимаю, товарищ Солодков. Что вы называете — ладить с людьми? С какими людьми?

В вопросах Гладышева появились какие-то новые резкие интонации. Солодков вскинул на него глаза и насторожился. Ему опять вспомнились слова Крюкова: «Отсюда все и пошло». Он задумался и даже немного отодвинулся от стола вместе со стулом, словно хотел взглянуть на Гладышева со стороны.

И ему показалось, что он сам точно не понимает, о чем говорит, чего хочет, что отстаивает.

В квартиру позвонили.

Лялечка бросилась в переднюю и встретилась с начальником погранотряда.

Приход полковника был неожиданным для Гладышева, он смутился, но супруга его не растерялась, защебетала, закружилась, помогла полковнику раздеться, поздравила его с возвращением из командировки, почти похвасталась: «А у нас гость!» — и, казалось, уладила все — лучше не надо.

Полковник, пожилой человек могучего телосложения, широколицый, с маленькими усиками, чем-то, несмотря на усики, напомнивший Солодкову командарма Котовского, про-

шел в столовую свободно, как в свой дом, суховато поздоровался с вытянувшимся Гладышевым и, осмотрев с головы до ног также поднявшегося со стула Солодкова, пожал ему руку.

— Рад познакомиться. Как осваиваетесь на новом месте?

— К работе я еще не приступил, товарищ полковник,— ответил Солодков.— Вчера вот был на празднике. Интересно.

— Район интересный, но трудный. И Крюкову тут нелегко было... День пастуха хорошо прошел?

— Мне понравилось. По-моему, хорошо.

— А мне не понравилось,— сказал полковник и обратился к Гладышеву: — Не понравилось мне, товарищ майор, что мы, военные, не участвовали в празднике. Вот приехал, и — с кем ни поговорю — обижаются люди. Неправильно вы сделали, что отказались.

— Мне план наш срывать не хотелось, товарищ полковник. Вместе ведь утверждали,— возразил Гладышев.

— Вместе не вместе, а все-таки отложить надо было этот пикничок. Мероприятие мероприятию рознь. Да и не знал я, что совпадают эти мероприятия. Ну что ж, приглашайте за стол! — сказал он под конец и сел, не дожидаясь, когда Гладышев что-нибудь скажет.

— Прошу, Семен Семенович! — задним числом предложил Гладышев, переходя на неофициальный тон.— Вот знакомимся...

— Знакомиться надо, только не с того вы начинаете.

Полковник, видимо, ни о чем не умел говорить спокойно, но это была горячность, а не раздражительность, и потому замечание, сделанное им Гладышеву, не показалось обидным.

Солодков отметил для себя, что между начальником отряда и начальником политотдела есть какие-то нелады. Это особенно можно было понять из слов полковника о Крюкове.

— Ершистый он человек, этот Крюков, и беспокойный,— сказал полковник, глянув сбоку на Гладышева.— Зачем было ему лезть, например, в святая святых нашего политотдела, осматривать оформление клубных комнат на заставах, прислушиваться к содержанию политбесед? А ведь лез, все время лез! То для него плакаты устарели, ничего нет, видите ли, о наших соседях — о новом Китае и о Монгольской Народной Республике; то шумит, что не отражены в наглядной агитации решения двадцатого партийного съезда, ни слова об освоении целинных земель, о ликвидации недостатков в сельском хозяйстве; то напоминает о традиционных сердечных связях советских воинов с местным населением. По-

пробуй уживись с ним! Того гляди, заставит помогать колхозам сено убирать или овец стричь.

Гладышев взял в руки графинчик с ревеневой настойкой и, делая вид, что ничего не слышит, предложил:

— Рюмочку выпьете, Семен Семенович?

— С удовольствием выпью... вечером. А сейчас боюсь разговориться еще больше. Или вы этого и хотите?

— Ну что вы, Семен Семенович! Я же принимаю все ваши замечания о недостатках в политработе. Разве вы можете меня упрекнуть в неприятии критики?

— Интереснее всего, что именно не могу упрекнуть,— удивился вдруг полковник, обращаясь к Солодкову.

— Вот видите!— сказал Гладышев.— Несогласия у нас с Крюковым были принципиального характера.

Из дальнейшего разговора Солодков увидел, что чем больше горячился и язвил пожилой полковник, тем сдержаннее и невозмутимее становился молодой Гладышев.

— Крюков не понимал простых вещей,— продолжал майор.— Руководитель никогда не должен быть на поводу у масс. Разве это не истина?

— Истина, истина, черт возьми!— взрывался полковник.

— Любые указания сверху он должен выполнять беспрекословно. Разве вы можете не выполнить какого-нибудь приказания вышестоящего начальника?

— Не могу, конечно, не могу, а как же иначе!— сдавался полковник перед железной логикой майора.

— В противном случае, руководитель окажется в плену отсталых настроений местного населения. Разве это не ясно?

— Ясно, ясно!..

— А для Крюкова было не ясно. Он начинал возражать, спорить, сопротивляться. Вот так!

В голосе майора Солодков уловил теперь какие-то отеческие интонации. Казалось, тот снисходительно журил полковника за его устаревшие взгляды, вразумлял его и отечески предупреждал.

Чувствовалось еще, что Гладышев делает это только из уважения к его возрасту и боевым заслугам, иначе он разговаривал бы с ним совсем по-другому.

Но чем хладнокровнее говорил Гладышев, тем больше кипятился полковник.

— Вы забываете, что население — не солдаты, что это не армейская часть!— почти кричал он.

Тогда Гладышев встал и раздельно произнес жесткие слова:

— Мы все солдаты одной армии, товарищ полковник. Вы начинаете отрицать самый принцип всеобъемлющего партийного руководства. Это политическая ошибка, товарищ полковник!

Полковник насторожился, словно его обвиняли в ереси, и умолк.

«Вот на этом он и сломает себе голову! — подумал Солодков о Гладышеве.— Приказ хорош в армии, но с народом надо разговаривать по-другому, не по-армейски. Убеждать надо. Методы работы должны быть иные. Этого требует от нас партия. Об этом именно и говорил Крюков.

Но Крюков с работы все-таки снят. Гладышев почему-то одержал верх над ним. И полковник, кажется, его побаивается. Что же тут происходит и надолго ли это?..»

Солодков решил, что ему пока не следует вмешиваться в существо спора, и он перевел разговор на другую, нейтральную тему.

— Познакомился я вчера с Кунарбаем, хочу навестить его. Нельзя ли у вас, товарищи, бензинчику раздобыть? — обратился он, как проситель, глядя больше на майора, чем на полковника.

Гладышев поправил кудерки на лбу и согласовал вопрос с начальником части:

— Дадим ему, Семен Семенович?

Полковник промолчал.

Гладышев вышел в кабинет и позвонил по телефону:

— Заправьте машину новому секретарю райкома!

Вернувшись в столовую, он сказал Солодкову:

— Только для вас, Павел Алексеевич!

На этом они расстались.

Павел Алексеевич Солодков, служивший ранее инспектором райфинотдела, впервые попал на должность секретаря райкома партии в те памятные годы, когда умение провернуть кампанию и отрапортовать раньше других считалось чуть ли не главным качеством работника.

Кампаний было много: посевная, уборочная, налоговая, займовая, хлебозаготовительная, льнозаготовительная, мясозаготовительная, маслозаготовительная; кампании по сдаче молока, шерсти, пушнины, свиных шкур и так далее и тому подобное. Были ударные месячники, декадники, штурмовые недели, пятидневки, трехдневки.

Своевременно, без напоминаний, выполнять все кампании считалось невозможным и рискованным: это могли расценить как бахвальство либо очковтирательство, либо могли признать планы заниженными и резко увеличить их. Но в разное время года та или иная кампания становилась первоочередной, решающей, вот тогда-то и нужно было развернуться и показать свои организаторские способности.

Павел Алексеевич прославился в те годы умением не просто выполнить план — это еще не ставилось в особую заслугу. Он умел план перевыполнить и рапортовать, потом взять встречный план, опять перевыполнить его и опять отрапортовать. Кроме того, он не просто выполнял план, а выполнял его во что бы то ни стало и напрягая все силы, что особенно хорошо звучало в донесениях всякого рода областных уполномоченных.

Началось с того, что Солодков сам был кустовым уполномоченным райкома и райисполкома в группе деревень по заготовкам яиц. Он так толково организовал дело, так убедительно доводил до сознания каждого двора, будто от поступления яиц зависит индустриализация страны и дальнейшее немедленное повышение благосостояния всех трудящихся, что женщины, молодые и старые, не дожидаясь, пока свои куры окажутся на высоте, бросали работу в колхозе и кидались в лес за грибами, за ягодами, чтобы затем в базарный день в районном центре закупить или выменять необходимое количество яиц и расквитаться с обязательными поставками.

В другой раз Павел Алексеевич отличился на хлебозаготовках. Он в самом начале уборки мобилизовал в колхозе весь транспорт для переброски зерна за сто километров к железнодорожному разъезду и раньше всех отрапортовал райкому о выполнении первой колхозной заповеди. И хотя сбор остального хлеба в колхозе был сорван, за что председатель колхоза позднее попал под суд, а ссыпанное в вороха по сторонам железнодорожного полотна зерно лежало на голой земле до наступления зимы, оперативность Солодкова все же была отмечена в областной газете и его послали на прорыв в соседние колхозы.

Так как кампании шли одна за другой, Солодков почти перестал бывать на службе в райфинотделе, он колобком катался по всему району и редко терпел неудачи.

Выполняя и перевыполняя планы, Солодков особенно не обижал людей. Он действовал уговорами, умел вовремя пошутить, пустить по кругу пачку папирос, рассмешить весе-

лым анекдотцем, сослаться на международное положение и — добивался своего.

Когда область предложила кандидатуру Солодкова для начала на пост третьего секретаря райкома, коммунисты охотно проголосовали за него.

— Покатился наш колобок в гору! — сказали в райфинотделе, но это была их последняя шутка по адресу Павла Алексеевича.

Солодков не любил конфликтов вообще, а конфликты с начальством, подобные тем, на которые иногда решался Крюков, считал просто недопустимыми. Бывали случаи, когда планы, поступавшие из области, оказывались почему-либо нереальными, не соответствующими конкретной обстановке, но он не позволял себе критического отношения к ним. Он искренне верил в абсолютную непогрешимость всех вышестоящих начальников и всего, что шло сверху.

«Значит, иначе нельзя!» — говорил он себе и рассылал по деревням весь свой аппарат, весь районный актив, сам ездил из колхоза в колхоз, чтобы успеть одним из первых отрапортовать от имени колхозников и колхозниц о досрочном выполнении областного задания, даже если речь шла просто о сборе утильсырья или о закупке свиной щетины.

Как живет народ, во что обходятся ему встречные планы, — об этом Павел Алексеевич почти не задумывался и, видимо, не считал это важным. По существу, он не заботился о завтрашнем дне государства, ему дорог был только сегодняшний день. В запущенные колхозы, где положение порой становилось тревожным, он просто переставал ездить, чтобы не подвергать себя неприятностям.

К тому же его довольно часто переводили из района в район, и в области он оставался на хорошем счету.

Отношение к любому плану, как к догме, как к святыне, до некоторой степени сближало Солодкова с Гладышевым. Но так было раньше.

А в последнее время Павел Алексеевич стал все чаще поговаривать о развязывании творческой инициативы масс и гладышевское «обсуждению не подлежит» уже не всегда устраивало его.

Перемена в сознании Павла Алексеевича началась, когда ему был спущен план подъема целины, превысивший всю земельную площадь района. Если недоставало яиц, колхозы и колхозники прикупали их на базаре. Но где было взять недостающую тысячу гектаров земли? Озера и болота пахать

нельзя. Павел Алексеевич распахал солончаки, пастбища и все-таки остался в тени.

Правда, это ему не было поставлено в вину, и, когда потребовалось ликвидировать конфликт в районе, возглавлявшемся Крюковым, «на прорыв» опять послали Солодкова. Но после случая с целиной он все-таки начал задумываться.

Все, что рассказывал Крюков о заготовке картофеля, о сенокосах, о снежном буране, во время которого погибли тысячи овец, а Гладышев самостоятельно не решился прийти колхозам на помощь,— все это Павел Алексеевич понимал так же, как Крюков, и сочувствовал Крюкову. Нелепости есть нелепости...

Но все-таки снят с работы Крюков. Крюков, а не Гладышев! И Павел Алексеевич чувствовал, что при этих обстоятельствах не сможет он действовать, как Крюков, не сможет.

Прошел еше один день и еще день, а никаких распоряжений относительно Крюкова из обкома партии не поступало. Не было почему-то указаний и о созыве внеочередного пленума райкома, на котором должны были состояться выборы нового секретаря.

«Не до нас, видно!— подумал Павел Алексеевич и, чтобы не терять времени, решил пока съездить в гости к Кунарбаю.— Брошкин, конечно, не ошибается: этого старика надо сделать своей опорой в районе».

По совету Брошкина Солодков взял с собой пять пачек папирос «Беломорканал», перочинный нож, флакон тройного одеколона, туалетное зеркальце и ружье. Ружье для себя, остальное для Кунарбая и его семьи в качестве подарков, на всякий случай. Райкомовский шофер, укладывая купленную мелочь в машине, улыбался во все свое широкое обгорелое лицо.

— Ход конем. Правильно делаете, Павел Алексеевич!— сказал он, причем было непонятно, одобряет он или не одобряет этот «ход конем».

— Ты что, шахматист?— засмеялся Солодков.

— Шахматист — не шахматист... только Кунарбай тоже умеет в шахматы играть.

— А может, и правда, ему шахматы купить?

— У него свои найдутся.

Когда уселись в машину, шофер спросил:

— А ружье зачем, Павел Алексеевич? Сейчас не сезон.

— Для кого не сезон, а... Да, впрочем, Брошкин подсказал.

— Брошкин хорошего не подскажет.

В пути Солодков расспрашивал шофера о Кунарбае, о его семье, запоминая все, что могло ему пригодиться.

Кунарбай — казах, по-русски говорит плохо, но многое понимает. Его язык — смесь казахского с алтайским. В колхозном бюджете Кунарбай — самая доходная статья. Он великий мастер по верблюдам, начисто ликвидировал падеж молодняка, кумыс делает — лучший в районе. Да и вся семья его — верблюдоводы. А семья большая — жена имеет орден «Мать-героиня». Три сына погибли на фронте, один стал Героем Советского Союза, живет где-то по городам. Старик горюет, что прославленный сын-герой отстал от родного дома, от своего хозяйства. Работников в хозяйстве не хватает, а старик любит жить широко. По здешнему артельному уставу в личном пользовании разрешается иметь до ста пятидесяти голов разного скота — до десяти крупного рогатого, не считая молодняка, до восьми верблюдов, по нескольку лошадей, по нескольку десятков овец и коз... Правда, держат меньше, потому что пасти некому, невыгодно,— колхозы здесь в основном богатые и хорошо обеспечивают людей и мясом, и деньгами. Кунарбай — хозяин рачительный, неутомимый и фанатически честный в отношении к колхозному добру. Интересы колхоза для него выше любых личных выгод, поэтому он не раз бывал в Москве, в Кремле, на совещаниях передовиков сельского хозяйства, на Всесоюзной сельхозвыставке. Слава Кунарбая велика, авторитет среди земляков непререкаем. К нему едут за судом и за советом, вроде как в райком партии.

Солодков не торопил шофера. В степи для него все было новым, необычным, словно он попал в сказочное царство. За широкой, почти пересохшей рекой с очень каменистым руслом вдруг, словно мираж, возникли полуразрушенные глинобитные стены какого-то древнего кладбища кочевников.

Когда машина ГАЗ-69, которую за ее удивительную проходимость кое-где в шутку называют «проходимцем», пофыркивая и переваливаясь с одной каменной глыбы на другую, выползла наконец на высокий берег, Солодков попросил остановиться и ступил на скрежещущую землю. Стены кладбища оказались ему по грудь, местами они были развалены, и потому Солодков легко поднялся на одну из них, чтобы рассмотреть древние могилы сверху.

Кладбище напоминало остатки заброшенных скотных дворов или загонов. В каждом загоне сохранилось по не-

скольку наполовину заваленных ям, поверх которых лежали полусгнившие деревянные брусья. Покойников, видимо, не засыпали землей и только сверху клали бревна, чтобы защитить трупы от зверей и хищных птиц. А быть может, могилы закрывались и досками?

И к какому веку все это относилось, когда все это было? — шофер ничего сказать не мог.

— Что было, то было! — единственное, что он произнес в ответ на многочисленные вопросы Павла Алексеевича.

Кое-где под стенами зияли дыры, вроде лисьих нор. Из одной такой дыры и впрямь выскочила рыжая облезлая лиса и закружилась среди развалин, как в лабиринте.

Ружье осталось в машине, и Солодков мог только пугать ее криками. Казалось, что лиса обезумела от страха и мечется от стены к стене без всякого толку, то уходя от него, то вновь появляясь на расстоянии выстрела.

— Давай ружье! — заорал Солодков шоферу, почувствовав, как у него от охотничьего азарта начинают дрожать руки и ноги.

Но вот лиса проскользнула под одной стеной, потом под другой, вынырнула вблизи него, совсем рядом, под ногами, прыгнула, завертелась клубком, и Солодков вздрогнул от жалобного детского плача и писка. Только теперь он понял, что все это время лиса не обращала на него никакого внимания, а занималась своим святым делом. Она гоняла зайца и поймала его.

Следя за лисой, Солодков ни разу не заметил ее жертвы, действительно перепуганной, действительно жалкой. Он спрыгнул со стены и в упор встретился с глазами хищницы — маленькими, злыми, колючими. Трудно сказать, кого больше ошеломила неожиданная встреча — человека или зверя, только лиса не разжала челюстей, не выпустила зайца, а отскочила в сторону и понеслась с ним — длинноногим, мотающимся, — теперь уже не петляя, а по прямой, за могильники, вдаль, в степь. Когда шофер с ружьем взобрался на стену, лиса уже скрылась за бугром.

— Видал? — спросил его Солодков.

— Что видал, Павел Алексеевич?

— Вот это, брат, взаимоотношения!

Поехали дальше. И чем дальше, тем удивительнее становилась степь, тем больше чудес встречалось по дороге.

Павел Алексеевич не выпускал ружья из рук. Вот вдали

показался не то человек, не то каменный столб. Может быть, тоже какая-нибудь древность? Каменная баба?

— Что это за памятник?— спросил он у шофера.

— Гм!— обнажил тот свои белые зубы.— Просто орел на камне сидит.

— Тогда гони!

Шофер дал газу, и Солодков с близкого расстояния разрядил оба ствола. Орел, не повернув головы, спокойно снялся с камня и, величаво раскинув свои огромные крылья, полетел дальше.

— Плохо стреляете, Павел Алексеевич.

— Гони!— закричал Солодков.

Машина свернула с дороги и ринулась за орлом, а тот опустился на другую, торчавшую из земли глыбу и неторопливо сложил крылья. Солодков, дрожа от нетерпения, перезарядил ружье и снова выпалил по орлу дважды, опять почти в упор.

— Что за черт!— ахнул он, когда царь-птица, словно с пренебрежением к стрелку, словно не желая больше выносить его назойливости, взмыла в воздух и, кругами набрав высоту, удалилась в сторону гор.

— Дробь, что ли, мелка?— сказал Солодков, вылез из машины и подошел к камню, на котором сидел орел.— А кровь есть!— торжествующе закричал он.— Кровь есть и перья есть.

— Вы же его убили,— сказал шофер тихо, как говорят при покойнике,— только орел не желает, чтобы вы видели, как он будет падать.

Потом они врезались в стаю прогуливавшихся на свежей траве черных лебедей, которые Солодкову вначале показались баранами. Шофер, заметив их, дал резкий сигнал, конечно, не без умысла, но, к его глубокому огорчению, лебеди все же растерялись, не сразу поднялись, и Павел Алексеевич успел открыть дверцу машины и выстрелить. Лебеди один за другим с разбегу начали отрываться от земли и кругами уходить в небо, а один, раненый, еле-еле дотянул до ближайших озерных камышей и где-то там ткнулся. Искать его было бесполезно, да Павел Алексеевич и не думал бежать за ним. Он надвинул козырек кепки на глаза, чтоб не мешало солнце, приставил ладонь ко лбу и, задрав голову, следил за теми, что вились в небе. Шофер молчал, не решаясь высказать своего отношения к этому бессмысленному истреблению красоты его родной земли, но всем видом он явно не одобрял поведения своего нового начальника.

— Поехали, Павел Алексеевич!

— Погоди. Сейчас один из них должен сложить крылья и грохнуться на землю. Ты слыхал, что осиротевший лебедь кончает жизнь самоубийством? Орла не взяли, так лебедя возьмем.

— Не ждите, Павел Алексеевич, здешние лебеди не падают. Поехали!

Дом Кунарбая возник перед ними неожиданно. На зеленой лужайке около речки шофер затормозил и остановился перед многочисленным стадом верблюдов. Крыша невысокого дома, показавшегося за их спинами, походила на один из верблюжьих горбов.

— Добрались, Павел Алексеевич,— сказал шофер и устало откинулся на сиденье.

Солодков вылез из машины и огляделся. Справа от них, за речкой, стояла куполообразная юрта, напоминавшая издали небольшой планетарий. Верблюды стояли и лежали по обеим сторонам речки, и вокруг юрты, и вокруг дома. Никакого интереса к подошедшей машине они не проявили, только два-три, ближайшие к Солодкову, медленно повернули свои несуразные головы и, не переставая жевать, равнодушно, сверху, осмотрели его и отвернулись. Верблюжата то и дело помахивали хвостиками.

Стояла жара, стадо отдыхало.

Кунарбай появился не из дома, а из юрты — в ватном стеганом халате, в меховой шапке, в мягких сапогах. Оживленный, бодрый, словно только что хорошо выспавшийся, он еще издали что-то приветливо закричал, ловко, с камушка на камушек, перебежал через речку и бросился к новому секретарю, кланяясь и повторяя одни и те же слова:

— Павел Алексеевич Солодков! Солодков Павел Алексеевич!

Солодков сначала пожал руку Кунарбая, потом решил обнять его, вспомнив, как на трибуне старика обнимал Крюков.

— Здоров ли, аксакал? Как здоровье семьи твоей, аксакал?

— Здоров, семья здоров, верблюды здоров! Солодков Павел Алексеевич, Павел Алексеевич Солодков.

Кунарбай повторял имя гостя, словно услышал его впервые и боялся забыть. А глаза у старика — их Солодков разглядел лишь сейчас,— глаза были еще оживленнее, чем он сам,— щупающие, думающие, с огоньком. По-приятельски, как со старым знакомым, поздоровался Кунарбай и с шофером

и показал рукой на свой дом, приглашая обоих следовать туда.

Но Павел Алексеевич захотел сначала побывать в юрте, и аксакал повел их за речку, то и дело оборачиваясь и почтительно кланяясь. Обернулся он и на середине речки, когда стоял на торчавшем из воды камне, обернулся и протянул Солодкову руку. Солодков смущенно отказался от помощи, но при этом сделал неудачное движение и, потеряв равновесие, оступился в воду, а был он не в сапогах, а в ботинках. Шофер прыснул, а Кунарбай подхватил секретаря, почти поднял его на руки и потащил в юрту.

Юрта была пуста. Кунарбай, ахая и охая, заставил Солодкова сесть на ковер, сам сел рядом, стащил с него мокрые ботинки, стянул носки, откуда-то, кажется прямо из-под ковра, достал новые шерстяные носки и напялил их на ноги Солодкова. Старик проделал все это с такой поспешностью, с таким напором, что Павел Алексеевич просто не успел воспротивиться.

— Какой же ты еще молодой, аксакал!

— Молодой, молодой, совсем молодой,— подтвердил он и показал на своды юрты: смотри, дескать, раз пришел смотреть.

Павел Алексеевич осмотрелся. Остов юрты был сделан из тонких деревянных планок, красиво и прочно стянутых веревками и ремнями, и ажурностью своей напоминал изящный бамбуковый каркас раскрытого китайского зонтика. По всей окружности юрты, на высоте примерно одного метра от пола, проходила резная деревянная панель. Сверху юрта была покрыта кошмами из верблюжьей шерсти, а на полу вокруг очага красовались разноцветные ковры-сармаки. У стенки с одной стороны возвышались топчаны для спанья, покрытые одеялами, с другой стороны стояли два велосипеда, ружье — мултых, на полу лежали связки сурочьих шкурок, кожаный мешок вроде кавказского бурдюка, наполненный чем-то, и разная хозяйственная утварь — хомуты, седелки, скребки для верблюдов.

Пока Солодков осматривался, Кунарбай внимательно следил за ним, словно ждал вопросов.

— Кто здесь спит, аксакал?— спросил гость.

Кунарбай не понял.

— Где лучше жить — в юрте или в доме?

Кунарбай опять не понял.

В стороне от очага, ближе к топчанам, стоял круглый низкий столик, но не было ни одного стула или скамейки.

Над столиком висела электрическая лампочка без абажура, висела не на проводе, а на простой бечевке. Павел Алексеевич, улыбнувшись, показал на лампочку:

— Видно, ждешь не дождешься электричества?

И опять Кунарбай ничего не смог ответить. Выходило, что разговора с ним без переводчика не получится. Солодков поискал глазами шофера, надеясь, что тот сможет помочь, но шофер в юрту не заходил. Тогда он тронул рукой кожаный мешок и попытался задать еще один вопрос:

— Кумыс?

Кунарбай весело хихикнул и с полной готовностью ничего не скрывать от большого начальника доверительно сообщил:

— Арачка!

Павел Алексеевич арачку знал и пил: это самогон, который изготовляется, как и сырчик, из молока,— вонючий, как любой самогон. Он знал также, что гнать арачку в известные периоды сельскохозяйственного года запрещается, запрещено и сейчас, поэтому откровенность Кунарбая принял как проявление высшего доверия к себе и был доволен.

— Любишь?— спросил он старика.

— Любишь?— как эхо, повторил за ним аксакал, то ли отвечая вопросом на вопрос, то ли просто не понимая, о чем его спрашивают.

Затем Кунарбай встал и, указав рукой на выход, пригласил Солодкова перейти в дом:

— Милости прошу, Солодков Павел Алексеевич!

Дом, построенный знатному верблюдоводу колхозом, был обыкновенной бревенчатой сельской избой, с крыльцом, с чуланами в сенях, с широкой русской печкой, разделявшей жилое помещение на две половины, но в убранстве избы многое напоминало юрту — такие же ковры на полу, такой же низкий круглый столик посередине и так же, как в юрте,— ни одного стула, ни одной скамьи. Только вместо топчанов здесь стояли две металлические кровати с никелированными шарами, с богатыми постелями и большим количеством подушек в кружевных наволочках.

С потолка и здесь свисала электрическая лампочка, но не на бечевке, а на настоящем проводе.

Переднюю стену украшало небольшое зеркало, пестрели цветные плакаты военного периода: «Что ты сделал для фронта?», «Воин Красной Армии, защити!» — и один плакат о дружбе великих народов — советского и монгольского. Наособицу висели фотографии в самодельных рамках — три солдата, очень похожие друг на друга («Погибшие сыно-

вья!» — определил Солодков), сын-офицер со звездой Героя Советского Союза и цветной фотоснимок самого Кунарбая. Кроме того, на стене была приклеена вырезка из русской газеты — рисованный портрет Кунарбая и статья под ним «Мастер социалистического животноводства». Под вырезкой на гвоздике болталась старинная подзорная трубка — откуда она взялась тут и для чего она?

У порога с Солодковым и его шофером поздоровались сгорбленная худенькая старушка, жена Кунарбая, ростом еще ниже его, заробевшая невестка — вдова одного из погибших сыновей — и младшая дочь — дородная яркая девушка лет двадцати с ясным прямым взглядом. Первые две, поздоровавшись, исчезли за печкой, а девушка осталась с отцом и с гостями. Она-то и стала для них переводчицей.

Солодков снова захотел спросить об электрических лампочках.

— Скоро свет будет?

— Света не будет. Просто отец купил лампочки и повесил. Вы же видите, что у нас даже проводки нет, — ответила девушка.

Кунарбай вопросительно взглянул на дочь, та что-то ему сказала, и Кунарбай закричал:

— Будет, будет! Совсем будет!

Старик, видимо, верил в это.

Солодков послал шофера за подарками. Кунарбай, казалось, очень обрадовался и папиросам, и ножу, и одеколону, позвал жену и все передал ей. Вручить карманное круглое зеркальце Павел Алексеевич не решился — очень уж оно выглядело дешевым.

— Где главный секретарь Крюков, почему он не приехал? — спросил Кунарбай.

Солодков растерялся, не зная, как отвечать. Неужели старик не понял, что главный секретарь сейчас он, Солодков, а не Крюков?

— Крюков занят, — сказал он наконец.

Дочь перевела. Кунарбай хмыкнул, засунул кончик седой бородки в рот, пожевал его.

Сели на ковер к столу, на который невестка из-за печки начала носить пиалы. Появился соленый чай, кумыс в большом белом тазу.

Кунарбай и шофер привычно подогнули под себя ноги. Солодков попробовал сидеть так же, скрестив ноги, но скоро устал и лег на ковер на бок, вытянув ноги к стене.

За Кунарбая теперь хлопотали женщины, а он достал труб-

ку, закурил и заговорил о том, что, видимо, его очень волновало. Дочь переводила.

— На скачках я занял не третье место. Я занял первое место. Я всегда занимал первое место и получал самую большую награду. Я не виноват, что занял третье место. Виноваты те, кто отводили круг. Они обманули Кунарбая, всех обманули, себя обманули. Надо было намерить пятнадцать километров, они намерили только двенадцать километров. Круг был мал, и Кунарбай не виноват, что не успел разогнать коня. Они моего коня обманули!

Солодков, смеясь в душе, решил задобрить и поддержать старика. Так надо было при этих обстоятельствах. И он сказал:

— Ты прав, аксакал! Они ошиблись, я уже знаю об этом.

Кунарбай удивленно вскинул голову.

— Почему ты знаешь об этом? Крюков не знает. Только я один знаю об этом.

— То, что знаешь ты, аксакал, должен знать и я. Мы оба аксакалы, Кунарбай!— ответил Павел Алексеевич.

Старик, казалось, согласился с ним. Он отложил трубку и взял папиросу, предложенную гостем. Взяла папиросу и невестка, затянулась, закашлялась и ушла за печку: она никогда раньше не курила, но отказываться от угощения не положено.

Мужчины пили кумыс.

— Почему не приехал главный секретарь Крюков?— снова настойчиво стал допрашивать Кунарбай.— Он хороший начальник. Гладышкин — плохой начальник.

«Это о Гладышеве»,— догадался Солодков.

— Расскажи о своих сыновьях, аксакал,— попросил он.

— Все мои сыны — герои. Но трое погибли. Это нехорошо. Герои должны жить. Один герой покинул дом отца. Тоже нехорошо. Гладышкина надо убрать, поставить начальником Героя, моего сына. Так будет хорошо.

— Чем нехорош Гладышев?

— Он суровый начальник. Начальником должен быть добрый человек. Он ударил своего шофера, женщины наши видели. Гладышкина женщины боятся. Он стреляет сурков из машины и не подбирает их. Сурки гниют, никому пользы нет. Его машины давят наших баранов, никому пользы нет.

При этих словах Солодков вспомнил о своей дорожной охоте, покосился на шофера, и ему стало не по себе. «Неужели узнали так скоро?»— подумал он.

А Кунарбай продолжал:

— Воины не должны быть жадными. Гладышкин жадный.

Военный конь должен много кушать. Колхозный конь тоже должен много кушать. Все кони военные. У Гладышкина много сена. У нашего коня мало сена. Он продает сено нашему коню. Такого закона нет.

— Что это значит?— спросил Солодков у дочери Кунарбая.

Девушка на минуту перестала быть бесстрастной переводчицей. Она жестко взглянула на Солодкова и ответила так, словно потребовала немедленно дать ей жалобную книгу:

— Это значит, что пора прекратить безобразия. Излишки сена нельзя отсюда увозить или продавать колхозникам, когда они в беде. Неправильно это!

— Так больше не будет, аксакал,— пообещал Солодков.— Если это правда, я сделаю, что так больше не будет.

Он повернулся на другой бок и, приняв новую пиалу с кумысом, попросил, чтобы все женщины сели за стол и пили и беседовали вместе с ними. Кунарбай, видимо, разрешил. Тогда выяснилось, что в доме аксакала не хватит для всех по пиале. Женщины не сели за стол, кроме дочери. Кунарбай начал горячиться:

— Я привожу пиалы из Москвы. Это нехорошо. Пиалы нужно продавать здесь. Я вожу из Москвы бархат, алтайцы любят бархат. Бархат должны продавать здесь. Крюков обещал это сделать. Почему он хочет уехать от нас? Живите оба: вы начальник и он начальник.

Солодкову такой разговор переставал нравиться. Надо было отвлечь старика.

— Что же ты, аксакал, не угощаешь другого аксакала своей арачкой?— сказал он, придав своему упреку шутливый тон.

Но Кунарбай неожиданно насторожился.

— Закон запрещает арачку. Я уважаю наш закон.

«Что же это?— подумал Павел Алексеевич.— Разве старик перестал доверять мне?»

И он заговорил еще более шутливо:

— Русские говорят: без бутылки не разберешься. Как может идти беседа без арачки?

— У меня нет арачки!— отрезал Кунарбай.

Солодков покосился на шофера, словно спрашивая его, можно ли продолжать настаивать, но шофер ничего не подсказал ему.

— Аксакал, у тебя же есть арачка в аиле, в юрте.

Кунарбай легко поднялся, без раскачки, без наклона вперед, а так прямо вверх, как сидел, словно ноги его вдруг спру-

жинили, и бросил два слова невестке. Та метнулась из дома в юрту, а он подошел к окну, откинул кружевную занавеску, взял подзорную трубку и вперился в степную даль дороги.

Солодков заподозрил, что Кунарбай кого-то ждет и боится постороннего глаза, потому успокоил его:

— Нам с тобой, аксакал, бояться некого, мы тут главные.

— Я никого не боюсь!— резко повернувшись от окна и глядя на дочь, а не на Солодкова, неодобрительно ответил Кунарбай.— Я уважаю закон. Если аксакалы не будут хранить закон, кто будет хранить закон?— сказал и снова, повернувшись к окну, приставил трубку к глазу.

Невестка вернулась с кожаным мешком, который Солодков видел в юрте, молча подошла к столу, к белому тазу с остатками кумыса, открыла горловину мешка, и в таз из него полился такой же кумыс.

Кунарбай даже не обернулся. Приветливость, с которой он встречал Солодкова, исчезла. Казалось, старик готов был изменить святым обычаям восточного гостеприимства.

Положение Павла Алексеевича становилось очень неловким и невыгодным. Он шепнул шоферу:

— Тащи скорей водку — в машине, в свертке, на заднем сиденье!

И только когда шофер принес бутылку водки, Солодков почувствовал себя увереннее.

— Дорогой аксакал!— обратился он торжественно.— Смени гнев на милость, сядь к столу, и мы выпьем с тобой нашей русской арачки. Не обижай меня.

Девушка перевела. Кунарбай повесил трубку на гвоздь и сел к столу.

«Вот это да — ход конем!»— подумал шофер.

— Скачет!— сказал Кунарбай.

— Кто скачет?

— Мой сын скачет, коня бьет плеткой, к обеду спешит.

Выпив водки, Кунарбай опять повеселел, взял старенькую двухструнную домбру, настроил ее, играл и что-то пел высоким надтреснутым голосом, пел и смеялся.

Влетел парень, младший сын Кунарбая, настоящий второй Кунарбай, только без бороды и весь черный от солнца. Влетел, выпил предложенную ему стопку водки и зашумел, заговорил, заходил по избе, разгоряченный, потный, словно не на коне скакал, а сам бежал за конем по следу.

— Кунаргул,— с заметной гордостью назвал его отец.— Кунаргул, сын Кунарбая.

Пока гости прощались с хозяевами, Кунаргул ни разу

не присел, не остановился, а все ходил и ходил, и казалось, что изба слишком тесна для этого питомца степей и гор.

Расставание Солодкова с Кунарбаем, благодаря выпитой бутылке водки, было таким же сердечным, как встреча. Старик и его женщины долго и почтительно кланялись секретарю, при этом аксакал опять повторял: «Павел Алексеевич Солодков! Солодков Павел Алексеевич!..»

Дочь Кунарбая, переводчица, и Кунаргул, его сын, пожали гостям руки.

Но Солодков был недоволен собою. Как же он осрамился с этой проклятой арачкой! «Кто будет хранить закон?» — звучал в его ушах упрек Кунарбая. Неужели не удалось наладить с ним хорошие отношения?! Неужели аксакал не принял его?

У машины, подавая в последний раз руку Павлу Алексеевичу через опущенное стекло, старик попросил:

— Скажи Крюкову, чтобы приехал ко мне. Я его буду ждать. Он хороший начальник. Живите оба здесь. И ты будешь хороший начальник. И полковник хороший начальник...

А в это время в квартире Крюкова состоялся другой разговор. Настасья Наумовна, наступая на мужа, требовала, чтобы он довел до сведения полковника обо всем, что произошло в аймачный День пастуха. Почему все-таки не участвовали в народном празднике хотя бы политработники части? Почему не было оркестра? Правда ли, что в этот день состоялся офицерский пикник?

Крюков вначале пытался отшучиваться:

— Не горячись, Наумовна! Это не подлежит обсуждению.

— Не понимаю, Николай, что с тобой случилось? Не узнаю тебя.

— Ты еще не знаешь, что со мной случилось? — спросил в свою очередь Николай Егорович.

— Но как ты можешь так спокойно покидать район? Ты же отступаешь, сдаешься.

Тогда Крюков заговорил серьезно:

— Мне тяжело уезжать отсюда. Я оставляю здесь часть своей души.

— А в чьих руках ты оставляешь часть своей души? Как ты понимаешь своего Солодкова? Не кажется ли тебе, что он — тот самый колобок, который и от дедушки ушел, и от волка ушел? Он и от лисы уйдет. Его никто не съест. Он при любых обстоятельствах вывернется.

— Не горячись, Наумовна!— посуровел Николай Егорович.— По-моему, колобок думать начал. Кроме того, здесь остается Тудуев и много других товарищей, которые будут заботиться не только о добрых взаимоотношениях друг с другом. Административные восторги гладышевых — это вчерашний день нашей жизни. Партия раскусит и этот орешек. Не горячись, не все сразу...

Павел Алексеевич вернулся от Кунарбая с какой-то смутной тревогой на душе. Болела голова — может быть, и верно, высота начала сказываться? Может быть, ему нельзя здесь оставаться по состоянию здоровья?

Тревога в душе Солодкова, как ни странно, даже усилилась, когда он узнал, что за время его отсутствия никаких перемен, ничего особенного в райкоме не произошло. Его встретил Тудуев. По-прежнему завертелся в ногах Брошкин. Крюкова не было видно.

— Николая Егоровича нет?— спросил он у Тудуева.

— Вероятно, он дома.

— Какие-нибудь распоряжения из обкома поступили?

— Ничего не поступало. Только позвонили из отдела кадров, просили передать, чтобы вы оба, и Николай Егорович, и вы, Павел Алексеевич, пока оставались здесь, чтобы никуда не выезжали.

— Вы сообщили об этом Николаю Егоровичу.

— Да, сообщил.

Брошкин доложил Павлу Алексеевичу, что им приняты все необходимые организационные меры для проведения внеочередного пленума райкома. Павел Алексеевич сказал «спасибо!» и направился в кабинет первого секретаря, но, взявшись за ручку двери, опять увидел злополучную стеклянную табличку, обернулся и сорвал на Брошкине зло, скопившееся за день.

— Что-то вы, товарищ Брошкин, слишком предупредительны. Не надо стараться понравиться мне раньше времени. Ведите себя по-партийному!

Брошкин опешил, у него дернулись усики: неужели что-нибудь случилось, а он еще не успел узнать? Что значит «раньше времени»? Не сбегать ли к Гладышеву? Если обстоятельства изменились, Гладышев должен предупредить и его, Брошкина.

В кабинете первого секретаря Солодков задержался не-

долго — просмотрел свежие газеты, постоял у карты района, закурил и направился к Тудуеву.

— Ну, как будем работать?— спросил он, входя в маленькую комнатенку, где сидел Тудуев.

Здесь также стоял письменный стол и также под прямым углом к нему примыкал второй. Но комната была настолько мала, что к ней совершенно не подходило название — кабинет.

— О чем вы, Павел Алексеевич?— недоуменно уставился на него Тудуев, приподнимаясь со стула, в комнате этой даже кресла не было.— Садитесь, прошу вас!

Солодков сел на табуретку.

— Ну, как о чем?..

— Надо побывать, Павел Алексеевич, на строительстве межколхозной гидростанции. Может быть, вместе съездим?

— Давайте съездим,— согласился Солодков.— Лучше бы не сегодня.

— Можно и не сегодня. Но мне нужно срочно. Если удастся ликвидировать очередные заторы, то осенью и у нас в райкоме, да во всем районном поселке электричество будет.

— А вы развязывайте инициативу масс,— посоветовал Солодков.

— На том и стоим, Павел Алексеевич. Все строительство держится на самодеятельности. Колхозники с гор спускали лес, на себе таскали камни. Николай Егорович помог им организовать производство кирпича, сам инструктировал. Когда-то он работал на кирпичном заводе, по образованию он инженер-строитель. Но не все можно сделать самим. А сейчас банк вдруг — который уже раз!— закрыл счета колхозов. Ссылаются на невыполнение планов монтажа. Съезжу, разузнаю, что можно предпринять.

— Вот так и будем работать,— вздохнул Солодков.— Вы не знаете, что с Николаем Егоровичем решено?

— Наверно, как обычно: пошлют либо в другой район, либо на учебу, на курсы какие-нибудь.

— На курсы... это хорошо. Вот бы и мне... Климат у вас здесь, должно быть, трудный, что-то голова болит у меня...

Тудуев удивленно выпрямился, и в его черных ярких глазах заиграли веселые огоньки.

— Насчет инициативы, Павел Алексеевич. Спустили нам план по картофелю. А картофель здесь никогда не сажали, не растет он...

— Знаю. Николай Егорович говорил мне,— устало пере-

бил его Солодков.— Придется, видно, покрывать пока мясом. Не помните, какое соотношение существует?

— Не помню.

— И пора начинать готовить землю.

— А как же планирование снизу? Как с творческой инициативой?

— Планирование снизу вещь хорошая, товарищ Тудуев, но самотек опасен. Нельзя его допускать ни в чем. В области есть свои планы. Когда план спущен — вот тогда и развертывай инициативу... в пределах плана.

Тудуев посмотрел на устало опущенные плечи Солодкова, на его поблекшие круглые щеки и сказал:

— Да, климат здесь трудный. Подолгу его не все выносят. К высоте привыкать надо.

1956—1957 гг.

БАБА ЯГА

Председатель колхоза даже обрадовался, когда деревня Отшибково перестала наконец существовать. Всего десяток хозяйств на небольшом островке посреди озера, оторванных от большой земли,— какая же это деревня?! Самостоятельную бригаду там организовать было нельзя, мост к ним не построишь, сселиться предлагали на центральную усадьбу — не соглашаются... Что было с ними делать, как их укрупнять! А без руководства не оставишь. И вот, почитай, раза два в неделю выгребал председатель к ним на лодочке через все озеро, чтобы присмотреть за землей, за сенокосами и дать нужные распоряжения и указания. Трудная была деревня, сплошной хуторской пережиток. И хорошо, что самоликвидировалась, забот меньше.

Разбежались люди по разным сторонам. Одни, из молодых, уехали на строительство Череповецкого металлургического комбината и там нашли свое счастье. Другие окончили техникумы, институты и ныне работают в местах, куда направили их по разнарядке. Были девушки, что вышли замуж за парней из соседних деревень либо за военных и кочуют вместе с ними по всей земле. Из стариков и старух кое-кто перебрался на жительство к своим сыновьям и дочерям на новые пристанища, а большинство благополучно дождалось своей смерти у родного порога, на своей печи. Опустела деревня. Несколько домов проданы на своз, раскатаны по бревну и переброшены в другие деревни либо на жилье, либо на дрова. У остальных окна и двери заколочены — гниют дома помаленьку, перекашиваются, уходят в землю. Вот когда развалятся окончательно и следы быльем порастут — остров примет свой первоначальный божеский вид, и можно будет начать его благоустраивать, либо распахать целиком, либо использовать под сенокосные угодья, а то и просто — пускай лес растет. Для колхоза лес тоже нужен.

В одном только доме теплится еще жизнь. Обитает в нем неорганизованная старуха, лет семидесяти пяти, крепкая и ядовитая, как мухомор. Умирать не хочет и не переселяется никуда. В колхозе она состоит, но какая уж это колхозница! Законов ничьих признавать не желает, на собрания не ходит,

ни за кого никогда не голосует, правда, и пенсии не требует, как некоторые, зато уж и работать ее не заставишь — лучше не тронь и близко не подходи.

Как же она живет, чем питается, божья раба? Может, кто-нибудь из родных со стороны посылает на хлеб, на соль? Нет! Никто ей ничего ниоткуда не посылает. Да и нет у нее никого — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни правнуков. И не было никогда. Есть будто бы сестра где-то. Но сестра ли это ей?

А живет раба божья неплохо. Коровы у нее, конечно, нет. Зато есть коза и семь овец. От козы молоко — много ли одной старухе молока надо? А овцы — это и мясо, и шерсть на валенки, на пряжу и на полушубок. Для себя хватит, и на хлеб, на сахар остается. И ведь не запретишь ей иметь такую прорву скота — стара, ни под какие законы не подведешь. Есть у старухи еще куры и гуси, а сколько их — она, верно, и сама не знает. Весь остров в ее руках, кругом только ее владения, бродят овцы и куры по всему острову, плавают гуси по озеру, никто им не указ, других хозяев на этом пятачке нет.

Но главное богатство у старухи — лодка. Давно уже не осталось ни у кого в личном пользовании ни одной рабочей лошади. А лодка — чем не рабочая лошадь? Больше того, настоящая живая лошадь на острове даже не нужна, а без лодки здесь никуда. Свой приусадебный участочек старуха вспахивает лопатой, зачем ей плуг, зачем тягловая сила? А без лодки она была бы отрезана от всего мира. Лодка для нее и транспортное средство, и орудие производства — на лодке старуха рыбу ловит. Конечно, в приозерных селениях в каждом доме по лодке, только надо признать, что во всем колхозе нет другой такой лодки, которая бы не протекала. А у старухи не протекает, у старухи лодка всегда ухоженная — залатанная, проконопаченная, просмоленная, можно сказать, как новенькая всегда. С такой лодкой что ей не жить! С такой лодкой старуха может протянуть еще сто лет. Она даже не дряхлеет — как состарилась однажды, так и держится. Задубела, как баба-яга.

Председателю колхоза одинокая старуха на острове была явно не по душе. Его раздражало, что никогда не обращается она к нему ни с какими просьбами, ничем не докучает, что приусадебный участок у нее тоже ухоженный, разделанный, удобренный,— ни сорняков, ни беспорядка, а урожаи такие, что всему колхозу в поношение. Такие урожаи явно были рассчитаны на то, чтобы подрывать на селе его, председательский, авторитет и народ смущать. Ведь если с каждого

приусадебного участка можно собрать столько пшеницы, ячменя, картофеля, капусты, моркови, огурцов и других овощей, то стоит ли... и так далее. Подрывная старуха! На колхозных неудобренных и неухоженных полях урожаи были далеко не образцовые. Лучше бы она уехала куда-нибудь — и остров бы очистила, и дурного примера не было бы. Или умерла бы уж...

Но старуха не умирала и не уезжала никуда.

Звали эту одинокую старуху Устиньей. Но за глаза, с легкой руки председателя колхоза, все называли ее Бабой Ягой. Должно быть, многим не была она по душе, если такая злобная кличка пристала к ней сразу и навсегда.

* * *

Штормовая погодка на озере не редкость. Ни с того ни с сего на тихой синей глади появляется мелкая рябь, словно вдруг задрожит все озеро от предчувствия беды, суматошно побегут в разные стороны ветровые дороги, одна, другая, третья — то расширяясь и удлиняясь, то свертываясь, мечутся они, скрещиваются, как на росстанях, то в одном, то в другом месте. Потом сразу навалится ветер с берега, пригнет деревья и начнет баламутить воду, набивать белую пену, словно намыленное белье прополаскивает. В такие часы рыбаки на озере не задерживаются, убирают сети, сматывают удочки и спешат к надежной земле. Не раз бывало, что после шторма находили где-нибудь в прибрежных кустах разбитую лодку, и только после выяснялось, какой рыболов не отнесся с должным уважением к крутому характеру незнаменитого и небольшого, но очень капризного озера.

Свистит ветер, пронизывая насквозь камыши и кустарники, доламывает старые ветряные мельницы вблизи деревни Канашкино. А на берегу стоят председатель колхоза Павлухин Парфен Иванович с мотористом Веточкиным и ругаются, что не добрались куда хотели, пришлось высадиться и пережидать штормовой налет. Лодка была самодельная, простая и далеко не новая, а мотор сильный, с таким мотором она даже без волны постанывала и потрескивала — того и гляди, разлетится по швам. Еще бы несколько минут — и завернули бы за острова, на плес, в сторону деревни Борóк, где наверняка тихо, где ветер дует с другой стороны. Да ведь и председатель колхоза не все предусмотреть может...

Парфен Иванович был в кожаных сапогах с галошами, в сером габардиновом пальто-плаще, модных ныне среди

ответственных работников всего района, и в серой шляпе. Среднего роста, полноватый, но здоровый, не рыхлый, с лицом красным, словно обожженный кирпич, и круглым; с лицом, на котором было все, кроме глаз, потому что глаза, и без того узкие, в щелочках, прикрывались еще широкими полями шляпы. Парфен Иванович ничем не напоминал старых русских крестьян-хлеборобов, так же как ничем не походил и на современного крестьянина-колхозника, да никогда и не был таковым.

Выдвинутый на почетный пост председателя колхоза лет десять назад, Парфен Иванович все это время отдавал новой работе свое время и силы,— но с редким упорством и последовательностью старался не отдавать деревне своей души. Он считал, что это его право, и потому сохранил в райцентре свою квартиру, не перевез к себе ни жены, ни детей, тщательно оберегал все свои старые приятельские и служебные связи, ревниво следил за городскими модами, сам одевался только так, как одевались районные ответственные служащие, и попрежнему оставался в душе тем же, кем и был: работником торговой сети.

Моторист Веточкин, молодой плутоватый парень, одет был просто: промасленный ватник, заменявший ему летом и зимой рабочий комбинезон, такая же промасленная кепка и резиновые сапоги, пригодные на озере на все случаи жизни: в них он работал, в них рыбу ловил и в них же по вечерам ходил на гулянки к девушкам.

Парфен Иванович ругался, нервничал, и, соответственно с его настроением, полы габардинового пальто раздувались, трепетали по ветру. А моторист Веточкин молчал — знал свое место.

Но вот оба они повернулись в одну сторону, всмотрелись в бурную озерную гладь и переглянулись.

— Видали, Парфен Иванович?— с удивлением спросил Веточкин.

Павлухин не сразу ответил, чтобы не произносить незначительных слов. А помолчав, промолвил:

— Видал. Баба Яга — она и есть Баба Яга!

— Ей бы летать на помеле, Парфен Иванович!— хитровато подмигнул Веточкин.

— Если бы не лодка, обязательно бы летала на помеле. А впрочем, кто ее знает... может, и так... Ведь не увидишь. Куда же она? А может, это не она?

— Она! Никто, кроме нее, в Отшибкове не живет, людей на острове нет.

Издалека хорошо было видно, как от безлюдного острова отчалила лодка. Сухопарая старуха в платке, сидевшая на веслах, то сгибалась в три погибели, и тогда концы весел мелькали над гребнями волн, то резко откидывалась назад. Она гребла, по-видимому, с большим напряжением. Но все ее движения, все ее усилия, казалось, не влияли на поведение лодки. Женщина делала одно, лодка другое. Движения Устиньи были ритмичны и строго осмысленны, они подчинялись определенным законам целесообразности, а лодка прыгала с волны на волну, вверх-вниз, кренилась то на левый борт, то на правый, словно она только и ждет случая, чтобы перевернуться и навсегда исчезнуть в кипящем котле.

— Вот, чертова женщина! — восхищенно воскликнул Павлухин. — Ведь семьдесят пять лет, а хоть замуж выдавай. Куда ее несет в такую штормягу, кто ее гонит? Переждала бы...

— В бурю, Парфен Иванович, нечистой силе завсегда не сидится на месте. А кто ее несет, куда гонит — давно известно. Об этом мы еще в школе читали: «Сколько их! куда их гонят?» Наверно, захотела попить чайку, а сахару в сахарнице не оказалось, ну и давай в магазин за три километра по озеру. Либо наловила много рыбы, а соли нет...

— Чертова женщина! — повторил Павлухин.

— Да уж точно, чертова баба! А скорей всего, она душу свою тешит. Ей нужно, чтобы качало. Она не может, чтобы не качало.

— Сильная женщина, — сказал Парфен Иванович.

— Могучая! — подтвердил Веточкин. — Мотор! Вы знаете, как она тонула? Годов пять уж прошло...

— Не слыхал.

— Быть не может! Об этом все знают.

— Я говорю, не слыхал.

— Где же вы тогда пребывали, Парфен Иванович? Ведь только пять годов прошло со времени этого приключения. Состоялся здесь какой-то праздник... Какие у нас старинные праздники осенью бывают?

— Я же не знаю!

— Религиозный какой-то, древний. Главное, что выпить было что. Вот, значит, захотела она на праздник выйти, захотела — удержу нет. А на озере лед, не лед — каша. Не все в тот день решились в озеро лезть, с горя пили на дому. А она села в лодку и сломя голову взялась за весла. Одна!

— Я слыхал про это! — остановил его председатель. — Она же не утонула!

— Она, конечно, не утопула. Но ведь четыре часа сидела затертая льдом!

— Я слыхал про это.

— Значит, не рассказывать?

— А ты сам видел?

— Все от начала до конца этими глазами.

— Рассказывай!

Мотористу совершенно неважно было, слыхал Парфен Иванович про эту историю с Устиньей или не слыхал, ему хотелось рассказать обо всем самому.

— Вот, значит, вышла Баба Яга из своего дому и села в лодку. А на озере лед, не лед — каша. Только отчалила от острова — газанул ветер. Ну, не такой, как сейчас, послабей, но ветер. И развернуло ее, бессмертную, вокруг своей оси и потащило в кювет, вон к тому берегу, в камыши, вместе с «кашей». Стала она отбиваться, стала выгребать, а лодку прет юзом прямо в камыши. Чем больше она гребет, тем хуже: на веслах намерзает лед, не весла уже, а колотушки. Казалось бы, хорошо — к берегу несет. Хорошо, кабы к берегу. Но у берега камыши, а в камышах каша. Ни выскочить нельзя, ни назад обратно не выбраться. А на берегу народ празднует. Сбежались к камышам: Бабу Ягу во льду затерло, сейчас тонуть будет. Стоят все, шумят, ждут, когда Бабя Яга кричать будет. А она не кричит. Она не обращается к народу. Сарафан на Бабе Яге праздничный, старинный, кофта какая-то с воланами да с оборками, полушалок шерстяной, черный с красными цветочками,— все заледенело.

«Лодка-то крепкая у нее, не треснет?» — спрашивают. «Крепкая лодка, выдержит, наверно». — «Ну, тогда ничего, пущай посидит». Я тоже смотрю на нее с берега, думаю: помочь бы надо. А никто не помогает. Решительный народ, пьяный. Да и как ей поможешь?

Стала Яга разгребать ледяную кашу руками, вёсла уже не поднимешь: круглые стали, как культяпки. Схватится она за камыши, и подтягивается, и выкарабкивается вместе с лодкой все в сторону от берега. Это она правильно решила, что надо в сторону от берега. К берегу не выберешься, только на чистую воду надо. Работает она так — не то замерзает, посинела вся, не то вспотела, не поймешь. Час проходит, два часа проходит. Людям уже скучно стало. Расходиться начали, вино пить. А были и терпеливые, стоят на берегу, сами на ветру, мерзнут и все советуют, как и что делать, чтобы не утонула. Кричат ей: мол, выгребай, уже добра желают, а Баба Яга только шипит, согнулась, чуть не носом лед растал-

кивает. Знаете, Парфен Иванович, жалко было ее, все-таки старуха. И страшно было: в вдруг она и вправду баба-яга, вдруг да рассердится, в гнев войдет... Это же не в сказке. Тут живые люди на берегу. Мне показалось, что у нее глаза сверкают, огнем горят. Но ничего, все обошлось благополучно. Ветер стих, и старуха сама выбралась из камышей. Нам прямо легче стало. Думаем, сейчас поплывет обратно, на свой остров, обсыхать станет. А она так только на чистую воду выбралась, так и повернула к берегу, опять к берегу, только подальше от камышей. Тут мы и увидели, что она синяя вся. А глаза, и верно, горят. «Водки! — хрипит. — Дайте водки. Намучилась», — говорит.

— Всё? — спросил Парфен Иванович.

— Как всё, Парфен Иванович? Вон как ее качает, видите? Другая бы на ее месте после такого случая и в лодку больше не села.

— Родных у нее в деревне нет, что ли?

— Нигде никого нет. А вы про ее жизнь слыхали?

— Слыхал.

— Значит, не рассказывать!

— Не рассказывать.

— Еще удивительно, почему она вдруг на праздник захотела. Не любит она бывать на народе, особенно в праздник. И людей не любит.

— А где ты видал бабу-ягу такую, чтобы она людей любила? — спросил председатель.

— Это точно. В праздники, когда люди выпивают, они спрашивать охочи да вспоминать. А Устинья не любит, когда ее спрашивают о чем-нибудь да вспоминают про ее житье-бытье. Не рассказывать?

— Я уже сказал: не рассказывать.

Пока они разговаривали, лодка Устиньи ушла далеко в озеро. Ее все так же раскачивало и кидало в разные стороны, но продвигалась она все-таки в одном направлении.

— В магазин отправилась, в Корлипки, — констатировал моторист.

— Да! — согласился председатель.

Погода начала успокаиваться. Здесь это происходит так же быстро, как быстро поднимается волновая суматоха.

— Поехали, — сказал Парфен Иванович. — Баба Яга за нас работу нашу не сделает.

— Да, можно ехать. Можно было и не приставать к берегу. Все-таки это еще не волны.

Они забрались в лодку и оттолкнулись от берега. Пред-

седатель уселся на скамейку, подобрав полы габардинового плаща, а моторист рванул за веревку стартовый маховичок и, когда мотор заработал, стоя, взялся за рулевое весло. Рулевое устройство на самодельной моторке напоминало рулевое бревно на плоту, ручка от него, длинная и толстая, поднималась высоко над лодкой, и держать ее можно было только стоя. Поэтому моторист в лодке всегда стоял, а Парфен Иванович сидел. Так и полагалось выезжать на озеро с начальством.

Лодка круто развернулась и легко пошла вразрез волне. Ветер еще дул, и качка еще была, но уже незначительная.

— Может, догоним ее?— спросил вдруг Павлухин.

— Кого?— встрепенулся Веточкин и удивленно взглянул на председателя сверху вниз.

— Устинью.

— Бабу Ягу?

— Да.

— Догоним, Парфен Иванович, это нам ничего не стоит. Механизация!

— А зачем?— так же неожиданно спросил Павлухин.

— Значит, не будем догонять!— ответил моторист.

— Не будем, Борис!— в первый раз назвал он Веточкина по имени.— Лучше зайдем к ней на дом как-нибудь.

— А зачем?— спросил на этот раз Веточкин.

— Там увидим. Может быть, и незачем.

Сказал это Парфен Иванович и задумался: действительно, зачем? Сама она в контору ни по каким делам не обращается. И правильно! Зачем же напрашиваться на возможные неприятности? Женщина она грубая, резкая. Еще скажет что-нибудь не так. Обидеть может. Живет себе и пускай живет. А как живет? Чем живет? Что у нее на душе? Может, она вовсе и не баба-яга, а человек? Кто ее знает... А человек к человеку заходить должен. Надо зайти...

* * *

Устинья ездила в Корлипки в магазин за хлебом. Почему в такую погоду? Ну, разве это погода!.. Такую ли погоду видывала Устинья на своем веку. И волна летом легкая, потому что вода теплая. Вот если осенью, то, конечно, и небольшая волна может беды наделать. Осенью волна тяжелая, тогда ее бояться надо. А сейчас Устинья даже не подумала, что лодка может не выдержать, перевернуться, что надо бояться

чего-то. Совсем нечего было бояться. К тому же — за хлебом, а не баловства ради вышла она на озеро.

Вернувшись домой уже по тихой воде, Устинья легко вытащила лодку по каткам на сушу. Это была ее пристань, ее причал. Таких, как у нее, катков не было и в соседних деревнях. Два больших длинных бревна уходят концами в воду. Между ними закреплены поперечные болванки, которые вращаются свободно. Лодка заходит носом на первую болванку еще в воде, и тогда ее, скользящую по этим вращающимся каткам, можно без напряжения поднимать выше, как по роликам.

Весла остались в лодке, не снятые с уключин,— здесь красть некому, остров безлюдный.

Нет, Устинья не была сгорбленной старухой, и это стало заметно, когда она, управившись с лодкой, вышла на берег. Сухопарая и высокая, длинная, как удилище, она напоминала сосенку, выросшую в густой, непроходимой чащобе и потому всю жизнь тянувшуюся к солнцу, а теперь вдруг оставшуюся в одиночку, совсем открытую ветрам и грозам, потому что все деревья вокруг либо полегли под топором, либо сгнили. Сосна не сгибалась, но была настолько не защищенной на этом юру, что, казалось, в любую минуту может согнуться либо совсем сломаться даже от небольшого, негрозового ветерка.

На берегу Устинья осмотрелась, словно проверяла: не изменилось ли что-нибудь на островке за ее отсутствие. Ничего не изменилось. Круглая деревенская площадь густо заросла травой. Интересно, догадается ли в этом году председатель скосить траву для колхоза или снова можно будет сенокосничать ей одной. С такой площади хватит сена овцам почти на всю зиму. А сколько травы наросло в этом году на заброшенных участках, даже на развалинах, в ямах, оставшихся после того, как дома были раскатаны по бревну и увезены с острова. Хорош травостой в этом году!

Четыре избы еще сохранились, стоят на старых местах, образуя полукруг. Давно сгнили на шестах скворечники, и скворцы в них уже не залетают, зато весь остров заселили дрозды. Сначала они только навещали его в осеннюю пору, когда поспевала рябина, а потом начали и гнездиться здесь, птенцов выводить. Никогда раньше, при людях, они на острове не гнездились.

На одном из заброшенных участков, ближе к берегу озера, вся земля была расковыряна разными случайными рыбаками: сюда они причаливали за дождевыми червями.

Дом, в котором жила Устинья, издали казался тоже заброшенным, если не шел дымок из трубы и не возились у крылечка куры. Гуси же обычно пропадали на озере, в камышах, и их легко можно было принять за диких. Овцы тоже одичали и около своего двора табунились редко, а пугливо носились по всему острову. Во дворе они почти никогда не ночевали, летом в нем было душно и грязно. Приусадебный ухоженный участок был вдали от дома, на другой стороне острова.

Окна дома Устиньи выходили на круглую площадь, как и у других деревенских домов. Но у других домов окна выходили и в сторону озера, чаще всего это были добавочные избы. К избе Устиньи со стороны озера примыкал двор, и помещался он под одной крышей с домом. А у самого берега, почти у кромки воды, стояла еще банька — маленькая, горбатенькая, но доставлявшая Устинье раза два-три в месяц великое наслаждение своим вольным жарким духом, калеными вениками и склизким щелоком. Ни у баньки, ни вокруг дома не было ни одного деревца, их никогда тут не было. Зато вокруг других домов уцелели черемухи, рябины. Уцелели небольшие садочки и на местах развалин. В отдельных случаях только по этим группам деревьев и можно было определить, где стояло некогда людское жилье. Высоко в небо поднималась единственная на острове лиственница — северный дуб. Массивные ответвления ее, как рычаги, раздвинутые во все стороны, образовали зонт, под который в летние праздники собиралась, бывало, молодежь. Это место называлось угором. Тут заливались гармошки и криком выкрикивались задушевные и хлесткие частушки, в которых даже слова о безответной любви, о тоске-печали звучали с вызовом, дерзко.

Не от чая выцветает
Моя чашка чайная.
Никому я не скажу,
Зачем хожу печальная.

Либо пелись настоящие песни, но уже такие раздумчивые да протяжные, что даже не умещались на островке и потому расходились по воде кругами, плыли и летели далеко за озерные рубежи до ближайших сельских гулянок на большой земле.

Что же ты, лучинушка, не ясно горишь,
Не ясно горишь, не вспыхиваешь?
Или ты, лучинушка, в печи не была,
Отчего, березовая, не высохла?

Многое в жизни старой Устиньи было связано с этим угором, с этой широкой разлапистой лиственницей — много всяких надежд, невысказанных желаний, радостей, а позднее — горя. В девушках Устя была красивой, горячей, резкой на слова и на дела. Сил ей было дано столько, что, казалось, хватит на три, на четыре жизни. Эти силы полыхали в ее широко распахнутых глазищах, горели яркой заревой краской на щеках либо вдруг проступали мгновенной бледностью. Платья и сарафаны не успевали на ней раскручиваться — с такой быстротой она закручивала их, вращаясь то в одну, то в другую сторону. Новых ботинок ей хватало на месяц, не больше,— так усердно она плясала и на угоре, и на берегу озера, и в любом доме, и куда бы ни шла с молодежью, и где бы ни останавливалась хоть на минуту. Однажды мать запретила ей плясать в ботинках. Тогда Устя совсем перестала носить ботинки и привыкла дробить босыми пятками так, что другие и каблуками не могли.

И попеть Устя любила и умела. Пела она не громко, без видимого напряжения, никогда не переходила на крик, на визг в угоду нетрезвым бабам, считавшим, что чем громче поют девки, тем красивше у них выходит. Нет, пела Устинья как будто для себя, для своей души, поет и сама прислушивается, так ли у нее получается, про то ли голос выводит, про что в песне сказано. И многие хвалили ее — не только за разбитную пляску, но и за разымчивую песню.

— Не поет она, а ведет!— скажет, бывало, про Устинью какая-нибудь старуха под окнами.

— Что и говорить, зазнобистая девка растет, дай ей бог счастья!— скажет другая.— Ху́да только шибко, не кругла.

— Округлится еще!

Услышит это Устинья и вспыхнет вся, и побледнеет, и так и взовьется, будто в озеро прыгнуть хочет.

Недолго все это продолжалось. Очень недолго. Только-только начала она появляться на гулянках вместе со взрослыми девушками, полгодика всего погуляла, да и не гуляла еще, а присматривалась больше,— и все кончилось. Из подростков еще не вышла, девушкой-то еще не была — и кончилось все...

— Эвон, старая, с ума я спятила аль что?— вслух сказала вдруг Устинья, словно вздрогнула от своего раздумья, и пошла с берега к дому.— Ишь чего припомнилось!

А какая старуха, какой старик не вспоминают с сожалением о своей молодости? С годами воспоминания становятся все дороже, все привлекательней, и сама она, молодость,

кажется совсем, совсем близкой, будто все было так недавно и быльем еще не поросло. Думалось раньше, что жизни конца не будет. Попробуй-ка в пятнадцать лет от роду представить себе, что ты дотянешь до семидесяти — с ума можно сойти.

А вот Устинье уже семьдесят пять лет, а частенько кажется, будто молодость была так недавно, ну, совсем-совсем недавно. Счастливое, беззлобное времечко! Сколько нас ни унижали в эту пору, как ни били, ни трепали, мы все перезабыли, все простили, и в памяти остались только счастливые встречи, шумные праздники, веселая работа на полях да на лугах да многолюдные выходы за грибами, за ягодами. Никто нас тогда не обижал, все думали о нас только хорошее, да ведь и на самом деле — тогда, в ту далекую пору, мы были самыми хорошими на всей земле. Голодать приходилось — мы вспоминали только дни, когда были сыты; носить было нечего — ну и что ж, зато какое было здоровье и как хорошо было ходить босиком по родной сырой земле! Если же вдобавок ко всему жили у нас в соседней деревне добрые родственники, особенно если бабушка и дедушка,— боже мой, какое наслаждение вспоминать до мельчайших подробностей время, когда мы гостили у них, пусть только день, пусть один час, но были в гостях и нас угощали всем, что было в доме лучшего, уговаривали отдохнуть с дороги, обязательно отдохнуть, а потом вели к соседям, опять в гости — в один дом, в другой дом...

— Ишь, старая ведьма, разнюнилась, слезу пустила!— ворчала Устинья на себя, но воспоминания уже захлестнули ее и остановиться было невозможно.

Войдя в избу, Устинья положила купленную буханку пшеничного хлеба в лукошко, есть уже не стала, потому что по дороге изжевала хлебный довесок и чувствовала себя сытой.

«Вот тебе и Баба Яга»,— подумала она о себе. Тоскливо стало, тоскливо. А когда тоскливо, опять старое приходит на ум. Опять себя жалко... И воспоминания о молодости тут как тут. Такие воспоминания всегда рядом, словно ждут, когда человеку станет тоскливо.

* * *

Известие о смерти отца Устя переживала не очень тяжело и недолго. Она перестала ходить в школу, чтобы помогать матери по хозяйству, и это ей поначалу даже понравилось. А мать поплакала, поплакала и приняла в дом прием-

ка. Одной жить, видно, показалось невмоготу. Да и кому одной жить вмоготу? Усте стало легче, но в школу она все-таки не вернулась, к тому же у матери появились новые дети, и Устя стала нянчиться с ними, сначала с одним, потом с двумя сразу. Отчим с Устей был ласков, очень ласков, но она почему-то никогда не смогла назвать его папой или тятей, как требовала мать. Может быть, уже предчувствовала недоброе.

В праздники и по вечерам девочка ходила на угор петь и плясать вместе со взрослыми. Мать не удерживала ее, только приказала не плясать в ботинках. «Хоть в лаптях пляши, а чтобы ботинки были целы, еще изорвешь не одни, придет время». Устя научилась плясать босая. Время для ботинок так и не пришло. Отчим изнасиловал ее, когда девочке едва исполнилось пятнадцать лет, и счастливая, бойкая молодость оборвалась грубо и резко.

Как-то, возвратившись с дальнего сенокоса, Устя начала заикаться.

Мать спросила:

— Ты чего рот закрыть не можешь, напугалась, что ли, чего?

Девочка с трудом выговорила, что эт-то т-та-ак, что он-на н-ниче-го-го, не н-напугалась,— и зарыдала.

— Доплясалась, окаянная, докружилась! — со злостью сказала мать.— Шибко рано приохотилась на угор бегать, все гулёнки да гулёнки. Спать надо больше. Вертоголовая!

Никакого другого разговора у них не было, и мать так ничего, может, и не узнала бы о горе своей дочери, если бы для Усти не потребовалась срочная врачебная помощь. Родной матери она никогда не решилась бы сказать ни одного слова — не матери, а лишь старой тетке, сестре отца, которая пришла посидеть у ее постели, под страшным секретом рассказала, что она вся в крови и что ей больше никогда не встать на ноги. Сметливая тетка скоренько отправила приемка за волостной фельдшерицей и, пока он ездил, дозналась до всего остального, а выпытав все, тут же пересказала матери. Мать не сразу поняла, о чем идет речь, а когда поняла, то не поверила, до того чудовищным показалось ей все.

— Что ты, подлая, тут плетешь, на кого напраслину возводишь? — закричала она на бледную рыдающую девочку.

Но поверить все-таки пришлось. Тогда она испугалась и за дочь, и за своего мужа, и за участь своих младших детей, и за себя — за всех сразу. Но больше всего, кажется, испугалась она за судьбу своего мужа.

— Только не говори, Христа ради, никому! — взмолилась

она родственнице.— Ничего никому не говори! Устя не пикнет, только ты не разноси. Господи, что будет, если народ узнает! Слышишь, Устя,— поворачивалась она к дочери,— смотри, чтобы ни слова! Простить надо, а то всю семью загубят, хозяйство рухнет. Ведь посадят его.

— Не жалко тебе дочери своей!— ужасалась тетка.

— Как не жалко! Да ведь ничего не вернешь, а у меня не одна дочь, у меня их еще две. Простить надо!

— Я не прощу!— сказала вдруг Устя с какой-то недетской озлобленностью и перестала плакать.

— Ты мне характер свой не показывай!— взъелась мать.— Всех загубить хочешь? Как это так — «не прощу»! А если я тебе приказываю? Ты смотри у меня! Как это ты отца своего не простишь?

— С ума спятила баба!— Тетка ушам своим не верила.— Что ты говоришь? Какой же он отец ей после этого? Опомнись!

— Не опомнюсь. Он мне муж!

— И тебе он не муж. Он разбойник. Его судить надо.

— Не дам судить. Устю из дому выгоню, а его судить не дам.

— Не прощу!— сухо и негромко повторила Устинья. Фельдшерица осмотрела девочку и в тот же день отвезла ее в уездную больницу, в хирургическое отделение. Там был составлен протокол, и уголовное дело попало в суд. Отчима посадили в тюрьму на десять лет.

Устинья вышла из больницы и первое время жила у тетки. Она заметно повзрослела, но не только не округлилась, как предсказывали старухи, а исхудала совсем и стала еще бледнее, чем была. Только глаза ее горели яростным черным огнем. На улицу Устя почти не выходила. Ей нельзя стало показываться на народе. Отчима засудили, и ей не давали житья — над Устиньей издевались, в нее тыкали пальцами: «Видали плясунью!» — и громко говорили про нее стыдные слова и напевали скабрезные частушки. Жить у себя на родине стало невозможно, а о том, чтобы уехать куда-либо, Устинья и думать не могла: кроме своей деревни, она нигде еще не бывала и боялась всего. Попытка покончить жизнь самоубийством не удалась. Устинью вынули из петли, при этом сбежалось много народу, молодые парни видели ее голые ноги и стали еще больше смеяться над ней. Подростки не давали проходу, приставали к ней и в поле и на лугах, даже хулиганили.

Мать осталась с малыми детьми одна, а надо было вести

хозяйство, тянуть и за себя и за мужа. Кроме Устиньи, некому было помочь ей, не с кем лошадь отправить в ночное. Теперь она пахала сама, а Устя могла бы боронить. Утром мать подоит коров, а Устя могла бы их отогнать на пастбище. Почти все по хозяйству могла бы делать Устя. Мать решила, что без своей старшей дочери она жить не может. И все чаще стала навещать ее, все ласковей заговаривала с ней.

— Ты домой-то скоро вернешься?— спрашивала она ее.

— А где мой дом, мама?— всерьез недоумевала дочь.

— Где мать, там и дом твой.

— Не мой это дом.

— Как это не твой? Что ты, доченька?

— Если бы ты одна была, другое бы дело.

— Да разве они тебе помешать могут? Крохи ведь! Сестры ведь твои это.

Устинья надолго замолкала. Мать не выдерживала и снова начинала разговор.

— Ну что же ты молчишь?

— А что мне сказать?

— Скажи что-нибудь.

— А что мне сказать, мам?

— Вернись домой. Трудно мне без тебя, Устя.

— Не могу я.

— Да ведь прошло уже все. Что было, то сплыло.

— Никогда не пройдет.

— Сестры ведь твои.

— Не могу я, мама.

— Чего ты не можешь? Здоровая, а злая.

— Нездорова я. Не могу.

— Задумала опять что-нибудь?

Ничего Устинья не задумала, просто она видела, что маленькие сестры очень похожи на своего отца, и это отпугивало ее от них. Как-то Устинье даже показалось, что вырастут они — и тоже будут волосатые и бородатые, и ей стало страшно. Устинью стали подозревать, будто она решила выжить младших девочек из их родного дома. Это была неправда. Но когда мать отвезла девочек на летние месяцы в другую деревню, к бабушке и дедушке, Устинья поняла, что именно этого она и хотела.

— Сейчас пойдешь домой?— спросила ее мать.

— Пойду.

— Значит, ты их совсем извести захотела?

— Нет.

— Как нет?

— Я только с тобой хочу жить с одной.

— А их куда?

Устя опять промолчала. Потом она спросила:

— Они вернутся?

— Вернутся. И ты опять уйдешь?

— Не знаю, мама. Я не люблю их.

— Кажется, ты никого не любишь. Злая ты стала.

— Не знаю, мама.

Мать очень затосковала по своим девочкам и винить в этом стала Устю. Чем больше тосковала и чаще вспоминала о маленьких, тем больше не любила она старшую дочь.

— От бабушки пришла весточка, что девочек взять надо,— сказала она как-то Усте.— Здоровье у стариков плохое, с детьми возиться некому. Может, отдадим их на воспитание в город, в приют? — спросила и ждет, что скажет, что думает Устя.

— Ничего я не знаю,— только и ответила Устинья.

— Как это ты, подлая, ничего не знаешь?— взъелась мать.— Всех из дому хочешь выжить и меня потом выживешь.

— Не знаю!— сказала Устя.

И как ни нужна была в доме помощница, как ни торовата была Устя на любой работе, мать все-таки выпроводила ее из дому.

К тетке Устинья не вернулась — жить в деревне все равно было невозможно. Она ушла из родных мест, и несколько лет о ней ничего не было слышно. Передавали только, будто она живет где-то «на городах».

* * *

А жила Устинья и в няньках, и в кухарках, и в прачках. Работала и на попа, и на купца, и на дохлого вдового интеллигента. И сладко бывало, и несладко бывало. Работала много, тосковала по родной деревне и думала только об одном: «Забудут или не забудут?» Каждый месяц откладывала понемногу деньжат, берегла в сундучке всякие праздничные подарочки и подношения, любая светлая безделушка казалась ей драгоценностью; обзаводилась бельем, одежонкой. «Вот приеду в деревню барыня барыней,— думала она,— всем по подарочку поднесу, да как выйду в круг под лиственницей, и не босая, а в городских ботиночках на высоком каблучке, да как топну, да как... и всё простят!»

«А разве я в чем виновата?»— тут же спрашивала она себя, и горькая обида выступала красными пятнами на ее

лице и шее, а нередко и слезы заливали глаза. Жалко было загубленной молодости, оставленной родины — всего было жалко. Но казалось, что все хорошее еще вернется к ней. Время для Устиньи как бы остановилось. В ее представлении родная деревня оставалась, какой была: не старели дома, не разрушались изгороди, каждая весна начиналась с престольных праздников, а осенью варили пиво и справляли свадьбы, и обязательно каждый вечер собиралась молодежь под лиственницей. Всё по-прежнему, по-хорошему. И молодежь на кругу была все та же — те же подруги, те же парни. Поколения не сменялись, никто не старился; и замуж выходили и женились, казалось, не те знакомые ей с детства девушки и ребята, а какие-то другие. Самою себя Устя видела тоже, какой была в те последние счастливые деньки, почти девочкой. Только теперь она уже была не босая, а в начищенных ботиночках, и не в сарафане, а в платье—либо сатиновом, либо атласном, а не в каких-нибудь обносках, и в ушах у нее сережки, а на голове шерстяной узорный полушалок. Выйдет вот так — и все начнется, как было раньше, жизнь продолжится, будто она не обрывалась.

«Забудут или не забудут? Простят или не простят?»

* * *

Устинья не раз видала на своем веку, как умирают собаки. Одну пегую дворнягу раздавил грузовик на дороге. Когда к ней подошел хозяин, она взглянула на него с прежней доверчивостью, только жалобно, из последних сил приподняла голову и заскулила так, что, казалось, вот-вот вильнет хвостом и лапу ему подаст. Должно быть, она все еще надеялась, что он, ее добрый царь и бог, спасет ее, что она снова будет жить. А хозяин просто взял ее за хвост и кинул в канаву, чтобы не валялась, не мешала на дороге.

Тогда собака умерла.

Много раз Устинье приходилось самой топить котят от своей кошки. Подвал на приусадебном участке давно был распилен на дрова, столбы фундамента сгнили, а яма осталась и постоянно наполнялась водой до краев. Устинья кидала котят в яму, они пищали, пытались плавать, а она палкой по одному погружала их в воду, чтобы не мучились зря.

Сотни кур и молодых петушков умерли под топором Устиньи. Твердой рукой она отрубала им головы и отбрасывала в сторону, потому что так полагалось, и не было в этом ничего

жестокого. Пока отрубленная голова моргала глазами и подергивалась, туловище птицы прыгало, вытягивая безголовую шею, и брызгало кровью и словно все еще продолжало кричать, как только что кричала в руках Устиньи пойманная курица.

Видала Устинья, как засыпает рыба — в сети, в верше, под ножом. Не однажды видала, как умирают люди, сама принимала не одну отходящую душу и последние мольбы и причитания. Помнит, как вымирали целые семьи.

За долгую свою жизнь доводилось Устинье видеть и другое: как гибнет лес от пожаров сразу на десятках километров, как реки мелеют и покидают свои старые русла...

Но никогда не приходилось Устинье видеть, как умирает деревня, умирает постепенно, дом за домом — пустеет, разваливается, замолкает,— целая деревня сразу... На старости лет довелось увидеть и это.

Давно уже замечено, что муж и жена со временем начинают походить друг на друга даже внешним обличьем, а домá становятся похожи на тех, кто в них живет. Устинья тоже приметила, что избы очень похожи на своих хозяев, тем тяжелей было следить ей, как избы меняли свой облик, разрушались медленно, но неотвратимо.

Вот на самом берегу озера стояли хоромы — две избы с двором под одной крышей: одна изба окнами к воде, другая, с противоположного конца, окнами на круглую деревенскую площадь, а между ними скотный двор. Многочисленная семья перед войной жила в этих хоромах, даже двух изб не хватало для всех: большак и большачиха, они же свекр и свекровь, они же тесть и теща; два сына и жены их, они же снохи и свояченицы; дети их — они же внуки и племянники; три сына холостых, они же девери; три дочки незамужние, они же золовки... Что мужики, что бабы из этого дома — одинаково любили покрасоваться, побахвалиться перед своими соседями. Девушки и молодúцы первые в деревне начали носить городские юбки и кофточки и городские платья вместо сарафанов с фартуками. Молодые ребята первые среди своих сверстников начали курить папиросы, а не махорочные самокрутки — хоть копеечные, хоть «гвоздики», а все-таки папиросы. Пусть мухи от них дохнут, зато какие названия: «Самолет», «Давай покурим», «Ракета»!

Самым неуемным человеком в доме был старик большак, Матвей Торопов, владыка всех душ и животов в семье. Это он, Матвей, первый в деревне захотел, чтобы окна его дома выходили и на воду и на сушу, чтоб солнце целый день не поки-

дало избы, а главное, чтобы видно было из окон — что делается в деревне, что делается на озере. Он первый, вероятно, положил начало новой архитектурной композиции, в которой скотный двор зажимался меж двух изб. Востер был на выдумки мужик, боек на язык, важен на вид, тороплив на ногу. И прозвали его, Торопова, Торопыгиным. И стала эта кличка для него самого и для всех его сыновей, и внуков, и правнуков, для всего потомства на многие поколения, на веки веков второй фамилией. Каких только причудливых украшений не придумал Торопыгин для своих хором, чтобы поразить завистливых соседей: тут и резьба на окнах и на воротах ограды, и тесовая обшивка стен, и разноцветные резные и рубленые петухи, и конек над крыльцом, и над оградой, и над крышей с двух сторон, и узорные, расписанные масляными красками карнизы. Очень похож был форсистый торопыгинский дом на своих хвастливых хозяев, на самих Торопыгиных.

Но все это пошло прахом.

Началось с того, что три сына не вернулись с войны. Овдовевшие снохи, бабы приглядные, работящие, помучились, помучились и вышли замуж в те деревни, из которых были взяты. Деток своих они поделили: старших взяли с собой, младших оставили дедушке и бабушке на воспитание. Подросли эти внуки, подучились и разъехались — один в Череповец, домны строить, другой окончил ФЗУ и тоже стал работать на каком-то заводе. Два уцелевших на войне сына жить дома не согласились, но гостить ездили каждое лето, пока старики были живы. Старший сын остался в армии и дослужился до генерала, младший Торопыгин пошел на партийную работу, его избрали секретарем райкома. Дочери Торопыгины в девках не засиделись — двух, что повиднее, моряки-отпускники увезли в Ленинград, а третья устроилась работать директором швейной артели в райцентре.

Старик Торопыгин не жаловался на свою судьбу: все его дети вышли в люди, никого власть не обидела. О погибших что́ говорить — они погибли. У кого в эту войну не сложил голову хоть кто-нибудь — таких семей не было. В каждом доме один-два покойника. Старик все принял как есть. А все-таки семья его, огромная и дружная торопыгинская семья, распалась. Непоседливому старику стало скучно жить на земле: нечем заниматься, не к чему руки приложить, не на кого покричать. И большак умер. Он не болел, не надоедал никому кашлем, стонами, жалобами, ни разу не обращался к врачам, ни даже к фельдшерам. Не болел, а просто собрался и умер,

потому что время пришло, потому что так решил, так надо было.

А старуха Торопыгина еще несколько лет после этого ездила по гостям: поживет месяца два-три у генерала и, когда невмоготу станет ладить с легкомысленной накрашенной генеральшей, переедет к сыну — партийному секретарю. А потом в Ленинград — к одной дочке, к другой дочке, «по морям по волнам, нынче здесь — завтра там», поживет, наконец, в родном районе у дочки — швейной директорши, а от нее, с новыми сарафанами и кофтами, с новыми шалями и полушалками, в новых пальто — и летнем и зимнем,— начинает весь круг сначала.

Теперь окна торопыгинского дома заколочены, вся красота его сгнила, резные наличники осыпались. А главное, прогнулась длинная крыша в самой середине, та часть, что была над двором,— сгнили стропила. Строили Торопыгины навеки, но ничего нет вечного на островке, в деревне Отшибкове. И стал большой и важный торопыгинский дом походить на зверя с переломанной спиной. Сквозь доски на окнах, как сквозь прикрытые от боли веки, влажно поблескивают стекла.

С обеих сторон торопыгинского дома торчат из бурьяна и осоки остатки глинобитных печей. Устинья хорошо знала всех, кто жил на этих местах, но их уже нет, и домов нет, стоит ли и вспоминать о них!

А вот изба Пелагеи Степиной. Господи, до чего же это была неряшливая хозяйка! Вся округа знала об этой неряхе, и, где бы ни собирались гости — за праздничным самоваром или за бутылкой водки, не обходились веселые разговоры без смешных историй о Польке Степиной. Рассказывали, что она подоила корову в помойное ведро вместо подойника, а из подойника вымыла пол в избе. «А разве она когда-нибудь моет пол в избе?» — спрашивали при этом. Рассказывали, что по утрам она подолгу не одевалась и ходила в грязной нижней рубахе-по́дставе, особенно когда возилась у печи, стряпала. В деревне соседки нередко одалживают друг у друга печеный хлеб. У Польки старались не одалживать: в ее караваях обязательно находили либо волосы с головы, либо что-нибудь и похуже. А как-то стряпала она к празднику пироги с рыбой и вместо рыбы завернула в тесто свою тряпичную грудь, вывалившуюся из-под рубашки, когда она наклонилась над столом. А потом будто бы угощала этим рыбником попа и приговаривала: «Кушай, батюшко, что в пироге, а на корочку наплюй!» О муже Пелагеи Степиной никогда ничего не рассказывали, потому что не он в доме был главным.

Разве что кто-нибудь буркнет про пего неуважительно: «Это не большак!» — и все. Мужиков, которые отдавали вожжи своим женам, в деревне ни во что не ставили.

Зато и дом Степиных был похож не на хозяина, а на хозяйку. Его называли — Полькин дом. Он был всегда неприбран, неухожен, грязен. На крыше вечно валялись какие-то палки, старые веники, лапотные ошметки-обноски. У крыльца даже в сушь стояла лужа. Изгородь либо повалена — и тогда свиньи разгуливали на картофельных грядках, либо небрежно залатана еловыми ветками и подперта то оглоблей, то вилами. Надолго ли еловые ветки? Пока они свежие — даже куры не проберутся на огород, а чуть подсохнут хвойные иголки — и опять зияют дыры сверху донизу.

Зады Полькиной избы выходили на озеро, и это было самое смешное, потому что с дощатых настилов, открытых в сторону озера, постоянно свешивались голые зады. Это была «Полькина уборная». Не однажды озорники стреляли сюда с лодок из ружей сушеным горохом, но, видно, поразить цель никому не удавалось, и уборная так и оставалась не прикрытой никакими дощечками.

Третий уцелевший в Отшибкове дом напоминал человека на костылях и тоже очень походил на своих хозяев, хотя в семье никого хромого не было. Да и не дом это уже был, а лишь половина дома. Раньше под одной крышей было две избы, соединенных в виде пятистенка. И в двух избах жила одна дружная семья. Но выросли два сына, оба выучились, оба женились на ученых девушках, и начались в доме такие раздоры, что не стало им житья под одной крышей даже в разных избах. Тогда старший брат разобрал одну избу и перевез ее в другой конец деревни, а крыша так и осталась на два ската, и, чтобы она не обвалилась, поставили под нее на опустевшее место столбы. Так и стоит сейчас половина дома и над ней половина крыши, а другая половина крыши на столбах, как на костылях. Почему этот дом на костылях походил на своих ученых хозяев, которые тоже уже давно покинули родное Отшибково, Устинья не смогла бы сказать, а все-таки походил чем-то. Отпочковавшаяся изба недолго стояла в стороне деревни. Муж с женой не поладили, развелись, а так как детей у них не было, то и продали дом на дрова и разъехались по разным сторонам в поисках нового, лучшего счастья.

Чем больше брошенные дома имели сходства со своими прежними хозяевами, тем печальнее для Устиньи было наблюдать, как постепенно разрушаются они. Словно живые люди дряхлели и разваливались на ее глазах. Сначала дома́ ли-

шались своего жилого вида, потом они теряли свою красоту и с каждым годом становились беднее и беднее, превращались как бы в нищих, которые, для того чтобы продлить свое жалкое существование на земле, должны пригибаться, перекашиваться, пускать слезу, вызывать сострадание.

Оставшись на острове одна, Устинья время от времени навещала чужие избы, как заброшенные могилы. Это было не всегда безопасно. Однажды переступила она порог в избе Торопыгиных и чуть не провалилась в подполье: рухнули сразу две половицы, и коричневая труха посыпалась из-под ног, и коричневая пыль, как дымок, заклубилась у подоконников. Грустно было смотреть и на прогнувшуюся над двором крышу, как на перелом спинного хребта, и на треснувшие стропила и потолочные балки. Грустно и опасно. Кажется, кашляни погромче — и рухнет все сразу и прах подымется выше печных труб.

Но все тоскливее было приходить на пепелище дома, в котором когда-то жила Устинья как молодая жена и как будущая полновластная хозяйка — в это она тогда верила. Правда, верила недолго. Тоскливо, а порой и страшно было даже просто проходить мимо останков своего былого счастья. Да было ли счастье-то? Конечно, не было его. Оно померещилось. Но тогда — хоть недолго, а казалось, что оно будет. Что ж!.. И на том спасибо.

* * *

Блудную дочь мать приняла хорошо, будто и не было между ними никогда никаких неприятностей.

— Ой, какая ты стала, и не узнаешь: ладная да складная, дородная да нарядная! И где столько добра набрала, неужто в люди вышла? А сережки-то какие, господи боже мой! Такие сережки не во всякие уши можно вдевать.

Устя вынула из своих ушей блестящие сережки со стеклянными на фольге и подала их матери.

— С ума сошла,— начала отбиваться обрадованная мать.— Этак тебе и сказать ничего нельзя, все раздашь, что привезла. А много привезла-то?

— Много, мама!

— О господи! А мы тут живем!.. Всего именья — песок да каменья. Давай-ко попьем чайку, да показывай все, открой сундуки свои.

— Открою, мама.

Две девочки, высокие, длинноногие, пугливо смотрели на

Устинью, боясь признать ее и не зная, как себя вести. Мать кивнула:

— Сестры твои. Видала, какие стали? Еще год-два, и догонят тебя. А о н е м ни слуху ни духу. Ну, прости уж...—сбилась она с рассказа, заметив, как Устинья сразу помрачнела при одном упоминании об отчиме.

Гостья открыла один сундучок, порылась в нем и подала девочкам по отрезу мануфактуры на платья. Мать обрадовалась еще больше.

— Вот и хорошо. Вот и заживем мы душа в душу. Все мы сироты теперь.— И заплакала.

Устинья чувствовала себя легко, как после горячей бани, и благостно, как после длительного поста и причастия. Ей хотелось быть нужной для всех, доброй и незлобивой. Все обидное забылось и простилось.

По деревне разнесся слух, что Устинья стала очень богатой и приехала к матери насовсем. Подружки, с которыми она раньше гуляла, те, что еще не вышли замуж, и парни, еще не женившиеся, ждали Устинью на угор. И как только закатилось июльское солнышко, она пришла на угор. Казалось, это стало для всех праздником. Ее завистливо и почтительно осматривали, ощупывали городские обновки на ней, выспрашивали про житье-бытье на чужой стороне. Устинья была счастлива. И все было бы хорошо, если бы не пьяные. Пьяных было трое, и один из них вдруг сказал:

— Разбогатела, ха! А каким местом богатство добывала, ха?

Другой парень, тоже пьяный, ударил обидчика. Третий пьяный стал разнимать драку. Ни одного из этих парней Устинья в сумерках не признала, но вступившегося за нее пьяного парня запомнила сразу и на всю жизнь. И дорог он стал ей с той минуты, дороже и милее всего на свете. Так началась ее первая любовь.

В деревне было так: если парень женился хотя бы на день, на два, он уже считается мужиком и обратная дорога для него на угор к своим сверстникам закрывается навсегда. Теперь он, если хочет быть на людях, должен идти на круг на завалинку, на перекур, где собираются большаки, хозяева семей. С девушками еще строже. Побывала замужем, замотали тебе косу кокошником, упрятали под платок — и ты уже баба на веки вечные, к девкам на посиделки или на гулянье и носу не показывай, а то парни вправе любое бесчестье тебе причинить. А замужем не была, но слух про тебя прошел недобрый, обесчещенной посчитали — это, пожалуй,

еще хуже, ты еще виноватей перед всеми. Мало что калитку или крыльцо дегтем вымажут, нет, над тобой еще при случае поглумятся и будут с гоготом рассказывать повсюду о том, что было и даже чего не было вовсе.

Не приняли Устинью ее старые подружки. Несколько вечеров побыла она с ними под лиственницей и не выдержала озорных намеков девчат, скабрезных подмигиваний парней, разревелась и ушла домой. Не помогли ни стеклянные елочные украшения, которые она раздавала заместо бус, ни наборы швейных иголок, ни чудные брошки и пуговицы, называвшиеся почему-то заморскими.

Все солонее и солонее становились ее слезы. «За что обижают?» — злилась Устинья и плакала еще горше, еще злее. Даже мать натерпелась за то время всяких наговоров и пересудов.

Устин защитник, Илюха Вальков, еще не раз ввязывался из-за нее в драку с пьяными ребятами, но сам он при этом всегда был пьян и потому, конечно, не помогал ее горю.

— Я тебя, Устя, всю жизнь знаю, ты хорошая! — говорил он ей, покачиваясь и путая слова.— Ты за моей стеной, как за каменной спиной.

Устинья так была благодарна ему за эту заступу и за любые добрые слова, что, даже пьяный, он казался ей милее и лучше всех. Девушки боятся пьяных парней. Устинья никогда не боялась пьяного Валькова, а только жалела его. Однажды он пожаловался утром на головную боль с похмелья. Устинья тотчас села в лодку и съездила в деревню Канашкино за водкой. Илюха осушил косушку без закуски и повеселел. И подобрел еще больше.

— Если бы не ты, подох бы я сегодня,— объяснил он ей.— Понимаешь, не выпить было никак нельзя. А на поправку ни гривны не осталось. Да и вчера-то на всех одна полтина была. Спасла ты меня. Ну, зато уж и ты на меня надейся, со мной не пропадешь.

— Я на тебя надеюсь,— сказала Устинья.

— И надейся! Ты мою жизнь знаешь?— поинтересовался Илюха, быстро пьянея снова.

— Не знаю.

— Вот видишь. А я клады ищу всю жизнь.

— Кто их зарыл, где?— робко спросила Устинья.

— Кто зарыл, говоришь? А что такое клад? Клад — это счастье. Я счастье ищу. Для чего я грамоте обучен? Для счастья. Читать, писать умею — значит, должно мне быть счастье

на земле? Должно! Почему же у меня счастья нет? Где мое счастье? Вот ты нашла свое счастье.

— Какое же у меня счастье?— всерьез удивилась Устинья.

— А я свое найти не могу. Один сын в доме, а счастья нет. На городах жил, мешки грузил с мукой, лошадей городских чистил, а гривны на опохмелку нет. Вот у тебя есть.

— Ильюша, неужто тебе не хватило?

— А разве я сказал — не хватило? Мне много не надо. Я с горя пью. Потому пью, что счастье мое чужие люди присвоили. Найду счастье и пить не буду.

— Не пей, Ильюша.

— А разве у тебя еще есть?

— Не пей, Ильюша.

— А ну покажи, что у тебя осталось? Ты меня не бойся. Я за тебя знаешь что могу? Я за тебя горло всем перерву. Разве ты виновата? Выходи за меня замуж.

— Что ты, Ильюша! На вот еще косушку. Только пойдем к нам, покушаешь.

— Пойдем! Пойдем за меня замуж...

Все было верно: он один сын у родителей, род хороший, хозяйство справное. На городах жил — верно. Значит, и горя хлебнул, как она. «Господи, неужели это и есть ее счастье?..— думала Устинья.— Вот стоит оно: чуб из-под кепки выбился, лицо круглое, доброе, щеки небритые... Небритые — что за беда, выбрить можно. Не крепко стоит — так ведь какое счастье сразу на ноги крепко становится? Поддержать надо! Зато защитит от всех, в обиду никому не даст, прикроет ее спиной своей. Все прикроет».

— Пойду, Ильюша!

— Пойдем. А закуска у вас есть?

* * *

Отец и мать Вальковы приняли Устинью в свою семью торжественно и благочестиво. Девушка им давно была по сердцу, и они надеялись, что сынок с такой веселой да разумной женой остепенится, бросит пить, и хозяйство крестьянское не захиреет, и род Вальковых не переведется. Может, получится хороший мужик: человек он добрый, справедливый, только тоскует о чем-то, запивает... Так ведь мало ли у кого какие беды... Вот у невестки была своя беда в жизни, разве же она виновата...

Устинья до того была счастлива, что даже боялась, как бы

не изменилось чего-нибудь. Кроме Ильюшеньки, никого на всем белом свете для нее не существовало. Обычно выйдет девушка замуж и сразу повзрослеет, станет сдержаннее, солидней. Устя, наоборот, стала совершеннейшей девчонкой, какой была много лет назад. К ней вернулась молодость, юность. Посерьезнел Илья. Он почти никуда не ходил, стал много работать, только бы все время быть с Устей. Ее нельзя было не полюбить. Но, полюбив, он стал подозрителен и ревнив.

— Я не хуже?— как-то спросил он ее после утомившей обоих близости.

Устя не поняла. Тогда он помолчал и задал другой вопрос:

— Неумелый я, да?

— Ты хороший!— доверчиво ответила Устя.

— А нехороший — это какой?

— Нехороший — это недобрый.

— А тебе сейчас добрый нужен?

— Конечно! Ты добрый.

— Значит, недобрые надоели?

— Очень много недобрых людей, Ильюша.— Устя все еще ничего не понимала.

— А если мне надоест быть добрым, тогда что?

— Ты хороший, Ильюша, я тебя люблю.

В другой раз Устинья целовала Илью и легонько укусила его. Илья выругался.

— Кто тебя этому научил?

— Разве тебе лихонько?— удивилась она.— Укуси и ты меня, я терпеливая.

— Он тебя кусал, да?

Устинья с ужасом посмотрела на Илью и на этот раз поняла все. Поняла и заплакала.

— Чего слезу точишь?— обозлился он.— Его пожалела?

— Ильюша, ты меня пожалей. Разве я в чем виновата перед тобой? Ни перед тобой, ни перед богом я ни в чем не виноватая.

Илья пожалел ее, обнял, и они оба успокоились, заснули.

Но успокоение пришло ненадолго. Через день Илья, его отец и Устя выехали за озеро на лесную пожню. Выкосить всего за один день не смогли, и отец, которого Устя звала батюшкой, сказал:

— Переночуем. Работы хватит еще и на завтра. Шалаша своего у нас нет, пойдем в чужой. Тут недалеко есть хороший шалаш, бревенчатый, вроде охотничьей избушки, в нем переночуем.

— Где это, батюшко?— встревоженно спросила Устинья.

— Да вот за тем подувалом. Избушка старая, но я смотрел — дверка цела, крыша из еловой коры, верно, прогнила кое-где, так ничего, закидаем хвоей. Все-таки комары не тронут. Сена накосим, костер раскладем...

— Не буду я н-ночевать, батюшко, в лесу, д-домой п-пойду.

— Как знаешь, Устенька. А спать там можно.

— П-пойдем, Ильюша, д-домой, а завтра п-пораньше вернемся,— почти взмолилась Устинья.

— Что это ты заикаться начала, комаров боишься?— удивился Илья.— Избаловалась на городах-то.

— П-пойдем д-домой, Ильюшенька...

— Да что это ты, кто тебя укусил?

Старый Вальков вдруг вспомнил, что шалаш этот не чужой для невестки.

— Послушай-ко, Устинька, избушка-то ведь ваша, родительская, запамятовала ты, что ли?

Разговор этот происходил уже в сумерках на краю лесной полянки. Батюшко сидел на кочке, закуривал; Илья при отце не курил, он стоял рядом, с косой на плече; Устинья тоже стояла, а коса ее лежала на траве. Когда старик спросил ее про избушку, она быстро нагнулась, как-то лихорадочно схватила косу и почти бегом кинулась в сторону озера, к лодке. Она ничего не запамятовала! Эта лесная избушка была та самая, самая та,— она сразу это поняла, и ей стало так жутко, так страшно, что язык снова стал непослушным, как было когда-то. А когда это — «когда-то»? Ведь совсем недавно все было. Словно вчера все было.

— Ильюша, п-пойдем скорей до-домой!— закричала она уже на бегу, не оборачиваясь.

— Помилуй бог!— сказал отец Вальков и, недокурив, бросил цигарку в траву. А Илья скинул с плеча косу и побежал вдогонку за Устиньей.

Всю ночь Устинья ревела навзрыд, а добрый Ильюша допрашивал ее с пристрастием.

— Значит, вот где у вас все было? Ишь какое местечко выбрали! Хорошо тебе было, да? Нет, ты скажи правду, хорошо было?

Утром они оба не вышли на сенокос — Устинья не смогла, а Илья напился сивухи. Напившись, он опять подобрел.

— Ты никого не бойся,— уговаривал он Устинью.— Я тебя никому не дам в обиду. Ты за моей стеной, как за каменной...

Устинья плакала.

— Нет, ты чего ревешь? — обижался Илья. — Разве не я тебе сказал, что со мной не пропадешь? Или не один я тебе такое говорил? Он тебе то же самое говорил, да? Ты правду скажи, почему ты правду скрываешь? Я правду люблю!

— Тяжело мне, Ильюша!

— А мне, думаешь, не тяжело? Ты, верно, думаешь, что мне легко, да?

— Господи, дай мне руки на себя наложить! — ревела Устинья. — Устала я.

Илья после такой ее мольбы приходил в себя. Но ненадолго. Приступы ревнивой злобы стали повторяться чаще и чаще. Днем Устинья старалась быть около свекрови, помогала ей по хозяйству, обряжала скот, окучивала картошку, возилась на кухне, ставила самовар. А ночью нередко забиралась к ней на широкую печку либо на полати и, свернувшись комочком у нее под боком, искала защиты от своего любимого мужа.

— Эх, доченька, все мы каторжные. Такого ли я натерпелась за свой век. Подумать страшно.

— Я же не виновата, маменька!

— И я ни в чем не была виновата всю жизнь. Да ведь и он, Илька-то, ни в чем не виноват. Парень он добрый, только дьявол ему душу мутит.

— Скажи ты ему, маменька...

— Да разве я не говорю? Кажинный день говорю одно и то же.

Искала защиты Устинья и у свекра. Свекор жалел ее, но ничего поделать с сыном не мог. А Илья злился на Устинью еще больше из-за того, что она жаловалась на него отцу и матери.

— Можно подумать, что я тебя обижаю, — говорил он. — Можно подумать, что я у тебя прощенья просить должен?

— Чего ты от меня хочешь? — спрашивала Устинья.

— Только правды от тебя хочу, и ничего больше.

— Какой ты от меня правды хочешь? Тошно мне.

— Можно подумать, что ты не знаешь, какая на земле правда бывает? На городах жила, не в деревне, всякого, наверно, хлебнула.

— И то верно, зачем только я в деревню свою воротилась?

— Оно конечно, надо было в городе замуж выходить. Там бы никто ничего не знал. И концы в воду.

Однажды свекор не выдержал измывательства над Устиньей и ударил сына.

— Пила проклятая! Зачем тогда женился, не знал ты, что ли, ничего?

Илья два дня не показывался домой. Устинья так переволновалась за эти дни, такую тревогу перенесла за него, что, когда он вернулся пьяный и в первый раз избил ее, она даже не обиделась, даже не испугалась. А Илья рвал на себе рубашку и просил у нее прощения.

— Ты думаешь, я с чего пью? С того и пью, что все мне в глаза тычут, смеются надо мной. Но больше этого не будет. Я тебя больше ни разу не трону.

— Отпусти, Илья, меня домой.

— Как домой, куда?

— Домой? К маме.

— Ишь ты, к маме? А чего ты у нее позабыла? — И он опять что-то соображал свое, и злоба с новой силой сотрясала его всего.— Домой? Ты к нему хочешь? Так он же в тюрьме, его же нет дома...

Устинья и сама не знала, зачем она пойдет к матери. И разве это — домой? Неужели ж никакой надежды нет и никакое многотерпение не поможет?

Тяжелей всего было, когда Илья жаловался на головную боль. С похмелья он был особенно изобретателен и непонятно злобен. Тогда она стала давать ему деньги на опохмелье. А чаще сама ездила на лодке в винную лавку и привозила ему то осьмушку, то четвертушку. Илья добрел и говорил ей хорошие слова. Когда не стало денег, Илья начал продавать вещи жены, опустошал ее чемоданы. Устинья не сопротивлялась, ей казалось, что так будет лучше. Но скоро не стало и вещей.

— Ты куда все спрятала? — кричал Илья.— Ты для кого все бережешь? Я прикрыл все твои грехи, своей спиной все твое прикрыл, а ты что делаешь? Так-то ты меня благодаришь?

— Отпусти меня, Илья! Душу мою отпусти. Иссушил ты мою душу, замучил ты меня. Не могу больше!

— Э, вот как ты заговорила, городская, расхожая!.. Повешу!

Илья Вальков в эту ночь избил свою жену до полусмерти.

А под утро сгорел их дом. Даже скот спасли не весь. Ну, что теперь гадать, от чего он сгорел? Ведь все равно ничего об этом неизвестно.

— Бог наказал нас всех! — говорила старуха, мать Ильи. Старик Вальков держался того же мнения.

После пожара они приютились у соседей. Мать Устиньи звала всех к себе, но, видно, звала не очень настойчиво, а может, Устинья сказала им что-нибудь недоброе,— только они отказались.

Перешла на жительство к матери сама Устинья. В случившейся беде никто ее, конечно, не винил: сгорел дом и сгорел. А все-таки какой-то холодок в отношении к ней появился. Давно уже видели все, что Илья безрассудно проживает все нажитое Устиньей своим трудом.

— Разденет он тебя догола и пустит по миру!— говаривали разные люди. И для нее это было немалым утешением: значит, видят, знают, что она мучается. Никакой радости от того, что замужем, конечно, уже не осталось. Лучше быть старой девой, только не жить так, как ей жить довелось. Лучше головой в омут, лучше петлю на шею, лучше живьем на костре сгореть! Но видеть-то люди видели, но не доходило, знать, виденное до каждого сердца.

Илья сразу после страшной ночи скрылся из деревни: опять ушел куда-то свое счастье искать. Старики перебрались к соседям. И то, что Устя ушла к матери, вовсе не означало, что она сбежала от Ильи, хотя на самом деле так оно и было. А все-таки почему-то на Устинью смотрели недобро. Одно, мол, горе от нее. Мало того что от родной матери мужа отняла да в Сибирь его сослала, мало того что на себе хорошего, из видного рода парня женила, а теперь выжила его из родной деревни,— мало всего этого. Она и свекра со свекровью своего очага лишила. Что ни говори, а дом-то ведь сгорел при ней. Пока она не жила в этом доме — дом стоял. Вот окаянная, до чего людей доводит! Никому от нее спуску нет. Сама несчастливая, и всем от нее одно несчастье. Нет, уж лучше пускай уходит на чужую сторону.

— Подоила бы ты коров сегодня, не успеваю я,— как-то попросила ее мать.

Устинья взяла с полки на кухне ведерный деревянный подойник с рожком и ручкой, обтянутый деревянными же обручами, сполоснула его водой и пошла во двор. И хотя коровы знали ее и доила она их раньше не раз, но, видно, коровья память недолга: как ни задабривала их Устинья хлебом с солью, как ласково ни трепала по холкам, по бокам, по мордам, какими уменьшительными именами ни называла, ни одна из них не отдала молоко полностью.

Они оборачивались, когда Устинья бралась за вымя, мычали, били хвостом по бокам, переступали. Одна чуть-чуть не свалила ее вместе со стульчаком — все молоко разлила бы.

С обидой отбросив табуретку в угол, Устинья принесла домой подойницу. Мать встретила ее недовольная:

— Разлей вон по кринкам и горшкам и поскорей иди снова. Чего-то долго ты возилась. Полная подойница-то?

— Полная.

— Давай поскорей. Не меледи время.

— Больше не дают, мама, мне лучше отступиться.

— Как не дают?

— Не дают.

— Только одно ведро и надоила?

— Одно.

— Да ты что, сглазила коров, что ли?

— Отвыкли они от меня.

— Как это отвыкли? Дай-ко я схожу.

Мать сама разлила оставшееся молоко из подойницы в посуду и ушла во двор. Вернулась она скоро с пустой подойницей и злая.

— Эх, Устя, Устя! Горе мне с тобой. Несчастный ты человек. И в народе о тебе плохо говорят. Не уживешься ты здесь опять. Не вынесешь. И тебя не вынесут. Одни несчастья вокруг тебя. Не наша ты, не деревенская.

— Куда же мне деваться, мама?

— А я разве знаю? Куда деваться — живи уж...

— Зачем ты меня родила, мама? — заплакала Устинья.

Она сама понимала, что не будет ей спокойного житья в деревне, некуда ей пойти, не с кем душу отвести. Только ведь родилась-то она здесь. Куда же денешься, если все ее нутро здесь, все оно прикипело к этой земле? Скоро брусника поспеет, грибы попрут — белые царские, красноголовки, рыжики. Что за осень, если за грибами сходить некуда, ягод пособирать негде. Здесь все свое, в городе все чужое. Чужой кусок не всегда в горло лезет, чужая ложка рот дерет.

А все-таки пришлось Устинье опять уйти из своих мест. Куда? Уходила — сама не знала куда идет. Куда глаза глядят. В руках узелок, в узелке смена белья да полусапожки уже не новые — все, что осталось у нее от завидного девичьего богатства.

Свекор и свекровь и одной зимы в чужой избе не вытянули, умерли. Первой же весной на пепелище Вальковых выросла крапива вперемешку с голенастым иван-чаем. Недогоревшие бревна соседи растаскали на дрова.

* * *

Отчим не вернулся из тюрьмы. Жив он или нет — никаких извещений не поступало. Если бы не революция, не войны, может быть, мать Устиньи, Вера, и разыскала бы его — какой-никакой, а хозяин дому. Но жизнь стала делать такие резкие повороты, людей кидало из стороны в сторону, будто сани-розвальни на широком проселке, и так много их исчезало совсем из глаз, что Вера даже запросов никуда не писала. Где, при какой он власти живет, голодает ли, как все,— одному богу известно. Несколько писем от него все же пришло, но это было почти сразу после суда. А потом как в омуте: кинешь камень, булькнет, кругами разбежится рябь по воде и успокоится, словно и не было камня.

Старилась Вера быстро. И чем старше она становилась, чем больше горбилась, высыхала и больше морщин перекрещивалось на ее пепельно-сером, усталом и злом лице, тем меньше подходило к ней это красивое девичье имя.

Хорошо называться Верой в десять, в двадцать лет. А если тебе уже перевалило за полвека, если бабий век давно уже кончился, тогда как? Все Дуни стали Авдотьями, Маньки — Мариями, Альки — Алевтинами, а Вера на всю жизнь остается Верой. Хорошо еще, когда зовут по отчеству, но в деревне по отчеству называли только мужиков, хозяев, и то не всех. А прозвища давались бабам чаще всего такие обидные, что их можно было произносить только за глаза.

В последние годы жизни Вера стала много и прилежно молиться, строго соблюдала все установления церкви, постилась, исповедовалась и каялась в грехах своих не только перед богом, но и перед людьми.

— Двух мужиков пережила, разве не греховодница я?— плакала она.— Первого на войну, второго на каторгу спровадила. Деток нарожала — воспитанья правильного дать не сумела, Устю по миру пустила. А девка по миру пойдет — то же, что по рукам пойдет. В чьих-то руках она теперь, прости меня, господи! Во всем я одна виновата — не уследила.

Незадолго до смерти Вера захотела увидеть Устинью, попросить прощенья у нее за все тяжкие свои прегрешения. Устинья приехала. Встретились — и обе ахнули: до того изменились обе.

— Бедная моя!— бросилась Устинья к постели умирающей матери.— Что же ты меня раньше не вызвала? Тяжело, видно, тебе было?

— Уж не рада ли ты этому?— прошепелявила мать в ответ.

— Что ты, маменька, жалко мне тебя. Смотри, какая худая стала.— И дочь стала поправлять ее изголовье и дерюгу на костлявых коленях, торчавших кверху, будто связанные оглобли у телеги.

— Да и ты, девонька, что-то постарела да подурнела, будто коза драная,— ответила мать.— Путем ли хоть живешь-то, честно ли себя держишь?

— Честно, маменька, никто про меня худого слова не скажет.

— Знаю твою честь, прости господи. Чужих мужиков отбиваешь.

— Никого мне не надо. Ни одного мужика ни у кого не отбила.

Устинья сдерживалась до поры до времени, и это еще больше раздражало больную.

— Разбила мою жизнь, Устя, бог тебе судья. Лишила ты меня опоры. Разогнала всех по миру и сама по чужим людям таскаешься, чужих козлов ублажаешь.

Тогда и Устинья не сдержалась:

— Умирала бы ты, маменька, подобру-поздорову, бог тебе судья. Лежишь — в чем душа держится, а все злобу свою унять не можешь, шипишь, как на сковородке.

— У, стерва,— зыркнула на нее Вера.— Доконать меня приехала. Будто и не дочь ты мне, прости меня, грешную.

— Бог тебя простит, как же! Что он, правду не видит, что ли? Слепой он, что ли? Бог знает, как ты меня из дому родного выжила, всю жизнь мою порешила. Он тебе судья, а я тебя не прощаю.

Вера вдруг перепугалась, губы ее задрожали, злоба в глазах потухла.

— Что ты, греховодница, делаешь?— взмолилась она и подняла навстречу Усте костлявую, давно не мытую руку.— Иди, благословлю, мне ведь умирать сейчас. Прости ты меня, грешную!

Примирения не получилось. В душе они не простили друг друга, хотя перед смертью матери все было сделано, как того требовали людские обычаи и церковные законы.

Похоронив мать, единоутробные сестры, Устинья и младшая, Пелагея, стали жить вместе. Но Устинья чувствовала себя в доме сестры не лучше, чем в домработницах, и мир между ними не наладился. Она снова уехала «на города».

* * *

Устинья с недоуменьем следила за тем, как молодежь, вырвавшись из деревни, старалась с некоторых пор всякими правдами и неправдами прижиться где угодно, только бы не возвращаться на свой родной островок. «Что за люди ныне пошли?» — думала она. Парень, побывший в армии, получает паспорт вместо военного удостоверения и остается в городе, соглашаясь на любую работу: хоть ночным сторожем у магазина, хоть истопником в райбане. Девушки выходят замуж за первого встречного, только бы уехать из деревни в город, нередко заключают даже фиктивные браки. Любые агенты по вербовке рабочей силы — желанные гости, даже если бы они зазывали на дно моря или в кратер действующего вулкана.

А она, Устинья, главным своим несчастьем в жизни считала всегда, что подолгу жила не дома, не на своем малом островке. Всю жизнь ее тянуло к родному берегу, где плещется пресное озеро то тихо, то разухабисто, как разухабисты пляски под развесистой лиственницей, где чавкают окуни под круглыми листьями водяных лилий, а по ночам вдалеке кричат журавли и лягушки.

Приходилось ей жить в разных городах — и в больших и в малых, в близких и в дальних, на самых верхних этажах высоких и богатых домов, куда даже пешком не поднимались, только на лифте, а все-таки тихая родная деревенька с ее бревенчатыми разномастными избами всегда казалась ей самым светлым местом на земле. И по каким бы широким и гладким улицам она ни ходила, в какие бы тенистые парки с их твердыми дорожками, посыпанными толченым кирпичом, ни заглядывала,— ей все хотелось перебираться, как в детстве, по колодинкам, по жердочкам, от избы к избе, вдоль изгородей и плетней, перепрыгивать с камушка на камушек через лужицы и дождевые ручейки.

И какие бы городские платья ни доводилось носить — свои ли, чужие ли, из простого черного мадаполама с белыми надплечьями — погонами горничных девушек и кухарок, либо поношенные, с хозяйских плеч, но шелковые, с замысловатыми кружевными накладками и напусками,— а все-таки деревенские свои широкие сарафаны с кофтами и цветастыми фартуками навсегда считала она самыми удобными и красивыми.

На каких бы постелях ни спала, а все помнила луговой аромат свежего сена; то ли дело провести летнюю душистую

ночь на сеновале, откуда слышны и пение петухов, и лай собак, и плеск рыбы в озере, и неброский шум дождя на драночной крыше, сквозь которую пробивается волшебный лунный свет с неба и с воды.

Что думают нынешние молодые люди, куда стремятся парни, чего ищут девки-вертихвостки, почему им дома не сидится, не работается?

Много лет прожила Устинья с сестрой Пелагеей, а все нет-нет да и почувствует себя на положении приживалки. У Пелагеи — семья: что ни купит, что ни наживет — все в свой дом, как в муравейник, все к месту, колос к колосу, нитка к нитке. А Устинья сколько ни работает, как ни гнет спину — оглянется: все будто чужое, все будто на чужих хлебах и под чужим кровом живет. Раздумается, схватится за голову и заревет: для чего я живу, ради кого маюсь, кто мою жизнь искалечил?! Разревется, вспомнит все, что было, и больше того ненавидит свою счастливую сестру.

Немного отлегло от сердца Устиньи и словно бы примирилась она со своей участью одинокой бобылки, когда стала работать в колхозе: все-таки не на Пелагею. Исчезло ощущение ущемленности, колхоз как-то уравнял их. Но ненависть, а лучше сказать — неприязнь не оставила ее даже в войну, когда Пелагея сразу — овдовела и осиротела. Жестокое злорадное чувство, что бог таки правду видит и следит, чтобы всем доставалось поровну, по справедливости, испытала Устинья в тот страшный для Пелагеи день, когда было получено извещение, что муж ее погиб смертью храбрых.

— Не реви, не ты первая, не ты последняя!— со злостью выкрикнула она, заглушая стоны и хрипы сестры.— Не реви, тебе говорят. Бог, он знает, что делает.

— А мне-то что от того, что он знает, что не я первая? Что мне от того? Куда я теперь денусь одна?

— А я куда одна делась?

— Уйди от меня.

— Я тебе уйду! Ишь слюни распустила...

— Уйди!

— Куда я уйду? Всю жизнь уходила, науходилась до смертной тоски. Больше никуда не уйду, не прогонишь, обе мы теперь беспарные, обе-две одинокие. Пореви, может, и ты чего-нибудь почувствуешь о своей жизни. Уходи ты, а я тут останусь.

Лет Устинье к этому времени было уже много. И давно перестала она мечтать о своей семье, о своем домке. Высохла она вся и не сгорбилась, а словно бы вытянулась, стала выше,

чем была, а душа у нее как бы свернулась в клубок, ссохлась и задубела навеки. Больше даже в шутку никто уже не зовет ее ни невестой, ни соломенной вдовой. Умерли все желания, перегорели страсти.

А ведь были еще случаи, когда судьба, казалось, позвала ее, поманила своим пальцем: иди за мной — будешь счастлива! Сватался вдовец, искал терпеливую стряпуху и прачку для своих пятерых отпрысков, младшему из которых только исполнилось полгода. Не пошла, испугалась. Сватался богатый парень-перестарок, единственный наследник большого кулацкого хозяйства,— думал, видно, уйти от наказания, породнившись с худородной бродяжкой-батрачкой. Как хотелось ей похозяйничать всласть хоть годика два, позвенеть ключами от амбаров да от погребов! Но одолела искушение, не пошла в обреченный дом: хватит, побатрачила, поточила соленую слезу и за себя, и за других, больше ни одной не выжать — глаза высохли, душа свернулась...

Умерли желания, перегорели страсти.

Остались только боль и обида на несправедливость судьбы, на половинчатость каких-то божьих законов. И конечно, нелюбовь к Пелагее: должны же сыны и дочери нести кару за родительские прегрешения. Осталась невысказанная и не всегда осознаваемая ненависть к людям за то, что обижали они ее много и злобно. И пусть тех людей сейчас уже нет в живых, но горькие воспоминания не дают ей забыться и не дают никого полюбить от всей души.

* * *

— Бабка, молоко есть?

— А вам много надо?

— Четверо нас.

— На четверых хватит.

К острову подошли две рыбацкие лодки. Молодые парни — босоногие, в рубашках-безрукавках, в засученных до колен штанах — высадились на берег. Двое из них были в соломенных шляпах — по виду городские. Устинья увидела их еще из окна и, выждав, когда лодки причалят, вышла из дому, будто по своим делам. Вслед за ней вышли из дому две серых кошки.

— Бабка,— опять закричали ей,— где тут можно червей наковырять?

— Червяков?

— Да, червяков.

— Чего хорошего, а червяки везде есть.
— Так где же они?
— А вам много надо?
— Тебе оставим, не бойся.
— А лопата у вас есть?
— Есть.
— Думаю, может, лопату дать.
— Не надо; скажи, где копать можно?
— Да копать везде можно. Нездешние вы будто?
— Нездешние.
— То-то, смотрю, нерешительные. Спрашиваете, где червяков копать, боитесь.
— Ничего мы не боимся.
— А спрашиваете.
— Тебе, бабка, поговорить хочется, что ли? Где копать, говори!
— Поговорить, конечно, охота, а как же! Я тут одна живу.
— Ну?
— Копайте вон там, вокруг ямы. Силос был раньше.

Один из рыбаков с маленькой саперной лопаткой в одной руке и с консервной банкой в другой направился в сторону усадьбы Вальковых, где когда-то жила сама Устинья. И хоть там, в густой траве, давно ничего не осталось даже от пепелища, а все-таки это была ее земля и она не хотела, чтобы чужие люди расковыривали могилу ее недолгого счастья.

— Не туда пошел, эй, ты!— закричала она хриплым голосом.— Вправо бери, не видишь, где солома лежала, силос был!

Кошки с кручи из травы зорко следили за рыбаками, и, как только все парни покинули берег, они спустились к воде и бесшумно, как змеи, скользнули в лодку за рыбой. Даже у самых незадачливых удильщиков для них всегда находилась пожива на прокорм.

В избу вслед за Устиньей вошли двое: большеголовый, белобрысый, в соломенной шляпе, совсем молодой паренек и другой с искалеченной — видимо, на войне — рукой и возраста такого, что его парнем назвать было уже нельзя. Устинья не знала никоторого: приезжие, видно.

— Что вам?— спросила она, пройдя в горенку и обернувшись к ним. Так начальник в своем кабинете обращается обычно к посетителям: «Вы ко мне?»

— Может, ты нас покормишь, бабушка?— сказал паренек в соломенной шляпе.
— Чем?

— Молоком хотя бы.

— Вы молока спрашиваете?

— Молока, бабушка.

— Молоко есть. Яйца есть.

— Вот и хорошо. Садись, Петро!— пригласил молодой большеголовый старшего с искалеченной рукой, указав ему на стул.

— А платить есть чем?— спросила Устинья.

— Заплатим, бабушка, не бойся.

— Я не боюсь.

— Заплатим, сейчас не военная пора,— сказал старший, Петро.

— И то, не военное. Даром-то куда мне? Вас много ездит, а я одна. Даром-то и мне никто ничего не давал. Может, вам рыбы продать?

— Рыбы сами наловим. Неси молока.

— Могу продать и рыбы. Свежая есть.

— Рыбы не надо.

— Лапти еще плету. Могу лапти продать.

— Лаптей не носим, бабушка.

— Лаптей не носите, знаю. Так шерсть есть. На валеночки на другие уступила бы. У меня овечки свои.

— Спасибо, бабушка. Что еще у тебя есть?

— У меня все есть. Все свое, непокупное.

— Неси молока и хлеба,— резко сказал Петр.

— Огурчики есть, картошка, лучок. И яички могу продать.

— Яички хорошо. Давай и яичек.

— А почем они?

— Я больше других не беру, у меня как у всех. Все недорогое, свое.

Петру этот разговор уже надоел, а белобрысый в соломенной шляпе вдруг заинтересовался лаптями.

— Сама лапти плетешь, бабушка?

— Сама плету. А кто же еще?

— Покажи, пожалуйста.

— А тебе зачем? Ведь носить все равно не будешь.

— В Москву увезу. Про тебя всем рассказывать буду.

— Про меня рассказывать нечего. Я сама по себе. Живу — никому не мешаю.

— В музей сдам.

— Сдашь? Людям на погляденье, нам на посрамленье?

— Тебе на славу. Твои золотые руки славить буду.

— Ты, может, не про лапти говоришь, рыбачок? Видал ли ты лапти-то, какие они? Это ведь лапти!

В дверь постучали и сразу вошли, не дожидаясь, когда хозяйка отзовется, те двое рыбаков, что остались на берегу,— загорелые, потные, с мокрыми, видно, только что вымытыми руками, возбужденные.

— Есть черви!— крикнул один из них еще с порога.— Много, и все красные, что надо, на окуня. Давайте есть, да поскорей. Что тут у вас, Петро?

Петр, старший из всех, тот, у которого рука искалеченная, встал со скамьи, едва не свалив большой цветок в кринке — березку.

— Пошли, ребята, на берег, костер разведем, ухи наварим. С бабкой нам не договориться.

— Как не договориться? Ты что, бабушка?

Устинья испуганно метнулась на кухню за молоком.

— Что вы, Христос с вами! Разве я против? Молоко есть, и яички, и с огорода все, что душа пожелает. Все есть. Разве я против, разве я запрашиваю что с вас. Ешьте на здоровье. Сейчас подам. Рассчитаемся потом. Не обидите старуху.

Из всего, что она поставила на стол, рыбакам больше всего понравился квас с хреном, с зеленым луком, с вареной картошкой.

— Окрошка хороша, бабушка!

— Какая окрошка? Это похлебка.

— Ну, похлебка. И холодная. Ледник у тебя, что ли, есть?

— Есть погреб, а в погребе снег. Накидаю туда весной под загнету, он и лежит все лето. До самой осени снегу хватает. Раньше в каждом доме был такой погреб.

— Хороша окрошка!

— А вот погодите маленько, я вам лучку со сметанкой приготовлю. Уж коли вам крестьянская еда по душе, так лучок еще больше похвалите.

— Мы сами крестьяне, бабушка.

— Крестьяне, а в такое время рыбку ловите...

— Мы не простые крестьяне, мы колхозники.

— То-то колхозники, а лапти собираетесь в Москву везти.

— Кто это? Филипп? Он у нас, бабушка, в Москве учится.

— Доброе дело! На кого же это он?

— Кем поставят. Может, министром, может, другим каким начальником будет.

Бабка принесла с кухни доску, положила на нее горсть

зеленого лука и стала мелко нарезать его и ссыпать в деревянную чашку.

— На нынешних начальников много учиться не надо. Кто брюки носит, тот и начальник. А бабы — те все под началом у мужиков ходят.

Ребята переглянулись, засмеялись.

— Пусть уж тогда и бабы брюки носят.

— А работать кто будет? — всерьез взъелась Устинья. — Кто будет воз тащить? Нет, уж, видно, судьба наша такая. И раньше бабам спать некогда было: встань до свету, скот обряди, ребят приголубь, печь затопи, хлеб испеки, всех накорми и на поле беги поперёд мужика. И ныне порядок тот же. Только раньше мужик над одной своей бабой командовал, а ныне у него по десяти баб на поводу, и ни одна пикнуть не смеет.

— Это только в деревне, бабушка, а в городах женщины в почете, раскрепощенные.

— Почету для них и в деревне хватает. Про почет говорить нечего.

Запах лука перебил все прочие запахи в избе: рыбы, квасу, хрена, цветов. Когда деревянная чашка наполнилась до краев, Устинья взяла деревянную же мутовку-пестик и стала энергично толочь и растирать это зеленое крошево, то и дело подсаливая и пробуя его. Рукава кофты она подняла до локтей, и ребята увидели обожженные солнцем, костлявые, с раздутыми синими венами, трудовые руки. Лучевые и локтевые кости отчетливо отделялись одна от другой, и просветы между ними закрывались тонкой кожей, только кожей. Коричневая рука Устиньи ничем не отличалась от сосновой сухопарой мутовки, сучковатые пальцы походили на отростки ее.

«Как у бабы-яги!» — подумал про эти руки большеголовый московский студент Филипп, да, может, и не один он.

— Почету для баб и у нас хватает, — заговорила опять Устинья. — Лошадь тоже гладят, чтобы на нее хомут надеть да запрячь ее. А уж запрягут — тогда кнутом. Все мужики такие.

— На кого же ты, бабушка, обижаешься? Одна себе...

— Я одна себе, это верно. Как в песне поется:

Сама лошадь, сама бык,
Сама баба и мужик.

Да ведь не век одна была...

Свежий лук сделал свое дело: старуха прослезилась, и разговор на этом оборвался. Она поставила чашку с густым

зеленым месивом на середину стола, принесла из кухни горшок со сметаной, хотела положить сметану ложкой прямо в лук, но передумала и сначала намерила стакан, а затем уже стала класть из стакана в чашку.

— Кушайте, благословясь. От такой нашей еды и сила, и здоровье, и на душе легко, и брюхо не тяжелит.

Молодые ребята съели все — хрен, лук, яйца и картошку, квас и молоко. Ели и похваливали:

— Ну и бабушка! Молодец, хорошо кормишь. Всех так или только нас?

— Я всех, сынок, кормлю. На озеро летом приезжают со всего света. Тут и рыба, и утки, и воздух хороший. Где же им, приезжим, и кормиться, как не у меня? Не в колхоз же идти.

— А что — колхоз бедный?

— Почему бедный? Ничего колхоз. Никто не голодает. Только ведь там сколько бумажек надо выписать, чтобы получить чего-нибудь. Это за свои-то деньги! Поначалу получи разрешение у председателя, потом договорись с бригадиром, а бригадир направит тебя к кладовщику; кладовщик все согласует да наряд выпишет и пошлет тебя с этим нарядом на подпись обратно к председателю. После этого в бухгалтерии уплатишь по счету и опять идешь либо к кладовщику, либо к птичнице на ферму, либо к огороднице на участок. Пока ходишь — и есть не захочешь. А если и захочешь, так... Да что говорить, кушайте! Может, вам еще принести что?

— Спасибо, бабушка, сыты! Скажи, сколько тебе заплатить.

— Сколько запла́тите, ваша воля.

И началось самое знакомое и неприятное... Устинья ни за что не хотела сказать, сколько и за что ей нужно заплатить.

— Сколько положите, и на том спасибо,— говорила она.— Вы ведь старую обижать не будете.— Но видно было, что она и сама в обиду себя не даст и приготовилась сражаться за каждый грош из последних сил. А молодежь наша привыкла к твердым ценам, она рядиться не учена.

Ребята на этот раз и впрямь не знали, сколько они должны заплатить Устинье. Не хотелось давать лишнего, но и торговаться не собирались.

— Ты, бабушка, не стесняйся, говори. Сколько скажешь, столько и заплатим.

— Да ведь что говорить-то. Еще подумаете, мол, втридорога запросила. Я эдак одному сказала, а он мне: с одной рожи

дерешь по две кожи. А на что мне его кожа, мне деньги подай.

— Так сколько же, бабушка?

— А я знаю? Ничего я не знаю. Ваша воля.

— Но ты же не первых нас кормишь?

— Я всех кормлю. И платят по-разному. У кого совесть есть, те и платят по совести. А у кого совести нет, те про кожу говорят.

Старый солдат Петро начал сердиться:

— Долго мы так будем разговаривать? Может, за червяков тоже платить надо?

Филипп тронул его за руку: «Не надо!» — а Устинья не замедлила дать отпор:

— Я тебя, паренек, не червяками кормила, ты мне про червяков и не говори. Я вас добром встретила, добром и провожу, коли вы ко мне с добром пришли. А коли не так, то вот бог, а вот порог. Можете и отчаливать.

— Ты, бабка, словно государыня какая, а мы чужеземцы и прибыли в твои владения,— засмеялся московский студент Филипп. Он не нервничал.— Вот тебе пятнадцать рублей, по совести. И еще тебе наше спасибо. И мы отчалим.

Устинья молча неторопливо стала собирать со стола посуду. В деревянную расписную чашку положила деревянные ложки с объеденными краями, оставшуюся сметану из стакана слила обратно в кринку, подобрала на тарелку все кусочки и крошки хлеба и лука. Видно было, что она раздумывала. Потом она сказала:

— Из вашего спасиба мне корысть невелика, из него полушубок не сошьешь.

Филипп удивился:

— Значит, мало? Вот видишь, а сказать не хотела: «Сколько дадите» да «Ваша воля!..» Мало, значит!

— Хватит тебе, бабка, пятнадцати рублей! — вмешался опять в разговор Петр.

Устинья, продолжая собирать посуду, ответила:

— Оно конечно, ваша воля, хватит. А только вас четверо.

— Ну, четверо?

— Так нескладно получается, не поровну.

— Как не поровну?

— С четырех-то человек пятиалтынный — не поровну. Не разойтись вам. По пятерику с носу надо. По совести надо.

— Понятно! — сказал Филипп, доставая из кармана еще пять рублей.— Вот тебе, бабушка, еще на черный день, по совести. Теперь довольна будешь?

— Теперь ничего.

— Пошли, ребята! — Филипп резко встал, еще раз мельком взглянул на развешанные по стенам вырезки из «Огонька», семейные фотографии разных лет, многоцветные стенки от отрывных календарей, на цветы в кадках и кринках и шагнул к двери.

Устинья всполошилась, словно ее покидали дорогие гости.

— А лапти-то как же, милые вы мои! Хоть бы посмотрели, хоть бы примерили. Целую связку сейчас принесу. Батюшки!

— Не надо, бабка, лаптей!

— Да ведь дешевые, на показ-то хотели взять, пускай висели бы, пускай добрые люди видят, как мы в досельные времена жили. Даром отдам.

— Не надо.

— А может, лучку на дорогу? Может, рыбки свеженькой дать?

— Сами наловим.

На дворе опять залаяла и загремела цепью собака, закудахтали куры, опрометью с шумом бросились овцы в кусты, будто дикие козы.

Ребята сели в лодки, оттолкнулись от берега.

— Вот баба-яга! — сказал Петр. — Настоящая ведьма!

Другие промолчали, только зло навалились на весла.

* * *

Председатель колхоза все-таки навестил Бабу Ягу.

Устинья вышла в сени, где лежали два больших клуба с заготовками берестяного лыка, уселась на ступеньку лестницы и острым ножом стала обрезать берестяную ленту с двух сторон, выравнивая ее до нужной ширины. Готовое лыко она наматывала на третий, пока небольшой клубок. Заготовку лыка она производила каждую весну в старой березовой роще, вдали от своего острова, и потом весь год в свободное время плела лапти и сту́пни — берестяные босоножки. Устинье самой было приятно, что она свободно владеет кочедыком. А еще говорят — есть мужская работа, которая бабам не с руки. Все нашей бабе с руки, врете вы!

Лапти и босоножки до войны у нее охотно раскупали для сенокосной поры. Берестяная обувь в жаркое время удобна и легка, в ней пальцы не преют. Но молодежь, окончившая среднюю школу, выучилась с презрением говорить о старой лапотной Руси, и ношение берестяной обуви даже на сенокосе стало считаться зазорным. Теперь Устинья плела лапти только для самой себя, носила их не переставая, и все-

таки их много скопилось в ее чуланах и предбаннике.

Председатель колхоза пришел к ней, когда Устинья сматывала готовое лыко в клубок.

— Здравствуй, Устинья!

— Здравствуй! Уж говорил бы прямо: Баба Яга!

— А ты сразу в драку? Слыхала разве, что тебя так зовут?

— Добрые люди не промолчат.

— Злая ты, Устинья.

— Кто тебе сказал, председатель, что я злая? Садись. А то пойдем лучше в горенку, там чище, дорогой свой сарафан не замараешь.

Горенкой в избе называлась передняя комната вроде гостиной. Она, собственно, была единственной комнатой, потому что на второй половине избы была кухня с большой русской печью посередине и полатями между печью и стеной. В жаркое время лета Устинья спала на полатях, а зимой или когда занеможится — на печи, всегда раскаленной. В горенке стоял стол под нарядной домотканой скатертью, крашеные стулья самодельной работы какого-то деревенского мастера и цветы в кринках и кадушках — на полу, на табуретках, на подоконниках.

Все стены горенки были оклеены газетной бумагой и завешаны семейными фотографиями в рамочках и без рамок. В переднем углу несколько некрупных икон в обрамлении сусального золота и бумажных цветочков. На одном уровне с иконами — вырезанные, видимо, из тонких журналов разной поры цветные юбилейные портреты Мичурина, Луначарского, поэта Назыма Хикмета, академика Бурденко и Ким Ир Сена, а также целый набор нарядных маршалов и генералов, бесхитростно подобранных по принципу: у кого орденов больше.

Устинья обмахнула своим фартуком, больше для виду, один из стульев и предложила его Парфену Ивановичу:

— Садись, председатель!

Сама села на другой стул, не обмахивая его,— и так чисто!

— Ну, как живешь, старая, рассказывай! — начал Парфен Иванович самым дружелюбным, покровительственным баском, расстегнув предварительно габардиновое пальто и положив шляпу на стол, кверху полями.

— Спасибо на добром слове,— так же ласково ответила и Устинья,— и сам-то ведь не очень молодой стал.

— Помаленьку все стареем, верно говоришь. Может, нуждаешься в чем?

— Ничего, здоровье еще есть, на хлеб-соль добываю.
— Хозяйство тянешь?
— Не я его, оно меня тянет. Да вот лапти еще плету...
— Лапти, это да!..
— Только не носят их нынче, за стыд почитают.
— Не покупает никто?
— И даром не берут. Может, ты возьмешь хоть парочку для опыта?
— Лапти, это верно, носить в наши дни стыдно! — сказал Парфен Иванович, не отвечая на предложение Устиньи взять парочку лаптей «для опыта».
— Стыд не дым, глаза не выест. А ногам в лаптях вольготно и легко. На сухом лугу и нога сухая, а на болоте тоже хорошо — вода в лапте не держится. Только новые люди не понимают этого, им сапожки подай, да чтоб каблуки повыше да потоньше.

— Куда же ты теперь лыко денешь? Вон сколько лесу испортила.
— Лапти плести буду.
— Для кого?
— Для себя, для музеев разных. На выставку в Москву пошлю, пущай полюбуются старухиным рукодельем.
— А вдруг там спросят, чей лес загубила?

Устинья не опустила глаз, не сробела, заикаться не начала.
— Ты за этим пришел, председатель? — резко спросила она.
— За этим иль нет, а ты не злись. Я к тебе с добром. Спрашиваю, как живешь, не нуждаешься ли в чем? У нас теперь старикам и старухам почет. Может, переехать куда хочешь, все-таки одной здесь тоскливо, не сладко. Тоскливо, наверно?
— Тоскливо, председатель! Только куда я денусь? Умру вместе с деревней.
— Деревенька уже умерла.
— Пока я жива, и она живет. Мешаю я тебе?
— Что ты, живи на здоровье! Осталось тут на островке четыре или пять домов. Дышит один твой, могут спросить: что у вас тут за гнилой зуб торчит? Везде укрупнения, расширения, рост по всем показателям, а этот островок — как бельмо на глазу.
— Ты за этим пришел ко мне, председатель?
— Вот заладила свое! Просто навещать тебя надо. Одна ведь. Может, помочь надо чем-нибудь? Знаешь, спросят: как,

мол, вы о престарелых заботитесь? Дескать, не от хорошей жизни, наверно, лапти плетут, колхозный березняк переводят.

Вопросы председателя встревожили Устинью. «Вот въедливый!» Кончиком платка с головы она вытерла уголки губ, ответила:

— Березняка хватит на всех, и на тебя, и на других председателей. Его все равно на дрова рубят. Ни одна березка, с которой я шкуру сдеру, не пропадает, все народ забирает.

— Рыбку-то ловишь? — спросил Парфен Иванович.

Устинья рассердилась.

— Рыбку ты здесь не выращивал, председатель. Я тут сто лет живу, и рыба сто лет живет. И до меня жила сто лет. И до рождества Христова жила, может, сто лет. Ты к чему принюхиваешься?

Председатель смягчился:

— Лови на здоровье. Много ли тебе одной рыбы надо? На уху! Ты ведь рыбу не продаешь. Верно ведь, не продаешь? А другие сетями ловят. Знаешь, как это называется? Браконьерство. Ты чем ловишь?

— Сетью! — ответила Устинья.

— Вот видишь — сетью. Ах да, сетью? — вдруг удивился председатель, когда до него дошел смысл ответа. Видимо, он не ожидал, что Устинья может сказать правду, и так прямо!

— А что же еще, старухе с удочкой сидеть? Ведь засмеют! — объяснила Устинья. — Я на ночь сеть закину в проточине или у травки где-нибудь — вот тебе и уха свежая и на зиму сущик. Недавно щука попалась, страсти господни, словно боров хороший. Испугалась я и обрадовалась. А сварила середочку — и зубы не берут: бревно! Дерево! Задубела щука, стара шибко.

— Сетью запрещено ловить, Устинья! Я — что! А приедет какой-нибудь начальник повыше, инспектор, он может и сеть отобрать. О тебе же забочусь.

— С обыском ко мне пришел, председатель? Разговариваешь, будто с малым ребенком. Траву бы лучше скосил на острове, сено поставил. Коровам зимой опять есть будет нечего. Делом бы занимался.

— Злая ты, Устинья! — вздохнул Парфен Иванович.

— Конечно, злая. Вот подожду еще немного и выкошу все для своих овец. Мне и до́ма не помешают. И рабочих рук у меня хватит.

Парфен Иванович ничего не ответил, встал со стула и

начал рассматривать на стене портреты и фотографии. Про многоцветные вырезки из «Огонька» он спросил:

— Знаешь ли хоть, кто это?

— Вожди! — сказала Устинья.

Фотографии почти все были очень старые, даже послевоенной, кажется, не было ни одной. На трех стенах разместилась целая семейная галерея, история крестьянского рода, а может быть, даже не одного, а нескольких родов. В деревенских домах обычно развешивают и фотоснимки разных родственников из своей и чужих деревень.

— Кто тут есть из твоих родных? — спросил Парфен Иванович.

— Есть тут всякие, а все будто родные.

— Где они сейчас, кто где — расскажи.

— Все там, где и мы с тобой будем. Вот это — мой родной отец. Погиб еще на войне с нехристями, где — не знаю. Написали, что погиб смертью храбрых. Эта была моей матерью. Это сестра моя, Пелагея. Она еще жива. Дом-то ее, а не мой, хотя его еще мой отец поставил. Но у нее тоже сейчас никого нет, кроме меня: мужика убили. А от меня она сбежала... Вот дядя, на войне погиб. Тоже смертью храбрых. Этот парнишка — племянник. Он уже большой был, когда началась последняя война. Погиб... Вторая сестра в пасху упала на угоре с качелей. — Устинья пригнулась к окну, показала на площадь в сторону лиственницы: — Во-он там! Упала с качелей и что-то повредила у себя, позвоночник, что ли. Доктор приезжал, велел строго-настрого лежать, справку выписал, освобождение. Ну, она и начала поправляться... Только на ноги поднялась, приехал уполномоченный, разорвал справку и отправил ее на лесозаготовки вместе с другими девками. Не хватало рабочих рук, а ему надо было план выполнять. Ну, умерла по дороге.

Устинья немного помолчала. Затем показала на детскую фотографию:

— А этот учился уже в школе. Классов, поди-ко, семь кончил. В комсомоле состоял. Да обидели его. Кто-то украл тетрадь. Ну, бумаги-то не было, а подозрение пало на него. Он — реветь. «Ничего, — говорит, — я не брал». Учитель не верит. Ведет его к директору. А он ревет: «Не виноват я! Ничего я не брал!» — говорит. А директор не верит. Тогда его к другому директору, повыше. Тот, высокий, тоже не верит, тогда парнишка пришел домой к матери, рассказал ей все, как было, а она давай его пороть, Пелагея-то... Тоже не поверила. Ну, парнишка не снес, вышел на улицу да и застре-

лился. Из ружья. Дробью. Когда уже застрелился, виноватый сам выискался, тяжело ему стало. И тетрадочку директору отдал.

Устинья рассказывала свободно, настороженность к гостю оставила ее, печальные и добрые черты резче обозначились на лице. Обнаружилось, что в глазах у нее еще есть огоньки и глаза все еще черные, широко распахнутые. И никакого сходства с бабой-ягой, никакой запальчивости, никакого вызова. Ей очень хотелось выговориться.

— Вот про эту еще расскажу,— указала она на фотографию молодой женщины в старинном наряде, расшитом всякими воланами, и оборками, и прошвами, и блондами. Женщина была на снимке не одна, она стояла, а рядом на стуле сидел в картузе, широко расставив ноги и положив руки на колени, здоровый широколицый парень — муж, наверно, кто еще? Фотография вставлена в рамочку, под стекло.— Хорошая была баба. Подружка моя. Все про меня знала. Вышла она замуж, по-хорошему вышла, народила двух детей и заболела гриппом. Осень стояла, уборка хлебов. Муж спрашивает: «Ты что, баба, словно бы нездорова?».— «Неможется мне!» — отвечает. «Так посиди дома денек, а то ляг на печь, погрейся. А может, баню истопить?» Осталась она дома, а мужа вызвали на гумно. И пришел к ней председатель, вот как ты ко мне, только тогда у нас из своих был, из деревенских, необразованный. «Ты что,— говорит,— киснешь? А план кто выполнять будет?!» — и давай ее всеми словами... Батюшко бог! «Молотить,— говорит,— надо!» Она и пошла молотить. Порок сердца сделался. Умерла. Малых деток оставила.

Парфен Иванович вдруг заторопился домой, взял шляпу.

— Что ты тяжелое мне рассказываешь,— проворчал он.— В тоску вогнать хочешь? — и засмеялся.

— Старая да одинокая, где мне легкое взять? — ответила Устинья.— И жизнь у меня была нелегкая. Видишь вот, никого не осталось. И деревня доживает последние дни со мной вместе. Люди умирают — тяжело, а когда деревня умирает, скажу я тебе,— и того тяжелее. Живу все время как на кладбище.

— А я что говорю? — оживился Парфен Иванович.— Нечего тут жить. На острове, может, фабрику скоро будем строить, либо завод, рыбные консервы начнем выпускать. Машины разные придут, землю пероют, пыль поднимут, копоть...

— Мой это остров,— сказала Устинья.— Тут все мое, мои корни здесь. Умру, тогда и корни сгниют. А строить —

стройте, я вам не мешаю. Хорошо будете строить — так, может, с чужих заводов все в свою деревню возвратятся. Только мне одной лучше. Натерпелась я горя на людях, нахлебалась досыта, все еще в горле комок стоит. Вы бы лучше на этот остров птицу пустили — уток, гусей, кур. А меня бы птичницей определили.

— Куда тебе, стара, тебе покой нужен.

— Ну стара так стара, и на том спасибо. А лапти больше плести не буду. Это я тебе как на духу обещаю. Носить их некому. И ни одной березы больше не трону. Нечего меня обыскивать.

* * *

Когда Павлухин уехал, Устинья вздохнула с облегчением. Но потом ей стало тоскливо и неуютно. Защемило сердце. Зачем он приезжал — Устинья так и не поняла. А все-таки поговорили! Какой бы ни был разговор, а все-таки поговорили. Не «цып-цып», и не «ути-ути» и не «тяги-тяги», а людские слова, человеческая речь, глаза в глаза.

— Зачем же он все-таки приезжал?..— встревоженно повторила Устинья.— Мешаю я ему, вот что. Островок, вишь, как бельмо на глазу. Деревенька-то уже умерла. Надо, чтобы она на земле не значилась, вот зачем он приезжал...

Устинья прислонилась головой к теплому лбу русской печки, потерлась об него, заглянула в чело, открыла зачем-то заслонку и заревела, завыла в голос. Печь дохнула на нее сухим жаром. Вдруг что-то схватило Устинью под горло и стало душить: ноги ее ослабели, под лопатку тупо воткнулась боль.

— Д-душно, дышать,— просипела она.

Закрыть заслонку Устинья уже не смогла. Она зашла сбоку, со стороны запечья, поднялась на приступок, перевалилась на печь под золотистую, с яркими розами, занавеску и, соскользнув в ложбинку, протертую ее пестрядинным сарафаном, затихла.

Может быть, из-за этой русской печи, на которой она родилась и на которую достало у нее сил забраться в свой смертный час, Устинья не смогла ужиться «на городах». Не смогла уйти от нее, от русской печки,— большой и ласковой, живой души северной избы.

Печь — сердце дома. Пока печь не сложена, избы еще нет. Печь не затоплена — и дом еще не живет, не пахнет живым духом. Он вроде еще не освящен. А затопят русскую

печь, и будет она теплой, пока дом живет, потому что пищу готовят и летом. Печь теплая — значит, и домовой в избе живет: где же ему и ютиться, как не под печкой?

В горячей, в прогретой печи даже сырые дрова загораются, а в остывшей, давно не топленной и сухие принимаются не сразу. На печи сушится лучина — прямые березовые поленья: расколи, расщепли их — и с пучком березовой лучины разгорятся любые дрова, даже осиновые; опусти пару лучинок в самоварную трубу да кинь сверху горстку угольков — и загудит в трубе, зашумит.

Женщину, только что родившую ребенка, в зимнюю пору устраивают на печи, чтобы теплее было ей самой и новому жителю земли. Русская широкая печь является его первым пристанищем. На той же печи проводит человек дни и ночи своей старости, когда он ослабеет, и при любой перемене погоды болят его хрупкие кости, и странные, тревожные, всхлипывающие хрипы появляются в его высохшей груди, с резко обозначенными ключицами спереди и лопатками сзади.

Последние яйца, с не проклюнувшимися еще цыплятами, перекладывают из-под наседки в меховую шапку и кладут на теплую широкую печку. Проходит день, два, а иногда и больше, и яйца доходят, все цыплята выпариваются. Ну, если попадется яйцо-болтун, тому, конечно, никакая печка не поможет. Да и тех цыплят, что своевременно вылупились, тоже сначала для обсушки кладут на печку — либо в решете с меховой подстилкой, либо в такой же зимней шапке-ушанке.

На ту же русскую теплую печку перетаскивает кошка своих еще слепых, только что родившихся котят, в каком бы месте они ни появились на свет,— стало быть, и для кошек для всех печь является как бы родимой на нашей земле.

А на какой печи ни рассказывала старая бабушка в долгие зимние вечера ребятишкам — внучатам своим и не внучатам — занимательные, старинные, то смешные, то страшные сказки, в которых медведь идет на березовой клюке, чтобы отомстить за свою украденную ногу, Иван-царевич летает под облаки, разыскивая свою красавицу невесту, а из ближайшего, знакомого всем ребятишкам озера чуть ли не каждый вечер выходят пастись на зеленый луг озерные коровы, завороженные нечистой силой, и стоит только кому-нибудь обежать сломя голову вокруг этих коров с крестом да с молитвой — и превратятся коровы из нечистых в домаш-

них, тогда бери обыкновенную хворостину и гони все стадо в свою деревню, в свой двор.

Лежат и сидят ребятишки на печи, будто ласточки в сумерках на колодезном журавле или на телеграфном проводе, глаза у всех поблескивают, руками подбородки подперты, и тепло им, и уютно. А в трубе завывает ветер, тараканы шелестят в пазах, скапливаются целыми колониями между деревянной стеной и кирпичной кладкой — им тоже тепло нравится.

Синит Устинья, синеет. И кажется Бабе Яге, что она уезжает куда-то на своей печке, как в сказке. А это она умирает. Умирает Устинья. Умирает разверстая русская печь. Кто из них раньше остынет? Что может быть печальнее, нелепее, чем холодная печь в деревенской избе?.. Пока покойник не остыл, все кажется, что он еще не покойник, не труп, и что это еще не смерть, что это все еще не навеки, не всерьез.

1960 г.

ВЫСКОЧКА

В плохую погоду даже дым из труб поднимается с трудом — стелется он по крышам, по земле. Люди задыхаются, кашляют, настроение у всех дурное, собаки злые, куры не кудахчут, петухи кукарекают неохотно. А Нюрка должна вставать рано. Дым подняться не может, а ей надо подниматься и, наскоро умывшись и перекусив чего-нибудь, бежать по узенькой снежной тропке на самую далекую окраину деревни, на свиноферму.

Несколько лет назад, когда в колхозе был выстроен новый свинарник на двести голов, люди радовались: это же дворец, санаторий! А что изменилось? Свинарник новый, можно сказать образцовый, не хуже скотного двора или конюшни, а жизнь-то в нем все равно свинячья. Редкий год не бывает падежа. И хоть бы из-за болезней каких-нибудь, а то ведь просто из-за недостатка кормов, от голодухи.

Нынешняя весна оказалась затяжной, а потому особенно трудной: корма уже все, а земля еще не очистилась от снега.

Нюрка часто жаловалась матери:

— Матынька, родненькая, вся душа у меня изболелась. Мне самой скоро кусок в горло не полезет, так жалко их! Особливо маленьких жалко. Ты только подумай: рождаются, чтобы голодать? Да что же это такое?

— Откуда я знаю, что это такое?— отбивалась мать от ее недоуменных вопросов.— Если бы кто-нибудь знал, что это такое! Ты, главное, гляди в оба. Голодные свиньи — звери!

— Звери, мама, верно, что звери! Они у нас все кормушки деревянные изгрызли, перегородки грызут. Надо же!

— То-то оно и есть! А ты — вон ты какая, от горшка два вершка. И тоненькая, с перехватом, будто оса. Схватят — и все, и домой не воротишься. Выдвинули тоже девчонку в свинарки, совести у них нет.

— Я, мама, каждое утро, как ухожу из дому, со всеми с вами в уме прощаюсь. Мне один раз во сне привиделось, будто свиньи схватили меня за подол и сперва всю одёжу с меня сорвали да изжевали, а потом и меня стали есть.

Я кричу, а они меня едят, я кричу, а они едят. То одно место откусят, то другое. Пробудилась, когда у меня уже ни рук, ни ног не стало.

— Вот я об этом тебе и толкую,— наставительно говорит мать.— Смотри в оба, не поддавайся, отвертывайся от них. Звери — они звери и есть.

— Мне бы хоть подрасти немного дали, а потом бы я ничего, не поддалась бы. Только подрасту ли я, может, уже все, такая коротышка и буду? Ты, мама, скажи председателю, чтобы поставили на свиней кого-нибудь другого вместо меня, покрепче.

— Я уж говорила не раз, доченька,— сокрушенно вздыхает мать.— Загубите, говорю, мне девчонку до поры до времени. Да ведь что поделаешь, работать-то некому. Не одна она, говорят, на ферме, ничего не стрясется. А намедни председатель как рявкнет на меня: что ты, говорит, пристаешь, как будто твою Нюрку уже свиньи съели! Я говорю: не съели, дак ведь съедят. Ну, говорит, когда съедят, тогда и отвечать будем.

Разговаривая с дочерью, Катерина Егоровна не стояла на месте и не сидела, а либо делала что-нибудь по хозяйству, либо ходила по избе, скорее бегала, чем ходила, и, заправляя подол сарафана с боков и спереди за пояс, высматривала заранее, за какую очередную работу ей следует приняться. Невысокая, быстрая, она напоминала пугливую олениху, готовую в любую секунду сорваться с места и исчезнуть.

Нюрка окончила шесть классов сельской школы, и ей сразу поручили уход за свиньями. Этим назначением гордилась мать Нюрки и сама она: все-таки не часто доверяют колхозное животноводство совсем молоденькой девчоночке. Значит, она чего-то стоит, если доверили.

Нюрка действительно многого стоила, и доверять ей было за что. Тоненькая, ловкая, непоседливая, вся в мать, с неистощимым запасом энергии и выносливости, она всю себя отдавала работе, потому что иначе и не могла, а может, еще и потому, что ничто другое в жизни пока ее не занимало. Она ни в кого еще не влюблялась, на молодежные пляски, на беседки не ходила, книги читать не приучилась.

В Нюрку тоже никто еще не влюблялся: потому ли, что мала была очень да молода, а может, потому что не было в ней той внешней привлекательности, из-за которой парни влюбляются в девушек с первого взгляда: худенькое костлявое личико, носик острый, рот широк не по лицу, никаких

ямочек ни на щеках, ни на подбородке, и волосы жиденькие — либо еще не успели отрасти, либо такими на всю жизнь останутся. А ту неброскую внутреннюю красоту, которой было у Нюрки с избытком, тот огонек, который сжигал ее всю, не давая округлиться хоть немножко, люди замечали не сразу, молодые пареньки тем более. Миловидность кидается в глаза с первого разу, а чтобы разглядеть красоту внутреннюю, доброту и свет души, требуется время да время. У пареньков этого свободного времени не было, как и у Нюрки: все работали со школьной скамьи, все куда-то спешили, даже целовались с девчатами по вечерам как-то наспех, торопливо.

И Нюрка не унывала от того, что в нее не влюблялись. Ну, не любят, так и не любят, экая важность, не до этого сейчас. Ведь сама-то она тоже никого не любит. Когда придет время да охота — полюбится, и беспокоиться об этом пока не стоит.

На свиноферме у Нюрки было две напарницы: Евлампия Трехпалая, женщина лет сорока пяти, работящая, злая, умевшая криком кричать беспрерывно с утра до вечера, затем молчать по двое, по трое суток кряду; да Пелагея Нестерова, соломенная вдова, брошенная мужем сразу после войны, ленивая, не любившая даже разговаривать без надобности, валовая, как определяют таких медлительных людей в деревне.

Евлампию звали просто Лампией, а Трехпалая — это ее фамилия. Пелагею звали Палагой. Первая имела мужа и трех детей, за которых все время беспокоилась: накормлены ли, одеты ли, не простудились бы, не попали бы где-нибудь под машину... Вторая никого не имела и ни о ком не заботилась, в том числе и о себе самой. Жила в семье брата: день да ночь — сутки прочь.

Первая, Лампия, много кричала, потому что слишком много знала и все колхозные дела и беды принимала близко к сердцу, и молчала часто и подолгу по той же причине. Вторая, Палага, не любила лишнее говорить просто от лени, от равнодушия ко всему на свете, оттого, что ничего не хотела знать и ни во что не хотела вмешиваться.

— Все подохнем в свой срок,— говорила она.— Только бы дали выспаться до той поры.

Молодая, безрассудная Нюрка тоже кричала много. Нюрка надеялась, будто криком можно чего-то добиться, кому-то и чему-то помочь. А мудрая Лампия отлично понимала, что криком ничего сделать нельзя, но не выдержи-

вала и просто отводила душу. Зато уж потом замыкалась не на одни сутки.

К Лампии на свиноферму частенько по хорошей погоде с утра прибегали дети. Старший сын ее, Колька, школьник, украшал для матери стены сторожки цветными вырезками из старых и новых иллюстрированных журналов, потому что увидел однажды на внутренней стороне крышки ее старинного, еще девического, окованного жестью сундука такие же раскрашенные картинки. Кроме репродукций и цветных фотографий, он развешивал по стенам плакаты и самодельные лозунги, касающиеся подъема колхозного свиноводства.

Вместе с Нюркой на свиноферме по целому дню возились и Лампия Трехпалая, и даже ленивая Палага — вот уж по правде от зари до зари. На ручной соломорезке, а чаще всего топорами, рубили они солому, которую удавалось раздобыть с трудом то на току, то около конюшни или коровника и которую таскали на санках, словно ворованную; затем грели воду в котле, а для этого тоже надо было доставать где-то дрова,— чаще всего они привозили на санках же из лесу колодины, сушинник, сваленный ветрами (лес был рядом со свинарником), распиливали и кололи на мелкие плахи, чтобы они легче разгорались, а вскипятив воду, распаривали рубленую солому в кадке и, посыпав ее несколькими горстями отрубей, перемешивали и ведрами разносили по кормушкам, по корытам.

На каждую свинарку приходилось по двадцать пять, тридцать свиней — точно установить никогда не удавалось, и разъединить их было почти невозможно. Обособленно содержались только свиноматки да хряк-производитель, а все остальное стадо, грязное, вонючее и всегда злое, металось по помещению, нередко ломая дощатые ограждения и затевая грызню.

Когда женщины приближались к изгороди, свиньи рычали хрипло и угрожающе, многие из них становились у заборов на дыбы. Они были тощие, с непомерно длинной щетиной, стоявшей торчком по всему хребту, и казалось, что свиньи содержались не ради мяса и сала, а только ради длинной щетины. Нюрка особенно боялась хряка и называла его Крокодилом. На его хищной тонкой морде обнаженно желтели клыки, как у дикого кабана.

Покормив свиней, Лампия начинала чистить свинарник, насколько можно было, Палага уходила в сторожку спать, а Нюрка считалась за старшую и потому отправлялась на розыски корма и дров для следующего дня. Ходила она к

председателю, к бригадиру, чаще прямо к кладовщику. Выпрашивала всего понемногу, чуть не ради Христа.

Свиноферма колхозу была в тягость: доходов от нее никаких, а кормов даже для молочного скота не хватало, поэтому от Нюрки отмахивались все, как от назойливой мухи. Единственным ее помощником в хождениях по мукам был страх, с которым жили все колхозные начальники, что за каждую дохлую свинью с них район шкуру снимет.

Нюрке казалось, что, если б узнал кто-нибудь наверху обо всем, что делается у них в колхозе, сразу бы все изменилось. Только бы выложить все напрямки, все от чистого сердца, а еще лучше показать бы! Но кому? На кого здесь можно положиться? На бога, что ли? Самим ничего не изменить — это уже ясно.

А душа изболелась за колхоз. Районные — те, конечно, все знают, пошумят только промеж себя, втихую: кому дадут выволочку, кого с работы снимут — пересадят из кресла в кресло, кого из партии исключат, а дело ни с места. Боятся сор из избы выносить, потому что с них же самих будут взыскивать, если что обнаружится. Да, наверно, и не понимают ничего. На что же, на кого же надеяться?

Председателю колхоза Бороздину всяческие недостатки и злоупотребления, видно, так уже примелькались и притерпелись, что он перестал отличать черное от белого и, боясь за свою участь, заботится больше о том, чтобы хоть не все вылезало наружу. А участь у него была незавидная.

Гаврила Романович Бороздин стал председателем колхоза в конце войны, когда после тяжелого ранения вернулся в родную деревню одним из первых солдат. Колхозники сами, без подсказов, избрали его своим руководителем, а райком поддержал его кандидатуру. Бороздину польстило это выдвижение. Правда, он не имел ни опыта, ни образования, но рассчитывал, что будет много читать и что в приобретении и практических и теоретических знаний ему помогут разные районные семинары по сельскому хозяйству, и совещания, и заседания.

Но читать ему не удалось; собрания и совещания, как скоро выяснилось, ничего не давали ни уму, ни сердцу; все его время и все силы поглотила так называемая текучка: бесчисленное количество всяких кампаний, заготовок и составление отчетности.

Серьезных организаторских способностей у Бороздина не оказалось, на смену им пришли изворотливость и ловкость. Раз попав в твердый список руководящих работни-

ков, он нашел, что надо держаться до конца: это своего рода специальность. Колхозное хозяйство кидало при нем из одной крайности в другую. И Бороздин стал неразборчив в средствах, только бы заставить молчать недовольных, и часто ссылался на то, что пострадал при защите Отечества. Кто смеет теперь подозревать его в чем-то, не доверять ему? По этой же причине он сам многое прощал себе, говоря: «Зря, что ли, я потерял свое здоровье на фронте?» Многое прощали ему и в районе из-за того, что он инвалид войны.

Бороздин полной мерой расплачивался за это снисходительное к себе отношение. От рядовых колхозников его судьба пока не зависела: для всех семи деревень, объединенных ныне в одном крупном колхозе, он был человек свой, не пришлый, знал всех от мала до велика, и его все знали и, как своему, сочувствовали его нелегкой судьбе. Замечания шли только сверху, и он больше всего в жизни боялся, что сверху ему наконец скажут: не можешь руководить — уходи, не мешай партии и народу налаживать колхозную жизнь.

Не велика Нюрка, а многое уже знала и о многом мечтала. Ей хотелось послужить людям, то есть наладить жизнь в своем колхозе, но об этом громко говорить было не принято, неудобно...

Иногда Нюрке казалось, что она знает даже, с чего начинать следует... А вместо этого приходилось выдыхать из себя:

— Помоги, господи!

На ферме Нюрка считалась старшей свинаркой. По закону положено, чтобы у фермы был свой заведующий, но от должности такой она отказалась, а раз нет заведующего, пусть будет хоть старшая свинарка, все-таки вроде начальства над свиньями и над другими свинарками.

Нюрке не легче от того, что ее считают старшей. Не считали бы старшей — может, и не пришлось бы с утра до вечера бегать как угорелой, да ругаться, да лаяться, да кидаться на всех? А ругаться Нюрке приходилось много и часто — и с кладовщиком, и с правленцами, и с конторщиками, да еще и с напарницами своими, такими же свинарками, как она. Им-то чего надо, им-то она чем насолила? Друг друга поедом едят, и ее редко назовут по имени — все «выскочка» да «выскочка». А какая она выскочка? Разве у нее легкая жизнь? Куда она «выскочила»? Конечно, им не по нраву: от горшка два вершка и вдруг — «стар-

шая»! Но разве она меньше других работает? Чины у нее, что ли, какие?

Но особенно обидно было Нюрке из-за того, что и свиньи ее ненавидели, а она их боялась. Надо же! Боялась настолько, что в последнее время даже перестала выпускать их на прогулки. Нюрка ко всяким животным легко привязывалась и умела их понимать и жалеть. Привыкла она и к свиньям, ухаживая за ними не за страх, а за совесть... Но с их стороны не замечалось никакого взаимопонимания и приязни. И это было самое печальное и тревожное. Они же ее и ненавидят, надо же! Совсем некрупные поросята, подросточки еще, почти розовые, и те уже рычат!

В раздражении, бывало, Нюрка жаловалась матери:

— Ты только подумай, мы их поим, кормим, мы за ними ухаживаем, чистим их, все для них — от нас, на нашем горбу держатся, и вот ведь свиньи: вместо благодарности они же нас и ненавидят, они же нас сожрать ладят. И хоть бы для нас польза от них какая. Мы-то сами от них ничего ведь не имеем, только убыток один да выговоры. Ну не свиньи ли?

А иногда Нюрке хотелось приласкать даже борова, почесать у него за ухом, скоблить и скрести его, пока он, блаженно похрюкивая и постанывая, не свалится на бок. Но вместо этого она вынуждена была то и дело проверять прочность дощатой заборки, за которой он бесится,— не вырвался бы!— и, высыпав в его корыто поверх перегородки свежий комбикорм или распаренную рубленую солому, снятую с крыш сараев и дворов, поспешно отдергивать руки и убирать ноги — не схватил бы!

— У, Крокодил, не понимаешь ты меня!— огрызалась Нюрка каждый раз, как боров, храпя, становился передними ногами на перегородку и высовывал из своего закутка длинную клыкастую морду.— Разве я виновата?

Предчувствуя недоброе, Катерина Егоровна, провожая по утрам дочь на свиноферму, рассказывала ей всякие страшные истории про зверей и звероподобных животных, нарочно запугивая, чтобы та была осторожнее со свиньями.

— Намедни в деревне Липовой нашли девку в кустах, все груди и живот выедены дочиста. Говорят, будто волки ночью схватили. А кто их знает, может, и не волки. Свиньи — они ведь тоже у человека перво-наперво живот выедают.

Нюрка испуганно и умоляюще останавливала ее:

— Ладно, мама, будет тебе, я и без того вся дрожу.

Но мать не унималась:

— Медведь тоже когда корову задерет, так сперва все

вымя ей выест. После войны у нас тут медведей шибко много собралось, оттуда, от войны сюда бежали. До того избаловались, что летом подходили прямо к деревне в середине дня и все, бывало, коров за вымя хватали. Выдерет медведь вымя коровье и уходит, вся морда в парном молоке, а корова так и стоит на ногах, только дрожит вся. Вот они, звери, какие! Ты думаешь, свиньи лучше?

— Ладно тебе, мама!— возмущалась Нюрка.— Виноваты они, что ли? Их кормить надо, а мы их чем кормим? Ведь не от хорошей жизни такие они.

— Не от хорошей, конечно,— соглашалась мать,— а все-таки свинья малых поросяток своих съедает, только недогляди.

— Мертвых съедает, верно. Так ведь кошка и та съедает своих котят, если мертвые родятся.

— Свиньи и живых съедают!— не уступала мать.

— Кормить их надо, мама, вот что я тебе скажу. Свиней кормить надо!

* * *

Нюрка пришла на ферму, в сторожку, служившую одновременно и кормоцехом, чуть свет, но там уже была Палага. Правда, она еще ничего не делала, но все-таки... Так рано... почему?..

— Ты ночевала здесь или что?— удивленно воскликнула Нюрка.— Надо же!

Медлительная Пелагея сидела на скамейке и смотрелась в маленькое круглое зеркальце. Это Палага-то! Но мало этого — на ней сегодня был не обычный грязный домотканый, не имеющий уже цвета сарафан, в котором она приходила на работу из месяца в месяц, а ситцевый, еще не застиранный, с рисунком в елочку, и такая же кофта, и на голове платок с полосками, желтыми и красными вперемежку.

— А ноги-то не вымыла!

Наряжаясь, она, должно быть, забыла их помыть, а чулок на ней не было, а резиновые башмаки были низкие, и потому грязные толстые икры мелькали из-под сарафана, словно покрытые еловой корой.

Когда Нюрка хлопнула дверцей, Палага подняла на нее глаза, а затем снова стала присматриваться к себе, поднимая зеркальце на уровень глаз.

— Надо же!— сказала Нюрка.— Праздник у тебя или

что? Или ты за борова замуж хочешь выйти? Ну скажи что-нибудь.

И Пелагея сказала:

— На крышах больше соломы нет. Где сегодня возьмем?

— Палага — и вдруг о соломе! Что это ты сегодня? — удивилась Нюрка.

— Думаю, в поле надо самим брести, как раньше.

Нюрка удивилась еще больше. Ежегодно часть ржаной соломы после комбайна оставалась на полях даже не заскирдованной. Колхоз для своего общественного стада солому не вывозил, не успевал, а таскать ее для личных коров колхозникам не разрешалось, это считалось расхищением социалистической собственности. И колхозному скоту и личному скоту корму не хватало каждую зиму, о подстилке уже и говорить нечего, но солома эта погибала. Весной при вспашке полей трактористы ее просто сжигали, чтобы не задерживать работу. Нередко уходили под снег и кучи вымолоченного колоса, сброшенного с комбайна. Однажды Нюрка уговорила своих напарниц пойти в поле и принести соломы по ноше на вожжах за спиной, а еще насобирать колосу. Бродили по снегу с павжны до ужны (с обеда до ужина), иногда проваливаясь в суметы по пояс и глубже, разрывали снег лопатами и руками и насобирали все-таки три ноши. В другой раз ходили с носилками и, оставив их на дороге, таскали солому и колос с разных концов поля охапками. Носилки корму, пусть не свежего, с гнильцой,— это не так уж плохо. Все-таки не комбикорм. Но Нюрка проморозила себе колени, а у Палаги мороз прихватил даже срамные места. После этого Нюрка догадалась кормить свиней соломой с крыш, предварительно изрубив ее и запарив, и они стали раскрывать в деревне все соломенные крыши и скармливать их свиньям. Этот корм доставался легче, чем тот, что гнил в полях, но на крыши скоро полезли и доярки, и телятницы, и даже конюх; все сараи, двор и даже старые избы в деревне быстро оголились.

Нюрка не подозревала, что это была не ее выдумка, что еще задолго до ее рождения соломенные крыши русских изб так же ежевесенне шли на корм скоту.

В этом году на полях никто еще не рылся под снегом, и Палага сама — надо же, сама Палага! — предлагала сделать первый выход.

— Твоя ли это забота, Палашка, с чего ты вдруг о кормах стала думать? — допытывалась Нюрка, почуяв, что за этим кроется что-то.

— *Эта* приедет! — ответила Пелагея.
— Кто «эта»?
— Знатная! Смолкина.
— Елена?
— Она, Олена!
— Надо же, прости господи! Кто тебе сказал?
— И тебе скажут, погоди.

Ответив на вопрос, Пелагея замолчала, будто выговорилась до конца и дальше продолжать разговор ей было неинтересно. Нюрка поняла ее и не стала больше ни о чем спрашивать. Только с усмешкой заметила все же:

— Тебе-то что от нее ждать? Вырядилась, будто на свадьбу.

Тогда Пелагея огрызнулась:

— Думаешь, все тебе одной, выскочке?

— А мне чего от нее? Наверно, про свой опыт будет рассказывать. Пусть она свиньям нашим про свой опыт расскажет, они послушают.

Пришла Евлампия. Эта была одета, как всегда, в ватник, который в зимнее время с одинаковым успехом служил лесорубам и секретарям райкомов партии, дояркам и свинаркам, учителям и медицинским работникам. Под ватной курткой тот же сарафан и фартук, на ногах резиновые сапоги, на голове теплый платок. Обе женщины, Евлампия и Пелагея, ходили всегда в платках, и лишь Нюрка все еще по-девчачьи носила шапку-ушанку.

Евлампия была возбуждена и очень хотела разговаривать.

— Чуяли? — начала она еще от порога, сметая веником снег с резиновых сапог.

— Чуяли! — ответила ей Нюрка. — Ну и что?

— А то, что ее, Смолкину эту, знатную нашу, уже из района в район возят. Опытом делится.

— Ну и что?

— Вот тебе и что! К нам едет. Уже по всем дорогам в колокола звонят и в ведра бьют.

— И пускай едет. Нам-то что? — всерьез недоумевала Нюрка. — Наших дел она не выправит.

Лампия повысила голос:

— Конечно, выправит! Чтокать чтокаешь, а голова у тебя, девонька, не варит. Сами все выправим к ее приезду. Надо скорей председателя да всю контору на ноги поднимать. Они себе не враги. Расшибутся, а достанут все, чтобы встретить гостью чин чином. Будет теперь у наших свиней, бабоньки, и корм, и подстилка, будет сенная мука и картошка, отруби

и турнепс. Все будет, все! Мы этих наших начальников знаем. Они сейчас дорогу к свинарнику коврами выстелют, оторвите мою голову.

Пелагея по-прежнему молчала. А Нюрка вдруг все поняла и оживилась:

— А ведь ты правду говоришь, Ламния. Нам бы только не проворонить ничего. А то обведут вокруг пальца, навозят кормов на один день, пыль в глаза пустят — и все.

— А я что тебе говорю!— все более возбуждалась Евлампия.— Дурой будешь, как есть обведут вокруг пальца. У них опыт. Напугать их надо всех, вот что. Иди сейчас же к председателю и прямо в маленькие в глаза его брякни: все, мол, расскажем, все разболтаем героине, если совесть свою он не покажет сейчас же. И как по крышам лазим, и как в поле снег носом разгребаем, собираем по соломинке, по колоску; разрешил бы осенью бабам — на себе всю солому выносили бы за два дня. Помнишь, он говорил: пусть народ учится уважать колхозную собственность! И гниет эта собственность: ни скоту, ни людям. Беги!

Сейчас Евлампию уже трудно было остановить. Беги, и только!— больше она ничего не хотела знать. Беги поднимай на ноги все правление! А ведь рассветало, надо свиней кормить. Чем только?

— Пошли в поле!— сказала вдруг Палага.

— Куда ты в этих гамашах пойдешь, там снегу еще до пупа!— взъелась на нее Ламния.— К председателю надо идти.

Нюрка поддержала Пелагею:

— К председателю идти, а свиньи голодные.

— Не подохнут один день, бывало, подольше голодали. Тогда иди одна, а мы тут чего-нибудь сделаем.

Евлампия сказала это почти тоном приказа, но Нюрка не обиделась на ее слова: «Значит, признают все же за старшую, меня посылают!» — подумала она.

В это время снаружи заскрипел снег под сапогами. Нюрка заглянула в окошечко и торопливо зашептала:

— Председатель! Молчите, бабы, я сама...

Гаврила Романович Бороздин носил белые бурки, снег под ними скрипел так же, как под сапогами. Шуба с каракулевым воротником была распахнута. Круглое полное лицо его горело от мороза, узкие, инициативно поблескивавшие глазки от яркого снежного света сузились еще больше, и председатель выглядел поэтому особенно хитрым и умным. Вошел он неторопливо, как хозяин в свои владения, и,

казалось, ничто его не волновало, никаких экстренных событий в жизни не ожидалось — просто шел мимо и заглянул.

— Здравствуйте, хозяйки! Уже в сборе все — молодцы! Сознательность — дело хорошее,— заговорил он со всеми, глядя на одну Нюрку.

Пелагея вскочила со скамьи, обмахнула ее фартуком и услужливо придвинула к председателю. Тот сел.

— Да ведь не рано уже, Гаврила Романович,— ответила Нюрка за всех,— мы собираемся еще на свету.

— Хорошее дело. Я вас знаю, вы народ сознательный, передовой. Если бы все были такие, как вы, колхоз бы наш уже во-он где был!— председатель показал рукой вперед и вверх. Потом спросил, кивнув головой на котел, вмурованный в печь в углу сторожки:— Кормили?

— Нет еще, не кормили. Нечем кормить, Гаврила Романович.

— Да, я знаю, трудно вам, время сейчас такое, перехóдное. Переходный этап, можно сказать. Весна на подходе, трудности роста...

— Скоту труднее, чем нам,— вставила свое замечание Евлампия.

Председатель мельком взглянул на нее и опять заговорил, обращаясь только к Нюрке:

— Конечно, и скоту трудно. Трудности роста, говорю. Животноводческая проблема в нашем колхозе еще не решена. По мясу и молоку мы еще не на первом месте. Но мы примем меры и догоним. Догоним и перегоним! А корму я вам достал немного для начала. Сейчас, Нюра, явись ко мне, получишь выписку, оформишь наряд.

— Спасибо, Гаврила Романович!— искренне обрадовалась Нюрка, что ей не придется ходить, канючить, ругаться со встречными и поперечными.

— А раньше-то где выписки были?— не удержалась опять Евлампия.

— А ты помолчи!— оборвал ее председатель.— Я не с тобой разговариваю.

— Помолчать можно!

— Вот так-то лучше. Старшая здесь Нюрка, а не ты. К порядку привыкать надо. Тогда во всем порядок будет. И корма будут, и все такое. Затапливай-ка печь лучше.

Печь начала растапливать Палага, а Лампия осталась сидеть на месте. Казалось, Палага хотела угодить председателю.

Бороздин сделал вид, что не заметил непослушания Лампии. Он продолжал:

— Конечно, вам нелегко. Были бы корма — может, и у нас бы свои героини были. Я же все понимаю. Конечно, всем вам отличиться хочется. Про Смолкину слыхали? — вдруг задал он вопрос.

Женщины молчали. Бороздин уселся поплотнее на скамейке, распахнул шубу еще шире — в печи показался огонек.

Ответила Нюрка:

— Как не слыхать? Знаем. Не иностранка какая-нибудь.

— Вот-вот, не иностранка. Свой человек, трудовой. Из соседнего района. А как высоко ее подняли! Вот ты, Нюра, тоже могла бы в люди выйти.

— Как это я могла бы?

— А так и могла бы. И можешь! Мы поддержим, поможем. Только захотеть надо.

Палага молчала, а Евлампия опять сказала свое, и сказала со злобой:

— Она все может, если совесть потеряет. Она выскочит.

Нюрка чуть не заплакала от обиды:

— Ну что я тебе сделала? Ну что ты опять на меня?

А Бороздин обиделся не за Нюрку, а за Смолкину.

— Вредный ты элемент, — сказал он, тыча толстым коротким пальцем прямо в глаза Евлампии. — Говоришь много, а толку мало. В старое время таким людям, как ты, языки отрезали.

— Так теперь не старое время. Теперь за правду языки не отрезают.

— И как ты смеешь говорить такие слова, — продолжал председатель, — про знатного человека, про товарища Смолкину?

Евлампия повернулась к нему всем корпусом, словно приготовилась к прыжку:

— Разве я что-нибудь про Смолкину сказала? Вы что, товарищ председатель?

— А про чью же ты совесть говоришь?

— Я ее, Смолкину, в глаза не видала.

— А про чью же ты совесть говоришь? — повторил Бороздин.

Но он, должно быть, недооценил характера и ума своей колхозницы, иначе бы не повел разговор с ней в таком тоне. Он пришел сюда совсем не за тем, чтобы отчитывать свинарок, упрекать их в чем-то, вызывать на спор, на брань. Он пришел, чтобы наладить с ними добрые отношения перед

приездом Смолкиной, о чем его предупредил телефонный звонок из райисполкома. Бороздину хотелось, чтобы перед приездом делегации — так он мыслил себе появление свинарки Смолкиной в его колхозе, ведь не могло же быть, чтобы она разъезжала одна,— чтобы до этого на свиноферме был наведен порядочек, насколько позволяли возможности, чтобы и помещение, и сами свиньи выглядели более или менее опрятными, приличными, чтобы все было приличным. На свиноферме он бывал редко. Колхоз стал очень крупным, везде не поспеешь. А когда начинались серьезные перебои с кормом, он старался вообще туда не заглядывать. По текущим вопросам всегда можно было получить информацию от подчиненных, в том числе даже от Нюрки, вызвать ее в свой кабинет. И сейчас председатель хотел вести свой разговор только с Нюркой, как со старшей свинаркой, хотя обращался как бы ко всем сразу. Сбили его злые реплики Евлампии Трехпалой. Такие реплики председатель называл подрывными и старался не допускать их, обрывать их сразу при любых обстоятельствах. А вот не сумел на этот раз.

— Вы слышали, бабоньки, как он повернул все?— громко обратилась Лампия к Нюрке и к Палаге.— Нет, вы слышали? Разве я что про Смолкину Олену знаю? Разве я про ее совесть говорила? А может, она хороший человек, разве я знаю про это? Может, она правдой в люди вышла? Неладно это вы так, товарищ председатель, поймать хотите. Совесть надо иметь. Вот я про какую совесть сказала.

Лампию уже трудно было остановить, она, как говорится, входила в форму. А остановить надо было.

Бороздин снял шапку, вытер лысину — он начал потеть. В печке уже трещали сырые дрова.

— Дрова-то у вас сырые!— сказал он почти с торжеством обвинителя.— Не можете дров для себя наготовить? О дровах летом думать надо!— А затем спросил, обращаясь к Палаге и отмахнувшись рукой от назойливого крика Евлампии:— А вода в котле есть?

Пелагея, с готовностью сделать все для своего председателя, подплыла к печке, подняла деревянную крышку над котлом и опустила в него руку. Вода в котле была.

— Не сумлевайтесь, Гаврила Романович, вода у нас завсегда есть,— пропела она.

— Вот так!— сказал Бороздин.

Евлампия была сбита с толку его спокойствием, и горячность ее сразу улеглась. От запальчивости и крика она могла теперь перейти к длительному молчанию.

Тогда Бороздин заключил разговор:

— Злая ты баба, Лампия. Отчего ты такая?

Евлампии уже ничего не хотелось говорить, и ответила она вяло, без всякого желания спорить:

— Свиньи тоже злые.

Дальнейший разговор пошел мирно. Гаврила Романович не стал сообщать, как намеревался, что ждет приезда Смолкиной, но все же соблюдал тон хозяина и немножко ворчал и покрикивал на свинарок и был заискивающе ласков с ними.

— Все поправим, приходи, Нюра, в контору. Найдем корма.

Он заинтересовался вдруг, что стены сторожки были оклеены плакатами, лозунгами — это понятно! — и разными вырезками из журналов и даже открытками, не имеющими никакого отношения к свиноферме,— а это зачем?

— Плакаты, лозунги — это хорошо! — сказал он.— За дальнейший рост поголовья, за быстрый откорм свиней, за увеличение живого веса — все так! А картинки эти тут по какому случаю? Вот что это: «Иван-царевич и серый волк»? Вы что — маленькие? Или это: «Опять двойка»? Если у него двойка за двойкой, так зачем его рисовать да на стену вывешивать? Это же не способствует! А в углу что за портрет? Салтыков-Щедрин,— прочитал Бороздин.— Гм. Он что — за свиней или против? Ученый какой-нибудь, или тоже царевич? Откуда вы все это набрали и для чего? Разве такие портреты полагается на стенах вешать?

Нюрка ответила:

— Это старший сынок Лампии для матери своей старается, чтобы она тут от красоты не отвыкла. А портрет очень на его дедушку похож. Говорит: дед, да и только!

Однажды Бороздин выругал Евлампию за то, что в свинарник часто ходят ее дети — негигиенично-де, ребятишки могут инфекцию на ферму занести. Но так как он и сам не верил тому, что сказал, то сейчас решил и не вспоминать об этом случае.

А Нюрка встревожилась:

— Ничего плохого ребятишки здесь не делают, Гаврила Романович. Просто к матери ходят, Лампия их редко дома видит: она домой — они в школе, они дома — она здесь. А старшего учитель даже похвалил за то, что он украшает наш свинарник: это, говорит, школьный вклад в подъем колхозного животноводства.

— И правильно сказал,— согласился Бороздин.— Разве

я против этого? Я напротив. Пусть украшает! Способный парень растет...

Лицо Лампии от слов председателя смягчилось, а Нюрка стала рассказывать еще:

— Где ни найдет Колька, сынок ее, журнал какой ни на есть — старый ли, новый ли,— так сейчас же вырезает из него все картинки и тащит сюда, к нам. В сторожке места уже не стало — теперь свинарник украшает: и там скоро все стены заклеит.

— Это хорошо,— одобрил председатель,— это культура!— И опять в его глазах появился некий инициативный огонек.

— Все для мамы, говорит,— хвасталась Нюрка как будто своим сыном или братом.— А лозунги, те сам сочиняет, чтобы складно было, и сам пишет печатными буквами. Вот этот он сам сочинил,— указала Нюрка на две стихотворные строчки, написанные на развороте газеты химическими чернилами жирными буквами.

Бороздин прочел вслух:

Дорожи свиньёй
Во славу родины своёй!—

и захохотал:

— Вишь ты, это по-нашему, на «о». У нас «о» завсегда было круглое, будто тележное колесо. Дело хорошее: идея есть и складно.

В свинарник Бороздин не пошел, только дал наказ, чтобы во всем был порядочек, чтобы старались женщины, а Нюрке приказал немедленно явиться в контору, оформить получение кормов.

— Мы вас всегда поддержим, только вы нас не подведите.— И опять в его глазах появился инициативный огонек. Но он тут же потух, как только Бороздин подумал, где возьмет он обещанные корма.

Когда он ушел, Нюрка спросила, глядя на Лампию и Палагу:

— Откуда вы взяли, что Смолкина приедет?

— Неужто нет?— ответила Лампия вопросом же.

— А промолчал?

— Значит, так надо. Молчать-то и он научился. Политику с нами разводит.

Затем Лампия спросила Палагу:

— Ты чего лебезишь перед ним? Для чего подлизываешься?

Палага не обиделась,— что было на уме, то и выложила:

— К тебе, что ли, я буду подлизываться? Меня не убудет, а жить спокойнее. Начальство, оно все в строку ставит. Надоело мне, бабоньки, все надоело, вот что я скажу.

Вода в котле закипела. Женщины начали колдовать, чем бы накормить свиней, а Нюрка надвинула поглубже шапку на уши да одернула серый засаленный ватник и пошла по вызову председателя.

Гаврила Романович Бороздин в своем кабинете разговаривал с Нюркой, как заговорщик, хотя и на этот раз не сообщил, что ожидается большая гостья.

— О корме распоряжения уже отданы. Ни о чем не беспокойся, все будет сделано,— шепнул он.— А ты сейчас же иди домой и прочитай вот эту книжицу, подумай над ней.— Он взял одну брошюру из целой стопки точно таких же и вручил ее Нюрке. Это был рассказ знатной свинарки Елены Смолкиной о своей работе.

Затем последовали новые указания:

— Сегодня на свиноферму не ходи. Прочитай эту книжку, изучи ее, а завтра проведи воспитательную работу в своем коллективе, чтобы запомнили все и извлекли опыт. Вот так! Я целиком полагаюсь на тебя. И еще раз проверь там у себя, чтобы все было на своем месте и во всем чтобы соблюдался порядочек. Понятно?

Нюрка все поняла.

— Да, вот что еще,— добавил председатель.— Мобилизуй этого паренька, Кольку, сынка этого, чтобы он еще присочинил чего-нибудь и повесил бы. Такое, понимаешь, чтобы подходило к текущему моменту. Если нужны бумага и краски, скажи Лампии, пусть пошлет в контору к счетоводу. Будет сделано.

Нюрка холодно смотрела, как волнуется Бороздин, и так же холодно спросила его:

— А может, она и читать наши вывески не будет, не видала, что ли?

Бороздин обрадовался:

— Вот-вот, поняла, значит, догадалась. Будет читать, не будет читать — не наше дело. Наше с тобой дело приготовиться. Одна она, что ли, приедет!

* * *

Деревня стояла на береговом откосе, обращенная всеми своими окнами к реке. Но между домами и рекой издавна

стояли маленькие, наполовину втянувшиеся в землю либо сползшие к самой воде черные баньки. Бывало, сидят мужики на крылечке, покуривая самосад и поглядывая поверх гниющих и дымящих бань на заливные заречные луга, и вдруг кто-нибудь скажет, сплюнув со злости под ноги:

— Утопить мало тех, кто первые начали строить бани перед самыми окнами.

— Да, планировочка! — подтвердит другой.

Но всегда находились и трезвые головы:

— Конечно, первый кто-то был. Только какой смысл теперь проклинать их, первых кляни не кляни — они свое дело сделали. И, конечно, их тогда понимали и поддерживали: дескать, не надо далеко за водой ходить.

— Утопить мало! — повторял решительно свое осуждение начавший этот разговор.

— Ну и топи, ему-то что!

Только, надо полагать, баньки не всегда были такими неприглядными, на отдельных сохранились еще остатки резьбы по краям крыш и даже выструганные из березовых плах либо из кривых корней причудливые петушки на охлупнях. Наверно, баньки были хороши, красивы, пока не начали гнить и крениться в разные стороны.

То же самое с качелями. Остатки их сохранились на крутом берегу реки в конце деревни — два высоченных столба с перекладиной да пара слег, заменявших когда-то веревки. Самой доски, на которой сидели и стояли качавшиеся, уже не было, и старые, черные от гнилостных грибков столбы напоминали теперь только виселицу. А ведь когда-то здесь, на угоре, каждый вечер, а в праздники с утра до вечера шумела, веселилась неприхотливая к затеям сельская молодежь. Тут влюблялись и сватались, ревновали и дрались...

В зимнее время, когда и река, и поёмные луга по обоим берегам, и гнилые баньки, и остатки качелей по уши были под снегом, казалось, что все на месте и ничто не портит красоты родной природы.

Нюрка торопливо шла по деревне, размахивая одной рукой, а другой сжимая в маленьком кармане ватника книжку знатной свинарки Смолкиной. Ей не терпелось прочитать эту книжку. Волнение председателя как-то передалось и ей. А вдруг приезд Смолкиной что-то изменит в ее жизни, осмысляя и углубляя ее, вдруг Смолкина подскажет что-то такое, из-за чего свиноферма сразу поднимется, и люди будут довольны, и свиньи перестанут голодать?

Катерина Егоровна, встретившая ее на крыльце своей избы, встревожилась:

— Что рано являешься? Не случилось ли беды какой?

— Ничего, матынька, все ладно. Дай поесть чего-нибудь, читать буду.

— Читать? Замуж пора выходить. А она — читать.

Смолкину Елену Ивановну знали по всей округе. С портрета смотрело широкоскулое молодое лицо в белом платочке с умными веселыми глазами. Нюрке лицо понравилось, только вот тоже — ни на щеках, ни на подбородке ямочек нет, а она, да, наверно, не она одна в деревне, считала, что такие ямочки — главное в женской красоте. Себя Нюрка не ставила почти ни во что именно потому, что ни одной ямочки на лицо бог ей не дал. А вот, оказывается, у Смолкиной тоже их нет, а — ничего, неплохое лицо. Уж за нею-то, наверно, все первые парни сломя голову бегают да не из одной какой-нибудь деревни, а со всего района, а может, со всей округи.

Прежде чем читать брошюру, Нюрка показала смолкинский портрет своей матери и спросила ее:

— Красивая она?

Катерина Егоровна вытерла руки о передник, взяла книжку обеими руками, поднесла ее к окну, к свету и в свою очередь спросила:

— Кто это?

— Да вот она и есть, Смолкина.

— Кто такая?

— Неужто не знаешь? Надо же! Смолкина, Елена, свинарка знаменитая, можно сказать, напарница моя.

— Нашла себе напарницу. Ее, поди-ко, только в красные углы сажают. Ишь какая! — восхищенно всматривалась в портрет Катерина Егоровна.

— Ты мне скажи, красивая она? — настаивала Нюрка.

— Да лишней красоты будто нет, а ребятам, поди-ко, такая по нраву, все за ней гоняются. Только что это у нее на носу, будто дырка маленькая?

— Где на носу?

— А эвон, на самом наконешнике. Как на наперстке ямочка, что ли, какая?

Нюрка всмотрелась — и верно: на самом кончике носа ямочка. Значит, есть все-таки ямочка у Смолкиной. Не зря, значит, красивая такая! — решила она.

А у Катерины Егоровны мысль шла своим путем:

— Это у нее шадринка на носу. Наверно, девчонкой оспу перенесла. Видала шадровитых? Это все из-за оспы. Когда ребенок заболеет, бывало, черной оспой, ему на ночь руки связывают, чтобы не содрал себе коросту с лица. Сорвет коросту — на всю жизнь человек меченым остается, шадровитым. Говорят про таких, что на роже у него черти горох молотили. Родители, бывало, денно и нощно следят, чтобы спасти чистую кожу своему детенышу. Видно, и за ней следили, да не уследили, сколупнула-таки корочку с носу, осталась ямка на самом кончике.

— Что же ты мне, мама, хоть одной ямки не оставила?

— Вот дурная девка! Да разве шадринки для красоты? Это когда человек улыбнется и у него лунка на лице засветится, вот тогда для красоты. И то ежели к лицу идет. У всякого лица, голу́ба душа, своя красота есть. А тебе зачем шадринки? Когда ты росла, оспы уже не было.

День зимний короток, как жизнь человека, особенно если он хочет что-то сделать, а не торопится. Пока Нюрка собиралась сесть за брошюру, наступили сумерки и читать пришлось до поздней ночи при керосиновой лампе. Лампа висячая, но на время чтения Нюрка сняла ее и поставила на стол — читала и боялась, что забудется, двинет столом и неустойчивая лампа свалится.

В избе было тихо. Мать поворчала-поворчала и забралась на печку. Отец зимой работал на лесозаготовках и жил где-то в казенных бараках. Старший брат Нюрки отслужил положенное время в армии и, получив паспорт, в колхоз не вернулся, а устроился для начала разнорабочим на металлургическом комбинате. Ему хорошо, он два раза в месяц получает свое, заработанное, на руки. У него не трудодни.

В трубе выл и стонал ветер. Отчего он никогда не забирается в трубу днем? А может, это мать храпит со сна и посвистывает во все свои завертки, во всю ивановскую? В какую ивановскую? Что такое завертки и откуда они у матери?

Смолкина писала о колхозном животноводстве, о росте поголовья свиней, о их убойном весе, о жирности, о сальности. Рациональное содержание... Рациональное скармливание... Искусственное осеменение...

Нюрка читала и думала: здорово! Только в сон клонит. Грамотная, видно. Куда ей, Нюрке, до такой! А ведь было однажды, председатель Бороздин говорил ей: поддержим! Все тебе дадим! Героиней будешь! Наверно, она неправильно

себя вела. «Зазналась я, вот что,— опять начала она сомневаться в своей правоте.— Если б не зазналась, так не лезла бы на рожон, не кричала бы на всех, как будто старше да честнее меня никого и нет в колхозе».

Нюрка хорошо помнит, как росла слава Елены Смолкиной. Об этом много рассказывалось повсюду. В колхозе проездом побывал секретарь обкома и похвалил ее работу. В районной газете появилась заметка, в которой рассказывалось, как Смолкина заявила секретарю обкома, что не пожалеет своих сил, чтобы оправдать его доверие, работать еще лучше. После этого уже другой секретарь обкома похвалил Смолкину еще раз на каком-то областном совещании по животноводству и одновременно спросил, не обращаясь ни к кому персонально: а что знают районные работники об инициативных людях в своих колхозах, поддерживают ли их, выдвигают ли, поощряют ли? В любом районе есть свои передовики, свои герои, надо только уметь их находить. Находить и воспитывать. Нет — значит, не нашли, ленивы...

Областная газета об этом совещании дала целую полосу под общим заголовком: «В каждом районе должны быть свои герои». Так впервые появился портрет Смолкиной. За малейший ее неуспех теперь стали взыскивать с районных руководителей, а те с правления колхоза. И успехи Смолкиной стали расти с каждым годом.

Ходили и всякие иные разговоры.

Однажды при опоросе у Смолкиной будто бы погибла свиноматка. Оставшихся поросят Елена Ивановна пересадила к другой свинье. Приехавший в колхоз корреспондент, кое-что понимавший в свиноводческом деле, подсчитал всех поросят, облепивших постанывающую хавронью, и воскликнул на весь район:

— Это же рекорд! Восемнадцать поросят! И все от одной?

Елена Смолкина на первый раз промолчала. А когда корреспондент повторил вопрос, она рассмеялась и сказала:

— Вот чудной какой, сама я, что ли, нарожала их?

Корреспондент бросился к председателю колхоза. Тот горделиво заявил:

— А вы что думаете, мы не умеем выращивать своих героинь в колхозе? Умеем! При должном руководстве в каждом колхозе могут быть свои героини.

Слава Смолкиной стала гордостью и козырем колхоза, и района, и области. «Мы с тебя за Смолкину голову снимем!» — сказано было как-то председателю колхоза. Конечно,

сказано было под горячую руку, но ведь и голову можно снять тоже под горячую руку — разве председателю от этого будет легче? И он все свое внимание и все силы и средства колхоза направил на решающий производственный участок — на свиноферму Смолкиной. Колхозную свиноферму так и называли: свиноферма Смолкиной. Ходили слухи о незаконных приписках в ее пользу. Но, может, это были только слухи, сплетни?

«Если бы не поддержка, если бы не помощь, если бы не указания и руководство...— пишет Смолкина,— моя бы свиноферма не смогла выйти в число передовых...»

«Дура я, дура и есть!— упрекает себя Нюрка.— Вот всегда у меня так: сначала накричу, а потом кумекать начинаю. И Лампия у меня такая же. Разве Бороздин не обещал нам свою помощь и поддержку? Разве бы я не смогла вот так же... Книжка бы... с портретом бы... Эх, Нюрка ты, Нюрка!— И опять сомнения и самая обыкновенная зависть начинали точить ее сердце.— Интересно все-таки, неужели она это сама все писала? Села вот так за стол и давай сочинять целую книжку? Надо же! Рациональное содержание!.. Рациональное питание!.. Ты бы еще, Елена Ивановна, про диетпитание рассказала, да нашим бы свиньям, они бы тебя послушали! Мы их крышами кормим, вот что я тебе скажу по секрету. У нас вон опять осенью все сенокосы залило водой раньше срока. Сено сгрести не смогли из-за паводка. Да что сгрести! Копны, стога целые смыло, как слизнуло. А не смыло, так насквозь пролило дождями — тоже не лучше. От воды сено загорелось. Дым над стогами стоял. Болотины у нас много — вот наше горюшко. Никакие машины на наши сенокосы не пройдут, а народу поубавилось. Пожни кустами заросли, мохом да кочками их затягивает. Всю свою жизнь деды и прадеды наши с лесом воевали, жгли новины, пни корчевали, пожни расчищали. А теперь лес опять в наступление пошел. И никакие бульдозеры нам не помогут. Как же быть-то? Смолкина ты, Смолкина,— мысленно обращалась Нюрка к Смолкиной.— Неужели ты сама этого ничего не испытала? Вот про бекон пишешь, а что это такое — я ведь даже не знаю, жир, что ли, свиной? Сало, значит? А какое у нас сало от свиней, когда на них только щетина растет! Да и ту мы под заход бросаем».

Постепенно рассказ прославленной свинарки о своей жизни и работе увлек Нюрку. Но все вычитанное ею в книжке казалось каким-то очень далеким от того, чем она сама ежедневно жила, все будто из сказки, ненастоящее, не-

взаправдашнее. «Неужели и я так могла́ бы написать? — спрашивала себя Нюрка и отвечала: — Нет, у нас все не так, все не как у людей. У всех дела идут хорошо, только у нас у одних плохо. Как же бы я могла про нас написать?»

И она стала вспоминать, как два-три года назад ее свиноферма тоже прослыла вдруг передовой в районе. Так это же что было? Срам!

В передовые ферма попала после того, как весной, при полном отсутствии кормов, свинарки использовали предложение маленькой Нюрки, только что назначенной тогда на эту работу, и добились резкого снижения падежа, а затем и вовсе его остановили. Правление колхоза и вышестоящее руководство были этим чрезвычайно удивлены. По всем расчетам и прогнозам в голодную для животноводства зиму две трети свиней должны были погибнуть от бескормицы, а погибло, вопреки намерениям, меньше одной трети. Как это ни странно, весенний падеж скота у нас совсем еще недавно тоже планировался и планы по падежу чаще всего перевыполнялись. На этот же раз на свиноферме произошло какое-то чудо, которым заинтересовался весь район. В колхоз посыпались телеграммы и письма, хлынули разные уполномоченные и газетные корреспонденты, в конторе правления то и дело раздавались телефонные звонки. Чудо надо было изучать и, в случае чего, обеспечить распространение передового опыта по всему району, а ежели поступят указания, то и по всей области, а новаторов колхозного производства выдвинуть, прославить и, по крайней мере, премировать.

Чудо действительно было. Маленькая бойкая Нюрка, не раз плакавшая от жалости к голодным поросятам и свиньям, заметила, что, выпущенные на прогулку, они грызут голую землю, жрут навоз, и предложила собирать свежие конские шарики, запаривать их и, чуть присыпая отрубями, скармливать свиньям.

Это свиное блюдо колхозники прозвали комбикормом. Под таким названием оно и функционировало в газетных заметках и статьях, пока публикацию их не прервал звонок из обкома партии: «Вы что, с ума сошли?»

Свиньи выжили. К Нюрке постучалась слава. Только Нюрка оказалась недостойной ее: она сама ее высмеяла, сама себя славы лишила.

Больше всего огорчился этим председатель колхоза Гаврила Романович Бороздин. Ему, как всем председателям, очень нужна была в колхозе хотя бы одна героиня. В районе

он не раз слышал наставления: «Какой же ты руководитель, если ни одной знаменитости не сумел вырастить? Колхоз должен иметь своих героев!»

Случай, когда Нюрке удалось сохранить поголовье свиней, был самым подходящим, оставалось только провести соответствующие организационные мероприятия — и героиня была бы налицо. Упускать такой случай было недопустимо. И Бороздин, казалось, сделал все, что мог, и линию свою вел правильно. Прежде всего он расхвалил Нюрку на общем собрании колхозников, поддержал ее творческую инициативу и передовой почин и подробно разъяснил колхозникам, в чем проявилась ее настоящая русская народная сметка. В зале, правда, немножко посмеялись, но председатель сделал вид, что смешков не заметил, не слышал.

Затем он вызвал Нюрку к себе в контору, в свой председательский кабинет. И вот тут-то она и показала себя с неподходящей стороны.

— Есть такое мнение, Нюра,— сказал Гаврила Романович, склонившись над письменным столом и скрестив свои коротконалые руки на массивном мраморном пресс-папье,— есть такое мнение, чтобы выдвинуть тебя. Для начала поставим мы тебя на должность заведующей нашей передовой колхозной свинофермой, дадим тебе, так сказать, зеленую улицу. А там все будет зависеть от тебя самой: окажешься на высоте, оправдаешь наше доверие — значит, дальше пойдешь.

Тоненькая Нюрка одернула юбчонку сзади, шмыгнула носом и села на стул напротив мохнатого толстого председателя, затем осмотрела его малиновый нос, полные щеки, заглянула в маленькие, заплывшие, поблескивающие глазки и ответила:

— А как я оправдаю ваше доверие, Гаврила Романович, коли свиней комбикормом пичкаем? Ведь передохнут все равно.

— Об этом не твоя забота,— заявил председатель.— Всем обеспечим и тебя, и твоих свиней. Главное, нам теперь не упустить счастливого случая и приковать внимание к свиноферме. А потом уж все будет.

— Не понимаю я вас чего-то, Гаврила Романович. Свиньи-то ведь голодают.

— Голодали!— поправил ее председатель.— Больше голодать не будут.

— А что вы сделаете?

— Я тебе говорю: все сделать можем!

— Так давайте корма. У нас свиноматки и те на голодном пайке.

— Вот ты и дашь им корма. Да и весна уже на носу.

— Где я им корма возьму?

— Это опять не твоя забота, говорю тебе.

Бороздин не горячился, гудел спокойно, басовито, как мохнатый шмель, а Нюрка, будто пчелка перед ним, тоненькая, с перехватом, и голосок ее нет-нет-да и сорвется на высокие тона, зазвенит знобко, с угрозой.

— Что вы надо мной шутки шуткуете? Будут корма или с комбикормом в передовых будем ходить?

— Все будет, я тебе говорю, как только станешь заведующей, все условия создадим.— Бороздин приподнял мраморное пресс-папье и твердо со стуком опустил его на стол, словно большую точку поставил.— Сейчас дам тебе бумагу в зубы, сядешь на подводу — и в район. Пойми меня, Нюра, как руководителя,— мне ничего нельзя уже просить в районе, я много уже брал, а тебе можно. Тебе не откажут, про тебя хорошо в газетах написали, тебя похвалили, тебя и должны теперь поддержать. А характер у тебя есть. Только ты пойми меня, Нюра, правильно. В районе передовых людей недостаток, новых выдвигать надо. Тебя обязательно поддержат. Тебя воспитывать будут, с тобой работать начнут, а ты им про свиней про наших, пойми ты это. Все дадут! Героиней будешь!

Гаврила Романович Бороздин был человек свой, не городской, и потому, выкладывая перед Нюркой начистоту свой план, не считал нужным как-то дипломатничать с нею, да, собственно, и не умел этого делать. Хитрости его были доморощенные, понятные.

— Все тебе обеспечим,— гудел он.— На совещания передовиков будешь ездить, выступать начнешь. И колхозу польза: все на виду будем.

Нюрка не сразу разобралась, какой путь к славе он предлагал ей, а когда разобралась — обиделась.

— Зачем на совещания?— осторожно начала дознаваться она.

— Опытом своим делиться.

— Я говорить не умею.

— Мы тебе все напишем, только читай.

— Значит, вместе будем ездить?

— Конечно, вместе, ты ничего не бойся.

— И про комбикорм наш расскажем?

— Ты что это?— насторожился председатель.

— Вместе будем очки втирать, да?..— Голосок у пчелки зазвенел еще выше, еще звончей и со злобой:— Свиней кормить надо, а вы меня заведующей хотите поставить. Аль думаете, одним начальником будет больше, так свиньи дохнуть перестанут? Мало еще у нас всяких заведующих? Набьют кожаные голенища разными бумагами и слоняются от фермы к ферме, ручки в брючки да по совещаниям ездят, опытом делятся. Колхозная интеллигенция!..

У Бороздина глаза расширились от удивления, и вместо инициативного огонька в них появился гнев:

— Ты где находишься, оглашенная?— зашипел он, стукнув тяжелым пресс-папье по столу.— Ты с кем разговариваешь?

Но Нюрку уже остановить было трудно. Молодая, безрассудная, она еще не хлебала горького досыта, еще не знала, что такое страх. От возмущения она раскраснелась, как на морозе, и стала даже интересной, красивой: всю бы жизнь ей возмущаться да гневаться!

— Неправду я говорю, что ли? Хоть кто-нибудь из начальников работает на свой колхоз? Только учитывают, да подсчитывают, да насчитывают. Разве этого от нас требуют? Почему они спиваются? Потому что дела настоящего нет. Почему воруют? Потому что на водку деньги нужны. На честные деньги не сопьешься!

Гаврила Романович взял себя в руки, кричать не стал, но Нюрку все же остановить сумел.

— Так-то ты оправдываешь доверие?— сказал он строго и внушительно.— Ненадежный ты элемент. Иди работай и не занимайся демагогией!— приказал он под конец и на этом оборвал разговор.

Так и не стала Нюра заведующей свинофермой. И писать в газете о свиноферме скоро перестали.

«А может, я сама во всем виновата?— думала теперь Нюрка, читая смолкинскую брошюру.— Все-таки ведь председатель-то хотел, чтобы свиноферма передовой сделалась. Ведь ему тоже не легко, наверно!..»

И героиней Нюрка не стала. Опять, может, во всем сама виновата? А вдруг стала бы она героиней — посмотрела бы мама, фу-ты, ну-ты, ой здорово! Хоть бы для мамы!..

А Смолкина вот и героиней, наверно, станет! А что говорили про нее разное, так мало ли чего у нас не наговорят! Будто бы и подслащивали ей, и приписывали чужие успехи. Народ у нас всякий: могут намолоть с три короба, только слушай знай.

Чем больше Нюрке встречалось в смолкинской книжке непонятного, чем больше было там ученых слов, тем с большей почтительностью думала она о Смолкиной, о своей знатной напарнице, тем с большей завистью повторяла: «Неужели я не смогла бы?»

Мать ворочалась на печи, спрашивала:

— Скоро угомонишься, полуношница?

— Не угомонюсь я, мамочка, спи! Ты-то чего не спишь?

— Когда она приезжает?

— Ничего не знаю, председатель не сказал, только велел подготовиться. Спи, мама!

— Что я, не человек, что ли? Спи да спи! Я ведь тоже думаю.

— Ладно, мама!

— Чего ладно-то? Ты вон керосину добавь в лампу, совсем затухает, сожжешь ленту, тогда с чем будем сидеть? Керосин за суденкой, в бутылке.

Нюрка нашла бутылку, вывернула горелку, не гася огня, и налила в лампу керосину. В избе стало светлее, а запах керосина донесся даже до Катерины Егоровны. Она поднялась, свесила ноги с печи, но слезать не захотела.

— Приготовиться, значит, велел. А как это — приготовиться?— снова заговорила мать.

Нюрка закрыла книжку:

— Корму всякого обещал отпустить. Где он только возьмет его, не знаю!..

— Он найдет, когда до зарезу надо. Уже корма развозят, я слышала. И на скотный двор увезли воз сена, от лошадей взяли.

— Надо же!— удивилась Нюрка.— Вот книжку еще велел изучить да почистить все, порядочек навести...

— Ты как с ней будешь разговаривать?— поинтересовалась Катерина Егоровна.— Всю правду выложишь или подсластишь, скроешь кое-чего?

— От нее разве что скроешь?— убежденно ответила дочь.— А уж разговаривать и не знаю как. И правду бы надо выложить, чтобы на пользу пошло, и боюсь, чтобы не навредить кому. Худой-то славы тоже ведь распускать неохота. Вражина я, что ли, какая!

— Худая слава — она худая и есть,— подтвердила мать.— Это верно! А скроешь — тоже пользы не будет. Правда — она всегда лучше кривды.

— А помнишь, ты, мама, говорила мне: не плюй против ветра?

Катерина Егоровна чуть смутилась:

— Помню, как не помнить. Так ведь это когда ветер в лицо. А если ветер попутный — ничего не бойся.

— Сейчас попутный?

— Правда, дочка, всегда лучше кривды. Ржа ест железо, лжа — душу.

— Ладно, мама, давай спать.

— Я, что ли, тебе мешаю? Спи, давай, ложись.

Нюрка повесила лампу над столом и потушила ее, дунув сверху в стекло.

* * *

Председатель колхоза Бороздин по телефонному звонку из района выслал навстречу Смолкиной грузовик, чтобы, не дай бог, не застряла ее легковушка где-нибудь в снежной мякоти на волоку, и с утра вся деревня ждала, что вот-вот завиднеется в поле на росстанях какая-нибудь районная «Победа» на прицепе у колхозного грузовика. Но до вечера никого не было, и грузовик все это время торчал на пути, как на посту, километрах в шести от деревни. А к вечеру на росстанях перед деревней показался целый поезд из четырех автомобилей: впереди шел новенький ГАЗ-69, за ним две «Победы» — синяя и ядовито-зеленая, а затем уже грузовик, будто толкач-паровоз, чадил, громыхая кузовом и почтительно притормаживая в нужных местах. Три легковых сразу — такого в колхозе, кажется, никогда еще не бывало, и яркие «Победы» на снежном поле производили такое впечатление, как если бы в зимнем небе вдруг засверкала радуга.

— Вот так делегация! Тебя бы, Нюрка, этак взамуж выдавать! Свадьба, да и только.

— Куда ей, выскочке!

— Какая я тебе выскочка?

— На какой же она машине сидит?

— Кто она?

— Сама-то?

— На всех на трех.

— Будто министра какого везут.

— Ну что ж такого, у нас не часто гости бывают.

Когда легковые автомашины проходили по деревенской улице, старые, перекосившиеся и наполовину занесенные снегом баньки казались особенно неприглядными и нелепыми. Грузовик пронесся по берегу реки и скрылся за пере-

крестком улиц, а легковушки остановились у конторы правления.

Бороздин, запыхавшийся и раскрасневшийся — не так от морозца, как от волнения, испуганно перебегал от машины к машине, не зная, какую дверь сначала открыть и кому важнее оказать больше чести: гостья гостьей, но ведь районные работники райкома и райисполкома — тоже гости, да еще и хозяева к тому же!

Инструктор райкома Торгованов, молодцеватый, с залысинами на лбу, заметными даже из-под шапки, первый выскочил из «газика» и распахнул правую переднюю дверь ядовито-зеленой «Победы».

— Приехали, Елена Ивановна! — крикнул он на всю улицу, как будто Елена Ивановна сама могла не видеть, что приехали и что надо выходить.

У конторы собрались все, кого приглашал Бороздин, и ждали, что будет дальше, что им делать и что говорить. Были тут работники бухгалтерии, бригадиры из всех отделений колхоза, кладовщик, агроном, зоотехник, одна учительница и все три свинарки во главе с Нюркой...

Смолкина вышла из машины и сказала громко и приветливо только одно слово:

— Здравствуйте!

И все как бы облегченно вздохнули в ответ ей:

— Здравствуйте!

Бороздин, весь красный от напряжения, подкатился к ней и пожал ее руку:

— Здравствуйте, Елена Ивановна. Пожалуйте, Елена Ивановна!

— Это председатель колхоза «Восход зари» Бороздин! — назвал его инструктор райкома партии.

— Бороздин Гавриил Романович! — отрекомендовался и сам председатель.

Захлопали дверцы машин, из них стали выходить люди в теплых зимних пальто, в шапках-ушанках. Одна Смолкина была в шляпке. Но шуба на ней тоже была теплая, зимняя, с шалевым меховым воротником и с меховой оторочкой по подолу и рукавам.

— Пожалуйте в нашу контору, Елена Ивановна. Ждем вас, можно сказать, не дождемся.

Смолкина пошла вперед, поднялась по ступенькам на крытое крыльцо и скрылась в сенях. За нею направились все прибывшие из района и председатель.

Кроме лысоватого инструктора райкома партии Торго-

ванова среди прибывших был агроном из райисполкома, робко державшийся в стороне, ни во что никогда не вмешивающийся; горбатенькая женщина, заведующая райпарткабинетом, увязавшаяся за Смолкиной главным образом затем, чтобы навестить в колхозе «Восход зари» своих дальних родственников; паренек из райкома комсомола, пытливо примечающий все, и особенно, как ведет себя инструктор райкома партии, и приобщающийся через него к большой жизни.

Выделялся же из всех, вернее, выделял себя из всех, корреспондент, он же фотограф районной газеты «Дубовиковская правда» Сёмкин, мальчишка, которому казалось, что на земле существует только он один или, по крайней мере, он — главный, вследствие чего он всюду подавал свой голос, неизменно лез вперед и во что бы то ни стало, при всех обстоятельствах старался играть руководящую роль. Инструктор райкома партии Торгованов вынужден был следить за ним не меньше, чем за Смолкиной, чтобы все было правильно, постоянно обрывал его, одергивал, ставил на свое место, держал при себе.

Колхозники расступились перед гостями, затем, замкнув кольцо, двинулись вслед за процессией в избу.

Семкин, опередив всех, взлетел на крыльцо и успел несколько раз щелкнуть фотоаппаратом.

На крыльце Торгованов прошипел Бороздину:

— Хлеб-соль надо было приготовить. Что ж ты?

— Я думал, хлеб-соль — только для иностранцев, а она ведь наша,— ответил Гаврила Романович.— Кабы я знал... предупредить надо было.

Переступив порог конторы, Смолкина быстро осмотрела помещение. В первой комнате она увидела два письменных стола, стулья и табуретки в простенках между окон, радиоприемник в углу, старинный деревянный висячий телефон, похожий на скворечник, ленту обоев, на обратной стороне которой было напечатано во всю переднюю стену: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!» (ее напечатал по срочному заданию Бороздина все тот же сын Лампии, Колька), множество ярко раскрашенных плакатов с дородными, хорошо откормленными свиньями самых разных пород — и в стойлах, и на выгоне, и поодиночке, и попарно, и целыми стадами (плакаты эти были присланы на днях из отдела райисполкома с предписанием немедленно развесить их по всему колхозу на видных местах).

— Пожалуйте, Елена Ивановна, в мой кабинет, можно

сказать, в председательский! — Бороздин почтительно распахнул перед нею дверь следующей комнаты. Смолкина сделала движение, что хочет раздеться. — Пожалуйте, пожалуйте! Там разденетесь, — настойчиво повторил Бороздин.

— Разденемся в кабинете! — сказал корреспондент Семкин и первый ринулся вперед.

Смолкина прошла в кабинет, за нею все прибывшие и председатель. Дверь закрылась. Приглашенные на встречу с гостьей колхозные служащие и члены правления, все одетые по-зимнему, остались топтаться в первой общей комнате наедине с собой. Разговаривали вполголоса. Кто-то восхищенно зашептал:

— Гаврило-то наш, как научился, видали? Что тебе директор театра или министр какой: «Пожалуйте да пожалуйте!» Молодец мужик.

— Да, нахватался образования.

Потом — о другом:

— Три машины, вот как! Кто это с ней приехал?

— Разные, наши все, районные.

— Век живи, а всех своих районных начальников так и не распознаешь.

Лампия толкнула Нюрку в бок, горячо зашептала в ухо:

— Шубу-то разглядела? Кругом мех.

— Разглядела, — ответила Нюрка. — Трудодни-то небось не такие, как у нас, вот и мех кругом.

— А к свиньям тоже в шубе ходит? Али в ватнике?

— В белом халате.

— Она докторша, чи що?

— Профессорша.

— Ладно тебе, — обиделась Лампия, а немного помолчав, начала спрашивать снова:

— Шляпку-то видела?

— Видела. С вуалькой.

— С какой вуалькой?

— С сеткой.

— Сетка эта — мужиков ловить.

— Болтай больше! — сказала Нюрка.

— А чего болтать? И как только у нее уши не мерзнут под таким ведерком?

— В машине тепло, она в машинах ездит.

Лампия вздохнула.

— Вот это жизнь, бабы! — с завистью зашептала Пелагея. — Мне бы так устроиться.

— Спи больше, устроишься.

В комнате образовались группы по два, по три человека, разговоры возникали самые разные, то шепотом, то вполголоса. Кто-то спросил:

— Чего делать-то будем? Чего ждем?

Ему ответили:

— Раз позвали — значит, надо. Подождем.

— Нам торопиться некуда, чего-нибудь дождемся.

— А угощенье будет?

— Не без этого. Бороздин, наверно, уже водку разливает. Сейчас и тебе вынесет.

— Мне много не надо. И мало не приму.

— Помалу он не наливает, придется пить.

— А вправду, чего они там делают?

— Кто их знает. Наверно, ей хлеб-соль подносят, а может, сговариваются, чтобы все было на уровне. Только угощенье будет не здесь. На вечер ужин готовят.

— Нас-то позовут?

— А не позовут, так из колхоза выйдешь?

Пелагея наклонилась к Нюрке и к Лампии, спросила:

— Слышали, вечером угощенье будет?

Нюрка засмеялась:

— Доклад будет, а не угощенье.

Засмеялась и Евлампия:

— Вытри нос лучше!

Нюрка повторила:

— Для кого угощенье, а для тебя, Палага, доклад да выволочка.

Палага фыркнула:

— Тебя позовут, выскочка.

Так стояли, сидели и переговаривались довольно долго. Наконец дверь из председательского кабинета открылась. Первая вышла оттуда Смолкина — она была раздета, но в шляпке; за нею председатель и кое-кто из районных, но не все. Часть гостей задержалась в дверях, на пороге. Все остановились, словно ожидая, что сейчас скажет Елена Ивановна. А она действительно собиралась, видимо, что-то сказать — это было заметно, но пока раздумывала, с чего начать.

Нюрка, Евлампия, Пелагея уставились на нее во все глаза, рассматривали пытливо и в общем доброжелательно, не пропуская ни единой мелочи. Сейчас, когда Смолкина сняла пальто, ее можно было разглядеть всю, с головы до ног.

Елена Смолкина оказалась гораздо старше той, какая была на портрете, и даже сходство между этими двумя Смолкиными Нюрка обнаружить не смогла. Прежде всего,

живая Смолкина была рыжая, а не черная, как в книжке, и не круглолицая, а сухощавая — какие уж та́м ямочки на щеках! И, конечно, на носу не оказалось никакой шадринки: на таком хрящеватом, сухом и сильно заостренном носу, как у нее, шадринке даже и уместиться-то негде. Все это показалось Нюрке очень странным, потому что она думала о Смолкиной как о молодой девушке, о своей сверстнице. Далее: на портрете Смолкина была в платочке, как всякая обыкновенная деревенская женщина, а на живой на ней красовалась шляпка. Ну и что ж такое, что шляпка? Ну и пускай, шляпка так шляпка! Правда, Нюрка ни разу еще в жизни не встречала напарниц в шляпках, но это, конечно, только ее, Нюркина, отсталость, и ничего больше. А вот зачем она, Смолкина, не снимает свою шляпку? Пальто сняла, а шляпку не сняла. Так полагается, что ли? Ну ладно, не сняла так не сняла. Не в шляпке суть дела. Пускай и спит в шляпке, если так положено, хотя в хороших домах гости должны снимать свои шапки. Странно другое: почему это Смолкина по всему своему виду — и по лицу, и по одёже, особенно по одёже, не походит ни на деревенскую, ни на городскую женщину? Острые глаза бойкой Нюрки и ее подруг немедленно отметили все особенности костюма знатной гостьи, а женские язычки успели даже сделать и кое-какие замечания по нему.

На Смолкиной каждая вещь в отдельности была хорошей: шляпка фетровая, с черной сеточкой-вуалькой спереди и сзади, костюм из нетолстой серой шерсти, кофточка какая-то модная полупрозрачная, нейлоновая, что ли, и туфли — ничего, не плохие, хоть и не на «шпильках», но на каблуках вполне женских, не солдатских... По отдельности — хорошие вещи! А все вместе они как-то не увязывались, не согласовывались друг с другом ни в цвете, ни в фасоне, вещь к вещи не подходила. И к ней, к Смолкиной, ничего не подходило, то, что называется — к лицу не шло.

Костюм на ней не сидел, а висел. Сквозь нейлоновую кофточку просвечивала фиолетовая не то комбинация, не то простая трикотажная майка. Вуалетка на шляпке не вязалась с учрежденческой строгостью пиджака и знаками отличия на нем. В общем, создавалось впечатление, что одежда Смолкиной приобреталась в разное время и по частям, в ларьках, распродающих уцененные товары. Особенно не к месту были сережки — замысловатые, позолоченные, со сверкающими стекляшками на фольге, броские, как мишурные украшения. Нейлон и мишура! — действительно ни к селу

ни к городу. Потому и сама Смолкина казалась ни городской, ни деревенской.

— Выставка достижений! — шепнула Нюрка на ухо Лампии, пока Смолкина раздумывала, с чего ей начать разговор.

— Нам в этакое не нарядиться, — прошептала в свою очередь Евлампия.

— Когда надо будет, и нас нарядят.

— А чего она ведерко свое не снимает?

— Это тебе не полушалок.

— И губы не накрашены.

— Надо же!.. — иронически отозвалась на это Нюрка, но тут же одернула себя и подругу: — Ладно тебе, остановись.

Смолкина смотрела на народ долго и нерешительно, наконец нашлась что сказать и улыбнулась:

— Вот приехала к вам. Надо поразговаривать.

— Милости просим! — ответил кто-то из стоявших в избе.

— Поразговаривать можно.

Больше никто ничего не сказал, и Смолкина повернулась к Бороздину:

— Покажите мне заведующего свинофермой; он ведь здесь где-нибудь?

Бороздин вежливо ткнул пальцем в сторону Нюрки:

— Вот она, Елена Ивановна. Нюрка, подойди!

Польщенная Нюрка зарделась от смущения, робко шагнула к Смолкиной, первая протянула ей руку:

— Здравствуйте, Елена Ивановна! Только я не заведующая.

— Здравствуй! А кто же заведующая?

— Свиньи есть, а заведующей нет.

— Как же так? — растерялась Смолкина.

На выручку ей подоспел Бороздин. Он заговорил быстро, словно спешил предупредить возможные возражения:

— Все есть, Елена Ивановна, все как положено. Только Нюрка не хочет называться заведующей, молода еще, горяча, а так все в порядке. С работой своей она справляется, даже в районной газете хвалили, все в порядке.

— Скромность — дело хорошее! — сказала Елена Ивановна.

— А это мои напарницы, — показала ей Нюрка на своих подруг. — Это вот Лампия. Евлампия Трехпалая, — поправилась она. — А это Пелагея.

— Трехпалая? — переспросила Смолкина. — Ну хорошо, значит, вас трое. А дела как идут?

— Дела как? — переспросила Нюрка. И, впадая в тон недавно прочитанной смолкинской брошюры, ответила: — Трудности у нас есть. Много трудностей.

Смолкина посмотрела на нее внимательней, обернулась на Бороздина, на инструктора райкома и сказала раздумчиво:

— Трудности, да... Трудности, они у всех есть. Разные... Это трудности роста. Их преодолевать надо. — Потом спросила: — А работаете как? Дружно?

— Всяко бывает. Не так, чтобы так, и не этак, чтобы этак... Случается, что и грыземся, как собаки.

Евлампия коротко поправила Нюрку:

— Как свиньи, грыземся.

В толпе захихикали. Бороздин вмешался:

— Не верьте ей, Елена Ивановна, у нее такой характер. Дружно работают! Контакт есть! Ничего работают!

— У кого такой характер, у которой? — спросила Смолкина, глядя на Нюрку.

— У нее характер, у Евлампии, у Трехпалой у этой, — ответил Бороздин.

— И у меня такой же! — сказала Нюрка.

Смолкина опять посмотрела на обеих, подумала и посоветовала:

— Работать надо дружно. От дружной работы все идет. — И добавила: — Ну, мы с вами еще поговорим. И собрание проведем. — Она вернулась в кабинет председателя.

Нюрке в этот миг она показалась очень усталой. Нюрка даже пожалела ее, и потому, наверно, в душе ее сразу пропала к Смолкиной всякая зависть. «Ну что ж, поговорим потом. Поговорим так поговорим! — сказала она про себя. — Обязательно поговорим, как же без этого?» И тут же решила, что выскажет Елене Ивановне все, что наболело у нее на душе, всю правду про свиноферму, про то, что никакого к ней в колхозе нет интереса, и про то, за какое такое новаторство считали ферму примерной в районе, и как Бороздин хотел ее, Нюрку, двинуть вперед, в знатные, и почему из нее героини не вышло и не выходит. А свиней ей просто жалко, потому что они живые. А то бросила бы она давно всю эту работу, все равно платы никакой, и когда что заплатят, никто не знает. Лампия работает тоже без охоты, только от злости, потому что все равно платы никакой, а не работать в колхозе нельзя. А Палага работает, потому что ей все равно, где спать: она ходит нога за ногу и спит на ходу. И никому до свиней дела нет, потому что колхозу от них ни холодно,

ни жарко, ни сала, ни щетины никому не достается, одни убытки, никому никакого интереса. А Бороздин думает только об одном, чтобы под суд не попасть да чтобы всем вовремя глаза чем-нибудь замазать. От него требуют правды, а колхоз наш отстающий, захудалый, потому Бороздин правды боится, боится, чтобы не посчитали его плохим руководителем; ему только бы все планы выполнить, а до того, как люди живут, ему и дела нет. Кроме как на планы, у него сил не хватает. А если планы все-таки не выполняются, тогда он от страха за свой пост начинает хитрить, скупать мясо у колхозников и сдавать его государству будто колхозное. А цены все разные, все по шкале, и колхозу от выполнения планов опять убыток, двойной убыток, тройной убыток. Куриное яйцо Бороздин тоже покупает на стороне да в городских магазинах, чтобы план выполнить. Купит яйцо, сдаст его в магазин, и опять купит то же яйцо, и опять сдаст. И с маслом так же. Потому что колхоз отстает, а планы есть планы, и закон есть закон. Убытки все списываются на колхоз. Богатый колхоз выполнит планы и работает на себя. А наш работает только на планы. Но раз планы выполнены, то и Бороздин хорош для начальства и в отчетах его хвалят: вот настоящий руководитель, даже не ахти какой колхоз, а при умелом руководстве все планы выполняет! Начальству нашему план дороже всего, потому что у начальства есть свой план сверху, который район должен выполнить. Над нашим начальством тоже ведь есть начальство. И Бороздин стоит на своем месте, пока план выполняется, пока его начальство хвалит. Что о нем народ говорит — это дело десятое. Хулителей и поприжать можно, да и не для всех он плох. Есть кому и слово о нем замолвить в случае чего. Его только бы раз сверху похвалили, а остальное он сам сделает, кое-кому и язык прищемит, если нужно будет. Правда, конечно, всегда одолеет кривду, но пока она доберется до главных верхов, Бороздин на пенсию выйдет, либо на другое место переведется. Он теперь ответственный, он руководитель, он кадра, а кадры беречь надо... Конечно, Нюрка, может, в чем-то и ошибается, что-то и неверно понимает, она еще молода, горяча («А будто и вправду я не горяча да не молода!» — думает про себя Нюрка), только ведь у нее душа болит за все, и как можно ей промолчать, если случай такой выпал с этой Смолкиной.

Нет уж, извини-подвинься, Нюрка все теперь выложит, все, что наболело, выскажет, всю душу свою выплеснет. А там будь что будет! Только бы за правду постоять, толь-

ко бы людям легче жить стало, только бы польза от того была.

Нюрка хотела пользы своему колхозу, своим односельчанам. Она никогда не говорила вслух и даже мысленно, что хочет быть полезной народу, она боялась громких слов. Тем более она не смогла бы ниnочем сказать, что ей хочется послужить партии, помочь партии в наведении порядка на земле, в колхозных делах. Но это для нее само собой разумелось: колхозная правда, хорошая обеспеченная жизнь для людей и большая правда партии — это были понятия одного ряда, Нюрка всей душой верила в это. Только почему-то казалось ей, что это большое, светлое было где-то очень далеко отсюда, далеко от ее дома, от ее улицы, от свинофермы, от ее ежедневных, вероятно, мелких обид и горестей, от всего, что заполняло, забивало ее жизнь час за часом, с утра до ночи, год за годом. Это большое, чистое, без ругани, без лжи было где-то далеко, там, в Москве («Боже мой, какая же она все-таки эта Москва, хоть бы раз побывать в ней!»), а здесь рядом — свиноферма, Бороздин, комбикорм и постоянный страх, что зазеваешься и тебя свиньи съедят. Отчего же это получается так неладно? Наверно, оттого, что поучилась она маловато, и читать она ничего не читает, и радио не слушает — есть один батарейный приемничек в конторе, и то без батарей! — и в кино бывает редко — вот уже второй год показывают «Чапаева» да «Богатую невесту», и вообще кругозор у нее — ох, узок! Узок, и никуда от него не денешься. И как его расширять, Нюрка не знает. И душа у нее болит. Да разве у нее у одной, разве у Лампии душа не болит? У Палаги вот ничего не болит, она на все рукой махнула. А разве у мамы, у Катерины Егоровны, душа не болит за колхозную жизнь? Как же тут утерпеть, не высказать все этакому известному и почетному человеку, как Елена Ивановна Смолкина? Нет уж, будь что будет. Пускай уж и сор из избы летит, может, чище в избе станет. Да и не такой человек Смолкина, чтобы не разобраться, кто чего хочет — кто добра, а кто корысти. Эх, дойти бы до самой Москвы, как раньше ходоки до Ленина добирались.

В кабинете председателя было решено провести Смолкину до начала общего собрания по колхозной улице, по берегу реки, показать ей школу, клуб, а ежели к сроку подвезут фильм, то и картину прокрутить.

Смолкина согласилась и, выбравшись из конторы на ули-

цу, привычно направилась к автомашине. Но ее остановил инструктор райкома:

— Пешком пройдемся, Елена Ивановна, тут недалеко.

— Пешком так пешком! — сказала она.

И они пошли пешком.

Когда Смолкина спускалась с крыльца, Бороздин подоспел сзади и поддержал ее за локоть:

— Осторожно, Елена Ивановна, скользко. Зимой ступеньки завсегда во льду.

Нюрка, увидев это, опять поразилась:

— Смотри ты какой стал. Надо же!

Из конторы следом за Смолкиной и ее свитой вышел на улицу весь колхозный актив, но люди быстро рассеялись по разным концам деревни. Дольше других держалась вблизи гостей Палага. Бороздин осадил ее:

— Ты чего лезешь? Чего лебезишь? Иди по своим делам. Да собрания не прозевай.

Палага на замечание председателя не обиделась, отстала, даже слова не сказав.

— Ну, куда пойдем? — спросил инструктор райкома, обращаясь к Смолкиной.

— Надо будет осмотреть весь колхоз, — заявил корреспондент Семкин. — Пройдемся сначала по главной улице.

— Куда пойдем, Елена Ивановна? — повторил свой вопрос Торгованов.

— Мне все равно, — ответила Смолкина. — По главной так по главной. Пойдемте по главной.

— Потом посетим школу, — продолжал разрабатывать свой план Семкин. — Школу обязательно навестить надо. Потом заглянем на свиноферму. Потом...

— Товарищ Семкин! — прервал его Торгованов. — Зайди вперед и сфотографируй Елену Ивановну на фоне.

— Я хочу всю делегацию.

— Валяй всю.

Смолкину поразили бани, торчавшие на скате к реке вдоль всей деревни. Наполовину занесенные снегом, они напоминали фронтовые блиндажи, притаившиеся в мертвой для артиллерии противника зоне.

— Черные, конечно?.. — спросила она.

Бороздин переглянулся с Торговановым и ответил:

— К сожалению, черные. Привычка, знаете, ничего не поделаешь.

— А черные, они лучше, жар вольнее, — сказала Смолкина. — У нас в семье тоже такая банька была, а сейчас

переделать заставили. Говорят, вам нельзя отставать, вы передовая, узнает кто-нибудь...

— Дух, это уж точно, вольный,— подтвердил Бороздин.— Особенно хорошо для тех, кто попариться любит, с веничком. Как вы к этому относитесь, Елена Ивановна?

— Можно мне заглянуть в одну баньку?

Бороздин опять пытливо посмотрел на Торгованова.

— Да почему же нельзя? — поспешил согласиться инструктор райкома.— Для вас все можно, Елена Ивановна.

Бороздин оживился:

— Милости просим, Елена Ивановна. Вы же не иностранка какая-нибудь. Для вас все можно. Если захотите, мы даже истопить одну прикажем, с веничком побалуетесь.

Бороздин и паренек из райкома комсомола ногами в валенках разгребли снег перед входом в предбанник и в самом предбаннике, куда снег намело через щели в крыше и в дощатых стенках, и открыли низкую перекосившуюся дверь. Из полумрака пахнуло сыростью, плесенью, как из подполья, в котором гниет картошка. Должно быть, банька давно не затапливалась. Верх печки-каменки наполовину осыпался, две шайки, стоявшие на полу, рассохлись, обручи на них опустились. Все было черно от сажи — стены, потолок, полок, на котором парятся, жердочки, на которых развешивают одежду и белье, даже скоба дверная. Ни к чему нельзя было прикоснуться, все пачкало.

— Осторожно, окрашено! — сказал Семкин.

А Смолкиной банька понравилась. Она умилялась всему — и рассохшимся шайкам, и потрескавшимся от жара булыжникам, образующим свод каменки, и маленькому низкому окошечку, сквозь которое был виден только снег.

— Вот такая же банька и у нас стояла,— радовалась она своим воспоминаниям.— Бывало, охапку дров сожжешь, а воды горячей и пару на пятерых хватает. Воду-то мы камнями кипятили: как только покраснеют — мы их и кидаем вилошечками в кадушку с водой. Вода брызжется и шипит, и визжит, пар под потолком облаками ходит.

Бороздину, видимо, черные бани тоже нравились, он улыбался, поддакивал, крякал, словно готовился попариться. А Смолкина вспомнила, как в дальнем глухом селе ей пришлось мыться в печке:

— Поначалу было страшно, но все моются в печке, что, думаю, за дело. Дай попробую. Колхоз выстроил не одну большую баню, с парилками, как в городах, а люди все лезут в печь! Печи там широкие, как овины, утром в такой печке

хлеб испекут, обед сварят, а вечером постелют соломки по всему поду, поставят шаечку с кипятком за загнетку, заберется человек, будто в преисподнюю, сядет там,— ну, конечно, рослому приходится голову пригибать,— и хлещет себя, старается. Мыльная вода с шестка стекает в таз. Вылезет человек, весь красный, раскаленный, будто крапивой обожжен, да — па улицу, зимой прямо в снег, а летом в реку либо из ведра колодезной ледяной водичкой окатится,— стоит, как в заре весь. И стыда там лишнего нет — здоровому человеку, говорят, чего стыдиться? Приехала я туда — как, думаю, не попробовать, не вымыться в печке? Забралась и — ничего, вольный дух. Понравилось мне. Но, конечно, черная банька все-таки обстоятельней будет, удобств больше.

Корреспондент Семкин записывал в блокнот все, что говорила Смолкина о черной бане, о русской печке, записывал и то и дело потирал лоб, который разбил, не пригнувшись достаточно низко при входе в баню. Записывал и восторгался:

— Это у меня обязательно пройдет, это же целый очерк, литературно-художественное произведение. Очень хорошо, Елена Ивановна, продолжайте.

— Ничего у тебя не пройдет,— строго сказал ему Торгованов.— Про черные бани писать нельзя и про печь писать нельзя. Думать надо, о чем писать хочешь. И не вздумай фотографировать!

— А мне нравится!— опять и чуть капризно заявила Смолкина.— О банях хорошо бы написать.

Ей определенно начинал нравиться и сам горячий безрассудный мальчишка из газеты с его блокнотом и фотоаппаратом. Смолкина любила фотографироваться и любила, когда про нее писали что-нибудь в газетах. А нельзя же писать все про свиней да про свиней, разве не забавно будет, если и про бани напишут?

— Пускай напишет!— разрешила она.— Вот только красоту ваши баньки портят, это уж как есть.

Сказав это, она вышла из бани и показала рукой вдоль берега:

— Вон что ведь получается — стоят избы, а перед избами все одни бани. Перенести надо бани на новые места, вот что я вам посоветовала бы,— обратилась она к Бороздину.— Взять и перенести все до одной на задворки. На задах они были бы на своем месте.

Бороздин посмотрел, как будет реагировать на это предложение инструктор райкома партии.

— Гениально! — решительно заявил Торгованов. — Я вас поддерживаю, Елена Ивановна. Просто и мудро: взять все бани и перевезти на новые места.

Тогда сказал свое слово и Бороздин.

— А что? Действительно мудрое решение вопроса. Правда, бани немножко сгнили, но это ничего не значит, перевезем их. Спасибо вам, Елена Ивановна, за указание.

Семкин так и взвился весь, торжествуя, что нашел наконец материал для газеты, достойный его пера. Он начал быстро щелкать фотоаппаратом, запечатлевая Е. И. Смолкину на новом фоне.

— Вот сейчас снимай! — поддержал его наконец Торгованов. — И напишешь так: «Черные древние баньки, которые по предложению товарища Смолкиной убираются с берега на задворки». Ты понял меня?.. «Открывается пейзаж новой деревни. Все колхозники благодарят Елену Ивановну за инициативу».

Смолкина охотно позировала на фоне старой черной бани.

В школе, куда вслед за этим привели гостью, Смолкина осмотрела черную классную доску с оставшимися на ней от уроков арифметическими вычислениями, стенную газету с вырезками из журналов вместо рисунков — и здесь, наверно, работал Колька, сынок Евлампии, — прочитала лозунги относительно увеличения производства молока, масла и мяса.

Уроки в школе закончились, но группа ребятишек еще занималась в классе какими-то своими делами. За широким учительским столом мальчишка лет тринадцати печатными буквами вычерчивал на бумажной полосе плакат: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!» Слова эти были уже написаны карандашом, сейчас он обводил их химическими чернилами и оттенял красной акварельной краской. Для чернил у него вместо кисти была приспособлена хорошо выстроганная деревянная лопаточка, расщепленная на конце, как щетка, а для акварели — кисть из беличьего хвоста, тоже самодельная. Язык у мальчишки послушно переходил во рту с одной стороны на другую, выпячивая щеки поочередно: работа была любимая, увлекательная.

Смолкина прочитала плакат вслух, сделав вид, что не поняла, к кому относятся эти слова. Потом спросила, обращаясь к школьнику:

— Как тебя зовут?

— Николай! — ответил мальчик, внимательно вгляды-

ваясь в незнакомую женщину. Увлеченный работой, он не сразу догадался, что в класс пришла сама Елена Ивановна Смолкина.

— Это нашей свинарки сын, Колька,— сказал Бороздин Смолкиной.— Он у нас все украшает, картинки развешивает по колхозу, лозунги пишет.

— Я только на свинарнике, для мамы,— засмущался Колька, приняв слова председателя за похвалу.

— Для мамы, для мамы,— ворчливо передразнил его Бороздин.— А почему опоздал? Приехала уже Елена Ивановна, вот она!

— У нас контрольная была, не мог я раньше. Только после уроков. Один такой лозунг уже висит в конторе.

— Ты хоть поздоровайся. Поздоровайтесь, ребята!— приказал Бороздин школьникам.— Это наша гостья, знаменитая товарищ Смолкина, передовой животновод.

Ребята хором поздоровались.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, товарищи!— поздоровалась с ними Смолкина и медленно опустилась за парту.

Следуя ее примеру, начали устраиваться за партами и другие.

— Давно я не бывала в школе. Не приходилось как-то,— сказала Смолкина, с трудом устраивая под низкой партой свои колени.

Семкин приготовился ее фотографировать: услужливый парнишечка, никто еще не снимал ее так много, как он! Может, хорошие карточки получатся. Дал бы только для памяти.

Колька и все школьники уставились, как завороженные, в объектив фотоаппарата. Тогда Бороздин подошел к Кольке Трехпалому и, ткнув его легонько в плечо, потребовал:

— Давай, давай, торопись, заканчивай лозунг да неси скорей на место. Нечего глаза пялить на что не следует.

Колька принялся за работу.

— И вы тоже занимайтесь своим делом!— кышкнул Бороздин на остальных ребятишек.— Хвостовики, наверно?

— Отстающие!— весело ответил ему паренек, стриженный без гребешка наголо, как барашек.

— То-то — отстающие. Догонять надо передовиков!

— Догоняем!

— Где ваша учительница?

— Домой ушла.

— Работайте, работайте!

Смолкина сняла с головы шляпку, в первый раз сняла, и вздохнула:

— А я мало поучилась. Отчим не дал, работать в колхозе надо было. Только два класса и кончила. А хотелось поучиться. До самой войны все надеялась, что приведется еще, а не привелось.

— Значит, вы самообразованием дошли до всего? — спросил ее комсомольский работник.

— До чего я дошла?

— Вы же книгу написали!

Расчувствовавшаяся Елена Ивановна не смогла сказать неправды:

— Не писала я никакой книги. Другие за меня написали, я только деньги получила.

— Пошли дальше, Елена Ивановна! — сказал Торгованов.

Смолкина медленно высвободила ноги из-под парты, надела шляпку с вуалеткой и встала.

— Да, вот так и не пришлось поучиться! — вздохнула она еще раз. — До свиданья, ребята!

Школьники пошушукались, и один из них осторожно задал вопрос:

— А вы кто такие будете?

— Я-то?.. — растерялась Елена Ивановна.

Бороздин рассердился на ребят:

— Я же вам объяснял, это Елена Ивановна Смолкина, знаменитый животновод, новатор. Вон Колька пишет «Добро пожаловать» — это для нее.

— Ну да?! — с недоверием отозвался паренек.

— Вот тебе и ну да! Скажите вот своей учительнице, почему она не была на месте. Пусть на собрание придет. — И Бороздин обратился к Торгованову: — Двинулись дальше, товарищ Торгованов?

— Двинулись.

— До свиданья, ребята! — сказала еще раз Смолкина. — Подтягивайтесь, догоняйте передовиков!

— Догоним! До свиданья!

— А вы теперь куда? — спросил ее стриженый паренек.

— Колхоз ваш пойдем смотреть.

— На свиноферму пойдете?

— Пойдем и к свиньям.

— Ой, что у нас там делается!..

— Ладно. Об этом поговорим потом. До свиданья, ребята.

Снег не скрипел под ногами — под вечер потеплело. На улице сильнее запахло навозом, конским потом, гнилой соломой. Смолкина еще издали заметила, что крыши скотного двора и конюшни оголены, стропила торчат, будто обглоданные лошадиные ребра на скотском кладбище.

— Вот и весна скоро подойдет,— заметила она.— Скорей бы!

— Да, уж скорей бы,— поддержал ее Бороздин.— Скоту бы легче стало.

— Я про скот и говорю.

— Скот выдержит.

— Скот выдержит, и люди выдержат. Крыши-то скормили?

— Да, не уследил я, Елена Ивановна, скормили.

— Только бы скот выдержал. Падежа еще нет?

— Бывает, Елена Ивановна, но все в норме, в законе. Люди ведь и то умирают.

Торгованов обратился к Бороздину:

— Кажется, у вас процент отхода не превышен? Если не ошибаюсь.

Бороздин успокоил его:

— Не превышен. Пока все в законе. Вот только крыши...

Смолкина на это тихо сказала, словно боясь, чтобы ее не услышал еще кто-нибудь:

— С крышами не только у вас. Если солому хорошо рубить и запаривать — коровы едят неплохо. Надо лишь добавлять хвою, витамины все же...

— Может быть, заглянем на скотный двор?— спросил Торгованов, обращаясь не то к Бороздину, не то к Смолкиной.

— Да, можно!— протянул Бороздин.— Там ничего такого... Можно.

— Как хотите, можно и заглянуть,— ответила Смолкина.— До свинарника-то дойдем скоро?

— До свинарника дойдем обязательно. Успеем еще.

Но вечер наступил быстро. Побывали они в коровнике, на конюшне, навестили катальную мастерскую, изготовляющую валенки, осмотрели работу пилорамы,— на два последних объекта затащил всех корреспондент Семкин: индустрией запахло!— а на свиноферму до собрания заглянуть не смогли, поздно стало.

— Ничего, мы после собрания сходим, а еще лучше

завтра с утра,— успокаивал Смолкину Бороздин.— Да вам, наверно, и без того на свинарниках все знакомо. Уж чего-чего, а свиней-то вы за свою жизнь повидали немало. Вот валенки катают — это для вас ново, интересно. Верно ведь, Елена Ивановна?

— Да, верно, пожалуй.

Кажется, она и не беспокоилась из-за того, что не успела побывать на свиноферме до начала собрания. И вправду, что, собственно, она может там увидеть? Главное уже ей известно, уже рассказали ей, что даже заведующей на колхозной свиноферме нет. А это обо всем говорит. Ну и кормов, конечно, не хватает.

* * *

В клубе всегда пахло табачным дымом. Запах этот не выветривался даже в тех случаях, когда от одного киносеанса до другого проходило не меньше месяца. Он только ослабевал, этот запах. Но стоило провести лишь одно колхозное собрание либо какое-нибудь мероприятие, требующее усидчивости, мужицкой сосредоточенности и серьезного обдумывания и обкуривания вопроса, как в печи, на подоконниках, в углах, во всех щелях и пазах стен и пола снова появлялись окурки махорочные и папиросные, и табачный запах как бы подновлялся, усиливался на длительное время. Никогда еще уборщице Фекле не удавалось полностью выскрести и вымести все окурки из избы за один-два дня. Затопит она печь — ну, думает, все пронесло сразу, все выгорело, а станет закрывать трубу, глядь: на печной задвижке несколько окурков уцелело. Даже за плакатами, за портретами, за стенной газетой, даже на рамке Доски почета — во всю длину ее верхней грани — оказывались окурки.

— У, табачники проклятущие, чтоб вам все нутро выворотило наизнанку!— добродушно ворчала старая женщина после каждого заседания колхозного актива. Но, отведя душу бранью, она признавала, что нет худа без добра: ни клопы, ни тараканы зато не могли обосноваться в клубе на долгое жительство. А это обстоятельство настолько убедительно говорило в пользу табакокурения, что даже она, всю жизнь кашляющая из-за махорочного дыма и страдающая головной болью, не считала табачное зло богопротивным. Все-таки клопы и тараканы хуже курильщиков! Только вот зачем они, пакостники, все хитрят, ловчат, лукавят, все норовят засунуть свои ядовитые сосульки куда-нибудь в укромное местечко. Кидали бы уж прямо на сере-

дину пола, клали бы в кучу на середину стола, так нет, все кого-то обдурить хотят. И ребятишечки у отцов учатся, сосут из рукавов втихую, к обману привыкают с малых лет.

— О господи, прости меня, грешную,— устало вздыхала старая уборщица.

Когда Бороздин привел гостей в клуб, в зале было уже тепло и душно от табачного дыма. Свежие окурки лежали и па подоконниках, и на спинках стульев, валялись в каждом углу, более того — висели, приклеенные слюной, даже на стеклах окон и на потолке.

В президиум избрали только Елену Ивановну Смолкину, все остальные члены президиума сели за стол сами, в том числе и приехавшие в колхоз районные работники.

Должно быть, не пригласили за стол только молодого корреспондента районной газеты, но он также не растерялся и все время, пока не фотографировал кого-нибудь, присаживался на сцене за спинами членов президиума.

Председатель Бороздин сказал о Смолкиной несколько теплых слов, о том, что она дочь народа и слуга его, что она — самородок и что руки у нее золотые. Сказав это, Бороздин стал громко аплодировать, почти у самого лица Смолкиной. Начали аплодировать и в зале, при этом все с любопытством уставились на золотые, рыжие руки гостьи. Когда аплодисменты усилились, инструктор райкома Торгованов шумно поднялся со стула, а за ним поднялись все остальные члены президиума. Не сразу, но поднялось и все собрание. Смолкина не смутилась, она привычно смотрела в зал, не задерживаясь ни на одном лице по отдельности, изредка кланялась и привычно прикидывала, что ей сейчас рассказать о себе. Шляпку свою она не сняла и в президиуме, словно стеснялась своих рыжих волос.

Перед самым началом собрания в дверь протиснулась Нюрка — всполошенная, ничего не понимающая: как же так?— Смолкина везде была, а на свиноферму даже не заглянула! Что же теперь будет? Когда же она теперь с нею поразговаривает, когда выскажет все, что наболело на душе? Или нельзя этого делать? Почему нельзя?.. Ведь не на бога же надеяться?

До самых сумерек Нюрка, Лампия и Палага, как на посту, торчали в своей сторожке на свиноферме и ждали дорогую гостью. Что там ни говори, а настроение у них было праздничное. Палага все эти дни ходила принаряженная, а сегодня приоделась и Нюрка, перетянула свою осиную талию материнским узорным поясом — его хватило

на три оборота, и шапку сменила на полушалок. Даже Лампия не выдержала — пришла после обеда на работу не в ватнике, а в старинной шубе-сибирке со сборками на поясе, доставшейся ей по наследству еще от бабушки. Колька, ее сынок, разукрасил не только сторожку, но и свиной двор всевозможными добавочными вырезками из газет и плакатами и надписи повесил везде, как наказывал Бороздин.

Два дня накануне приезда Смолкиной на свиноферме работала целая женская бригада, сформированная опять же по инициативе председателя. В теплой воде с мылом были перемыты все поросята, чего ни разу не успевали сделать сами свинарки, потому что время с утра до вечера уходило у них на добывание корма. Вымытые поросята, хоть и тощие, стали похожи на полупудовички белой муки. Были вычищены и выскоблены полы и застланы свежей соломой. У сторожки выросла поленница готовых, мелко нарубленных дров. Кладовщик выдал свинаркам три синих наскоро сшитых ситцевых халатика.

Свиньи были накормлены. Нашлась картошка, и даже не очень гнилая. Нашелся силос. Обычно силосные ямы разгружались кое-как, лишь из середины, а все, что с боков, что смерзлось или чуть прихватило плесенью, оставлялось до весны, весной же ямы наполнялись водой до краев. Сейчас оказалось, что силос брать из ям еще можно. Нашелся также на одном из гумен ворох ржаного колоса с немалым количеством невымолоченного зерна в нем. Этот колос, запаренный в котле, свиньи поедали с пугающей жадностью даже без всякой присыпки. Кладовщик отпустил даже немного овса и соли. Кто из многочисленных колхозных начальников обнаружил эти так называемые кормовые резервы, Нюрка не знала. Важно, что корм нашелся. Ведь нашелся же! А что будет, когда Елена Смолкина уедет из колхоза? Все пойдет по-старому? А как сделать, чтобы не пошло по-старому? Надо открыть ей глаза на все наше очковтирательство. Надо!

Вслед за Нюркой на собрание прибежали и Евлампия Трехпалая с Палагой Нестеровой. Они тоже с трудом освоились с мыслью, что Смолкина почему-то не явится посмотреть свиноферму, а когда поняли, что не явится, то перепугались, что опоздают на собрание, и побежали в клуб, не считаясь ни с чем — ни с обидой своей, ни с работой! Даже обозленная, скептически настроенная Лампия чего-то, должно быть, ждала от предстоящей встречи со Смолкиной.

Все трое, они устроились на свободных местах недале-

ко от сцены. Когда усаживалась Нюрка, инструктор райкома Торгованов наклонился к Бороздину и что-то пошептал ему. Бороздин кивнул головой и стал напряженно безотрывно смотреть Нюрке в лицо, стараясь поймать ее взгляд. Нюрка почувствовала это и взглянула на него. Бороздин руками и глазами и движением губ стал звать ее в президиум. Кто-то из сидевших рядом ткнул ее в бок и шепнул на ухо: «Иди за стол, тебя зовут!» Нюрка покраснела, мотнула отрицательно головой и отвела взгляд от Бороздина.

К удивлению и огорчению собрания, Елена Ивановна начала читать свою речь. Речь эта была написана, видимо, давно, с расчетом на любой случай, для любой аудитории, и представляла собой краткое изложение брошюры, с которой Нюрка уже сама познакомилась и напарниц своих познакомила.

Сначала в этой речи-брошюре рассказывалось о жизни героини. Где родилась, когда родилась, как жила? Жила, конечно, в бедности; в детстве, до коллективизации, ела не досыта, носила одежонку и обутку — стыдно сказать какие; конечно, пасла скот (раньше это считалось зазорным) и света в жизни не видела. Потом началось все наоборот. Поучиться все-таки не довелось, мать не позволила, работать надо было, сначала младших братьев и сестренок нянчить, потом прясть, ткать, а после и в колхозе впряглась в оглобли на полную силу. Самоотверженный труд был основой и единственным смыслом всей жизни Елены Ивановны, а направляющие указания руководящих товарищей не давали ей сбиваться с пути.

— Если бы не помощь, если бы не поддержка...— то и дело повторяла Смолкина.— Если бы председатель колхоза вовремя не подбросил кормов, если бы весь колхоз не был повернут лицом... не было бы у меня высоких показателей и не видать бы мне рекордов... как не видать своих ушей.

«Господи, да что это она?— с тревогой думала Нюрка, слушая Смолкину.— С людьми разговаривать надо, а не по бумажке им читать, если ты сама человек. Время это прошло, когда все по бумажкам читали, того гляди и слушать тебя не станут».

— Когда мы готовили показатели для выставки,— продолжала Смолкина,— наш председатель все внимание уделял свиноферме, не щадя сил и времени, работал вместе с нами. Он сам лично бывал в кормоцехе чуть не каждый день. Колхоз не жалел ни средств, ни трудодней...

«Надо же! А наш председатель тоже хотел к выставке подготовиться,— думала Нюрка о своих делах.— Только из меня героини не вышло. А вот из нее вышло. Неужто и они показатели готовили так же, как наш председатель? Надо же! Да не читай ты по бумажке, опомнись!» — чуть не закричала Нюрка.

Смолкина один раз перестала читать по бумажке, когда, рассказывая про свое детство, вспомнила, что была сегодня в школе. При этом глаза ее оживились, заблестели.

— Села я за парту у вас тут и будто маленькая вдруг стала. Только ноги едва-едва заправила под стол. Сижу и думаю: вот ведь судьбинушка какая — и поучилась бы сейчас, а не могу, опоздала, голубушка. Только два класса кончила. Не до ученья было тогда, работа не позволяла. А подросла — опять неладно, кампании всякие начались. Бывало, в клуб тянет,— у нас клуб-то получше вашего,— поплясать, потанцевать хочется, на кругу себя показать, а мама говорит: трудодней у нас еще мало,— выводок у нас был в девять человек,— до нормы, говорит, еще не дотянули. Да по молоку, да по мясозаготовкам отстаем. Приходилось на лесной деляне отцу помогать, не справлялся один. Так и не было молодости. И не научилась я ничему...

«Тоже, значит, хлебнула горя! — обрадовалась вдруг Нюрка, словно Смолкина ей руку на дружбу подала.— Нет, такому человеку можно все рассказать, она поймет. У нее душа еще жирком не подернулась».

И Нюрка, подавшись вперед, крикнула:

— А как же вы книгу написали, Елена Ивановна?

По залу прошел шумок не то одобрения, не то испуга, и люди обернулись в ее сторону. Смолкина, оживленная воспоминаниями, сокрушенно развела руками и, видимо, хотела ответить на вопрос так же прямо, как ответила в школе, но взглянула на Торгованова и сдержалась. Она не была уверена, на пользу ли пойдет здесь откровенный рассказ о том, как и кем писалась ее книжка, и уместен ли будет такой рассказ перед этими людьми. Но и не отвечать было нельзя. И она ответила:

— Что ж, так и написала! Конечно, не без помощи! Если бы не помощь да не поддержка, чего бы мы с вами все стоили на белом свете?

После этого Елена Ивановна опять обратилась к печатному тексту своей речи и стала читать без воодушевления, монотонно, поднимая голову в местах, которые она уже знала наизусть. А говорилось в этой речи о строительстве нового

типа свинарников — дешевых, рентабельных («То есть выгодных!» — пояснила Смолкина) и о переоборудовании старых — дорогих, нерентабельных свинарников под откормочные помещения, под столовые для свиней. Строительство старого большого свинарника на тридцать свиноматок обходилось в сто двадцать тысяч рублей. Новый свинарник на семьдесят голов будет стоить всего рублей шестьдесят.

— Значит, мы зря деньги выбрасывали, когда сооружали нынешний дворец для свиней? — ахнул кто-то в зале.

Смолкина не ответила. Бороздин постучал карандашом по стеклянному графину с водой, и она продолжала чтение:

— Новый свинарник — это простой сарай, сколоченный из обыкновенных досок, с одним входом-выходом, прикрываемым мешковиной. На зиму в этом сарае насыпается резаная солома толщиной метра в полтора, и свиньи лежат на ней вплотную — семьдесят голов. Подстилка всегда сухая, потому что свиньи под себя не ходят.

— Как это под себя не ходят? — спросили из зала.

Смолкина ответила:

— Вот видите, всю жизнь живете со свиньями, а не знаете, что это самая чистоплотная животина.

— Наши свиньи всю жизнь по нужникам мотаются.

— Это единоличные мотались. А я говорю про колхозных свиней, — ответила Елена Ивановна.

В новом свинарнике-сарае содержатся откормочные свиньи, но в них могут находиться и свиноматки до определенного срока. Откорм свиней при таком содержании обходится очень дешево. Все лето свиньи на подножном корму, в своей поскотине.

— А куда же старый свинарник девать? — спрашивают опять из зала.

— Старый под столовую, — отвечает Смолкина.

— Значит, опять строиться надо?

— Я с вами делюсь передовым опытом, — отвечает Смолкина, — а вы уж смотрите, как вам лучше жить: по старинке или по-новому.

— Дык у нас и старый свинушник порожний.

— Но в старом откармливать свиней нерентабельно, он дорогой.

— Дык он уже выстроен.

— Ну и что же, что выстроен?

— Понятно! — сказала Лампия, и спор на этом прекратился.

Смолкина продолжала чтение.

— В отведенное время, по сигналу, свиньи сами отправляются («Значит, бегут»,— пояснила она) в свою столовую. А насытившись, возвращаются обратно. В летний период у свиней должен быть хороший выгон с зеленой сочной травой, со свежей водой. Хорошая свинарка сама пасет свиней. Это раньше говорилось: «Сегодня в чести, а завтра свиней пасти!» Ныне пасти свиней почетно, а не зазорно. А хороший привес надо обеспечивать одинаково и летом и зимой. Клевер, сенная мука, комбикорм — вот что требуется для быстрого роста свиней.

— Комбикорм у нас тоже дают!— кричат из зала.

— Ну, вот видите,— отвечает Смолкина.

Раздается дружный смех, неприятный для нее, но раз людям весело, оживляется и она.

— От нашего комбикорма только щетина растет!— поясняют Смолкиной из зала.

— Щетина — тоже товар, нужный для народного хозяйства,— отзывается на это Елена Ивановна.— Но мясо, конечно, важнее.— И она оборачивается к Бороздину:— К примеру, чем вы сегодня кормили своих свиней?

— Сегодня-то мы их накормили!— громко говорит Нюрка.— И вчера кормили.

— А в чем дело?

— Вы к нам почаще заглядывайте, Елена Ивановна, тогда и свиньи наши сыты будут.

— Дерзко это!— подал голос Торгованов.

— Это Нюрка наша, она такая!— словно извиняясь, заявил Бороздин и постучал карандашом по графину.— Ты, Нюра, не фордыбачь сегодня.

— А когда можно фордыбачить?

Смолкина подняла руку.

— Я вас понимаю,— сказала она.— С кормами плохо? Это наш общий недостаток. Не хватает кормов, да и только. Это наши трудности роста.

— Вы свиньям об этом скажите, они поймут.

— Дерзко!— опять резко бросил Торгованов, а Бороздин постучал косточками пальцев по столу.

Людям стало интересно сидеть в зале и слушать. Речь Смолкиной уже не казалась скучной. Елена Ивановна овладела аудиторией и перестала читать по бумажке.

— Кормов у нас не хватает потому, что мы разучились добывать их,— тоном обвинения заговорила она.— Раньше в хозяйстве ничего не пропадало, потому что хо-

зяева были. Не то что колоса, ни одной соломинки на полях не оставляли. На гумне всю пелёву, всю мякину заметали подчистую, все скоту на корм шло. Мы даже не знали слова такого — отходы. Лен обколотим — весь куколь (кое-где колокольцем зовут), весь куколь — свиньям на еду. Запаришь, подсыплешь мучкой — лопают да облизываются, да спасибо говорят. А ныне что куда девается?

— Она правду чистую говорит!— шепнула Лампия Нюрке.

— Или про картошку скажу,— продолжала Смолкина.— В хорошем хозяйстве ни одной самой маленькой картофелинки, ни одного орешка на поле не оставляют. Крупная идет людям, да государству, да на семена, а всю мелочь свиньям. Мно-ого ее набирается. А как-то видала я в одном колхозе,— да не в одном видела!— собирают картошку из-под лемеха окучника, схватывают сверху ту, что по кулаку, и готово, и все,— только бы скорей корзины заполнить, а нет чтобы порыться в пласту да все картофелинки до одной выбрать. По полю бегом бегают. Я говорю: «Что же вы, ударницы, мелочь в земле оставляете, чем свиней кормить будете?» — «А нам, говорят, не до свиней, нам себя прокормить надо. Норма-то, говорят, на что? Она корзинами исчисляется. Ее же выполнить надо. Не выполнишь нормы — ничего не заработаешь. Не до мелочи тут».— «Ах вы, говорю, очковтиратели! Не хозяева вы!»

— А ведь она правду говорит!— шепнула опять Лампия.— Выходит, она тоже против обмана.

— Конечно, против. Вот кому надо всю правду выложить,— отвечала ей Нюрка. И громко, на весь зал поддержала Смолкину:

— Правду говорите, Елена Ивановна. Вот у нас в колхозе...

— Что у вас в колхозе?— переспросила Смолкина.— По-моему, у вас в колхозе дела могут хорошо идти. У вас такой опытный руководитель — товарищ Бороздин. Мне про него еще в районе говорили.

— Вот-вот, руководитель опытный, а хозяев нет!— раздался чей-то мужской голос из угла.

Бороздин повел головой вправо, влево, но никого не разглядел. Из президиума в зал ответили:

— На трибуну выходить надо, если что хотите сказать, а не демагогией заниматься.

Смолкина продолжала:

— Плохо вы сами работаете, вот что надо сказать. Не

мобилизуете еще внутренних резервов, не болеете душой за порученное вам дело...

Нюрка стала нервничать, она не совсем понимала, в чем ее обвиняют. А Евлампия Трехпалая вдруг зашипела на весь зал:

— Вы у нас не были на свиноферме, а охаиваете. Что мы вам сделали?

Собрание зашумело, похоже было, что оно сочувствовало словам Евлампии. Но Елена Ивановна опять спокойно подняла руку — и люди умолкли.

— Не была еще, не успела, это верно,— сказала она нараспев, с обидой в голосе.— Вот после собрания сходим все вместе. Только мне и без того все ясно. У вас на свиноферме даже заведующего нет, а без заведующего какая же свиноферма? Это ведь не свое, не единоличное хозяйство, а колхоз,— обязательно должен быть заведующий. И еще удивляетесь, что дела плохо идут. Работаете плохо, внимания вопросу не уделяете, вот и не ладятся дела.

Евлампия снова не выдержала:

— Из президиума-то небось не много видно. За нас никто не работает, мы только сами.

— А вы не обижайтесь,— сказала Смолкина.— Я только опытом своим делюсь. Я всю жизнь со свиньями вожусь и знаю, что они уважения к себе требуют. Их уважать надо.

— Людей тоже!— брякнула Евлампия и, кажется, сама испугалась того, что сказала. Но Смолкина не обиделась и достойно бы ответила Лампии, если бы ее не перебили из президиума.

— Одну минутку, Елена Ивановна!— сказал Бороздин. И, обращаясь к Лампии, он разъяснил, что Елена Ивановна Смолкина приехала в колхоз не для того, чтобы спорить с каждой, которая тут вести себя не умеет.— Ты чего шумишь?— сказал он Лампии.— Твое дело не спорить, а изучать опыт лучших людей в деле выращивания скота. Елена Ивановна правильно говорит: свиней кормить надо, надо изыскивать внутренние резервы. А мы что делаем? Мы слишком мало уделяем внимания вопросу. И еще: надо увеличить поголовье свиней в два, в три раза, тогда и корма найдутся. Жизнь сама заставит изыскивать резервы...

Затем Бороздин обратился с речью уже ко всему собранию:

— Критику мы не выносим, вот в чем наша беда. А критику уважать надо. Прислушиваться к критике надо. Елена Ивановна правильно критикует нас. Руководить — это не

значит командовать. Надо развязывать инициативу простых людей, а не командовать ими, тогда дела пойдут на лад. Надо улучшить руководство нашей свинофермой. Тут я признаю критику и в свой адрес. Правильно, не всегда руки доходили. А без настоящего оперативного руководства ничего с места не сдвинуть. Все в руках руководителей, все на них держится. Это я признаю.

По-видимому, разъяснение вопроса, сделанное Гаврилой Романовичем Бороздиным, оказалось своевременным. И пусть не все поняли, почему возник разговор о руководстве в таком именно плане, но после выступления председателя собрание пошло по правильному руслу и продлилось недолго.

Спорить больше было не о чем. Мужчины начали усиленно курить. Дым постепенно заполнил все помещение клуба. Женщины же стали кашлять, проклинать махорочников и расходиться по домам.

Маленькая горячая Нюрка чуть не плакала от противоречивых ощущений. Она уже ни в чем не завидовала прославленной Смолкиной. Но порой казалось ей, что Бороздин не дал Смолкиной высказаться до конца, сбил ее, и тогда Нюрка жалела ее, а порой — что Смолкина жирком заросла и ничего не видит и не слышит и что всякие свиньи ей давно надоели, а до чужих тем более никакого дела нет.

Как только Бороздин объявил собрание закрытым, она подошла к нему — обиженная, растерянная — и спросила:

— Как же нам теперь? Ждать ее или нет на свиноферму?

— Ждать, ждать! Все придем!— твердо пообещал Бороздин.— Не сегодня, так завтра придем.

— А у вас, говорят, пирушка приготовлена?

— Какая такая пирушка? Разве что дадим гостье перекусить, если проголодалась, и все. И не твое это дело.

— Так ждать?

— Ждать, ждать!

Нюрка пошепталась со своими помощницами, и все они отправились на свиноферму:

— Хоть бы домой заглянуть: не знаю, ребята сыты ли?— сказала Лампия.

— А ты сбегай, мы никуда не денемся.

— Нет уж, не пойду, не умрут. А пробегаешь всю обедню...

— Ну, твое дело!— согласилась Нюрка.

Лампия обиделась:

— Мое дело! У меня вся жизнь на свиней ушла, а ты —

мое дело! Не поплясала, не погуляла, все свиньи да свиньи, все недосуг. Замуж вышла, детей наплодила, а за поросятами все в первую очередь следить приходится. Потом уж за детьми. Вот тебе и твое дело! Сама себе не хозяйка я.

— Ну, поехала! — сказала Нюрка.— С чего бы это?

— А что поехала? Тебе легко говорить, ты одинокая, куда захочешь, туда и скочишь.

— Да что я тебе сделала? Кидайся вон на Палагу. Она отмолчится. А то потерпи, скоро Смолкина придет.

Евлампия угомонилась.

Женщины прошли приусадебные участки и двинулись в темноте гуськом по заснеженной тропинке, то и дело оступаясь и проваливаясь в заледеневшие суметы. На небе выступили звезды. Нюрка посмотрела на звезды: не летит ли какая-нибудь? Стояли последние весенние заморозки, они всегда бывают особенно звонки.

Пелагея заговорила:

— Все вокруг нее так и ходят, так и кружатся, вы приметили?

— Нет, не видали! — ответила Лампия.

— А председатель-то наш ничего, умеет обращаться...

— Тоже не заметили.

— Умеет!..

— Ну и она ведь не ахти что, не какая-нибудь... Только что шляпка да кофточка, перлон-перлон, а тоже все по бумажке читает. С бумажкой-то и далеко можно пойти, ума не надо.

— А я бы хотела, бабы, чтобы все мужики колесом вокруг меня вертелись,— высказала Палага свою затаенную мечту.

— Позавидовала. У тебя один был — и того не удержала при себе. Молчала бы уж!

Скотный двор при бледном лунном свете казался внушительным и благоустроенным.

Подошли к сторожке. Ступая через порог, Пелагея недостаточно низко пригнулась и, стукнувшись головой о верхний брус дверей, вскрикнула, как под ножом.

— Это бог тебя наказывает, чтобы не завидовала! — сказала ей Нюрка.— Сгибаться надо пониже.

В сторожке было еще тепло, но женщины решили затопить печку снова. Разделись, зажгли лампу, напялили на себя новые синие халатики. Евлампия принесла дров, добавила в котел воды, чтобы не распаять его, развела огонь.

— Придет или не придет? — спросила Нюрка как бы самое себя.

— Придет, коли сказала, не такой она человек,— тоже как бы про себя сказала Палага.

— А что сейчас делать, если и придет? Свиньи снят,— продолжала размышлять Лампия.— Не будить же их, она ведь уважает скотину.

— Придет, я думаю,— повторила Палага.

— Только свиней взбулгачим, если придет.

— Она не к свиньям, она к нам придет,— сказала Нюрка.

— Лучше бы уж завтра,— сладко зевнула Лампия.— Спать хочется. Да и надоело все это. Я тоже спопачалу подумала, что она душевная, а взглянула на этот хвост за ней, будто за архиреем, так и поняла: толку не будет. Что она со своей колокольни увидит?

От печки потянуло теплом. Зимой печное тепло особенно уютно, человечно, оно не расслабляет, только клонит ко сну.

Вслед за Лампией зевнула и Нюрка и, почувствовав усталость во всем теле и какую-то отрешенность, прилегла на дощатые нары против печного чела. Как ни молода, как ни резва была она, а за этот день устала настолько, что ни говорить, ни думать больше ни о чем не хотелось. И верно — лучше бы уж Смолкина не приходила. Лучше бы она пришла завтра. За ночь можно было бы и отдохнуть как следует, и разобраться кое в чем. Вот и Лампия замолчала — тоже устала, видно, спасу нет; сейчас с неделю не будет ни с кем разговаривать. И Палага сидит согнувшись, не прихорашивается, в круглое зеркальце свое не смотрится. Уработалась и она, бедная! А Смолкина еще говорит: «Плохо вы работаете!..» До чего же легко мы обижаем друг друга! А за что? Поросенка мы бережем, дыханием своим его отогреваем — каждый поросенок на учете, в сводке, в отчетах колхоза, а свои ребятишки — верно Лампия говорит!— без призора по домам сидят, накормлены либо нет. За них никто не спросит ни с тебя, ни с председателя, их жизнь ни на каких процентах, ни на каких показателях не отражается. Неладно это, неправильно! Не простят нам этого наши высокие руководители, если узнают обо всем. А как бы сделать, чтобы узнали? Обязательно должны узнать! Был тут инструктор командированный, выговор влепил за утят — рыбьим жиром не кормят, а рахитичных детей у птичницы не заметил... Нет, не придет сегодня Елена Ивановна Смолкина. И лучше, что не придет. Пускай завтра придет. Сейчас отдохнуть надо...

Пелагея уже прикорнула за печкой и захрапела. На

лице ее выступил пот — вероятно, от удовольствия, что заснула наконец.

Нюрка толкнула Лампию под бок:

— Подвинься, а то буду падать и тебя за собой потащу.

Евлампия на нарах подвинулась не пробуждаясь.

Только бы не приходил сегодня никто. Спать, спать, ничего, что дома немножко поволнуются! Только бы не приходили...

* * *

Но Смолкина пришла, и выспаться Нюрке не удалось. У нее даже сохранилось ощущение, что она вовсе не засыпала.

Первым протиснулся в сторожку Гаврила Романович Бороздин. Лицо у него было красное, возбужденное, на лбу, как бисеринки, поблескивали капельки пота, глаза инициативно лучились. Он распахнул пальто, сдернул шапку с головы, оголив залысины, широкие, как речные заливчики, и посыпались распоряжение за распоряжением.

— Принимайте гостей, живо! Поинтересуйтесь, понравился ли наш колхоз Елене Ивановне. Почему у вас темно? Сейчас же зажечь «летучую мышь». У вас две? Зажечь обе! Живо! Почему пар из котла валит? Закрыть котел!.. Нюрка, вставай, чего разлеглась? Лампия, Палага, живо!..

Нюрке показалось, что Бороздин даже пнул Лампию, но это, конечно, ей только показалось.

Лампия молча поднялась с нар и стала зажигать фонари «летучая мышь».

Сама Нюрка вскочила как ошпаренная и, стыдясь, что чуть не заснула, начала одергивать и расправлять на себе насколько можно было новенький синий халатик.

Вторым в дежурку влетел молоденький Семкин. Он сказал только:

— Больше света! Еще больше! Посторонитесь!

И, забравшись с ногами на нары, на которых только что лежала Нюрка, торопливо снял крышку с фотообъектива:

— Ах, темно, темно, черт возьми!

Дверь с улицы снова открылась, и в клубах морозного пара в сторожку вошла Елена Ивановна Смолкина, румяная и помолодевшая после ужина. Появлению ее Бороздин обрадовался так, будто сегодня еще не видал ее.

— Пожалуйте, Елена Ивановна! Пожалуйте!

Фотоаппарат в руках корреспондента, казалось, начал щелкать сам.

Из-за печки навстречу Смолкиной вышла дотоле молчавшая Палага и, к удивлению Нюрки, чуть приседая, как в клубе, повторила нараспев за Бороздиным:

— Пожалуйте, Елена Ивановна!

Из-за смолкинской спины появились все районные товарищи, затем главбух колхоза, зоотехник, кладовщик и многие другие — целая делегация.

«Опять со свитой, надо же!» — подумала Нюрка.

— Здравствуйте еще раз! — сказала Елена Ивановна и начала раздеваться. Потом кивнула в сторону Семкина: — Да не снимай ты здесь, темно ведь!

Палага подкатилась к Смолкиной сзади, приняла шубу и повесила ее на гвоздь в углу.

На груди Елены Ивановны, когда она опускалась на табуретку, заблестели и зазвенели, вися на булавках, награды, откинулись на мгновение от пиджачного сукна и опять легли на свои места.

«Чисто иконостас! — подумала Нюрка.— Напоказ все. А чего перед нами-то хвалиться?» И никакой зависти опять не было в ее душе.

— Ну, хорошо ли у вас дела идут? — начала Смолкина тот самый долгожданный для Нюрки разговор, и начала именно так, как хотелось Нюрке,— с самого главного.

— Очень мы вас ждали, Елена Ивановна! — обрадовалась Нюрка, стряхивая с себя последние остатки сна.— Очень на вас надеемся.

— Я это понимаю, что надеетесь,— сказала Смолкина.— А дела-то как идут?

Нюрка взглянула искоса на председателя и даже удивилась: до чего спокойно устроился он на лавочке — развалился, разомлел, пот со лба выступает. Барин, да и только! Значит, он ничего не боится либо не понимает, как много может высказать да выложить сейчас Нюрка, на какие паскудные картинки откроет она глаза Смолкиной. А коли он, председатель, ничего не боится, так ей-то чего бояться? Колхоз она, что ли, ославит? Людей своих подведет? Да нет же, не худа, а добра она желает людям! И начала Нюрка говорить.

Испокон веков живет в сердцах русских людей неистребимая вера в правду. Ни цари, ни их наместники, ни разные самозваные защитники народа не смогли истребить этой святой веры. Тысячи и тысячи правдоискателей шли

в тюрьмы и на каторгу, а от правды не отступались. И в конце концов она всегда одерживала победу. Как же молодой Нюрке не стоять, не болеть за свою колхозную правду? Пусть Нюрка — человек не большой, не сильный, не партийный, но правда-то у нее народная, великая! И силы у этой правды несметные. И всегда она побеждала! И всегда будет побеждать.

— Много начальников у нас, Елена Ивановна,— как на духу рассказывает Нюрка про свой колхоз, рассказывает, будто размышляет вслух.— А ведь они не сеют, не жнут. Не на них земля-матушка держится. В полях да на фермах одни женщины еще хлопочут. И заставляют нас эти начальники делать то, что ни колхозу, ни людям не выгодно. Охота к труду пропадает, руки опускаются. Никаких праздников не видим, душа перестает красоте радеть. Душа в работе не участвует. Будто мы только для того и живем, чтобы обязательства свои выполнять. Земля осиротела, лежит неухоженная, необласканная, последние соки свои теряет. Поросенок в нашем колхозе дороже человека, поэтому и поросятам жизни нет. Люди на свиней обижаются... Вот какие дела, дорогая Елена Ивановна, недопустимые дела! И надо, чтобы обо всем этом Москва узнала. На нее вся надежда. И чтобы скорей узнала. Самим нам ничего не сделать...

— Правду истинную она говорит! — вставила свое слово Евлампия.

Рассказывает Нюрка о своей жизни и смотрит: слушает ли ее Смолкина и что ответит ей на все это?

И Смолкина ответила ей.

— Понимаю,— ответила ей Смолкина.— Только почему ты мне все про плохое, про отрицательное рассказываешь? Ты мне про хорошее расскажи. О плохом мне уже товарищ Бороздин докладывал. Он сам все видит и понимает не хуже тебя.

Нюрка оглядывается вокруг и удивляется: неужели же и верно ничего нового для нее не сказала она? Вон и Бороздин даже улыбается, Торгованов смотрит на нее снисходительно, как на маленькую, только что провинившуюся девочку, а корреспондент — тот крутится с фотоаппаратом и щелкает, и щелкает без конца — героев запечатлевает.

— Что молчишь? — спрашивает ее Смолкина.

«И верно, что я молчу?» — думает про себя Нюрка.

— А разве я молчу? — говорит она вслух.— Разве я ничего вам не рассказала?

— Ты про хорошее расскажи.

— Хорошее-то, оно всем видно. Хорошее в жизнь входит без обмана, по темным углам не прячется. От него никому вреда нет. А с плохим тягаться надо, выволакивать его на свет, выводить на чистую воду, чтобы оно у людей на глазах было, не пряталось бы, не вредило бы жизни нашей исподтишка.

— Ты обо мне плохо думаешь? — спросила Смолкина.

— Плохо, Елена Ивановна, уж прости ты меня! — Нюрка в разговоре со Смолкиной тоже перешла на «ты», чего не позволял себе даже Бороздин. — Не таким ты человеком оказалась, как я о тебе предполагала. Не настоящая ты, если у тебя только и заботы, чтобы все плохое прикрыть. Чего боишься? Кому глаза замазываешь? Разве мы с тобой не одним делом заняты, не одной жизнью живем? А тебе бы только самой вперед вылезть...

— Но у меня-то свиноферма образцовая.

— Может, и образцовая, но бываешь ли ты на ней? На тебя ведь теперь вся область работает. И свиньи уже на тебя работают, а не ты на них. Знай в президиуме посиживай да речь по бумажке читай — тяжело ли это? Так чего же ты хвастаешься?..

Нюрка говорила Смолкиной обидные слова, а сама побаивалась: что-то ей потом за эти слова будет? Смолкина — приехала и уехала, была да и нет, а ей, Нюрке, здесь жить да жить. И если ничего не изменится в колхозе, съедят ее за такие прямые слова.

А Смолкина слушала, не нервничала, даже удивительно. Может быть, и она что-то передумывала, переживала... А потом вдруг спрашивает:

— Почему же ты, Нюрка, сама не хочешь героиней стать?

Нюрка удивилась:

— Почему это я не хочу? Я хочу! Вон и Лампия, и Палага тоже хотят. Только чтобы не на чужом горбу ездить. Чтобы перед народом не чваниться да иконостасом своим зазря не греметь, где надо и где не надо. Я не хочу получать ничего вне очереди и сверх нормы, — сказала она. — Я хочу, чтобы у всех была совесть. В детстве как-то бегала я с ребятишками наперегонки, первая добежала до забора и давай выхваляться перед всеми: вы, мол, что? вы — так! а я — вон я какая! Тогда ребятишки, даже не сговариваясь, взяли да и отколотили меня — будь человеком, если ты первая!

Нюрка говорила и сама не верила тому, что это она гово-

рит: как же осмелилась она такого и столько наговорить?

Гости замерли, ждали, что дальше будет. Лампия и Пелагея не двигались, не дышали. А Смолкина даже шляпку с головы сняла.

— Драчливая ты!— сказала она.

Бороздина эти слова вывели из оцепенения.

— Трудный у нее характер, до невозможности,— подхватил он, оживляясь.— Тяжелейший характер! С ей никто не может сработаться.

Смолкина помолчала, спросила:

— Как же ты при таком характере со свиньями ладишь?

— Ни с кем она не ладит!— еще решительней заявил Бороздин.— Было такое мнение однажды — выдвинуть ее, да вовремя спохватились. Хватили бы мы горюшка с нею, если бы выдвинули.

— Значит, ты и с людьми не ладишь?— продолжала допрашивать Нюрку Смолкина.

— Она и сама с собой не ладит,— отводил душу Бороздин.— Выскочка!

Нюрку Бороздин не интересовал. Она смотрела в острые карие зрачки Смолкиной.

— А ты со всеми ладишь, Елена Ивановна?— дерзко спросила она.

Но Елена Ивановна уже не хотела больше неприятных разговоров и пререканий с этой выскочкой и потому оборвала ее:

— Не будем мы больше с тобой разговаривать. Пошли, показывай свою работу!

Все поднялись со своих мест, начали застегиваться. Бороздин запахнул пальто, надел шапку на голову, взял фонарь; корреспондент Семкин закрыл объектив и защелкнул футляр фотоаппарата; Торгованов поправил шарф на шее.

Поднялись и Лампия с Палагой. Обычно говорливая, Лампия не произнесла на этот раз ни слова, замкнулась, сжала губы и лишь иногда стонала, словно ей воздуху не хватало. А молчаливая, равнодушная ко всему Палага вдруг стала разговорчивой и услужливой, рыхлое тело ее напряглось, лицо замаслилось, улыбка сделалась сладкой до приторности.

— Пожалуйте, Елена Ивановна!— бросилась она к смолкинской шубе на гвозде, сняла ее, распахнула, набрасывая на плечи дорогой гостьи.— Пожалуйте!— Слово это Палага впервые услышала только сегодня от самого председателя, и оно ей очень понравилось.

Смолкина отказалась надеть пальто. Она даже шляпку оставила в сторожке.

— Пошли!

Нюрка взяла второй фонарь «летучая мышь» и двинулась к свинарнику впереди всех, освещая снежную тропу — узкую и черную от навоза. За Нюркой пошла Смолкина, за Смолкиной — Бороздин, затем Лампия и Палага в своих ситцевых халатиках, а за ними уже все остальные.

Когда створки широких ворот распахнулись и в свинарник вместе со струей свежего воздуха проник свет, за перегородками в разных углах просторного помещения захрюкало, засопело, зачавкало и свиные рыла стали просовываться сквозь жерди и доски. То тут, то там мелькали острые длинные клыки и на мгновение вспыхивали маленькие злые глазки. В отдельном стойле завозился, поднимаясь на ноги, огромный, вечно голодный, с железной щетиной кабан Крокодил.

Во дворе было сравнительно чисто и не душно, и Бороздин, как показалось Нюрке, пожалел, что накануне направил сюда многочисленную женскую бригаду, которая два дня скребла и подметала полы и перемывала поросят: лучше бы уж показать Смолкиной все как есть, как водится в обычное время, во всем была бы виновата она, Нюрка.

А Елене Ивановне ничего в свинарнике не понравилось. И, стоя у барьера, стала она делать замечания — ворчливо, высокомерно,— и все Нюрке, Нюрке:

— Уплотнить надо свиней, чтобы тепла у них больше было!

— А почему воды в стойлах нет? Воду нужно иметь всегда — в избытке и свежую.

— А почему корыта грязные и гнилые наполовину?

Нюрка начала спорить, обороняться:

— Не гнилые они. Не видите вы, что ли?— она снова стала называть Смолкину на «вы».

— Не вижу я, что ли?— повторила Смолкина ее вопрос, но уже с обратным смыслом.— Гнилые!

— Не гнилые они, а съедены!— зло выкрикнула Нюрка.

— Значит, кормить надо свиней вовремя. Есть у вас корма, товарищ Бороздин?— повернулась Смолкина к председателю.

— Есть, Елена Ивановна, есть!— не дрогнув, подтвердил Бороздин.— Теперь есть, но перебои случаются! Случались перебои!

— Надо же!— ахнула Нюрка.

— Вот видишь!— зло упрекнула ее Смолкина, будто схватила за руку на месте преступления.— А ты очковтирательством занимаешься, на свой колхоз и на руководство наговариваешь!

— Надо же!— возмутилась потрясенная Нюрка.— Да что же вы такую неправду несете?

— Свиньи и те неправду не любят,— вмешалась в разговор Лампия.

— Рацион строгий должен быть. Сухое зерно, корнеплоды, витамины,— высокомерно продолжала Смолкина.— Слыхала ты, что такое рацион?

— Рацион? Да знаете ли вы, чем кормятся наши свиньи?

Потревоженные не вовремя животные шумели и хрюкали все больше и больше и зло повизгивали, словно перед наступлением грозы. В дальнем углу завизжали поросята, Крокодил за перегородкой поднялся на дыбы.

— Вы про рацион свиньям расскажите!— крикнула Евлампия.

— Научный подход наши свиньи любят,— поучала Смолкина.— Ласку любят. Уход и ласковое обращение завсегда себя оправдают и прибавку в весе дадут. Свинью хлебом не корми, а приласкай ее, за ухом ее почеши.

— Вон Крокодила почеши за ухом!— снова выкрикнула Лампия.

«Почеши, почеши его за ухом, приласкай!— со злорадством подумала Нюрка, отчетливо представляя себе, что произошло бы, если бы чужой человек, Смолкина, и впрямь захотела пройти за перегородку приласкать свиней.— Они тебе покажут очковтирательство, они тебе дадут прибавку в весе!..»

Но когда Смолкина вдруг приподняла верхнюю жердочку изгороди и опустила ее на цементный пол, потом так же вынула из гнезда и бросила на пол вторую и третью жерди и, ступив через остальные, направилась в глубь двора, Нюрка испугалась.

— Ой, что вы делаете!— закричала она, хватая Елену Ивановну за рукав нейлоновой кофточки.— Ой, не ходите к ним!

— Пускай идет!— оборвала ее Лампия.

— Свиньям доверять надо!— ответила Елена Ивановна, вырываясь из Нюркиных рук.

— Так они же голодные, как им доверять?

— Свиньи ласку любят. Я ли их не знаю?— самодовольно заявила Смолкина.

— Так бессловесные же они!

— Это наши свиньи! — стояла на своем Елена Ивановна.

— Ой, не ходите! — завизжала Нюрка, как визжат и кричат только от страшных ночных кошмаров, но ничего уже нельзя было остановить.

— Пускай идет! — настаивала на своем Лампия. — Пусть свиньи покажут ей, где правда!

Крокодил первый опрокинул перегородку. Клыки его были обнажены.

Истошный Нюркин визг слился с хрюканьем и хрипением зверей. Трещала распарываемая шерстяная материя, звенело золото и серебро на цементном унавоженном полу.

Бороздин и все гости кинулись из свинарника в сторожку, стуча сапогами, хлопая дверьми...

* * *

Нюрка завизжала от страха... На этот Нюркин истошный крик и визг в сторожку ворвались Колька, старший сын Лампии, и Нюркина мать. Уже светало.

Катерина Егоровна с вечера в ожидании дочери прилегла на печи, забылась в тепле и проспала всю ночь, а на рассвете, испугавшись, что Нюрки все еще нет, постучалась в избу к Евлампии, затем, в страшной тревоге, уже вместе с Колькой, бросилась на свиноферму.

Услышав еще издали нечеловеческий крик Нюрки, мальчишка с воплем распахнул дверь сторожки:

— Мама-а!

— Доченька, жива ли ты? — метнулась Катерина Егоровна к лежавшей на нарах Нюрке и принялась трясти и расталкивать ее. — Да проснись! Что с тобой? Не угорели ли вы тут?

На столе чадил фонарь «летучая мышь» — керосин уже выгорел, дымился один фитиль. В протопившейся печке либо в котле, из-под крышки которого шел парок, что-то попискивало, как в остывающем самоваре.

Нюрка вскочила с нар и бросилась к матери. На щеке ее краснел широкий рубец от жесткого изголовья.

— Матынька, родненькая! — дрожала она, ничего еще не понимая.

— Что с тобой, доченька? Мы уж думали, не свиньи ли вас съели. Угомонись, опомнись! Неспокойная ты моя душа!

Из-за печки с лавки поднялась и во весь рот зевнула Палага. Припухшие веки ее не раскрывались.

Лампия с трудом отодрала голову от столика — она спала уже не на нарах, не рядом с Нюркой, а сидя за столом. Над нею висел свежий плакат: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!»

— Ты что, сынок?— спросила она Кольку.— Отец-то дома?

— Дома. Он сердится, что ты и ночевать не пришла. Пойдем домой, мама!— Колька уже понял, что ничего плохого не произошло, в глазах его светилось одно любопытство. Он со смешком посматривал то на одну женщину, то на другую.

— Все живы?— спросил он.

— Все живы, чего нам сделается.

Нюрка тоже стала помаленьку приходить в себя.

— Где Елена Ивановна?— спросила она.

— Какая Елена Ивановна?— не сразу поняла ее мать.

— Смолкина.

— Смолкина? Так они же вчера еще уехали. Сразу после собрания. На трех машинах, и грузовик наш — опять сзади. Говорят, из города секретарь позвонил, легковушка потребовалась в область ехать, а другим приказал к пленуму готовиться.

— А сюда, к нам, что же?— допытывалась Нюрка.

Ответила Катерина Егоровна:

— Заторопились они. Пешком было пошли, да до фермы далеко. А на машинах поехали — забуксовали. Пока выкарабкивались из снегу, время-то ушло. Про секретаря вспомнили — и в город. И Бороздин с ними уехал.

Проснувшаяся окончательно Евлампия притянула к себе сына и обняла его за плечи.

— Эх, Колька, Колька, зря ты все эти картинки наклеивал и бумажные полотна печатал. Я ведь думала, что она и верно свиней придет смотреть.

— Нужны ей наши свиньи!— сказала Нюрка.— Она их теперь как огня боится. Дура она, что ли, чтобы к свиньям в хлев лазить!

Сказав это, Нюрка вдруг захохотала.

— А я сон видела, будто свиньи ее сожрали!

— Что ты говоришь! Вот это бы по совести! Только ведь и свиньи знают, кого можно грызть, кого нельзя. Вот ты, Нюрушка, поглядывай за ними в оба. А этой выскочке бояться их нечего.— Никогда прежде Лампия не называла

Нюрку так ласково — Нюрушкой! — и не разговаривала с ней так доверительно, как сейчас.

А Нюрка продолжала хохотать. Платье на ней было помято, широкий домотканый материнский пояс свернулся на талии в трубочку, и теперь она не казалась такой тоненькой, как обычно.

— А я-то, дурочка, бросилась ее защищать, думала, и вправду она такая, думала — она настоящая...

Красный рубец на щеке Нюрки исчез, но теперь все лицо ее стало красным от напряжения, от хохота.

Катерина Егоровна встревожилась:

— Опомнись, что с тобой, доченька? Да иди-ка домой! Отоспись после того, что тебе привиделось, а я тут управлюсь за тебя. Идите и вы тоже,— обратилась она и к Евлампии и к Пелагее,— я за всех вас покомандую. Корму теперь тут на неделю хватит.— И Катерина Егоровна вся пришла в движение.

— Пойдем, мама, домой,— настаивал и Колька, подавая Евлампии старинную шубу-сибирку.

День начинался заново. Солнце с утра предвещало очередную весеннюю оттепель.

Нюрка продолжала хохотать.

1961 г.

ВОЛОГОДСКАЯ СВАДЬБА

Из самолетов Ан-2 выходят жители вологодских и костромских деревень, хлеборобы, служащие. У старушки, одетой в дубленый полушубок, в руках фанерный чемоданчик и туесок, наверное, с рыжиками: видно, отправилась старая «на города», на побывку к сынку или к дочери. Старик, кроме такого же фанерного баула и привязанной к нему пары новеньких лаптей с липовыми оборами, тащит берестяной заплечный пестерь, на котором сбоку торчат две веревочные петли. С пестерями такими ходят на сенокосы, на дальнюю охоту, на лесные промыслы, в петли вдевается топор,— мне это знакомо.

На старика ворчит пилот:

— Весь самолет мне закровенил. Что у тебя течет из пестеря, отец? Мясо, что ли?

— Журавлиха, не мясо. Растаяла окаянная!

Журавлиха — клюква: старик везет ее кому-то в подарок.

— А лапти зачем?— спрашивает пилот.

— Сын просил сплести для баловства. В Ленинград еду.

Все очень будничио. Но именно эта будничность и волнует: авиация вошла в быт.

Пассажиры устраиваются на грузовик-такси и отправляются на железнодорожную станцию. А оттуда на аэродром подъезжают новые пассажиры, уже побывавшие в гостях: в руках у них не баулы, а чемоданы, и сами приоделись — вместо ватников и затасканных полушубков на многих городские пальто, на головах добротные шерстяные шали, меховые шапки.

Мне, грешному, кажется, что, отправляясь «на города», мои земляки сознательно одеваются похуже, прибедняются, чтобы вернее разжалобить своих «выбившихся в люди» родственников.

Покупают билеты, выстраиваются в очередь к самолету. Я слежу: не охнет ли хоть одна старушка, не перекрестится ли? Нет, ни одна не перекрестилась, ко всему привыкли.

А я лечу в деревню на свадьбу.

Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал время от времени приглашения на свадьбы. К тому же приглашения эти приходили из родных мест обычно с запозданием на два-три дня и не обещали ничего интересного.

«Шура, приезжай, Тонька с Венькой безруким уписываются».

Или:

«Дуньку Волкову пропивать будем, приезжай, погуляем!»

А тут пришло письмо, написанное какими-то иными, душевными словами и, главное, вовремя:

«Дядя Шура, наша Галя выходит замуж. Жених работает на льнозаводе. Пиво мама спроворила, и все будет по-честному, как следно быть. Приезжайте, дядя, обязательно, не откажите в нашей просьбе. Едьте, пожалуйста!»

Письмо писала сама невеста, хотя от третьего лица и без подписи. Казалось, от того, буду я на свадьбе или не буду, зависит ее дальнейшая судьба. Я отбросил все дела, наспех «спроворил» кое-какие подарки для невесты и для родных и выехал.

Поездом до станции Шарья двенадцать часов да самолетом над лесами минут сорок пять, если, конечно, самолеты ходят, это не очень уж страшно. Правда, в Шарьинском аэропорту из-за плохой погоды можно проторчать и несколько суток. Но другой возможности благополучно добраться до моего района, по существу, нет. Грузовики ходят нерегулярно, и никогда нельзя надеяться, что вы на грузовике доберетесь быстрее, чем пешим.

Раньше, на конных подводах, можно было рассчитывать время довольно уверенно, теперь же дороги разбиты настолько, что в весенне-осенние распутицы, а зимой в метели и снегопады движение по тракту надолго прекращается вовсе. «Золотая дорожка!» — с горькой иронией говорят героические вологодские шоферы. Три-четыре рейса — и новая мощная машина сдается в капитальный ремонт.

Мне повезло. На третий день после выезда из Москвы я был уже у невесты в гостях. Последние километры пути шел на лыжах по заячьим тропкам среди сказочных березовых рощ с тетеревиными стаями на вершинах.

— Ой, приехал! А я ведь и думать не думала! — удивленно вскрикнула Галя.

Круглолицая, розовощекая, очень подвижная, она взволнована предстоящим — и радуется, и тревожится. Но работы

столько, что на переживания ни сил, ни времени не остается.

Галю почти невозможно разглядеть, она носится по дому — не ходит, не бегает, а носится. Но я-то ее знаю давно, и что мне ее разглядывать?

С тех пор как я ее не видал, Галя не стала выше ростом, не стала пригляднее, осанистей, или, как здесь говорят, становитей. А между тем в деревне своей она считалась одной из лучших невест. Почему? Потому ли, что единственная дочка у матери и наследница всего дома? Отчасти, может быть, и поэтому. Но такие невесты в деревне есть и кроме нее. Все они не дорожат своим наследством, стараются бежать из дому, устроиться на какую-либо неколхозную работу, как это сделала и Галя, перебравшись на льнозавод.

Нет, достоинства Гали — недородной, нерослой, несильной — в другом. Она из очень работящего рода, а уважение к такому наследству живет в крестьянах и поныне. Большое и хорошо налаженное хозяйство ее дедушки по материнской линии было в горячее время коллективизации развалено твердыми заданиями. Кажется, то же случилось с дедушкиным домом и по отцовской линии. Но так как ни в том, ни в другом хозяйстве никогда не пользовались наемным трудом, то в народе осталось лишь сожаление о случившемся и доброе сочувствие к напрасно пострадавшим людям.

А извечное трудолюбие и непоседливость перешли от дедушек и бабушек к нынешней невесте и стали ее главным приданым, которое скрашивало в глазах женихов ее низкорослость и неприглядность. По-видимому, страсть к работе она успела показать уже и на льнозаводе.

Мать Гали, Мария Герасимовна, вдова, много рожавшая и много страдавшая на своем веку, и сейчас, после гибели мужа на войне, расстающаяся с последней своей опорой, даже спать перестала. Лицо ее осунулось, глаза испуганно мечутся по избе: все кажется, чего-то еще не сделано, что-то она просмотрела, упустила. Пол выскреблен и вымыт до блеска, посредине избы постланы лучшие половики своего тканья, рамки с открытками и фотографиями висят как будто не косо, на окнах тюлевые занавески, на гвоздиках расшитые вафельные рукотерники и платы старинной работы, сохранившиеся еще из девок, от того времени, когда она сама замуж выходила. Платы и рукотерники висят и на божнице, и на рамках с фотографиями. А в рамках вместе с изображениями родных, и знакомых, и совершенно случайных, никому не известных людей красуются цветастые открытки, посвященные Дню Парижской коммуны, Восьмому марта, Первому

мая, Новому году и первым космическим полетам. Тут же открытки с корзинками аляповатых цветов и со смазливыми нарумяненными личиками в сердечках, с надписями: «Люби меня, как я тебя», «Поздравляю с днем рождения», «Помню о тебе» — и с неграмотными стишками:

Быть может, волны света
Умчат меня куда-нибудь,
Пускай тогда открытка эта
На помнит вам что нибудь!

Я переписал их с сохранением орфографии.

Все издано в наше время. Среди этих произведений прикладного искусства вложены, видимо, для заполнения пустых мест листки из отрывных календарей разных лет: на одном — портрет Луи Арагона, на другом — маршала Тимошенко, на третьем — диаграмма неуклонного роста надоя молока по годам в процентах.

В отдельной рамке цвета пасхальных яиц вставлена Почетная грамота невесты, подписанная директором льнозавода и председателем фабрично-заводского комитета: «За отличные показатели в выполнении производственного плана, в честь сорок третьей годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».

Мария Герасимовна заправляет керосином и развешивает под потолком в разных местах пять ламп — две свои и три взятые у соседей. Затем придирчиво осматривает все снова, поправляет несколько покосившихся фотоснимков, встряхивает полотенца, чтобы получше видна была вышивка на них, еще раз протирает зеркало...

— Кажется, все как следно быть?

Ей особенно нравится картина, написанная молодым местным зоотехником. На огромном и страшном звере, должно быть волке, хотя морда у зверя явно лисья, Иван-царевич увозит куда-то свою ненаглядную Елену Прекрасную. Полотно во всю стену, золота много, деревья и цветы небывалых размеров. Уж она ли, Мария Герасимовна, не знает лесов темных, дремучи-их — сама всю жизнь в лесу прожила, но таких диковинных стволов даже во сне не видывала. И этакую красотищу зоотехник отдал всего за два килограмма сливочного масла, подумать только! Не порядился даже, добрый человек! Из всех его картин, какие висят теперь в окрестных деревнях, ей досталась самая большая, самая баска́я, самая яркая. Даже три толстых мужика на богатырских кобылах ей меньше приглянулись, чем дикий лес и этот волк — страшилище мохнатое.

Верит Мария Герасимовна, что, если бы не малевание зоотехника, не так нарядно было бы в ее избе.

А все-таки увозит Иван-царевич свою сугрёвушку из ее родного дома, от батьки с маткой! Увозит! Вот и у нее, у Марии Герасимовны, увезут на днях дочку Галю за сорок километров. Приедут на грузовике вместе с директором льнозавода, выпьют все пиво и заберут девушку. Хорошо, конечно, а все-таки жалко и жутко: одна теперь, старая, останется.

Мария Герасимовна напоследок перевела стрелки ходиков — отстают шибко,— перевела на глазок, наугад. А другие ходики, что давно висят без гири и без стрелок, украсила вафельным свежим рукотерником: зачем их снимать со стены? Пусть не ходят, а все-таки еще одна картинка в доме — цветочки, и лесок, и поле.

Теперь совсем хорошо стало!

— Что так далеко замуж отдаешь дочку?— спрашиваю я.

— Шибко далеко!— горестно подтверждает Мария Герасимовна.— Захочется повидать — не добежишь до нее. Заплачешь — слезы утереть некому. Сорок километров — шутка ли!

— Где же они встретились?

— Там и встретились, на льнозаводе. Галя там работает третий год, тресту в машину подает, а он, жених, на прессе лен в кипу укладывает. Года два они гуляли: как из армии пришел, так и заприметил ее, углядел и уж больше ни на одной гулянке от нее не отходил — люди рассказывают. Все по-хорошему!

Для Марии Герасимовны главное, чтобы все было по-хорошему. А маленькая Галя краснеет, даже разговоров о своей свадьбе стесняется.

— Как будете свадьбу справлять — по-старинному или по-новому?

— Какое уж по-старинному, ничего, поди-ко, не выйдет,— отвечает Мария Герасимовна,— да и по-новому тоже не свадьба. По-старинному бы надо!— заключает она и затем начинает рассказывать, как все должно быть, чтобы все по-хорошему:— Вот приедут они завтра, жених с дружкой, да сваха, да тысяцкой, ну и все жениховы гости, и начнет дружка невесту у девок выкупать. Он им конфетки дает, а они требуют денег, он им вина, а они не уступают за вино, продешевить боятся, невесту осрамить. Ну, конечно, шум, шутки-прибаутки, весело. Ежели хороший дружка, разго-

вористой, так и невесте не до слез, все помирают со смеху.

— А невеста плакать должна?

— В голос реветь должна, как же! Еще до приезда жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.

— Она же там работает три года?

— Мало ли что работает, а все чужая сторона. Да и заведено так: родной дом покидает.

— Не умею я реветь,— испуганно говорит Галя,— да и Петя не велел.

— Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть немного. По-твоему, расписались в сельсовете — и все тут? Какая же это свадьба!

— Не умею я реветь!— повторяет невеста.

— Ничего, девушки помогут. А то молодицу нашу позовем, у нее слезы сами текут и голос подходящий. Ей реветь не привыкать.

— В загсе были?

— В сельсовете были, как же. Сразу после сватовства съездили. Все по-хорошему. Только ведь что в сельсовете? Расписались — и дело с концом. Никакой красоты.

— Жених приезжал сюда?

— Два раза приезжал. Сначала со свахой, с теткой своей, а потом с суслом, один. Когда сусло поспевает, жених берет бутылку сусла от своего пива и привозит к невесте. А у невесты наливают ему в ту же бутылку своего сусла и договариваются, в какой день ему за невестой приезжать. Наш Петрован даже пиво складывать нам помог.

— Каков жених-то?— спрашиваю.

— Ничего парень, парень как парень. Худощавой! Брови белые. В армии уже побывал — и ладно. Какие нынче в деревне женихи пошли? Все норовят уехать да жениться где-нибудь на стороне, на городах.— Мария Герасимовна задумывается и добавляет:— Ничего парень! Высокой!

Когда Галю просватали, она сняла мерку со своего жениха и две недели сама, и ее мать, и тетя, старушка из соседней деревни, до самого дня свадьбы шили так называемое приданое. Кое-какая мануфактура была заготовлена заранее, недостающее закупали в последнее время. Дирекция льнозавода дала девушке отпуск и месячную зарплату в пятьдесят рублей: все-таки передовая работница. Мать выложила свои многолетние сбережения. Приданое — это и новая одежда невесты, и белье для жениха, и подарки всей жениховой род-

не: рубашки, фартуки, носовые и головные платки, табачные кисеты.

Кофточку и новое платье на невесте после сватовства порвали ее подружки. Так заведено! Раньше жгли куделю на пряснице, ныне девушки не прядут, а обычай соблюсти надо. Кофточку порвали на заводе, а платье в родной деревне, куда она пришла уже просватанная. Не порвешь одежду на невесте — не бывать замужем подружкам ее. Бьют же стеклянную посуду на счастье!

Для приданого последней дочери мать отдала свой девический кованый сундук, который когда-то был доверху набит ее собственным приданым. Ныне, сколько ни старались, сундук оставался наполовину пустым, пока не догадались сложить в него и домотканые половики, и пару валенок, и даже ватник.

В день свадьбы задолго до приезда жениха собрались к невесте на кухню, в куть, как здесь говорят, ее сверстницы. Никакого намека на слезы пока не было. Разноцветные сарафаны с широкими сборками по подолу, кофты с кружевными воланами, сатиновые фартуки, шелковые и шерстяные полушалки шуршали, шелестели, и рябило в глазах. Только невеста была в простом ситцевом платьице: ее нарядят, когда поведут к жениху за стол.

Молодость шумно справляла свой праздник.

— Девочки, дешевле десяти рублей не брать!

— За такую невесту можно и больше вырядить.

— Жених-то ведь не колхозник, раскошелится.

— За тридевять земель увозят, да чтобы за так!

— Только уступать не надо!

— Это какой дружка попадется. Ежели вроде нашего Генки, так с него голову снимешь, а он все равно зубы заговорит.

Пришел гармонист — паренек лет восемнадцати. Ему подали стакан пива, он немедля уселся на скамью и деловито заиграл. Так же деловито девушки запели первые частушки, которые должны были разжалобить невесту, помочь ей плакать. Начиналась так называемая в е ч е р и н а.

Я последний вечерочек
У родителей в гостях.
Тятя с маменькой заплачут
На моих на радостях.

Я у тяти на покосе
Заломила веточку,
Придет тятенька на пожeньку —
Вспомянет девочку.

В самом углу, за спинами девушек, за разноцветными кофтами и сарафанами, укрылась невеста, счастливая, розовощекая, круглолицая,— ей пора плакать, а она никак не может начать. Рядом с ней сидит ее двоюродная сестра Вера, приготовившая платок и фартук свой, чтобы утирать слезы невесте, расставившая даже колени, на которые Галя должна падать лицом вниз. А невеста все не плачет.

— Плачь, плачь!— уговаривает ее Вера.

Признаюсь, я подумал, что Галя стесняется меня, и уже собирался выйти из кухни. Но вот наконец она решилась, всхлипнула, подала голос. Гармонист, склонив голову, поднажал на басы, девушки запели громче:

Запросватали меня
И богу помолилися.
У меня на белый фартук
Слезы повалилися.

Сидит тятенька на стуле,
Разливает чай с вином,
Пропивает мою голову
Навеки в чужой дом.

Галя плакала плохо, вскрикивала фальшиво, и тогда на выручку ей пришла молодица, жена брата. Она пробилась в угол и с ходу взяла такую высокую ноту, так взвизгнула, прижав голову золовки-невесты к своей груди, что все вздрогнули. А девушки подхватили ее крик и запели частушки, более подходившие к судьбе этой молодки:

Не ходи, товарка, замуж
За немилого дружка,
Лучше в реченьку скатиться
Со крутого бережка.

Не ходи, товарка, замуж,
Замужем неловко жить:
С половицы на другую
Не дают переступить.

Дела сразу пошли лучше: по-серьезному разжалобилась и завыла невеста, хотя лицо ее от слез только больше разгорелось, начали прикрывать глаза платками ее товарки,

в голос заревели вдовы. Даже я едва сдерживал слезы: так получалось все естественно и горестно.

Но для матери, Марии Герасимовны, все было мало. Она привела причитальницу-плакальщицу, соседку Наталью Семеновну. Гармонист перестал играть, девушки затихли, когда вошла в куть эта черноглазая, с тонкими чертами лица, старая, но и сейчас еще красивая, несогнувшаяся женщина.

— Давай-ко, Наташа, помоги! — попросила ее Мария Герасимовна.

— А чего это вы коротышки поете? — с упреком обратилась ко всем Наталья Семеновна. — Надо волокнистые песни петь, нельзя без волокнистых. Поди-ко и кра́соту не справляли, что за свадьба такая? Позвали бы меня вчера, я ведь и кра́соту всю помню. Раньше мне Митиха Лискина — вот уж причи́тальница-то была! — скажет, бывало: «Садись-ко, Наташа, возле, у тебя голос вольной, учись!» И я с ее голоса, еще девчонкой, все волокнистые, протяжные песни запомнила. Памятью меня бог не обидел. Сколько своих девок после замуж отдавала, ни много ни мало шесть дочерей в люди вывела — как причеты не запомнить! А грамоты не знаю: азбуку прошла и оспой заболела. Потом уж дотягивала, когда взрослых учили, да самоуком. Могу, конечно, прибауточки прочитать и варакать умею, расписываюсь, а все неграмотная. Была ли красота-то у вас?

Никакой кра́соты в доме Марии Герасимовны не было: мать и дочь бегали как угорелые, чтобы все приготовить к приезду жениха и новых гостей как следно быть. Не до волокнистых песен было, не до свадебных обрядов.

— Тогда уж давайте и кра́соты немного прихватим, — решила Наталья Семеновна. — Может, кто подтянет? Или нет?

— Подтянем! — неуверенно отвечали ей. — Ты только запой.

Мария Герасимовна поднесла старушке стакан пива:

— Прочисти горлышко-то, Наташа, легче запоется.

Наталья Семеновна выпила пиво, вытерла губы тыльной стороной ладони и запела печально, волокнисто:

Солнышко заката́ется, дивьёй век корота́ется.
Дивьёй век корота́ется, да пошел день на́ вечер.
И пошел день на́ вечер, да прошел век девичьёй
И да прошел век девичьёй, да прошло девичьёё житьё.
И прошло девичьёё житьё, все хоже́ньё да гу́ляньё.
Отходила я да отгуляла летом по шелко́вой траве,
И летом по шелко́вой траве, зимой по белому́ снегу...

Казалось, изба стала просторнее, потолок поднялся, а сарафаны да кофты запестрели еще ярче.

Голос у Натальи Семеновны высокий, чистый, не старушечий, пела она неторопливо, старательно, без робости: просто делала нужное людям дело, из-за чего же тут робеть?

Девушки начали подтягивать ей, но вряд ли хоть одна из девушек знала эти старинные свадебные причеты. Подтягивать было легко, потому что каждый стих (строка) причета исполнялся дважды, вернее, окончание каждого стиха переходило в начало стиха следующего, и так без конца.

По этой же причине и записывать причеты с голоса было нетрудно, что я и сделал.

— Приставайте, приставайте, девки! — говорила время от времени Наталья Семеновна. — Подхватывайте! — И сама продолжала петь.

Невеста перестала плакать, она, должно быть, просто забыла о себе, растерялась, настолько необычными показались Натальины плачи после немудрых жалостливых коротышек под гармошку.

Колокольчики сбрякали, да сердечико дрогнуло.
И да сердечико дрогнуло, ретивое приодро́гнуло.
И ретивое приодро́гнуло, да не вё-шная вода,
И да не вёшная вода под гору разливалася,
И да под гору разливалася, подворотни вымывала...

— За невестой приехали, вот о чем поется! — пояснила Наталья Семеновна и попросила: — Налей-ко мне, сватья, белушечку, что ты один стаканчик подала, в горле першит. Ведь говорят: сколько пива, столько и песен.

Мария Герасимовна поднесла ей полную белую чашку пива, считавшуюся почетной, как в старину братыня. Старушка встала со скамейки, приняла белушку с поклоном, обеими руками, но выпила не всю: важна была честь! Затем тщательно вытерла губы и снова запела:

И да не ком снегу бросило, да не искры рассыпались,
И да не искры рассыпались, да во весь высок терём,
И да во весь высок терём ко родимому батюшке,
И ко родимому батюшке, да ко мне молодёхоньке,
Да ко мне молодёхоньке, да во куть во кутеньку.
Еще дружко-то княжая под окошком колотится,
Под окошком колотится, да в избу дружка просится,
И в избу дружка просится — я сама дружке откажу...
Я сама дружке откажу: дружка, прочь от терёма!
Дружка, прочь от высока — не одна сижу в тереме,
И не одна сижу в тереме — со своими подружками...

Кроме теремов высоки-их и столбов белодубы-их были в песне и князья, и бо́яры, и дивьёй монастырь со монашками, были и Дунай-быстра река и Великий Устюг, Осмоловский сельсовет и колхозное правленьице. Рассказывалось в последовательном порядке, как приезжают сваха, и дружка, и жених, и свекор-батюшка, и свекровь-матушка, как они входят на мост — в сени, затем ступают за порог в избу, садятся за стол, требуют к себе невесту, и как невеста дары раздает и просит благословенья у отца с матерью, которое «из синя моря вынесет, из темна лесу выведет, и от ветру — застиньице, и от дождя — притульице, от людей — оборонушка». Ведется песня от лица невесты, умоляющей защитить ее от чуж-чуженина — жениха, от князьев и бо́яров, ступивших в сени: «И подруби-ко ты, батюшко, да мосты калиновы, да переводы малиновы», либо от лица девушек, высмеивающих сваху: «У нас сваха-то княжая, она три года не пряла, она три года не ткала, все на дары надеялась», а еще высмеивающих скупого дружку: «Что у дружки у нашего еще ноги лучинные, еще ноги лучинные да глаза заячинные...»

Наталья Семеновна увлеклась, распелась, а все нет-нет да пояснит что-нибудь: так мало, должно быть, верила она, что содержание старинного причета понятно всем нынешним, трясоголовым; нет-нет да и вставит какую-нибудь прозаическую фразу между строк. Кажется, свадьба эта воспринималась ею не всерьез, а лишь как игра, в которой ей, старой причи́тальнице и рассказчице, отведена главная роль.

— Это ничего, что про монастырь пою?— спрашивает она вдруг.— Нынче ведь нет монастырей-то.

Или вдруг:

— Может, надоело кому? Укоротить, поди, надо? Раньше ведь подолгу пели да ревели, а нынче живо дело отвертят...

Спросит и, не дожидаясь ответа, продолжает петь. А однажды она приказала девушкам:

— Теперь переходите на другой голос, чтобы невесте еще тоскливее стало!— И сама изменила мотив.

Услышав эти слова, Галя, давно молчавшая в своем углу, заревела снова громко, надрывно, всерьез. Совсем свободно заплакалось ей, когда Наталья Семеновна помянула в песне родимого батюшку: Галя осиротела рано и поныне тоскует по своем отце-солдате.

Жених, сваха, тысяцкий, дружка и все гости со стороны жениха приехали за невестой на самосвале: другой свобод-

ной машины на льнозаводе не оказалось. В кузове самосвала толстым слоем лежало свалявшееся за сорок километров желтое сено.

Ничего похожего на серого волка!

Раньше забирали невесту и справляли свадьбу сначала в родном дому жениха, затем возвращались пировать к родителям невесты. От заведенного порядка пришлось отступить и сделать все наоборот: отпировать у невесты и лишь после этого везти ее «на чужую сторону». Такая перемена диктовалась отсутствием транспорта и слишком большими перегонами взад-вперед.

Как приложение к даровому самосвалу пировать к невесте прибыли несколько конторских работников с льнозавода во главе с директором. Эти гости считались почетными.

Перед въездом в деревню гостей встретила бревенчатая баррикада — ее соорудили местные молодые ребята. По обычаю, свадебный поезд следовало задерживать в пути и брать за невесту выкуп, а грузовик не тройка с колокольчиками, его живой людской цепочкой не остановишь.

Стоял большой мороз, не меньше тридцати градусов, и, конечно, парни работали и топтались на холоду не из-за корысти, не из-за бутылки водки. Для них свадьба была чем-то вроде самодеятельного спектакля. В огромной деревне Сушинове до сих пор нет ни электричества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба. За два последние года сюда не заглянула ни одна кинопередвижка. А молодости праздники необходимы! Пожилые колхозники по вечерам дуются в карты, собираясь из года в год в избе Нестора Сергеевича, оплачивая этому добровольному мученику за помещение, за грязь, за керосин с кона. А куда деться молодым? К тому же почти все они обременены семилетним и восьмилетним образованием. Раньше девушки пряли лен, собирались на беседки к одной, к другой поочередно, туда же тянулись и парни. Теперь лен трестой сдают на завод. И вот каждая свадьба в деревне становится всеобщим праздником, всеобщей радостью. Не потому ли и сохраняются здесь почти в неприкосновенности все былые обычаи и обряды с волокнистыми песнями про князей и бояр?

Перекрытые полевые ворота зимой не объедешь и даже не обойдешь: снежные сугробы достигают здесь двухметровой глубины. Счастливые озорные парни торжествовали: гости, закоченев в самосвале, не торговались, и долго расхваливать невесту не пришлось. А главное, было весело.

Весело стало и в избе невесты, как только ворвался туда

дружка Григорий Кириллович. Бывалый человек, с неуемным озорным характером, прошедший во время войны многие страны Западной Европы как освободитель и победитель, он сохранил в памяти бесчисленное количество присловий и прибауток из старинного дружкиного багажа и не пренебрегал ими.

Сват да сватья,
Наехала сварьба,
Мне не веритё —
Сами увидитё!—

закричал он, стуча кнутовищем по крашеной лазоревой заборке, отделяющей горницу от кухни.

Невеста еще плакала, причитальница пела, девушки подпевали, как умели, но всем было уже не до того и невесте не до слез. Гриша завладел общим вниманием, властно подчинил все звуки своему немного охрипшему на морозе голосу.

Ворвался на кухню и жених. Он оказался и впрямь несообразно высоким и худосочным. Вспомнились слова Марии Герасимовны: «Какие нынче женихи пошли, в армии побывал — и ладно. Ничего парень! Брови белые!..» Звали его Петром Петровичем.

Чтобы довезти жениха до невесты живым, не заморозить, ему разрешено было по дороге пить со всеми наравне, и Петр Петрович ввалился на кухню пьяным и гордым собою не в меру.

Галя сразу притихла, начала поспешно вытирать слезы. Стало понятно, почему она так долго отказывалась выполнять старые обычаи на своей вечерине.

— Я тебе что сказал?— с ходу властно заорал Петр Петрович.— Я тебе сказал: не реветь! А ты что? Что, я тебя спрашиваю?

— О, господи!— ужаснулась испуганная Наталья Семеновна.— Еще не мужик, а уж форс задает. Что потом-то будет?

— Что ты, Натаха, неладно-то говоришь?— с упреком кинулась на нее Мария Герасимовна.— Что он такое сделал?— И начала уговаривать, успокаивать своего будущего зятька:— Петя, Петенька! Ничего, Петенька! Ну, поревела маленько, так ведь ничего это, Петенька! Так заведено, Петенька!

А невеста от страха вдруг заревела пуще прежнего. Ее прикрыли собою девушки.

— Кому венчаться, а мне разоряться,— продолжал балагурить Гриша.— Сколько с меня, девки?

У каждого дружки своя манера балагурить. Кроме расхожего, известного повсюду набора острот и поговорок, у него должны быть и свои шутки-прибаутки. Чувство юмора и находчивость для него обязательны. Это уже область творчества. Не всякого приглашают в дружки.

Григорий Кириллович сначала кинул в сарафанные подолы девушек несколько горстей конфет, а затем стал с силой забрасывать их серебряными монетами. Делал он это с ожесточением — не то от злости, не то от великой щедрости. Деньги покатились по полу, под стол, под скамейки. Зазвенели окна, лопнуло стекло у иконы, казалось, вот-вот разлетится вдребезги и ламповое стекло; кто-то завизжал от страха, Наталья Семеновна прикрыла фартуком лицо.

Но все монеты оказались устаревшими, дореформенными. Смех и грех! Собственно, греха не было, был только смех и новый повод для взаимных острот и насмешек.

Девушки все же настояли на своем: жениху и дружке пришлось дать приличный выкуп за невесту вином и настоящими деньгами.

После этого к Гале была допущена сваха. Пожилая женщина проделала истово и торжественно все, что полагается согласно старым обрядам. Она помогла невесте одеться тепло, по-зимнему, как бы в дальнюю дорогу, хотя уже все знали, что сегодня никакой дороги не будет, и так, в зимнем пальто, вывела ее из кухни, маленькую, толстенькую, и посадила за стол в красный угол рядом с женихом, который также был одет по-зимнему, в чем приехал. Под сиденье жениху и невесте постелили кошули — полушубки, поддетые материей, чтобы молодые возвышались, «как на троне». Невесте под сиденье положили кошулю потолще. Долговязый жених, взгромоздившись на трон, едва не достал головой до потолка.

Начался пир, по кругу пошла белушка, родственники первыми поздравляли молодых, кричали им «горько», требовали «посластить». Молодым разрешалось пить только из одного стакана — за этим следили строго, чтобы жених не переложил еще больше. Как видно, слабость эта за ним водилась.

Начали собираться гости и со стороны невесты. Каждого входящего встречали еще у порога стаканом пива либо белушкой.

Понесли «сладкие пироги».

Сладкие пироги на северных сельских свадьбах и других

праздничных пирах обязательны. Традиция эта давняя, может, многовековая.

Сладкий пирог — белый, сдобный, круглый, величиной с решето, а то и больше. Сверху на нем всякие завитушки, плетеные узоры из теста и разноцветные монпансье («лампасея») да еще изюм. Нынешние свадебные пироги из-за отсутствия в районе изюма и ландрина украшены были бледными конфетами-подушечками с повидловой начинкой.

Вот когда я пожалел, что не вспомнил в Москве об этих сладких пирогах. Каких бы разноцветных атласных и прочих подушечек мог набрать я в гастрономическом магазине «Ударник»! Леденцы там по своему разнообразию и многоцветности не уступают коктебельским камушкам. Все это дешевое богатство я мог привезти с собой, и оно успело бы попасть на свадебные столы.

Вспоминаю свое детство: после праздников мы, малые ребятишки, допускались к сладким пирогам и с вожделением выковыривали «глазки» — ландринки, запеченные в тесто.

Сладкие пироги на Севере — такое же народное творчество, как резные наличники на окнах, петухи и коньки на крышах, фигурные расписные прясницы и кустарные ткацкие станы, как колокольчики «дар Валдая» под дугой и бубенчики (воркунцы, ширкунцы) на ошейниках у лошадей.

Каждая семья, приглашенная в гости, на свадьбу, идет со своим сладким пирогом. Большачиха, она же стряпуха, несет пирог в широкой круглой лубяной «хлебнице» либо на «веке» — крышке от хлебницы, и прикрыт пирог красной вырывной салфеткой с кисточками. Кроме этого главного гостинца, в корзине или в хлебнице могут быть и простые белые пироги, колобаны.

— Горько! — все чаще раздается то в одном углу избы, то в другом, и жених с невестой встают и троекратно неумело целуются. Петр Петрович при этом сгибается, а Галя плотно сжимает губы и от смущения закрывает глаза.

— Горько! — требовательно кричат снова.

Счастливая Галя отпивает несколько глотков из общего стакана и передает остаток пива жениху. Тот, не разгибаясь, опрокидывает стакан в рот и шутит:

— Если б знал, не женился бы, даже выпить как следует не дают.

Сваха с тревогой посматривает на него, что он такое еще сделает и не наговорил бы чего-нибудь лишнего.

— Горько!..

Любой пир — прежде всего люди. Человеческие характеры легко и свободно раскрываются на пиру. На всяком сельском празднике обязательно пляшут и плачут, спорят и вздорят, смеются и дерутся; одни молчат, другие кричат; молодицы поют, вдовы слезы льют.

Среди мужчин на пиру очень скоро объявляются типично русские правдоискатели, ратующие за справедливость, за счастье для всех. Достается от них и немцам, и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй, достается самим себе, своим соотечественникам. Таким людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все время спрашивают: что делать? как быть? кто виноват? и знают ли о наших бедах наши главные? видят ли они всё? В этой неуемности проявляются, должно быть, черты национального характера. Но не дай бог попасться на целый вечер в руки такому самосожженцу: ни пира, ни мира не будет, ничего не увидишь, ничего не услышишь.

Объявляются также и заурядные хвастуны — люди самодовольные, недалекие, кичащиеся своим служебным положением, своим заработком, даже неправедным, нечистым; хвастающие своим домом, домашней утварью, домашним скотом и, наконец, женой и тещей.

В древних русских былинах говорится о том, как добрые молодцы садятся за стол и — «один хвастает родным батюшкой, другой хвастает родной матушкой, умный хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой женой». Современные хвастуны скромнее. Весь первый вечер ходил от стола к столу пожилой колхозник и, не переставая сам удивляться и радоваться, хвалился своими пластмассовыми, недавно вставленными зубами. Почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет челюсть, покажет ее всем и опять вставит.

— А теперь смотрите, как я жевать буду. Кости грызть могу — чудо! В нашем районе сделали!

Редко, но встречаются хвастуны и незаурядные, необыкновенные. Слушать таких — одно удовольствие. Это счастливцы, жизнелюбцы и своего рода художники слова, своеобразные сельские лакировщики действительности.

Хвастаются, например, изобретательностью. В прошлом году, чтобы обеспечить кормом своих коров, колхозники ухитрились выкосить на озерах всю осоку уже после ледостава.

— Никогда бы раньше мужику до такого не додуматься, головы не те были. Ледок тоненький, похрустывает, а ты

идешь с косой и в полную силушку поверх льда — вжик, вжик! Вот пишут: на заводах то-се, смекалка, а мы разве без смекалки живем?..

Другие вторят:

— До многого раньше умом не доходили. Вот, скажем, коза. Раньше у нас считали козу поганой животиной, от молока ее с души воротило, хармовали. А коза чем хороша? Ей корму меньше надо. Дашь осинового листу либо коры сосновой — она и сыта. Афиши и газеты жрет — все ей на пользу. В деревнях теперь козы в ход пошли!

— У меня коза Манька восемь литров за сутки дает!

— Ну, знаешь!..

Хвастаются тем, что хлеб растет иной год даже на неудобренных и необработанных землях...

А многие просто сидят и молча пьют, ни о чем не думают, ни о чем не спрашивают — отдыхают. Конечно, кто-то и перепивается. На всякой пирушке хоть один да сваливается под стол либо начинает шуметь, требовать к себе особого внимания, задирается, скандалит.

На разных людей хмель действует по-разному: одним ударяет в голову, другим в ноги, третьим в руки. Одни становятся ласковыми, влюбчивыми, со всеми готовы перецеловаться, другие — злобными.

Слез и жалоб больше всего среди женщин. Неудачно вышедшие замуж плачут на любом пиру, и так всю жизнь. Старые матери плачут о потерянных детях, о непутевых дочерях, сходившихся с мужиками не по-людски, без закона, и теперь мающихся из-за этой уступчивости; вдовы — об убитых на войне мужьях («даже похоронной не было!»).

А встречаются вдовы и довольные своей судьбой: озорные, разбитные, первые певицы и плясуньи. Замужем они были, как на каторге: ни одного доброго слова, только зуботычины да — «Пошла ты на три буквы!» — а сейчас освободились, расправились и в колхозе всем равны, и дома сами себе хозяйки, они и погулять, и поозоровать не прочь.

Сразу напился и пошел кренделя вертеть дядя жениха. Он еще до женитьбы судился дважды за хулиганство. Жена его, Груня, бухгалтер на льнозаводе, настоящая великомученица: то возится с ним, как с малым ребенком, то прячется от него на кухне, на полатях, в сенях — все зависит от настроения загулявшего его величества («А тверезый-то он — человек как человек!»). В первый же вечер этого дядю родственники вынуждены были связать, а на другой вечер

прибегли к более современному и гуманному средству: дали ему в стакане пива лошадиную дозу снотворного.

Груня нашла себе подругу по несчастью, и вот две женщины — у одной владыка спал, у другой, у Тони,— смазли́венький, с лисьим тонким личиком, ненасытный женолюб, увивался около дородных вдовиц,— сидели две женщины на кухне, в уголке, целый вечер вдвоем и одна перед другой изливали свои души.

— Мой тоже побывал в милиции,— рассказывала Тоня.— Взяли с него подписку, что больше фулиганить не будет, он расписался — и все. Я говорю им: «Он же меня убить грозится, ребятишки ведь без матери останутся. Свою избу однажды поджигать стал». А они говорят: «Вот когда допустит чего-нибудь этакое, тогда мы и заберем его и приструним!»

— Твоего только в милицию возили, а мой уже в тюрьме сидел не раз,— завидовала подружке Груня.

— Думаешь, мой не сидел?— машет рукой Тоня.— Только я об этом не рассказываю. Сидел и принудиловку отбывал. Первый раз сидел, когда еще холостой был. Подрались, и он на па́ру со своим отцом человека убил. Обоих по амнистии освободили. Другой раз, уже при мне, был десятником стройконторы, работал на ремонте дороги, сговорился с кем-то и украл камни: камни эти никто для дороги не собирал, никто в глаза их не видывал, а он выписал наряд на них, будто собраны, и деньги пропили. Дали ему за эти камни два года. Просидел только один год и два месяца. Вернулся, поставили его завхозом на льнозаводе, второй раз завхозом. Чего только не тащили тогда с завода, чтобы пропить! Водка все смывала с рук.

— Вот-вот, все водка,— вставляет свое слово Груня.— И мой такой же!

Тоня продолжает:

— Поехал мой в командировку, в Ка́рныш, и там, опять с кем-то в сговоре, украл чужое сено: продали его в стогах, пропили. Дали принудиловки шесть месяцев. Работал пожарником, работал на пилораме — весь лес в его руках. Лес воровал. И все для водки, все для зеленого змия. Хоть бы домой нес, так уж ладно бы... А то приходит домой пьяный. «Клади,— говорит,— голову на плаху!» — «Не положу,— говорю,— ребятишек жалко, что с ними с тремя будешь делать?» — «Полезай,— говорит,— в петлю сама, чтобы на меня подозренья не было!» — «Не полезу»,— говорю. «Тогда лезь в подполье и не показывайся мне на глаза весь день».—

«В подполье,— говорю,— полезу». Запрет он меня в подполье и держит там, сидит надо мной. А ребятишки ревут, дрожат, боятся его. Надоест ему этот рев, он и откроет подполье: «Вылезай,— говорит,— утешай их, корми!» А сам опять уйдет к дружкам да к приятелям водку пить. Кабы не водка, может, мы и по-людски бы жили. Тверёзый он у меня тоже ничего, обходительный: человек как человек. Шибко много водки стали пить после войны.

Груня слушала, сочувствовала, но казалось ей, что у Тони положение все-таки лучше, чем у нее.

— У тебя, может, хоть дерется не так грозно, все-таки ведь безрукий, ударить сильно, поди, не может... Мой-то — зверь настоящий, кулаки у него железные. Стукнет по столу, так от косточек ямочки на досках остаются.

— Ой, что ты!— обижается Тоня.— Безрукий, а хуже троерукого. Силищи у него, у окаянного, как у дракона. Если не помогут, все равно повешусь либо сам топором меня зарубит. Он ничего не боится. «Я,— говорит,— всю войну прошел!» Недавно у нас баба удавилась, тоже из-за мужика, из-за пьянства. И мне со своим не совладать, он и вправду всю войну прошел, руку свою отдал, все ходы и выходы знает. Что я для него?..

Сидят две свободные, раскрепощенные, чуть подвыпившие женщины на кухоньке, укрывшись от общего шума и песен, и разговаривают, и плачут, и тоже шумят иногда, и уж не поймешь: жалуются они на своих мужей друг другу или хвалятся ими — до того оба они сильные да бесстрашные.

Брат невесты, тоже маленького роста, Николай Иванович — помощник колхозного бригадира, человек небойкий, малозаметный, но безотказный, работяга, из тех работяг, на которых везде воду возят,— неторопливо ходил из кухни в горницу, из горницы в кухню то с белушкой, то с пивным стаканом, то с графинчиком и стограммовой стопкой, продирался за столы, за скамейки, появлялся у порога перед новыми гостями, не забывая ни молчаливых, ни спорящих. Он был, так сказать, главным подающим на пиру, что-то вроде тамады. Но тостов он не произносил, красноречием не отличался, только настойчиво предлагал каждому выпить — и все тут. Отбиться от его угощения было невозможно, он прилипал к человеку, изнурял его своим терпением, не отходил до тех пор, пока тот, в безнадежном отчаянье махнув рукой, не выпивал все, что бы ему ни предлагалось. Считается, что, если на свадьбе нет пьяных, счастья молодым

не будет, и Николай Иванович понимал всю глубину ответственности, возложенной на него.

Время от времени он тащил то одного, то другого дорогого гостенька на кухню, за печушку, к матери своей, и Мария Герасимовна угощала их чем-то из суденки, по секрету. Появился там и директор льнозавода.

— Откушай-ко! Горит! — шепнула ему Мария Герасимовна.

— Ну? Горит? — обрадовался директор. — Тогда давай, за дальнейший рост!

— Кушай на здоровье!

Выпил директор секретную стопку, повеселел, подобрел к Марии Герасимовне и поговорил с ней:

— Дочка у тебя хорошая — Галя, все планы выполняет и перевыполняет. Сейчас и на сына посмотрел: тоже хороший мужик. Лишнего не болтает, ходит, угощает всех. Все люди у нас хорошие! У тебя двое?

— Двое осталось, девять было. Все умирали до году, — пожалобилась Мария Герасимовна.

— Отчего такое, жилось худо?

— Да нельзя сказать, что худо жилось. Только работала, себя не жалела. Ни одного ребенка до дому не донесла, то на поле родишь, то на пожне, а бывало, что и на дорогу вываливались.

— И оба у тебя мелкие ростом, и Галя, и сын этот, Николай. Отчего такое?

— Поди, оттого и мелкие, — не обидевшись, ответила Мария Герасимовна, — что ни себя, ни их не жалела. Дом большой, скота было много, а мужик еще охотой занимался. Потом овдовела, муж-то на войне остался, смертью храбрых. Да меня еще в депутатки не по один год посылали, тоже угомону не было.

— Куда в депутатки?

— Да в этот — как его? — в сельсовет.

— Значит, ты и общественную нагрузку несла?

— Несла, как же. На все заседания таскали.

Директор удовлетворенно заключил:

— Оттого у тебя и дети в люди вышли. Николай-то бригадиром?

— Помощником. Не знает уж, как избавиться от этой бедолаги, затаскали совсем. Раз в члены вступил, так терпи.

Выбравшись из кухни, подобревший директор попал в руки правдоискателей.

Три невестиных братана — так зовут здесь двоюродных

братьев — работают вместе на дальнем лесозаготовительном участке: один шофером, другой пильщиком-мотористом, третий заведует школьными производственными мастерскими и одновременно преподает физкультуру в восьмилетке. Три человека — три разных характера, а друг с другом не расстаются.

Шофер Василий Прокопьевич — бунтарь по натуре. Он забывает про еду и пиво, как только начинает рассказывать о непорядках в лесу, при этом лицо его бледнеет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все вопросы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он широко и знает много.

Другой братан — Ленька, человек веселый до легкомыслия, знает печальных историй не меньше, но непреодолимая жизнерадостность не дает ему надолго впадать в тоску и негодовать из-за каких-то несуразностей жизни. Он любит пошутить, посмеяться и вовремя рассказанным анекдотом смягчает острые разговоры и тяжелое настроение Василия Прокопьевича. Может быть, в этом больше мудрости, чем легкомыслия?

Третий — преподаватель физкультуры — вторит то одному, то другому из братанов. Он легко воспринимает чужие настроения, легко поддается им и в спорах и разговорах может становиться на любую из сторон. Где перевес — там и Михаил Кузьмич. Разгорячится Василий Прокопьевич — горячится и он и еще больше добавляет огня в костер самосожженца; развеселит всех Ленька — и он расскажет подходящий к случаю анекдот.

Я узнал, что жена Михаила Кузьмича называет своего благоверного бескостной миногой. Ей больше нравится шофер Василий Прокопьевич.

Директор льнозавода сам подошел к братанам, сидящим за столом. Они смеялись.

— Ну что, воины, как живется?

— Живем помаленьку! — ответил Михаил Кузьмич.

— Помаленьку нельзя. Вы молодые, вам надо хорошо жить. Время у нас такое. А пьется как?

— Пьем по маленькой, — отрапортовал Ленька.

— Маленькую и я сейчас выпил — хорошо прошла. А смеетесь над чем?

— Над директорами.

— Что такое? — встревожился директор.

— Да вот, понимаете, — Михаил Кузьмич повторил анекдот, только что рассказанный Ленькой: — Угробил у нас один шофер новую машину и вместе с ней директора,

стоит, в затылке чешет: «Ладно,— говорит,— директора дадут нового, а вот где я теперь запчасти достану?»

Рассказал и от удовольствия расхохотался снова. Засмеялся и Василий Прокопьевич. А Ленька, моторист, смотрит в глаза директору и ждет, как тот примет шутку. Но директор только нахмурился и задумался. Тогда Ленька рассказал еще один анекдот:

— Расхвастался иностранец своей чудо-техникой. «Смотрите,— дескать,— что у нас могут делать. Вот, скажем, курица.— Ленька развернул ладошку перед носом директора льнозавода и дунул на нее.— Фу — и вместо курицы яйцо. Фу — опять курица». Тогда наш инженер обиделся и сказал: «Подумаешь, чудо! У нас и не такое могут делать. Вот, скажем,— Ленька опять развернул ладошку,— директор!.. Фу — дерьмо. Фу — опять директор».

Братаны все трое дружно расхохотались, а подвыпивший директор льнозавода нахмурился и задумался еще больше и наконец сурово спросил:

— Вы где работаете?

Василий Прокопьевич сразу посерьезнел и пошел в атаку:

— А вам, собственно, для чего нужны наши сведения? Анкетку хотите заполнить?

По недоразумению или по злобе многие считают всех шоферов без исключения «леваками» и «калымщиками», бесстыже подрабатывающими на случайных пассажирах, и «малопьющими» в том смысле, что, сколько ни пьют, им все мало. Василия Прокопьевича ни в каком левачестве не заподозришь: не таков он человек, не тем живет, не о длинных рублях думает. К тому же и возит он не людей, а лес, ему не с кого собирать подорожные.

— Мы работаем в лесу, у нас свои порядки, и мы про них знаем,— запальчиво продолжал он.— А вот вы — директор. Знаете ли вы, что у вас на льнозаводе делается? Знаете? Ваши приемщики колхозы грабят, номера тресты занижают. Вы калымщик, вот вы кто! А ведь в партии, наверно, состоите?

Директор поначалу опешил, но, услышав слова о партии, воспрянул духом:

— Ты вот что, парень, меня критикуй, а партию не трожь!

— Партию я не трожу!— сказал Василий Прокопьевич.— А вы зачем колхозы обсчитываете? Партия с вас все равно спросит. Не прикроетесь!

Весельчак Ленька и Михаил Кузьмич дружно поддержали своего братана.

В разговор о льнотресте немедленно включились соседи по столу, и давний конфликт вышел наружу. Суть его в следующем.

На заводе старое, почти допотопное оборудование, из-за чего при первичной обработке льна получается очень большой, недопустимый по нормам процент отходов. Чтобы не прогореть даже при этом древнем оборудовании и выполнить и перевыполнить производственный план (обязательно перевыполнить — для отчетности, для премиальных!), работники льнозавода приноровились умышленно занижать сортность поступающей тресты. А лен — основной источник колхозных доходов. Треста оплачивается государством щедро, и разница в цене за лучший номер, даже за половину номера очень велика. Райком партии установил свой контроль за приемкой льнотресты, первый секретарь сам досконально изучил правила определения сортности льна, но этого контроля оказалось недостаточно. Колхозы и колхозники продолжают терпеть убытки и очень обижаются.

Пиво развязало языки, гости наговорили служащим льнозавода немало резкостей.

— Критиканы вы все, вот что, очернители! — огрызался директор.

А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий голос Натальи Семеновны — и полилась песня про князьев да бо́яров.

— Ладно, треста трестой, а вы скажите, долго ли у нас в лесу щепки будут лететь? — переключился на новые разоблачения Василий Прокопьевич. Он кричал, чтобы заглушить песню: — Почему везде человек человеку друг, а у нас в делянке один закон: совесть на совесть, кто кого обставит да обсчитает?

В наступление были пущены смазочные масла и горючее, нормы выработки в кубометрах, и километраж, и запчасти, запчасти для машин и трелевочных тракторов — главное, запчасти.

— Почему для одних шоферов запчасти есть, а для других нет? И почему все надо доставать, а не получать, не покупать?

Василию Прокопьевичу подают белушку пива, он принимает ее, не глядя, обеими руками, выпивает всю, до дна, не заметив даже, что́ пьет и сколько пьет, и, вытирая губы рукавом, продолжает говорить, говорить и спрашивать.

В душе его горит страстный огонь правдолюбца, он в запале и уже не видит и не воспринимает ничего, что не касается прямо и непосредственно его производственных бед и обид...

Михаил Кузьмич, заведующий школьными мастерскими, впадая в тот же тон, рассказывает, в свою очередь, что ребят приходится знакомить не с современной техникой, не с трактором, не с бензопилой «Дружба», потому что их в школе нет, а с утилем, собранным на кладбищах машин, а то и просто использовать школьников как чернорабочих, только бы заполнить часы, отведенные для производственного обучения; что зарплата для учителей все еще не упорядочена и многие уходят на лесозаготовки, становятся механиками, шоферами.

Наступило время для Леньки. Чтобы разрядить атмосферу, он вдруг начинает неистово кричать:

— Горько! Горько!

Его крик подхватывают гости из-за других столов:

— Горько!

Молодые послушно встают и чинно-благородно целуются.

— Ну как теперь?— спрашивает Петр Петрович.

— Горько,— не уступает Ленька.

Молодые целуются снова и уже не садятся.

— Теперь сладко?— спрашивает жених.

— Теперь ничего, жить можно!

Все пьют. Петр Петрович тоже поднимает стакан, но бдительная сваха останавливает его, и жених в который уже раз шутит:

— Даже выпить не дают как следует. Если б знал, не женился бы.

Гости с готовностью смеются. Смеется и счастливая невеста. Но разошедшийся Василий Прокопьевич все еще не смеется. Он услышал вдруг сладкоголосую Наталью Семеновну и обрушил на нее остатки своего гражданского гнева:

— Бо́яры-бо́яры, а сама тянет из колхоза все, что плохо лежит,— то лен, то сено охапками, то ржаные снопы. Прижмут ее — она в слезы: плакальщица ведь, артистка! А когда муж стоял в председателях, от нее никому житья не было. Однажды Ванька Вихтерков подкараулил ее в поле да забрался под суслон, будто от дождя, ждет, что будет. Причитальница добралась и до этого суслона, снимает хлобук, а он ей: «Хлобук-то оставь, Натаха, а то меня дождь смочит!»

— Брось обижать старуху!— вступился за Наталью Семеновну Ленька.— Наговоры одни, да еще заглазно.

— Я и при ней скажу.

— Чего скажешь, коли сам не видел.

— Я не видел, другие видели.

— Никто ничего не видал.

— Конечно, одни наговоры,— поддержали Леньку сидевшие рядом женщины.— Худославие одно. Ее, Наталью, тоже понять надо.

— Ладно!— начал сдаваться Василий Прокопьевич.— Только ведь сожгла же она недавно соседский стожок на лесной дербе. Все об этом знают...

— Опять все!

— А вы дайте ему договорить!— вмешался в спор Михаил Кузьмич.

И Василий Прокопьевич договорил:

— Деребку эту она скашивала сама не по один год, а тут приходит — сено сметано. Подумала, что это колхоз выкосил и сгреб, ну и подожгла. Срамили ее!.. Вот тебе и бо́яры, и монастыри с монашками!

Молчун Николай Иванович, главный подающий, слушал, слушал эти слишком серьезные для него разговоры да как грохнет пустым стаканом об пол. Гости от неожиданности вздрогнули: что это с ним, с тихоней? А с ним ничего! Он просто хочет, чтобы молодые жили счастливо. Добиться же этого нетрудно, надо бить стеклянную посуду.

И еще: Николаю Ивановичу тоже поговорить захотелось.

— Вон какую свадьбу отгрохали!— хвастливо показывает он на столы.

А на столах полно сладких пирогов, которых никто не решается трогать, они лежат для украшения. Едят мясо, жареную треску, яичницу на широких сковородках, называемую селянкой, рассыпчатую кашу из овсяной крупы — заспы, все соленое-пересоленое.

— Пей горько да ешь солоно — никогда не закиснешь!— сказал дружка Григорий Кириллович.

— Горько!

— Сколько у вас присчиталось в этом году?— спрашивают Николая Ивановича. Вероятно, кто-то почувствовал его неутоленное желание вступить в общий разговор.

— На трудодень-то?

— Да.

— А ничего не присчиталось. Только добавочные платим.

— Совсем на трудодни не выдавали?

— Нет, выдавали, как же.

— Сколько выдали?
— Да ничего не выдали.
— И ты ничего не получил?
— Получил, как же. Не я один.
— Сколько же ты получил?
— Один раз пять рублей под расписку, а другой раз — так.
— А так — это сколько?
— Да рублей двадцать, не больше.

Все идет «как следно быть, все по-хорошему», как и хотелось Марии Герасимовне. Ей самой ни поесть, ни выпить некогда.

Женщины усадили гармониста на высокую лежанку и плясали до упаду, то и дело обтирая потные лица платками и фартуками. Гармонисту обтирать свое лицо было некогда, и за него это делала какая-то услужливая молодая девушка — дроля, наверно.

Дробили с припевками, с выкриками. Особенно отличался кокетливый, не по-деревенски смазливый паренек — почтальон из сельсовета, до того смазливый, что казался подкрашенным, напомаженным. Он знал много современных частушек, которые называл частухами.

Сидит милка на скамейке,
Не достанет до земли.
В кассу я отнес копейки,
Через год возьму рубли.

Наверно, он сам сочиняет эти частухи.

Плясали, пока у гармониста не вывалилась гармонь из рук.

Седой бородатый мужик продолжал хвастать своей пластмассовой челюстью, вынимал ее, нечистую, розоватую, с белым рядом зубов, протягивал через стол, но чужую челюсть никто в руки брать не хотел, и он, широко раскрыв рот, водворял ее на место.

Нашлись хвастуны и похлеще.

— В этом году наш колхозный план все-таки утвердили. Пять раз пересматривали в райисполкоме, заставляли переделывать, а на шестой раз утвердили. Правда, от наших первых наметок ничего не осталось. Так ведь что поделаешь: у нас свои расчеты, у них свои — им цифры сверху спущены.

— Мы тоже своего добились — закрыли птицеферму. По пятку яиц в год на несушку выходило. Золотые яички, одно разорение! Разрешили прикрыть.

— Как же план по яйцу?

— Выполним! Пашем на колхозных лошадях приусадебные участки: тридцать яиц с участка подай — и никаких хлопот!

Не обошлось и без охотничьих бухтин.

— Иду это я раз вдоль осёков, гляжу — что-то шевеличча. Вдруг, думаю, заяч? Дай, думаю, стрелю! Стрелил, прихожу — и, верно, заяч.

Добычливого охотника тут же поднимают на смех:

— Бежала овча мимо нашего крыльча да как стукнечча да перевернечча. «Овча, овча, возьми сенча!» А овча не шевеличча. С той поры овча и не ягнечча.

— Самая доходная охота, ребята, все-таки на медведе́й. Ежели год выпадет ягодной, то и в лесах на каждом горелом месте от малинников проходу нет. Кукуруза, и только! И набирается в эти малинники медведей видимо-невидимо: сладкое любят. Нажрутся они малины и дрыхнут вповалку. А спящих медведей, ребята, можно голыми руками брать. Иду это я раз по малиннику с топором: одному медведю напрочь голову отрубаю, другого глушу обухом по лбу. А ежели какой проснется, так все равно от медвежьей болезни сразу силы теряет, с таким тоже долго чикаться нечего. Прямо на тракторе вывози — столько их вокруг меня положено было.

В минуту, когда разговор шел еще о птицеферме, дружка Григорий Кириллович, вдруг словно бы спохватившись, вышел из избы. Сейчас он вернулся с живой курицей в руках. Соблюдая какой-то древний языческий обряд, он остановился посреди избы, взял курицу за голову, с силой встряхнул ее — и обезглавленная тушка запрыгала по полу, брызгая кровью, теряя перья.

Курицу зажарили и со свежей курятиной и пивом обходили гостей.

В деревне Сушинове этот обряд до сих пор никому не был известен, и в чем его смысл — никто растолковать не смог, но свежая курятинка всем понравилась.

Вездесущий дружка балагурил и колобродил в течение всего вечера, и пил он не меньше других. Дружке все позволено, все прощается. Совершенно по-другому — строго, сдержанно, с достоинством — ведут себя сваха и тысяцкий. Особенно тысяцкий, дядя жениха,— здоровенный, высоченный, он словно бы стесняется своего роста и своей могутности. Но дело, оказывается, не в этом. Несколько лет тому назад тысяцкий был в Сушинове председателем колхоза,

а такое не забывается. Каждое его слово здесь и поныне должно быть, конечно, дороже золота.

Но ни сваха, ни тысяцкий не уследили за своими подопечными. Под конец напился-таки Петр Петрович. Вероятнее всего, затащил его Николай Иванович по секрету в куть, к матери своей, и та не пожалела самодельного зелья дорогому зятьку.

Напился молодой князь и начал куражиться. Нашел где-то каракулевую шапку, нацепил ее на ухо и кричит:

— Я Чапай! Кто на моем пути? Всем приказываю: долой!

Испуганно заметались по избе женщины, будто овцы в хлеву, мужики смотрят на нового своего родственника с недоумением, думают: не связать ли и этого, а Мария Герасимовна так и стелется перед ним, заласкивает, улещивает:

— Петенька, Петенька, Петенька!

Расстилает перед ним ковры и молодая княгиня Галя, хватает его за длинные, непроизвольно болтающиеся руки, поддерживает его, чтобы ходули не подогнулись. А князь чванится, хорохорится, рубаху на себе рвет, ваньку валяет.

— Ты кто? — спрашивает он Галю, подбираясь худосочным кулачишком к ее заплаканному розовощекому лицу.— Жена ты мне или нет? Я Чапай! Понимаешь ты это: я — Чапай!

— Ты, Галька, уйди с глаз, не мельтеши, не дразни его! — шепчет дочери Мария Герасимовна и вытирает Петру Петровичу рот.

— Э, куда я теперь уйду? — вскидывает Галя голову и вдруг ожесточается. В первый раз.— Ну ладно, ты Чапай,— говорит она мужу.— А только я больше тебя зарабатываю. Понял? Чего ломаешься-то? — И, резко повернувшись, скрывается с глаз.

«Что ж, для начала, пожалуй, неплохо!» — подумал я. Совет да любовь вам, дорогие мои земляки!

Тысяцкий выкручивает руки молодому князю, своему племяннику, и уводит его куда-то спать.

Под гармошку девушки прокричали несколько частушек-коротышек, возвещающих о том, что время уже позднее:

Пойдемте, девочки, домой,
Будет, насиделися:
Моего милого нет,
На ваших нагляделися!

И на этом первый день свадьбы закончился.

Правда, по деревне под ясным звездным небом долго еще ходили молодые мужики и ребята, но мороз стоял градусов за тридцать, и гармонь, вынесенная из жаркой избы, не пела. Гармонист разводит ее «от плеча и до плеча», парни со страшной силой изрыгают частушки, а гармонь не издает ни звука, даже не хрипит.

Вспомнилось: как-то в Москве, на перекрестке у Ленинской библиотеки, вот на таком же морозе милиционер приложил свисток к губам, а он не засвистел — застыл, должно быть. Дует в него регулировщик и сам смеется. Тем дело и кончилось: повезло шоферу-нарушителю.

* * *

Ночевали гости в разных избах, в одной места для всех не хватило бы. Я провел ночь у соседки Дуни, вдовы, два сына которой находились в армии. Одна в своей избе она никогда не ночует, боится нечистой силы, ей «блазнит».

Не могу сказать наверное, чтобы я эту ночь спал спокойно, хотя с нечистой силой дела иметь не пришлось. Но с вечера в избе беспрерывно визжал месячный поросенок — в хлеву Дуня его не держит, опасаясь, как бы не замерз. А в полночь неожиданно у самого изголовья дико заорал петух — оказалось, что в заднем углу избы под лавкой-скамейкой сосредоточилась вся личная птицеферма Дуни, за всю ночь ни одна курица не подала голоса, петух же принимался кричать неоднократно и с каждым разом, как мне казалось, пел все громче, все высокомерней. За один прием он кричал свое «кукареку» раз пятнадцать, если не больше.

Принято считать, что песня петуха музыкальна. Я тоже так считал и даже стихи об этом сочинял не единожды. Теперь же мне его песня музыкальной не показалась, да и песней я ее не назвал бы. Поневоле думалось только о нечистой силе.

Когда все пиво в доме невесты было выпито, шофер при помощи паяльной лампы завел самосвал — и свадьба отправилась за сорок километров, на родину жениха, в деревню Грибаево. Из невестиной родни в самосвал уселся брат Николай Иванович и еще кто-то. Братаны не поехали.

Товарищи из райкома партии сделали мне одолжение, послали легковушку, и мы с Виктором Семеновичем Сладковым, водителем вездепроходящего «газика», решили по-

садить к себе молодых. Молодые сели в машину, а сваха с иконой в руках недоуменно топталась у дверцы: ей не положено оставлять жениха с невестой ни на минуту, пока не доставит их в дом к родителям.

— Ну, садись, сваха, ничего не поделаешь! — с некоторой растерянностью согласился водитель. — Кого только я ни возил на своем веку, чего только ни возил, но икону на райкомовской машине возить не приходилось.

Получился настоящий свадебный поезд. Жалко только, снег не шел: когда свадьба выезжает в снег или в дождь — к счастью.

И никаких черепков девушки вслед не бросали. А раньше полагалось. Перед выездом невеста умывалась, девушки разбивали глиняный рукомойник и этими черепками забрасывали отъезжающих, чтобы невеста не вернулась домой, чтобы жилось ей счастливо и в новой семье.

На улице на морозе долго фотографировались. Увидев в моих руках фотоаппарат, женщины поснимали с себя полушубки и ватники, они хотели «сняться на карточку» обязательно в праздничных сарафанах. В деревнях очень любят фотографироваться. Но сделать живой снимок трудно: все лица перед объективом мгновенно напрягаются, деревенеют.

Мария Герасимовна с нами не поехала. Со слезами на глазах она наказывала дочери:

— Не забывай, бегай в гости почаще, ничего что далеко — ноги молодые. И не приходи без гостинца: без гостинца придешь — уревусь, подумаю, что от мужика сбежала.

Самосвал облепили мальчишки, чтобы прокатиться до конца деревни.

Все-таки раньше мальчишкам жилось, наверно, легче и, пожалуй, веселей, когда свадьбы справлялись не на грузовиках, а на тройках. В свое время я пронесся на задке свадебной кошевки целых двадцать километров — от районного городка, где учился в четвертом или в пятом классе, до своей деревни. Мой дядя, только что вернувшийся из Красной Армии и еще не расставшийся со своей остроконечной буденовкой, вез невесту из далекого Шалашнева мимо нашей школы. Мне с утра не сиделось за партой, ждал свадьбу и, когда завидел ее, опрометью вырвался из класса, успел на ходу схватить полушубок и вскочил на концы полозьев последней раскрашенной кошевки. Пели колокольцы, развевались цветные ленты, вплетенные в гривы и хвосты лошадей, сердце замирало от восторга и страха.

Из-за того, что у дяди на голове была прославленная буденовка, свадьба представлялась мне каким-то военным походом. Конечно, я обмерз, но вспоминаю об этом своем путешествии, как о самой лучшей из бабушкиных сказок.

Дядя погиб в прошедшую войну. Анна Григорьевна, бывшая тогда невестой, живет теперь на Бобровской запани под Архангельском в окружении сыновей и внуков. Недавно она сказала мне:

— Верно, какой-то парнишка висел тогда на запятках. Если бы знатьё, я бы тебя с собой рядом в кошевку посадила.

На машинах мы ехали ночью — полями, перелесками. Дорога оказалась расчищенной от снега, приглаженной: на днях из города в колхоз прошли шесть гусеничных тракторов с волокушками для вывозки торфа на поля. Волокушу — широченный громоздкий металлический лист — почему-то называют «пеной». Торф загружается на такую волокушу бульдозером, пёхом, и сгружается так же. Не потому ли «пена», что в поля на ней тянут больше снега, чем торфа?

Виктор Сладков не просто вел машину, а, как экскурсовод, показывал нам свои памятные места: здесь вот зайцы обычно дорогу перебегают; с тех высоких берез совсем недавно он снял из малокалиберки трех косачей; а на этой вот пашенке еще сегодня видел, как лисица мышковала.

Сладков — главный райкомовский водитель, и для всех шоферов района он царь и добрый бог. Это авторитет не только власти, но и опыта. Его машина больше других носится по непроходимым районным дорогам. Многих своих коллег Сладков вытаскивал из канав, из грязи, многим молодым устранял в пути неполадки в моторе, а главное — он всем помогает доставать запчасти. Хорошо знают райкомовского шофера и пешеходы: если свободен, остановится, посадит — и все за спасибо, не то что некоторые. Справедливый человек!

Ехать ночью по зимней проселочной дороге то с дальним, то с ближним светом автомобильных прожекторов сказочно хорошо. Дорога извивается, и никогда не знаешь, что откроется за следующим поворотом. Из тьмы вылетают навстречу какие-то призраки: причудливые пестрые кусты, кривые деревья, пни под снежными шапками, будто отпрянувшие в сторону прохожие, огромные, полузаметенные

снегом выворотни с зияющими черными дырами, в каждой из которых чудится медвежья берлога. Перелесок и поле, лес и опять поле. Снег то синий, то рыжий, а все время ждешь, что за сплошным зеленым ельником и поле будет зеленое.

Сладков рассказывает о зайцах и лисицах, и я вижу их следы: в кустах они глубокие, четкие, резко оттененные светом фар, а на открытых местах выпуклые — ветер выдул сухой сыпучий снежок, уплотнения же остались и поднялись над белой равниной, как маленькие побеленные столбики на обочинах шоссе.

Через все поле прошла лисица, столбики ее следа протянулись цепочкой от леса до леса.

Взбугрившаяся лыжня напоминает узкоколейку.

В полях было по-ночному тихо, а когда наши машины врывались в лесную чащу, вся она начинала шуметь и гудеть, наполняясь свистом шин и завыванием моторов. Казалось, что звуки по стволам уходят в звездное небо.

Я ехал и твердил про себя пушкинские строки: «Колокольчик однозвучный утомительно гремит».

До чего же все-таки не хватает колокольчиков!

* * *

В доме жениха сваха и тысяцкий остановили молодых в темных сенях и ждали, пока вынесут лампу и выйдут навстречу им родители.

Жениху и невесте положили на головы по караваю ржаного хлеба, отец и мать благословили их, поцеловали — опять в ход пошла икона. Петр Петрович очень стеснялся этого обряда, подшучивал, но обижать стариков не хотел, все сносил.

Отец ростом был еще выше сына и настолько здоровей, становитей, что длинноногий сухопарый жених при нем выглядел совершенным мальчишкой. Отца хотелось называть торжественно: родитель. Он, так же как его брат, тысяцкий, был скуп на слова, держался с привычным достоинством. Может быть, и он в свое время служил где-нибудь председателем колхоза?

А мать крутилась, вертелась как юла и звали ее Лия.

Деревня Грибаево уже была радиофицирована, в избе около божницы висела коробка громкоговорителя, и под потолком горело электричество. Во всем сказывалась близость промышленного объекта. Правда, чтобы свет воссиял

с достаточной силой, потребовалось ввернуть лампочки в сто пятьдесят свечей и меньшего вольтажа.

И красочных плакатов, и лозунгов в избе было больше, чем у Марии Герасимовны. В том простенке, где у Марии Герасимовны громоздилось чудотворное произведение зоотехника «Иван-царевич на сером волке», здесь висел плакат «Всегда с партией!». Рядом — краснощекая колхозница среди корзин с фруктами и овощами держит в руках огромный, как джазовый барабан, капустный кочан, и — надпись:

За труд, мастера огородов, садов,
Теперь за вами слово.
Вдосталь дадим овощей и плодов,
Сочных, вкусных, дешевых!

Неужели такое сочиняют вологодские поэты, мои друзья?

И еще плакаты: «Разводите водоплавающую птицу! Это большой резерв увеличения производства питательного дешевого мяса!»

Язык-то какой!

Мы за мир, чтоб на планете
Были счастливы все дети!

И еще, и еще...

В деревне находится восьмилетняя школа, и среди гостей на свадьбе много учителей. Еще больше служащих и рабочих с льнозавода.

Снова жениха и невесту посадили за стол, и опять в верхней одежде; так они и сидели долго, пока от них пар не пошел.

Опять было пиво, тосты в одно слово: «Горько!», «Горько!» — и пляска. Опять картинно целовались молодые, но Петр Петрович пил уже из белушки — добился-таки своего! А невеста то и дело кланялась как заведенная — таков был наказ матери.

— Теперь сладко! Пейте!— шутил жених и опрокидывал очередную белушку.

Каждого нового гостя и здесь встречали у порога стаканом пива. Хозяйка Лия раздевала гостей сама и с таким радушием, что пуговицы летели на пол. В этом, конечно, сказывался неукротимый ее темперамент, но главное — так было принято, и это считалось высшим шиком гостеприимства.

Опять завязался спор, и с еще большим ожесточением,

между работниками льнозавода и колхозниками относительно сортности сдаваемой льнотресты.

Все было как в доме невесты, все повторялось. Только Николай Иванович здесь никого не угощал, и ему совсем нечего было делать и не о чем говорить, он просто пил и молчал.

Бросилось в глаза кое-что и новое.

Гостей поначалу угощали пивом — хлебным, густым, бархатистым, а как только они начинали веселеть, им в ту же посуду подливали жидкую мутную брагу. Брага тоже пьянит, но после нее дико болит голова, из-за чего и прозвали брагу «головоломкой». Зато обходится она гораздо дешевле пива. Пивом поят, брагой с ног сбивают.

Кто-то из родственников невесты захотел повторить понравившийся обряд со свежей курятиной. Хозяйка Лия пришла в неистовство:

— Совести у вас нет — живой курице голову отрывать!

Табакуры попросили спичек. Лия подала коробку и предупредила:

— Останется что — верните!

Сначала подумали: примета на счастье. Вроде битья стеклянной посуды. Нет, оказывается, дело вовсе не в приметах.

— Вы чего скупитесь, свадьба ведь!— сказали ей не без опасения обидеть.— Где пьют, там и льют, где едят, там и бьют.

Лия не обиделась:

— А вы сразу разорить нас хотите. И без того расходы велики.

— Какая же свадьба без расходов? Этак ваш сынок захочет жениться по другому разу. Разорить надо, чтобы он о разводе не помышлял.

— Ладно, пейте, коли подают!

Утром невеста в присутствии гостей подметала пол в избе, а ей то и дело бросали под ноги разный мусор: проверялось, умеет ли она хозяйствовать. Обряд этот продолжался долго и был, пожалуй, самым развеселым. Родственники и гости изощрялись, приносили в избу сенную труху, изношенные лапти-ошметки, с грохотом кидали в углы битые горшки, всевозможный хлам и лом. Один разыскал где-то остатки кавалерийского седла и бухнул их на середину пола. Невеста только радовалась: с мусором на пол кидали деньги, чаще медные монеты, иногда бумажки. Правда, в старом седле она

ничего не нашла, хотя содрала с него всю кожу и войлок.

— Ищи, ищи! Плохо метешь, нечисто метешь!— кричали ей.

Галя старалась: у нее действительно все поглотила свадьба, все, что было ею заработано, скоплено за несколько лет. Но стоило ей зазеваться, как озорники хватали веник, и его приходилось выкупать.

Затем невеста — ее уже стали называть молодицей — обходила всех присутствующих с блюдом свежих блинов в масле. Гость выпивал почетный стакан, закусывал блином и выкладывал на блюдо свою мелочишку.

Еще позднее молодица в присутствии гостей раздавала подарки новой родне: свекру — голубую штапельную рубаху, свекрови — отрезы на сарафан и нижнее белье — подстав, свахе — ситец на кофту, золовке, сестре жениха, красивой статной девушке, недавно окончившей десятилетку и работающей в колхозе,— платье и алую ленту в косу, тысяцкому — отрез на рубаху, бабушке — головной платок, остальным — кому носовой платок, кому кисет для махорки. Все, что шилось и вышивалось в течение многих недель самою невестой и ее матерью и подругами, было роздано за несколько минут. Кажется, никто не обижался.

Я, приезжий человек, тоже не был обойден. В дни свадьбы наградили меня бесценными подарками дружка Григорий Кириллович и колхозный шофер Иван Иванович Поповский. Они облазили немало чердаков и поветей и нашли для меня набор литых поддужных колокольчиков да воркуны-бубенцы на кожаном конском ошейнике.

Скоро таких не будет и на Севере: не на грузовики же, не на самосвалы же свадебные их навешивать!

Подарили мне также резную раскрашенную прясницу столетней, по крайней мере, давности. Такие тоже, наверно, скоро исчезнут с лица земли. А к прянице — плетеную веретеницу с веретенами. Еще молотило березовое — цеп, валявшийся без надобности почти с начала коллективизации. Удалось мне также достать два заплечных пестеря из березового лыка.

С этими свадебными подарками я и вернулся в Москву. Один пестерь подарил Константину Георгиевичу Паустовскому к его семидесятилетию, другой — знакомому поэту в день его свадьбы, и еще в придачу лапти собственного плетения.

Все раздарил. Себе оставил только берестяную солоницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике.

Сижу за столом, пишу да позваниваю иногда, слушаю: хорошо поют!

ПРИЧЕТЫ*

КРАСОТА

Записано с голоса Поникаровой Клавдии Ильиничны, в деревне Скочково, Осиновского сельсовета, Никольского района, Вологодской области. Кра́сота бывает вечером накануне вечери́ны и свадьбы. Собираются девушки в куть, а невеста ревет, даже хлещется. Раньше приглашали при́читальниц. Поется без гармони.

И я сижу, сижу мо́лода у окошечка кутного,
И у окошечка кутного. Думаю я, подумаю,
И думаю я, подумаю: выходила я мо́лода,
И выходила я мо́лода на крылечко красивое,
И на крылечко красивое, да глядела я молода,
И что глядела я молода да на все четыре стороны,
И вот на все четыре стороны мне в трех-то сторонушках,
И мне в трех-то сторонушках ничего не почудилось,
И ничего не почудилось. Во четвертой-то сто́роне,
И во четвертой-то сто́роне чула конёё топаньё,
И чула конёё топаньё, молодецкое свистаньё,
И молодецкое свистаньё. Это и́здит чуж-чуженин,
И это и́здит чуж-чуженин, это ищет чуж-чуженин,
И это ищет чуж-чуженин себе сваху ту княжую,
И себе сваху ту кня́жую, княжу́ю да бо́ярскую,
И да княжу́ю да бо́ярскую, да из тетушек тетушку,
Да из тетушек тетушку, из божаток божатушку,
Да из божаток божатушку, себе кресную матушку.
Още ищет чуж-чуженин себе дру́жку ту кня́жую,
И себе дружку ту кня́жую, княжу́ю да бо́ярскую —
И это мне молодёшеньке.

Причитальница делает перерыв, а невеста продолжает реветь. Переход делается на другой голос, чтобы невесте было еще тоскливее.

Солнышко закатается, дивьёй век коротается,
И дивьёй век коротается, да пошел день на́ вечер,
И да пошел день на́ вечер, да прошел век девичьёй,
И да прошел век девичьёй, прошло девичьёё житьё,
И прошло девичьёё житьё, всё хоженьё да гуляньё,

* А. Яшин хотел издать «Вологодскую свадьбу» отдельной книгой и в конце текста повести поместить «Причеты». Выполняем его желание.

И все хоженьё да гуляньё, отходила-отгу́ляла,
И отходила-отгу́ляла летом по́ шолковой траве,
И летом по́ шолковой траве, зимой по́ белому снегу,
И зимой по́ белому снегу откаталася ленточка,
И откаталася ленточка с плечика да на плечико,
И с плечика на плечико, с правого да на левое.
И я думаю да подумаю, я возьму дивью кра́соту,
И я возьму дивью кра́соту во свои белы рученьки,
И во свои белы рученьки я возьму да и по́держу,
И я возьму да и по́держу у сердечка ретивого,
И да у сердечка ретивого да у белого личика,
И да у белого личика: моя милая, милая,
И моя милая, милая цестно ди́вяя кра́сота,
И цестно дивяя красота, и куды мне деватися?

И я думаю да подумаю, унесу дивью кра́соту,
И унесу дивью кра́соту на садовую мяндочку,
И на садовую мяндочку унесу да и по́сажу,
И унесу да и по́сажу. Это тут моей кра́соте,
Это тут моей красоте ой и место и мистецько,
Ой и место и мистецько, место кра-асова́ньицё,
И место кра-асованьицё, моему-то сердеценьку,
И да моему-то сердеценьку лишнёё радованьицё,
И лишнёё радованьицё. Думаю я да подумаю,

И думаю я да подумаю: да поду́т-то добры́ люди,
И да подут-то добры люди по сока по ёдрёные,
И по сока по ёдрёные, подсекут мою кра́соту,
И подсекут мою красоту, подсекут мою дивьюю.
И это тут моей красоте, ей не место не мистецько,
И ей не место не мистецько, место не красованьицё,
И да место не красованьицё, моему-то сердеценьку,
И да моему-то сердеценьку лишнёё гореваньицё.

И я возьму дивью кра́соту во свои белы рученьки,
И во свои белы рученьки я возьму да и по́держу,
И я возьму да и подержу у сердечка ретивого,
И у сердечка ретивого да у белого личика,
И да у белого личика. Посажу дивью красоту,
Да и посажу дивью красоту на берёзу кудрявую,
И да на берёзу кудрявую. Это тут моей кра́соте,
И это тут моей кра́соте ой и место и мистецько,
Ой и место и мистецько, место кра-асова́ньицё.
(Уж она не знает куда со своей красотой деваться.)

И думаю я да подумаю: моему да сердецику,
И моему да сердецику лишнёё радованьицё,
И да лишнёё радованьицё. Да подут добры́ люди,
И да подут добры́ люди по сока́ по ёдрёные,
И да по сока по ёдрёные с топорами булатными,
И с топорами булатными подсекут мою красоту,
И подсекут мою красоту, подсушат мою дивьюю.

И думаю я, подумаю: да подут-то подруженьки,
И да подут-то подруженьки по шелковые виницьки,

И по шелковые виницьки, подсекут мою кра́соту,
И подсекут мою кра́соту, подсуша́т мою дивьюю.
И да подсушат мою дивьюю. Я возьму дивью красоту,
И я возьму мою красоту, ей не место не мистецько,
Ей не место не мистецько: моему-то сердеценьку,
Моему-то сердеценьку лишнёё гореваньицё,
И да лишнёё гореваньицё. Я возьму да и по́держу,
И возьму да и подержу у сердецька ретивого.

Унесу свою кра́соту на Дунай на быстру́ реку.
И на Дунай на быстру́ реку унесу да и по́сажу,
И унесу да и по́сажу я во лёгкуё лодочку,
И я во лёгкуё лодочку посажу́ да и на́кажу,
И посажу да и накажу: ты плови, плови, красота,
И да ты плови, плови, красота, не пристань, моя красота,
И не пристань, моя красота, да не к ку́сту, не к бережку,
И да не к ку́сту, не к бережку ты пристань, моя красота,
И ты пристань, моя красота, ко Великому Устюгу,
И ко Великому Устюгу, ко Дивьёму мона́стырю.
(Это-то ничего, что про мона́стырь пою? Можно ли нынче?)
И ты пристань, пристань, кра́сота, ко Дивьёму мона́стырю,
Ко Дивьёму монастырю. Из Дивьёго мона́стыря,
Да из Дивьёво мона́стыря выходила монашынка,
И выходила монашынка с дубовы́м ведёрышкам,
И с дубовым ведёрышкам, с кленовы́м коромыслецём,
И с кленовы́м коромыслицём: размахнёт да и по́черпнет,
И размахнёт да и почерпнет мою дивьюю кра́соту.

И мою дивьюю кра́соту она стала выспрашивать,
И она стала выспрашивать: ты отколь, отколь, красота?
И ты отколь, отколь, красота? — Уж я города Никольского
(красота уже начала говорить),
И уж я города Никольского.— Да какого правленьица?
И да какого правленьица? Да какиё деревни-то?
И да какиё деревни-то? Да какиё-ты девицы?
(кра́сота уж в ответ):
— И уж я города Никольска, да правленья-то Осинова,
И я правленья-то Осинова, я деревни Скоцькоськиё,
И я деревни Скоцькоськиё, уж я Нины Ильевны.
(Сейчас-то уж напиши, а потом имя-то можно
и переменить — какое складнее.)

Унесу дивью кра́соту за престол Богородицы
(Это монашынка-то почерпнула красоту — так унесёт в церкву),
И за престол Богородицы: это тут моей красоте,
И это тут моей красоте ой и место да мистецько,
Да ой и место да мистецько, место кра-асова́ньицё,
И место кра-асованьицё, моему-то сердеценьку,
И моему-то сердеценьку лишнёё радованьицё.

Вот и вся кра́сота. Уж за престол посадили, так куда этого лучше, все-таки нашла свое место. Раньше довго ревили, а нынче живо отвертя́т.

Отдохни маленько, дак вечерину теперь станем записывать. Хоть бы с рук сошло, за престол-от, хоть бы не посадили и то хорошо, какие уж там деньги.

После кра́соты белая баня для невесты — невеста и вся семья ходит. После белой бани девки нарядятся, невеста напоит их пивом, сама лежит на полатях да ривит. Давай топере вечерину будем играть.

ВЕЧЕРИНА

И колокольчики сбрякали, да сердечико дрогнуло,
И да сердечико дрогнуло, ретивое приодрогнуло,
И ретивое приодрогнуло, да не вё-ошная вода,
И да не вё-ошная вода под гору́ разлёвалася,
И под гору разлёвалася, подворотни вымы́вала,
И подворотни вымывала. Не давай-ко ты, батюшко,
И не давай-ко ты, батюшко, да ограду широкуё,
И да ограду широкуё, да под ко́ней под во́роных,
И да под ко́ней под во́роных, под князьёв да под бо́яров,
И под князьёв да под бо́яров, чтобы князья да бо́яра,
И чтобы князья да бо́яра на то осердилися,
И на то осердилися да назад воротилися,
И да назад воротилися, да меня бы покинули,
И да меня бы покинули во высоком во тереме,
И во высоком во тереме, во душах — красных девицях.

И подруби-ко ты, батюшко, да моста-ти калиновы
(Это свадьба на мост — сени — идёт),
И да моста-то калиновы, переводы малиновы.
(Уж они в избу входят, на порог шагают.)
И да не ком снегу бросило, да не искры рассыпались,
И да не искры рассыпались да во весь во высок терём,
И да во весь во высок терём, ко родимому батюшку,
И ко родимому батюшку, и ко мне молодёхоньке,
И да ко мне молодёхоньке, да во куть да во кутеньку.
Под окошком колотится дружка, в избу проситця,
И дружка в избу проситця. Я сама дружке о́ткажу,
И я сама дружке о́ткажу: дружка, проць от тёрема,
И дружка проць от тёрема, дружка, проць от вы́сока,
И дружка проць от вы́сока, не одна сижу в тёреме,
И не одна сижу в тёреме, со любым со подружками.
(Ну дружка забежал, колонул уж, настиг свадьбу не в избе. Свадьбу встречают батько да матка.)

И ласточки-косаточки высоко извивалися,
И высоко извивалися, низко́-оо опускалися,
И низко́-оо опускалися, сестриця́м называлися,
И сестриця́м называлися: ты роди-и-мой батюшко,
И ты роди-и-мой батюшко, ты сади, сади, батюшко,
И ты сади, сади, батюшко, да своих-то любых гостей,
И да своих-то любых гостей, ты сади да усаживай,

И ты сади да усаживай за столы белоду́бые,
И за столы белоду́бые, за скатерти клетча́тые,
И за скате́рти клетча́тые. Наливай-ко ты, батюшко,
И наливай-ко ты, батюшко, своего пива пьяного,
И своего пива пьяного, наливай по-о полною,
И наливай по-о полною, подавай по-склейному.
(Чтобы не сплеснуть.)
(Теперь будут сваху к невесте вызывать.)
Это сваха-то княжая, ты к чему, сваха, приставлена,
И ты к чему, сваха, приставлена, сваха, бу-удь догадлива,
И сваха, бу-удь догадлива: ты приди, приди, свахонька,
И ты приди, приди, свахонька, да ко мне молодёхоньке,
И да ко мне молодёхоньке и да во куть да во кутёньку.
(Сваха долго шрашиться, не идет к невесте.)
И не томи меня, не томи, я и то притомилася,
И я и то притомилася, хлеба-соли лишилася,
И хлеба-соли лишилася, от людей отменилася,
И от людей отменилася, от большого от малого,
И от большого от малого цёловека от всякого.
(Вот сваха заходит в куть к невесте.)
Это заходя́т-то ко мне чужиё люди добрыё,
И чужиё люди добрыё, да заносят-то ко мне,
И да заносят-то ко мне зелена вина пьяного.
(Это они со своим пивом идут, привозят с собой белушку.)

(Сваха подаёт, сваху осмеивают, так положено.)
У нас сваха-то княжая, она три года не́ пряла,
И она три года не́ пряла, она три года не́ ткала,
И она три года не́ ткала, всё на да́ры надеялась,
И все на да́ры надеялась: сваха, скинь оболоцецьку,
Сваха, скинь оболоцецьку, покажи ты исподоцьку.
(Сваху теребят, она убегает.)

А это дружка-то княжая: дружка, будь догадлива,
И дружка, будь догадлива, ты к цему приставлена?
И ты к цему приставлена? Ты купо́м-накупилася,
(Смеются над дружкой, денег даёт мало, жалеет),
И ты купо́м-накупилася да просо́м напросилася,
И да просо́м напросилася, за задки хваталася (кошёвки),
За задки хваталася да сугонь пригналася (бегом бежала).
Что у дружки у нашиё еще ноги лучинные,
И еще ноги лучинные да глаза заячи́нные.
(Говорят, давай боле денег, его бранят и держат.
А дальше уж дружка ушел из кутьи, убежал, как заяц.)

(Теперь давай доры́, батьку позовём.)
И ты, родимый батюшко, уж ты где ходишь-гу́ляёшь,
И уж ты где ходишь-гуляёшь, али на полу стоишь,
Али на полу стоишь, али пить пода́ваёшь,
Али пить пода́ваёшь ты, родимый батюшко.
И ты, родимый батюшко, не ослышься-послушайся,
И не ослышься-послушайся: ты приди-приди, батюшко,
И ты приди-приди, батюшко, да ко мне молодёхоньке.
(Дорить своего батьки будет.)
И да ко мне молодёхоньке да во куть да во кутеньку,

И да во куть да во кутеньку, ты прими-прими, батюшко,
И ты прими-прими, батюшко, от меня доры малые.
(Невеста-то обоймёт батьку-то да и ревет. Схватится ему за шею, да повесит ему на шею рубаху да штяны да и ревет шибче-то.)
И от меня доры малыя почитай за-а бо́льшиё,
И почитай да за большиё, носи в цесть да по праздницькам,
Носи в цесть да по праздницькам, по святым воскресеньицям.
(Ну, теперь матку.)
И ты родимая матушка, уж ты где ходишь-гу́ляёшь,
И уж ты где ходишь-гуляёшь? Не ослышься-послушайся,
И не ослышься-послушайся: ты приди-приди, мамецька,
И ты приди-приди, мамецька, да ко мне молодёхоньке,
И да ко мне молодёхоньке да во куть да во кутеньку,
И да во куть да во кутеньку, ты прими-прими, мамецька,
И ты прими-прими, мамецька, от меня доры малыё,
И от меня доры малыё почитай за-а бо́льшиё,
И почитай за-а бо́льшиё, носи в цесть да по праздницькам.
Носи в цесть да по праздницькам, по святым воскресеньицям.
(Теперь уж батько невесту за стол поведет. Вызовут его:
«Ты приди-приди, батенько, да во куть да во кутеньку»,—
Он придет в куть, возьмет ее за руку. Три раза сажают и ставят невесту па колени к батьке. Вырывают невесту.)

И ты, родимый батюшко, не берёзку вырываёшь,
И не берёзку вырываёшь, вырыва́ёшь-вырываёшь,
И вырыва́ёшь-вырываёшь своё чадо-то милое,
И своё чадо-то милое, свою доцень любимую.

(Три раза поют это. Невесту уведут к жениху, а девки поют уже под гармошку:

Дорогие девочки,
Подружку нарядила,
Забрала за праву ручку
В сутки́ посадила.

Подружки, три девки, садятся в сутки́ вместе с невестой. Невеста посидит, посидит, и дают ей благословенье. Опять поют.)

И ты, родимый батюшко, уж ты дай-ко ти, батюшко,
И уж ты дай-ко ти, батюшко, бласловле́нье великое,
И бласловле́нье великое, да твоё-ё бласловленьицё,
И да твоё-ё бласловленьицё из синя моря вынесет,
Да из синя́ моря вынесет, из темна́ лесу выведет,
Да из темна лесу выведет что твое бласловленьицё,
И что твоё бласловленьицё от ветру застиньицё,
И от ветру застиньицё. от дождя при-итульицё,
И да от дождя при-итульицё, от людей оборонушка,
И от людей оборонушка от большого, от малого,
И от большого, от малого, целовека от всякого.
(Это же поют и матке.)

И ты, родимая маменька, уж ты дай-ко ти, маменька,
И уж ты дай-ко ти, маменька, бласловленье великое,

И бласловленье великое, да твоё-ё бласловленьицё,
И да твоё бласловленьицё из синя́-моря вынесет,
И да из синя́-моря вынесет, из темна лесу выведет,
Из темна́ лесу выведет что твоё бласловленьицё,
И что твоё бласловленьицё, от ветру застиньицё,
И да от ветру застиньицё, от дождя при-иту́льицё,
И от дождя при-итульицё, от людей оборонушка,
И от людей оборонушка, от большого, от малого,
И от большого, от малого, целовека от всякого.

Невеста уж и пойдет оболакаться. Кланяется невеста батьку да матке, говорит:

— Спасибо, тятя да мама, что выкормили да выпоили, нарядили; спасибо за хлеб, за соль великую.

Вот и всё. Девку увезли... Еще девки в куте по гармошке поют, всего насобирают да и запляшут, пьяные. Невесту увезут, девкам веко пирогов и ведро пива.

По-прежнему-то много всего бывало: смотры́ да живашки (собираются девки и обшивают невесту, пиво пьют), красоты да и баню-ту — так Библию бы написал! Да и в лапти-то невеста обувается на смотрах и залезает на полати, чтобы больше пореветь, пока её разувают... Батько вожжами лупил, если силой выдают.

ЖИВАШКИ

Когда невесту просватают, она собирает девок, поревет и раздает им шитьё. В этот же день заваривают пиво. Она их поит суслом. Прежде отдавали замуж знаешь как: дуют, да иди, хоть и неохота.

И ужо час да теперичи я спала, спала мо́лода,
И я спала, спала мо́лода у родимого батюшки,
И у родимого батюшки во высоком-то тереме,
И во высоком-то тереме, на мягко́й на постелюшке,
И на мягко́й на постелюшке, на крутом на зголовьицё,
И на крутом на зголовьицё до зари ране утренней,
И до зари ране утренней, до красна́ ясна солнышка,
И до красна́ ясна солнышка. Меня бу́дило-бу́дило,
И меня бу́дило-бу́дило, меня горе да кру́чина,
И меня горе да кру́чина да печаль та великая.
(Сусла нет, все забыла...)
Расскажу вам, подруженьки: уж я видела, видела,
Да уж я видела, видела три-и сна я мудрёные,
Да три-и сна я мудрёные. Мне во сне-то приснилося,
И мне во сне-то приснилося, наяву очуди́лося,
И да наяву очудилося: я ходила-то мо́лода,
Да я ходила-то молода возле речки ти быстрыя,
И возле речки ти быстрыя, возле горы ти кру́тыя,

И возле горы ти кру́тыя сидела я мо́лода.
Да и сидела я молода возле сер горюч·камешек,
И да возле сер горюч камешек. Это горы ти кру́тые,
Да это горы ти крутые, это горе да кру́чина,
И это горе да кру́чина, да печаль то великая,
И да печаль то великая. Это рицьки ти быстрые,
И это рицьки ти быстрые — это слезы горючие,
И это слезы горючие. Это сер горюч камешек,
И это сер горюч камешек — это чу́жо-от чу́женин,
И это чу́жо-от чу́женин, дорогие подруженьки.
Дорогие подруженьки, у родного-то батюшка,
Да у родного-то батюшка и рощи́ ти намочены,
Что и рощи́ ти намочены, солода́ наготовлены,
И солода́ наготовлены, что под сусло-то сладкое,
Что под сусло-то сладкое и под пиво под пьяное,
Что под пиво под пьяное, под вино-то зеленое.
(Все уж подготовлено у батька.)
У родимого батюшка и была-то я милая,
Да и была-то я милая. Отчуди́лась у батюшка,
Отчуди́лась у батюшка, уж я стала-то лишняя.
Что и отдал-то батюшка в чужи люди-то добрыя,
И в чужи люди-то добрыя недосуг высыпатися,
Недосуг высыпатися: в чужих людях-то по́жила,
В чужих людях-то по́жила и в слезах умывалася,
И в слезах умывалася да рукавом утиралася.

(Не довгие живашки, довго-то ривить неохота.)

Откаталася головушка,
Отпел колоколец,
Четыре года не бывала
К тяте, к маме на крылец.

— Никто не поет — вот и забылось.

— Нынче под гармонь ревут?

— Никак не ревут. Правильно и делают: чего мы ревели до почесались. Я почеснулась, так всю жизнь грудь болит. У нас тятя рассердился: кончайте реветь, а то всех девок выбросаю. Я всю ватагу дарила — и реветь долго пришлось.

Ради бога, на меня не пропечатывай, лучше на Матрену какую-нибудь запиши. Испугалась я, сразу спотела.

— Кто такие князья да бояры?

— Князья-бояры — это сваха да тысяцкой, да свекор, да деверь. Раньше сварьбу-то ценили. Всем объявляют, чтобы вся округа знала, что сварьба будет. Поп в церкви все выспросит: не ворует ли чего, не гуляла ли с другим, не сидел ли в тюрьме. И если что выскажет, так пои и венчать не будет.

Пива́ варили на двадцать пудов — восемьдесят ведер. Пива́ были без сахару, густые, перевары — попарят, сменят хмель и опять варят. Были поварни, чаны общие для всей деревни. У нас, у тяти, все свое было, своя поварня.

1962 г.

РАССКАЗЫ





РЫЧАГИ

Вечером в правлении колхоза, как всегда, горела керосиновая лампа и потрескивал батарейный радиоприемник. Передавались марши, но их почти не было слышно. За сосновым квадратным столом сидели четыре собеседника, а табачного дыму было столько, что огонек в лампе еле-еле дышал, как в часы большого собрания. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму в избе много. На столе для окурков стоял глиняный горшок, он был уже полон. Временами в горшке от брошенной цигарки вспыхивал огонь, тогда бородатый животновод Ципышев прикрывал горшок осколком настольного стекла. При этом каждый раз кто-нибудь произносил одну и ту же шутку:

— Сожжешь бороду — коровы бояться перестанут!

На что Ципышев неизменно отвечал:

— Бояться перестанут, может, удоя прибавят.

И все смеялись.

Пепел с цигарки стряхивали на пол, на подоконники, а в горшок кидали только окурки.

Сидели долго, разговаривали неторопливо — обо всем понемногу и доверительно, без всяких оглядок, как старые добрые товарищи.

Сквозь полумрак на бревенчатых стенах проглядывались кое-какие плакаты и лозунги, список членов колхоза с указанием по месяцам количества выработанных трудодней, обрывок старой стенной газеты и пустая, вся черная, доска, разделенная белой чертой на две равные части: на одной половине мелом было написано «черная», на другой половине — «красная».

— А ведь сахар-то в сельпо на днях опять привозили! — сказал кладовщик Щукин, самый молодой из собеседников, в одежде которого замечалась уже городская школа: на нем была рубашка с галстуком, из нагрудного кармана пиджака торчали авторучка и расческа.

— Донес, что ли, кто? — лукаво спросил его третий из сидевших за столом, человек без левой руки, полный, рыхло-

ватый, в затасканном, чуть ли еще не фронтовом брезентовом плаще внакидку.

— Никто не доносил, а сам Микола с бабой послал мне на дом килограмма два, сказал — после рассчитаемся.

— И ты взял?

— Нет, не взял... Не брать, так всю жизнь без сахару просидишь. И ты бы взял.

— Ну, тебе-то, Петр Кузьмич, он не пошлет! — засмеялся в бороду Ципышев, глянув на однорукого сбоку, с прищуркой.— Злой он на тебя. А Серега ему свой человек,— обернулся он к Щукину.— Серега его не снимал с кладовой, хоть и сел на его место.

Сергей Щукин совсем недавно был рядовым колхозником. Вступив в партию с месяц назад, он начал поговаривать о том, что все командные высоты в колхозе должны занимать коммунисты и что ему теперь просто неудобно не продвигаться по должности. С ним согласились. Вспомнили, что колхозный кладовщик имеет уже несколько замечаний за воровство, и поставили в кладовую Щукина. На очередном общем собрании никто против этого решения возражать не стал. Щукин купил себе авторучку и стал носить галстук. А предшественник его ушел на работу в сельпо. О нем сейчас и шел разговор.

— Взять-то я взял,— сказал Щукин после некоторого раздумья,— но где же все-таки правда? Куда уходит сахар, где мыло, где всё? — После этих громких слов он достал расческу и стал приглаживать густые, молодые, непокорные волосы.

Тогда дал о себе знать и четвертый собеседник:

— Зачем тебе правда, ты сейчас — кладовщик?

Четвертый был человеком средних лет, но уже с сединой, бледный и, по-видимому, не очень здоровый. Он курил беспрерывно, больше всех, и много кашлял. Когда протягивал руку к горшку, чтобы выкинуть обжигавший пальцы окурок, видны были его большие толстые ногти и под ногтями — земля, не грязь, а земля. Это был бригадир полеводческой бригады Иван Коноплев. Слыл он мужиком справедливым, но злым, говорил редко, но едко. На резкие слова его обычно никто не обижался, видимо, люди не чувствовали в них нелюбви к себе. Не обиделся и Щукин.

А однорукий, которого все называли по имени и отчеству, Петром Кузьмичом, возразил:

— Ну, правда — она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять,

что у нас в районе делается? Вот ведь сказали — планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают. Третий раз вернули для поправок. Видно, собрали все колхозные планы, сбалансировали, и вышло — с районным планом не сходятся. А районный план дают сверху. Тут кумекать много тоже нельзя. Ну, и нашла коса на камень. Искры летят, а толку нет. От нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда! Не верят нам.

— Правду у нас в районе сажают только в почетные президиумы, чтобы не обижалась да помалкивала,— сказал бледный Коноплев и бросил окурок в горшок.

Ввернул свое слово и Щукин:

— Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима — так, что ли, выходит?

На лице бородатого животновода Ципышева вдруг промелькнула настороженность и какое-то чувство неловкости — казалось, ему перестал нравиться этот доверительный разговор.

— Ладно, руби, да знай, куда щепки летят,— жестко заметил он Щукину. И тут же изменил тон, словно пожалел о своей грубости.— Правда, брат, она есть правда... А вот тебя посади в почетный президиум, ты и перестанешь землю видеть,— сказал и засмеялся, раздувая усы и бороду. Борода у Ципыщева росла не только на подбородке, но и на щеках и за ушами, сливалась с густыми рыжеватыми бровями, нависавшими на глаза, и когда Ципыщев смеялся — смеялось все его лицо, все волосы, а глаза поблескивали откуда-то из глубины их.

— Был я на днях в райкоме, у с а м о г о́,— продолжал Петр Кузьмич, называя так первого секретаря райкома.— Что же, говорю, вы с нами делаете? Не согласятся колхозники третий раз план изменять, обидятся. Нам лен нужен. Под лен и лучшую землю отводить следует. А опыты у нас уже были и с кроликами и с травопольем. Сколько людей зря извели. Хлеба не стало — государству же во вред. Дайте, говорю, под кукурузу хоть десять, ну двадцать гектар на первый раз, а не сто, не тысячу. Привыкнем — сами прибавим, сами будем просить больше. Давайте не сразу... «Нет,— говорит,— сразу. Надо,— говорит,— план перевыполнить, надо активно внедрять новое». Активно-то, говорю, активно, да ведь у нас север, и народу мало, и земля — она своего требует. Людей убеждать надо. Ленин указы-

вал — активно убеждать надо. А он говорит: «Вот ты и убеждай! Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали, а сейчас ты убеждай других, проводи партийную линию. Вы,— говорит,— теперь наши рычаги в деревне». Говорит, а сам руками разводит, видно, ему тоже не все сладко. А гибкости в нем нет, не понимает он, чего хочет партия, боится понять.

— Накаленная атмосфера! — как бы пояснил его слова Щукин и снова потянулся за расческой.

— И не будет сладко. Он все равно долго здесь не усидит,— сказал Ципышев.— Не так себя поставил, строго очень. Людей не слушает, все сам решает. Люди для него — только рычаги. А я так понимаю, ребята, что это и есть бюрократизм. Вот, скажем, приходим мы к нему на собрание. Ну, поговори, как человек, по душам. Нет, не может без строгости, обязательно строгость соблюдает. Как оглядит всех сверху да буркнет: «Начнем, товарищи! Все в сборе?» — ну, душа в пятки уходит, сидим, ждем выволочки... Скажи прямо, если что неладно,— народ горы своротит за одно прямое слово. Нет, не может.

— Он думает, что партия авторитет потеряет, если он с народом будет разговаривать, как человек, по-простому. Ведь знает, что получаем в колхозе по сто граммов на трудодень, а твердит одно: с каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается благосостояние. Коров в нашем колхозе не стало, а он: с каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство. Скажи: мол, живете вы неважно потому-то и потому-то... но будем жить лучше. Скажи — и люди охотнее за работу возьмутся.

— Накаленная атмосфера! — снова заключил Щукин горячие слова Петра Кузьмича.

Иван Коноплев докуривал новую цигарку, нервничал и все порывался сказать что-то — видно, резкое и едкое, но тяжелый астматический кашель вдруг схватил его и вывел из-за стола. У порога Коноплев поднял веник и долго плевал в угол. А животновод Ципышев с сочувствием выговаривал ему:

— Опять, наверно, табак сменил? Я тебе давно наказывал — кури одну махорку, да корешковую, легче будет.

Немного откашлявшись, но еще не разгибаясь, Коноплев поднял голову и сказал с хрипотцой:

— Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся: сами все понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать. На рычаги надеются. Дома

заколоченные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и заботы, чтобы в сводках все цифры были круглые. А как люди, что люди, с чем они остались?..— И Коноплев опять мучительно закашлялся.

— Ладно, ладно, помолчи, а то вся душа наружу выскочит! — Ципышев встал из-за стола и пошел к порогу, к Коноплеву.— Вот погоди, Иван, мы тебе путевку через райком выхлопочем. Съездишь к морю за воздухом, заодно посмотришь, как люди там живут, поучишься и нам расскажешь. Смелости всем добавишь.

Коноплев сделал навстречу ему нетерпеливое движение рукой — сиди, дескать, зачем сюда лезешь, уйди! — но сказать из-за кашля ничего не смог. Ципышев вернулся к столу.

— Женка ему такую путевку пропишет, что и родных не узнает,— сказал Щукин.— Она у него наблюдательная: кашляй сколько хочешь, кури, пей, только чтобы от нее ни на шаг.

— Воздух у нас свой не хуже морского,— мечтательно заметил Петр Кузьмич.— Воздух-то есть! Раньше, бывало, лечиться от кашля ходили на смолокурни или живицу гнать. В сосняке поживет человек недели три-четыре, пособирает эту живицу из коробочек в бочки — глядишь, и деньги заработает, и дыханье легче станет. Закупают ли нынче где эту живицу? Что-то я не слыхал. Терпентин из нее какой-то делали да канифоль для скрипачей. Сейчас, поди, без канифоли играют.

— Пластмассой заменили. Вот! — Щукин показал свою расческу.— Она тоже из пластмассы.

На расческу Щукина никто не взглянул.

— А лампа у нас совсем гаснет, ребята,— поднял кверху свою бороду Ципышев.

От порога отозвался Коноплев:

— Погаснешь без воздуху. Лампе тоже воздух нужен.

Коноплев последний раз пошумел сухим веником и вернулся к столу. Лицо у него было бледное, дыхание тяжелое.

— Я так понимаю наши дела,— сказал он.— Пока нет доверия к рядовому мужику в колхозе, не будет и настоящих порядков, еще хлебнем горя немало. Пишут у нас: появился новый человек. Верно — появился! Колхоз переделал крестьянина. Верно — переделал. Мужик уже не тот стал. Хорошо! Так этому мужику доверять надо. У него тоже ум есть.

— Не волк съел,— подтвердил Ципышев.

— Вот! И нас не только учить, — и слушать надо. А то всё сверху да сверху. Планы спускали сверху, председателей сверху, урожайность сверху. Убеждать-то некогда, да и нужды нет, так оно легче. Только спускай знай да рекомендуй. Культурную работу — свернули — хлопотно, клубы да читальни только в отчетах действуют, лекции и доклады проводить некому. Остались кампании по разным заготовкам да сборам — пятидневки, декадники, месячники...

Коноплев передохнул, и Петр Кузьмич воспользовался этим, вставил слово:

— Бывает и так: клин не лезет, а дерево виновато, говорят — дерево с гнильцой. Поди-ка не согласись в районе. Они тебе дают совет, рекомендацию, а это не совет, а приказ. Не выполнишь — значит, вожжи распустил. Колхозники не соглашаются — значит, политический провал.

— А почему — провал?! — почти крикнул Коноплев.— Разве мы не за одно дело болеем, разве у нас интересы разные?

— Ну, райком тоже, брат, по головке не гладят, коли что. И с них требуется дай боже.

— Дай боже, дай боже! — горячился Коноплев.— Рядом, в Груздихинском районе, другие порядки. Шурин приезжал на днях, рассказывает: там у председателей поджилки не дрожат, когда начальство их в район вызывает. Нет этого страха. Секретарь в колхоз приходит запросто, разговаривает с людьми не по бумажке.

На полке в переднем углу слышнее заработал радиоприемник. Он все так же потрескивал и шипел, словно выдыхающийся пенный огнетушитель, но теперь сквозь шипение и потрескиванье пробивалась не музыка, а окающая, с запинками, речь. Передавались письма с целинных земель. Какой-то паренек рассказывал о своих трудовых успехах на Алтае. Собеседники прислушались.

«Нас всех зовут москвичами, хотя мы из разных городов. Держимся дружно, в обиду себя никому не даем. Урожай в прошлом году выдался небывалый. В пшеницу войдешь, словно в камыши. Даже старики не помнят таких хлебов. Для ссыпки не хватало мест, тяжело было...»

Паренек обращался к своей дорогой маме, но так, будто никогда раньше не произносил этого имени. Он явно робел перед микрофоном.

— Ты смотри,— сказал Петр Кузьмич,— и там свои бе-

ды: хлеб ссыпать некуда. Хоть бы навесы какие-нибудь понастроили, чтобы зерно не гноить.— Он ткнул рукой в сторону радиоприемника, и брезентовый плащ соскользнул с его левого безрукого плеча.

— *Не всем же на Алтай ехать!* — буркнул Коноплев и, закашлявшись снова, поднялся из-за стола, взял обеими руками горшок с окурками, пошел к порогу. Там он откинул ногой веник и вывалил окурки в угол.

И тогда обнаружилось, что в избе во все время этого разговора присутствовал еще один человек. Из-за широкой русской печи раздался повелительный старушечий окрик:

— Куда сыплешь, дохлой? Не тебе подметать. Пол только вымыла, опять запаскудили весь.

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись. Бывает нечто подобное в зимнюю ночь, когда рассказывает кто-нибудь страшную сказку и вдруг от мороза оглушительно треснет угол избы или настежь откроется дверь.

— Ты все еще тут, Марфа? Чего тебе надо?

— Чего надо... За вами слежу! Подпалите контору, а меня на суд потянут. Метла сухая, вдруг — искра, не приведи бог...

— Иди-ка ты домой.

— Когда надо будет — уйду.

Разговор друзей оборвался, словно они почувствовали себя в чем-то друг перед другом виноватыми.

На мгновение стала слышна улица, шум ветра, далекая девичья песня.

Сергей Щукин выключил приемник, голоса целинников пропали.

Мужики снова стали отрывать клочки газеты, понемногу вытягивая ее из-под разбитого стекла, и скручивать цигарки и «козьи ножки». Долго молчали, курили... А когда опять начали перебрасываться короткими фразами, это были уже пустые фразы — ни о чем и ни для кого. Про погоду — дрянная стоит погодка, в такую погоду кости ломит; про газеты — они ведь разные бывают, из другой свернешь цигарку, так горечь одна и табаком не пахнет; потом что-то про вчерашний день — сходить куда-то надо было, да не сходил; потом про завтрашний день — надо бы встать пораньше, в кои-то веки баба собирается блинами накормить... Пустые фразы, но даже и такие произносили уже приглушенно, тихо, то и дело оглядываясь по сторонам да на печку, словно за ней скрывалась не Марфа, конторская уборщица, а какой-то посторонний, непонятный человек,

которого следует остерегаться. Ципышев посерьезнел, больше не разговаривал, не улыбался, только раза три спросил, так, не обращаясь ни к кому:

— Что это учительница замешкалась? Начинать бы надо партийное собрание.

Один Щукин вдруг повел себя несколько странно; ему не сиделось на месте, табуретка под ним поскрипывала, глаза — молодые, озорные, с хитринкой — блестели и смотрели на всех с вызовом. Казалось, Щукин вдруг увидел что-то такое, чего никто другой еще не видел, и потому почувствовал свое превосходство над другими. Наконец он не выдержал и громко захохотал:

— Ох и напугала же нас проклятая баба!

Петр Кузьмич и Коноплев переглянулись и тоже захохотали.

— И верно — дьяволица! Вдруг из-за печки как рявкнет. Ну, думаю...— Иван Коноплев с трудом закончил фразу: — Ну, думаю, сам приехал, застукал нас...

— Перепугались, как мальчишки на чужом горохе.

Смех разрядил напряженность и вернул людям их нормальное самочувствие.

— И чего мы боимся, мужики? — раздумчиво и немного грустно произнес вдруг Петр Кузьмич.— Ведь самих себя уже боимся!

Но Ципышев не улыбнулся и на этот раз. Он словно не заметил, что заливались и Коноплев, и Петр Кузьмич, а только на Сергея Щукина взглянул строго, как старший.

— Молод ты еще, чтобы над этим смеяться! Поживи с наше...

Но Щукин уже не унимался. К тому же и Петр Кузьмич, и Коноплев были явно на его стороне. Они оживленно подмаргивали ему и продолжали смеяться.

— Вот так и боимся! — сказал Коноплев.

Марфа за печкой молчала.

В контору ввалились два паренька комсомольского возраста.

— Вы зачем? — повернулся к ним Ципышев всем телом.

— Радио хотим послушать.

— Нельзя. У нас сейчас партсобрание будет.

— А нам куда? Тут нас много.

— Куда хотите.

Сказав это, Ципышев оглянулся на своих друзей, словно хотел узнать, одобряют ли они его поведение.

Петр Кузьмич не одобрил.

— Вот что, молодцы,— сказал он, обращаясь к ребятам.— Мы тут проверием партсобрание, поговорим, а потом уж вы занимайте позиции.

Наконец пришла и учительница, Акулина Семеновна,— молодая, низкорослая, почти девочка. Она устало распутала и сняла с головы серый шерстяной платок и ткнулась в уголок под деревянную полку с приемником. С ее приходом немного оживился и Ципышев. Но это его оживление выразилось в том, что он преувеличенно строго, по-начальнически заговорил с учительницей:

— Ты что это, Акулина Семеновна, всех ждать заставляешь?

Акулина Семеновна виновато посмотрела на Ципышева, на Петра Кузьмича, потом на горшок с окурками, на лампу и опустила глаза.

— Ну... задержалась... в школе. Вот, Петр Кузьмич,— обратилась она к однорукому,— я бы хотела до начала собрания решить вопрос. В школе дров нет...

— О делах потом,— оборвал ее Ципышев,— сейчас собрание проводить надо. Райком давно требует, чтобы в месяц два собрания было, а мы и одного сговориться запротоколировать не можем. Как отчитываться будем?

Иван Коноплев при этом крякнул, и Ципышев опять на какое-то мгновение словно бы почувствовал неловкость, неуверенность в себе и робко оглянулся вокруг, будто просил извинения за свои слова. Но все промолчали. Тогда голос Ципышева окончательно приобрел твердость и властность. Что произошло? Борода его расправилась, удлинилась, глаза посуровели, в них исчез живой огонек, который поблескивал в минуты простой дружеской беседы. К уборщице Марфе Ципышев обратился уже тоном приказа:

— Ты, Марфа, выйди! Мы тут партийное собрание проведем. Говорить будем.

И Марфа словно почувствовала происшедшую перемену,— она не ослушалась, не заворчала.

— Говорите, говорите. Разве я не понимаю. Выйду.

Когда за притихшей Марфой тихо закрылась дверь, Ципышев встал и произнес те самые слова, которые в подобных случаях произносил секретарь райкома партии, и даже тем же сухим, строгим и словно бы заговорщическим голосом, каким говорил перед началом собраний секретарь райкома:

— Начнем, товарищи! Все в сборе?

Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то чудодейственного механизма: всё в избе начало преображаться до неузнаваемости — люди, и вещи, и, кажется, даже воздух.

Щукин и Коноплев бесшумно отодвинулись от стола. Петр Кузьмич остался сидеть, где сидел, только подобрал наполовину свалившийся с плеч брезентовый плащ и положил его в сторону, на лавку. Учительница Акулина Семеновна еще больше втянулась в угол под радиоприемник. Лица у всех стали сосредоточенными, напряженными и скучными, будто люди приготовились к чему-то очень давно знакомому, но все же торжественному и важному. Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем еще привычную и понятную для этих простых, сердечных людей.

— Все в сборе? — повторил Ципышев, оглядывая присутствующих, словно их было по крайней мере не один десяток.

А было их сейчас, как мы уже знаем, всего-навсего пятеро.

Животновод Степан Ципышев оказался секретарем парторганизации. В секретари его избрали недавно по рекомендации райкома. Польщенный этим, Ципышев старался как можно лучше исполнять свою роль и, будучи человеком неискушенным, невольно начал во всем подражать «хозяину района». Правда, иногда он сам иронизировал над собою, но всякое указание сверху исполнял все же с таким рвением и с такой буквальностью,— всё из робости допустить какую-нибудь ошибку,— что порой не хуже было бы, если бы не всякая спица ставилась им в колесницу. Присутствовавший при избрании Ципышева зональный инструктор райкома пошутил, что у товарища Ципышева есть немало достоинств, но есть и недостатки, и главным его недостатком является борода. Ципышев принял эту шутку всерьез, как указание, и решил про себя, что бороду и все прочие волосы с лица обязательно снимет, но пока для этого не было подходящего случая.

Петр Кузьмич Кудрявцев, однорукий, оказался председателем колхоза. Иван Коноплев, как уже упоминалось,— бригадиром-полеводом. Сергей Щукин — кладовщиком.

С тех пор как Щукина поставили кладовщиком, а его предшественник снялся с учета в связи с переходом на работу в сельпо, рядовых колхозников в парторганизации

не было. Акулина Семеновна — та уж совсем из интеллигенции, хотя была своя, односельчанка, и во всем зависела от правления колхоза.

— Первое слово по ходу дня предоставляю председателю нашего колхоза товарищу Петру Кузьмичу.

Кудрявцев Петр Кузьмич встал.

Ципышев сел.

Партийное собрание началось.

И началось то самое, о чем с такой откровенностью и проницательностью только что говорили между собой члены партийной организации, в том числе и сам секретарь ее, понося казенщину, бюрократизм, буквоедство в делах и в речах.

— Товарищи! — сказал председатель колхоза.— Райком и райисполком не утвердили нашего производственного плана. Я считаю, что мы кое-что не предусмотрели и пустили на самотек. Это не к лицу нам. Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее. А людей убеждать надо, товарищи. Мы с вами являемся рычагами партии в колхозной деревне — на это нам указали в райкоме и в райисполкоме...

Учительница осторожными, крадущимися движениями рук, чтобы никому не помешать, снова повязала голову платком, лица ее не стало видно, и о чем она сейчас думала, никто бы сказать не смог.

А Щукин опять заулыбался. Он достал из кармана вечное перо, повертел его в руках, затем вынул расческу, посмотрел сквозь нее на лампу, тихонько дунул на зубья и положил расческу обратно, причесываться не стал. Лицо его расплывалось все шире и шире, а в глазах засветился лукавый, издевательский огонек. Казалось, вот-вот Щукин снова расхохочется. Но он не расхохотался и только толкнул в бок Коноплева и шепнул ему:

— Видел, что делается? Узнаешь ты его сейчас?

Коноплев тоже улыбнулся, но криво, недобро.

— Ладно уж, не мешай. Так надо. Петр Кузьмич сейчас в своей должности. Как в районе, так и у нас. Каков поп, таков и приход.

— А правда как?

— Правда — она свое возьмет. Она, брат, скоро дойдет и до нас, она прогремит. Дождемся!

— До точки ведь докатимся.

— Не докатимся.

И Коноплев потянулся к столу, придвинул к себе горшок

и курил, курил... Кашлять он не решался, кренился, хотя в груди все клокотало и свистело.

Кудрявцев Петр Кузьмич говорил недолго. Суть его доклада сводилась к тому, что боеспособность партийной организации район поставит под сомнение, если план севооборота колхоза, составленный для следующего года, не будет исправлен немедленно и безоговорочно согласно указаниям райкома и райисполкома. С этим согласились все выступавшие в прениях. Иначе было нельзя.

А в прениях выступали и Акулина Семеновна, и Щукин, и Коноплев. Расхождений во мнениях не обнаружилось, как не было их и во время той дружеской беседы до начала партийного собрания; правда, сейчас согласованность и единодушие проявлялись несколько в ином, можно сказать, в обратном значении.

Ципышев был удовлетворен сплоченностью коммунистов и по второму вопросу выступал сам.

Как-то зональный секретарь райкома партии обратил внимание на то, что в колхозе не развернута политико-воспитательная работа, и о соответствующих фактах сообщил докладной запиской первому секретарю райкома.

— Лучших мы, товарищи, не поощряем,— говорил в связи с этим Ципышев,— отсталых не наказываем, соревнования нет. Посмотрите хотя бы на нашу красно-черную доску — картина ясная. Надо возглавить массы, товарищи! Думаю так: наметить для премирования несколько объектов, для этого на каждом объекте подобрать одного-двух человек... А кое-кого штрафануть, чтобы в обе стороны правильно было... В райкоме нас одобрят...

Собрание единогласно постановило выделить пять человек на премию, трех на штраф. Разговор возник только о том, на каких объектах нужно искать людей для поощрения, на каких — для наказания.

— Давайте подумаем,— предложил Ципышев.— Вот, скажем, за постройку скотного двора как будем? Премировать?

Решили штрафовать.

Ни одной резолюции написать не успели — вернулась Марфа, чтобы прибрать и запереть контору. Петр Кузьмич предложил составление резолюций поручить секретарю.

— Ты напиши знаешь как,— шептал он, довольный, что собрание подошло к концу,— «В обстановке высокого трудового подъема по всему колхозу развертывается...»

— «По всей стране...» — подсказал Щукин.

Домой собрались быстро, и похоже, что у всех на душе

было ощущение исполненной обязанности и в то же время неловкости, недовольства собой.

А на крыльце уже застучали сапоги, в дверях появилась молодежь.

— Вовремя мы подошли? — спросил один из тех двух пареньков, которые заходили в контору раньше.

— Вовремя! — ответил Петр Кузьмич.— Самое время. Вваливайтесь, ребята, все.

В избу ворвался прохладный воздух с улицы. Огонек в лампе ожил, задвигались табуретки. Открыли окно.

— Ну и дыму у вас! — шумели девушки.

Акулина Семеновна с появлением молодежи выпрямилась, сбросила с головы платок. Это были люди ее возраста, с ними она чувствовала себя свободнее.

Заходил по кругу и Сергей Щукин — затянул потуже галстук и уже не покидал девушек.

Включенный приемник неожиданно заговорил громко и чисто. Передавались материалы о подготовке к двадцатому партийному съезду. Это сообщение прослушали все.

Петр Кузьмич, словно подобрев, перед уходом сказал Акулине Семеновне:

— Дрова подвезут, ты не беспокойся, распоряжусь.

А Ципышев подошел к Сергею Щукину и сжал ему руку повыше локтя:

— Остаёшься тут?

— Остаюсь.

— Ну, следи, чтобы ничего такого...

Когда председатель колхоза Петр Кузьмич Кудрявцев и полевод Иван Коноплев шли из конторы по темной грязной улице, возобновился разговор о жизни, о быте, о работе — тот самый, который шел до собрания.

— Теперь что двадцатый съезд скажет! — то и дело повторяли они.

И снова это были чистые, сердечные, прямые люди. Люди, а не рычаги.

1955 г.

ОХОТА НА МЕРТВОГО ГЛУХАРЯ

Охота без усталости не доставляет удовольствия. Я знаю охотничков, которые подъезжают к тетеревиным токам на легковой автомашине и, опустив стекла, выбивают из малокалиберной винтовки всех птиц до единой. Даже тетерок не щадят. Трофеями загрузят машину так, что самим сесть некуда, и ровно к девяти часам утра поспевают на работу в свои кабинеты...

Знаю также, что на «газике» с подвижной фарой ночью охотятся за зайцами. Особенно удачливой считается такая охота в степных и лесостепных местах, в широких полях, где можно ездить без дорог и где бедному зайцу просто деться некуда. Поймают его в луч фары, как, бывало, ловили самолет на скрещении прожекторов, и расстреливают. А то просто зашибают буфером либо давят колесами автомашины.

Мясозаготовки! Промысел!

Случается, что и глухарей колесами давят. Правда, мне известен только один такой случай. Большой старый петух возился на дороге в лошадиных шариках, когда легковушка выкатилась из-за поворота. Птицы не очень боятся машин, если не видят в них человека. Настораживаются, и только. Глухарь вытянул шею, и, пока рассматривал приближающийся автомобиль да раздумывал, что делать,— взлетать уже было некогда. Полураздавленный, он лежал на дороге без движения, но, завидев человека, встрепенулся, начал бить крыльями из последних сил. Казалось, он только теперь почувствовал опасность.

А деятель радовался своему необыкновенному везенью и рассказывал об этом случае с удовлетворением, как об очень удачной охоте.

Какие же это охотники!

Настоящая охота должна утомлять, после нее хорошо спится.

Борис Зиновьевич чувствовал себя утомленным и усталым еще с вечера, задолго до начала охоты.

— Вот на охоте и отдохнем! — сказал он приятелю, вскинув на плечо довоенный «зауэр» и засовывая топор

за пояс за спиной, как это делают все настоящие лесовики и лесорубы.— Двинемся в Угол. Тут, брат, места такие, что только дойти, а об остальном беспокоиться нечего. Глухари на голову садятся.

— Опять ты за свое...

— А что «за свое»? Ты мое ружье знаешь? Из него слонов бить можно. А Угол наш? Это же «Беловежская пуща». Только зубров недостает. Вот дойдем — и всё!

В характере Бориса Зиновьевича это не было обычным охотничьим хвастовством. Это была самонадеянность — чрезмерная, надоедливая, лишенная порой элементарной рассудительности. Она мешала ему всю жизнь. Из-за этого он стал даже суеверным: когда ему что-нибудь не удавалось, не давалось, не сбывалось — винил во всем свою самонадеянность. Опять, наверно, забылся, расхвастался: шапками закидаем! — вот и получил. Одним взмахом семерых побивахом! Начинал вспоминать, что предшествовало неудаче, и действительно оказывалось, что перед этим он захлебывался от самодовольства. Но осознание это приходило всегда позднее, когда уже ничего нельзя было изменить.

И сейчас упреки товарища в хвастовстве не насторожили его, он не остепенился.

— Нам, главное, успеть дойти вовремя до большого леса, и, может, вернемся сегодня же. Оставаться до утра смысла не будет: все равно больше трех-четырех глухарей на себе не унести. Это же бараны!

Но с вечера ни одного глухаря им убить не удалось, темнота наступила слишком быстро. А глухари летали близко, шум и треск сучьев раздавались то с одной стороны, то с другой.

— Понял? — шепотом спрашивал Борис Зиновьевич своего дружка, показывая глазами и головой туда, где садился очередной великан.— Что тебе бомбардировщики. Вот замечай и поутру крадись к любому. Все твои.

— Спасибо! А птицы ли это?

— Лоси, что ли?

Ночь пришлось пережидать, сидя на мокрых моховых кочках. Хорошо еще, что не на снегу и не в воде. Сухого места в Углу в весеннюю пору найти было невозможно. Почему этот глухой хвойный лес с редкими пожнями и заболоченными овражками назывался Углом — кто его знает. Ни реками, ни изгородями он не ограничивался, никакого угла там — ни острого, ни тупого — не было. Мы говорим: глухой угол. Видимо, угол — то же, что глухомань.

У Бориса Зиновьевича сначала озябли ноги. Он снял резиновые сапоги-бродни и положил в них моху. Кажется, помогло, но от мокрого мха отсырели портянки. Костер бы хоть небольшой разложить! Но это значит загубить всю охоту ради каких-то несчастных ног. «Так дело не пойдет. Потерпим!» — сказал он себе. Затем озябли руки. Закурить бы, погреть бы пальцы, зажав сигарету в ладошках, как в фонарике. Но — чиркнешь спичкой, а глухари-то — вот они, рядом, над твоей головой. Нет, и это не годится. Поесть бы, да ничего с собой не взял, понадеялся на скоростную охоту.

Борис Зиновьевич дал волю своему воображению и совершенно отчетливо представил, как перед зарей услышит робкое пощелкивание первого глухаря, вероятно, на этой ближней ели и убьет его, не поднимаясь с места. Второй глухарь, конечно, будет снят с сосны, вершина которой даже в темноте видна, так высоко вознеслась она над зубчатой стеной ельника. До нее метров сто, придется подходить большими вороватыми прыжками, используя секунды, когда глухарь поет и вдохновение закрывает ему глаза и уши. Третий глухарь грохнется к ногам Бориса Зиновьевича где-то около второго. А там пойдет...

Счастливое воображение немного согрело охотника, и он даже задремал сидя.

Проснулся он от страха, что ночь прошла и все кончилось.

— Проспали? — почти вскрикнул он и хотел было вскочить сразу, но не смог: такими тяжелыми оказались и ноги, и руки, и голова.

— Тш... Тихо! — зашипел приятель, тыча не то в спину, не то в бок Бориса Зиновьевича.— Слушай!

Ночь действительно прошла, но и утро еще не наступило. А первая глухариная песня уже возвещала зарю. Глухарь где-то очень далеко тэк-тэкал так, будто заикался от волнения и никак не мог выговорить, что хотел. А лес повто́рял каждый его звук, и прислушивался, и ждал, когда же наконец царь-птица выскажется как следует.

Справа и слева от первого токовика начали поигрывать другие. Матушка моя родная, елки зеленые, что же сейчас будет!

Борис Зиновьевич оперся на ружье и вскочил. Казалось, он сам сейчас начнет заикаться. Какая тут усталость, если ни ног, ни рук своих не чувствуешь. И слышишь

только одно, как глухарь дразнит, зовет, заливается. Да еще сердце вдруг забарабанило во всю грудь, да воздуху не стало хватать.

Куда и когда вдруг исчез приятель, Борис Зиновьевич не заметил. Охота началась. Он выждал момент и сам бросился вперед. Куда вперед? Небо на востоке едва-едва отделилось от земли, а в ельнике стояла беспросветная тьма, как в подвале.

«Тк-тк-тк!..» — звал его глухарь. Этот, наверно, ближе всех. Он где-то совсем рядом и, кажется, сидит очень низко. «Тк-тк-тк!» — петух будто приглашал его поиграть в пятнашки с завязанными глазами. «Тк-тк-тэк...» Да где же он?

И Борис Зиновьевич нырнул в темный ельник навстречу своей судьбе.

Токующих петухов было так много, что Борис Зиновьевич не считал нужным соблюдать чрезмерную осторожность. Он бежал на глухариную песню большими прыжками, как и положено, но делал не три, а четыре и пять прыжков подряд. Когда птичья трель обрывалась, он замирал, как положено, но часто с опозданием. А если проваливался в курпаги с талой водой или налетал на остатки снежных заносов, то возился и сопел, уже не переставая, и раз даже выругался. Ему казалось, что птиц для него хватает, и лишь рассчитывал заранее, сколько штук ему следует взять. Самонадеянность опять подводила Бориса Зиновьевича, но этого он пока не осознавал.

Первый глухарь не подпустил охотника на выстрел. «Вероятно, услышал стук моего сердца»,— подумал Борис Зиновьевич. Второй сорвался с дерева, когда он уже взводил курки. «Надо было курками щелкать раньше. Ну, ничего. Возьму третьего!» — решил он.

В это время тайгу раздвинул далекий выстрел приятеля.

— Э, черт! Наверно, убил! — с досадой и завистью сказал Борис Зиновьевич и заспешил. Но куда спешить? Токование глухарей вдруг прекратилось повсюду. Бориса Зиновьевича охватила тревога: а вдруг — конец?

Лес уже обрел краски, из темной сплошной хвои выделились стволы и ветви, пихту можно было отличить от ели, кое-где выступили вперед голые лиственные породы — осина, ольха, береза. И небо оживало, из беспросветно черного становилось серым, как мокрый весенний снег. Небольшие клочки чистой синевы меж облаков походили на проталинки.

Борис Зиновьевич опустился на старую валежину и со

вздохом положил ружье на колени. Вот когда он устал. Но только бы не конец! Только бы не возвращаться домой с пустыми руками. Не трех, не двух, а хоть бы одного, черта, сшибить! Только бы одного, и он примирился бы с собой: никогда впредь не позволил бы себе жадничать. Не надо ничего загадывать наперед; не откусывать больше, чем можешь проглотить; лучше желать меньшего, иначе не добьешься ничего. Не зарываться, не хвастать, не хвастать, не обещать ни себе, ни другим больше, чем способен сделать,— вот что давно пора усвоить...

«Черт бы меня побрал! — с отчаяньем думал о своей судьбе Борис Зиновьевич.— Ну что я за человек такой? Разве мало учен, мало бит? Разве не знаю своих слабостей, нет — пороков? Не скромен я! Кичлив! Вечно переоцениваю свои возможности. А скромность — это серьезность. Не серьезен я. Ну что я такое наконец?!»

Токование глухарей возобновилось через пять чудовищно долгих, смертельно долгих минут. Борис Зиновьевич сразу встрепенулся, как хищная птица,— не все еще пропало! — и, пригнувшись к коленям, почти лег на ружье, словно хотел сжаться в комок, исчезнуть совсем. Он стал слушать, чтобы решить, какой токовик ближе, которого убить первым. Нет, счастье ему не изменит. Все будет так, как он предполагал. Все еще впереди.

И он убил глухаря. Убил.

Но глухарь не упал.

И не улетел.

Он только ударил раза два крыльями, повозился немного на суку, переступил и, кажется, поплотнее прижался к стволу.

Стрелял Борис Зиновьевич с близкого расстояния, но сосна, на которой сидел петух, была необычайно высока. Гладкая, прямая, с красноватой корой, она вздымалась в небо, словно кирпичная труба, и лишь там, вверху, разветвлялась свободно и широко. Глухарь сидел в ее кроне, словно в зеленом дыму.

После второго выстрела он завозился еще больше, но опять и не улетел, и не упал.

У Бориса Зиновьевича задрожали руки и ноги: «Неужели ружье не берет? Дробь мелка?» Он торопливо перезарядил оба ствола, прицелился и выстрелил из обоих стволов сразу.

Сосна, кажется, вздрогнула. Глухарь не пошевелился.

«Начало есть!» — сказал про себя Борис Зиновьевич. Он

торжествовал. Как достать убитую птицу? Да разве это важно! Достать, и все!

Залезть надо, как он в детстве лазил не раз.

Правда, сосна без сучьев, на такую трубу не скоро заберешься. Но все это мелочи, все не важно.

Борис Зиновьевич подошел к дереву, постучал по стволу сначала кулаком, потом пяткой, вскинул глаза к вершине сосны и рассмеялся. На ней не дрогнула ни одна хвоинка. Только теперь он понял, что глухарь у него еще не в руках, а где-то в небе и придется поработать всерьез, чтобы завладеть им. Он поставил ружье в сторонке, достал топор из-за пояса и ударил обухом по сосне. Дерево отозвалось на удар неохотно, глухо. Оно было крепкое, толстое, очень толстое. Такое и за полчаса не срубишь. На час работы, не меньше. Ох, и нелегко это будет. Да еще после бессонной ночи. А нельзя ли придумать что-нибудь другое?

Борис Зиновьевич осмотрелся. В нескольких метрах от сосны стояли другие, почти такие же высокие сосенки, тоже голенастые, но помоложе и гораздо тоньше этой. Если одну сосенку свалить, то вершина ее как раз хлестнет по застрявшему глухарю. Это, пожалуй, будет хорошо. Лучше, пожалуй, ничего не придумаешь. А топор-то тяжелый, черт! Пожалуй, тяжелее ружья...

Борис Зиновьевич обстоятельно рассчитал расстояние, выбрал сосну, которую легче всего было свалить, потоптался вокруг нее, приминая мелкую поросль и мох, приготовился к работе.

Помешал ему выстрел дружка — какой-то уверенный, басовитый, конечно, без промашки. Такие выстрелы понапрасну не раздаются. «Еще один выстрел,— сказал про себя Борис Зиновьевич.— Еще один баран сбит!»

Сказал и понял, что он зазря теряет время охоты. Достать свою птицу никогда не поздно, за ней хоть завтра приходи — не испортится. Надо бежать за другой, ток продолжается. Другие глухари его ждут. Он сделал топором надрубы на нескольких деревьях, приметил их, подсек три-четыре елочки вокруг, еще раз всмотрелся в крону своей сосны — «Сидит ли там? Сидит!» — оставил в корнях топор и ринулся на выстрел товарища.

Светало.

Больше ни к одному глухарю Борису Зиновьевичу подобраться не удалось. Товарища своего он тоже не разыскал. Прошло часа два, когда он, еле волоча ноги, вернулся на старое место. Уже потеплело, и проталины на небе

раздались и поголубели. Их стало много. Иногда на эти небесные лужайки пробивалось солнце. На вершине сосны отчетливо виднелся большой черный глухарь. Конечно же, он был мертвый!

На лезвии топора уже появилась ржавчина, топорище было мокрое и холодное.

Борис Зиновьевич заметил, что на стволе сосны с четырех сторон сделаны надрезы желобками, что-то вроде оперенья четырех стрел. Значит, и здесь собирали живицу. В первый раз из-за темноты эти стрелы не были видны. Он не сел отдыхать, боясь, что потом работать будет совсем невмоготу, а отдохнуть по-настоящему он все равно не сможет, время уже позднее, да и есть хочется. Еще раз прикинув, достанет ли та сосна, которую он собирался рубить, до глухаря, представив себе, как она будет падать, как хлестнет своей хвоей по сучьям старой сосны, где застрял глухарь, он решил, что расчет правилен. От самоуверенности его ничего не осталось. Быстро и легко воодушевляясь, он, пожалуй, так же легко и быстро поддавался унынию и становился утомительно осторожным, чрезмерно осмотрительным.

От ружья нельзя отвыкнуть, от топора можно. Научившись стрелять, человек не утратит этого умения никогда. С топором не так: чтобы хорошо владеть топором, необходимо пользоваться им более или менее постоянно, как необходима постоянная тренировка для музыканта. Работа с топором требует, кроме навыка, физической выносливости, мускульной подготовки. Стрельба из ружья, напротив, не требует никакой мускульной силы.

Мускулы у Бориса Зиновьевича давно и уже основательно ослабели: какая тут сила, если с утра до вечера, изо дня в день, из года в год сидит он в кабинете. Единственная производственная зарядка для рук — когда набирает телефонные номера, он это делает то правой, то левой рукой. Да иногда еще кулаком по столу постучит, но часто делать это не полагается. Да еще помашет иногда руками час-два на каком-нибудь совещании. Но совещания бывают не каждый день. И махать руками во время доклада — не топором махать.

Не долго помахал Борис Зиновьевич топором, а вспотел так, что пришлось снять тужурку. Стыдно взрослому мужчине, да еще выросшему в деревне, рубить дерево, как бобры его подгрызают. Борис Зиновьевич старался подрубать дерево, сосну, как положено — с двух сторон: с той, куда она

должна упасть, надруб должен быть глубоким, с захватом сердцевины, а с обратной стороны — вспомогательный, неглубокий и чуть повыше главного надруба. Борис Зиновьевич все это знал, но топор плохо слушался его, плясал по стволу и не рубил, а глодал древесину. Щепа летела мелкая, неровная. Стыдно! Но еще стыднее, что подточенная, обглоданная со всех сторон сосна вдруг повалилась совсем не туда, куда нужно было, а в противоположную сторону. Борис Зиновьевич подставил плечо и попытался изменить направление ее падения. Он даже не подумал об опасности. Но все усилия были напрасны. Шум хвои, как шум ветра, треск сучьев, и мягкий удар о землю, и воздушные волны, и мягкий отзвук в глубине леса.

Что тут говорить? Борис Зиновьевич на этот раз сел. Сел на сосну, которую только что свалил. Он бы даже лег и, может быть, заснул бы прямо на моховой прошлогодней подстилке. Но он не мог не помнить о работе. Он опаздывал. А его служебное положение еще не таково, когда можно бывает задерживаться либо вовсе не являться в кабинет — и никто тебе не указчик.

Опершись руками о смолистый ствол сосны, Борис Зиновьевич согнулся так, словно его душил кашель. Так обычно сидят задыхающиеся астматики.

Он не надеялся отдохнуть, но необходимо было хотя бы успокоиться. Что же делать дальше? Махнуть рукой на глухаря, пускай висит, как чучело на огороде? Нет, ни за что! Тогда надо свалить следующую сосну, но уже валить наверняка, предусмотрев все возможные случайности.

И топор застучал, запрыгал снова. Вторая сосенка, при помощи которой Борис Зиновьевич рассчитал смахнуть глухаря на землю, была не толще первой и такая же высокая. Пожалуй, скорее чем за полчаса и с ней не управиться. Но другого выхода нет. Вот если бы под рукой оказались «когти», с которыми электромонтеры лазят по телеграфным столбам,— это был бы выход. Но «когтей» нет.

Борис Зиновьевич рубил и о чем-то думал. О чем? — он сам не смог бы сказать. Обрывки мыслей не фиксировались памятью. Они пролетали нервно, лихорадочно, под стук топора.

«Когтей», конечно, нет. А откуда они могли взяться здесь? Порой хорошо, когда нет когтей. Нет, лучше, если когти есть, но показывать их следует не всегда. Когти надо выпускать только в крайних случаях. А если уж

показал, выпустил, то действуй. Когти или зубы? Говорят: показал зубы — кусай. С тобой говорить — надо зубы навострить... С этой стороны надо рубить еще больше, сосна сюда должна накрениться и упасть. Надруб словно пасть. Топор кусает тело сосны. Скорее — рвет. Он уже высветлился. Поточить бы надо. Не кусай, если не проглотить.

Опять где-то выстрел. Но это слишком далеко. «Не может быть, чтобы это стрелял он. А если он? Вот, черт: вероятно, и сам не рассчитывал, что ему так повезет. Все-таки лучше, когда ничего не загадываешь наперед, а просто действуешь. Значит — без плана? Жизнь вслепую, на авось? Фу, дьявольщина, да разве я об этом. Я вот что имею в виду: слава приходит к нам между делом, если дело достойно ее. Это я где-то слышал или читал. Четкая мысль, голая логика, никакой поэзии».

А топор стучит, стучит, сту-чит! «Надо повыше поднимать его, посильнее опускать, с выдохом: ххы! хха! Опять не попал! Только бы он из рук не выскользнул. Еще хуже, если руки отвалятся вместе с топором. Чепуха какая! Че-пуха! Ххы! Хха!»

Борис Зиновьевич вытер лоб, распрямился на мгновенье, услышав эхо в лесу — там стучал его же топор,— и снова принялся за работу.

«Кажется, все правильно: сосна упадет как раз на ту, большую, и хлестнет своей вершиной по ее кроне. Правильно, что я стал рубить именно эту сосну. С той стороны, по-моему, еще есть одна подходящая сосенка, которая тоже упала бы как раз на мою, большую. Если те ниже, то и трогать нечего. Не всякое дерево рубить надо. Не подряд. А если уж начал рубить, так руби до конца. И умей ответ держать. Лес рубят — щепки летят. Если бы только щепки. А люди? Какие же это щепки?»

Сосна наконец-то дрогнула. Борис Зиновьевич тоже вздрогнул и, отбросив топор в сторону, изо всех сил навалился на ее ствол, помогая падать куда ей положено. Сосна пошла правильно, в заданном направлении: чуть-чуть разворачиваясь вокруг своей оси, вершина ее описала полукруг и ударилась точно о ствол той большой сосны, но только ниже толстых сучьев, на которых застрял глухарь. Ниже! И глухарь остался на своем месте, как на подмостках, как медвежатник на своем лабазе.

— За что? — взвыл Борис Зиновьевич. К кому он взывал, на кого жаловался? — За что? Ну, погоди же! — погрозил он. Кому погрозил?

В дальнейшем он действовал как автомат. Не садился, не отдыхал. Время позднее? А он виноват, что ли? На службе волноваться будут? Пусть поволнуются, подождут. Солнце уже за полдень? Ничего, потерпит.

Борис Зиновьевич подступил к третьей сосне. Не такой он человек, чтобы сдаваться. Ну, просчитался немного, сосенка оказалась ниже, чем он предполагал, так с кем не случаются недоразумения, кто не ошибается. Зато третья сосна, почти такого же роста, как та, что с глухарем. И кажется, даже не тоньше ее. На этот раз ошибки не будет. А физическая нагрузка — она даже полезна. «Засиделись мы все, черт бы нас побрал. Обмен веществ и прочее такое... Многое не в порядке. Застой в крови. Дальше своего носа ничего не видим. И хвастаем, хвастаем! Убил я одного и то взять не могу. А ведь казалось, что три барана уже на поясе висят. И вот пожалуйста: задача поставлена, а дела нет. Цель есть, а каковы результаты? Хоть иди в магазин да покупай двух глухарей, чтобы не осрамиться. Обман вывезет. Стыдно ведь — хвастался. Что скажут дома? И товарищи засмеют. Разве что не посмеют...»

Когда третья сосна вот-вот должна была упасть, пришел дружок. На плече он тащил ношу птиц.

— Ты что, Борис, на лесозаготовки переключился? План выполняешь? — засмеялся он.

Борис Зиновьевич не засмеялся.

— Да вот чертов глухарь! Сейчас свалю, и пойдем.

Охотник опустил ношу и ружье поодаль и осмотрел поле битвы.

— Ничего не понимаю! — сказал он.— Третью сосну подрубаешь?

— Третью.

— А для чего?

— Просчет получился, первая упала не туда, а вторая оказалась коротковатой. Помоги-ка, чтобы сейчас не ошибиться.

— Указания требуются?

— Давай, давай, не до шуток.

— Ценных указаний ждешь?

— Руководящих.

Охотник ходил по полянке, перелезал через поваленные стволы, как через противотанковые заграждения, соображал, с удивлением и какой-то тоской поглядывал на Бориса Зиновьевича.

— Борис! — наконец, сказал он.— Посмотри сюда.

— Куда?
— Вот на эту сосну.
— На какую?
— С глухарем.
— Ну?
— Видишь?
— Вижу. Ну?
— А сейчас посмотри на свою, на ту, которую рубишь.
— Ну?
— Что «ну»? Одинаковые?
— Почти одинаковые... По высоте, что ли?
— И по толщине.
— Почти одинаковые. Ну и что?
Охотник помолчал.
— Борис! — тихо заговорил он снова.— Для чего ты рубил три сосны? Давай подрубим эту одну.
Борис Зиновьевич воткнул топор в живое еще тело сосны и сел рядом. Он молчал спокойно и долго.
— Ну и что? — спросил наконец он.
— Теперь понимаешь?
— Давно понимаю.
— Так что же ты?! Ах да, не хочешь признаться? Руководящие товарищи не ошибаются.
Борис Зиновьевич сказал:
— Нет, почему же... признаюсь...
Потом он встал и снова взялся за топор и начал рубить, как рубил. Сосна задрожала.
— Отойди! — крикнул Борис Зиновьевич.— Не стой под сосной! Задавит.
— Ты не в себе, что ли?
Охотник торопливо схватил свое ружье, подобрал на земле какую-то палочку, вроде стрелки, вставил ее в ствол ружья, прицелился в глухаря и выстрелил. Глухарь медленно сдвинулся с места и тяжело упал к его ногам.
Борис Зиновьевич перестал рубить. Надел тужурку. Взял свое ружье. Взял своего глухаря.
И они пошли.
— А все-таки я хорошо поработал! — сказал Борис Зиновьевич.— Что за охота, если не чувствуешь усталости. Это была настоящая охота.

1960 г.

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАРИНКИ

По борту большого волжского теплохода снизу доверху и от носа к корме перемещались причудливые световые волны — отражение игры солнца и воды. Лебедино-белая обшивка теплохода, различные предметы на его палубах то и дело вспыхивали, как при автогенной сварке. Белые скамейки, буфетные столики под белоснежными скатертями, спасательные круги, набор белых ведер, напоминающих стайку гусей на голубой озерной глади, цепи и множество мелких медных, надраенных до блеска деталей — трубок, перил, дверных скоб и навесов, иллюминаторных шпингалетов, пластинок на ступеньках трапов — все это вспыхивало и потухало, вспыхивало и потухало. По всему кораблю играли солнечные зайчики. В этом движении света и теней было что-то сказочное, величественное. Невольно думалось: а не это ли и есть отражение игры каких-то невидимых космических лучей? Не движение ли эфира это?

Страстные до опьянения мелодии Чайковского и Хачатуряна и доверительные исповеди Грига, с утра не умолкавшие над палубой, тоже плыли, как перемежающиеся волны света и теней.

В ясном небе летали чайки. Берега — зеленые и серые, лесистые и песчаные, правый — гористый, левый — луговой, неудержимо уходили назад, как в широкоэкранном кино, и казалось, что назад их относят те же волны музыки и воды.

Шестнадцатилетняя девочка стояла на верхней палубе у самых перил, все видела, всему по-детски радовалась.

«Я сейчас, наверно, очень похожа на Наташу Ростову,— думала она о себе. Недавно прочитав впервые в жизни «Войну и мир», она не знала более обаятельного героя, чем Наташа.— Красивая музыка и этот удивительно праздничный день вливаются в мою душу волнами, значит, у меня настоящая поэтическая душа — большая, благородная и восторженная. Как хорошо, что я похожа на Наташу Ростову!»

И ей захотелось немедля рассказать обо всем, что она чувствует, своей матери или кому-нибудь другому. Лучше

всего, конечно бы, матери, потому что перед нею можно не рисоваться, не скрывать никаких мыслей: что бы ни было — мама все поймет только по-хорошему, так как знает, что ее дочь хорошая. А с другими, с незнакомыми людьми, поговорить тоже, конечно, было бы интересно, но с ними надо быть все время настороже: вдруг не поймут, вдруг истолкуют что-нибудь не так, как ей хочется и как она это переживает на самом деле.

Обязательно надо с кем-то поговорить, только сейчас же, немедленно, пока не затихла музыка над Волгой, не изменилось освещение, пока не исчезло, не уплыло все то, что так волнует душу.

И она бросилась на поиски своей матери, с которой ехала к бабушке в гости. В каюте матери не оказалось, на корме, на носу — тоже. Осенью теплоход был пуст, как они и предполагали: на дальние расстояния люди пользуются более быстрым транспортом — поездами, самолетами. На теплоходе хорошо, когда спешить некуда.

Девушка встревоженно заметалась по теплоходу, и не потому, что испугалась отсутствия матери,— куда ей деться? — а потому, что не хотела упустить время, остыть. Шестнадцатилетняя, она была высока и уже настолько сформировалась и такие имела тяжелые черные косы за плечами, что выглядела почти взрослой. Даже мать иногда терялась и не знала: девочка еще ее дочь или она уже девушка? Бегает по музыкальным вечерам, вдруг увлечется живописью — Нестеровым, Сарьяном, Рерихом; в День поэзии не ела с утра до вечера — сновала из одного книжного магазина в другой... мучается из-за того, что все еще не знает, кем ей быть... А то вдруг увлечется чем-нибудь пустяковым совсем по-девчачьи или, прочитав книжку какую-нибудь, наверно, хорошую,— обрадуется, запрыгает, заплачет — ну ребенок, ребенок и есть.

— Где же все-таки мама? — гадает девушка.— Может быть, и мама стоит в каком-нибудь уголочке у перил и любуется землей, и небом, и водой и переживает то же и точно так же, как она, ее дочь, ее Маринка. А ведь правда, должно быть, что на всем корабле только два пассажира? Нет, вот в буфете за столиком сидят еще трое. Трое мужчин. Ничего — не старые, не страшные. Взрослые. Не речники, не пароходные служащие, а тоже пассажиры, это видно сразу. Конечно, не студенты, и у них, конечно, не каникулы, а трудовой отпуск.

У одного очень важная бородка, лопаточкой — стара-

тельно подстриженная, ухоженная, а ведь молодой совсем. Девушки отращивают косы, молодые мужчины — усы и бороды, чтобы скорее казаться взрослыми. У него еще разноцветный новенький галстук на шее.

У другого не галстук, а бабочка, бантик,— артист, что ли, какой или музыкант? Может быть, сегодняшняя музыка исполняется по его заказу? Вот если бы он был музыкант и если бы сел за рояль,— Марина где-то здесь видела рояль,— да играл бы всю дорогу, вот бы!..

Третий мужчина тоже ничего... заметный... Он был в шляпе из рисовой соломки; когда Марина вошла в помещение, он быстро снял шляпу и даже вскочил. Правда, ничего не сказал, не предложил пройти, не предложил стула, просто вскочил и смотрел на нее. А все-таки интересно!

«Значит, меня уже считают взрослой! — с любопытством и самодовольством отметила про себя девушка.— Наверно, это москвичи какие-нибудь и сели на теплоход раньше нас».

Марина не задержалась в буфете, оглянулась и вышла: матери не было. Через несколько минут, побродив по узкому коридору второй палубы, она снова заглянула в буфетную комнату, но уже из другой двери. Мужчины за столиком играли в домино и разговаривали о литературе. Девушку на этот раз они не заметили.

— Для кого же и книги пишутся, если не для нас, для интеллигенции? — говорил человек в шляпе из рисовой соломки. Он, видимо, тотчас надел ее снова, как только Марина скрылась из виду.

— Это все так, но когда их читать? — заявил другой пассажир, тот, у которого росла важная бородка.— Времени не хватает. Начнешь читать книги, да нарвешься еще на интересные, да увлечешься, ну и запорешься, прошляпишь чего-нибудь по службе, и, того гляди, с поста снимут.— Высказав это, он перемешал кости, повернул их тыльной стороной кверху, еще раз перемешал, придвинул себе свою долю, часть отложил в сторону для прикупа и выкрикнул: — Начали! — Потом добавил: — Этак художественная-то литература боком может выйти.

— А все-таки читать надо. Дупель три! — ударил по столу первый собеседник и как-то весь качнулся вперед. Под столом загремели бутылки. Второй наклонился, заглянул под стол, проворчал:

— Подберите ваши длинные ноги, а то прольете остатки.

— Извините, никаких там остатков уже нет. Пять-ноль! Без чтения любой пост, в конце концов, тоже, как выразились вы, боком может выйти. Кто же и читать станет, как не мы, интеллигенция?

— Интеллигенция — это хорошо, это приятно, но вот как начнут с вас шкуру сдирать за то, что черное от белого отличить не смогли, так все книжки из головы вылетят. Пять-четыре! А то еще придет срок квартальной отчетности. Бриться бывает некогда, не то что книжки читать. Бороду вот свою по неделе не подстригаю.

— А все-таки читать надо! — стоял на своем пассажир в шляпе.— Наша художественная литература воодушевляет, приподымает, она зарядку дает.

Его поддержал человек с бабочкой вместо галстука:

— Без художественной литературы всю интеллигентность можно растерять в два счета. Наша литература облагораживает нравы, очищает душу.

Маринка осторожно повернулась и тихо вышла, чтобы не заметили, что она слышала разговор, и чтобы человеку в шляпе не стало неудобно оттого, что он снова надел ее на голову.

А мама оказалась в каюте.

— Ты, Мариночка? — сказала она ласково, когда дочь прикрыла дверь и удивленно уставилась на нее.

— Откуда же ты взялась, мамочка? Я весь теплоход облазила, только в трюм не спускалась да в машинном отделении не была, а тебя нет и нет.— И от первых вопросов, и от первого удивления Марина сразу перешла к восторгам: — Какой день, мамочка, какой день! Чистая поэзия! Может быть, ты мне скажешь, бывал ли в моей жизни другой такой день? — И с ходу она бросилась на узкую коечку, и черные косы ее, которые в этой маленькой каютке показались еще крупнее, отлетели в сторону.

— Да, Мариночка, мне тоже хорошо! — спокойно сказала мать и, взяв ее косы, погладила их сначала на своих коленях, а потом уже закинула дочке за спину.

— Почему ты здесь сидишь, мамочка? Все в солнце, вся вода в искрах, все небо в зайчиках. Если бы ветер подул, мне кажется, еще было бы лучше. Ветра нет.

— Ты сама как ветер. Довольна, что поехали пароходом?

— Еще бы, мамочка, ты не могла ничего лучше придумать. Я даже не представляла, что так будет хорошо.

Мать была похожа на свою дочь, лицо тоже смугло-

ватое, и брови черные, и волосы черные, только сама она уже не тоненькая, а коса, наоборот, тоньше, чем у дочери, да и одна она, а не две, да и цветом, пожалуй, не так уж свежа и черна. Зато брови широкие, густые, почти сросшиеся на переносье и с таким же изломом, как у Марины.

— Твой отец очень любил ездить на пароходе,— сказала мать.— Он ведь матросом был когда-то!

— Военным?

— Нет, не военным. Военным он стал только в войну.

— Хорошо, что ты мне всегда что-нибудь о нем рассказываешь.

— Ну, как же я могу...

— Нам бы, мамочка, когда-нибудь вот так доплыть до Сталинграда, до этой Портяновки, и побывать на его могиле. Может, нашли бы ее.

— Хорошо бы когда-нибудь. Только не найти уж ничего, наверно. Там сейчас плотина, море.

Теплоход, видимо, сделал поворот, и солнце проникло в каюту, ткнулось в стенку, коснулось желтой медяшки на дверях, пошло по потолку... Марина встала и раздернула занавесочку во всю ширину окна. Солнца в каюте стало еще больше.

— Ты только посмотри, мама, какие берега! Казань проехали. А что это за будочки в зелени? Дачки не дачки, курятники какие-то?

Мать тоже подошла к окну. Дочь была чуть выше ее, но это обнаружилось лишь потому, что они встали совсем рядом.

— Все-таки, наверно, дачки,— ответила мать. Голос у нее был глуховатый, усталый, а у дочери звенел и то и дело прорывался па самые высокие ноты, когда уже не говорят, а повизгивают от избытка жизни.

— Как же в таких будках живут?

— Живут! Рыбаки, наверно, живут.

— Казанские сироты живут, это их дачи! — сострила Марина и, довольная собой, засмеялась первая.

Кусты на берегу откатывались назад с большой скоростью, будто клубы зеленого дыма. Навстречу им летели голубоватые клубы облаков. В воде зеленое и голубое сливалось, перемешивалось, и ощущение больших глубин и больших скоростей от этого только увеличивалось.

— У нашего теплохода есть подводные крылья? — вдруг спросила Марина.

— Если бы мы шли на крыльях, разве бы не знали об этом?

— Все равно мы на крыльях.

— Это ты на крыльях.

— А ты — нет?

— Я нет. Я отдыхаю, Маринушка. У меня теперь не очень интересная работа, а это утомительно.

— Я тоже отдыхаю.

— Разве ты устаешь когда-нибудь?

— Что такое интеллигентность, мама?

— Вот те на! Я сама не знаю. У меня ведь почти нет образования.

— Ну, а все-таки?

— Наверно, это культурность, образованность. Потом, интеллигентный человек — хороший человек.

— Обязательно?

— Ты меня, дочка, прямо к стенке прижала. Дай хоть подумать.— Мать отошла от окна, снова села на койку.— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Что такое интеллигентность, мам?

— А не лучше ли тебя об этом спрашивать, ты ведь больше моего училась? Ты уже интеллигентная.

— Да? Но я еще не интеллигенция.

— Твой отец, доченька, был простой человек, его никто не считал интеллигентом... А он был очень хороший человек. Ты меня понимаешь?

— Ты совсем запуталась, мама.

— Вот те на!

— Оказывается, мы здесь не одни, мама. Ты знаешь об этом?

— Да, кто-то еще есть. Завтракать нам не пора?

— Покормиться не мешало бы. Я, мамочка, очень проголодалась. Воздух же!

— Пойдем поищем столовую.

— Тут есть буфет.

— Наверно, и столовая работает, раз мы не одни.

— Я видела буфет, и в нем сидят три пассажира.

— Пошли.

Они встали, но еще долго не выходили из каюты. Мать, поднявшись, расправила на себе складки платья — платье было небогатое, вискозное, потому мялось сильно; затем она подошла к зеркальцу, пристально вгляделась в самую глубину его и, вглядываясь, то отходила, то приближалась к самому стеклу, словно пыталась обнаружить в нем, за

ним, что-то давно утраченное и забытое; затем она достала из сумочки карандашик помады и подвела себе губы; потом поправила волосы на голове, легким движением плеч перекинула косу на грудь, осмотрела ее, чуть поправила узел ленты и так же ловко снова забросила косу за спину; потом...

За это время дочка тоже осмотрела себя и приготовилась к выходу «на люди», но она это сделала быстро, почти незаметно и, кажется, без всякого интереса к себе, просто повернулась несколько раз вокруг своей оси да ножкой притопнула,— с нее и этого было достаточно. Приготовилась и остановилась у порога, ожидая мать.

А мать перед зеркалом начала еще неторопливый рассказ:

— Интересный был случай однажды со мной. Ехала я вот так же на теплоходе поздней осенью. Дождь льет, вода серая, небо серое, из каюты не выйдешь. Сидела я, сидела в каюте, вышивала что-то, досидела до вечера, есть захотелось, а с собой ничего не было, на столовую понадеялась. Пошла в столовую пообедать, а столовая закрыта, и на теплоходе нигде ни одной живой души. Даже служащих никого. Неужто, думаю, без капитана плывем? Капитана все-таки нашла. Будут ли, спрашиваю, остановки где-нибудь, чтобы достать еды? Он как удивится: «Неужели у нас пассажиры есть?» Наклонился к медной трубке, кричит кому-то: «На корабле обнаружена пассажирка, накормить ее немедленно!» Прибегает ко мне белый человек — кок, прибегают несколько матросов, ведут меня прямо на кухню — на камбуз, потом в кают-компанию, усаживают за общий стол, с командой вместе. И давай меня кормить. Кажется, никогда я такого вкусного борща не едала, как в тот раз. А ведь незнакомые все, подумаешь, беда какая, что пассажирка голодная едет. Сама виновата, запасайся провизией, не содержать же им столовую на одного человека.

Мать вспоминала об этом с таким удовольствием, как будто это было одно из самых необыкновенных и важных событий в ее жизни. Она даже помолодела на глазах у дочери.

И Маринка стала о чем-то догадываться.

— Давно это было, мамочка? — с интересом начала она допрашивать.

— Давно, очень давно. Еще войны не было.

— Ты тогда девушкой была?

— Да, Маринка!

— А мой отец был матросом?

— Тоже верно. Значит, ты догадалась, Маринка? Он тогда еще не был твоим отцом. Он никем еще не был.

— Он тебя и кормил этим борщом?

— Кормил-то не он. Но это был памятный борщ, первый борщ в нашей жизни.

Наконец мать успокоенно отошла от зеркала.

— Пойдем пообедаем.

— Пойдем, мамочка, позавтракаем. Мы еще не завтракали.

— Позавтракаем и пообедаем заодно. Спешить некуда.

* * *

Буфет все-таки был столовой, и даже не столовой, а рестораном,— по крайней мере, он так назывался. Квадратные дюралевые столики, накрепко принайтованные к палубе, сияли скатертной белизной. Официантки не было, но солнце ходило от стола к столу, и все помещение казалось убранным по-праздничному. За буфетной застекленной стойкой, среди винных и коньячных бутылок и стопок и холодных застарелых закусок, возвышалась женщина с тройным молочным подбородком, вся в белом и сама дебелая, как буфет. Делать ей было нечего, а покидать пост не полагалось, поэтому она время от времени переставляла закуски, трогала вазы с конфетами, иногда брала стакан или рюмку и, дунув на стекло, протирала его полотенцем, а то клала леденец в рот и старательно рассасывала, причмокивая выразительными подвижными губами.

Три интеллигентных пассажира сидели все за тем же столиком, за которым их видела Марина. Теперь они не играли в домино, а пили водку. Больше никого в ресторане не было.

Когда мать и дочь вошли в ресторан, мужчины оборвали разговор и заметно заволновались. Это были те же самые мужчины, Марина в этом убедилась, как только взглянула на них: один почти юноша, похожий на артиста или музыканта, яснолицый, безусый, с чистым, немного покатым лбом, в черном чистом трико с бабочкой-бантиком вместо галстука; другой пассажир — с важной, аккуратно подстриженной бородкой — может, лишь из-за этой бородки он и казался старше первого; костюм на нем был не черный, а светло-серый, цвета сухого речного песка; третий собеседник, тот, который утром был в шляпе из рисовой китайской

соломки, сейчас сидел без шляпы, он был так же хорошо одет, как и другие, но, как Марина заметила, значительно превосходил всех ростом.

Мать, увидев на столе мужчин уже опорожненную бутылку из-под водки, настороженно замедлила шаги, видимо решая, куда удобнее им пройти — вправо или влево от буфета, а может быть, лучше и вовсе не входить в ресторан, от которого сразу пахнуло обыкновенной забегаловкой. Но в этот миг высокий мужчина — как оказалось, очень высокий,— повернувшись к вошедшим женщинам, поспешно встал, как это он сделал и в первый раз, при появлении одной Марины; за ним, видимо, в подражание ему, поднялись и другие мужчины — и мать успокоилась.

— Пожалуйста, извините нас и не обращайте на нас внимания,— почтительно заговорил высокий с курчавой густой шевелюрой под самым потолком.— Дорога, знаете, дальняя, нескорая, пока едем, много воды утечет, скучно, разговоры надоели, и решили немного оскверниться, не все же одну воду лить. Извините нас и не беспокойтесь.

— Пожалуйста! — сказала мать.

Тогда высокий произнес еще одну речь:

— Конечно, для зеленого змия погода не подходящая, жарко, но поскольку в обществе уважающих себя русских интеллигентов, к тому же находящихся в служебной командировке, баловство чем-либо иным, кроме водки, считается непозволительным, то и мы не посмели отступить от общепринятых неписаных законов. Выпили по маленькой за всех плавающих и путешествующих. Простите нас еще раз.

Речь его была витиевата, курчава, как и высокопоставленная его голова. Смотрел он при этом весело и приветливо, и мать улыбнулась.

Пожалуйста! — повторила она.— Не стесняйтесь. Мы с дочкой зашли позавтракать.— Она осмотрелась вокруг и первая села к столику у раскрытого окна с трепетавшей от ветерка занавеской. Напротив нее села Марина. Опустились за свой стол и мужчины.

Осмотрев столики и не найдя меню, мать подняла глаза на буфетчицу, но та не двинулась со своего поста, и мать попросила:

— Можно будет позавтракать?

Буфетчица заколыхалась и произнесла:

— Подойдите сюда, у нас самообслуживание.

- А что у вас есть на завтрак? — спросила мать.

— У нас есть обед. Советую сразу пообедать, а то ничего потом не будет, голодные останетесь.

— Хорошо,— согласилась мать.— Мы пообедаем. Мариночка, ты согласна?

— Конечно, мам!

— А не пообедать ли, товарищи, заодно и нам? — громко обратился к своим все тот же мужчина.

— Вот это идея.

— Верная мысль и вовремя высказана. Действительно, что мы тут без дела будем сидеть, работать надо! — весело поддержали его остальные.

— Конечно, обедайте сразу все, чего тянуть! — посоветовала и буфетчица.— Потом голодные останетесь. Водкой не напитаешься.

Марина шепнула матери:

— Я еще никогда не видела таких буфетчиц.

— А что? — шепотом же спросила мать.

— Все такие бойкие, быстрые, тоненькие, а тут...

— Да-а!.. — подтвердила мать.— Только бойкости, наверно, и у этой хватит, когда и где надо.

— Дайте-ка нам меню, пожалуйста! — попросил буфетчицу артист с бабочкой.

— Меню у меня нет, а есть щи кислые да котлеты.

— Как так меню нет?

— А так и нет. Вас всего пять человек, какое еще меню надо?

— Но у вас же ресторан? — удивился артист.

— Ну, ресторан!

— В ресторане положено иметь некоторый ассортимент блюд на выбор.

— Ну, положено. А кто выбирать будет?

— Позвольте, позвольте! — не унимался артист.— Ежели положено, то будьте любезны!

— Чего будьте любезны? Чего позвольте? — начала обижаться буфетчица.— Хотите обедать — обедайте, есть обед.

В разговор вмешался мужчина с бородкой, в костюме цвета речного песка.

— А действительно, в ресторане мы или нет? Имеем мы право или нет? В предписании министерства есть списки обязательных блюд и горячих и холодных закусок для столовых и ресторанов всех разрядов. Для вас что — предписания министерства не закон?

Буфетчица вышла из-за стойки, все три подбородка ее вздрагивали.

— Вы вот что! — заявила она.— Скандалов я тут не потерплю. Министерством меня пугать нечего. С утра пьют водку да еще министерством стращают. Ежели вы люди культурные, то кушайте, что дают. На пять человек мы вам всю кухню на ноги поднимать не будем.

— Кого вы будете поднимать — это не наше дело. Вы скажите прямо, существует для вас закон или не существует? — Бороде, по-видимому казалось, что он подсекает буфетчицу под самый корень, но та знала свой объект и все законы, которые для нее на этом объекте существовали.

— Вишь, законник какой выискался! Ты законом мне в зубы не тычь! — пошла она в решительное наступление.

— Вы меня не тыкайте! — возмутился вдруг пассажир с бабочкой, хотя предыдущие слова буфетчицы относились совсем не к нему.— Вы не смеете меня тыкать «на ты».

И буфетчица отступила, повторив те же слова, только по-другому:

— А вы не тычьте мне в зубы законом,— поправилась она.— Вишь, какие законники выискались.

Пока обе стороны отстаивали священные принципы законности, мать и дочь с тревогой переглядывались друг с другом, и мать решилась наконец попробовать включиться в борьбу за мир:

— Может быть, мы все-таки пообедаем?

— А я что говорю? — рявкнула буфетчица.— Мы из-за пяти человек обед приготовили, а вы: хочу — не хочу! Это на берегу, а на воде — тут нечего свои законы устанавливать.

— Законы везде одинаковы, вы это бросьте!.. — не хотела сдаваться бородка, но мирный голос женщины уже был услышан, его подхватил высокий курчавый пассажир и тотчас встал:

— Извините нас великодушно за этот шум и, если вы не откажетесь... — начал он по-прежнему витиевато, обращаясь к матери Марины, и длинные ноги его подгибались от учтивости.— Простите, как прикажете называть вас?

— Меня зовут Полина Васильевна.

— Очень приятно. Я — Виктор Захарович. Если вы не откажетесь, Полина Васильевна, и если не пугает наше общество вашу уважаемую дочь Марину,— я ведь не ошибаюсь, вы так ее называли? — то мы все будем рады видеть вас за своим столом.

— Спасибо! Но столики такие маленькие... не беспокойтесь... — стала отказываться мать.

— В таком случае извините,— почтительно склонил свою высокопоставленную голову Виктор Захарович и сел.

— Столики не помеха,— выручил его сосед с бабочкой на горле.— Столики мы сдвинем и все усядемся свободно. Будьте любезны, не отказывайтесь. Меня прошу называть Виталием Борисовичем.

— Столики не сдвинуть! — заявила буфетчица из-за стойки.

Виталий Борисович дернул рукой один столик, толкнул другой и смутился.

— Да, простите, я об этом не подумал.

— Я тоже не учел этого обстоятельства,— сказал Виктор Захарович.— Но вы можете свободно сесть за этот соседний столик. Все-таки будет одна компания. А можем и мы пересесть к вам поближе, к вашему окну.

Полина Васильевна слушала и думала — соглашаться ей или нет? Пожалуй, если обедать вместе, то мужчины больше не будут пить водку — и это уже лучше. Да, кажется, и не плохие они люди — не с улицы, деликатные. Хотя уже заметно повеселели.

— Пересаживайтесь, пересаживайтесь! — вмешался в ее соображения третий человек, тот, что с бородкой.— И не сомневайтесь, мы люди интеллигентные. Не последние спицы в нашем обществе. С нами не пропадете.

Когда Полина Васильевна и Марина подошли к ним, чтобы сесть за соседний столик, он первый подал им свою руку и тоже назвал себя: Вениамин Александрович. Светло-серый пиджак осветило солнце, отчего он посветлел еще больше, совсем как сыпучий песок на речном пляже.

Так они познакомились.

Кислые щи всем понравились — их ели и хвалили.

— А что я вам говорила? — торжествовала буфетчица. Нет, она не злорадствовала, что одержала верх над клиентами, не мстила им, она просто радовалась, что все уладилось подобру и что ее кислые щи всем нравятся.

Мужчины допили водку из рюмок. Полине Васильевне они предложили виноградного вина, но та отказалась, и мужчины не стали настаивать. Не стали больше пить и сами.

А настроение все улучшалось. Разговор стал веселым, каждый старался отличиться какой-нибудь шуткой, чтобы рассмешить других, и когда это удавалось — сам радо-

вался. Все подобрели друг к другу и особенно к женщинам. Буфетчицу уже называли по имени и отчеству и приглашали за общий стол. Об имени-отчестве спросил ее все тот же любезный и велеречивый Виктор Захарович.

— Простите, как прикажете называть вас? — спросил он.

И буфетчица ответила сразу, не ломаясь:

— Нора Феоктистовна.

— Очень приятно, многоуважаемая Нора Феоктистовна.

— Так-то оно лучше,— примирительно сказала буфетчица.— А то все законы да законы. Надо по-человечески разговаривать.

— Но вы тоже, признайтесь...

— Да я-то признаю́... Каждый должен знать свое место, вот что.

— Позвольте, вы о чем?

— Да все о том самом.

Между тем Виталий Борисович возобновил разговор о щах.

— Что напоминают нам эти кислые щи? — сказал он, поправляя после каждой схлебнутой ложки свою бабочку на горле.— Почему нам всем они так понравились? Как вы думаете, Вениамин Александрович?

— Вы, наверное, опять в философию хотите удариться,— ответил тот.— Традиционные кислые щи, русская интеллигенция, закваска и прочее? — На его ухоженной, аккуратно подстриженной бородке уже висели мокрые клочки вареной капусты.

— А как думаете вы, Полина Васильевна? — обратился Виталий Борисович к соседнему столику.

— Я думаю, они потому и понравились вам, что кислые. Вы же водку пили.

Виталий Борисович чуть не взвизгнул от радости:

— Вот истина! Вот сермяжная правда! И так просто вы ее высказали! Наверно, даже сами не знаете, что уловили суть вопроса. Кислые щи напоминают нам русский традиционный квас. Это же не щи и не квас, а легенда. Она так же необходима нашей натуре и так же укоренилась в нашем быту, как древние былины об Илье Муромце и Микуле Селяниновиче.

— Позвольте, но ведь Полине Васильевне кислые щи тоже понравились, а к водке она не прикасалась. Где же правда? — сказал Вениамин Александрович.

— Я люблю их с детства,— ответила Полина Васильев-

на,— пища эта простая, и я человек простой — мы друг к другу подходим.

— Вот суть вопроса! — восхищался артист с бабочкой.

Полина Васильевна решила разъяснить эту суть вопроса.

— Мой дед еще очень любил опохмеляться квасом да кислыми щами. Жили мы в Нижнем, в Сормове. Дед запивал частенько, а потом и отец привык, квас да всякая другая кислая пища в доме не переводились. Я и привыкла к такой пище. Люблю еще капустный рассол, без памяти люблю.

— Вот откуда древние легенды и былины идут! — торжествующе возглашал Виталий Борисович.—Все традиции наши восходят к простому народу, питаются его бытом.

Между прочим, все мужчины уже заметили, что их соседка, Полина Васильевна, женщина простая, может быть, даже слишком простая. Об этом говорило ее безыскусное лицо с чрезмерно разросшимися черными бровями, чересчур сильные рабочие руки и срезанные напрочь ненаманикюренные ногти, и не очень новое платье из дешевого вискозного шелка, и манера держаться в обществе, в ресторане — излишне скромная, диковатая, настороженная. Конечно, простая женщина! И может быть, именно поэтому все мужчины, все трое старались быть с нею особенно вежливыми и предупредительными, чтобы ничем не обидеть ее,— все-таки человек из другого круга. Дочка ее, Марина,— другое дело. Эта — да! В ее лице больше озаренности, больше полыхания, если хотите, больше школы, это, так сказать, представительница двадцатого века, в ней во всей, особенно в ее изящной фигуре, есть уже изысканность нового поколения и, так сказать, что-то от высшего советского, так сказать, нового аристократического общества. Но это еще ведь совсем девочка!

А Полине Васильевне понравилось среди этих интеллигентных, ну, конечно, немножко подвыпивших, но не грубых людей. Она даже не прочь была пококетничать с ними и то и дело заглядывала издалека в распахнутую створку окна, в стекле которой можно было увидеть свое изображение почти как в зеркале.

А Марине нравилось чувствовать себя уже девушкой, почти взрослой, и замечать взгляды взрослых мужчин, брошенные в ее сторону. Правда, с ней почти не заговаривали, но это ее, пожалуй, устраивало еще больше, потому что иначе бы она больше стеснялась. Нравилось еще ей присутствовать при интересном и непринужденном разговоре

обо всем, обо всем. Она внимательно слушала эти разговоры, и ей казалось, что они пойдут ей на пользу, что они ее развивают. Особенно интересно было слушать длинные, извилистые периоды Виктора Захаровича. Она еще ни разу, пожалуй, не слыхала, чтоб так разговаривали за столом. Ну, на трибунах — другое дело! В романах, правда, так разговаривают. Да вот еще: однажды попала она в клуб писателей и слышала там такого же удивительного, тоже немножко пригибающегося, на длинных ногах говоруна. Его тогда все слушали и почему-то смеялись над ним в открытую.

А как он говорил! Даже рифма иногда попадалась. Выступал будто бы писатель разговорного жанра. Чудо! В школе разве что-нибудь подобное услышишь: вечная строгость, внушения, дидактика (это слово Марина уже знала!).

Марина начинала воображать, что перед нею какие-то герои из «Войны и мира» и сама она тоже героиня, и стала подгонять живых, сидящих перед нею людей под тех литературных героев, понравившихся ей на всю жизнь. Разве уж так не похожи одни на других, разве нельзя их подрисовать — кое-что добавить одним, кое-что перечеркнуть у других, кое на что закрыть глаза... А фон — волны воды и света, легкое прозрачное небо, и радостная свойская земля, и удачливый с утра день, и музыка, и каникулы — можно наконец-то не думать об уроках!

«Ну я — это, конечно, Наташа Ростова,— думает Марина.— А это, конечно, моя мама. Она нисколько не хуже никакой графини. И графине Ростовой она ни в чем, конечно, не уступит, она даже моложе ее на много-много лет и, по-моему, красивее. Мама ей двадцать пять очков вперед даст. А что графиня была добрая, так трудно ли графине быть доброй? Попробовала бы она на мамином месте раздавать направо и налево свою доброту. Что бы ей тогда на пропитание осталось? Мама работает с утра и до вечера, да дедушка работает и пенсию получает, да двое дядей работают, и все равно... э, да что тут говорить! Моя мама в тысячу раз добрее графини Ростовой. Хотя я, конечно, не против графини. И насчет правдивости и честности моя мама не уступит никакой графине. И благородства этого аристократического в ней хоть отбавляй! А если бы этих графинь на наше место...

Теперь вот этот Виталий Борисович в черном костюме, артист с бабочкой,— кто он? Князь Болконский или кто? Князь — хм?.. Как звучит — князь...— Представив себе Виталия Борисовича князем, Марина чуть не расхохоталась

вслух.— А этот длинноногий Виктор Захарович, которого она при первой встрече видела в шляпе из рисовой соломки, представитель разговорного литературного жанра, вскакивающий с места при появлении женщин,— этот, конечно, из высшего света. Кто же он? На какой новой общественной лестнице он стоит? Князь он или граф? Простой служащий? А с кем можно сравнить интеллигентного Вениамина Александровича с его аккуратной модной бородкой — с каким деятелем, с каким полководцем? А кто из них Пьер, кто Анатоль Курагин? Ведь, наверно же, есть среди них и Анатоль Курагин?..»

— Между прочим, дело не в кислых щах, скажу вам, и не в квасе,— продолжал Вениамин Александрович, сняв со своей холеной бородки ленточки капусты,— то есть я хочу сказать, дело не в традиционной привязанности русского народа ко всякой кислятине. В этом вопросе, дорогие спутники, надо видеть правду жизни. Почему мы летом, когда повсюду полно свежей капусты, едим кислые щи? За такие щи надо людей с постов снимать, а не расхваливать вкус этого варева — вот что я вам скажу. Есть у вас свежие овощи, уважаемая Нора Феоктистовна? — обратился он к буфетчице.— Нет! Почему вы нас кормите кислыми щами в овощной сезон? Кто позволил? Вот о чем говорить надо. Вот где надо правду искать. Если не мы, интеллигенция, то кто же будет стоять за правду?

— Вы опять о правде? — с неудовольствием возразила на это буфетчица.— Далась вам она, правда!

— А кто же за правду стоять будет?

— Тогда не о капусте говорить надо.

— Капуста тоже продукт. Куда девалась свежая капуста? Вот вы работаете по торговой части,— обратился вдруг Вениамин Александрович к артисту с бабочкой.— Можете вы объяснить нам, почему в сети пищепрома,— а мы это заметили и при посадке, и на предыдущих остановках,— в такое время года нет свежих овощей?

Марина, услышав, что Виталий Борисович, тот самый, которого она принимала за музыканта или за артиста, тот, в черной, почти фрачной паре, с белоснежным воротничком, с черной шелковой бабочкой вместо галстука, никакой не артист и не музыкант, а просто «работает по торговой части», ужаснулась и стала смотреть на него почти с негодованием, как и положено аристократической Наташе Ростовой. Ведь он, может быть, просто какой-нибудь метрдотель.

— Так что же? Почему же? — допытывался Вениамин Александрович.

— Ну, это и я вам могу сказать почему,— вмешалась буфетчица.

Развенчанный в глазах Марины Виталий Борисович ответил:

— Да просто потому, что свежие овощи не дошли еще до потребителя.

— Когда же дойдут?

— Когда гнить начнут! — как бы вскользь заметила Полина Васильевна, которая к торговой сети, по-видимому, относилась весьма критически, как всякая домашняя хозяйка. И добавила: — Не гнилая картошка продается только на базаре, с рук. Может, я ошибаюсь?

— Второе подавать? — спросила буфетчица.

— Позвольте, а что у вас?

— Вам опять выбор нужен? Ох уж эта мне интеллигенция!

— А все же — что?

— Котлеты есть.

— Так это же отлично! С гарнирчиком! — заговорили все.

Буфетчица сходила куда-то за перегородку и принесла на подносе сразу пять порций котлет. Не будем говорить, какие они были, важно, что гарнирчик оказался консервированным гороховым пюре.

— Ну вот, пожалуйста! — возмутился Вениамин Александрович.— А где морковь, где картошка, где та же капуста?

— Опять вам капусту? — с некоторой шутливостью начала ворчать буфетчица.— Капусту вам подай — скажете: а где горох? По капусте и по картошке планы еще не выполнены, законник вы этакой! Не может капуста поступить к потребителю, раз планы не выполнены. Она сдается государству.

— Ладно, ладно, Нора Феоктистовна...

— Я-то Феоктистовна, а вы вот интеллигентные люди, смотрю я, сами выпили, а даму так и не угостили. У нас сладкое вино застаивается. Да и котлеты бы полегче пошли.

Предложение было высказано весьма кстати, мужчины уже давно томились от того, что их рюмки были пусты, а Полина Васильевна уверилась, что в такой хорошей компании можно позволить себе даже вина выпить, поэтому все обрадовались, и Нора Феоктистовна вышла из-за стойки с бутыл-

кой водки и бутылкой «Волжского» яблочного. Сладкого налили рюмочку даже Марине, и она не отказалась, и мать ей позволила. Только буфетчица снова ни за стол не села, ни вина не выпила.

— Не положено это! — твердила она одно и то же.— Не положено, и все. И не приставайте ко мне!

Длинноногий Виктор Захарович, встав с места, попытался воздействовать на многоуважаемую Нору Феоктистовну изысканностью речи, но и это не помогло.

— Если бы нас, пассажиров, было много,— говорил он,— если бы теплоход был полностью укомплектован, если бы обилие заказов клиентов не позволяло вам отвлекаться от исполнения непосредственного своего служебного долга, если бы...

— Не положено! — перебила его Нора Феоктистовна.

— Дисциплина есть дисциплина! — занял позицию буфетчицы Виталий Борисович.— Я ее понимаю. Могут быть неприятности для нее.— Он-то уж, видно, знал, как это бывает в торговой сети.

— С поста снять могут, это точно. Чуть прошляпишь, и снимут,— подтвердил Вениамин Александрович.— Да еще объявят: «Освободить от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу». Малые дети и те уже знают, что это у нас означает. Но вы слыхали, что такое дисциплина? — спросил он, разливая водку по стопкам и наклоняясь над ними, так что бородка почти касалась стола.— Суть всякой дисциплины в том, чтобы не казаться умнее своих начальников. Как? В точку? — Вениамин Александрович сам захохотал.

— В точку-то в точку, но это уже отдает анекдотом,— возразил Виталий Борисович.

— Хотите знать правду — не пренебрегайте анекдотами.

Выпили водочки по одной, выпили по второй. Полина Васильевна тоже выпила, и ей было хорошо. Естественно, что в пути люди знакомятся легко и быстро, особенно когда их немного, когда вагон или теплоход не полностью укомплектован. А когда выпьют, то начинают и больше нравиться друг другу.

Говорили о службе и о служении народу, выясняли, в чем разница между этими понятиями и кого можно считать слугами народа, а кого нельзя. Говорили об учрежденческих служебных отношениях, о единоначалии и деспотии, об умении вовремя выступить, вовремя поднять вопрос и об умении составлять нужные отчеты. Виталий

Борисович поделился своими соображениями о том, как важно поддерживать добрые отношения с единомышленниками по службе и с начальниками.

— Вот, скажем, визиты,— говорил он.— Слово устарело, а существо осталось. Потом визиты визитам рознь: тут важно, с чем пришел, зачем пришел и что в душе принес. Или, скажем, поздравления к празднику. Новогодняя открытка стоит сорок копеек, написать ее вообще ничего не стоит, так надо рассылать их как можно больше. Вас же от этого не убудет. А телеграмма — та дороже стоит, зато и больше стоит. Надо и телеграммы посылать.

Интересно рассказывал Виталий Борисович о том, и как, и что происходит в учреждении, когда начальник пошевелит пальцем.

Для Марины да, пожалуй, и для матери ее приоткрывался какой-то совершенно новый полусказочный мир учрежденческой жизни. Буфетчица за стойкой сосала леденцы. Теплоход время от времени давал гудки и поворачивался к солнцу то одним бортом, то другим, будто принимал солнечные ванны и заботился, чтобы загар получился ровный.

Речь Виктора Захаровича становилась все менее витиеватой, водка действовала на него расслабляюще, длинные ноги его начинали чрезмерно подгибаться.

Вениамин Александрович оставался в суждениях своих неколебим — он ратовал за правду, но одновременно считал, что жить и служить надо так, чтобы с поста не снимали.

А Виталий Борисович проявил наибольшую осведомленность в вопросах о том, что следует считать очковтирательством и есть ли разница между очковтирательством и показухой и что такое подлинная социалистическая отчетность.

Закупать яйца на Украине, оплачивая их государственной древесиной, заготовленной сверх всяких планов, сдавать эти яйца государству как свои и получать премии за выполнение социалистических обязательств и выходить «по яйцу» в передовые области — это скорее всего очковтирательство... А вот из года в год ловить рыбу и, отрапортовав, выбрасывать ее сотнями тысяч тонн в море, потому что не хватает рефрижераторного флота для переработки ее, затем ловить снова, потому что надо выполнять и перевыполнять план, иначе не будет у рыбаков зарплаты, а у начальства премиальных,— и так из года в год — это уже очковтирательство с элементами показухи.

Что же такое показуха? Это, пожалуй, когда под боком у областного центра создается два-три показательных хозяйства, для которых начальство не жалеет ни сил, ни средств, ни места в газетах и на которые работает чуть ли не вся область, создается для того, чтобы в случае приезда каких-нибудь высокопоставленных гостей привезти их в эти хозяйства и сказать: вот что мы имеем; это, конечно, лучшее, но на это равняются все наши хозяйства и скоро вся область будет такой...

Бывает еще показуха другого рода. А впрочем, черт их разберет — где показуха, где очковтирательство. Сами себя подчас за нос водим.

— Правда, все это накладные расходы нашего продвижения вперед,— говорил Виталий Борисович уже языком торговли,— но из-за этих накладных расходов растут цены и увеличивается прожиточный минимум.

Вениамин Александрович соглашался с ним, но, ратуя за правду, добавил:

— Плохо, когда ложь возводится в принцип.

— Не всякая ложь — ложь,— отвечал ему Виталий Борисович.— Если ложь оправдывается высокой политикой — какая же это ложь? Не надо забывать, что вокруг нас заграница, чужой мир, и бывают случаи, когда правду говорить нельзя, сказать правду — значит выдать государственную тайну. А сказать неправду — значит просто не сказать правду. Какая же это ложь?

Вениамин Александрович задумывался, разглаживал свою бородку и опять вставлял слово:

— Все надо делать вовремя, к месту, чтобы все соответствовало интересам государства. Скажешь правду не вовремя — с поста снимут, неправду скажешь не вовремя — тоже с поста снимут.

Виктор Захарович начал ухаживать за Полиной Васильевной, то и дело вставал перед нею и предлагал ей выпить еще рюмочку и еще рюмочку. Но стоять долго он не мог, ноги подгибались. Правда, сам он не считал, что опьянел, потому не упускал случая принять участие и в интеллигентном разговоре.

— Правда — штука обоюдоострая,— заявил он,— двояковыпуклая и двояковогнутая, это палка о двух концах. Главное же... — Он сделал паузу.— Главное же, чтобы свои, свои люди не думали, что их обманывают.

Виталий Борисович как-то высокомерно поправил шелковую бабочку и сказал на это:

— Свои люди не должны так думать. Для этого существует система политического воспитания, институт агитации и пропаганды. Для всякого интеллигентного человека это должно быть ясно.

— А как же совесть? — спросила Полина Васильевна.— Ведь если человек говорит неправду и знает, что он говорит неправду, его должна совесть мучить. Как же с совестью?

— Совесть и честь понятия абстрактные и сами по себе не существуют. Все зависит от обстановки и от стечения обстоятельств. Вне классовой борьбы нет ни совести, ни чести. Есть две системы в мире, и одна должна победить другую, этим определяется и оправдывается все.

— Понесло, батенька, на высокие материи! — сыронизировал практический Вениамин Александрович и налил всем по новой стопке водки.— Говорили про свежую капусту, а вы про классовую борьбу. Нет у нас классов, давайте выпьем.

Полина Васильевна решила уйти, поблагодарив всех за компанию и открыла сумочку, чтобы расплатиться. Мужчины возмутились: это унижает их достоинство, дамы есть дамы, и платить в ресторане не их дело. Полина Васильевна твердо настаивала на своем. Дочка смущенно отошла в сторону. Буфетчица из-за стойки слушала препирания безучастно, а потом почти приказала Полине Васильевне:

— Подойдите сюда, я получу с вас, а мужчины за вино пусть платят.

Когда Полина Васильевна подошла к буфету, она ей шепнула:

— Уважаю самостоятельных.

Мать и дочь ушли, буфетчица выдвинулась из-за стойки и объявила:

— Обед кончился. Ресторан закрыт!

Мужчины расплатились и перешли в гостиную, где до вечера играли в домино и в карты. Во время игры, среди многих ничего не значащих восклицаний и поговорок, нередко вспоминались и женщины. Кто-то вдруг спрашивал как бы про себя:

— А?.. Славная птичка?

— Да, ничего себе! — отвечали ему.— А вы про которую?

— Да вот про ту самую.

— Девочка еще.

— Я не про нее.

— Про маму? Да, с перчиком!

— Да нет...

— Чего нет?

— Про ту.

— Что-о? Упаси меня бог: Тула!

— Какая Тула? Козырная шестерка у кого?

— Вот она. Зато уж чистый товар весом, никакой показухи.

— Да, без очковтирательства.

— Под водочку все пройдет.

— Фи!

— Что фи? Барышня фи?

— Ваша очередь.

Полина Васильевна после обеда легла спать, а Марина пошла бродить по теплоходу. Удивительный день в ее жизни продолжался, краски не меркли, ощущение праздника в душе не ослабевало. Все ей нравилось, и самой хотелось всем нравиться. И конечно ж, она всем нравилась! Не может быть, чтобы она не нравилась кому-нибудь. На нее так смотрели, так смотрели, и не мальчишки какие-нибудь, а взрослые, интересные, интеллигентные мужчины. Что за беда, что она ошиблась и приняла за музыканта какого-то работника торговой сети. Ведь что такое торговая сеть? Вероятно, служащие из министерства торговли — тоже сеть. Какая, должно быть, сложная и богатая жизнь в учреждениях, если там работают такие интересные, деликатные люди. Ну — «очереди на прием», ну — «приходите завтра» и разные там «входящие и исходящие» — все это, наверное, есть, раз об этом пишут и с этим борются. Но ведь вот же — люди живые, и они не бюрократы какие-нибудь, не чинуши, а сердечные, вежливые. И за правду стоят и все понимают...

Марине почему-то представлялось, что ее новые дорожные знакомые обязательно работают в высоких учреждениях. Не зря же они так часто говорят об интеллигентности. А она еще ни разу не встречала в жизни настоящих интеллигентов — какие же они?

В течение дня Марина обошла, наверно, все помещения теплохода, все его палубы и надстройки, заглядывала во все двери, на которых не висели слова: «Вход воспрещен!», и не раз видела издалека сидящих на одном и том же месте трех мужчин, с которыми она теперь была по-настоящему знакома. Они яростно стучали костями по столику, что-то говорили друг другу, видимо, спорили, видимо, шутили, много смеялись и — ни одного грубого слова, ни одного! Это просто удивительно!

Больше на теплоходе людей не было, если не считать

редко встречающихся рабочих команды. Они-то, вероятно, и назывались матросами, хотя ни черных знаменитых брюк-клеш, ни полосатых тельняшек они не носили и разбойничьей татуировки на руках и на груди она у них не обнаружила. Один такой матрос, здоровенный, круглощекий, лет двадцати пяти, с массивными грубыми надбровьями, в серых парусиновых брюках и парусиновой длинной рубахе без ремня, мыл палубу шваброй, похожей на конский хвост. На белом ведре, которым он набирал воду из крана и лил себе под ноги, выведена была красная буква «Р». Марина остановилась чуть в стороне от перил и смотрела, как старательно он работает. Протерев небольшой участок палубы, парень поставил швабру к стене и стал начищать тряпкой медные дверные ручки, изредка поглядывая на Марину. Когда легкий ветерок откинул ее косу и чуть приподнял ситцевое платьице, матрос грубовато пошутил, обращаясь к ней на «ты», видимо приняв за совершеннейшую девчонку:

— Держи платье, а то, гляди, ветер унесет.

Маринка судорожно ухватилась обеими руками за платье, прижав его к коленям.

— Простите! — сказала она.

Матрос помолчал и заговорил снова:

— Вот красоту навожу, надраиваю. А ты гляди не сюда, а на берег, там скоро настоящая красота начнется. Горы пойдут. И небо сегодня интересное.

— Да, небо сегодня интересное. Сегодня все очень интересное, простите! — смутилась девушка.

Ей не понравилось, что матрос заговорил с ней на «ты» и как-то очень уж снисходительно, словно с пятиклассницей, но подумать о нем плохо она не могла, потому что все время старалась представить себе, как ее отец тоже когда-то мыл палубу и надраивал медяшки на теплоходе. Не на этом ли?

— Простите! — сказала она и ушла на корму.

Приятно было стоять на корме теплохода и смотреть вниз, на вспененную винтами воду. Так и кажется, что в этих бурунах мелькают спины дельфинов. Но ведь дельфины в море, а это река, хоть и Волга. Почти неотступно летят за теплоходом чайки, часто опускаются к самой воде и, быстро-быстро трепеща крыльями, что-то хватают и снова взмывают в синее, в голубое, в молочно-розовое небо. Неужели они летят от самой Москвы, не сменяясь?

Но еще приятнее стоять на носу теплохода, потому что

здесь ветерок дует. Это ветер движения, ветер скорости! Хочется расплести косы, распустить волосы, и пусть их треплет ветер. Марина так и сделала, только не на носу,— здесь могли увидеть с капитанского мостика,— а на боковой палубе, где не было ни одной живой души. Распустила волосы, и, когда они прикрыли плечи, грудь, спину, свесились с перил, ей очень захотелось, чтобы те трое мужчин увидели ее такую — занавешенную собственными волосами, затененную, необыкновенную.

Волосы на ветерке быстро спутались, и Марина не смогла их ни расчесать, ни разобрать на плети, чтобы снова забрать в косы, поэтому она затянула их, не заплетенные, на затылке узлом и так пошла бродить с черной копной на голове.

На одной из коротких остановок мужчины, все трое сразу, сошли на берег, и Марина с огорчением подумала, что они покинули теплоход совсем. Но мужчины вернулись и принесли с собой каждый по бутылке вина — не белой водки, а какого-то золотистого вина — и снова уселись за столик в гостиной и стали пить, и шутить, и хохотать. Марина несколько раз прошла невдалеке от них и опять ни разу не слышала ни одного-единого грубого словечка от них. И ей очень хотелось подойти к ним и сесть с ними рядом, ничего, конечно, не пить, а просто посидеть с ними вместе. Но она, конечно, не сделала этого, она даже думать не думала об этом. Хотелось еще, чтобы они сами увидели ее и пригласили бы в свою компанию, но они почему-то не заметили ее и не пригласили. Что ж, может быть, так и лучше, а то, пожалуй, было бы и неудобно, и страшно чего-то, а отказаться сил не хватило бы.

Вечером подвыпившие пассажиры предприняли поход на женщин. На этот раз, кажется, были навеселе все женщины, то есть и Полина Васильевна, и Нора Феоктистовна! Не верилось, чтобы многоуважаемая Нора Феоктистовна и вечером ни разу не отступила от своего правила «не положено»: очень уж она расшалилась, расшумелась, очень уж игриво перекатывал свои волны ее тройной подбородок.

— Я сразу уразумела, что вы люди хорошие, свои,— говорила она, похохатывая.— А то министерством стращать стали, закон поминать, ассортимент им подавай! Слыхали, в ресторане первого разряда официант принял заказ из пяти блюд: вам, значит, шницель свиной рубленый? Вам рубленый бифштекс? Вам котлетки с гарнирчиком, с лучком? А вам что прикажете? Так-так, тефтельки в смета-

не? Пожалуйста, пожалуйста! Потом подошел к раздаточному окну и крикнул: пять порций котлет!

Все смеялись, все были довольны друг другом. Марине тоже было хорошо, хотя мама разрешила ей выпить только одну рюмочку.

Когда Нора Феоктистовна закрыла ресторан и они все шестеро вышли на палубу, длинноногий Виктор Захарович вдруг заявил, что он забыл на стуле свою шляпу. Вместе с буфетчицей он вернулся за шляпой и больше на палубе почему-то не показывался.

— Если вы не возражаете,— сказал Вениамин Александрович, обращаясь к Маринкиной матери,— сделаем круг по всему теплоходу. Перед сном хорошо принять дозу свежего воздуха. Разрешите? — И он взял Полину Васильевну под руку. За другую ее руку держалась Маринка.

— Как — перед сном? Я не хочу спать! — капризно возразила она. Это было ее девчачье кокетство.

Виталий Борисович осторожно взял под руку Марину — «Разрешите?» — и все они — мать и дочь в середине, мужчины по бокам — медленно двинулись вдоль борта навстречу раннему лунному свету.

Это была еще не ночь, а только начало ночи, только подступы к ней. Луна взошла, но и вечерняя заря еще не догорела. И вообще нельзя еще было утверждать, наступит ли настоящая ночь — темная, глубокая — или не наступит, сможет ли тьма хоть ненадолго одолеть это сияние неба и воды?

Модная бородка Вениамина Александровича при лунном свете казалась седой, а черный артистический костюм Виталия Борисовича и его черная шелковая бабочка словно были прошиты серебряной нитью. Недорогое вискозное платье Полины Васильевны покрылось блестками выходного наряда оперной царевны. Подорожало и ситцевое платьице Маринки. Только волосы матери и дочери, да брови их, да глаза стали при луне еще чернее и еще привлекательнее.

Они шли по длинному коридору палубы и часто останавливались у перил, шли и останавливались. Вода плескалась за бортом то справа от них, то слева. И луна то и дело меняла свое место относительно теплохода, поэтому они часто из света попадали в тень, как из дня в ночь, и наоборот. Было так хорошо, что даже разговаривать ни о чем не хотелось. Но Вениамин Александрович, объявив, что теплоход вступает в зону Куйбышевского водохранилища, повел серьез-

ный разговор о сметных расходах на строительство волжского каскада, и Марине захотелось дурачиться.

— Вы играете на рояле? — спросила она Виталия Борисовича почти шепотом.

— Нет,— так же шепотом ответил тот.— Но если вы захотите, я все могу сделать, всем овладеть,— и он прижал ее локоть к своему боку.— Почему вы спросили об этом?

— Мне сначала показалось, что вы либо артист, либо музыкант.

— Артисты тоже слуги народа, поэтому между нами разницы большой нет. Если вы желаете, считайте меня музыкантом и артистом, я все могу. А почему вам так показалось?

— Потому, что у вас костюм такой черный, с блеском, как у оркестрантов в театре, и бабочка, как у дирижера.

Кажется, Виталию Борисовичу нравились эти сравнения, и он все крепче прижимал худенькую теплую руку Марины к своему черному костюму.

— Смета — великое дело,— с увлечением рассказывал Вениамин Александрович,— если по смете отпущено, скажем, миллион, ты его должен израсходовать. Не израсходуешь — в следующем году получишь меньше. Вот и приходится иногда совать этот миллион в любую дыру, куда надо и куда не надо, только бы обезопасить себя... вы сами понимаете, хозяйство у нас плановое.

Полине Васильевне, видимо, нравились такие бухгалтерские разговоры, потому что она даже руку Маринкину выпустила, а дочери они не нравились.

— Почему он так скучно говорит? — сказала Марина Виталию Борисовичу опять шепотом.— Закат на Волге, а он про миллионы. Давайте сбежим!

Вместо ответа Виталий Борисович только потянул ее за локоток назад, и они отстали, а затем по-озорному юркнули в какой-то боковой проход.

— Здорово, а? — задыхаясь от волнения, спросила Марина.— Только вы, пожалуйста, не думайте, что я всегда такая несерьезная.

— Вы еще девочка совсем.

— Какая я девочка, вы меня обижаете!

— Хорошо, я не буду вас обижать. Вы удивительная, совсем взрослая, и очень милая, и очень дорогая! — Виталий Борисович осторожно, не грубо огладил ее голову, плечи, руки — очень осторожно, и это не обидело ее.

— Пойдемте на верхнюю палубу, там больше неба и воды, там обзор шире,— попросила Марина.

— Нет, лучше останемся здесь... Тут недалеко моя каюта, прятаться легче.

Все это они говорили вполушепот, как давние друзья, как заговорщики. А мрак скрывал разность возрастов, и Марине все нравилось, и ничто не тревожило и не пугало ее. Нравилось, что кругом ни души, что они даже от луны спрятались и что Виталий Борисович такой серьезный, такой культурный и очень вежливый, не скучный, не хвальбушка какая-нибудь, не тычет своими заслугами на каждом шагу.

Может быть, они и поднялись бы на верхнюю палубу, но в это время из дальнего конца коридора раздался резкий, всполошенный крик матери:

— Марина, ты где? Марина!

Голос быстро приближался. И Марина ответила:

— Я здесь, мамочка! Не беспокойся.

Ответила и пожалела, потому что сразу стала исчезать вся таинственность ночи, вся прелесть уединенного разговора вполушепот со взрослым интересным человеком.

— Давайте спрячемся! — попросила она.

— Пойдемте в мою каюту! — предложил Виталий Борисович.

— А это ничего?

— Ничего. Вы будете довольны.

Мать, видимо, успокоилась за Марину, когда услышала ее ответный крик, и пошла по освещенному луной коридору неторопливым шагом, молча. За нею следовал Вениамин Александрович, успокаивая ее.

— На вас плохо действует лунный свет, Полина Васильевна. Мы же культурные люди, зачем панику поднимать?

В темном боковом переходе Марина доверчиво прижалась к Виталию Борисовичу, и мать прошла мимо, не заметив их. Виталий Борисович обнял Марину — опять же не грубо, не обидно,— и, как только мать прошла, они, крадучись, бросились через коридор на другую сторону теплохода, в его каюту.

— Скорей, скорей, а то она сейчас вернется! — дышал ей в ухо Виталий Борисович.

И вот тут-то и появился тот, давешний матрос, который мыл палубу шваброй, похожей на конский хвост, и драил дверные медяшки рваными грязными концами — красоту наводил. Он словно где-то скрывался все это время,

он словно из стены выступил, словно из-под пола вырос. И все, что произошло дальше, потрясло и напугало Марину. Все показалось чудовищным, оскорбительным, невероятным.

— Ты куда, гад, девчонку потащил? — заорал матрос грубым голосом и схватил Виталия Борисовича своей огромной ручищей прямо за горло, за его шелковую черную бабочку.

Рядом с поблескивающим при лунном свете костюмом — парусиновая, словно каторжная, роба, а вместо ласкового полушепота — дикая, нецензурная брань. Все было ужасно-ужасно, все было унизительно, некультурно, непонятно.

— Ты, гад ползучий, где находишься... так... так... этак?! — кричал матрос. А когда на крик прибежала мать, он набросился и на нее: — Ты что, мать, бросаешь свою дочку?.. так... так... Кому ты ее доверила?! Воспитателей нашла!..

Кажется, матрос что-то сделал с Виталием Борисовичем, но ни Полина Васильевна, ни Марина ничего этого не видели, они убежали. Вряд ли правда, что матрос побил пассажира, потому что утром на теплоходе все было тихо, все шло обычным, своим, заведенным порядком. И должно быть, никто никого ни в чем не обвинял, все были по-своему правы, и никаких жалоб никуда не поступало. Так спокойно и дошел теплоход до места своего назначения. Кажется, даже никому не было особенно неудобно или, как говорят, стыдно. Только Марина все плакала и не выходила на палубу любоваться природой, а мать ее молчала. Молчала, и только.

1961 г.

ДИРЕКТИВА

Назначение на пост секретаря обкома Евгений Захарович Румянцев получил еще в те далекие времена, характер которых сказывается и поныне на многих сторонах нашей жизни. Тогда Румянцев впервые сидел в огромном кремлевском кабинете и с ужасом и восторгом смотрел на старого седоусого человека, смотрел ему под усы, на жесткий бритый подбородок, на дряблые щеки, на белоснежный подворотничок серого тончайшего кителя, но только не в глаза. В глаза этому человеку он смотреть боялся, хотя ни в чем никогда перед ним не был виноват.

Сколько еще человек присутствовало в это время в кабинете, Румянцев не знал и после не мог вспомнить никого, кроме двух, тоже больших людей в его глазах — по крайней мере, по сравнению с ним и со всеми равными ему.

Велик ли был кабинет — кажется, огромный! — сколько было столов в кабинете, сколько окон и какие они, дневной был свет или это сияло с такой силой электричество — ничего не приметил и не запомнил Румянцев. Не смог.

Разговор шел о Румянцеве, но так, как будто самого Румянцева в кабинете не было. Собственно, это был даже не разговор. Суждения и мысли свои высказывал только один человек, Учитель, остальные слушали и смотрели в лицо и в рот говорящему. Старался ничего не пропустить и Румянцев.

— Горяч очень. Плохо это. Горяч потому, что молод. Зато молод! Это хорошо. Надо напоминать ему почаще: «Не горячись!» — Великий Учитель вдруг обратился непосредственно к Румянцеву: — Сами себе напоминайте почаще: «Не горячись!»

Румянцев вздрогнул. До этого он сидел и выжидал, когда будет можно и должно и ему вставить в разговор что-то свое. Казалось, момент этот наступил, он вскочил и заявил:

— Вытяну область, даю слово!

Седой человек чуть улыбнулся в усы:

— Слышите, что он говорит: «Вытяну!»

— Вместе со всем народом вытяну! — поправился Румянцев.

— Вовремя поправился! Но еще не все правильно сказал. Не точно сказал.

Румянцев перепугался, что не сможет выдержать решающего экзамена.

— Вытянем вместе со всем народом! — почти по-солдатски отрапортовал он.

— Вот сейчас правильно. Я же говорю, что горяч. Вы садитесь, настояться вы еще успеете.

Румянцев сел, руки и ноги у него дрожали, сердце замирало от страха и от радости, что нашелся-таки он сказать то, что нужно было.

— Думать надо больше и чаще,— продолжал Учитель.— И не спешить. Сказать что захотите — сначала подумайте, сделать — опять же подумайте. Не мешает! Народу служим.

— Вместе с народом будем думать! — с готовностью пообещал Румянцев, нащупывая главный ход мысли Учителя.

— И наедине думать не мешает! — заметил Учитель, начав раздражаться, что его перебивают.— Работать вам придется в трудных условиях. У вас там главное — деревня, колхозы. Надо дать полную свободу колхозной инициативе, но одновременно не выпускать вожжей из своих рук — вы меня слушаете? — ни в чем не допускать стихийности. Все стороны жизни надо взять под свой партийный контроль. Это высший стиль руководства, к нему надо стремиться.

— Слушаю вас! — опять вскочил со стула Румянцев (кажется, он сидел на стуле?).

— Ну, по-моему, все. Можете идти.

Рукопожатие Учителя Румянцев запомнил на всю свою жизнь. Оно придало ему восторга и силы не меньше, чем все предыдущие наставления.

Выйдя из кабинета в сопровождении каких-то людей, Румянцев увидел в дальнем коридоре кожаный диван и с ходу грохнулся на него, чтобы дать успокоиться сердцу. Но посидеть ему не дали, кто-то сказал на ухо только одно жесткое слово: «Проходите!» — и он поспешно двинулся дальше. Сердцебиение все усиливалось, ноги его дрожали и слабели, и, еще не покинув Кремля, он каким-то образом оказался в руках врачей. На медпункте его уложили на койку, дали валидол, сделали ему укол камфоры, а он все улыбался и что-то бурчал себе под нос, вроде как песню пел.

— Рановато сердце пошаливать начало! — сказал врач.

— Пускай шалит,— почти захлебываясь от волнения, ответил Румянцев.— Это от радости, не от печали. Я был там. У Него.

С той поры врачи признавали у Румянцева порок сердца, хотя он еще только начинал работать.

* * *

Давно это было, очень давно. А сегодня вот припомнилось все и не выходило из головы. И почему-то именно эта встреча не выходила из головы. Евгений Захарович уже по-новому относился и к Учителю, и к себе, и в какой-то степени ко всем людям. Многое узнал с той поры, многое пережил и даже по-своему перестрадал, но сколько бы дерево ни росло — а корни его не меняются.

«Думать надо больше, думать. Не мешает!» — повторял он про себя и ходил по своему просторному кабинету, напоминавшему тот огромный кабинет, кремлевский, кабинет Учителя. Правда, ни на одной из стен портретов Учителя уже не висело, но сколь ни отрекайся от учителей своих, а они таки учителями были — они, а не кто другой.

Широкая и яркая ковровая дорожка протянулась от входа прямо к письменному столу Евгения Захаровича. Ходилось по ней легко и бесшумно. Стол для совещаний был сдвинут к глухой стене, противоположной окнам, а не примыкал непосредственно к письменному, как раньше, и это было новым в кабинете Румянцева. Из-за двойных массивных дверей, обитых звукоизоляционными материалами и дерматином, ни голоса́, ни шумы из приемной не доносились в кабинет, и думать можно было неторопливо и без помех.

Румянцев только что провел заседание бюро, на котором оформили перемещение трех секретарей райкомов партии. Интересы дела требовали этого давно, а теперь, когда вознамерились и пообещали срочно вытянуть из прорыва несколько сельскохозяйственных районов, такое перемещение оказалось совершенно необходимым. Все на это смотрели как на перестановку генералов перед наступлением. Были у Евгения Захаровича в руках три районных секретаря, которыми он время от времени торопил самые слабые участки. Еще ни разу эти трое не подвели его. Темпераментные, с боевой репутацией, умеющие поднимать и воодушевлять актив, не боящиеся рисковать, они перебрасывались по мере нужды из района в район, и одно появление кого-нибудь из них на новом месте уже будоражило людей.

— Ну, сейчас держись, этот даст жару! — с восторгом и с некоторым страхом говорили при этом в городе и в деревнях все, кто так или иначе были знакомы с фамилией нового секретаря.— Этот вытянет!

Очередная перестановка сил прошла успешно, все трое получили новые назначения. Но впервые один из них, а имен-

но Твердохлебов, неожиданно для Евгения Захаровича начал возражать. Твердохлебов работал в своем районе уже два года и за это время многого смог добиться. Кривые экономических показателей и по животноводству и по урожайности льна, даже по зерновым явно полезли вверх. Что ни говорите, а показатели остаются показателями, без них никуда не денешься, ни доклада не сделаешь, ни отчета не составишь. Евгений Захарович, в силу разных обстоятельств, также иногда вынужден был судить о жизни и о людях по цифрам. Район Твердохлебова быстро начал выходить в передовую шеренгу, и сейчас его спокойно можно было перебросить на самый слабый участок. А он стал ссылаться на то, что дети привыкли к школе и к преподавателям своим, что у жены интересная работа и дружный коллектив, который она ни за что не согласится покидать, что сам он, по всей видимости, начал стареть, устает очень, а там, где он сейчас живет, большие сосновые боры, смолистый воздух и прочее и прочее...

— Что-то я вас не понимаю! — сказал Евгений Захарович, спокойно выслушав все возражения Твердохлебова.— Дети же все равно не останутся без вас. И как может жена ни за что не согласиться сменить работу и перейти из одного дружного коллектива в другой дружный коллектив? Разве она не ваша жена? Почему вы до сих пор ничего не рассказали ей о долге коммуниста, о самом святом, что есть в нашей жизни? Или я это должен сделать за вас? Что же касается старости вашей лично, то считайте, что этого разговора между нами не было. Я ничего не слыхал. Когда вы состаритесь, вам об этом скажут, а до той поры усталости и старости для вас не должно существовать. Последние цифровые данные также не говорят о том, что вы стареете: район ваш успешно выполняет и перевыполняет все основные задания по дальнейшему подъему... Вы — солдат партии, а она знает, как расставлять свои силы, кого куда посылать. Вам поручается новый участок, вы обязаны сделать все, чтобы с честью выполнить ее поручение. Убеждать я вас, что ли, должен?

Твердохлебов все еще не сдавался. Тогда Евгений Захарович нажал более решительно, о чем сейчас и вспоминал с некоторым неудовольствием, шагая по мягкому ковру. Нет, кулаком по столу он не стучал. До этого в его отношениях с секретарями райкомов или другими ответственными работниками области дело никогда не доходило. Не требовалось этого никогда, народ знал дисциплину. Достаточно было, на-

оборот, замолчать, сделать паузу, выдержать паузу, да посмотреть попристальнее в глаза строптивого — и все становилось на свое место. Собственно, так он поступил и на этот раз. Твердохлебов сразу перестал говорить, поднялся с кресла, вытянулся, действительно, по-солдатски и тихо заявил, словно признал, наконец, все обвинения, выдвинутые против него, правильными:

— Я согласен с вами, Евгений Захарович!

Румянцев продолжал молчать и смотреть в глаза Твердохлебову, в ответе этом его что-то уже не устраивало.

— То есть как «согласен»?

— Посылайте, Евгений Захарович. Все будет сделано, сил не пожалею.

— То есть вы подчиняетесь решению партии?

— Так точно, подчиняюсь!

Взгляд Румянцева стал еще более напряженным, острым, и Твердохлебов понял, что сейчас он действительно провинился: он сказал не так, как следует говорить в подобных случаях.

— Я вас слушаю! — руки Румянцева легли на стол, голова склонилась вперед, седоватые волосы упали на лоб, сейчас он поднимется с кресла и встанет перед Твердохлебовым во весь свой рост.

Твердохлебов заторопился, подыскивая нужные слова:

— Постараюсь сделать все, что от меня требует партия. Я понимаю обстановку, я, Евгений Захарович, буду...

— Ну? — настаивал на своем Румянцев, медленно поднимаясь над столом и решив, во что бы то ни стало соблюсти строгость до конца.— Ну?

И Твердохлебов понял все и вспомнил необходимые слова, которых от него ждал Румянцев.

— Благодарю вас за доверие, Евгений Захарович. Я оправдаю доверие партии и народа.

— Вот так! — сразу обмяк Румянцев и снова опустился в кресло. Он был по характеру своему человеком добрым и сердечным, но качества эти иногда сам принимал за мягкотелость, предосудительную для партийного руководителя и воспитателя, и потому всячески сдерживал их проявление. Что поделаешь, ошибки и заблуждения бывают у всех людей.

А теперь он ходил по кабинету и нервничал: не слишком ли торопливо решил вопрос о Твердохлебове, не погорячился ли? Ходил и повторял про себя: «Думать надо больше, думать».

«Партия учит нас сдержанности в работе с людьми,—

думал он,— осторожности, чуткости. Не похоже, чтобы я был чуток на этот раз. «Убеждать я вас должен, что ли?» А почему бы и не убеждать? Почему бы? Работа с людьми и есть убеждение их. Долг-то долг, но и с желанием человека считаться надо. Свобода есть осознанная необходимость, так вот и надо добиваться, чтобы эта необходимость для человека в любых случаях была осознанной. Разъяснять надо, чтобы каждый солдат знал свой маневр. Легче всего приказывать, требовать, обязывать, но это же не главное в партийном руководстве. Сочетание чувства долга, сознательности и страсти — вот что порождает энтузиазм. А сделал ли я все, чтобы вызвать энтузиазм в душе Твердохлебова перед отправкой его на новое место? Не сделал. А человека на фронт отправил, в наступление послал. Во время войны в таких случаях даже сто граммов давали, не боялись и не жалели. А я что: «Кругом, арш!» — и все? Я даже о семье, о ребятишках, о жене его ничего не спросил. Про здоровье он что-то заговорил, я не выслушал его. До моего сознания не дошло даже, что он на здоровье жалуется. Нажал кнопку, и все тут. «Думать надо больше, думать надо!»

У Евгения Захаровича Румянцева были очень густые брови, напоминавшие раскинутые крылья тетерева на току. Некогда иссиня-черные, теперь они заметно поседели, побелели — те же тетеревиные крылья, только вывернутые наизнанку. Рост и вся фигура Румянцева производили впечатление мощи, больших запасов сил и прочности. Он был иод стать своему просторному кабинету с массивными кожаными диваном и креслами, про него никто бы не сказал, что он здесь не на своем месте. Считается, что такие ширококостные и сильные люди весьма добродушны, мягкосердечны. Было все это у Евгения Захаровича — и мягкосердечие, и добродушие. Но была в нем и суровость, и строгость, и резкость, и многое другое, без чего этот большой кабинет давно бы уже оказался ему не по плечу. Люди, работающие с ним в течение многих лет, знали времена, часы, минуты, когда он преображался совершенно, и от его добродушия не оставалось ничего, и вспоминали такие времена неохотно, с тайным содроганием. Гораздо больше нравился всем Евгений Захарович, когда все шло хорошо, работа ладилась, сводки, поступавшие из районов, не тревожили и не раздражали, и он был весел, обаятелен и на людях и дома, в своей семье, и глаза его улыбались и сулили всем счастье, и брови играли, что крылья в полете. Даже удивительно, как могло все в нем так преображаться в зависимости от обстоятельств и настрое-

ния, удивительно, каким он бывал в глазах окружающих разным, непохожим один на другого, на самого себя, сегодняшний на вчерашнего. А разве могло быть иначе? Разве без такой широты и многогранности натуры, характера, поведения мог он так долго быть на своем месте?

Румянцев взглянул на часы: рабочий день кончился давно, кончился по времени, но если судить по оставшейся незавершенной работе, то день этот мог не кончиться вовсе: на столе с обеих сторон кресла лежали стопки бумаг, сводок, которые нужно было просматривать; на листке перекидного календаря с водяными знаками остались заметки, не перечеркнутые,— значит, он не успел по ним принять решения, и не перечеркнутые номера телефонов — не успел по ним позвонить. Так бывает обычно в те дни, когда созываются заседания бюро либо какие-нибудь другие дневные заседания и совещания: текучка остается незавершенной.

Свет в широких окнах начал меркнуть.

Румянцев подошел к своему креслу, нажал одну из кнопок снизу стола. Тотчас появилась секретарша, глядя на него вопросительно, без слов.

— Вы еще не ушли, Мария Ивановна? — приветливо обратился он к ней.

— И вы не ушли, Евгений Захарович.

— Но рабочий день давно кончился, идите домой.

— Хорошо, Евгений Захарович!

— Скажите, Твердохлебов сразу ушел?

Мария Ивановна, казалось, все понимала, о чем ее спрашивали и не спрашивали.

— Да, сразу. Он попрощался со мной, но больше ни о чем не говорил, ничем не интересовался.

— Так. Надо немного задержать его. Выясните сейчас же, есть ли возможность вручить ему немедленно, до отъезда в район, готовую санаторную путевку.

— Куда путевку?

— Лучше недальнюю.

— Есть в подмосковный санаторий ЦК.

— Оформите сейчас же, выдайте ему.

— Возражать не будет?

— Не должен.

— Будет сделано.

— Как сделаете, немедленно идите домой.

— Спасибо, Евгений Захарович.

Машина ждала у подъезда, Румянцев сел сзади и сказал только:

— На дачу!

В его распоряжении был новенький ЗИМ, но вот уже несколько лет — как пришел он из Москвы новеньким, так новеньким и оставался. Румянцев не пользовался ЗИМом, потому что не хотел выделяться, обращать на себя внимание, а главным образом потому, что по областным дорогам можно было ездить лишь на «Победе», а еще лучше на ГАЗ-72 — «Победе» с двумя ведущими осями да на ГАЗ-69. Сверкающий черный ЗИМ выводили из обкомовского гаража, из специально предназначенного для него отделения, как застоявшегося породистого коня из стойла только в тех случаях, когда в область прибывали какие-нибудь высокопоставленные уполномоченные. Такой же ЗИМ одновременно был дан и председателю облисполкома, второму лицу в области, но той машиной пользовались постоянно (главным образом в пределах города) не только сам председатель и все его заместители, а даже заведующие отделами, и потому выглядела она уже старой, облезлой, обшарпанной, наподобие старых городских хибар и тротуаров.

Путь в дачный городок был асфальтированным, и шофер Лева давно думал о том, что неплохо бы хоть на дачу брать ЗИМ: машине тоже время от времени требуется разминка, без работы она старится еще больше, хотя с виду и остается гладенькой. Сейчас он об этом решил сказать:

— На дачу я буду подавать ЗИМ, Евгений Захарович. Зря ржавеет машина, лошадиные силы слабеют.

— Ни к чему,— ответил Румянцев,— пусть стоит.

«Победа» поскрипывала даже на ровном шоссе. Пересекли железную дорогу, старый будочник на переезде издали козырнул знакомой машине; пронеслись мимо рычащих корпусов паровозоремонтного завода, мимо красных многоэтажных зданий нового рабочего поселка. Заметно стало смеркаться и здесь, за городом. Лева включил сначала подфарники, осветился плафон, спидометр показывал семидесятикилометровую скорость — и никакой тряски! «Если бы с такой скоростью ехали по нормальной областной, даже хорошей дороге, то... Да что — то? Просто езда с такой скоростью по общим, обычным дорогам исключена. А машина все-таки поскрипывает. Значит, стара стала, уже перенапрягается. Есть же какие-то пределы и у машин. Есть так называемая усталость металла. Многотонные стальные балки вдруг лопаются и крошатся. И человек уставать может и сломиться может, если не прислушиваться к его душевной настроенности. «Убеждать я тебя, что ли, должен?» — вспомнил опять

Евгений Захарович свои собственные слова и сам же снова ответил на них: «А почему бы и не убеждать!»

Румянцев закрыл глаза, чтобы отдохнуть по дороге, но мысли его продолжали начатый между собой разговор — и все касательно Твердохлебова.

«Должно быть, живут еще во мне отголоски былой беспощадности,— думал он,— не так-то просто избавиться от старых привычек. Командовать, конечно, легче, чем руководить, чем доказывать и убеждать. А война кончилась, и давно пора перестать командовать. Пора, но это трудно, потому так и живучи старые методы руководства, потому так и боимся мы давать волю всяческой инициативе. То ли дело жесткие твердые планы сверху. Человек идет в них, как ракета летит в луче радиолокатора, направляемом с земли».

«Да, слышал бы он сегодня, как я разговаривал с Твердохлебовым, видел бы, как держался с ним,— мне спасибо не сказал бы»,— решил Евгений Захарович, должно быть имея в виду кого-то конкретно, и показалось ему, что это он произнес вслух. Он встрепенулся, открыл глаза. Лева ехал уже с включенным дальним светом — и сколько бы ни моргали ему фарами встречные ослепляемые машины, он не обращал на них никакого внимания. Причем так он поступал только тогда, когда вез первого. Наверно, и водители встречных автомашин уже научились понимать, в чем дело, поэтому, еще издали притушив огни, жались в сторонку.

Замелькали темно-зеленые елочки по сторонам дороги, массивные, запретные для любого топора сосны — скоро! Яркий свет с ходу озарял то одно дерево, то другое, потом — целые группы деревьев сразу, словно бы выхватывая их и приближая, притягивая к себе. Появились ярко-белые столбики по сторонам шоссе, чистенький мостик, тоже весь в белых столбиках, как в палисаднике, и вот уже массивные въездные ворота, через которые могут проходить не больше семи-восьми машин из всего областного центра.

Товарищи, имевшие право пользоваться дачами в этом закрытом городке, сами понимали, что это слишком громко, но тем не менее называли свои дачи правительственными. Удобств всевозможных здесь, действительно, было немало: свой клуб, в нем кинозал, бильярдные, комнаты отдыха, буфет, были хорошо оборудованные и поддерживавшиеся всегда в полном порядке спортплощадки для волейбола, для баскетбола, для тенниса, специальная площадка для игры в городки с двумя бетонированными квадратами на зеленой лужайке и бревенчатыми стенками, задерживавшими

разброс палок, был свой продовольственный магазин. И все среди высоких раскидистых сосен на высоком сухом косогоре, вокруг которого вилась и играла неглубокая, но многорыбная и вполне пригодная для купанья чистоструйная речка. Вот уж в нее-то ни один директор ни одного маленького ли, большого ли предприятия окрест не спустит ни ведерка сточных химических вод — посчастливилось реченьке!

* * *

Крупный шоколадный курцхаар носился по обкомовской дачной усадьбе, словно по свежим следам дичи. Уши его мотались на бегу как широкие охотничьи рукавицы, слегка заправленные за кушак; длинные, как у породистого скакуна, ноги легко отделялись от земли, а обрубок хвоста беспрерывно унизительно крутился.

— Монтан, Монтан! — слышался ребячий зов с разных сторон, и пес, замерев на мгновение, вскидывал красивую умную голову и летел то в один конец, то в другой. Ростом он был не ниже любого из своих малолетних друзей, но слушался их беспрекословно. Должно быть, он просто не знал, куда девать свою силушку богатырскую. Хочется же бегать, хлопать ушами, вертеть хвостом, кому-то подчиняться бездумно, безотчетно и смотреть на кого-то влюбленными собачьими глазами! А без этого что за жизнь?

Румянцев, выйдя из машины и хлопнув дверцей, тоже крикнул:

— Монтан!

Пес взвился, развернулся на своих легавых жилистых ходулях, сшиб какого-то мальчугана и бросился на крик взрослого человека с такой стремительностью, что, если бы Румянцев не укрылся поспешно за передок машины, он, конечно бы, сшиб и его. Больно ткнувшись с разбегу в лакированный бок автомобиля, Монтан извернулся и, наконец, ринулся на грудь хозяина. Задние ноги его напружились, вытянулись, передние свободно легли на плечи человека,— при желании Монтан мог бы легко и обнять его обеими лапами за шею.

— Молодец, молодец! Какой молодец! — хвалил его Румянцев за послушание и почесывал за ухом-лопухом, а Монтан, изловчась, то и дело лизал ему подбородок, губы, щеки.— Служи! Служи, старый черт! — поощрительно кричал секретарь.

Но Монтан служить не умел и потому только повизгивал и снова и снова лизал Румянцева в лицо. Достаточно было

с него и этого: не дворняга же он все-таки, а континентальная лягавая.

Монтан молод, но биография у него сложная и богатая, как у бывалого человека. Не хватало в его биографии только участия в охоте. Как это ни печально, а породистая лягавая ни разу не бывала в настоящем лесу, на следу, ни разу не сделала своей знаменитой на весь мир стойки, когда она вся превращается в изваяние, вздрагивают только кожа да ноздри, да чуть шевелится хвостовой обрубок. Правда, она пыталась замирать перед курами, роющимися в мусоре, в чертополохе, но ни одна кура не выдерживала ее напряженного взгляда, срывалась с криком и убегала, тогда срывалась и лягавая.

Родился Монтан в Москве и там же обеспечен постоянной паспортной пропиской. Местные специалисты-собаководы, познакомившись с его родословной, только ахали от восхищения и зависти: медали, медали, медали, чистейшая кровь по обеим линиям.

Золотые медали звенели даже в его иностранном, не всем понятном имени. Монтаном назвали пса в честь популярного французского эстрадного певца Ива Монтана, осчастлившего Москву своим приездом как раз в дни, когда ощенилась благородная сука. В том же московском доме и в те же знаменательные дни кошка родила пятерых слепых котят, одного из которых, женского пола, назвали Симоной, в честь популярной жены Ива Монтана. Об этом торжественном акте было сообщено двумя поздравительными телеграммами уже во Францию — Иву Монтану и Симоне Синьоре. От Монтана была получена ответная телеграмма с благодарностью за оказанные ему честь и доверие. Симона же не ответила,— вероятно, потому, что за это время успела выйти замуж за другого знаменитого мужчину.

Во вторую весну своей жизни Монтан должен был пройти натаску в полевых условиях, но весной в Подмосковье сделать это оказалось невозможным, и хозяин взял его, совершенно необразованного, с собой в командировку в лесную область. Но в областном центре держать собаку в номере гостиницы не разрешили, и хозяину пришлось отдать ее на платное содержание случайным людям. Командировка затянулась, Монтан был вручен на обучение местному охотнику. Половину командировочных средств пожирала собака, а обучения она так и не дождалась. Время ее уходило. Отчаявшийся хозяин, уезжая из области, подарил Монтана секретарю обкома.

— Спасибо! — сказал Румянцев.— Собака — не нож, от такого подарка не отказываются. Придется приобщаться к охоте.

Но приобщиться к охоте он не смог, времени для этого не хватало, да и стеснялся, и побаивался: хозяйственные дела в области шли неважно, как бы не упрекнул кто-нибудь, что вот, дескать, секретари птичек стреляют, а кругом неразбериха, планы не выполняются.

И Монтан остался на попечении ребятишек. Природные способности его притупились, охотничьи инстинкты постепенно заглохли. Вырос пес большой, а на всю жизнь остался не у дел.

«Дикая собака! — говорили теперь про него охотники с глубоким сожалением.— Разве что кровь еще не испортилась, потомство может дать, и ничего больше».

«Да и потомство, того гляди, хромать начнет. Я свою выжловку ему не доверил бы ни за что».

«Загубили собаку, ничего не скажешь. Не приспособили к жизни».

«Это и не с собаками случается!»

— Служи, длинный черт, служи! — требовал Евгений Захарович от Монтана, и тот до отказа вытягивался на своих ходулях по вертикали и лизал его лицо и повизгивал — единственное, чем мог ответить на ласку и внимание высокого хозяина. Стоять на задних лапках без опоры, как это делают всевозможные дворняжки и комнатные приживалки, он не мог при всем своем желании: порода не та. Но Евгений Захарович, собственно, и не требовал от Монтана ничего невозможного, к собаке своей он был добр, несмотря на внешне суровые слова.

* * *

Виолетта Макаровна, жена Румянцева, не менее могучая, чем сам он, только моложе, без намека на седину, ждала его. Стол для ужина был накрыт на застекленной веранде второго этажа. Подавала единственная на даче горничная, она же и повариха — Кланя.

Евгений Захарович сидел за столом и думал все о том же: ломать налаженный быт, конечно, нелегко. Вот если бы его самого сейчас перевели на какое-то другое место, как было бы трудно сразу отрешиться от всего, уже устоявшегося за многие годы, и начинать по существу всю жизнь сначала. Правда, все это было бы смягчено, если бы перевод был связан с такой переменой в жизни, как... ну, скажем, если

бы его назначили секретарем ЦК какой-нибудь братской республики... А перевод секретаря райкома с места на место, собственно, ведь ничего не меняет: был секретарь и остается секретарь — р а й к о м а. Разве что станет ему еще труднее, чем было. И не только быт своей семьи надо налаживать заново, но и всю жизнь в районе переиначивать, ломать и строить на каких-то новых началах. Трудная жизнь у секретарей райкомов, ох трудная! И наверно, никто как следует не представляет себе, насколько она тяжела и трудна — ни население районов, ни даже мы, те, кто переставляет райкомовских секретарей, как шахматные фигуры... И горе нам, если мы не побеспокоимся при этом о ч е л о в е к е.

— Что с тобой, Женя? — встревоженно спросила Виолетта Макаровна.

— Что?

— Не ешь.

— Ничего особенного.

— Ничего особенного?

— Ну, да!

— Значит, как обычно. Просто устал?

— Да, пожалуй, как обычно. Только вот все чаще начинаю впадать в сентиментальность.

Виолетта Макаровна помолчала, подумала, всматриваясь в него, и, наверное, поняла не меньше из его переживаний, чем сам он.

— Обидел кого-нибудь опять?

— Здорово ты овладела этой техникой психоанализа! — удивился Евгений Захарович.— Что значит — профессия!

— Быть двадцать пять лет женой — тоже становится профессией.

— Женой такого, как я? — Он уже готов был обидеться.

— А разве тут есть что-нибудь обидное для тебя? Да, такого, как ты! И не легкая профессия!

— В общем-то, Виолка, ты всегда права.

— Ладно, кушай!

— С удовольствием поем. Дай-ка бокальчик сухого.

— Тебе сегодня не работать?

— Разве еще мало с меня?

— А говоришь, обидел кого-то?

— Это не я, а ты сказала. Впрочем, я уже исправил ошибку, насколько можно было: дал ему путевку в санаторий.

Виолетта Макаровна опять задумалась.

— Ты говоришь о Твердохлебове?

— Точно. Он долго отказывался ехать в Залесье.

— И ты нажал?

— В нашем деле нельзя без этого, Елочка, сама понимаешь.

— А если бы он продолжал упорствовать?

— Незаменимых людей нет.

— А ведь неправда это, Женя! — вскинулась Виолетта Макаровна.

Казалось, что эта фраза коснулась каких-то больных струн в ее душе, и они загудели сразу. Ей уже давно было ясно, что это неправда, но вот только сейчас осозналось с такой очевидностью.

— Что значит неправда, коли это сама жизнь,— возразил Евгений Захарович.— Да и не мною это сказано.

— Вот-вот, именно. Поэтому-то мы и не задумывались над этой формулой, приняв ее на веру всю, как есть. То же самое с «винтиками», с «болтиками», с «гаечками», с делением людей на «простых» и каких-то «непростых». Человек есть человек, а не винтик и не гайка. И каждый человек неповторим и незаменим. Уйдет человек из жизни, и останется свободным его служебное место, место это не будет пустовать. В этом смысле нет людей незаменимых. Но сам-то человек неповторим во всех своих проявлениях, и если он уходит из жизни, то уж навсегда, и никто никогда не сможет его, такого — именно такого! — ни повторить, то есть воспроизвести, ни заменить. Всякие противоположные суждения и формулировки направлены лишь на оправдание бесчеловечного отношения к людям, они не гуманны, не демократичны. Умирает жена, мужчина женится на другой, это будет тоже жена, но это будет уже совсем другой человек, другая жена, и опять же не винтик и не гайка.

Евгений Захарович после супа налил второй бокал вина и залпом выпил его.

— Не надо, Женя! — забеспокоилась Виолетта Макаровна и отставила бутылку в сторону.

— А ты не отвлекайся, говори. Ты говоришь очень правильные вещи. Собственно, об этом же самом заставил меня задуматься и Твердохлебов. Ехал я сюда и твердил себе: не горячись! не горячись! Ты словно услышала меня.

Виолетта Макаровна опять на минуту сосредоточилась на какой-то своей мысли и спросила:

— Как же с Твердохлебовым? Я ведь его знаю, он сам человек горячий.

— Ничего, этот справится.

— Ты считаешь, что успокоил его путевкой?

— Он жаловался на здоровье.

— Здоровье здоровьем, а если у человека отбить охоту к работе, то и здоровье никакое не поможет.

— Не преувеличивай, Виолетта. Сознание выполненного долга тоже дает силы человеку и не мельчит его. Вот он не хотел переезжать, а взял себя в руки и подчинился решению. Это по-солдатски, по-партийному. Это благородно. И человек вырастает в своих глазах. Не надо крайностей, Елка.

— Так-то так, родной мой, но не забывай, что за груз у тебя за спиной, какие нелегкие традиции в самих себе мы преодолеваем. Ешь!

Евгений Захарович вдруг развеселился:

— У меня на родине, бывало, угощали так: «Кушайте, гости, кушайте,— всё проели, ничего не поговорили».

Виолетта Макаровна поддержала его:

— У нас иначе говорили: «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами!» А ты как за стол, так и за разговоры. Кушай, пожалуйста!

— Да, таковы мы: пока пьем чай, все мировые проблемы решить должны. Что в мире ни делается — все касается русского мужика.

— Ну, остановись, пожалуйста, на этом. Не бери мужика в пример, какой уж ты мужик теперь!

* * *

Твердохлебов, приезжая в областной центр, в область — как принято было говорить, останавливался, наравне со всеми секретарями райкомов, в общежитии обкома. Это новое шестиэтажное здание, строгое, хотя и с допущением некоторых архитектурных украшений, с колоннами и эркерами, создавало впечатление мощи и независимости и являлось, конечно, лучшим во всем старинном деревянном городе. Основные помещения дома занимала межобластная школа подготовки партийных и советских кадров, по-старому — совпартшкола, а на двух этажах бокового крыла размещалось обкомовское общежитие. По обеим сторонам длиннющих коридоров, застланных ковровыми дорожками, тянулись стандартные комнаты, ничем не отличающиеся одна от другой, простенькие, но достаточно просторные, обставленные добротной мебелью и с ковриками на полу. В каждой комнате была прихожая с умывальником, один шкаф, один письменный стол, но кроватей две, хотя обычно в комнатах жило по одному человеку — помещений хватало на всех. Исключение составляли редкие недели в году, когда созывались пленумы

обкома, с привлечением к участию на них многочисленного колхозного актива, или разные областные совещания и семинары. В этих случаях общежитие набивалось до отказа. В такие дни здесь по вечерам было не только шумно и весело, но порой слышались даже звуки гармошки, особенно если на совещания съезжались секретари райкомов комсомола. Как правило же, в коридорах и комнатах стояла совершенно музейная тишина, и охраняли ее по очереди дежурные: Люба и Шура, Маруся и Женя. Можно только удивляться скромности, с какой названа общежитием эта самая настоящая гостиница с индивидуальными номерами,— лучше ее все равно не было в городе. Не могла с ней равняться по удобствам и масштабам даже знаменитая в прошлом купеческая гостиница «Золотой якорь», переименованная ныне в «Коммунальную».

Твердохлебов перед отъездом просматривал уже содержимое своего чемодана, когда в его комнату торопливо постучалась дежурная Люба:

— Вас, Илья Ефимович! Срочно! К телефону! От товарища Румянцева!

Секретарша Румянцева, Мария Ивановна, попросила Твердохлебова отложить отъезд и вернуться сейчас же в обком для оформления санаторной путевки на свое имя.

— Вот те на! — не сдержавшись, промолвил в трубку Илья Ефимович.— Прямо как на качелях, то вверх, то вниз. Голова закружиться может.

Курортной путевке Твердохлебов обрадовался очень. Главное, что тщеславие его было потешено: сам, первый, позаботился о нем! Сколь ни шумел, как ни строг был, а вот взял да и порадовал, наградил, можно сказать; значит, дорожит. А и верно: на кого же ему, первому, и опираться, если не на таких, как Твердохлебов. Да и есть ли еще такие, как он?..

В обкоме Твердохлебов задержался до начала киносеанса в лекционном зале, смотрел фильм, почти не улавливая, о чем, собственно, идет речь, потому что чувствовал себя уже курортником и все мысли его были сосредоточены на отъезде в санаторий.

Сидел и торжествовал: конечно же, ему цену знают! Уже третий район приходится ему тащить из болота. Похоже, стал он как бы специалистом по ликвидации прорывов, тараном. Неплохая репутация!

Тщеславие у Твердохлебова было немалое и требовало пищи постоянной. Он знал об этой своей слабости, но отно-

сился к ней снисходительно. Слабость ли это? Не являлось ли тщеславие одной из причин того, что он был неутомим, вездесущ, боевит? Любое упоминание его фамилии в газете, в докладах на областных пленумах и совещаниях бодрило его. Внимание к его работе и к его особе, проявленное кем-нибудь из вышестоящих руководящих работников, умножало его силы и веру в свою удачливость.

Сейчас, во время киносеанса, ему вспомнилось, как предыдущий секретарь обкома пригласил его, совсем тогда еще молодого инструктора обкома, к себе на городскую квартиру специально для просмотра американского фильма, не демонстрировавшегося на общих экранах, и как, польщенный этим, Твердохлебов сразу вырос в собственных глазах и показал такую активность в работе, что быстро вырос и в чужих глазах. Вот были времена! Первый секретарь имел зал для просмотра кинокартин у себя на дому, он не ходил не только в общегородские кинотеатры — об этом уж и говорить было нечего! — а даже в обкомовский кинозал. Он отгораживался ото всех, от всего мира — и это считалось нормальным, естественным.

Побывав в те поры на квартире у первого, молодой и горячий Твердохлебов решил, что он сам будет первым, будет! И действительно, все стало свершаться так, как он задумал. Вскоре его послали секретарем райкома, правда, сначала не первым, но это был уже верный путь к заветной цели. Твердохлебов развил такую бурную деятельность, вникая во все стороны жизни района, так много ездил по колхозам и так мало спал (да и то почти всегда не дома!), что уже через год на пленуме райкома его избрали первым секретарем — первым снизу, без подсказки, что особенно льстило Илье Ефимовичу. Избрание на пост первого секретаря райкома без предварительной рекомендации и санкции обкома имело не только плюсы, но и свои минусы. К счастью, на этот раз против кандидатуры Твердохлебова обком не возразил и минусов (на этот раз) не оказалось. Повезло Твердохлебову. В дальнейшем его судьбу решало только время и он сам. На себя он надеялся, а время...

Прошло уже много времени, много лет, все сроки, пожалуй, истекли, а он все еще переезжал из одного района в другой. Когда же это кончится наконец? Твердохлебову давно хотелось приложить свою творческую энергию к делам крупного масштаба, ему все чаще казалось, что он растрачивает свои силы по мелочам, что он мог бы принести партии и государству куда больше пользы, чем сейчас. Но время шло,

а ничего не менялось. И Твердохлебов стал нервничать, обижаться на свою судьбу и уставать. Уставать и жаловаться. Поэтому предложение Румянцева переехать в новый район он сначала принял как полное и окончательное крушение своей большой мечты, своей судьбы. А как же еще можно было понять это иначе?

Но вот в разговоре с Румянцевым он услышал фразу, которая давала прямой ответ на все его сомнения и переживания.

— Судьба этого района,— сказал Евгений Захарович Румянцев,— определит и вашу судьбу. Подумайте об этом!

Подумать об этом? А как же можно об этом не думать? Все как будто становилось ясным. Значит, Евгений Захарович понимает его. Понимает! И посылает его на последнее испытание. После этого все, конечно, должно измениться. Не век же ему в девках сидеть, как говорил еще товарищ Сталин.

* * *

От железнодорожной станции до райцентра, куда должен был попасть Твердохлебов, что-то около ста пятидесяти километров. А вы попробуйте их пройти или проехать, тогда и счет будет совсем другой, и станете говорить уже не о километрах и не о количестве часов, а о количестве суток пути. Причем, в зависимости от времени года, счет будет меняться. Весной и осенью отмерять эти полтораста километров легче пешком, чем на грузовике любой марки, любой проходимости. А бывают периоды, когда и пешком никто не рискнет, разве что демобилизованный солдат или молодой фабзавучник, отпускник, спешащий на недельку к матери на блины, которому каждый час дорог.

Десятилетия три, не меньше уже, ремонтируют этот тракт, и сейчас он стал окончательно непроезжим, хотя в атласе «Автомобильные дороги СССР», 19... года издания, он значится дорогой государственного значения. Кстати, если верить этому атласу, то можно проехать на автомашине не только из Ленинграда в Череповец, в Вологду, но даже из Вологды на север, вплоть до Котласа и Сыктывкара, до Архангельска и Северодвинска. Вероятно, составители атласа автомобильных дорог СССР имели в виду вертолеты.

Бедствие началось с той поры, как в этих местах появились первые колонны грузовиков. Пока ездили на лошадях — на санях и телегах,— дороги не портились, колеи были ровными, по краям их зеленела короткая и густая, как овечья

шерсть после стрижки, травка с листиками подорожника, плотно прилегающими к земле. Такую траву на проезжих местах, на буграх так и называют зеленчиком. Вдоль канав, чаще всего по обе стороны их, тянулись узкие, хорошо утрамбованные, желтые, словно в парке, пешеходные и велосипедные тропинки. Деревянные мостки служили в ту пору подолгу, пока бревна не становились совершенно трухлявыми. Гужевой транспорт был медлительным, но надежным в смысле проходимости и обязательности — с каждой грузовой подводой обычно устраивались один-два пассажира с чемоданчиками. Трое суток — и вы обязательно попадали на железнодорожную станцию либо со станции в район — обязательно! Старая пословица оправдывалась: «Тише едешь — дальше будешь».

Рейсы первых грузовиков вызвали поголовный восторг. За четыре часа чудо-машина доставляла по пятнадцати и больше человек с любым количеством багажа из одного конца в другой. Плата была баснословно дешевой, мизерной по сравнению с той, которую брали подводы, даже легковые. Находились охотники ездить взад-вперед просто ради удовольствия. Все славили современную автомобильную технику. Но вот начались хлебозаготовки, появились встречные планы, свежий хлеб, собранный осенью во многих районах, начали немедленно, не считаясь с непогодой, с дождями, вывозить на железнодорожную станцию. Первая же автоколонна за несколько рейсов разбила дорогу до неузнаваемости. Мелкий ельник по сторонам дороги вырубали и кидали под колеса, но глубина колеи росла с неимоверной быстротой, и елочки уже не спасали. Ранней весной, перед началом посевной кампании, выяснилось, что сеять в районах нечем. Тогда с железнодорожной станции, опять-таки в грязь, в дождь, стали возить семена. Кажется, это и называлось встречными перевозками. Под колеса кидали уже не сучки и еловые лапы, а целые деревья, бревна. Местами шоферы-великомученики сами делали настилы из жердей и бревен на десятки метров, только бы выбраться как-нибудь из прорвы. В ход пошли сельские изгороди, расположенные по краям дороги, непосредственно в деревнях — заборы, дровяные кряжи. Наиболее тяжелые участки пути обрели новые собственные названия: «Ведьмино болото», «Чертов омут», «Пронеси, господи!». В этих местах дни и ночи стоном стояло сквернословие. На задние колеса грузовиков стали надевать цепи. Затем появились двойные задние скаты. Но этого оказалось недостаточно, земля уходила из-под колес. Тогда изобрели машины высокой

проходимости, с двумя дифферами, то есть такие, у которых ведущими являлись обе оси — задняя и передняя. Все равно новенькие, с конвейера, грузовики через три-четыре рейса превращались в развалины, если не сваливались где-нибудь под откос, не тонули в болотной трясине, перевернувшись с моста.

Каждое ржаное зернышко становилось золотым для государства. Одни перевозки хлеба взад-вперед во много раз превышали его себестоимость. Бессмысленно разрушались машины, зря жгли бензин, страдали люди, и уже поистине ни конному, ни пешему невозможно стало пробираться по этому злосчастному тракту. Если бы все средства, которые он поглощал, скажем, лет за пять, употребить в действительно плановом порядке, не на текущий, ничего не дающий ремонт, а на капитальное строительство дороги, все эти сто шестьдесят километров можно было бы залить бетоном.

Хорошо еще, в последние годы хлеб, собранный в так называемой глубинке, перестали возить на железную дорогу, а ссыпали его в разные старые амбары, в бывшие церковные здания и гноили на месте. Это обходилось дешевле.

Навстречу Твердохлебову был выслан «газик» — «проходимец», как в шутку окрестили его шоферы. «Проходимец» не прошел и сотни километров, застрял. Сам Твердохлебов раздобыл на станции грузовик с двумя дифферами, но грузовик прошел километров пятнадцать и, не забираясь в «Ведьмино болото», благоразумно повернул обратно. Тогда Илья Ефимович связался по телефону с самим Румянцевым, и через четыре часа после звонка вертолет взял его на борт, а еще через час высадил на окраине райцентра почти на виду у всего райкомпарта: можно сказать, он с неба сошел. Даже работники райкома, поддаваясь общему настроению, вполуголос говорили друг другу:

— Ну, сейчас держись, этот даст жару!

Но когда «Победа» доставила Илью Ефимовича в райком и он, бойко простучав по деревянной крашеной лестнице на второй этаж, вошел в общую комнату и весело поздоровался со всеми, Шура Елызина, машинистка и заведующая общим отделом, удивленно шепнула поднявшемуся с ней рядом инструктору Тетеркиной:

— А ведь он маленький!

Тетеркина поняла ее по-своему:

— Подожди, еще увидишь, развернется. Он себя покажет. Он поднял не один район.

Да, Твердохлебов Илья Ефимович производил впечат-

ление человека совершенно юного и очень низкорослого, хотя был среднего роста и далеко не юн, лет сорок ему уже наверняка исполнилось. Моложе своих лет он, должно быть, казался из-за своей чрезвычайной подвижности, бойкости и еще потому, что был светло-рыж, с совершенно белым и чистым, как у девушки, лицом и без бровей, из-за чего карие резкие глаза его казались на белоснежном лице черными-черными и яркими настолько, что даже зрачков не было заметно. Брови, конечно, у Твердохлебова имелись, но, как часто случается у рыжих людей, они были такими белесыми, что вовсе не проглядывались. Моложавость Ильи Ефимовича подчеркивалась еще чрезмерной розовостью щек — вряд ли эта яркая розовость была здоровой.

Вбежал он в общую комнату, прихлопнул за собой дверь, весело крикнул: «Здравствуйте, товарищи, все сразу!» — и сдернул с головы кепку. Тогда все сразу отметили про себя, что у этого очень молодого на вид и бойкого товарища на светло-рыжей голове уже наметилась глянцевая лысина — со лба шире, к затылку поуже.

Первый секретарь райкома — Твердохлебова еще нельзя было считать первым секретарем, его должен был еще утвердить пленум райкома, но и старого первого секретаря как-то неудобно было называть бывшим, потому что никто еще его не освобождал, хотя судьба его была уже решена, и об этом знал не только один район, а вся область — старый первый секретарь райкома смущенно распахнул дверь своего кабинета и пригласил туда нового первого секретаря:

— Заходите, Илья Ефимович. Прошу!

Твердохлебов дружелюбно подал ему руку, потряс ее и, словно боясь, что может выдернуть, поддержал ее повыше локтя своей левой рукой. Затем он поздоровался за руку и со всеми остальными.

— Привет, привет! Ну пошли, поговорим, знакомь со своими владениями. Извините, товарищи! — обратился он к тем, кто не должен был следовать за ним.

В кабинет вместе с двумя первыми секретарями прошли второй и третий секретари. Все они знали уже Твердохлебова в лицо. Должно быть, и он знал не только первого, своего предшественника.

Обитая клеенкой дверь в кабинете первого секретаря плотно захлопнулась. В общей комнате начались шепот, шумарканье, шмыганье носами и разговор при помощи одних глаз.

1961 г.

ЧИСТЫЕ РУКИ



Тринадцатый год работает Петр Петрович Дресвянин заместителем председателя райисполкома, и в его послужном списке и партийной биографии факт этот выглядит весьма внушительно и сопровождается целым рядом местных определений: бессменно, безупречно, добросовестно, исполнительно, без единого выговора... Тринадцать лет работы на одном посту и ни единого выговора! Когда Дресвянин будет собирать справки и характеристики для получения пенсии, эти тринадцать безупречных лет лягут на чашку райсобесовских весов и потянут очень тяжело. Еще удивительнее, что, прослужив тринадцать лет в одном и том же райисполкоме, Петр Петрович не нажил себе по существу ни одного серьезного врага.

Семь председателей райисполкома сменились за это время, пять первых секретарей райкома партии и несчетное количество вторых и третьих, но никто из них ни разу не поругался как следует с Дресвяниным, не возненавидел его. Причина чуда кроется, конечно, отчасти в самой должности заместителя председателя райисполкома: он ни за что полностью не отвечает и власть в районе имеет еще меньшую, чем председатель. Ни один вожак колхоза не считает себя обязанным выполнять его руководящие указания, какими бы безобидными они ни были. Райисполкомовский конюх, пожалуй, подчинен ему, но шофера́ легковушек уже оглядываются на самого председателя, прежде чем посадить в машину и отвезти куда-нибудь его первого заместителя. Но сам Дресвянин, конечно, считал, что держится на нем очень многое и нагрузку несет он не меньшую, чем председатель или даже любой секретарь райкома партии, хотя и не располагает для этого необходимой полнотой власти: просто на нем все выезжают из самых безвыходных положений. Но вряд ли он был прав. Известно: кому меньше дано, с того меньше и спрашивается. Вероятно, поэтому ни один областной ответственный уполномоченный, доходивший порой при ознакомлении с делами района до белого каления, не пытался снимать головы с плеч Петра Петровича. И свои, райкомовские ответственные работники, как бы им туго ни приходилось, сколько

бы они между собой ни ругались, с Дресвяниным неизменно поддерживали добрососедские, беспринципные, как в шутку говорилось, отношения. Больше того, Петр Петрович часто мирил не в меру разгорячившихся и перессорившихся товарищей по аппарату, созывая их в нужное время, обычно вечерком, к себе на квартиру на стакан водки, на чашку чая. Детей у него не было, трехкомнатная квартира позволяла собираться сразу всему высокому районному свету, в который входили три секретаря райкома, председатель и заместитель председателя исполкома, прокурор, иногда директор леспромхоза — все с женами. Хозяйка Дресвянина — Ксения Михайловна, женщина потрясающей прямолинейности в отношениях с людьми и резкости, напоминающей шизофрению,— все же устраивала всех, потому что была, несмотря на скупость, одолевавшую ее время от времени, гостеприимна, а грубоватое прямодушие ее казалось настолько необычным, неестественным, несовременным, что к нему никто не мог относиться всерьез. Обычно посмеются: «Ну, это ж Ксения Михайловна!», «Так, так его, Ксения Михайловна!», «Режьте правду-матку, Ксения Михайловна!» — посмеются, и тем дело и кончается.

Бывало, входит в дом прокурор, а Ксения Михайловна ему сразу:

— Вы что же это делаете? Опять человека закатали, а за какие грехи? Вас посадили блюсти советские законы, а вы обходите их!

— Здравствуйте, Ксения Михайловна!— говорит ей прокурор, уже начиная смеяться.— Вы бы хоть дали мне через порог ступить!

— Здравствуйте!— отвечает Ксения Михайловна.— Ступайте за порог, садитесь, пожалуйста! Вам, конечно, Дресвянин нужен? Все равно не дам сегодня водку пить. С чего бы это? Закатают человека и еще вспрыскивают!..

— Экая вы какая, Ксения Михайловна!— уже хохочет прокурор.— Вот ежели бы мне удалось вас закатать, вот тогда уж мы бы вспрыснули с вашим муженьком как следует. Когда у вас ревизия будет?

— Меня вам не посадить, не радуйтесь! Сколько лет я в торговле, а еще ни разу ни копеечки не настояла.

Или, скажем, встречает Ксения Михайловна другого хорошего знакомого и с ходу начинает журить,— да нет, не журить, а разоблачать и изобличать его в мелких преступлениях против незыблемости семейных устоев:

— Вы, дорогой мой, подлец! Вы кот! Почему вам жена

позволяет ночевать там, где не положено никакими командировками? Или у вас опять машина застряла или горючего не хватило?

— Послушайте, откуда вы что взяли? — поначалу растерянно возражает ее ответственный знакомый.— Что вы можете знать?

— Одна жена ничего не знает, а все давно знают, где вас обычно подводит ваша техника. Ведь уже стариком скоро станете, песочек подметать за вами надо, а все за ум не возьметесь.

Оправившийся от внезапного нападения знакомый начинает посмеиваться:

— Вы, Ксения Михайловна, как всегда в своем репертуаре. Знаете, в сказочке добрый молодец говорит Бабе Яге: сначала накорми да баньку истопи, да спать положи, а потом уже спрашивай — кто, да куда, да зачем путь держу. Ни в чем я перед вами не виноват. Вы ошиблись: моя фамилия не Дресвянин. За своим мужем усмотреть не можете, а за других беретесь.

Ксения Михайловна делала вид, что не нервничает:

— На Дресвянина своего я уже рукой махнула. Он ни на что не годится. А ваша жена — дура, куда она глядит, о чем думает?

И опять, в ответ на ее искреннее прямодушие, раздается громкий хохот, и только.

— На вас даже сердиться невозможно, Ксения Михайловна, удивительный вы человек: что на уме, то и на языке.

— А вы привыкли, чтобы все было шито-крыто. Очковтиратели вы все, вот что!

Тем не менее, когда Петр Петрович Дресвянин собирал гостей, к нему шли охотно: Ксения Михайловна выходила из любого положения — стол у нее всегда ломился от закусок, а в суденке на кухне, как в холодильнике, постоянно стояли про запас одна-две бутылочки белого. В подполье у Ксении Михайловны был оборудован курятник с постоянным электрическим освещением, и белые, с желтым отливом, леггорны ежедневно и круглогодично давали ей свежие крупные яйца. Впрочем, по примеру Ксении Михайловны, такие курятники с некоторых пор появились почти у всех жен районных служащих, только об этих курятниках почему-то не считалось удобным разговаривать даже друг с другом, они действительно были на положении подпольных. Не потому ли, что в это же время куры в колхозах неслись не дольше четырех месяцев в году и яйца были не крупнее голубиных, а колхоз-

ные птицефермы ликвидировались одна за другой под разными предлогами из-за явной нерентабельности их: после подытоживания всевозможных утечек и потерь из-за лисиц, коршунов и ворон в годовые колхозные отчеты попадало в некоторых случаях не больше пяти яиц на одну несушку.

На квартире Дресвяниных любили собираться вечерами еще и потому, что сам он был человеком расхожим, приветливым и, по мнению большинства районных знакомых, занимательным собеседником. Приветливый, незлобивый и как бы хорошо обтекаемый характер Петра Петровича, при всех прочих обстоятельствах, являлся, конечно, одной из важнейших причин того, что он просидел в своем заместительском кресле тринадцать лет, ни за что не отвечая и, по существу, ничего не делая, и не нажил себе никаких серьезных врагов. А главное достоинство Дресвянина заключалось в том, что он знал бесчисленное количество анекдотов, старых и новых и по всякому поводу, к любому случаю мог рассказать подходящий анекдотец. Запоминание и записывание анекдотов, каламбуров стало главной его профессией, его страстью. Он охотился за всем новым, самым злободневным, что шло из области, из центра, сортировал все свеженькое и распределял по мере использования по циклам. «Что новенького привезли»?— спрашивал он доверительно вновь прибывшего в командировку областного работника, когда первоначальные официальные интонации в его голосе смягчались и исчезали, и первый выуживал у него самые последние, самые злободневные поступления. Конечно же, Дресвянин при этом был осторожен. Многолетний опыт давал ему возможность безошибочно определять, к кому из приезжих можно обращаться с подобными вопросами, и выбирал для этого наиболее подходящий момент. К тому же приезжие товарищи, как правило, приезжали в район не в первый раз и уже знали о безобидной страсти Дресвянина. Они сами не прочь были послушать на досуге тот или иной цикл в его передаче: за каждое добавление к своим богатствам Петр Петрович охотно платил сторицей. Он не пренебрегал ничем новым, хотя часто оказывалось, что все привезенное гостем для него оказывалось уже устаревшим, «бородатым».

— Что новенького слышно?— спрашивал он.

— Да вы же, наверно, все знаете? Разве вас чем-нибудь удивишь? Слышали, например, что мобилизованы все альпинисты страны?

— Интересно! Ну-ну?

— Поручено разобрать Пик Сталина.

— Интересно. Это я слышал в другом варианте. А про надгробную плиту знаете?

— Нет.

— «Умер в 1953 году. Похоронен в 1961 году». Как?..

Политические анекдоты Петр Петрович рассказывал без придыхания, беззлобно, тактично смягчал их порой чрезмерную резкость и остроту, чтобы не вызвать у собеседников чувства неловкости. И все-таки часто переходил на шепот, особенно если анекдот носил характер сплетни.

Районному начальству приходится много времени проводить в машинах: ночевать в сельсоветах, колхозных правлениях, даже на лесозаготовках, и на этот случай Дресвянин является лучшим партнером. По зимним ли, переметенным метелями проселочным дорогам или по весенне-осенней распутице даже вездесущий ГАЗ-69, которого называют любовно «проходимцем», ползет медленно, крутя с одинаковой силой и задние и передние колеса, часто переходит на пониженные скорости с применением демультипликатора, и вот тут-то Петр Петрович и приходит на выручку. Память его неистощима, голос ровен, улыбочка видна даже в темноте.

— А ну-ка, Петр Петрович, любовный цикл, похлеще.

— Что ж, похлеще... Это не от меня зависит. А вот, скажем, про женьшень. Есть такой корень...

— А-ха-ха-ха! — уже заранее начинает покатываться нетерпеливый и благодарный слушатель.

— Теперь давай что-нибудь из детского цикла!

— Ну, хорошо. Вот так, скажем: сидит мальчонка у бабушки на коленях и спрашивает ее: «Бабуся, мозьно я тебя попугаю?» — «Попугай, внученька, попугай, миленький!» — соглашается бабушка. Мальчонка делает пальчиком рога и говорит бабушке: «Бу, заботу, старая потаскуха!»

Ксения Михайловна не выносила пристрастия своего мужа к анекдотам. Но особенно нетерпима была она к его любовному и детскому циклам. Круглые безбровые глаза ее округлялись еще больше, губы бледнели от негодования и презрения и поджимались, когда Петр Петрович начинал смешить людей в ее присутствии. На некоторое время она замирала, словно перед препятствием, переставала двигаться и молчала, соображая, как ей поступить на этот раз, затем, не считаясь ни с кем и ни с чем, выкладывала мужу все, что о нем думала.

— Какое счастье, что у меня нет от тебя детей. Вы только представьте себе, что бы они думали о своем отце! Грязное ты животное, Петр, вот ты кто! Подлец!

— Ну, поехала моя Ксения! — отшучивался Петр Петрович. — Тебя же все знают, какая ты есть, на тебя нельзя сердиться.

— А ты думаешь, тебя не знают, какой ты есть?

— Потерпи, потерпи, мать!

— Какая я тебе мать! Слава богу, что я тебе не мать, а то краснела бы каждый день за тебя.

— Давай иди, иди, готовь яичницу!

Но Ксения Михайловна уже не могла заниматься яичницей, пока не выговаривалась до конца.

— Неужели ты не понимаешь, что тебя только за твои анекдоты и на работе держат? Шут гороховый ты! Клоун! Тринадцать лет анекдотиками кормишься, да еще гордишься, думаешь, людям пользу приносишь. Вы только подумайте, — обращалась она неожиданно к присутствующим, словно не они просили Дресвянина рассказывать из детского цикла, — вы только подумайте, ведь он и на пенсию надеется. Похабными своими анекдотиками пенсию себе зарабатывает. И ведь получит! Обязательно получит. А как же — стаж!

— Ну что вы, Ксения Михайловна! — вступались за Дресвянина его сослуживцы, разговаривая с нею немного снисходительно. — Вы просто не цените его.

— А вы его цените?

Такой случай Петр Петрович считал подходящим, чтобы, никого не обидев, заявить наконец, при всех и при жене своей, какое место он, по его понятиям, занимает в жизни и на работе. При этом он позволял себе даже покричать немного.

— Слушай, ты, мельничное колесо! Чего шумишь без толку, зачем околесицу несешь? Да я больше полжизни в машине провожу. Часто ли я дома ночую?

— Ишь, чем хвастаться начал! — успела вставить Ксения Михайловна.

Но Дресвянин не обращал внимания на ее реплику, как бы не слышал ее и продолжал:

— Ты же не понимаешь элементарных вещей в нашей системе. Что такое аппарат? Аппарат — это прежде всего заместители. Вся организаторская работа, исполнение, проверка исполнения лежит на их плечах. И власть исполнительская в руках заместителей. Слыхала ли ты: институт заместителей? Ин-сти-тут! Это тебе не торговля школьными принадлежностями, пеналами, да перьями, да ручками! Инсти-тут! Руководитель без заместителей — это еще не механизм, это ноль без палочек. Я, конечно, сейчас говорю в о о б щ е, не о нас! — воровато оглядывался Дресвянин: дескать,

уж извините, приходится воевать с женой, а чтобы поставить ее на свое место — любые средства приемлемы.— Я вообще говорю. Но разве ты можешь понять это, торговая точка? Заместители руководителя учреждения — это уже народ, это живая жизнь, власть и исполнение власти. Руководителя может не быть, он может отсутствовать или только значиться, он может уезжать, приезжать, уходить, приходить, жить полгода на курорте, лечить свою гипертонию. А первый заместитель — это все! Его не может не быть. Он должен быть всегда и везде, иначе без него ничего не будет. Первый заместитель — это и первый кандидат на место руководителя.

Ксения Михайловна, совершенно оглушенная потоком красноречия мужа, стоявшая с чуть приоткрытым ртом и смотревшая на него почти с обожанием и восторгом, вдруг оживала и снова кидалась в атаку:

— Что же ты тринадцать лет в кандидатах ходишь, коли ты первый?

Но это была уже такая бестактность, такая шизофреническая простота, которая хуже воровства, что все сослуживцы Дресвянина морщились и сам он морщился и боязливо оглядывался вокруг.

— Топор ты, вот что! Грубая работа! Даже не топор, а колун. Неси яичницу, занимайся своим делом.

Несмотря на такие семейные сцены в доме Дресвяниных, товарищи считают, что супруги влюблены друг в друга, жить друг без друга не могут, и что особенно влюблена в своего мужа Ксения Михайловна, и грубоватость ее идет от чрезмерной влюбленности, не больше: нельзя же, дескать, в ее возрасте показывать, что она все еще, как девочка, молится на своего обожаемого Петра Петровича.

* * *

После литературного вечера, на котором председательствовал Петр Петрович Дресвянин и, поочередно представляя местных начинающих поэтов и прозаиков, много шутил и к случаю рассказывал весьма остроумные анекдоты на литературные темы, так что в зале Дома культуры постоянно стоял смех и уже перестали слушать и стихи и рассказы, а ждали, когда снова заговорит сам Дресвянин,— после этого вечера к нему робко подошла молодая женщина в ватнике, в простенькой ситцевой юбке и крестьянском платочке на голове и, оглянувшись вокруг, словно боясь, что ее кто-то подслушает, заговорила:

— Можно мне... к вам... можно мне?

— Что можно?— спросил Дресвянин, весело осматривая ее, молоденькую, с ног до головы, все еще нравясь себе самому и находясь под впечатлением шумного успеха у публики, когда кажется, что и другие, все без исключения, тебя обожают и все тебе доступно.

В свое время Дресвянин сам мечтал о литературной славе, пописывал кое-что, да и сейчас зарабатывал иногда в районной газете трешник на бутылку водки разными рифмованными подписями под сатирическими рисунками пресс-клише, но годы все перемололи, в том числе и юношеские мечты и судьбу его, и он удовлетворял теперь свою не перегоревшую любовь к славе интимным успехом в кругу друзей, рассказыванием анекдотов да изредка шуточками со сцены районного Дома культуры, вызывавшими шумное ликование неприхотливой аудитории.

— Мне хотелось рассказать вам про себя все, как на исповеди... можно ведь... очень прошу...— сказала женщина, робея все сильнее.

— Почему именно мне? Я не поп.

— Вы так хорошо сегодня говорили: сердечно, не обидно. У вас душа... Мне по душам надо, не в кабинете...

Дресвянин самодовольно осклабился и тоже оглянулся вокруг, боясь, что эту его самодовольную улыбку увидят другие и поймут ее. Но у женщины на глазах появились слезы, и он мгновенно посерьезнел.

— Ну, что ж, можно... я вас выслушаю. Но завтра я занят. На днях как-нибудь. А где, собственно? Почему я вас не припомню, где вы работаете?

— Ну как же?— удивилась женщина.— Я же на складе. Помните, я еще для вас гречку доставала? Как же...

Дресвянин оглянулся вокруг опять.

— У меня еще муж пьяница, работал при Доме пионеров. Помните?— И глаза женщины засияли надеждой, слезы мгновенно высохли.

— Да, да, все помню,— сказал Дресвянин, внимательно всматриваясь в ее порозовевшее лицо.— Муж теперь сидит?

— Вот, вот — сидит. Он уже второй раз сидит!— с готовностью призналась женщина, словно это никак не могло считаться зазорным.

А Дресвянин, вспомнив и узнав женщину, сразу перешел на «ты».

— Ладно, потом расскажешь все. Как тебя — я забыл?

— Надя я. Надежда Лямзина, помните?

— Да, да, все помню. Ты приходила как-то, жаловалась на своего мужика. Выгонял он тебя на улицу, бил, кажется?

Лямзина смутилась.

— Все случалось. Только жаловалась, пока он был со мной, а как не стало его, так ни на что не жалуюсь. Он ведь и раньше нехорош был только когда напьется, а трезвый — он человек как человек!

— Ладно, потом! — сказал Петр Петрович и еще раз оценивающе осмотрел ее с ног до головы.— Живешь-то где?

— Да все там же... в большом этом доме, где, помните, жила эта...— Лямзина озорно сверкнула глазами и потупилась.— У меня и ход свой, особый...

Через два дня Дресвянин постучался вечерком к Наде. На первый раз из осторожности он пришел к ней не один, а с приезжим приятелем, счетоводом, который боготворил его со школьной скамьи и, живя не в городе, а в дальнем селе, навещал время от времени, чтобы, как он говорил, не отставать от культурной жизни. Приятель был самым большим любителем анекдотов из детского цикла, а также скабрезных — про любовь. На него можно было положиться при любых обстоятельствах.

На тихий стук в дверь ответа не последовало. Тогда Дресвянин зашел за угол дома и, убедившись, что в нужной комнате есть свет, забрался в снег и так же тихо постучал несколько раз в окно. В комнате началось движение, кажется, скрипнула кровать, приподнялась занавеска, и к стеклу прильнуло заспанное лицо Нади Лямзиной. Увидеть в темноте она никого не смогла, потому кинулась к двери и испуганно спросила:

— Кто там?

— Свои, свои! — негромко ответил Дресвянин, отряхивая снег с валенок.

Лямзина, узнав его по голосу, радостно ахнула, щелкнула крючком и открыла дверь, но, увидев еще одного незнакомого ей человека, попятилась.

— Ничего, ничего, свои! — успокаивающе сказал Дресвянин, переступая порог. В сенях было темно, Надя забежала вперед, открыла дверь в свою комнату, и свет проник в узкие сенца, уставленные фанерными ящиками и заваленные дровами.

— Опусти крючок!— приказал Дресвянин.

Лямзина, не задумываясь, исполнила приказание, потом, что-то сообразив, сказала:

— Я все равно сейчас побегу. Проходите, пожалуйста, пожалуйста, проходите!— При этом она все еще недоверчиво смотрела на незнакомого человека. Была она тоненькая, молоденькая, в легком ситцевом платьице.

Гости прошли в комнату, осмотрелись. Две металлических кроватки стояли одна против другой, занимая почти всю жилплощадь. Справа от входа громоздилась печка-плита. На кроватях лежали дешевые синенькие без узоров покрывала, обшитые с внешнего нижнего края самодельными кружевами; одна постель была смята. На подушках лежали тоже самодельные кружевные из суровых льняных ниток накидки. В одном углу висела иконка, стыдливо прикрытая полотенцем. Рядом с нею, вдоль передней стены,— цветные вышивки на прямоугольных коленкоровых лоскутах: крестиком — краснощекая девушка с коричневой корзиной грибов, гладью — связка неестественно крупных цветов, похожая на банный веник. Между кроватями — столик под клеенкой и два стула с боков. В углу за печкой висячий, ярко выкрашенный шкафчик-посудник, в нем за стеклом тарелки, чайные чашки и граненые стопки-лафитнички.

— Пожалуйста, раздевайтесь!— захлопотала Лямзина.— Я прилегла, думала отдохнуть, да задремала. Простите, что у меня так... ну уж простите!

Дресвянин и его дружок сняли пальто, Лямзина выхватила их из рук, повесила на спинку кровати.

— Садитесь, пожалуйста! А я мигом слетаю!

— Куда же ты слетаешь сейчас, уже все закрыто?— догадливо и осведомленно заявил Дресвянин, неторопливо усаживаясь к столу.— Садись, друг!— указал он рукой приятелю на другой стул напротив себя.

— Да уж я знаю куда, вы не беспокойтесь!— и Лямзина сдернула с гвоздика за печкой серый поношенный ватник, набросила его на плечи.— Я мигом.

— Вот что, Надя, бегать никуда не надо,— остановил ее Дресвянин.— Мы так, по-простецки, посидим, поговорим. Кто у тебя здесь за стенкой? Слышно, нет?

— Слышно, только сегодня никого дома нет.

— Тогда садись!

— Да что вы, я мигом!

— Ну, смотри, тебе виднее. Только мы тебя и так выслушаем.

Лямзина набросила еще на голову теплый платок и юркнула за дверь.

Дресвянин достал пачку «Беломорканала», вскрыл ее, предложил папиросу приятелю. Закурили оба. Пепел стали стряхивать в одну кучку на клеенку стола, куда положили и спичечный огарок.

— Надо этой женщине помочь,— сказал Дресвянин, откинувшись на стуле и пуская струю густого дыма прямо вверх, в потолок.— Работник она ценный, а муж попался не ахти какой, второй раз в тюрьме сидит. Пьет, сукин сын, много, меры не знает. Последний раз служил в Доме пионеров и отпорол кусок ковровой дорожки на водку. Ковер кому-то сплавил, водку выпил, но дорожку нашли, отобрали.

— Вот кто-то погорел!— сочувственно сказал приятель.

— Конечно, погорел! Впредь думать будет. А женщине помочь надо, она ни в чем не виновата, зря страдает. Людей из беды выручать надо. Если мы не будем выручать, кто же будет? Нас к этому положение обязывает. Да и на душе светлее, когда удастся для кого-нибудь сделать добро. Доброе дело — это, брат ты мой, всегда доброе дело!— Дресвянин развалился на стуле, левая рука его, с папиросой, лежала на столе, правую он положил навытяжку поперек кровати, отчего на постели образовалась глубокая борозда.— Пуховая!— кивнул он приятелю и продолжал философствовать:— В чем, собственно, главное счастье в жизни? В том, чтобы делать добро людям, приносить им пользу. Так было, так есть, и так будет всегда. Слово это — добро,— конечно, не новое, но оно не стареет и поныне. Передовые члены общества и в прошлом считали своим первейшим долгом делать людям добро. Слыхал ты о старой русской интеллигенции, о народниках, о разночинцах? Приносить пользу людям — отсюда и пошла революция. А нам, нынешним, как говорится, и сам бог велел. Мы — слуги народа. А народ — это люди. Значит, им и надо служить. Не вообще народу служить надо, а людям. Одному человеку помог — всему народу помог.

Приятель даже курить перестал и смотрел на Петра Петровича восторженно и немо: то в глаза ему, то в рот, когда Дресвянин говорил, то на левую руку с папиросой, которую он время от времени поднимал и подносил ко рту, чтобы затянуться, то на правую его руку, которая нет-нет да и ударяла по пуховику в такт словам, для вящей убедительности их.

— Вот, скажем, эта женщина, Надя,— продолжал Дрес-

вянин.— Молодая еще, неопытная, а какая у нее трудная судьба. Она, конечно, простая, как говорится, баба, но настоящая русская женщина. Муж пьяница, второй раз попался, и за дело. А она одинокая, ждет его, конечно, не дождется. А придет он из тюрьмы, ее же бить станет, дескать, ты как тут себя вела, чем занималась? Виновата не виновата, а отвечай! Такую женщину пожалеть надо. Мы все — люди.

— Удивительный ты все-таки, Петр Петрович!— с чувством воскликнул приятель, когда Дресвянин раздумчиво замолчал.— Рассказываешь смешное что-нибудь — так животики надорвешь, а говорить этакое станешь — все рты пораскрывают. И то и другое в тебе есть.

— Вот так-то!— сказал Дресвянин и хлопнул рукой по пуховику, словно по трибуне. Докурив, он потушил окурок о клеенку и смял его.

Заскрипела входная дверь в сенцах, звякнул металлический крючок, вошла Лямзина, раскрасневшаяся, как вышитая крестиком девушка на стенке, запыхавшаяся.

— Ой, простите меня, задержала, наверно!— заспешила она. Достала из-за пазухи бутылку «Московской», поставила ее на стол, стукнув донышком, и, увидев пепел и окурок на клеенке, всполошилась:— Ой, что же я наделала, простите меня, пепельницу забыла вам дать.

Не снимая ватника, она кинулась к шкафчику, принесла и поставила ближе к Дресвянину чайное блюдце, затем разделась и так же поспешно принесла на стол три граненых лафитничка, хлеб в ломтях, тарелку нарезанных огурцов, тарелку соленых рыжиков.

Пока она собирала на стол, гости молчали, а когда на столе появились и вилки и три чайных ложечки, Дресвянин сказал:

— Я же тебя просил не бегать никуда, ничего не надо было, одни хлопоты, обошлись бы и без этого. Ну, разливай, коли так!

Лямзина сходила в сени, принесла к столу фанерный ящик, осторожно уселась на него, разлила водку.

— Уж не побрезгуйте, пожалуйста, моим угощеньем. Огурцы и рыжички свои, сама солила.

Выпили. Закусили. Дресвянин заговорил:

— Ну, рассказывай, Надя, что у тебя?

— Да ведь что рассказывать-то, вы про мое горе все знаете,— опять заробела Лямзина, глянув сбоку на незнакомого человека.

— Это Федор, мой друг,— сказал Дресвянин.— При нем

можешь говорить все, не бойся, он тебе тоже добра хочет. О жизни своей расскажи.

— Ребятишек своих я отправила к бабушке в деревню, а то как бы жить стала...

— Разве у тебя дети есть?— удивился Дресвянин.— Такая молоденькая...

— Двое, как же. Вот стою на складе. Ревизия была не единожды, а все пока благополучно, ничего не настояла. Только вот мужа нет, а как вызволить его — не знаю.

— Зачем он тебе, он же пьяница?

— Пьяница, конечно, а все муж, какая-никакая опора.

— У него же одни кулаки на тебя...

Лямзина, кажется, обиделась:

— Ну зачем, Петр Петрович, об этом говорить, когда его теперь нет. Руки у него золотые, если он не пьяный. Лучшего столяра во всем районе не сыщешь. Недаром ведь его помордуют, помордуют, а опять берут на работу, да еще наперебой зовут. И человек он, если не выпьет, уважительный, ласковый. И ничего дурного на ум ему не идет. Ну, а выпьет, тогда уж все, тогда он за себя не отвечает.

— Чем же я могу помочь тебе, когда ты так говоришь?— спросил Дресвянин.

— А вы, Петр Петрович, всем можете помочь. Достаньте мне мужа.

Приятель Дресвянина улыбнулся, а сам он нахмурился, тогда нахмурился и приятель.

— То есть как достать мужа? Он же сидит.

— Сидит, но без суда сидит. Скоро полгода без суда сидит. А суд вот-вот будет. Дали бы ему условно, не сажали бы, я уж не знаю, чтобы и сделала.

Дресвянин опять достал из кармана папиросы — одну взял себе, другую подал приятелю, зажег спичку. Закурил, подумал, сказал:

— Ну, милая моя, а законы?

Разговор ему пока не нравился, хотя он и предполагал, что Надя Лямзина будет просить его именно за мужа.

— А разве я против законов?— возразила Лямзина.— Я же по закону хочу, только бы вы посочувствовали, помогли бы. Ведь можно принудиловку по месту работы дать. Человек бы все понял.

— Да-а!— пустил дым под потолок Дресвянин.

И Лямзина вдруг испугалась, что сейчас он встанет и уйдет и ничем ей не поможет. Она вскочила с ящика, заволновалась, потом схватила бутылку, стала торопливо раз-

ливать остатки водки гостям: Дресвянину чуть-чуть больше, чем приятелю его, себе ни капельки.

— Уж простите, пожалуйста, опять я забылась, надо допивать, а я со своими разговорами. Извините уж!

Дресвянин смотрел не на водку, а на своего дружка, его опять потянуло на философию.

— Видишь, о чем она говорит и чего хочет? — сказал он. — Как после таких разговоров помогать людям?.. Муж с ней и так и этак, мордует ее, а она все готова коврики ему подстилать.

— Что это вы о коврике говорите? — всполошилась Лямзина. — Если бы я знала что-нибудь о коврике, разве бы я позволила ему.

— Петр Петрович не о вашем коврике говорит! — поправил ее приятель Дресвянина, вожделенно глядя на посверкивающую водку. — Петр Петрович вообще о ковриках говорит. Для него это символ, это у него такая образная речь. Петр Петрович вам добра желает, а вы за мужа хлопочете.

— А как же мне за мужа не хлопотать, он — муж! — простодушно удивилась Лямзина.

— Он же вас на улицу выбрасывал, на мороз! — возмутился приятель. — А вы что? А вы за него же голос подаете.

— Ну и что ж такого? Верно, бывало, я убегала от него. Так он же пьяница. Как напьется, так себя не помнит.

— А вам Петр Петрович добра желает.

— Да разве я не понимаю, я добра и хочу.

Дресвянин выпрямился на стуле, убрал руку с постели и обратился к приятелю:

— Вот и помогай русским женщинам! — И пояснил: — Некрасовские!

— Видишь! — упрекнул Лямзину и приятель.

— Ну, давай, выпьем, что ли! — сказал Дресвянин. — Надя, налей и себе.

— Что вы, много ли тут осталось, выпейте вы, пожалуйста, а с меня довольно. Выпейте, пожалуйста!

Дресвянин с приятелем выпили и закусили.

Надя той порой прошла к шкафчику, словно за каким-то делом, а сама искоса посмотрелась в зеркало, поправила платочек на голове, прихорошилась и опять села к столу.

— Так что же я могу для тебя сделать, Надя? — опять спросил ее Дресвянин. — Чем я могу быть полезен тебе?

— Мне бы, Петр Петрович, чтобы условно дали, выпустили бы его. На днях суд будет.

— Я не суд и не прокурор,— самодовольно объяснил он ей.— Но ежели что, ты скажи. Мы тут подумаем.

Надя разлила остаток водки на две стопки и, понизив голос, заговорила:

— Вы бы только помогли мне, а с судьей я уж сама договорюсь.

Дресвянин повеселел:

— Это с кем, с Петуниным?

— С Петуниным.

— Смотри ты! Парень он молодой, это верно, но как же ты?— И перед его глазами промелькнула невзрачная фигура судьи — низкорослого, толстоногого, бледного, с вечной папиросой-гвоздиком в желтых зубах.

— Выпейте, пожалуйста!— стала просить Надя.

— Хорошо, мы выпьем, но ты уж говори до конца, как это ты с судьей договоришься? Окрутила его, что ли?— и Дресвянин засмеялся, словно услышал хороший анекдот.

— С ним уж договорились, Петр Петрович!— еще тише сказала Надя.

— Уже готово? Молодец девка!

— Не я договорилась, а только уж договорились.

— Рассказывай, рассказывай, не бойся. Ни меня, ни его не бойся. Он мой друг, все останется между нами.

Лямзина еще раз недоверчиво взглянула на дресвянинского друга, покосилась на двери, на стены и шепотом продолжала:

— Есть у судьи любовь, он к ней давно ходит, служит она на складе сторожихой, вот она с ним и договорилась.

— Ну, ну?

— А ей, Нюрке этой, я на водку дала десять рублей. «Ты,— говорит,— не сомневайся, как я захочу, так он все и сделает».

Услышав это, Дресвянин сначала расхохотался, а потом помрачнел:

— Ты сдурела, девонька! Еще скажешь, что судья взятки берет?

— Взяток он не берет, я этого не знаю, а только Нюрка мои десять рублей отдала ему, и он их взял, это им на водку нужно.

Приятель Дресвянина неспокойно заерзал на стуле. Дресвянин помрачнел еще больше.

— И что же он тебе обещал?

— Ничего он не обещал мне, он Нюрке обещал, а Нюрка моя знакомая.

— А с судьей ты не говорила?

— Что вы, как я буду с ним говорить? С ним Нюрка разговаривала.

Все замолчали. Нелепость услышанного казалась настолько очевидной, что Дресвянин не сразу нашелся что ответить. А помолчав, сказал, и в голосе его послышалось искреннее сочувствие.

— Вот что, Надя! Обманывает тебя эта твоя Нюрка. Мошенница она. Судью я хорошо знаю: он, конечно, никаких дел с ней не имеет. Обманывает она тебя и деньги с тебя за обман берет, зря ты ей доверилась.

— Вот уж не обманывает, Нюрка не обманывает! — горячо стала возражать Лямзина.

— Обманывает, верь моему слову.

— Не обманывает, она — моя подружка.

— Обманывает, говорю тебе!

— Нет, не обманывает! — упрямо повторяла Лямзина.

— И дел никаких он с ней не имеет, не до того ему.

— И дела имеет! У них даже уговор такой есть: остановится судья на мосту, бросит окурок в реку, Нюрка уж знает, что он к ней идет, и скорехонько всех из своей сторожки выпроваживает.

Приятель Дресвянина заинтересовался:

— Хорошая баба, что ли? Красивая?

— Да нет ничего такого, только судья давно к ней ходит.

— Зачем же он к ней будет ходить, к какой-то Нюрке, когда у него своя жена молодая и красивая?

Тупое упрямство на лице Лямзиной сменила скабрезная ехидца: ничего, дескать, вы мужики не можете понимать в таком деле.

— Да уж ходит, — значит, она, Нюрка, такая сладкая, знает чего-то... Умеет...

— Приворожила?

— Да уж приворожила! Она не первого привораживает. От Нюрки ни один мужчина не отступится. Только вы, пожалуйста, не выдавайте меня.

Дресвянин понял, что разубеждать Лямзину бесполезно, сколь ни дико было то, во что она поверила. От фанатической убежденности ее повеяло такой нечистотой и таким невежеством, что он пожалел, что зашел сюда, пожалел и о своих тайных легкомысленных желаниях, с которыми только что смотрел на эту молоденькую, оказавшуюся без мужской защиты женщину. Но и жалко стало ее: было

слишком явно, что она попала в руки мошенницы и, конечно, отдает ей свои трудовые гроши.

— Много ты передавала денег своей Нюрке? — спросил он.

— Только десять рублей, так это ж не Нюрке.

— Дура ты, Лямзина, вот кто ты! Как можно поверить, что судья из-за каких-то десяти рублей будет рисковать своим положением. Я уж не говорю о совести. У нас тут все на виду. Да и когда ему ходить к какой-то Нюрке? Некогда! Понимаешь, некогда! Обманывает тебя Нюрка, а ты думаешь, что ты хитрая.

— Ничего я не думаю. Я знаю! Нюрке не одна я давала денег для судьи: и все получалось, все не зря.

— И много давали?

— Я только десять рублей дала, а про других не знаю.

Дресвянин опять замолчал, задумался, потом спросил:

— Часто он к ней ходит?

— Нет, не часто. А только ходит. Это все знают.

— Почему же я не знаю?

— Вам этого и знать не надо, Петр Петрович. И я вам ничего не говорила. Вы уж не подведите меня, Петр Петрович!

— Ладно, Надя, ты мне ничего не говорила и я ничего не слышал. Обманывают тебя, зря только деньги свои бросаешь. Жалко мне тебя, невежественный ты человек и о людях плохо думаешь. Поверь мне, судья у нас не такой, да и ни один судья не решится на нечестное дело.

— А велика ли зарплата у них? На такую зарплату не разгуляешься.

— Дура ты, Надя, вот что я тебе скажу. Разве в зарплате дело. А давать начнешь — сама попадешься. Наверно, на складе у тебя уже концы с концами не сходятся?

— Что вы, Петр Петрович, я еще ни разу не попадалась.

— Ревизия, говоришь, была?

— Была не раз, ничего такого не нашли. Я не один год стою, а ни разу еще не настояла ни копеечки.

— Жалко мне тебя, Надя. Ну, мы пойдем. Может, что-нибудь и сделаю для тебя. Только не для мужа.

— Вы уж не выдавайте меня, Петр Петрович!

— Я сказал, что мне можешь доверять.

Дресвянин и его приятель поднялись одновременно. Встала со стула и Лямзина. Она растерянно смотрела перед собой, не удерживала их и даже пальто им не подала.

Дресвянин думал не о судье, а о себе: городок малень-

кий, все на виду, все друг друга знают в лицо. Ступишь не с той ноги — уже замечают, зайдешь к кому-то поздно вечером — уже думают: зачем зашел? Случайная оплошность — и наживешь неприятностей, и тринадцать лет безупречной биографии пойдут насмарку. Пора менять район, пора уезжать отсюда!

— Да-а! Какие дела открываются! — шепотом сказал приятель, когда они вышли на улицу, на мороз.

Дресвянин поднял меховой воротник пальто и недовольно забурчал в воротник:

— Ничего не открывается! Чепуха все! Бабьи сплетни! В такой атмосфере живут торговые работники, все друг друга подозревают, друг на друга наговаривают. Верить ни одному слову нельзя.

Приятель сник. А Дресвянин в этот вечер никому не рассказывал анекдотов.

* * *

В субботу выезжали на рыбалку. Удочки для зимнего лова конструировал и изготовлял майор Тихонов, заместитель райвоенкома — его удочек хватало на всех. А дождевые черви были и у Дресвянина, и у второго секретаря райкома Чербунина, и у нарсудьи Петунина, и у райкомовского шофера Северцева.

Дресвянин еще осенью на своем приусадебном участке накопал червей полведра, засыпал их землей, прикрыл марлевыми тряпками и поставил в подполье, где у него всю зиму при постоянном электрическом освещении обитали и неслись куры. Для подкормки червей в ведро время от времени он подсыпал муки, подливал молока и поверх тряпки накладывал вываренный чай. Черви были бодрыми, жирными, красными, недостатка в них не ощущалось всю зиму. Уезжая на рыбалку, Дресвянин выносил ведро из подполья, разрывал землю и набирал червей в спичечные коробки — двух коробок хватало на любой клев, потому что по целому червяку на мормышку он никогда не насаживал, а рвал их на две и на три части. Так же поступали и другие.

В субботу перед рыбалкой старались никаких заседаний не назначать, работу заканчивали на несколько часов раньше обычного, ссылаясь на необходимость выехать в командировку, брали с собой по бутылке водки на каждого, коекакую закуску — что жены приготовят,— и исчезали на двух машинах на всю ночь и на воскресенье до позднего

вечера. После вечерней зорьки на льду ночевали где-нибудь в деревне у знакомого рыбака-любителя, реже у председателя колхоза либо на колхозной мельнице, в сторожке, пропахшей насквозь и запыленной за много лет от пола до потолка мукой, забросав весь пол сеном. Если вечерний лов был удачен, варили уху, а нет — обходились хозяйскими щами. Утром, еще до света, снова выходили на лед. Когда в субботу почему-либо выехать не удавалось, то ночь не спали, волнуясь и совещаясь, и выезжали часа в три, в четыре утра, а возвращались в райцентр в тот же день, но всегда очень поздно, почти к полуночи.

Илья Ефимович Твердохлебов относился к таким поездкам на рыбную ловлю с откровенной завистью, но сам участия в них не принимал. За все годы пребывания в районе он проплясал на льду лишь два выходных дня и совершенно отказался от этой радости после того, как во время второй поездки разыскивавший его по телефонам секретарь обкома от кого-то случайно узнал, где он находится, приказал послать за ним машину, привезти его на телефон и по телефону дал ему нагоняй: «Рыбку ловите? В мутной воде, наверно? А район остается без хозяина! Я вот тоже люблю охоту, а что будет, если я начну зайчиков гонять? Если не можете жить без рыбки, прикажите поставить на льду около своей лунки телефон и не исчезайте неизвестно куда!..»

Впрочем, Чербунин и Дресвянин с товарищами уезжали на рыбалку не всегда ради одного удовольствия: иногда им хотелось поразговаривать друг с другом наедине, на безлюдье, о чем не решались разговаривать ни в кабинетах, ни на квартире. С этой именно целью и пригласил Дресвянин судью Петунина на очередную рыбную ловлю.

Новенький райисполкомовский «газик» подошел к квартире Чербунина, когда он, напялив на себя новые ватные брюки, пробовал натянуть на ноги то валенки с галошами, то резиновые сапоги: ни те, ни другие не налезали, потому что голенища и валенок и сапог были узки, а новые брюки толсты. При этом злился и чертыхался Чербунин сверх всякой меры, и жена его не показывалась с кухни, боясь, чтобы так называемый критический запал мужа не обернулся из-за чего-нибудь против нее.

Шофер Северцев вошел в дом, и Чербунин встретил его так, будто во всех бедах был виноват один он.

— Проклятие! Смотри, что делается: набухали в брюки ваты столько, что икры, как бревна. Проходи, чего стоишь? Подай мне ножницы!

Степан Северцев осмотрел комнату, нашел ножницы на столе и подал их Чербунину.

— А зачем вам ножницы? — спросил он.

— Распорю голенища.

— Валенок?

— Можно и у сапог.

— В сапогах будет холодно сегодня, Энгельс Иванович.

— Тогда валенки распорю.

— Жалко, Энгельс Иванович.

— Ехать надо, вот что. Ты почему не на своей машине?

— Наши обе в плохом состоянии. Мне сам Петр Петрович предложил исполкомовскую, новую. Доверяют.

Чербунин повертел ножницы в руках, взял валенок, примерился и сделал надрез на голенище с задней стороны. Северцев крякнул, как от боли. Чербунин увеличил разрез, намотал на ступню суконную портянку и с трудом, но всунул ногу в валенок.

— Вот так! — сказал он и притопнул ногой. То же самое он сделал и со вторым валенком.

— Не жалейте, Степан Сергеевич,— утешил он Северцева.— Валенки эти свой срок все равно отслужили, лет пять их ношу! — Успокаиваясь, он, как обычно, переходил в разговоре со своим шофером на «вы».— Дресвянин готов? Поезжайте за ним.

— Если вы готовы, Энгельс Иванович, поедемте вместе, они все ждут у Дресвянина.

Чербунин надел ватник, тоже новый, как брюки, натянул поверх ватника широкий кожаный реглан, на голову — шапку-ушанку, взял на плечо рыболовный ящик, спросил жену: «Саня, ты все положила?» — и, не дожидаясь ее ответа, вышел вслед за Северцевым.

Дресвянин, и Петунин, и майор Тихонов в полном обмундировании ждали их на дворе, не выходя из ограды, чтобы не показываться на глаза прохожим. Северцев ввел машину в ограду, Чербунин остался сидеть с водителем, трое уселись сзади, и машина спятилась на улицу.

— Тесновато, братцы! — сказал нарсудья.

— Ничего, не привыкать,— сказал Дресвянин,— надо только снять ватники, а то мы очень уж толсты все. А почему вы без ящика? — спросил он Петунина.

За Петунина ответил майор Тихонов:

— Хватит там ящиков. В прошлый раз мы пять штук карамельных притащили на лед из магазина, сидеть на них можно.

— Удочки? — спросил Чербунин, перегнувшись с переднего сиденья и взглянув на Тихонова.

— Самые модные, и мормышки собственного производства, сами в рот лезут, даже черви не потребуются.

— Без червей скучно будет,— заметил Чербунин.— Между прочим, я тоже обзавелся парочкой, инвалид один преподнес,— сам, говорит, уже отрыбачил.

— Рыбалка — самое инвалидное дело, спорт пенсионеров, а он отрыбачил.

— Всякое случается.

Поехали в низовье реки, километров за тридцать от города, к мельнице, у которой уже сидели не раз. Дорога на первый взгляд казалась совершенно непроезжей для машин, в полях она после метели поднялась над снежным массивом и тянулась длинным бугром, в лесах, наоборот, походила на лоток шаропоезда. В лесу еще заметна была старая колея грузовиков, в полях — ничего, кроме санного следа, и «газик» пробирался по хребту дороги, как по горному кряжу: малейшая неосторожность — и колеса срывались в глубокий снег. Если бы московские шоферы, всю жизнь гоняющие свои ЗИЛы и «Волги» по асфальту, подметенному и посыпанному песочком даже в зимнее время, и кичащиеся своим стажем, километражем и премиальными надбавками за безаварийную езду, хоть раз проехали по зимнему, или осеннему, или весеннему так называемому проселочному тракту от сельсовета до сельсовета, они бы узнали почем фунт лиха и не относились бы с высокомерием к замызганному виду районных своих собратьев и к их помятым, побитым, всегда не мытым, грохочущим, но все-таки безотказным «газикам».

Районный шофер ничего не знает о механиках, о станциях технического обслуживания автомашин, о мойщиках и смазчиках. Он сам ремонтирует свою машину, сам достает — и налево и направо, когда как придется,— запасные части к ней либо сам их вытачивает, выпиливает, выклепывает. Он часами лежит под брюхом автомобиля в снегу, либо в грязи, во дворе райкома, либо в поле — где беда застигнет,— и когда вылезает, продрогший, мокрый, на свет божий, то секретарь райкома или председатель райисполкома, а случается, и сам начальник районной милиции уговаривают его выпить сто граммов согревающего, чтобы не простудился, не заболел.

— Золотая машина! — с восхищением сказал Северцев Степан Сергеевич о новом ГАЗ-69, когда они выбрались за

город, и включил дополнительно передний мост.— Сколько-то она, милая, прослужит здесь?

— Да, и дорожки золотые! — отозвался на это Чербунин.— Если бы посчитать, сколько новых машин, горючего, рабочего времени, сил угроблено, скажем, на одном только тракте от нас до железнодорожной станции! Всю дорогу за счет одного этого можно бы давно асфальтом залить. И главное — толк был бы, хлеб наш не пропадал бы, экономика бы многих районов не страдала.

После метелей не только дорога в полях вылезла на поверхность, взбугрились и выпучились лыжные колеи и даже следы лисиц и волков. Рыхлый снег выветрило, выдуло, а уплотнения остались. Лунки лисьей цепочки превратились в бугорочки, и эти маленькие, уходящие в перспективу снежные столбики, поднявшиеся над белой целиной, издали напоминали ровные мраморные колонны в пустыне, на месте раскопок — остатки какого-то древнего сказочного города. Снежная целина на одуванах так же уплотнилась и покрылась мраморными разводами, только не гладкими, а рельефными. Стоило выглянуть низко идущему над горизонтом солнцу, и рельефность белоснежного поля всем напоминала, конечно же, волны моря.

Ехали медленно, все время на двух дифферах, и все-таки иногда срывались в снег. Тогда Северцев включал понижение скоростей — демультипликатор, и автомобиль с возросшей мощностью, рывками то вперед, то назад таранил снежные пласты, разгребал их буферами и медленно, с воем снова выбирался на твердую узкую хребтину пути.

Несколько раз приходилось всем вылезать из машины и толкать ее и раскачивать то вперед, то назад, как приказывал Северцев. Часто в дело шла лопата — без нее не выезжает из гаража ни один шофер.

Было весело всем, беспокоило лишь приближение сумерек: вдруг не удастся сегодня лески обмочить! Но до мельницы доехали раньше сумерек и еще успели, как говорят рыбаки, обловиться.

— Я воду сливать не буду, Энгельс Иванович, может быть, на ночевку в деревню поедем,— сказал Северцев, остановив машину над самым обрывом реки.

— Ничего не знаю, делайте как хотите! — бросил Чербунин, вытаскивая свой ящик и торопясь первым спуститься на лед.

Мельница была черная, старая, еще доколхозной постройки, и очень большая, под стать любой широкой реке.

Чуть перекошенная от времени, но толстостенная, она закрывала собою и ветхую деревянную плотину, и пруд, и кустарник на другом берегу. Все рядом с ее массивным черным срубом казалось маленьким, игрушечным. Так иногда в деревенской небогатой избе стоит громоздкая русская печь, занимая не один, не два угла, а всю избу целиком от пола до потолка: куда ни повернешься — везде печь. Шума не было: мельница не работала — печь не топилась.

Первым опустил удочку в лунку майор Тихонов. Пониже мельницы и сбоку от нее, под самой плотиной, валялось несколько дощатых ящиков из-под конфет и отчетливо были видны старые лунки; около них снег расчищен, притоптан и пестрела разная рыбная мелочишка, главным образом вершковые ершики, брошенные рыбаками и наполовину вмерзшие в лед. Пока товарищи переговаривались, да шутили, да прикидывали, где кому лучше устроиться, Тихонов продолбил своей пешней три лунки, промерил глубину, накидал во все три пшенной каши для приманки и начал лов. Меховые рукавицы на шнурке он повесил на шею, за голенище левого валенка засунул тряпицу, чтобы вытирать об нее слизь с рук, особенно после ершей, деревянную коробку с червями положил за пазуху, только бы не застывали. Настоящего рыбака было видно сразу. Тихонов же поймал и первого окунька.

— Обловился! Уже обловился! — завистливо заговорили товарищи, переставая шутить и усиленно работая пешнями.

А когда Тихонов вытянул и второго и третьего окуня, разговоры вовсе прекратились. Слышно было только, как Чербунин сопит, распутывая узловатые лески подаренных ему инвалидом удочек, да на берегу шофер Северцев все еще возится около своей машины.

Дресвянин поймал серебристую сорожку, и на белом снегу, словно пятна крови, обозначились ее красные глаза и красные перышки. Петунин покосился на Дресвянина, поднял воротник, распустил уши у шапки, завязал шнурки под подбородком и еще больше согнулся на своем ящике из-под карамели. Скоро обловился и он.

На лед спустился Северцев. Увидев, что у майора Тихонова рыбы больше, чем у всех остальных, он начал долбить лед вблизи Тихонова.

— Удочку дадите, товарищ майор?

— Пожалуйста, хоть две, хоть три.

— С одной бы управиться!

Из-за стука прекратился клев и у Тихонова, но нена-

долго. Стайка окуней подошла к нему снова, и он стал таскать по два сразу на два крючка.

— Колдун вы, что ли? — шутливо возмутился Северцев.— С поплавком ловите или без поплавка?

— С поплавком.

— И я с поплавком, а не клюет.

— Не нервничайте.

— Рыба же не знает, нервничаю я или нет. Какие у вас мормышки?

Тихонов выбрал леску, показал мормышку.

— Странно,— удивился Северцев,— и у меня такие же.

— Хотите поменяться лунками?

— Неудобно, но давайте, на счастье.

Поменялись лунками, и опять: Тихонов таскает окунька за окуньком, Северцев — ничего.

— Что за дьявольщина!

— Надо руки вымыть,— посоветовал майор,— они у вас, наверно, бензином пропахли.

Северцев оставил удочки, сходил к машине за мылом, вымыл руки, сменил наживку и тоже стал таскать окуньков.

Тогда обиделся Чербунин:

— А со мной что происходит? У меня руки чистые.

— Это уже предмет для шуток,— засмеялся Тихонов.— Чистые ли?

— Ну, ну, полегче!

— Тогда подумайте сами, в чем дело. Покажите-ка ваших червей!

Чербунин достал спичечную коробку с червями, открыл ее. Майор взглянул и посоветовал:

— Попробуйте наживить вот этого, который покраснее других. Рыба любит красную наживку. Жаль, что у нас мотыля нет. И держите наживку у самого дна да подергивайте ее время от времени.

— А прошлый раз вы говорили — на полметра от дна.

— Прошлый раз так, сегодня по-другому, я уже пробовал. Бывают случаи, когда рыба поднимается к самому льду,— пробовать надо.

Чербунин пробовал и так и эдак, поймал одного ерша. Поймал ерша и Тихонов.

— Кажется — все, комендант появился! — сказал он и со злобой кинул слизистый, колючий вершок в сторону.— Проболтал я с вами...

Сумерки сгущались медленно, но неуклонно. Снеговые берега реки густо синели, лед, обнаженный кое-где ветрами,

почернел, и сквозь него вода уже не проглядывалась.

Из упрямства проторчали с удочками еще с полчаса, но безрезультатно, ловились одни мелкие ершики, и Тихонов подал команду:

— Кончаем! Судя по закату, погодка завтра будет рыбная. Пошли уху варить.

— Чертова ушица из трех хвостов! — проворчал Чербунин.— Хлебай уху, а рыба вверху.

А Дресвянин и Петунин были довольны своим уловом: у них в карамельном ящике лежало несколько краснoперых сорожек и тонких серо-серебристых ельцов.

— И серебро, и золото, и кости будут. А в костях — вся сила! — ликовал Петр Петрович.

Решили в деревню не ездить, чтобы не терять понапрасну времени. Северцев завел машину и сгонял за ключом от мельничной сторожки. Из деревни вместе с ним приехал колхозный мельник — молодой белобрысый парень с пустыми, бесцветными глазами. Он приготовился ночевать с рыбаками, когда узнал от Северцева, что они — начальники, потому оделся в свою обычную мучную одежду: ватная куртка, брюки, кепка — все белое, все в муке.

— Зачем его взяли? — недовольно шепнул Северцеву Петр Петрович.

— Да ведь как? Он ответственный. И на выпивку надеется.

Парень, назвавшийся Митрофаном, открыл узкую, низкую дверь, заскрипевшую тяжело и ржаво, зажег в комнате-чулане висячую лампу, затопил печку. Белесые бревенчатые стены, дощатые козлы в углу вместо стола, два сосновых чурбака вместо табуреток, плакат на стене о выращивании льна-долгунца, пол, казавшийся земляным, настолько он был грязен,— всё под толстым слоем мучной пыли, все белесое.

— Давно здесь не бывал, что ли? — спросил парня Дресвянин.

— Почти каждую ночь здесь провожу. И завтра с утра молоть буду — заказ от сельпо.

— Ну, ладно, а спать где будем?

— Сейчас все сделаю, аккуратненько, в лучшем виде. Чугунок потребуется?

— Потребуется. Уху будем варить.

— Все сделаю в лучшем виде! — повторил Митрофан.

Он старался. Поставил в печку чугунок с водой, где-то

нашел картошки, луку, сам почистил рыбу, вымыл ее, опустил в чугунок.

— Ершиков я — нечищеными.

— Правильно! — одобрил Дресвянин.

— А лаврового не захватили?

Стали рыться в ящиках, в свертках. Чербунин нашел у себя и лавровый лист, и соль, и лук, и сырую картошку. У Тихонова оказалось еще больше всего.

— Бери, командуй! — подал он парню свертки.

— Рыбки у вас маловато, может, пошлем шофера в деревню? Мигом! — с надеждой взглянул на него Митрофан.

— Не надо, картошки наварим.

— Тоже дело!

Когда уха поспела, Митрофан кинул в чугунок несколько горячих угольков и спросил:

— Не подлить ли чего-нибудь для аромата?

— Чего? — не понял Чербунин.

— Очень это помогает. В лучшем виде получается, с затравочкой.

— Не понимаю!

— Надо, надо! — сказал Тихонов.— Митрофан дело знает. Сейчас все будет!

Он достал бутылку водки, наполнил пластмассовый стаканчик и передал Митрофану. Бесцветные глаза у мельника заискрились, он бережно принял стаканчик из рук в руки, понюхал его и с сожалением опрокинул в чугунок.

Ложки были у каждого своя. На столик постлали газету, нарезали хлеба. Съели уху, наварили картошки. Съели картошку. Съели весь лук. Съели весь хлеб. Выпили три бутылки. А разговора так и не получилось — помешал Митрофан. В ходу были одни дресвянинские хохмочки. Зато сам мельник в конце концов разговорился.

— Как тут у вас живется? — спросил его Дресвянин, которому уже надоело смешить людей.

— Ничего, живем. Сопротивляемся! — ответил парень. Это заинтересовало.

— Чему? Водке?

— Нет, водка идет в лучшем виде,— планам.

— Каким планам?

— Вашим.

— Ну давай, давай, раскачивайся.

— Я уже раскачался. Долго вы будете мешать людям работать?

— То есть как?

— Мы планируем одно, вы даете другое. Как в скороговорке: сшил колпак не по-колпаковски, надо колпак переколпаковать.

— Ты смотри,— удивился Чербунин,— на него водка не действует.

— Почему не действует? — не понял его Митрофан.

— Язык не заплетается. Мне бы, наверно, не выговорить про колпак.— Чербунин попробовал повторить фразу и сбился.

Попробовали повторить скороговорку и Дресвянин, и Тихонов и тоже запутались. Засмеялись все, кроме Митрофана. Мельник даже не улыбнулся.

— Мы тоже запутались с этими планами,— сказал он.— Ну, нельзя самим шагу ступить! Неужели уж крестьяне никогда не выращивали ни хлеба, ни льна, ни картошки? Что ни год, что ни месяц — то новые указания сверху. А ведь на каждый чих не наздравствуешься. Обижаются люди!

— Слушай, Митрофан, мы все это знаем,— остановил его Чербунин.

А майор Тихонов решил растолковать мельнику, в чем он заблуждается.

— Революция, дорогой мой, затрагивает все сферы жизни. Она не завершена. Ею нужно руководить. Колхозы — дело новое...

— Чего новое? — удивился парень.— Я родился в колхозе, я вырос в колхозе. Это у вас новое — ракеты, атомные бомбы.

— Ракеты — правильно, это революция. Но солдат мы сначала обучаем строевому шагу, поворотам направо и налево.

— Это вы обучаете. А картошку сажать мы с детства научены сами, и рожь сеять, и горох. И знаем, почему они расти перестали. И почему луга кустарником заросли. И почему лес на поля наступает. Вот они какие поля наши стали, а в планах да в сводках всё числятся в старых границах.

— Если вы все знаете, так что же вы? — возмутился майор Тихонов, считая, что одним этим вопросом прекращает спор.

Но мельник не собирался прекращать спора.

— А навоз? А скот? — сказал он.

Тогда вмешался Дресвянин:

— Поля́ стали малогабаритные, это верно. Вот я вам расскажу, как хозяйка обставляла новую малогабаритную квартиру. Пришла она в магазин, просит ночной горшок для де-

тей. «Вам для малогабаритной или для нормальной?» — спрашивают ее. «А разве есть разница?» — «Для нормальной квартиры и горшок нормальный, а для малогабаритной у нас горшки специальные — ручка внутрь!»

Опять засмеялись все, кроме парня. Митрофан выждал и сказал:

— Я вам тоже могу рассказать, только из жизни. Построили в нашем колхозе скотный двор. Вы его, наверно, знаете, он и сейчас — ничего. Пустили во двор коров. Навоз сначала сгребали в сторону — в один угол, в другой угол, потом совсем убирать перестали. Вывозить не на ком, лошадей не хватает, да и хозяина хорошего не было. И навели грязи во дворе, ворота не открываются. Накидают хвойных веток, надолго ли это, да и не сгребешь их. Доярки стали лазить в окна. А навозу все больше, коровы уже рогами потолок задевают. Тогда кое-как вывели коров со двора и пустили вместо них телят, они ростом пониже. А навозу все прибывает. После телят пустили овец да свиней, а потом уже кур, потому что и свиньи под потолком не умещались. Весело? А поля стоят без навоза.

Действительно, всем стало весело, смеялись с удовольствием, и майор Тихонов смеялся.

— Вот тебе и Митрофан! — сказал ему Чербунин, кивнув на парня.— А мы думаем, он только мучку мелет да водку пьет.

— Так что же вы-то? — снова стал допрашивать майор Митрофана.— Вы-то куда смотрите?

— Что же мы? А мы только и делаем, что поворачиваемся направо да налево, как в строю, шагистику осваиваем. Работать некогда. Поля сиротеют без навоза. Теперь и у колхозников во дворах навозу накопилось — деть некуда. Свои участки перенавожены до смерти, жир один. Возьмите все, пожалуйста, кроме благодарности ничего не будет. Сами бы рады вывезти куда-нибудь, да не на руках же его в поле носить.

— Вот тебе и Митрофан!

Перед сном мельник натаскал в сторожку сена, на котором, видимо, уже спали не раз, и рыбаки улеглись прямо на полу. Было тепло и душно. Приглушенно шумела вода под полом, возились и пищали крысы по углам. Судья Петунин то и дело вскрикивал, он боялся крыс. Однажды ему показалось, что крыса пробежала по его ногам. Петунин вскочил, надел валенки и больше не ложился. Поднялся и Дресвянин. Вдвоем они вышли на улицу.

Шум потоков с плотины ночью был слышен сильнее, чем днем, и казалось, доносился с неба, где плыли облака, словно льдины в половодье, а луна и звезды представлялись отраженными в холодной вешней воде. Черные тени кустарников с высокого берега перекинулись через всю реку. Черный кубический «газик» издали походил на маленькую мельницу.

— Когда вы будете судить плотника Лямзина за кражу ковровой дорожки из Дома пионеров? — тихо спросил Дресвянин Петунина.

Петунин насторожился:

— А что?

— Можно ограничиться принудиловкой?

— Не понимаю, почему это вас интересует?

— Можно или нельзя?

— А что?

— Я спрашиваю: можно или нельзя?

— Разобраться надо. У него уже была судимость.

— Ты обещал что-нибудь?

Петунин встревожился еще больше.

— Что я могу обещать заранее, кому?

— Обещал или не обещал?

— Я думаю, что годом можно ограничиться.

— А условно нельзя?

Петунин снял наброшенный на плечи ватник и надел его как следует, просунув руки в рукава.

— Понимаю! — сказал он.

— Чего ты понимаешь?

— Это Лямзина что-нибудь натрепала?

— Ничего Лямзина не натрепала. Самому трепаться не надо, здесь каждый шаг на виду.

— У меня руки чисты, мне бояться нечего.

Дресвянин заглянул в лицо Петунину — при свете луны оно показалось очень бледным — и спросил, неторопливо отдирая слово от слова:

— Ты о чем говоришь, понимаешь?

— А вы от меня чего хотите? На что намекаете?

— Ясно! — сказал Дресвянин и, отвернувшись от судьи, стал внимательно рассматривать звездное темно-синее небо.

Задолго до рассвета все рыбаки вышли на лед. На небе уже не было ни луны, ни звезд, ни вешней воды, ни плывущих льдин. В темноте не сразу обнаруживали вчерашние лунки, пробивали новые. Пешнями долбили охотно, чтобы размяться и согреться. Майор Тихонов ходил от лунки к

лунке, опускал то мормышки с наживкой, то блесны, пробовал ловить на разных глубинах — ничего не получалось.

— Рано еще, не надо нервничать,— успокаивал он и себя и других.— Рыба тоже поспать любит. Поторопились мы.

Оставив удочки в лунках, Тихонов сходил куда-то вниз по реке, за поворот, и вскоре вернулся с двумя желтопузыми налимами, не снятыми еще с крючков. Все бросились к нему.

— В чем дело? Откуда?

— Из воды! — довольный удачей, хитро посмеивался майор.— Я же вчера на ершиков поставил.

— Колдун, а не рыбак,— с восхищением и завистью говорил Чербунин.— Не днем, так ночью в мутной воде ловит.

— Стратегия и тактика, а не мутная вода причиной,— отбивался майор.

Он же первый опять начал ловить и на удочки. Поймав двух окуньков и плотичку, он сам объявил:

— Пробуйте на мормышку без поплавка, со сторожком. И дразнить — у самого дна.

1962 г.

РАССКАЗ О СОЛДАТЕ

ного раз за время службы в армии вспоминал Древянин свою прежнюю жизнь и с особенной отчетливостью дни, когда он был призван в армию и как его провожали, что при этом говорили и что думал он сам. Тогда из четверых призывавшихся в армию односельчан признали годным только Петра Дресвянина. Рыхлого, медлительного Вадима Кожаевского и длинноногого Генку Попова забраковала медицинская комиссия, а Мишка Пивоваров был освобожден по семейным обстоятельствам. Из военкомата ребята вышли вместе. Дресвянин ликовал молча, молчали Вадим и Генка — решение врачебной комиссии они приняли как незаслуженное для себя оскорбление. Один Пивоваров сказал только: «Надо ж было мне, дураку, жениться раньше времени!» — и тоже замолчал.

Шел дождь, осенний, мелкий. Бревенчатые стены длинного здания райвоенкомата, темные от времени, вымокли снизу доверху и казались совершенно черными, словно их только что просмолили. По стеклам широких окон текли крупные капли дождя, тоже казавшиеся с улицы черными, как смола. Железные бочки, стоявшие по углам дома и с обеих сторон крыльца, наполнились с крыши до краев. Доски полусгнившего тротуара плавали в воде: ступишь, и грязные фонтанчики обрызгают тебя с ног до головы. Ребята в сапогах шли не по тротуару, а рядом — не шли, а брели по лужам, по грязи.

На спортивной площадке, рядом с турником, лестницей, шестами и кольцами, стояли колхозные подводы со всего района. Коновязью служил брус для упражнений призывников в равновесии. Кони жевали мокрое сено, брошенное им под ноги. Ребята с трудом распознали своих лошадей: гнедой меринок и каряя кобылка под дождем казались одинаково вороными.

Постояли, закурили. Длинноногий Генка Попов взял тяжелую охапку сена из тарантаса и подкинул лошадям — той и другой поровну. Петр Дресвянин спросил:

— Поедем сразу или как?

— Можно и ехать,— сказал Пивоваров.

Вадим Кожаевский помедлил и, взглянув на Дресвянина, огрызнулся:

— Нет, ты ставь всем, а потом уж... Тебе повезло.

Дресвянин обрадовался:

— И поставлю! Деньги у меня есть. С меня полагается, это верно. Пошли в ресторан!

Петр Дресвянин — тогда щупленький, невысокий, казавшийся моложе своих сверстников — изо всех сил старался скрыть свою радость, чтобы не обидеть товарищей, и не мог: глаза его поблескивали, рыжеватое безбровое лицо светилось. Он один из всех не застегнул пальто, несмотря на дождь, борта пиджака его и яркий зеленый галстук потемнели от влаги.

Столовая райпотребсоюза для важности называлась рестораном. По крутой скрипучей лестнице парни поднялись на второй этаж. У буфета толпилась шумная очередь за пивом. Справа от буфета, в углу — раздевалка, но никто в нее не заглядывал, садились за столы, в чем приходили,— в ватниках, в брезентовых плащах. Ребята были не в ватниках — в пальто, но, заняв очередь в буфет, все же разделись — тоже для важности: надо же было показать свои праздничные пиджаки и сатиновые рубашки с галстуками.

Петр Дресвянин взял по две кружки пива на каждого. Уселись за стол поближе к окну.

— Это все? — спросил Кожаевский, опять взглянув на Дресвянина.

Петр решительно поднялся и, не одеваясь, сбегал вниз, в сельпо, принес в кармане брюк бутылку водки. Отпив из кружек, ребята воровато разлили водку в пиво и заказали обед. Чин чином, пообедали и выпили. А когда выпили — разговорились.

— Надо ж было мне, дураку, жениться раньше времени! — повторил Михаил Пивоваров.— Если бы не это, меня бы тоже взяли. Здоровье есть, все есть...

— А ты думаешь, у меня здоровья нет? — обиделся Генка Попов, с трудом разместив свои длинные ноги под столиком.— А Вадька не здоров? Ты сам виноват, ладно, а за что нам по морде дали?

Вадим Кожаевский поддержал его:

— Работать в колхозе мы здоровые, а в армию идти — так больные. Я этих докторов давно знаю.

— Там один все мутит, главный! — подтвердил Генка.

Дресвянин начал оправдываться:

— Я-то виноват, что ли, ребята? Ну, выбрали меня, так я же вот, поставил вам. У них теперь тоже норма, больше нормы набирать нельзя, ну и копаются. А придет время — все нормы кобыле под хвост полетят.

— Придет время — другой разговор. Ты, Петька, сейчас в выигрыше. Отслужишь свое, паспорт получишь и — хоть на производство устраивайся, хоть на службу какую.

— А я, может, домой вернусь? — сказал Дресвянин и лукаво засмеялся.

— Ладно, не дуроломь, знаем. Мишка, может, и вернулся бы, у него ребятенок и баба на сносях, а ты чего тут забыл?

Пивоваров тяжело вздохнул, подумал и согласился:

— Пожалуй, верно, что меня не взяли, все равно вернулся бы к своей, за подол держаться.

Очередь за пивом не уменьшалась, в столовой нарастал шум, разговаривать было трудно. Кожаевский допил пиво и снова уставился на Дресвянина:

— Ставь еще, тебе повезло!

— Ставь, ставь! — охотно поддержали его Попов и Пивоваров.

— Тяжело, ребята, одному, давайте в складчину.

Наскребли мелочи. Дресвянин сходил за второй бутылкой. Официантка увидела водку, указала на объявление на стене:

— Читать-то умеете? — спросила она.

— Молчи, мы тебе бутылку оставим. С призыва мы.

— А! Тогда разливайте под столом!

— Видали? — сказал Геннадий.— Знала бы она, что мы забракованные! А Петьке сейчас все можно! Сукин сын, паспорт получит!

* * *

Когда ребята вернулись в деревню, колхозный бригадир пришел к Петру Дресвянину на дом.

— Поздравляю, Петр Васильевич! — сказал он, проходя к столу и впервые называя парня по имени и отчеству.— Повезло тебе, одного взяли.

— Я же не виноват, что одного! — ухмыльнулся довольный Петр.

— Садись, Миколай! — обратилась к бригадиру мать Петра, маленькая старушка в ситцевом голубом сарафанчике.

Бригадир сел за стол, мокрую кепку положил рядом на лавку. Рыжие жесткие волосы его развалились на обе стороны, прикрыли уши. Ему было лет под сорок.

— Разве я говорю — виноват, я говорю — поздравляю! Мы тебе знаешь какие проводы устроим, от всего колхоза, на радостях.

Отец Дресвянина, Василий Никитич, бритый старик, никогда не отпускавший ни бороды, ни усов, отчего казался значительно моложе своих лет и своей жены, вышел из-за кухонной перегородки в красной рубахе без пояса.

— А тебе-то чего радоваться, Николай Дмитриевич? — спросил он бригадира.

— Разве я говорю — мне радость? Я говорю — всему колхозу радость. Могли забрить четырех, забрили одного. Правда, что и мне хлопот и забот меньше будет, когда есть кого на работу наряжать.

— Это так. В таком случае давай, матка, неси! — приказал Василий Никитич жене.

Старушка полезла в печку с ухватом.

— Провожать-то некогда, ничего не успеем сделать, всего три дня на сборы дали,— заговорила она быстро и жалостливо.

— Давай неси, неси!

— Что ж, неси, Пелагея, коли хозяин велит,— сказал бригадир и поглубже уселся за стол, освобождая место для хозяина.

Мать поставила на стол жареную свинину в глиняной миске, свежепросоленные рыжики на тарелке, огурчики, блюдо моченой брусники. Затем достала из подполья пыльную зеленоватую бутылку.

— Знали, что возьмут парня? — спросил бригадир.

— Как не знать! — ответил Василий Никитич.— Из моих еще никого не браковали.— Старик чуть заметно кивнул на стенку, где висели солдатские фотоснимки старших сыновей.— Кабы не война, все бы теперь при мне были.

— Не все же на войне остались. Средний-то у тебя где, все там же?

— Там, в Воркуте, уголь добывает.

— Сбежал все-таки.

— Женился уже, устроился. Этот не вернется.

— А этот вернется? — Николай Дмитриевич посмотрел на Петра, словно от него ждал ответа, а не от старика.

Петр ответил:

— Обо мне говорить рано. А почему ты говоришь —

сбежал? Куда сбежал? За границу, что ли? Он в шахте работает, уголь рубит, похвальную грамоту имеет.

— Уголь и без нас рубят, а кто хлеб растить будет? — спросил бригадир.

— А кто уголь добывать будет? — спросил в свою очередь Петр.

— Значит, не вернешься?

Петр вскинул белесые брови, что-то хотел сказать, но не успел — заговорила мать:

— Я водку принесла, чего вам еще надо? Наливай, батько! Болтаете до поры до времени.

Василий Никитич разлил водку по стаканам, не обделил и Пелагею, но все же спросил:

— Тебе-то наливать, старуха?

— Петруше налей, а я что. Он теперь у нас главный,— сказала мать.

— Петру я налил.

— Вот и ладно. Пейте-ка на здоровье, за благополучие.

— Ладно, выпьем за благополучное возвращение,— сказал бригадир и поднял свой стакан.

Взял стакан и Петр. Выпили, стали жевать мясо, а отец вытер губы красным рукавом рубахи и ответил за сына:

— Ежели голова на плечах есть, сам решит как надо.

— Неужто и девку свою бросит? — съехидничал бригадир.

— Девку можно вытребовать куда захочет,— ответил опять отец.— Только бы ум был.

— Ума в армии дадут.

— Паспорт дали бы...

Петр то хмурился, то улыбался. Про себя он уже твердо решил, что не вернется из армии в колхоз, а будет искать, где жизнь полегче, подоходнее, но старался скрывать это сколько мог — из осторожности.

* * *

Колхоз устроил хорошие проводы Петру. Из центральной усадьбы приехал к отъезду сам председатель, Сергей Петрович Дрыгин, с бухгалтером. В толстом портфеле бухгалтера вместо обычных ведомостей и счетов лежали несколько бутылок в счет каких-то двухпроцентных отчислений и дорогой подарок — электробритва.

— Вот приедешь в часть, там, конечно, электричество — включишь, побреешься и вспомнишь о нас добрым словом.

От водки и от подарка у Петра на душе потеплело, но

решения своего он не изменил. К тому же колхозные бутылки были только началом праздника: по-настоящему раскошелиться пришлось самому Василию Никитичу, отцу, и он долго ворчал потом:

— Не столько привезли, сколько выпили!

Председатель разговор завел издалека, он обращался к матери Петра:

— Ты что же не ревешь, Пелагея, сын в армию уезжает?

— Так не на войну ведь! — отвечала мать.— Это в старопрежнее время ревели до упаду, а теперь — что, только бы войны не было.

— Войны не будет, а сын все равно уезжает. Навсегда ведь? Одни теперь остаетесь.

— Что до поры загадывать. А не вернется, так копейку в дом посылать будет — все хлеб.

Когда Петр уезжал в район, мать все же не выдержала, прослезилась. Но по-настоящему, в голос ревела одна Тонька Поникарова, которую в деревне считали невестой Дресвянина. И это его так поразило, что в армии он чаще всего и с особой отчетливостью вспоминал именно об этом. Тоня ему была по душе, с нею он гулял, плясал кадриль на зимних беседках, сидел рядом на угоре в короткие летние зори, мог разговаривать, если было о чем, а то молчал часами, и она не роптала, провожал ее с угора до дому, но никогда не представлял себе, что она может стать его женой, настолько еще неясным виделось ему собственное будущее. Жизнь только начиналась, все было впереди — и где угодно, только не в своей деревне. А Тоня — она никуда не рвалась, она здешняя, она под боком. То неясное будущее, к которому устремлен был Петр всеми своими помыслами, никак не вязалось с обликом соседки Тоньки Поникаровой, тихой, ласковой, незлобивой, очень уж домашней, своей. И вдруг — Тонька заревела, завыла!.. Да ты что, девонька, с ума сошла?

Колхозная подвода с вещичками призывника ушла вперед, а сам он, Петр Дресвянин, уже солдат, шел пешком с целой свитой девушек и парней через все поле. Гармонист не жалел хромки, нажимал больше на басы, прилежно склоняя голову к мехам, парни и девки пели подходящие к случаю частушки, а Тоня ревела.

Ты чего, подружка, ищешь
В вересковом кустике?
Ягодиночка-то в армии,
В далеком Устюге.

Сразу за полем в мелколесье Петр по давнему обычаю срезал перочинным ножом молодую елочку и бросил ее девушкам на руки. Подружки, не сговариваясь, передали елочку Тоне. Тоня прижала колючую хвою к лицу и завыла, как от боли, еще пуще. Елочку эту девчата принесут в деревню, украсят разноцветными лентами — Тоня обязательно шелковыми,— и повесят под скатом крыши над чердачным окном дресвянинского дома. И должна она висеть под карнизом все три года, пока парень не вернется из армии.

Ветер будет ее раскачивать, косой дождь кропить, снег — припорашивать. Все хвоинки осыплются, ленты постепенно выцветут, а она не перестанет красоваться и напоминать своим и проезжим людям, конному и пешему, что из дома этого ушел молодой паренек в армию и вся семья ждет его не дождется. А сорвется елочка раньше времени,— значит, быть беде.

— Ты ее, Тоня, сама проволокой прикрути, а не веревкой, чтобы не перепрела,— советуют девушки своей подружке и смеются, а она ни улыбнуться, ни слова в ответ вымолвить не может.

Затем Петр залез на молодую березку и затянул в узел одну из ее тонких, гибких ветвей, что повыше от земли: не завянет ветка, значит, вернется солдат из армии живым и здоровым, завянет — опять же быть беде. Смотрит Тоня на этот зеленый березовый узел и ревет, ревет не переставая. А у Петра в душе одно ликование, не трогают его девичьи слезы.

— Чего ты воешь, Тонька? — раздраженно спрашивает он ее.— Ведь не война.

— Да!..— только и смогла сказать Тоня сквозь слезы.

И опять девушки посоветовали ей, смеясь:

— Развяжи узел, пускай растет, тогда и Петьку дождешься.

«Дождешься, как же!» — думает про себя Петр, но тайных мыслей своих никому не высказывает — из суеверной осторожности.

* * *

Много прошло времени с той поры, а Петр вспоминает и удивляется, почему не доходили до его души слезы Тони Поникаровой, как он мог тогда не почувствовать ее боль, не пожалеть ее.

Начапось с простого. На военную службу он попал не

на север, как предполагал, не в Мурманск, не к Ледовитому океану, а под Москву. В сосновом лесу за колючей проволочной оградой в каменных двухэтажных корпусах располагались солдаты и офицеры, которых окрестное население называло то локаторщиками, то ракетчиками. Таинственность, окружавшая эту военную часть, а может, и нечто другое привлекало в теплые вечера на парковые дорожки соснового бора и на бетонное шоссе, подводящее к воротам контрольно-пропускного пункта, девушек из ближних деревень и дачных поселков.

Много месяцев молодой солдат Петр Дресвянин сам не имел понятия, в какой он части служит, велика ли эта часть и каково ее назначение. Военная жизнь его началась с обыкновенных строевых занятий, ежедневных спортивных зарядок, с разборки и чистки простейшего стрелкового оружия. Но раз он жил за проволочной оградой, то ореол таинственности коснулся и его. И когда Дресвянин стал получать увольнительные и появляться вместе с товарищами по подразделению в сосновом бору, девушки не обошли своим вниманием и Дресвянина.

— Фоксик станцуем? — спросила одна, когда поблизости лихорадочно залился баян, и, как давняя знакомая, умело сдвинула набекрень его новенькую пилотку.— Чулок надо носить, чтобы он висел на ухе.

Дресвянин испуганно поправил пилотку, взглянул на ярко-красный шерстяной жакет, полыхавший из-под распахнутого суконного пальто, на мелкие кудряшки, светившиеся вокруг синей шапочки, и еще плотнее прижался к стволу, у которого стоял один.

— Какой чулок?

— Вы что, новенький?

— Новенький.

— Пилотка ваша — вот какой чулок. Фоксик станцуем?

На Дресвянине были крупные кирзовые сапоги, а на длинных тонких ногах девушки узконосые лаковые лодочки на смешных каблучках-сучочках.

— Мы кадриль пляшем.

— Кто это мы?

— Ну мы, дома, у нас на родине.

— А где ваша родина?

Дресвянин начал справляться со своей растерянностью:

— Отсюда не видно.

— Вас как звать?

— Петр! — И, помолчав, добавил: — Васильевич!

— Ах, Петр Васильевич? Очень приятно. Хотите я вас научу танцевать?

— Не робей, Петька! — крикнул проходивший товарищ.

— Я же вам ноги отдавлю,— ответил Дресвянин девушке, не обращая внимания на выкрик товарища.

— Тогда пройдемся.— Она повела его на поляну, где играл баян и кружились пары.

— Какая у вас специальность? — спросила девушка.

— У меня-то?

— У вас-то! — передразнила она.

Но Петр издевки не понял.

— Никакой. Колхозник я, и все тут.

— Не многого вы добились в жизни.

— Добьюсь еще!

— О-го! Это мне нравится.

Петр впервые взглянул на ее лицо: черные бойкие глаза, черные брови, кажется, подбритые сверху, крепкие губы — нет, ненакрашенные. А может, в сумерках не видно?

— А вас как звать? — спросил он.

— Нора! Спектакль видели: «Нора»? Вот и я — Нора.

Дресвянин никакого такого спектакля не видал и имя Нора слышал впервые.

— А если написать — как это будет?

— Что значит «написать»?

— Ну вот, Тоня значит — Антонина.

— А Нора значит — Нора. Так Нора и будет.— Потом она задумалась и, словно что-то вспомнив, добавила: — Нет, Нора значит — Элеонора. Вот мы и познакомились. Вы давно служите?

— Я-то?

— Вы-то? Мы-ста да вы-ста.

— Недавно.

— А я москвичка коренная, только живем здесь, у нас тут свой дом и участок. А прописка московская. Вы понимаете хоть, что это такое?

— Прописка-то? У меня паспорта не бывало.

— Как не бывало?

— Ну, мы в деревне живем, в колхозе.

— Вячкие? — опять с издевкой спросила Нора.

Петр промолчал. Они вышли на поляну, на которой солдаты не раз играли в городки и в волейбол. На скамейке под широкой сосновой кроной сидел какой-то паренек с баяном, играл. К плечу его прижималась полнотелая девушка в берете. Среди танцующих пар мелькали шляпки и платоч-

ки, зеленые пилотки и серые шляпы. Землю старательно обрабатывали кирзовые сапоги, ботинки и туфельки разнообразных фасонов. Вдали сквозь хвою засветились, как ранние звезды, огни железнодорожной платформы, то и дело с мягким шумом проносились пригородные электропоезда с освещенными окнами вагонов. Нора взяла Петра под руку, провела его вокруг площадки, повернула обратно, к бетонному шоссе, и, высмотрев свободную скамейку, предложила:

— Сядем.

Петр чувствовал себя неловко от того, что Нора держала его под руку, боялся к тому же, что так ходить солдатам не положено, и с удовольствием опустился на скамью.

— Ну, говорите о чем-нибудь.

— О чем?

— Это уж ваше дело. Кавалер должен уметь разговаривать.

Петр промолчал. Тоня никогда не требовала, чтобы он разговаривал, если говорить было не о чем и не хотелось. Может быть, ее нужно обнять?

— Что это такое — кадриль? — спросила Нора.

— Пляска такая.

— Ну?

— Пляшут под гармошку девки и ребята.

— Ну?..

Осенняя темнота надвигалась быстро. Сильней запахло моховой прелью, сосновой хвоей. Заметно похолодало. Птицы перестали петь. «О чем надо разговаривать с нею? — снова с тревогой подумал Петр о своей девушке.— Ежели бы обнять, можно бы и не разговаривать?» Но обнять Нору, так вот сразу, Петр не решался, очень уж она была не похожа на тех девчат, с которыми он общался раньше, в своей деревне. Задористая какая-то, требовательная. И все на ней дорогое — и жакет, и пальто, и шляпка... А эти каблучки-сучочки! Как только ноги не подвертываются на таких? По асфальту, наверно, ходить еще можно. А как в лесу земля ее поднимает?

— Что же вы молчите? — нервничает Элеонора.

— Я-то? А о чем разговаривать?

— И верно, не о чем нам разговаривать. Вот был у меня один знакомый... Только демобилизовался, уехал... А с вами неинтересно! — Девушка вскакивает и убегает.

Дресвянину тоже стало все неинтересно. Чтобы избавиться от чувства одиночества, он вернулся к себе, лег на

койку и стал думать о Тоньке Поникаровой. Раньше он никогда о ней так хорошо не думал. Вспомнилась ее застенчивая улыбка, тихий, мягкий голос — она даже частушки пела мягко, не резко, как другие, без крика, и только на проводах вдруг заголосила пронзительно, по-детски, никого не стесняясь, ни на кого не оглядываясь.

Вспомнилось, как робко касалась Тоня его руки либо плеча, если хотела что-нибудь сказать, как стыдливо прятала свои грубые обветренные руки под фартук, под кофточку, когда сидела рядом с ним на беседках в ярко освещенной избе. Петр ростом не удался, Тоня была на голову выше его и, пожалуй, даже сильнее, что считалось особенно обидным для парня, но Тоня так вела себя, что Петр ни разу не замечал этого ее превосходства.

Обычно парни покупали для девушек конфеты, мятные пряники, подсолнухи. Петр никогда ничего не покупал для своей Тони, а она не обижалась и ничего не требовала. Однажды в городе он нашел на тротуаре металлическую брошку и, вернувшись в деревню, отдал ее Тоне при первой же встрече — больше некому было отдавать, сестры у него не было. Сейчас Петр вспомнил, как покраснела она от радости, как заулыбалась, приколов первый его подарок на кофточку, и как горько беззвучно заплакала потом, когда узнала, что брошку эту он нашел, а не купил. Но ничего не сказала ему в упрек, только брошку — носить не стала.

Вспомнил Петр и то, как прижала она к лицу колючую вершинку срезанной им памятной елочки и рыдала, рыдала, а у него в душе ничего тогда не шевельнулось. И впервые стало ему стыдно за себя и стало жалко всего, что ушло в прошлое, и совершенно пропало ощущение, что у него «все еще впереди». И что оно такое это — «впереди» и будет ли оно?..

Затосковал Петр.

В комнате десять коек, аккуратно застланных серыми солдатскими одеялами, над тумбочками кое у кого висят домашние фотографии родных либо знакомых девушек. Дресвянин не привез с собой ни одной фотографии. На белой казенной салфетке лежала заветная, подаренная ему колхозом электрическая бритва, да школьная тетрадка, да несколько брошюрок, взятых у замполита по его выбору.

Вечером пришли с прогулки товарищи — все вместе, как по команде, значит, и гуляли вместе.

— Ты что сбежал, Петро?

— Да так!

— Так — засохнешь. Ты, брат, не теряйся.
— Я не теряюсь.
— Ну, смотри!

* * *

Командование решило направить Дресвянина на курсы шоферов.

— Хотите получить специальность? — спросил его замполит.

— Хочу, товарищ капитан!

— Трактористом вы не работали?

— Нет.

— Может, вас шофером сделать?

— Шофером хорошо, товарищ капитан, везде пригодится.

— Везде? — Замполит внимательно посмотрел на него.— Это правильно, что везде. И дома тоже...

С двигателями внутреннего сгорания знакомились сначала по чертежам и схемам, затем в мастерской изучали детали мотора ЗИЛ — разбирали и собирали его по частям, зазубривали правила уличного движения, запоминали значения дорожных знаков. Строевые занятия отошли на второй план. Дресвянин учился на курсах с увлечением и старанием. Мечта его сбывалась: шоферские права откроют после армии все пути, лучшего и желать нечего. Зима проходила незаметно, его никуда не тянуло, тосковать было некогда да и не о ком. Об отце и матери Петр тосковать не умел, не привык.

Нашелся и приятель. Сосед по койке, Володька Петухов, оказался бульдозеристом, этого было достаточно, чтобы Дресвянин почувствовал к нему интерес. Бульдозерист — это хорошие дороги. Он тоже бог войны. Он прокладывает и расчищает пути для техники, для людей, так думал Петр Дресвянин.

— Понимаешь, я словно и не в армии,— сказал как-то ему Дресвянин.— Словно меня взяли да и командировали на курсы в своем районе.

— Жалуешься?

— Я-то? Нет, просто не ожидал, что так все будет, хотя слыхал и раньше, что в армии всех чему-нибудь учат. У нас ребята, которых не призвали, очень обижались.

— Вот шофером станешь и не так заживешь.

— А что?

— Поездишь на грузовике, потом устроишься на легковушку и будешь офицерских жен по магазинам таскать. Сейчас не война, можно жить тихо. Ты думаешь, чем я занимаюсь?

— Ты-то?

— Ну да. У меня не бульдозер, а танк. К старому Т-34 присобачили спереди гребок, и я всю зиму расчищаю по утрам снег к офицерским подъездам. Выйдет дамочка на гвоздиках, и, если дорога не гладкая да не твердая,— беда. Но у меня всегда и твердо, и гладко, и чисто. А в общем-то хорошо, что будешь трактористом. Это, Петро, везде хлеб.

— Шофером! — поправил его Дресвянин.

— Шофером будешь и трактористом будешь — когда что потребуется. Вот вернешься домой...— вдруг мечтательно заговорил он,— и начнется новая жизнь для тебя. Спать, может, придется меньше, зато уж и трудодни тебе, и калым полной мерой, и шкалики будут перепадать.

Дресвянин подумал, не рассказать ли ему о своих намерениях, и не решился. Сказал только:

— У нас трудоднями много не заработаешь: палки ставят, и всё тут.

Петухов успокоил его:

— У нас раньше тоже было ни к черту, а ныне пошло дело. И у вас пойдет.

— Когда?

— Когда-нибудь пойдет. А иначе как же! Только тебе-то теперь все равно: шоферу да трактористу подай в первую очередь, это, брат Петро, везде одинаково. Для других есть что, нет — ладно, они потерпят, а ежели технику в поле не вывести, тут всем карачун. Ты только слюни не распускай, требуй.

— Ну, мне еще рано об этом думать.

* * *

Весной Дресвянин испытал волнение, какого никогда раньше не знал.

Во все стороны от соснового бора, в глубине которого располагалось воинское хозяйство, простирались колхозные поля и приусадебные участки дачных поселков. Однажды после очередной утренней пробежки Петр вдруг ощутил запах земли — и не просто талой земли, а хлебной, той, которую он привык обрабатывать с детства.

Солнце пригревало уже давно. Снег отступил сначала

от сосновых стволов, вокруг них образовались темно-зеленые круги, затем появились мшистые полянки вблизи дорог, обнажились южные склоны придорожных канав, кочки и бугорки вблизи спортплощадки, служившей одновременно площадкой для танцев. Запела вода под мостиком у ворот комендатуры. Хвойный лес посветлел и зашумел мягко, влажно, по-весеннему. Звон снежных ручейков и влажный шум леса пробудили в душе Петра какую-то неосознанную, неясную восторженность. Но когда сквозь смолистые запахи донеслось до него дыхание пахотной земли, он понял, чего ему не хватает. В одно из воскресений он получил увольнительную на целый день и пошел бродить один: без цели, без дорог, куда глаза глядят. А глаза его повели в поля, туда, где из-под снега проглянула зелень озимых, еще покрытых, как паутиной, белесой пленкой плесени, а в прозрачных холодных ручейках светились разноцветные камушки.

Яблоневые дачные сады не затронули души Дресвянина — на его родине росли только черемухи да рябины. А чужие полевые просторы показались ему родными и знакомыми с детства. Особенно когда в чистом небе зазвенели невидимые жаворонки.

Петр запрокинул голову и стал разыскивать висящие в синеве колокольчики. Пилотка его свалилась на землю, сапоги все глубже засасывала жидкая грязь...

* * *

Приближалась очередная демобилизация, и младший сержант Петр Дресвянин чувствовал себя неспокойно. Раньше все помыслы сводились к одному: отслужить три года, выдюжить, вернуться на родину с хорошей характеристикой, получить паспорт — и далее куда твоя душа пожелает, ты вольная птица, лишь бы не оставаться в своем захудалом колхозе.

Можно попасть на производство, скажем, в Череповец или на любой лесопильный завод, в крайнем случае, на лесозаготовки, а если в армии подучиться, то переехать в райцентр, забраться в торговую сеть либо в какую-нибудь контору. Должностей всяких ныне не перечтешь. Притулиться можно везде. Главное, чтоб на руках была хорошая характеристика. Но вот сроки приблизились, осуществление мечты не за горами, характеристику дадут отличную — в этом Дресвянин уже не сомневался, недаром же из рядо-

вых произвели его в сержанты,— будет и паспорт. А на душе у него нет покоя.

Что с ним произошло за эти три года? Оставаться в армии Дресвянин не собирался, увольнения в запас по-прежнему ждал с нетерпением, но о жизненном пути своем размышлял уже совсем не так, как раньше. Да и думал ли он раньше о своем жизненном пути? Что это такое — жизненный путь человека?.. Незыблемыми казались простые истины: «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше», «Бьют — беги, дают — бери!», «Не суйся не в свое дело», «Не лезь, когда тебя не спрашивают»...

В армии Дресвянин окреп, выпрямился, с лица его теперь не сходит загар даже зимой, белые брови, когда-то еле заметные, потемнели, загустились, глаза смотрят пытливо, они тоже научились думать. Заранее решив во что бы то ни стало уйти из деревни, Дресвянин в армии прилежно занимался, с дотошливостью заучивал и исполнял все воинские уставы и наставления, не уклонялся ни от каких общественных поручений, стал даже почитывать книги, как бывало в школе,— все ради хорошей характеристики, все для будущего. По крайней мере, так ему представлялось. Но вот наступило время, когда он понял, что в жизни самое важное не характеристика с подписями и приложением печати, есть что-то и поважнее. А что?.. От политинформаций он перешел к самостоятельному чтению газет, от серменысих занимательных брошюрок Военгиза — к художественной литературе.

В свое время, в деревне, Петр Дресвянин кончил семь классов, как почти все его сверстники. Пока учился, читать было некогда, даже на уроках литературы и русского языка они знакомились лишь с короткими хрестоматийными отрывками из произведений да с биографиями писателей, а не с книгами их, изучали образы, а не литературу, аж бы зачет сдать. Не привыкнув к чтению в школе, Дресвянин по окончании семи классов вовсе забросил книги. Сейчас он впервые прочитал «Подлиповцев», «Поднятую целину», «Без языка», «Людей из захолустья» и удивился: значит, книги не всегда расходятся с жизнью. Подлиповские мужики Пила и Сысойка заставили его в какой-то мере пересмотреть свое недоброе отношение к родному колхозу: жутко стало, когда узнал он, какой была русская деревня в старое время. Смешными и страшными показались похождения Матвея Лозинского в поисках счастливой жизни на стороне от родных мест. И понятие родных мест, родной земли для

него теперь неожиданно расширилось. Это уже не только поля вокруг своей деревни с летовищем-поскотиной, да Чистый бор, да поречье с ивняком и заболотьем. Понемногу Дресвянину стал раскрываться глубочайший и сокровеннейший смысл великого и нового для него слова «Родина».

Так три года военной службы постепенно разбередили душу колхозного паренька, и все, что раньше казалось для него простым и естественным, теперь осложнилось и начало приобретать новый, более широкий смысл. И уж совсем неожиданно: жить ему из-за всего этого стало вроде бы даже труднее. Почему? — в этом он и сам еще не разбирался.

1962 г.

ДВЕ БЕРЛОГИ

I

Мне сообщили друзья из родных вологодских мест, что найдены две медвежьи берлоги. На сборы ушло два дня, ночь — в поезде, сорок минут в самолете Ан-2; дальше можно продвигаться только на «газике» малой скоростью, и наконец, на лыжах.

Первое, о чем я спросил:

— Обложили?

— Кого, чего?

— Медведей?

— Не обкладываем. Здесь это ни к чему.

— Ну хотя бы лыжню вокруг берлог проложить надо было, зарубки на деревьях зарубить, чтобы мету свою оставить, вроде печатью хлопнуть.

— Но берлогам, что ли? Никто их не тронет. Чего-чего, а живых медведей у нас еще не воруют. И сами они никуда не уйдут. Надежное дело!

Всю первую ночь мы не спали: я волновался так, словно шел на охоту впервые и все для меня было внове, а друзья-охотники пили водку — калым за неубитых зверей. Всю ночь от страшных и смешных бывальщинок и побасок то лезли глаза на лоб, то скрючивало от хохота.

Неправда, что северяне угрюмый, неразговорчивый народ!

Ко мне охотники относились благожелательно, но с явным снисхождением: дескать, москвичи, чего они видели, каждому слову верят.

А сидели мы в доме председателя колхоза.

Павел Евгеньевич Сорокин, главный бухгалтер колхоза «Каменный», давно известен в районе как один из бывалых и неутомимых охотников, для которого по этой причине бухгалтерия время от времени становится обременительным отхожим промыслом. На боевом счету Павла Сорокина с десяток убитых медведей и, вероятно, не один десяток неубитых.

К своим рассказам о разных происшествиях на охоте он относится чрезвычайно серьезно и, я бы сказал, творчески:

не помню случая, чтобы он когда-нибудь повторялся, хотя о каждом правдивом своем приключении рассказывает по нескольку раз.

В эту ночь он углубился в психологию: со всеми подробностями расписал, как год тому назад приезжий городской охотник, весьма обеспеченный торговый деятель, рядился, покупая у него найденную берлогу, как нудно и обстоятельно отвоевывал у него, у колхозника, каждую десятку и до того надоел, что Павел Сорокин готов был уже плюнуть на все и отдать медведя задаром. А через два дня после этого мудрый медведь, не поглядев на первоклассное охотничье обмундирование и снаряжение торгового воротилы, при первом же свидании снял с него голову и ушел восвояси. Слова «интуиция», «возмездие» Павел Евгеньевич в рассказе не употреблял, он говорил по-охотничьи: «чутье», «судьба», «бог шельму метит»,— и черные глаза его при этом серьезно и пытливо посматривали на собеседников.

Сорокин не производил впечатления богатыря или отчаянного человека: он худощав, невиден, но жилист и, по-видимому, очень крепок. А о выдержке и смелости его на охоте мне рассказывали многие очевидцы. Павел Евгеньевич никогда не позволял себе избегать поединка с медведем, даже если ружье у него оказывалось заряженным обыкновенной дробью. Почти в упор бил он зверя дробью по глазам и хватался за нож. Отступать мог только медведь.

С Сорокиным вместе я готов пойти еще не на одну берлогу.

Второй мой товарищ, Валентин Степанович Сажин, напротив, казался именно богатырем, а таков ли он на самом деле, сказать и сейчас не могу. Но по одному тому, что он — давний водитель вездесущих райкомовских «газиков», причем мне ни разу не приходилось видеть, чтобы он когда-нибудь выходил из равновесия, а это при здешних дорогах, одинаково жутких зимой и летом, предполагает наличие в человеке истинного стоицизма, по одному этому я готов и впредь полагаться также и на Сажина при любых обстоятельствах. Правда, на первой охоте он немного сплоховал, но это извинительно и об этом потом. Я убежден, что, посади Валентина Степановича хоть сегодня в любой космический корабль, он только спросит: «Горючего хватит?» — и полетит.

Сажин привык, что в райком обращаются разные кор-

респонденты «за фактами», и, рассказывая о случаях на охоте, время от времени осведомляется: «Может быть, вы это используете?» Или: «Может, вам такой фактик подойдет?» «А вот еще один материальчик!..»

По-моему, приврать он не умеет. Он скромен.

— Мне больше приходится тетеревов да глухарей бить,— рассказывает он о себе.— А медведей я не бивал. У меня в «газике» всегда малокалиберка лежит. Едешь поутру, а тетерева на березах, как головешки. Машин они не боятся, подпускают рядом. Подкатишь и, не выключая мотора, приоткроешь дверку и начнешь снимать с нижних веток. Нижний падает — верхних не пугает. А глухари, те в весеннее время на зорьке по дорогам гальку собирают да в лошадином помете ковыряются. Ну тоже так: ветровое стекло подымешь и выцеливаешь поверх капота, как с тачанки. А медведей я не бивал.

— Неужели ни одного, Валентин Степанович?

— Нет, одного-то убил. Так, на ходу, без подготовки, неинтересно. Подвернулся — и убил.

Вслед за этим Валентин Степанович спрашивает:

— А вот такой сюжетик для вас не пригодится? Старый, хитрый медведь целое лето резал скот у самой деревни, и чего только не предпринимали охотники, а справиться с ним не могли. Перехитрил медведя пятнадцатилетний мальчишка. Что делал медведь? Он выжидал, когда какая-нибудь корова отстанет от стада и заночует в лесу, и драл именно ее. Над мальчишкой посмеялись, когда он похвастал, что все равно пристрелит эту хитрую лису, а отец даже пригрозил выпороть его. Что сделал мальчишка? Он отправился в лес во время какого-то праздника, когда отец и мать были в гостях, и с собой взял одностволку да еще колоколец с коровы. В сумерки он выбрал место среди деревьев с хорошим круговым обзором; стоит, дрожит от страха, а сам нет-нет да брякнет в колоколец. Заночевавшие коровы тоже так изредка позванивают, когда муха укусит, много шуметь боятся. И хитрый медведь пришел. Мальчишка перепугался, когда медведь, почуяв человека, взревел и встал на дыбы, но все-таки выстрелил и сам убежал, бросив ружье. А ружьишко-то было старое, запущенное, но все-таки ружье. Мальчишка дома до утра ничего не говорил, а утром сказал, что ружье бросил в лесу. Отец покричал, покричал, но собрал мужиков, и пошли в лес. Нашли ружье и медведя пудов на восемнадцать — пуля пришлась в хорошее место, наповал его срезала. Если хотите, мы при случае съездим к

этому мальчишке, осмотрите все на месте. Кажется, что Павликом зовут.

Хозяйка вторично согрела самовар, подносила закуску — свиной холодец, капусту, рыжики, моченую бруснику. В прошедшую осень был редкий урожай грибов и ягод, боялись даже, не к войне ли.

Знаете ли вы, например, что такое шировега? Шировега — это замешенная с толокном на сладком соку журавлиха. А журавлиха — клюква. А что такое дежень с простоквашей? Конечно, тоже не знаете? Дежень — густо замешенное уже на соленой воде толокно и политое простоквашей. Удивительно вкусная еда, особенно когда за всем этим стоит детство.

Шировегу и дежень в больших белых мисках ставила на стол наша добрая хозяюшка, ставила и суеверно упрекала нас всех:

— Отпетые головушки, кто же неубитого медведя пропивает, потерпели бы хоть немного!

— А вот однажды я сам видел,— начал новый рассказ Павел Сорокин,— медведь залез на столб к электрическим проводам, думал, видно, что там пчелы гудят; током его дернуло, он грохнулся на землю, лежит и лапами от пчел отмахивается. Бить его было очень просто.

— Убил, что ли?

— Убил, только мы с ним долго вокруг столба друг за другом бегали. Это все-таки не в берлоге. В берлоге медведя убить просто, все равно что к теще на блины сходить.

Сорокин бьет не только медведей, он ставит капканы, петли и на некоторых других зверей. Было как-то, в его проволочные витые петли попали корова и две телки. Попали и стоят, не задохлись, потому что колхозные, привыкли к привязному содержанию.

Почти весь вечер молчал третий наш товарищ, сотрудник редакции районной газеты Каплин Вадим Николаевич. Зато он хорошо слушал и не пропускал, не записав, ни одного сюжетика, которые подкидывали Валентин Степанович и Павел Евгеньевич. Каплин готовится к большой работе в литературе.

Но надо сказать, что Каплин каждое лето сам вскапывает лопатой где-то в дальних лесах небольшие полянки и засевает их овсом для медведей. На краю каждой такой полянки он заранее строит лабазы. Молчун, молчун, а охотник он настоящий!

Был с нами, конечно, и хозяин дома — отличный, остро-

умный собеседник и милый товарищ, председатель колхоза Воронин Николай Михайлович. Он не собирался на охоту, и потому о нем говорить я буду меньше всего. Он только что вернулся из Москвы с совещания, отчитался о поездке перед колхозным активом и воспользовался нашей безобидной компанией просто, чтобы немножко отдохнуть, поразвлечься. Правда, он сам больше развлекал нас.

— С этой работой и поездкой я всю пьянку запустил,— говорил он.— Давайте наверстывать.

В курятнике у порога запел петух. Это было первое предупреждение, что пора расходиться. Но с места никто не поднялся.

— А вот еще случай,— начиналась очередная байка,— пошел я на овес медведя подсидеть и взял с собой бабу: пускай, думаю, хоть раз в жизни посмотрит, как я медведей бью. Забрались мы на лабаз меж двух елок, бабу я посадил повыше себя — так, думаю, целее будет,— сам сижу как раз под ее сарафаном. Стемнело: в лесу темнеет быстро. Стихло, только далеко где-то молоковоз проехал — пустые бидоны прогремели, да какие-то пастухи с коровами запоздали, кричат на весь лес, друг друга подбадривают, чтобы не бояться. Совсем стихло, слышно: в овсе мыши шуршат, заяц пробежал. Баба у меня сморкаться начала, мелко трясется, переживает. Потом ее икота одолела. Я тычу ей снизу, молчи, дескать. И ведь что удивительно: медведь все-таки пришел. Елозит он по овсу, чавкает, а видимость еле-еле. Я приладился с ружьем, направил стволы, только бы выстрелить... Вдруг баба прямо на меня...

— Что?

— То-то что...

— Грохнулась?..

— Кабы грохнулась...

— Так и не убил медведя?

— Какой уж тут медведь!

Опять запел петух у порога, а с места никто не поднимается. Председатель Воронин больше оставаться с нами не мог.

— Вы тут допивайте, а я пойду драку организую, чтобы не скучно было,— пошутил он в последний раз и ушел куда-то, наверное спать.

* * *

После обильного снегопада лес отяжелел, стал седым и старым. Даже сосновые ветви, не только еловые, опустились

вниз, провисли. Появилось бесчисленное множество пригнутых к земле тонких длинных стволов. То крутые, то пологие, они напоминали городские новогодние арки: казалось, сбрось снег с такой и прочтешь: «Добро пожаловать!» Либо — ямщицкие дуги: стоит тряхнуть посильней — и зарокочут под свадебной дугой переливчатые бубенчики.

Снегу намело много. Дороги и тропинки в лесу исчезли, если не считать заячьих стежек. Сугробы мягкие, пышные, сдобные. Местами снег ровен, а чаще лежит огромными буграми. Приближаешься к такому бугру и заранее настораживаешься: и здесь не медвежья ли берлога?

Хвойный лес, особенно густой, после метели страшноват, а голый — берéзничек, осинничек — сказочно легок и прозрачен, весь в инее, в изморози и светится.

Четверо, мы заходим все глубже в густой хвойный лес.

Конечно, хорошо бы первые километры проехать на санях, но лошадей в колхозе просить постеснялись: мало их осталось, сейчас на них возят сено и дрова. К тому же целина снежная началась почти от самой деревни.

Собак также не взяли, потому что медвежатниц ни одной не нашли, а пустолайки могли только помешать нам. Хотя обе берлоги обнаружены были именно пустолайками, о которых говорят, что охотятся они лишь за норками да за хлебными корками.

— Охотников настоящих не стало, и собак не стало! — как-то сказал об этом Сорокин.— Вот у охотника Ивана Осина из Кьянды была медвежатница, так он ее дороже всего своего дома ценил. Когда делился с сыновьями, все хозяйство им отдал, себе только собаку-медвежатницу оставил. Зато уж и бил зверей! Старуху в решете, говорит, не найти, а медведя в лесу я завсегда найду.

Меня очень подводят мои беговые многослойные лыжи таллинского производства: они слишком узки для таких снегов, я то и дело проваливаюсь. А товарищи мои — Сорокин, Каплин и Сажин — идут на самодельных, подбитых лосиной шкурой: лыжи эти широки и недлинны, потому маневренны в любых зарослях, а главное, не соскальзывают назад при подъемах. Мне сочувствуют молча.

Сегодня мы все немногословны. Немногословны с самого утра — как встали задолго до рассвета, умылись в очередь, поели жирного свиного супу, конечно, без всякой опохмелки, оделись и обулись неторопливо, я бы сказал, старательно, проверили ружья и патронташи на ремнях, прицепили ножи на пояса, я — широкий, сверкающий, номер-

пой; молчим и после того как стали на лыжи и тронулись в путь полем, к реке, потом за реку в лес, в ельник. Никаких анекдотов, даже шуточек, никаких рассказов о медведях. Вековые охотничьи суеверия вступили в силу, их власть распространилась и на нас: идешь на пожар — над огнем не смейся. Медведь еще не убит, с этим шутить нельзя. Вчера пошутили, и достаточно. Более того, всем казалось, что и вчера шутить столько не следовало. А сегодня даже упоминать о медведе не полагалось, а если уж без этого обойтись было невозможно, то говорили сдержанно, уважительно и называли зверя только местоимением: он.

— Он должен сегодня лежать крепко, погодка подходящая!

Я позволил себе однажды спросить:

— А если — она?

Меня даже не удостоили ответом. И молчаливая сосредоточенность стала еще выразительней. Может быть, страх вступил в свои права? Нет! Не все, идущие в бой, думают о смерти, но белье перед атакой стараются сменить все. И все не любят болтать в эти часы и минуты. Мне кажется, что и Сорокин Павел Евгеньевич больше не думал о тещиных блинах.

Заячьи следы в диком хвойном лесу исчезли — здесь местожительство не для легкомысленных зверьков. Стучат дятлы — и то осторожно, тихо. Пригнутых к земле деревьев здесь также много, но это уже не березки, не ольхи, не рябинки, а толстые, многолетние стволы елей, сосен, берез. Дуги, да не те! Не медведи ли их гнули? Все больше валежника, колдобин, коряг, выворотней. Чуть подул ветерок — и нас всех осыпало снегом с вершин. Где-то далеко жалобно скрипит дерево. В большом лесу всегда что-нибудь скрипит, без этого не бывает.

Однажды под самыми моими лыжами взорвался снег: вылетели два рябчика и быстро скрылись за деревьями. Это произошло так неожиданно, вдруг, врасплох, что я, вероятно, побледнел: все-таки ведь идешь и думаешь о медведях, а не о рябчиках.

— Мы, кажется, сбились, не найти, наверно, ничего! — вдруг безнадежно махнул рукой Сорокин.

Не хочу рисоваться: на какое-то мгновение от этих слов я почувствовал легкость в душе. Подумалось: не найдем берлогу — и все, значит, не судьба. Переживаний всяких и без того уже достаточно!

Но я быстро справился с собой и заметил с упреком:

— Я же говорил, что надо было обложить! — И уже искренне боялся, что мы можем ничего не найти.

— Обкладывай не обкладывай, вьюга мела не одну неделю. Лес узнать нельзя.

Каплин отошел в сторону и начал осматриваться, принюхиваться.

Шофер Сажин не спешил вмешиваться в разговор, он еще не считал, что «сели на диффер».

— Собачку бы теперь!

Вдруг неторопливый Каплин позвал всех к себе.

— Не сбились! — сказал он.— Это что?

— Где?

— Смотри прямо!

— Те-те-те!.. Если это и берлога, то не наша, другая.

— Их здесь, как грачиных гнезд, что ли?

— Да нет, я не то хочу сказать.

— Ну-ка, стойте здесь! — Сорокин снял ружье с плеча, пошел вперед один.

Медвежье гнездо оказалось у основания двух еловых корневищ, вывороченных буреломом и торчащих стоймя под углом одно к другому. Сверху на корневищах лежало еще два небольших сухих ствола, кажется сосновых. Все это было прикрыто таким мощным слоем снега, что не сразу удалось обнаружить чело берлоги. Даже Сорокин тихонько сказал:

— Ну и ну! И нам не подойти, и ему оттуда не выбраться. Вон оно — чело! — И он махнул рукой всем, чтобы отошли в сторону: надо было условиться, что кому делать.

Ружей мы уже не выпускали из рук, я даже спустил предохранитель. Кажется, дрожали колени от волнения.

Когда мы отошли метров на двадцать в сторону и сгрудились, как заговорщики, Сорокин сказал:

— Может, придется стрелять в дыру, чтобы вылез. Быстро он тут все равно не вымахнет. Давайте, ребята! Первое слово москвичу — становись вон к той елочке, чуть слева от берлоги. Первый выстрел твой.

Я немедля двинулся на указанный номер.

— Подожди, покурим! — остановил меня Сорокин.

Каплин сказал:

— Стрелять не надо. Я вырублю жердь, островину, и суну ее в чело. Можно подобраться сверху, с крестовины, с валежин.

— Провалишься еще и стрелять помешаешь. Неладно.

— Руби, Вадим, островина — это лучше всего, руби!

Интересно, что с этого момента мы перестали называть друг друга по имени и отчеству, остались только имена, и никакой неловкости никто при этом не испытывал, все произошло само собой.

Воровато закурили по папироске «Север». Каплин — в одной руке ружье, в другой топор — сошел с лыж, но провалился по пояс в сугроб, ухнул, как в медвежью берлогу, и, с трудом вскарабкавшись на лыжи, снова двинулся за жердью.

Все начали осматриваться, поправлять пояса, проверять — в который раз! — есть ли в стволах патроны.

А я, разнесчастный человек, опять стал думать о том, как опишу эту свою встречу с медведем, и не упустить бы чего-нибудь, и нельзя ли извлечь, высосать какое-нибудь стихотворение из всего происходящего — давно я уже не писал стихов! — только бы зацепочку какую-нибудь найти, изюминку бы, мыслю бы!..

— Давай, ребята, нечего раздумывать! — Это подошел с вырубленной островиной Вадим Каплин. Он, наверно, плюнул сейчас на свое писательское звание — не до этого! Ружье у него на плече, на другом — длинная сучковатая жердь. На таких жердях с сучьями, островинах, развешивают скошенный горох для просушки: тот же озород, стог, но тонкий, почти просвечивающий и продувается насквозь. Медведя выживать из берлоги лучше островиной, а не гладкой жердью, потому что острые сучья заставляют его вылезать на свет неторопливо и целиться в него легче.

— Давай, ребята, надо подходить! — командует опять Сорокин. Он все говорит шепотом: — Сашка, бери влево.— Сашка — это я.— Стрелять с боку легче и другим не помешаешь. Вадим, подожди, номера займем. Валька,— Валька — это Сажин,— становись справа, вон — к сушине. Далеко? Нет, метров восемь, в самый раз.

Валька быстро скользит к своему номеру и сваливается с лыж, как с рельсов. Самый рослый из нас, он все-таки проваливается в сугроб по грудь и, ничего не видя, начинает плясать на месте, приминать, притаптывать снег. Уши его шапки с длинными шнурками от ботинок мотаются то вверх, то вниз.

— Шурка,— шипит он мне,— Шурка — это тоже я,— отаптывайся!

Я прыгаю с лыж, рассчитывая, что также провалюсь, но на моем номере снег оказался мелким. «Хуже это или лучше? — думаю я.— Чело, вот оно, перед глазами. В слу-

час чего, и укрыться некуда, а в снегу я был бы, как в окопе. В окопе? Чепуха!..»

Приминаю снег пошире, топчусь. Валенки у меня большие, брюки ватные, тужурка меховая, летная, полученная в «Литературной газете» еще для поездки в Приморье, очень теплая, шапка сурковая, китайская, жаркая. Вероятно, от меня идет пар гораздо сильнее, чем из медвежьей берлоги. Надо было и мне надеть ватник, «куфайку», как говорят здесь, в «куфайках» все мои товарищи, им жарко не будет. И патронташи у них поверх ватников, а у меня под меховой тужуркой.

Пашка Сорокин становится шагах в пяти от меня, и я вдруг увидел, что глаза у него смеются.

— Ну, что? — весело спрашивает он.

Вот черт!

И опять где-то скрипнуло дерево. Снег белый, глубокий, небо мутное, зимнее, лес кругом,— что еще можно заметить в последнюю минуту!

— Эй, хозяин! — заорал вдруг над самым моим ухом Сорокин.— Вылезай, перевыборы! — Он настроен по-озорному. Разве уж такое это привычное дело — бить медведя?

Хозяин не отозвался. Видит он нас или не видит?

— Эй, хозяин! Сдавайся!

Ни звука.

— Давай, Вадим, подберись, ткни!

У Вадима ружье на плече (это мне запомнилось, удивило меня), в руках сучковатая островина, он бредет по сумету без лыж, все ближе, ближе к медвежьему жилью, сбоку от чела, чтобы не мешать нам стрелять. Лицо его, молодое, сумасшедшее, затененное шапкой, кажется совершенно черным: негр, а не Каплин. Только вряд ли бывают такие низкорослые негры. А снег белый-белый, яркий-яркий...

«Да ну, скоро ли наконец?»

— Приготовиться! — кричит кто-то опять, наверно Сорокин.

Каплин подобрался к самому челу хозяйской берлоги («До чего же он неосторожен, а еще писателем хочет стать!») и с трудом просовывает жердь комлем вперед. Я предполагал, что это будет мощный бросок издали либо сверху вниз и что кидать островину будут, по крайней мере, двое — она же сырая, тяжелая. А Каплин просто сует ее не спеша да еще кряхтит и кричит:

— Ну, где ты там?!

И вот медведь заревел.

Я смущен: написал уже довольно много, но все пока не о самом главном. А когда дошел до самого главного, то, оказывается, и писать больше нечего. Самое главное произошло быстро, и, конечно, совсем не так, как обычно предполагаешь заранее, потому показалось неинтересным. Я был разочарован. Борьбы не было — вот что меня разочаровало, я же готовился к борьбе за жизнь, готовился к бою.

Медведь заревел, но не выскочил из берлоги, не вырвался, не «пошли клочки по закоулочкам», а просто высунул голову и стал принюхиваться и осматриваться. Должно быть, островина ему действительно мешала своими сучьями, но, кроме этого, он был просто ослеплен сиянием снега, дня. Я не видел его глаз, не почувствовал злобности зверя и не сразу сообразил, что уже пора стрелять. Подстегнул меня крик Павла Сорокина: «Дай Шурке!» Это он рявкнул на Вадима, который готовился выстрелить первым. После этого я выстрелил немедля, но, оказывается, попал уже не в голову, потому что, заслышав голос человека, медведь легко и мгновенно вылетел наружу весь, всей своей двадцатипудовой тушей, и поднялся на дыбы. Конечно, никакие сучочки наши ему не помешали, островина просто переломилась.

Я выстрелил два раза. Но, по-видимому, этого оказалось недостаточно: выстрелил дважды Вадим Каплин и по одному разу Сорокин и Сажин. Сажин в медведя не попал, потому что у него разорвало ствол ружья. Это и было, пожалуй, самым примечательным в нашей охоте, об этом разговаривали и смеялись потом больше всего.

Медведь упал мордой в снег, шагнув несколько раз вперед, как подобает в честном бою, потом завалился на бок. На чистом снегу он выглядел особенно грязным.

— Седой, дьявол! — восхищенно сказал о нем не помню уже кто.

В темных глазах хозяина леса долго не потухала неутоленная ненависть к нам, к людям. Желтые нечистые клыки его обнажились.

Теперь насчет «двадцатипудовой туши». Взвешивали мы ее на самодельных рычажных весах, на которых взвешивают возы с сеном, поэтому никто не может поручиться, что медведь весил именно двадцать пудов.

А охотничьи ножи нам пригодились только для освежевания зверя — и то уже не в лесу.

Сажин ружье свое показал не сразу, он понимал, что авария его теперь может вызвать только смех. Так и получи-

лось. Вместо пуль он забил в свои патроны по блестящему шарику от какого-то подшипника, кажется от тракторного, не проверив предварительно, проходят ли они по всей длине стволов. В чоковом стволе шарик застрял, ствол раздулся, лопнул и отделился от другого ствола. С таким ружьем теперь опасно ходить даже на зайца.

В наказание за эту оплошность мы без жеребьевки отправили Сажина одного на полусогнутых в деревню добывать подводу для топтыгина. На полусогнутых — значит, бегом. Он побежал. Вдогонку ему кричали:

— Шарики не растеряй!

Разочарование разочарованием, а все же, когда с медведем было покончено, мы были очень возбуждены и расположены к бахвальству. Ощущение удали, молодечества охватило и меня. Вспоминаю, как на Ленинградском фронте в морской пехоте, вернувшись с бойцами из первой удачной разведки, я потребовал у командира батальона по «наркомовской чарочке» для всех и, страшно довольный собой, вылез из окопа, вышел на опушку и красовался на виду у противника. Возможно, что тогда из-за моего молодечества наши позиции были обстреляны из минометов и одного разведчика, только что вернувшегося со мной невредимым, тяжело ранило.

Сейчас мне опять, как видно, захотелось покрасоваться, и я нырнул в берлогу зверя, на место его лежки. На этот раз ничего страшного, конечно, не произошло, но вылетел я оттуда мгновенно: жутко стало от вони, от ощущения, что на меня набросилась уйма блох и всяких прочих отвратительных насекомых.

Как мы выволакивали трофей из лесу и везли на длинных санках, на которых женщины обычно таскают белье к речным прорубям для полоскания, как везли медведя по деревне в сопровождении дюжины ребятишек,— это уже рассказ не об охоте, писать об этом менее интересно. Скажу только, что, возвратившись в деревню, к людям, мы как-то само собой, не сговариваясь, восстановили в правах имена и отчества друг друга и отказались от прозвищ, тем более от грубых, бранных. А в лесу такие прозвища, и, надо сказать, весьма остроумные, давались довольно легко.

До чего же мы были разговорчивы весь этот день, особенно вечером! И постепенно начали чувствовать себя героями! И все совершившееся стало представляться уже необыкновенным. И, конечно, каждый рассказывал об этом по-своему.

И опять появились разные байки, бухтины, присказки и сказки. Но только без очковтирательства, все — сущая правда.

II

Второй медведь еще не убит.

Берлогу мы уже навестили и видели, как из нее идет парок — медведь дышит. Больше ничего о нем, о неубитом, сказать пока не могу, чтобы не сглазить ни его, ни себя. Павел Евгеньевич Сорокин почему-то считает, что со второй берлогой следует немного повременить.

1962 г.

ПОДРУЖЕНЬКА

Поздней осенью, собирая грибы в перелеске за железной дорогой, Катерина Федосеевна встретила серенькую облезлую кошку, ничем не примечательную, беспородную, и пожалела ее.

— Откуда ты взялась, милая? Худющая какая! Кис, кис! Любую бездомную дворняжку назови Жучкой — она завиляет хвостом и пойдет тебе навстречу, если не совсем запугана и не одичала. А как назвать бродячую кошку? Кис-кис — это почти то же, что Жучка.

— Кис, кис, кис! — настойчиво и ласково позвала кошку Катерина Федосеевна.— Вишь, куда забралась, потаскушка,— в лес.

Кошка недоверчиво прянула в сторону, но, почуяв доброту в голосе старой женщины, остановилась, жалобно мяукнула и, подняв хвост с прилипшими к нему репейниками, пошла на зов.

— Голодная ты, что ли? — с сочувствием и упреком рассматривала ее Катерина Федосеевна.— В таком лесу да голодать! Неужто и промыслить ничего не смогла? Вишь, кожа да кости!

У кошки почему-то не было усов, глаза ее гноились, шерсть была короткая и грязная, неухоженная, и уши в парше.

— Сама себя прилизать не удосужилась. А может, ты больная, и тебя, больную-то, занесли в лес да и бросили на погибель? Есть же люди!

Катерина Федосеевна поставила корзинку с грибами на землю, прислонила к дереву палку, с помощью которой разбирала траву и приподымала нижние ветки елочек, и взяла кошку на руки. Поглаживая ее, она осторожно выпула из хвоста колючие ежики репейника, после чего кошачий хвост стал совсем голым, как прутик. Заметив, что кошка безусая, она подивилась: «Наверно, кто-нибудь вырвал либо спалил». А кошка припала всем телом к ее теплой байковой кофте и благодарно замурлыкала.

Катерина Федосеевна растрогалась:

— Одинокая, видно. Ну, чего ж, пойдем тогда. И будет

теперь у тебя свой дом, станем жить вместе. Какая-никакая — все скотинка, а то у меня давно никого нет.

От волнения она даже палку в лесу забыла.

По дороге к поселку, около железнодорожного переезда, встретилась Катерине Федосеевне соседка-солдатка — суматошная бабенка Валя — и давай сразу огороды городить:

— Что это за чучело на руках у тебя, Федосеевна?

— Да вот кошечку в лесу нашла, пожалела,— ответила Катерина Федосеевна и показала из-под кофты безусую кошачью мордочку.

— С ума ты сошла, Федосеевна, драную кошку на грудях в дом несешь! Да еще из лесу. А вдруг это смерть твоя?

Катерина Федосеевна не испугалась оговора — от этой пустомели доброго слова не дождешься! — только поплотнее прикрыла свою находку байковой кофтой, будто оберегая ее от дурного глаза, да огрызнулась нешибко:

— Типун тебе на язык, несуразное говоришь. Иди лучше, куда шла!

Кошка всю дорогу тихо сидела у самого ее сердца и мурлыкала так тепло и старательно, что зряшные слова соседки больше не вспоминались.

Дойдя до дому, Катерина Федосеевна оставила в сенях корзинку с грибами, не стала их тотчас перебирать, как делала раньше, а занялась кошкой.

— Перво-наперво я тебя покормлю,— сказала она ей.— Только чем? Сама-то я теперь больше грибками балуюсь, а тебе молочка бы надо. Ну, да не все сразу. Вот погоди-ка, есть у меня в чулане кое-чего. Пойду пошукаю.— И Катерина Федосеевна направилась в сени, в чулан.

Спущенная с рук у порога, кошка пугливо озиралась, щуря больные глаза, медленно переступала с ноги на ногу, будто шла по воде, не по полу.

В избе этой ее ничто не удивило: изба как изба. Слева — окна и прямо — окна, в углу — стол, на столе что-то вроде куска хлеба, на окнах жужжат мухи. Есть печь, чтобы спать в тепле и покое, есть полати. За печкой отгорожена занавеской кухня, там должен быть и вход в подполье, а под опечком, где дрова, наверно, стоит и миска с молоком. Осмотревшись и ничему не удивившись, кошка затрусила за печку, на кухню, но там, под шестком, ничего, кроме дров, не оказалось, и она, вынырнув из-под занавески, привычно вспрыгнула на лавку, затем на стол.

Когда Катерина Федосеевна вернулась в избу, кошка

соскочила со стола и юркнула под лавку — кусок хлеба изо рта она не выпустила.

— Вишь, озорница, что делает, терпежу нет! — пожурила ее Катерина Федосеевна.— Ну, ничего, сыта будешь и — воровать не потянет. Воруют, когда жрать нечего. Вот я тебе кусочек сальца нашла. Кис, кис! Как тебя звать-то, не знаю?

Кошка, почуяв сало, пронзительно замяукала, но и от хлеба не отходила. В подслеповатых глазах ее появился зеленый огонек.

— То-то! На, кушай! Сальца-то, правда, кот наплакал, а все не хлеб черствый. Съешь и будешь знать, чье сало съела. А звать я тебя буду Подружкой.— Катерина Федосеевна наклонилась и сунула кошке под лавку, прямо в зубы, розоватый соленый кусочек. Потом вдруг засомневалась, присмотрелась.— Уж не Дружок ли ты? Нет, Подружка — шариков вроде бы не видно...

Катерина Федосеевна рада была поразговаривать с кошкой, ей уже казалось, что та отвечает на каждое ее слово.

Сама она тоже захотела поесть, принесла с кухни из суденки грибки соленые и вареные, отрезала ломоть хлеба от черной краюшки и уселась за стол. Ела и все заглядывала под лавку да говорила, говорила без умолку:

— Вот мы с тобой и не одинокие теперь. Подруженька ты моя...

Женщине, привыкшей всю жизнь вести хозяйство и кормить семью, труднее переносить одиночество, чем мужчине, особенно если у нее и скота не осталось. Одинокий мужчина много времени тратит на то, чтобы покормить себя, а для женщины это не труд.

Из семерых детей выжили и выросли у Катерины Федосеевны два сына и дочь. Сыновья погибли на войне смертью храбрых, а дочь уцелела, но тоже покинула ее; выучилась, вышла замуж и уехала с мужем в какое-то Заполярье, там будто больше платят, а молодые задумали обзавестись добром, пока здоровье есть.

Муж Катерины Федосеевны, когда остались вдвоем, не захотел помирать в родной деревне — спятил с ума под старость — и тоже поехал искать хорошей жизни. Помотался по белу свету года два, потом устроился недалеко от дома на железной дороге, стал жалованье получать. Приглянулось — и ее к себе вытребовал: я, говорит, служащий теперь!

Продали они корову, зарезали свинью, овец, половину мяса дочке посылками в Заполярье переправили, избу свою

деревенскую на станцию перевезли. Надорвался старик — умер, в три недели свернуло, будто и живым не был. Даже с дочерью не повидался: пока болел — не успела она приехать, а когда умер — чего ж, говорит, и приезжать.

Вот когда пожалела Катерина Федосеевна, что покинула свое деревенское житье-бытье! Дома, говорят, и стены помогают. А где они теперь, эти стены? Вышла бы во двор, в поле, забрела бы к Аграфене Мелентьевой или к Миколихе Трошкиной — каждая слеза пополам, каждый вздох поровну! А в лесу, за коровьим выгоном, что ни березка — подружка твоя, вместе росли, вместе сок набирали, заодно и листья ронять.

Здесь тоже, конечно, лес, и грибы в нем и все такое, но разве это свой лес, тот? Уехала она из родной деревни, будто живой воды лишилась, от святых даров отреклась.

Схоронив мужа, Катерина Федосеевна и сама поступила на казенную службу, стала полы на станции мыть да подметать. Работает день и ночь, даже спать домой редко ходит, не любо ей в пустой избе ночевать. И по привычке каждый месяц какую-нибудь посылочку для дочки справляет.

Работает и все ждет, что пошлет ей дочка внука на воспитание. Не послала дочка ни внука, ни внучку, весной сама с муженьком на побывку прикатила. Не хочу, говорит, иметь детей, без них спокойнее, а тебе, говорит, пенсию выхлопочем.

«Детей не хочешь иметь, а я-то тебя имела?!» — с обидой подумала Катерина Федосеевна, но говорить ничего не стала: может, теперь так и надо, времена другие...

Пенсию они выхлопотали, это верно, не обманули. С тех пор и живет Катерина Федосеевна одна-одинешенька, год уже скоро, живет — дни коротает. Изба есть, а ни кола ни двора. Купила бы козу, да капиталов нехватка. Некого покормить, не за кем поухаживать. Завела бы квартирантов, да где их взять — станция невелика, в жилье никто не терпит нужды. Не с кем покалякать, не с кем душу отвести. Кабы в деревне — сходила бы к колодцу, а здесь и колодцев нет. Да и люди кругом грамотные, стрелочница — и та четыре класса кончила, книги читает.

— Заживем мы сейчас душа в душу с тобой, подруженька ты моя сердешная. Уж и выхожу я тебя, уж и выкормлю! Будешь бога благодарить, что мне на глаза попалась,— причитала Катерина Федосеевна, убирая со стола.— А дочка моя, вишь она какая, ей спокой нужен.

Кошка объелась, и ее стошнило. Встревоженная Кате-

рина Федосеевна, не зная, чем ей помочь, заметалась по избе, переворошила в шкапчике все лекарства, оставшиеся от мужа,— он тоже скудался желудком, а дать что-либо не решилась: подходяще ли для животины то, что человеку на пользу шло? Вдруг ей хуже станет, видно, еще молодая, желудочек нежный. Кто их знает, что за фталазол такой, что за пурген? Спросить бы соседку-солдатку, да как ее спросишь, еще на смех подымет, зряшная: чучело, дескать, драное лекарством кормить? С ума сошла Федосеевна!

Ослабевшая кошечка подергивалась и тоскливо мяукала, тоненький хвостик ее, будто прутик, лежал поперек половиц.

— Что же это я наделала, глупая? — упрекала себя Катерина Федосеевна.— Угостила соленым салом с голодухи! От такого угощенья ноги протянуть можно.

И все-таки пошла за советом к солдатке, больше некуда было.

— Что стряслось, Федосеевна? — спросила та, заметив по лицу старухи, что заявилась она неспроста.— Нечастая гостья, хоть и рядом живем.

— Прости, Валюша, что обеспокоила тебя,— сказала Катерина Федосеевна.— А только не найдется ли у тебя молочка немножко?

— С ума ты сошла, Федосеевна! Корова у меня, что ли? — удивилась Валя.

— Знаю, что не корова, только, думаю, с чайную чашку не найдется ли?

— Неужто для кошки для этой драной?

— Для кошечки, Валя. Взяла я ее к себе на воспитание.— И в угоду солдатке Катерина Федосеевна даже подшутила над собой: — Слыхала, говорят: «Не было у бабы хлопот, так купила поросенка».

— Ладно, кабы порося, а то кошку! — все еще не хотела понять ее Валя.

— А без кошки, Валя, что за дом? Кошки нет, стало быть, мышей нет, а мышей нет, стало быть, достатку бог не дал, царь не умеет народом править.

— Ну вот о чем, старая, вспомнила, о царе! — удивилась Валя.— Где я тебе молока найду?

— Прости, коли так! — сказала Катерина Федосеевна и повернулась к порогу.

Но Валя остановила ее.

— Сядь, посиди маленько. Я Кольку пошлю к Поликарповне. Колька! — крикнула она.

Валя жила в коммунальной двухкомнатной квартире с

сыном и дочерью. Сынок родился еще при отце и сейчас заканчивал десятилетку. Катерина Федосеевна считала, что сын у Вали законный и ничего против него не имела. А вот дочка, по слухам, появилась на свет, когда батько уже с немцами воевал, и один бог знает, чья она. Из-за этого Катерина Федосеевна относилась к солдатке Вале с ревнивой подозрительностью и считала ее про себя несамостоятельной, непутевой. Что угодно могла она простить женщине-солдатке, только не беспутную жизнь.

Колька поворчал немного, что его от книг отрывают, но сходил, куда послала мать, и принес полную чашку молока.

Катерина Федосеевна даже не поблагодарила как следует, заторопилась домой.

— Подруженька! — позвала она кошку, еле открыв дверь в избу.— Вот я тебе раздобыла еды, это не солонина, не грибки какие-нибудь. Да где ты, жива ли?

Кошка спала на ее постели, прямо на подушке, свернувшись улиткой,— маленькая, серенькая, голова в передних лапах, хвостик прутиком промеж ушей. На мгновение она приоткрыла глаза, взглянула лениво, без всякого интереса на свою хозяйку и тотчас заснула снова и словно бы даже захрапела.

Катерина Федосеевна сразу притихла и от порога к суденке с кружкой молока прошла на цыпочках. Сон всегда дороже еды, в это она верила давно. Для человека — дорог, значит, и для любого живого существа тоже.

Было уже поздно, и Катерина Федосеевна сама стала укладываться. Чтобы не потревожить Подружку, она решила эту ночь переспать на печи.

Хлопот с кошкой было, конечно, немало, но ведь Катерина Федосеевна сама хотела, чтобы у нее были хлопоты. Она даже придумывала их себе. Чем больше было хлопот, тем легче переносила она свое одиночество.

Через Валю она познакомилась с Поликарповной и стала брать у нее каждодневно по бутылке козьего молока. Все для кошки. Сама она козье молоко в рот не брала, брезговала.

По утрам Подружка просыпалась рано, и Катерина Федосеевна только радовалась этому, потому что тоже не любила спать подолгу. Наполнив молоком чайное блюдце, она добавляла в него кусочки хлеба. Крошево это кошка съедала неторопливо, с удовольствием. Сперва лакала молоко,

затем подбирала хлеб. А Катерина Федосеевна стояла либо сидела рядышком и смотрела на нее во все глаза. Иногда она спрашивала:

— Что, глянется? По душе тебе крошенинка моя?

Подружка, занятая своим наиважнейшим в жизни делом, даже не поднимала головы от блюдца, будто не слышала, о чем спрашивает хозяйка. Она ласкалась, мурлыкала, терлась о ее ноги, пока хотела есть, а наевшись, отходила в сторону, отфыркивалась, отряхивалась, особо отряхивала лапки и уже не обращала внимания на свою кормилицу, словно ее и не существовало.

Катерина Федосеевна налюбоваться не могла на свою Подруженьку.

Однажды кошка вылакала все молоко, а хлеб не съела. Катерина Федосеевна походила по магазинам и нашла для нее полкило белого хлеба — в поселке он появлялся нечасто. От белого хлеба кошка не отказалась. Но скоро и он ей надоел. Тогда Катерина Федосеевна начала покупать мясо.

Глаза у Подружки прояснели, перестали гноиться. На морде появились усы. Она раздобрела, обросла длинной шелковистой шерстью, словно нарядилась в новую юбку, и все чаще умывалась, все дольше спала, а когда после еды охорашивалась, Катерина Федосеевна, глядя на нее, любовно ворчала:

— Затрясла своими воланами. Вишь, модница какая!

Но и насытившись и раздобрев, кошка воровать не перестала: то на стол вскочит, то в суденку заберется, должно быть, это у нее в привычку вошло. Тащит мясо, припасенное для нее же, и даже хлеб ест, если он краденый.

Первый месяц Катерина Федосеевна боялась выпускать кошку на улицу, чтобы та не заблудилась где-нибудь. У порога около веника для нее стоял ящик с песком — в избе пахло тяжело и густо. А когда Катерина Федосеевна решилась наконец выпустить кошку на прогулку, та исчезла сразу на двое суток.

«Может, она подалась от меня к старым хозяевам? — думала Катерина Федосеевна.— Может, я не угодила ей чем-нибудь?»

Две ночи она почти не спала: Подружка могла появиться в любой час, не откроешь дверь вовремя — обидится, совсем уйдет. Но ведь не в милицию же заявлять о пропавшей кошке.

Под утро вторых суток сон все-таки сморил Катерину

Федосеевну. Приснилось ей, будто покойный муж топит Подружкиных котят за гумном в глубокой яме, из которой деревенские бабы глину добывали, чтобы печи подмазывать. Вытряхнул он котят из мешка, а их было четверо, и все серенькие, как воробышки, а яма до краев полна водой, плавают они, тощие, маленькие, мяучат, а муж в них палками кидает, чтобы скорей на дно шли. Кошка-мать бегает вокруг ямы, ревет не своим голосом, то в одну сторону кинется, то в другую, а муж, покойник, и в нее палками кидает. Стала бегать вокруг ямы и Катерина Федосеевна, хочется ей крикнуть мужу: «Что ты делаешь, бессовестный!» — а голоса нет, и замяукала она по-кошачьи. Тогда муж, покойник, и в нее — палку за палкой...

Проснулась Катерина Федосеевна, будто избитая, тело ноет, а кошка Подружка на постели под боком лежит, руки ей лижет, даже страшно стало. И припомнились ей слова соседки Вали: «А вдруг это смерть твоя?»

— Откуда ты взялась, окаянная, спаси Христос! — с трудом выговорила Катерина Федосеевна, отодвигаясь от кошки, и всхлипнула не то от радости, что она вернулась, не то от страха.

Днем страх прошел. Осталась только обида на кошачью неблагодарность. Прибирая постель, Катерина Федосеевна упрекала свою Подружку:

— Неужто к старым хозяевам бегала от меня, изменщица? Разве тебе у меня худо, чего тебе еще надо? А может, по лесу опять шаталась? «Сколь ни корми, а все в лес смотрит» — уж не про кошку ли это сказано? Может, про кошку? Как же ты в избу-то попала, голубушка? Дверь заперта, окно тоже... Не через трубу ли? Через трубу ведьмы лазят.

Но, присмотревшись, Катерина Федосеевна заметила открытую форточку и следы грязных лап на стекле изнутри и снаружи окна.

— Вот ты какая у меня лазунья! — сказала она.— Догадливая! Ну погоди, не будешь убегать, все равно привороржу!

Растопив печь, Катерина Федосеевна выскребла из кошелька остатки пенсии, сходила на базар и приготовила для кошки мясные котлетки, какие мужу научилась готовить, когда он болел,— сочные, поджаристые, с дымком.

— Служи, лазунья! — скомандовала она ей, как собаке, держа котлету над ее головой.

Почуяв в руке хозяйки жареное мясо, кошка взвилась, подпрыгнула и в кровь разодрала ей пальцы, но котлетку все-таки схватила.

Катерина Федосеевна смазала царапины на пальцах жиром и накормила Подружку досыта. Наевшись, та забралась на подоконник и стала ловить мух на стекле. Потом заснула на весь день, опять же на хозяйской подушке.

Случилось однажды, угостила Катерина Федосеевна кошку мороженой треской, а в другой раз купила на базаре у ребятишек речных окуньков. Подружке особенно по душе пришлась свежая рыба, должно быть, она ее пробовала где-то раньше. У окунька Подружка отгрызла сначала голову, но есть стала его не с головы, а со спины и только напоследок съела и голову. Жевала она неторопливо, похрустывая и щурясь от удовольствия, почти засыпая к концу еды. На полу оставались рыбьи внутренности, да хвост, да красные перья.

— Не для меня ли оставляешь? — пошутила Катерина Федосеевна, подбирая с пола кошачьи объедки.

После свежих окуньков Подружка перестала есть мороженую рыбу. Да и свежая рыба устраивала ее теперь не всякая. Хорошо шли гладкий пескарь, сладкий голый налименок, жирный сазанчик. А плоскую костлявую густеру с жесткой, как панцирь, чешуей она совсем не признавала за еду. Испробовав свежие, сочащиеся жиром котлетки, Подружка стала отказываться и от мороженого мяса.

Пришлось Катерине Федоровне изворачиваться, доставать каждый день то парное мясо, то свежую рыбу. А когда в доме не было ни того, ни другого, кошка ходила за нею по пятам, заглядывала в глаза и мяукала ожесточенно и требовательно.

Катерина Федосеевна безропотно переносила все ее домогания, жарила и рыбу и котлеты, отказывала во многом себе, даже чай стала пить некрепкий, только бы не остаться снова в одиночестве. А когда небольшой пенсии не хватало до конца месяца, она подрабатывала в молодежном общежитии стиркой белья, мытьем полов.

Посылочки для дочери она тоже справляла теперь не каждый месяц: все равно та отзывалась письмом не на всякую посылку.

Многое прощала Катерина Федосеевна своей Подружке, не могла смириться лишь с ее воровством да еще с ее побегами. Стоило хозяйке зазеваться, не захлопнуть за собой дверь, как Подружка серой тенью шмыгала промеж ног и

не возвращалась домой по двое, по трое суток. Разыскивать ее было бесполезно. Но Катерина Федосеевна всякий раз искала ее.

С особенным удовольствием кошка убегала из дому через форточку. Если случайно открыты были в избе и дверь и форточка, кошка исчезала через форточку. Тем же путем любила она и возвращаться в дом. Оконные стекла с обеих сторон всегда были в грязи, занавеска то и дело оказывалась продранной и валялась на полу.

А в палисаднике под окнами перестали водиться птички. Раньше Катерина Федосеевна прикармливала синичек, снегирей, сейчас птички боялись ее избы. Кошка выслеживала их часами в кустах смородины и калины и, поймав, приносила в зубах домой еще живыми, злобно урча и таращa глаза. Под лавкой, под столом то и дело появлялись перышки — желтые, красноватые, пестрые.

Правда, мышей в доме тоже не стало. Ну и ловила бы себе мышей, это ей по закону положено, а птичек зачем трогать?

Как-то в форточку залетела синичка. Кошка прямо взбесилась, опрокинула горшок с примулой, смахнула со стола две чайные чашки, а когда Катерина Федосеевна схватила ее за загривок, она извернулась и укусила ее. Синичка ударилась о стекло, упала на пол, и кошка все-таки ее съела.

С неутолимой алчностью Подружка кидалась на всякую живность. Она и рыбу охотнее жрала живую, а не мертвую. Даже ящериц в избу приносила. С этим Катерина Федосеевна тоже примириться не могла.

— Душегубица некрещеная! Мало тебе всякой еды на свете, мало котлет, все норовишь кому-нибудь горло перегрызть! Веретельниц-то домой зачем тащишь? Накличешь беду какую-нибудь...— ворчала она.

И еще было горе: с появлением кошки в избе у Катерины Федосеевны почему-то стали вянуть цветы. Любимая ее герань в большой глиняной кринке, которая раньше, в деревне, служила квашней для блинов,— широколистая жирная герань погибала на глазах. Ни подкормка, ни поливки не помогали, и нельзя было понять, отчего герань сохнет.

Новое бедствие началось ранней весной, когда под окном у Катерины Федосеевны, не давая ей спать, по целым ночам ревмя ревели Подружкины ухажеры, а сама Подружка, беснуясь, металась по избе и не хотела ни есть, ни пить, пока не вырывалась на свободу. В эти недели домой она заглядывала редко, как правило, под утро, растрепанная, усталая,

мяукала жалобно, а нажравшись, заваливалась на постель или забиралась на печь и спала до вечера. Вечером все начиналось сызнова.

Помучившись, Катерина Федосеевна перестала закрывать форточку совсем, только жарче топила печь.

Однажды она до полночи собирала очередную посылочку для дочери — довязала шерстяные носки — в Заполярье, по ее представлениям, всегда стояли трескучие морозы, где набраться теплых носков; насушила кулек картошки из остатков со своего огорода, бережно свернула и сунула в тот же фанерный ящичек последний рукотерник с петухами, уцелевший от ее девического приданого, да старомодную стеклянную в медной оправе брошку... Собирая все это, она ждала, не вернется ли кошка, и думала о дочери, что вот выросла и бросила старуху одну, ни сама в гости не приезжает, ни ее к себе не позовет. Да и Подружка тоже хороша!..

Оставалось обшить фанерную посылочку дерюжкой, но Катерина Федосеевна уже не смогла этого сделать, легла и заснула.

Вот тогда-то к ней через открытую форточку и заглянул огромный черный котище и заревел по-человечьи, да так страшно, как только совы ревут по ночам в глухом таежном лесу. Катерина Федосеевна не заметила, как очутилась на ногах, и, еще не совсем проснувшись и не опомнясь от первого неясного испуга, увидела вдруг прямо перед собою, чуть повыше своей головы, в прямоугольном, темном проеме окна, самого настоящего черного дьявола с холодным лунным огнем в круглых глазах, с рогами вместо ушей.

До самой смерти она не могла вспомнить, что с ней было потом — кричала ли она, и когда успела включить свет, и каким образом в руках у нее появилась кочерга, и сама ли она захлопнула форточку или кто-то другой закрыл ее, и почему она оказалась лежащей на полу.

Утром соседка Поликарповна, подоив козу и не дождавшись Катерины Федосеевны, сама принесла ей бутылку парного молока. Катерина Федосеевна с трудом встала с полу, открыла дверь, подняла кочергу и поставила ее в угол.

— Что это ты, Федосеевна, днем с огнем сидишь? — удивилась Поликарповна.— Уж не заболела ли?

Катерина Федосеевна молча добрела до выключателя, молча повернула его. Потом взяла бутылку с молоком и тут же половину вылила в блюдце для кошки, хотя кошки в доме все еще не было. Руки у Катерины Федосеевны при этом дрожали.

Поликарповну осенила недобрая догадка:

— Неужто все мое молоко ты кошке спаиваешь? Кабы знала, ни разу бы не дала. Валькиным ребятам отказывала, а тебе отпускала. Из-за денег я, что ли?

— Заболела я,— тихо и как-то неразборчиво сказала Катерина Федосеевна и легла на постель поверх одеяла.

Больше от нее нельзя было добиться ни слова.

Тотчас после Поликарповны к ней прибежала расторопная солдатка Валя, помогла ей лечь под одеяло, взбила подушку, хотела чем-нибудь покормить, но Катерина Федосеевна ничего есть не стала, тогда Валя перед уходом приказала ей:

— Лежи, не рыпайся. Я сейчас на работу, а вечером забегу. Поняла? И врача к тебе пришлю. Поняла? У тебя ведь дочка есть, может, ей телеграмму послать?

— Не успеет опять! — сказала Катерина Федосеевна.

— Кто не успеет, дочка или телеграмма?

Катерина Федосеевна показала глазами на закрытую форточку и с трудом произнесла еще одно слово:

— Открой!

Валя открыла форточку, больная успокоилась и сразу заснула.

Вечером пришел врач. Катерина Федосеевна не отвечала ни на один из его вопросов, только с тревогой поглядывала на форточку, словно ждала кого.

— Дует? — спросил врач и хотел закрыть форточку.

Катерина Федосеевна вымолвила:

— Не надо!

И снова заснула.

Разбудила ее Подружка. Голодная и взъерошенная, она со стуком прыгнула из форточки на пол, метнулась под шесток к своему блюдцу, вылакала приготовленное для нее молоко, но не насытилась, а потому забралась на постель к своей хозяйке, стала ходить по ней, мяукать и чистить и точить на ее груди свои когти.

Катерина Федосеевна спросонья вздрогнула вся. Вздрогнула даже кровать под нею. Расширившиеся до предела глаза больной женщины с ужасом остановились на кошке, словно она опять увидела перед собой ночного дьявола. «Может, это смерть моя?» — припомнилось ей. Но скоро в глазах ее засветился добрый, спокойный огонек. Катерина Федосеевна медленно вытянула из-под одеяла правую руку и ласково положила ее на спину Подружки.

— Не уходи! Подруинька...— попросила она.

Кошка, прогнув спину, выскользнула из-под тяжелой руки хозяйки и снова побежала к печке, под шесток, но в блюдце по-прежнему было пусто, тогда она, осмотревшись и что-то по-своему сообразив, прыгнула на суденку, опрокинула незаткнутую бутылку с остатками молока и, с опаской поглядывая на хозяйку, принялась вылизывать белую лужу и на сундуке и на полу.

Катерина Федосеевна не крикнула на нее, не пригрозила ничем, даже не пошевелилась, и кошка, по-видимому, поняла, что больше ей нечего бояться. Зализав молоко и отряхнув лапки, она забралась в кринку-квашню с геранью, покрутилась, помялась на одном месте и уже без всякой опаски, прямо на глазах у потрясенной хозяйки, сделала свое маленькое дело, после чего брезгливо разворошила под собой цветочную землю.

Катерина Федосеевна поняла наконец, отчего повяла ее любимая герань.

— Подлая! — прошептала она Подружке.— Ящик ведь есть! — и отворотила от нее свое лицо.

Подружка еще раз отряхнула лапки, взобралась на кровать и, мурлыкая, легла хозяйке на грудь — печка в этот день была не топлена.

— Подлая! — повторила Катерина Федосеевна, но прогонять от себя кошку не стала. На бледных щеках ее появились слезы.

Валя застала обеих спящими — Федосеевну и ее Подружку. Круглая, бойкая, она колобком прокатилась от порога, поставила на стол корзину с едой и вдруг возмущенно вскрикнула, увидев на груди Катерины Федосеевны спящую кошку:

— Издевательство какое! Больного человека придавила, паскуда.— Она шлепнула кошку по усатой морде и сбросила ее с груди старухи.

Катерина Федосеевна проснулась, лицо ее исказилось от боли, словно Валя шлепнула ее, а не кошку.

— Оставь! — выговорила она.

— Как это оставь? Развалилась на тебе, свинья жирная, а ты терпишь. Она и задушить может, только допусти — лесная ведь! Вот я выброшу ее в форточку, пусть знает свое место.

— Закрой! — прошептала Катерина Федосеевна и показала глазами на форточку.

— Ладно, закрою, коли так,— согласилась Валя и захлопнула форточку.— Делишки-то как твои? Выкараб-

каешься или нет? Карабкаться надо. Может, дочке телеграмму все-таки послать? Адрес-то где у тебя?

— Покорми! — сказала Катерина Федосеевна.

— Вот это резонный разговор. Сейчас покормлю. Тут я принесла тебе кое-чего.

— Кошку! — сказала Катерина Федосеевна.

— Как это — кошку? Сперва тебя покормлю, а потом уж кошке — что останется.

— Кошку! — повторила больная.

— Ладно, коли так, покормлю и кошку. Нашла кого полюбить! — Валя выложила на стол еду из корзинки и кинула кошке кусок хлеба.— Жри, потаскуха!

Кошка подошла к хлебу, обнюхала его и, отвернувшись, с недоумением посмотрела на свою хозяйку, на Катерину Федосеевну.

— А ведь она не голодная у тебя! — обиделась Валя.— Ишь оборотень! Ей, наверно, сметанки надо, а то, может, котлетку жареную подать, бифштекс-ромштекс?

Катерина Федосеевна закрыла глаза.

Всегда суматошная, Валя тихо просидела у постели старухи целый вечер, накормила-таки ее манной кашей с ложечки и пообещала заглянуть до ночи еще разок.

— А то свою Маруську пошлю! — сказала она.

Все это время кошка скрывалась за печной трубой, дремала, изредка приоткрывала глаза, словно шторки на окнах раздвигала, следила за своей хозяйкой. А когда за Валей захлопнулась дверь, она мягко спустилась с печи, забралась на стол и спокойно и плотно поужинала, выбирая что по душе.

Катерина Федосеевна видела все, но уже ничего не говорила.

Совсем поздно в избу, постучавшись, вошла Валина дочка, Маруся, школьница лет пятнадцати, робко примостилась у кровати бабки Федосеевны, которой почему-то всегда побаивалась, сидела не двигаясь, все ждала какого-нибудь приказания или просьбы, но сама спрашивать ни о чем не решалась.

Катерина Федосеевна взяла ее руку в свои — жилистые и холодные — и долго молча гладила, словно извиняясь, что раньше не признавала ее.

В избе было прохладно и сыро, пахло лекарствами.

Под бревенчатым потолком тускло горела электрическая лампочка, обернутая бумагой.

Кошка опять сидела за печной трубой, чего-то ждала,

но к хозяйке не подходила и даже не глядела в ее сторону.

— Шить умеешь? — вдруг спросила Катерина Федосеевна.

Маруся вздрогнула от неожиданности.

— Чего шить?

— Посылку обшей. Вон...— Она показала глазами в угол избы.— Адрес напиши... В шкапу. Пошли дочке.

Маруся принялась за работу.

На другой день врач, прослушав больную и выписав новые назначения, сказал:

— Душно у тебя здесь, бабуся. Я к тебе дежурную сестру пошлю, пока в больнице место не освободилось. Она и печку будет топить.

— В деревню бы меня...— попросила Катерина Федосеевна.

— Тоскуешь? — заинтересовался врач.— А кто тебя там лечить будет?

— В деревню бы...

— Конечно, в деревню бы... Но тут уж я ничего сделать не могу. Вот поправишься, тогда...

Перед уходом он открыл форточку.

— Не надо! — с испугом сказала Катерина Федосеевна.

Но было уже поздно: кошка сорвалась с печи, мяукнула, взвилась и, скрежетнув когтями по стеклу, скрылась.

Подружка появлялась в избе еще не раз, но лишь в те часы, когда больная старуха почему-либо оставалась одна.

Воровато поглядывая на свою хозяйку, а то делая вид, будто вовсе не замечает ее, кошка подбирала остатки еды со стола, затем обшаривала и обнюхивала все закутки в избе и снова исчезала через форточку. А если в избе не оказывалось никакой еды, она забиралась к Катерине Федосеевне на грудь, тормошила ее и требовательно мяукала.

Просыпаясь, Катерина Федосеевна спервоначалу, как всегда, пугалась, но потом внимательно и бесстрастно следила за своей Подружкой, все уже понимала и ни о чем не заговаривала с ней.

В последний раз Валя застала Подружку на груди Катерины Федосеевны, когда та была уже мертвая.

— Задушила-таки, ведьма! — взвизгнула Валя, хватая кошку за мягкий пушистый воротник.— Ну, погоди, сейчас-то я знаю, что с тобой делать. Сейчас ты не уйдешь от меня. Сдам я тебя куда следует.

1965 г.

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Марина Цветаева

есной в Подмосковье, пряча лыжи на чердак, я заметил развешанные по стропилам кисти рябины, которую осенью сам собирал, сам нанизывал на веревки, а вот забыл о ней и, если бы не лыжи, не вспомнил бы. В давнее время на моей родине рябину заготовляли к зиме как еду, наравне с брусникой, и клюквой, и грибами. Пользовались ею и как средством от угара, от головной боли.

Помню, вымораживали мы тараканов в избе, открыли дверь и все окна, расперев их створки лучиной, а сами переселились к соседям. За зиму таким способом избавлялись от тараканов почти в каждом доме. В лютый мороз пройдет несколько дней — и ни одного прусака в щелях не остается. Вернулись мы в свою избу через неделю, мать принялась калить печь, да закрыла трубу слишком рано, не рассчитала, и к вечеру мы все валялись на сыром иолу, как тараканы. Не знаю, что с нами было бы, если бы не мороженая рябина. Странно, может быть, но сейчас вспоминать об этом мне только приятно.

В Подмосковье я собирал рябину больше из любви к этим своим воспоминаниям о детстве да еще потому, что в прошедшем году уродилось ее на редкость много, и жалко было смотреть, как сочные красивые ягоды расклевывают дрозды.

На темном чердаке под самой крышей связки рябины висели, словно березовые веники. Листья на гроздьях посохли, пожухли и свернулись, и сами ягоды, перемерзшие за зиму, тоже чуть сморщились, вроде изюма, зато были вкусны. Свежая рябина — та и горьковата, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же как раннюю клюкву. Но и клюква, и рябина, прихваченные морозом, приобретают ни с чем не сравнимые качества: и от горечи что-то осталось, а все-таки сладко и, главное, никакой оскомины во рту.

Цвет рябиновых ягод тоже за зиму изменился: он стал мягче и богаче по тонам: от коричневого, почти орехового, до янтарного и ярко-желтого, как цвет лимона. Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше детства городского.

Не знаю, как это передать, объяснить, но всю жизнь я испытываю горечь оттого, что между мною и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани,— а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом.

В недавние годы бригадиры разыскивали в лесах и на заполосках жалкие стожки сена, по охапке собранные колхозниками в нерабочее время для своих коров, и либо вывозили их на колхозные гумна, либо сжигали на месте, чтобы не доставалось добро ни скоту, ни богу. В озноб кидало людей у таких жарких костров. Неужели подобное может встречаться еще и поныне?

Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же наконец будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый

сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь и кем они станут?..

По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная прозрачная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцинкованные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет носил воду на коромысле?

Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во всяком случае, они не крестьянские дети и потому не чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо.

Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в этом.

Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий занавес и мои многозначащие отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные дебри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек терпеть не могут. Да и то сказать, не каждый человек способен свыкнуться с этой нечистью на земле.

Запах скотного двора, унавоженных полей и соломы меня бодрит, я вспоминаю о свежеиспеченном хлебе, а для моих детей запах навоза только вонь, и ничего больше.

У художника Серова есть замечательная картина «Волы» — у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра. Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их привлекает больше трактор, а не живая лошадь, совершеннейшее из созданий природы. С машиной управляться легче, чем с живым существом...

Правда, и деревенские ребятишки теперь охотнее играют не в лошадки, а в трактор, в автомобиль, как во время войны играли в войну. И может быть, мои страхи преувеличены. Но все-таки мне почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души.

Мне думается, что жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека.

В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и потому не упускаю случая постоять перед ними за свою сельскую родословную, за своих отчичей и дедичей.

И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее, мороженую, я опять решил про себя: вот угощу — и почувствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.

Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво, пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие — целый букет. Но весной разных цветов так много, что эти белые кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до красот природы, не до поездки в деревню. Школьные перегрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да и осенью, когда на полосах поспевает горох, на грядках овощи, а в лесах грибы, брусника, княжая ягода, они, дети, должны быть в городе, за партами, и если что видят, то лишь на торговых лотках. А все-таки...

Но прежде чем встретиться со своей семьей, я со связкой рябины на веревке появился в кругу товарищей по работе. Всегда приятно чем-нибудь одаривать людей, и потому я особенно обрадовался, когда рябина моя взволновала моих знакомых.

Один из них, ширококостный, шумный, автор колхозных романов, первый шагнул мне навстречу, сказал «ого!», взял связку из моих рук, чтобы сначала ощутить ее тяжесть, покачал вверх-вниз и, как знаток, понюхал.

— Ого! — повторил он.— Вот это да! Рябина! Можно? Он отщипнул одну ягодку, затем другую, взял на язык, почмокал, разжевал.

— Неужель с родины?

— Нет, здешняя, подмосковная.

— Ты смотри! Сколько ни обламывают, а все жива... Вот что значит русская рябина!

И он стал осторожно перебирать сухие, плотно слежавшиеся бурые и серые листья и открывать, как бы развертывать гроздья янтарных и красных ягод.

— Да, северный виноград! Витамины! — причмокивал он.— У нас раньше под каждым окном в деревне два или три дерева обязательно росли. Были одноствольные, а то — кустом, от корня в четыре-пять стволов. Весной аромат по всей избе. Что за дом без своего садика под окнами! Мало под окнами, у нас даже за двором, на участке, где-нибудь около гумна отводили уголок для деревьев. Черемуху на участке обычно не сажали, от нее заразы много, на сладкое, как известно, всякая пакость лезет. А рябину сажали частенько. Наверно, ведь и в ваших местах палисаднички были? Все помнишь?

— Как не помнить! Любили и мы по черемухам да по рябинам лазить, хлебом не корми.

— Вот, вот,— обрадовался он,— хлебом не корми! А наши дети растут! Даже по крышам не лазят. Что за детство! Лошадей да коров только на картинках видят. Один рвется к бильярду, хлебом не корми, другой мечтает за руль сесть. И развязные какие-то... Мой младший на днях встретил старика Чуковского, Корнея Ивановича,— живого Чуковского! — и спрашивает: «Как жизнь?» Вроде по плечу похлопал. А потом заглянул к нему в открытый гараж и говорит: «Я не знал, что у вас ЗИМ!» Корней Иванович, конечно, расхохотался. Расхохочешься!

«Ну, к моим детям это не относится,— с удовлетворением подумал я.— Мои не такие, и, может, потому, что у меня их много и не так им просто и легко живется».

А он продолжал:

— Между прочим, у нас раньше пироги пекли с черемуховыми ягодами. Зубы у всех были крепкие, ешь — хруст стоит. А из рябины не помню, что делали... Спелые кисти ее раскладывали на зиму промеж оконных рам, это уже для красоты. На белых листочках из школьных тетрадей — красные крапинки... И на рушниках вышивали рябину — хорошо!..

Воспоминаний сельского романиста, его красноречия уже невозможно было остановить. Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре?.. Вспомнил!

— Знаешь ли, что в деревнях рябина спасает людей от угара? Зимой печи топят жарко, поторопится баба закрыть трубу, чтобы тепло сберечь,— и все в лежку лежат. Ну, принесут этакую вот связку с потолка и жрут. От наших морозов тараканы валятся, а рябина становится только слаще. Как говорится, что русскому здорово — то... и так далее. Что ты скажешь, проходит угар, голова не трещит. К чему все

эти пирамидоны, анальгины, тройчатки? То ли дело натуральная целебная сила! — И он, шумный, так захохотал, что можно было подумать, не смеется, а кричит на кого-то.— Твоя ягодка уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?

— Бери, пожалуйста, не одну.

Он взял и снова начал настраиваться на воспоминания:

— Да, вот ведь как, рябина... А все-таки, что мы такое из рябины делали?..

— Настоечку, настоечку из рябины делали, вот что! Как же забыть такое? — заинтересованно вклинился в разговор другой мой знакомый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой.

А третий неожиданно спросил:

— Что это?

— Рябина, конечно.

— Да? Рябина? — удивился он.— «Что стоишь, качаясь?» Откуда она у вас?

— Осенью красовалась под окном, а зимой висела на чердаке.

— Это интересно, расскажите, расскажите!

Еще не разобравшись толком, действительно ли ему это интересно, я стал рассказывать. Но что, собственно, было рассказывать? Чего такого он мог не знать про рябину?

— Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует?

— Как что интересует? Прежде всего — дикая рябина или садовая?

— Была дикая, сейчас растет на участке. Принес из лесу несколько тоненьких, задавленных кустиков, пересадил под окна, на свободе они принялись, похорошели. Пока за рябиной ухаживаешь, заботишься о ней — она не дикая, и ягода крупнеет, добреет, а перестань заботиться — одичает рябина, запаршивеет, и ягода станет мелкой, горькой, чуть ли не ядовитой.

Любознательный друг мой засиял от догадки:

— Происходит, собственно, то же, что и с людьми?

— Собственно, то же,— подтвердил я.— Вот уже вторую осень от дроздов на моей рябине отбою не было.

— Очень интересно! И дрозды, значит, рябину любят?

— Как же, любят! Есть дрозд, которого так и зовут: рябинник.

Тут первый знакомый снова включился в разговор.

— А ты не замечал,— обратился он ко мне,— когда на

рябину урожайный год, дрозды, что ты скажешь, зимовать остаются? Не замечал?

— Замечал,— ответил я.

— Конечно, не все, а которые посмелее, самые отчаянные, так сказать.

— И не одни дрозды, наверно. Кстати, в этом году так и случилось: большие стаи птиц в наших перелесках остались на зимовку, уразумели, что от добра добра не ищут.

— Очень интересно,— заговорил опять городской книгочей.— Вот ведь какое дело! И как же вы ее приготовили, рябину?

— Что ее приготовлять? Обломал гроздья с дерева, прямо с листьями, как видите, взял веревку, привязал к ее концу палочку-выручалочку и нанизал гроздья на веревку. Вот и вся работа.

— Удивительно интересно! А что потом?

Я начал улыбаться забавной обстоятельности его вопросов. Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный, чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония. Другое дело — если бы дети мои так же интересовались всем, что касается моего детства!

— Что потом, говорите? А попробуйте! — И я с готовностью протянул ему раскачивающуюся цветастую гирлянду.

— И что же, ягоды замерзли зимой? — продолжал допрашивать меня горожанин.

— Ледышками стали. Да вы отведайте, не бойтесь!

— А вкус их изменился от этого? Кислые они или какие?..

Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими, но так и не решился взять в рот ни единой рябиновой ягодки. Что же, выходит, я должен жалеть и его? Хватит ли у меня жалости на всех?

— Ах, что за прелесть, что за прелесть! — восторженно заахала вдруг накрашенная немолодая дама, печатавшая в газетах очерки на морально-бытовые темы.— Это же диво дивное, чудо чудное! И как па-ахнет! Можно я понюхаю?

— Может быть, хотите и попробовать?

— С удовольствием! И вы не пожалеете?

Она быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и заахала еще энергичней.

Я снял сверху несколько кистей, протянул ей.

— Ах, что вы, ах, зачем вы! — обрадовалась она.— Разъединять такую прелесть, такое творение природы! Как можно! — Но гроздья рябины приняла. Приняла бережно, из рук в руки, как если бы это был сигнальный экземпляр ее новой книжки. Затем вынесла из своей комнаты огромный оранжевый апельсин и не отступилась, пока я не согласился взять его взамен рябины.

— За добро надо платить добром! — многозначительно сказала она.

А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой — «Вот так!» — и не переставала ахать от восторга и удовлетворения:

— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!

Сама Россия!.. Я вспомнил о Бобришном угоре на моей родине.

Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток,— вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает, ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любуются сами собой...

Хлынет дождь — и засверкает весь речной берег. Стекает вода с рябиновых кистей, капелька за капелькой, ягоды красные и капли красные; где висела одна ягода — сейчас их две, и обе живые. Чем больше дождя, тем больше ягод в лесу...

Все, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но такое не заметить трудно. Вскинешь голову и неожиданно для себя, как после долгой отлучки, и словно бы уже не глазами, а каким-то внутренним, духовным зрением увидишь всю эту красоту в удивительно чистом завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз, все заново, и радуешься за себя, что увидел. Ни наяву, ни во сне этого забыть никогда нельзя. Вот она какая, наша рябина!

Недаром же, истосковавшись по родине, русская поэтесса, сколь ни уверяла себя и других, будто ее уже ничто не может обольстить, что ей «все — равно и все — едино», все безразлично, под конец стихотворения признавалась:

Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

Дальний мой родственник, химик Аркадий Павлович Ростковский, которого судьба забросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России Ташкент, влюблен был в экзотику Востока, во все эти древние мозаичные медресе, и лепные мечети, и караван-сараи, даже чай пил только из пиалы, а все-таки настойчиво, до конца дней своих пытался заставить расти у себя под окном простую русскую рябину. Правда, не удалось это ему...

Конечно, и рябина может примелькаться. Однажды ко мне на Бобришный угор, в мою охотничью избу, приехал осенью друг из Ленинграда. Я не знал, чем порадовать его, а он глянул поутру из окна и, как заговорщик, шепнул мне:

— Под окном-то у вас красавица стоит, не видите?

Я с перепугу принял его слова всерьез, бросился к окну и ахнул: под окном действительно стояла настоящая красавица. Рябина! Как же я раньше ее не заметил?

Сама Россия!.. Вспомнил я и о цветочных горшках на окнах городских квартир, о маленьких жалких клумбочках во дворах многоэтажных зданий, а то прямо у лестниц, справа и слева от входных дверей, о клумбочках, выхаживаемых кропотливо и бережно горожанами. Все они, сознавая или не сознавая, тоскуют по настоящей природе. Горшки и клумбы — разве это природа?

— Позвольте-ка причаститься и мне! — протиснулся к рябине сквозь толпу пожилой грузный литератор с седыми усами, в коричневом шерстяном свитере, в черной академической шапочке на голом черепе.— Редко я сейчас ее вижу, а в юности, бывало, мы носили ее с реки целыми корзинами, пестерями. А то затянем пояса потуже и набьем под рубахи вокруг себя, прямо к голому телу, сколько могло уместиться. С реки отправляемся толстые, как бочки, а по дороге едим да в дудочки постреливаем, и чем ближе к дому, тем тоньше становимся. Как это точно сказать: т о н ч а е м, т о н е е м, у т о н ч а е м с я? — Начались муки слова! — Нет, у т о н ч а е м с я сказать нельзя, смысл другой... Самая бесподобная рябина, конечно, мороженая. Кстати, от угара хорошо помогает...

И он стал вспоминать о том самом, о чем мы уже переговорили. Мы не перебивали его.

— Человек не может не тянуться к природе, он сам ее творение,— сказал он наконец.

— За чем же дело стало? — спросили его не без упрека

сразу в несколько голосов.— Ехали бы в деревню, жили бы на подножном корму, примеров немало.

— Э, молодые люди! Вы, кажется, злитесь? А рассуждали, наверное, о союзе с природой, о том, что она смягчает нравы? Дело простое: сначала нужен был институт, затем потребовались издательства, журналы... Затем городская жена появилась... Сейчас, к сожалению, я уже не могу спать на сеновале и носить воду из колодца. Вот в будущем, на которое мы сейчас работаем, должна наступить гармония между городом и лесом. Зеленоград! Для меня это звучит, как, наверное, для первых русских революционеров звучало слово «социализм»...

По-разному относились знакомые к моему угощению и разными глазами на него смотрели.

Какая-то девушка воткнула рябиновую кисть себе в прическу и тотчас побежала к зеркалу: в черных волосах ее заблестели почти настоящие рубины. Потом она попросила еще две-три кисти ягод, чтобы сделать из них бусы.

— Я каждую ягодку лаком покрою,— объяснила она.

Молодой поэт сказал:

— Сколько песен сложено о рябине, а еще хочется. Ветку рябины надо бы вписать в наш герб...

Случись художник, и он, вероятно, сказал бы нечто подобное:

— Сколько картин написано, а еще одной не хватает. Моей! Странно, что в лепных орнаментах у наших архитекторов много винограда и нет рябины...

А гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:

— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житье вспомню. Раньше у нас девки рябиной милых привораживали. Помогало. Я уж отворожила...

Ягод у меня было много, я не боялся, что их не хватит для моих детей, только неотступно думал о том, как они примут их, понравится ли им моя северная, моя деревенская снедь.

Но больше всех поразил меня последний из подошедших. Он просто по-дружески сказал мне:

— Слушай, Сашка, продай мне все это!

— Как это продай? — растерялся я.

— Ну так, все эти «витамины». А не хочешь продать —

отдай так, я тебе тоже подкину какой-нибудь сувенирчик.— И он стал рыться в своих многочисленных широких карманах, небрежно раздергивая серебристые змейки-«молнии».

Нужна ему моя рябина! Но я все-таки дал веточку и ему. При этом мне очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!»

Но я ничего не сказал.

После разговора с ним я быстро покинул дом, где жили и творили мои товарищи.

А дети взялись за рябину сначала недоверчиво, морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. Но скоро они набросились на рябину азартно, съели ее всю с удовольствием и все упрекали меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.

— Это же совсем разные вещи! — говорила мне старшая дочь.— Неужели ты не понимаешь? Это разные рябины.

Вот оно как, я же и виноват оказался. Ладно, кушайте, раз по душе пришлось! И пусть она спасет и вас от любого угара, наша рябина.

А под конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:

— Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, наберем, а? Той, вашей! Только ведь осенью опять в школу надо...

Март 1965 г.

ПЕРОВСКОЕ ОЗЕРО

За окном в зимней ночной темноте воет ветер, а Федору Игумнову хочется думать, что воют волки. Дом Екатерины Ивановны, у которой он живет на квартире, стоит на окраине районного городка, дальше идет спуск к реке, еловый лес,— почему бы в этой глухомани ночью не выть волкам?

Метель метет, в окно хлещет снег, а Федору Ивановичу воображается, что это морской шторм бьет по мерзлым стеклам. И узоры на стеклах от соленой морской воды. Эка невидаль — метель, а морской шторм — вот это настоящая природа, хотя в жизни своей ни шторма, ни самого моря Федя еще не видал.

«Между прочим, метель и вьюга — одно и то же или нет?» — думает он.

Федор Игумнов учится в сельскохозяйственном техникуме, ему скоро исполнится семнадцать лет. Техникум — это среднее учебное заведение, значит, Федор уже не учащийся, а студент. Учащимся он считался в семилетке, ну и хватит с него. Сейчас Федор Игумнов обижается, когда его по-прежнему называют учащимся: он студент, а не учащийся, понятно вам это?

Ветер воет в печной трубе где-то на крыше, вот-вот заберется в комнату. Вздрагивает дом, на чердаке стучит неплотно пригнанная дверка. Качается электрическая лампочка под потолком. На печи ворочается и вздыхает Екатерина Ивановна, хозяйка, наверно, опять молитвы шепчет.

Странное дело, она всю жизнь боится, когда по ночам свистит ветер и метет метель. Зима длится почти полгода, чуть не каждый день то морозы трескучие, то метели, пора бы к ним и привыкнуть! А она все боится чего-то, крестится и бормочет молитвы.

Наверно, летом она боится гроз?

Федор перекладывает на столике тетради, книги. Заниматься ему не хочется, скучно заниматься в такую волшебную погоду. Завывание ветра за стеной и постукивание чердачной дверцы будоражит его. А тут — «Тетрадь по семено-

водству», «Машиноведение Федора Игумнова». Разве не скучно?

И что это за фамилия у него — Игумнов? Гумна, гуси-гуменники, игумен... Серая фамилия! Вот если бы: Громов! Или, скажем, Дубровский! Или — Стабриков!

Учитель по естествознанию в техникуме — Стабриков! На свете, наверно, нет ни одной птицы, которой бы он не знал по имени. Бывало, засвистит в классе по-птичьи и спрашивает: «Скажите-ка, чей это голос?» «Человек должен жить в лесу!» — часто повторяет он. А что, разве не верно? Почему человеку нужно ютиться в городах, как в гаражах, четыре квадратных метра на живую душу?

Стабриков Кондратий Ефимович — вот это человек!

Или еще: Рыжков Михаил Никифорович, учитель по рисованию. «Самый большой художник — сама природа! — говорит Михаил Никифорович.— Присмотритесь к закату или к восходу — это природа пробует на небе свои кисти, это ее мазки, ее многоцветная палитра».

Кстати, почему опять же — учитель, а не преподаватель? Учитель — значит, и ученики, а не студенты. Но ведь техникум — среднее учебное заведение, а не семилетка...

Час ночи. Федор Игумнов решительно встает со стула, надевает валенки, ватник, заменяющий ему лыжный костюм, накручивает вокруг шеи шерстяной шарф домашней вязки, концы шапки-ушанки завязывает под подбородком, рукавицы сует за пазуху.

— Куда ты, Феденька, полуночь, наверно? — встревоженно спрашивает его Екатерина Ивановна.

— Схожу на лыжах, погода очень хороша.

— Вот те на — погода! А простудишься опять, да приедет мать, что я ей скажу?

— Не простужусь! — говорит Федор.— Погода очень хороша.

В углу темных сеней он нащупывает лыжи и, сняв железный крючок с двери и отодвинув железный засов — все ощупью,— выходит во двор, потом через заскрипевшую калитку — на улицу.

На улице тоже темно, как в сенях, ни земли, ни неба не видно. Окраина городка не освещена, только в какой-то дальней избе посверкивают два огонечка,— Федору они кажутся волчьими глазами.

Сумасшедший ветер набрасывается на него сразу со всех сторон, старается покачнуть, свалить, кидает снегом в лицо — приятно!

Федор становится на лыжи, подвязывает их, надевает рукавицы и, опираясь на палки, трогается с места, пробует, хорошо ли скольжение.

Сзади громко, на всю улицу, хлопает калитка,— значит, он забыл закрыть ее на задвижку. Не снимая лыж, он разворачивается, наглухо закрывает калитку и теперь, уже рывком, совсем отваливает от дома. Но не туда, где светятся огоньки, как два волчьих глаза, не в сторону городка, а к реке, в лес, в кромешную сумятицу ночи. Только там, в лесу, могут быть настоящие волки.

Страшно? Пусть будет немного страшно! Зато он теперь наедине с природой, лицом к лицу с ветром, с метелью, с вьюгой.

«Здравствуй, ветер, снежный ветер! — настраивается он на поэтический лад.— Сегодня ты мой единственный друг и товарищ на всем божьем свете. Дуй, ветер, пока не лопнут щеки! Только тебе я могу рассказать, что творится в моей душе, какие силы непомерные таятся во мне, какие планы зреют, как много в душе моей любви, много всего... Только ты, ветер, один можешь меня понять. Вот тебе моя грудная клетка, слушай,— уже не крик, а стон...»

Федя скользит на лыжах по заметенной наполовину дороге вниз к реке и сначала только думает обо всем этом, а потом это же самое начинает произносить вслух, декламировать. Освоившись с темнотой, он различает уже огромные мохнатые ели по сторонам дороги, изгородь из жердей, телеграфные столбы, наконец, ближе к реке, черные кусты можжевельника, широкие и причудливые, как привидения.

Федор бывал в этих местах не раз в дневное время, знает очертания каждого куста, каждой ели, знает, что не может быть здесь никаких волков, никаких привидений, но ему хочется думать, что есть на его пути и волки, и привидения. И еще хочется думать о том, какой он бесстрашный, какой необыкновенный...

— Я люблю тебя, ветер! — кричит он, все сильнее налегая на палки.— Ты живой! Ты не просто «перемещение воздуха в пространстве от разности температур», ты — ветер!

На крутом береговом склоне вблизи картофелесушильного завода Федор наугад направляет лыжи через высоченный трамплин, но вовремя спохватывается, свертывает в сторону: риск слишком велик. С этого трамплина даже днем не каждый решается прыгать, а прыгать ночью, в темноте

да в метель, когда за десять шагов ничего разглядеть нельзя,— легко и голову свернуть. Голову сворачивать Феде Игумнову не хочется. Рано еще!

Вот если бы свидетель, только один свидетель... одна свидетельница!..

«Интересно бы все-таки узнать,— думает Федя,— в каком это доме горят огоньки, два окошечка? — Мысль об этих светлых точках в ночи не оставляет его, что бы он ни декламировал, с чем бы ни обращался к ветру.— Уж не Кланя ли Чеботарева сидит так поздно? Похоже, что огонь горит там, где ее дом. Если это не спится Кланe Чеботаревой, то интересно бы узнать, чем она занимается, о чем думает? О ком думает?..»

Снег хлещет в лицо, попадает за уши меховой шапки, проникает к кистям рук меж ватником и рукавицами, снег оседает на бровях, на ресницах. Холодные талые капли текут по щекам, в рот,— хорошо!

Федор распахивает ватник и держит полы, как парус, лыжные палки висят на кистях рук. Ветер надувает полы ватника, и вот он уже мчится не на лыжах, не в снежном поле, а в море на буере. Если бы Кланя это видела! Если бы она была рядом с ним!

«Заболеть бы сейчас, простудиться бы!» — думает он.— И чтобы Кланя узнала и пришла бы к нему сама, прямо на квартиру, к Екатерине Ивановне, посидела бы около его постели, а то прямо — в больницу, в палату. «Как он себя чувствует, выдержит ли?» — спрашивает она врача. «Что вы, этот парень все выдержит! — отвечает ей врач.— Вы посидите около него, поразговаривайте с ним, ему больше ничего и не надо».

А еще лучше, если бы на него напали волки, ну хотя бы один волк! Порвал бы на нем ватник, искусал бы лыжную палку, которую Федя, конечно, сунет ему в пасть. Завтра, днем, эта новость облетит весь городок, на квартиру к Феде сбегутся его товарищи, студенты техникума, будут рассматривать искусанную палку и порванный ватник... А среди них, где-то, наверно, сзади, будет стоять Кланя Чеботарева и восторженными, сияющими глазами смотреть не на ватник, не на палку, а на него, на Федора Игумнова. Вот тебе и гусь-гуменник!

А ведь может и такое статься: сунет он лыжную палку волку в пасть, сорвет с себя ремень и ремнем стянет ему челюсти, потом свяжет ноги и принесет его — сейчас же, немедля! — прямо в избу к Екатерине Ивановне. «Смот-

рите, Екатерина Ивановна, какой я гостинец из лесу приволок!..»

Кланя Чеботарева! Милая, чистолицая, всегда веселая, с ямочками на щеках, с лукавыми, смеющимися, что-то обещающими глазами. Носит она шерстяные цветные кофточки. Даже если не юбка, а платье на ней, все равно поверх надета кофточка, то распахнутая, то застегнутая на все пуговицы. Кланя Чеботарева! Все знают, что она пишет стихи, хорошо рисует, ведет в техникуме рукописный журнал «Наше творчество». Но это все — так. А есть в ней еще что-то, что-то такое, из-за чего Федя не может не думать о ней, только о ней, все время о ней, дни и ночи о ней. Вот только почему в нее влюбляются все его товарищи и все разговаривают с ней, а он только письма ей пишет.

Что-то такое есть в ней, в Клане Чеботаревой,— но что это «что-то такое», Федя не знает. Почему же тянет именно к ней и ни к кому другому. Может быть, и в нем самом есть «что-то такое»? Тогда почему же ее не тянет к нему? А может быть, тоже тянет, только он не замечает этого?

Эх, заболеть бы! Простудиться бы!..

* * *

...Все началось год назад, нет, уже полтора года назад, в школе, на выпускном вечере седьмых классов. Ночи весной коротки, да это уже и не весна была, а лето, первые числа июня, и прощальный вечер затянулся до самого утра, до восхода солнца, хотя на торжественную часть времени ушло немного.

Директор Аристарх Николаевич, который до этого казался Феде Игумнову старым-старым, произнес, как всегда, речь, но такую необычную, не директорскую, что у многих семиклассников слезы на глазах выступили. А Федя Игумнов вдруг увидел, что вовсе он не старый, их директор, а совсем еще молодой; сам же он и все его товарищи по классу вдруг показались взрослыми. «Скоро к каждому из вас, друзья мои, придет любовь!» — сказал Аристарх Николаевич, и это было так удивительно, что поначалу в зале кто-то даже хихикнул: Аристарх Николаевич — и вдруг заговорил про любовь! А говорил он не только о любви к работе, к Отечеству, а и о той любви, которая до тех пор считалась в школе почти под запретом. Да еще: «Друзья мои!»

Торжественная часть вечера, собственно, на этом и за-

кончилась. Вернее, официальная часть. После того как директор заговорил о любви, ничего официального, казенного уже не могло быть. В душе у ребят запели действительно торжественные струны. А с Федором Игумновым именно в этот момент и произошло то самое «что-то такое», без чего он уже не мог больше жить ни одного дня.

Кланя Чеботарева случайно сидела с ним рядом. Но разве это могло быть случайностью? Правда, до этого он ее почти не замечал. Но ведь это казалось только, что он ее не замечал. Могло ли быть когда-нибудь, чтобы он ее не замечал?

— К тебе любовь тоже скоро придет? — вдруг шепнула она ему и засмеялась тихо, беззвучно, а на щеках заиграли ямочки, те самые ямочки. Не может быть, чтобы их он тоже не замечал раньше?

— Не знаю! — смущенно ответил Федя.

— А ты влюбись!

— В кого?

— В меня влюбись!

И Федор Игумнов влюбился в нее. Какая же тут случайность?

Выпускной вечер сразу после этого стал для него праздником. Федя почувствовал, что жизнь его начинается заново, все заново. Многих своих товарищей он, вероятно, больше уже не увидит никогда,— разъедутся ребята в разные стороны, кто учиться, кто работать. Сам он давно решил, что будет учиться во что бы то ни стало. Неважно даже где, на кого, только бы учиться. А куда уедет Кланя Чеботарева, он еще не знал, и теперь, когда произошло «что-то такое», он уже не мог спросить ее об этом. Он вдруг потерял способность разговаривать с нею. Только что мог разговаривать о чем угодно, но не разговаривал, а может, разговаривал, да не замечал, что разговаривает, и вот уже не может ни о чем говорить. А ведь она, конечно же, уедет куда-нибудь, может, завтра же. Может, она уже давно знает куда: будет поступать учиться или пойдет на работу. А если она никуда не уедет из городка,— она же здешняя, городская,— так все равно он сам завтра должен уехать на лето в свою деревню, в колхоз, к родителям.

И Феде стало тревожно и грустно. Что с ним теперь будет, как он будет жить дальше? Выпускной вечер превратился для него в прощание не только с товарищами, со школой, а еще с чем-то, со всей своей прежней жизнью, с самим собою прежним.

После выступления доморощенных артистов и деклама-

торов начались танцы под баян. Кланя танцевала со всеми, кто хотел танцевать с нею. А танцевать с нею хотели все. Федя впервые заметил, что ребята охотно приглашают ее, что у нее не было ни минуты свободной.

Когда она кружилась в вальсе, шелковая черная юбка ее широко раскручивалась, развертывалась, приподымалась, как лепестки игрушечной Дюймовочки. К вальсу Кланя относилась серьезно, была сосредоточенна и не улыбалась, а фокстротила с озорством, наклоняя голову то вправо, то влево, раскачивалась и даже притопывала. Уморившись, она забросила куда-то свою шерстяную кофточку, и глаза ее сияли, и белая блузка тоже сияла. Ямочки на ее разгоревшихся щеках не давали Феде покоя.

Конечно же, никто так сильно не хотел танцевать с Кланей, как он, но, вероятно, именно потому он и не решился ни разу пригласить ее. Хотел и не мог. Он только ходил по залу вокруг танцующих и останавливался то в одном месте, то в другом, стараясь держаться поближе к Клане. И когда Кланя проносилась в вальсе мимо него, от ее расколоколившейся юбки веяло на Федю жарким волнующим ветром. Федя боялся приглашать ее, ему казалось: пригласи он Кланю, и все сразу поймут, почему именно ее он пригласил, и все будут смотреть только на него одного.

Как легко жилось ему раньше, когда он не был влюблен!

После танцев началась игра в «ручеек».

Вот «ручеек» — иное дело. В его шумном потоке не сразу можно было разобраться, кто о чем думает, кто чего хочет. Ребята и девушки брались за руки и становились друг против друга, образовав длинный живой коридор. Две шеренги, как два берега ручейка, сплетенные руки над ним — живой навес из ветвей. Кто-то лишний, пригнувшись, пробегает под этим навесом с одного конца «ручейка» до другого и хватает на ходу за руку того, кого ему хочется: парень девушку, девушка парня. Оставшийся без пары в свою очередь пригибается и бежит в другую сторону, хватая на ходу кого ему нужно, и становится, уже вдвоем, на другом конце зала. Так и переливается «ручеек» из конца в конец. Ничего особенного, а можно, оставшись без пары, взять за руку не кого-нибудь, а именно Кланю, и никто тебя не осудит, не заподозрит ни в чем. Можно стоять и молчать, если язык отнялся, только руку ее жать крепко-крепко, со значением. Весело, шумно! Ты в толпе и в то же время — наедине с н е ю.

— Ты почему все меня выбираешь? — спросила Кланя.

— Ты же сама сказала...

— Чего я сказала?

Федя покраснел весь, напрягся, чтобы ответить, но не успел: руку Клани выхватили из его руки, а он, не столько огорчившись, сколько обрадовавшись, что не надо отвечать, тотчас согнулся в три погибели и ринулся в другой конец «ручейка».

Далеко за полночь выпускники покинули стены школы.

— «Караул» устал! — крикнул кто-то, имея в виду школьную сторожиху, и толпами, и парами они вышли на улицу.

Вот когда началось самое трудное для Игумнова. Кланя могла исчезнуть немедленно и навсегда. Надо что-то сказать ей, о чем-то договориться. Что сказать? О чем договориться? Надо сделать хотя бы так, чтобы Кланя знала... А что она должна знать, если он и сам еще ничего не знает и не понимает?

А знать она должна, что он ее любит. Но разве это и есть любовь?

Да! Кто это все выхватывал ее руку из его руки? Кажется, длинный Митя Ржаницын? Или Андрюшка Второв? Федя начинает восстанавливать в памяти всю игру в «ручеек». И Митя Ржаницын, и Андрюшка Второв часто выбирали Кланю. Означает ли это что-нибудь или это ничего не означает?

— Пойдемте на Перовское озеро, ребята! — крикнул кто-то.

Как это странно, что на улице оказалось уже утро. Ранний матовый свет, как легкий теплый туман, обволакивал неподвижный город, небо еще не розовело, а густолистые деревья перед каждым одноэтажным домиком казались черными. Ни одной живой души на тротуарах, и птицы еще не пели, а свет ширился, и непонятно было, откуда он шел.

— Пойдемте на Перовское, ребята! — предложил и Митя Ржаницын и взял под руку Кланю.

Федя Игумнов сразу успокоился,— значит, Кланя не исчезнет, он даже обрадовался тому, что Ржаницын взял ее под руку.

— Правильно, пошли на Перовское! — крикнул он восторженно и громко.

Перовское озеро было излюбленным местом молодежи, особенно в весеннюю пору. Широкие поемные луга за рекой, таинственные хвойные рощи и просвечивающие насквозь перелески, зеленые холмы и лывины, наконец, собственно

озеро, образовавшееся в старом русле реки, заросшее осокой и кувшинками и прикрытое с берегов кустарником,— все это называлось Перовским озером. Велико ли оно было, глубоко ли, куда и откуда текло и текло ли вообще куда-нибудь, и сколько было лесу вокруг него, сколько лугов? — вряд ли кто-нибудь знал. Начнешь бродить по излучинам, попадешь в какое-нибудь колено — справа вода, слева вода,— и страшно становится: выберешься ли? А соловьи весной по кустам поют день и ночь, смолкнут в одном конце, защелкают в другом. Соловьи — это то же Перовское озеро.

Реку перешли по лаве. Две-три жердочки на колышках, перетянутых размятыми березовыми вицами, да жердочка-поручень с одной, с правой стороны. Идешь, все под тобой дрожит и качается, хочешь — смейся, хочешь — плачь. Туман над рекой густой, чуть зазеваешься — и полетишь в воду. Ребята смеялись — что им еще оставалось? — девушки вскрикивали и визжали от страха, но всем одинаково было весело.

Далеко слышен был заливистый соловьиный голос Клани — по лаве переводил ее Митя Ржаницын. Федя шел где-то сзади, прислушиваясь к их разговору и начиная все больше ненавидеть Ржаницына. А когда, на другом уже берегу, рядом с Кланей оказался Андрюшка Второв и голос ее звучал все так же звонко и разымчиво, ненависть его переметнулась на Андрюшку.

На Перовском озере, среди темного леса, туман был гуще, чем над рекой, словно утро там еще не наступало. Ребята облюбовали зеленый травянистый холмик и среди берез разложили небольшой костер. Появился огонек — появился и ветер. Нижние ветви березы над костром зашумели и затрепетали, тревожно приподымаясь, словно хотели уберечь свою молодую листву от огня.

Подсохшие листья ребята разминали, завертывали их в «козьи ножки» и курили. Конечно, это был не табак, но дым изо рта, из ноздрей шел настоящий, и это казалось тоже вступлением в новую, взрослую жизнь. Настоящий табак тоже был кое у кого, но курить березовые листья казалось интереснее.

«Друзья мои, скоро каждого из вас посетит любовь!..» — вспоминались слова Аристарха Николаевича. Скорей бы! Ребятам было весело курить, кашлять и смеяться над собой. А девчата кидались на выручку каждому, кто заходился в кашле, и колотили кулаками по спине.

Потом запели песни.

Федору казалось, что невесело было только ему одному. У костра не было ни Митьки Ржаницына, ни Клани Чеботаревой. Они вдвоем ходили по берегу озера взад-вперед, то исчезая в тумане, то выплывая из него, и, когда они исчезали, он впадал в отчаянье: что они там делают, о чем говорят? Успокоился он немного, и то ненадолго, только тогда, когда к Ржаницыну и к Кланe присоединился Андрюшка Второв.

Удивительно, как просто он это сделал! Шумел, курил у костра, потом вдруг увидел их, крикнул: «Эй, вы, иду к вам!» — и догнал их. И все. Стал ходить вместе с ними. Конечно, Федор о таком и помыслить не мог. Горькая, стыдливая зависть мучила его и, пожалуй, ненависть к этим двум счастливчикам — Ржаницыну и Второву. Но еще больше ненавидел он самого себя, недотепу, за то, что не может вот так же просто подойти к Клане, как они подходят.

У костра пели песни: «Я люблю тебя, жизнь» и «Летят гуси», деревенские частушки и «Сулико». Федор не хотел петь песни, не хотел веселиться, он хотел тосковать, грустить. Отойдя в сторону, он осмотрелся — куда бы забраться, чтобы его никто не видел, а он бы видел всех, перемахнул через заболоченный ручеек, обогнул два-три куста и лег лицом вниз в густую пахучую траву на бугорке, как на необитаемом острове. Пусть-ка поищут теперь его, когда хватятся, пусть покричат!

Но никто Федора не искал, никто даже не заметил, что его вдруг не стало, и, наверно, никто не вспомнил о нем. В траве у самых его глаз ползала какая-то зеленая и серая мелочь, иногда пробегали одинокие муравьи, пробовал настроить свою скрипку сонный кузнечик,— шла жизнь, утверждалось утро. Федор лежал один и жалел себя. Стоит ли сейчас вспоминать, о чем он думал тогда?.. Слезы, конечно, тоже были, но ведь их никто не видал... Не стоит вспоминать!

Солнце вылезло из-за леса, туман над озером словно в воду ушел. Ребята и девушки попели, покричали и двинулись в обратный путь. Федор от обиды, что о нем забыли, проводил их глазами, не поднимаясь из травы, и вернулся домой последним, один. С Кланей в ту весну он так и не поговорил ни о чем.

А потом было лето, работа на колхозных сенокосах, на полях, рыбная ловля, первые ягоды в лесу, первые грибы, кое-какая подготовка к вступительным экзаменам в техникум — много чего было летом! Жизнь в деревне проще и

думы о ней легче. Все городские радости да и обиды городские почти не вспоминались.

Осенью, поступив в техникум, Федор встретил Кланю Чеботареву и с трудом узнал ее, так она повзрослела. Оказалось, учиться они будут вместе, но ее почему-то приняли без экзаменов.

— Каким ты мужиком стал! — не то с восхищением, не то с испугом сказала Кланя и ласково задержала его руку в своей руке.— Вот сейчас в тебя и влюбиться можно.

И Федор снова влюбился в нее.

И вернулись к нему прежняя робость и прежняя ревность. Опять он боялся заговорить с Кланей, краснея, вновь опускал глаза, неловко топтался на одном месте, не знал, куда деть свои сразу становившиеся непомерно длинными руки, а если встречался с ней в городе, то старался либо свернуть в первую же калитку, либо торопливо переходил на другую сторону улицы. Но он уже и не молчал, как раньше: он писал ей письма. Кланя не отвечала, но и не запрещала писать, а в техникуме во время занятий и в коридоре на переменах поглядывала на него так ласково, так доброжелательно, что ему хотелось писать еще и еще.

Много времени минуло с того прощального весеннего вечера в школе и утра на Перовском озере, бесконечно много,— так по крайней мере казалось Федору Игумнову, а изменилось ли что-нибудь в его судьбе? Счастлив он или несчастлив? Разве сам он знает об этом? Знает только, что к нему «пришла любовь» и что она настоящая. А счастлив или несчастлив? — об этом надо еще думать да думать!..

* * *

...На реке меж берегов, как в большом корыте, ветровые вихри взбивают мутную снежную пену, она шипит, пузырится, бугрится, заслоняя все вокруг, лопается и опять вздымается.

Федор остановился, смахнул с лица рукавом ватника тающие снежные хлопья и оглянулся: ни города, ни тех огоньков в окнах, похожих на волчьи глаза, не было видно. Тогда он поднялся на противоположный берег реки, ставя лыжи не прямо, а то лесенкой, то елочкой — прямо на крутой берег реки не выберешься,— и оглянулся. Нет, огоньков не видно. Ничего не видно!

И ему стало тоскливо и одиноко в этом ночном мире, как в беззвездном небе.

Шумит лес, плывет снег, плывет земля из-под ног. По-

медли еще немного — и никогда не вернешься домой, к Екатерине Ивановне, в теплую комнату с качающейся лампочкой под потолком. Навсегда исчезнут и этот берег, и городок, и все мечты о большой жизни, и Кланя — все! Навсегда!

Федор разворачивается, не сходя с места, только поднимая и ставя лыжи в обратном направлении, в свой же след, затем резко отталкивается и мчится вниз, в русло ледяной реки, как в бездну. Старая лыжня уже заметена, при спуске он ныряет в какую-то черную яму, будто в прорубь, и с головой зарывается в рыхлый пушистый сугроб.

Вставать ему не хочется, он только выбирается из сугроба, вытирает лицо, глаза и остается лежать на снегу, как в сене, отбросив палки, раскинув руки.

В памяти опять возникают стихи любимых поэтов, и он декламирует:

Черным крестом лежу в темноте,
Точно могила в поле.

Ах, Кланя, Кланя!..

Летом в деревне взрослые девушки, встречаясь, улыбались ему озорно и туманно. На сенокосе, словно по сговору, они толкали его в навалы свежего колючего сена и тискали, пробуя его силу и податливость на ласку. Что бы ей, Клане, быть там, между ними! Что бы ей, а не другой стоять на озороде с граблями и подхватывать плотные душистые пласты, которые он подбрасывал вилами на высоту двухэтажного дома, и разравнивать их по промежкам, и утаптывать! А потом, когда стог смётан и останется лишь завершить его, спускалась бы она вниз по крайнему стожару, игриво повизгивая от страха и прикрывая юбочкой стыдливо ноги свои, обутые, конечно, уже не в городские туфельки на гвоздиках, а в простые деревенские ботинки либо в кирзовые сапоги (интересно, как бы она выглядела в липовых лаптях, которые на сенокосе носят и поныне, потому что они легки и удобны?), спускалась бы она с высокого стога, как с неба, а он бы стоял внизу с жадно поднятыми руками и ждал бы ее долго-долго и, наконец, принял бы сначала на плечи, а потом прямо себе на грудь. Что бы ей, Клане, а не другой какой, бегать с ним в полуденный перерыв в кусты за смородиной, за спелой вяжущей черемухой, а потом сидеть у костра перед шалашом, кашеварить и есть с ним из одного котелка жирные мясные щи!

«Человек должен жить в лесу!» — говорит Кондратий

Ефимович Стабриков. Он, Федор Игумнов, стал бы жить в лесу всю свою жизнь, только чтобы с ним была Кла́ня Чеботарева.

— Кланя моя, Кланя! — шепчет Федор, прикрываясь рукавицей от ветра.— Если бы ты знала, сколько я о тебе думаю! Все во мне живет для того, чтобы тебя любить. А сколько раз я во сне тебя видел! Сотни снов! Сколько ночей, столько и снов, и все о тебе, Кланя. Лицо твое всегда передо мной, лик твой. Ликует душа моя, ликом твоим наполняется.

И в памяти его опять всплывают стихотворные строчки — без этого он не может:

А улыбка! Ведь какая малость,
Но хочу, чтоб вечно улыбалась.
До чего тогда ты хороша,
До чего доступна, недотрога!
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа!

Холодно все-таки! Ветер уже под ватником, под шапкой, забрался в валенки, трогает пальцы ног. Подобрав палки и с трудом освободив лыжи из-под снега, Федор встает и скользит обратно, стараясь убежать от ветра, от вьюги.

Вот уже и река позади и перед глазами знакомые очертания изгородей, а вдали, совсем рядом, приветливый теплый огонек в чьем-то окне — не два огонька, а теперь почему-то один, как маяк в море. Конечно же, это Кланя Чеботарева не спит. Федор в этом почти уверен. В мире существует для него теперь только она одна, Кланя Чеботарева, да еще под ее окном он сам.

И он бежит на огонек, к ее окну, все ближе, ближе, чтобы заглянуть в него либо ком снега в стекло бросить.

Останавливается он совсем близко от дома и вдруг узнает, что пришел не к дому Клани, а к своей калитке, и свет горит в его собственной комнате.

Сквозь морозные узоры на стекле виден профиль Екатерины Ивановны. Старой Екатерины Ивановны, а не Клани. Но разве она, Екатерина Ивановна, в этом виновата? Не лежится ей на печи, сползла, волнуется, сидит, его ждет. Милая добрая старушка, совсем чужая ему и такая родная! Кажется, нет у нее других забот в жизни, как следить за ним — не простудился бы, не умер бы с голоду, не задержался бы где-нибудь понапрасну после занятий... За постой она берет с Федора полтора кубометра дров в месяц, эти дрова привозит в городок по воскресеньям отец Федора —

либо на попутной машине, либо на колхозной лошади в розвальнях. Но разве дрова — плата за добро?.. И вообще, разве платят за добро чем-нибудь?.. Только сейчас в его раздосадованной душе нет никакой благодарности к Екатерине Ивановне.

— Чертова ведьма! — ворчит Федор.— Спала бы да спала себе. И не совала бы свой добрый нос куда не следует!

Сняв лыжи и отряхнувшись от снега, он со стуком распахивает вскрикнувшую, как от боли, калитку и возвращается в дом.

* * *

В коридоре перед началом занятий Федор мимоходом сунул в руку Чеботаревой Клани письмо и сам исчез, а за уроком сел за самый задний стол и посматривал издали, как она его читает.

Федор писал:

«Кланя! Занималась ли ты когда-нибудь фотографией? Знаешь, какое это чудо! Позавчера Колька Лешуков научил меня проявлять пленки и печатать снимки. У него в бане целая мастерская. Я прямо обалдел от счастья. На белой бумаге вдруг появляются березы, елки, телеграфные столбы, а то — друзья-товарищи и мы с ними вместе, как живые. Все на белой бумаге. Поколдуешь немного — и вот тебе небо, а вот Комсомольская улица, еще поколдуешь — и вот Дом культуры и около него грузовик в снегу. Я как-то не замечал раньше, что Дом культуры — это бывший собор, а на снимке сразу увидел, даже купол есть. Днем я проверил — все правильно.

Потом Лешуков взял летнюю пленку — и снимки пошли летние: по реке плоты плывут, а на берегах коровы пасутся, трава и листья вокруг. А то вдруг проявится чье-то бородатое лицо. Все на белой бумаге,— разве не чудеса?..

А сегодня ночью в метель я ходил с тобою в лес на лыжах. Никого кроме нас не было в эту ночь в лесу. Только ветер свистел да снежные волны перекатывались через наши головы, в снегу тонула душа. Мне было очень хорошо с тобою, спасибо тебе! Ветер стих, снег улегся в сугробы, а любовь моя осталась со мной, в моей груди. Волны моей любви выше снежных сугробов, мне было тепло с тобой.

Ты думаешь, я с ума сошел, да?

В душе у меня такое богатство — кради не раскрадешь, никто не раскрадет. Не оскудею никогда. В ней, как в копилке, все лесные тропинки и дороги, по которым мы с тобой

ходили, все города и страны, которые мы посетили вместе, все реки и моря, по которым мы плавали. Ничего не забуду вовек.

Глупый я, да? Но я люблю тебя. И тебя заселю любовью своею, небо и землю твои займу — тесно, тесно, некуда будет приземлиться чужой душе.

Пожалуйста, не показывай никому мои письма!»

Кланя читала и поглядывала изредка на Федора. Порой их взгляды встречались, тогда Федору казалось, что она вырвет сейчас из тетради четвертинку бумаги, настрочит ему ответное письмо и пошлет по рукам от парты к парте: «Феде Игумнову, лично». Ему очень хотелось, чтобы такое случилось. Он даже представил себе, ч т о именно Кланя напишет ему.

«Федя, милый, почему ты всегда так далеко от меня садишься, поговорить нельзя. Читать твои письма я очень люблю,— пожалуйста, пиши почаще. В них видна твоя настоящая душа. Мне кажется, что ты необыкновенный человек, тебя ждет что-то очень большое впереди. Я рада, что наши взгляды почти во всем сходятся. И чувствуем мы с тобой одинаково. Ты веришь мне? Понимаешь, что я хочу этим сказать? Пойми, пожалуйста, и верь мне. Верь мне, что я всю жизнь буду твоим другом. Ведь не обязательно каждому быть большим человеком, в смысле — великим, важно быть благородным и верным человеком. С тобой я обязательно буду благородным и большим человеком на всю жизнь. А М. Ржаницын и всякие там Второвы — это просто так. Ты не обращай на них никакого внимания. Понимаешь меня? Федя ты мой, Федя!»

Однажды Кланя сказала ему:

— У нас чуть не все девчата Клани: Кланя Попова, Кланя Иванова, Кланя Чегодаева и я, Чеботарева, тоже Кланя. Дома тоже все меня Кланей зовут. Надоело. Выдумай для меня какое-нибудь другое имя. Не можешь?

— Почему не могу? — сказал Федя.

Ему казалось, ничего нет проще и легче, как придумать для Клани сотни имен. Что сотни — тысячи! Разве про себя не называл он ее тысячами ласковых имен, и все со значением, все красивыми? Сердце подсказывало эти имена, их и выдумывать не нужно.

Придя домой, он взял тетрадку и стал записывать: Кланя Чеботарева, Клава, Клавдушка, Клавдия, Клавдя... Кланя любимая. Дорогая Кланя. Мое счастье, моя первая любовь...

И вдруг он понял, что нет у него этих сотен новых имен. Значит, они были только в его воображении, только представлялись ему. «Любимая», «Дорогая», «Счастье мое» — это же не имена. И новых слов о любви у него нет. Они только звучали для него, как новые. А стал записывать, и оказалось, что все эти слова уже были давно. И любовь не новое слово.

Но отступать, признавать свое бессилие не хотелось, и Федор стал мучительно выдумывать: Клава, Клад, Клавиши, Клавиатура, Меч-кладенец... Чепуха какая-то! Литературная игра! Самое красивое имя, наверное, Клавдия. Еще Клавдя. В деревне у них Клавдию зовут Клавдя.

Идет Клавдя с сенокоса по широкой улице с косой на плече, статная, нарядная. Под косынку убрана золотая коса густых волос. Все Клавдю знают, всем она люба. «Здравствуй, Клавдя,— кричат ей мужики и бабы,— каково работалось, Клавдя?» Девушки ее спрашивают: «Где сумерничать будем, Клавдя? На угор придешь или нам к тебе заглянуть?» А парни Клавдю зовут Кланей, так вроде покультурнее: «Чего женихов-то обходишь, Кланя?»

И все Клане кланяются...

Нет другого имени лучше, чем Кланя. Пусть же и его Кланя будет Кланей, и не надо ничего больше выдумывать.

* * *

Когда уроки кончились, Федор первый ринулся вниз по лестнице в раздевалку, чтобы скорей убежать домой. Но убежать ему не удалось. И вот случилось почти непредвиденное, непонятное: сверху вдруг раздался голос, ее голос:

— Игумнов, подожди меня!

Кланя первая заговорила с ним, и не просто так, не как обычно, не так, как раньше бывало: «Какие у нас завтра уроки?» или: «Хорошо, что сегодня физкультуры не было!..», а заговорила о том самом, и первая.

Со страхом в душе он ждал ее на нижних ступеньках лестницы, прижавшись спиной к перилам, опустив глаза. Его толкали, а он стоял и ждал.

— Слушай, Федька,— сказала ему Кланя,— чего ты выдумываешь, будто я с тобой на лыжах ходила, да еще ночью?.. Не о чем тебе больше писать, да? И вообще! Что ты все письма мне пишешь, куда я их дену?.. Пойдем лучше в кино сходим.

Музыкой показались ему и эти слова Клани.

1965 г.

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ





САМОЕ ВРЕМЯ

Счетовод молодого колхоза Иван Михайлович Горчаков и недавно вернувшийся из Красной Армии его сын Павел с утра ходили по праздничному осеннему базару в районном городке. Накануне отец поведал сыну о своих планах: что там ни пишут, а в коммунизм переходить пора.

Павел не узнавал родного города. Не узнавал не потому, что, когда он уезжал в армию, город был весь в снегу, а теперь он увидал его в зелени, и не потому, что после бескрайних украинских степей и широких улиц новой Москвы все здешнее стало казаться необыкновенно маленьким, затерявшимся в сосновых трущобах — поля, что лесные заячьи полянки, районные двухэтажные здания, что избушки на курьих ножках, церкви, что могильные склепы, не больше — нет, не потому.

За четыре года с городишком случилось что-то такое, что сразу ощущалось, но не сразу можно было осознать. Смотрит Павел, слушает и не понимает: все знакомое, да не старое, то, да не то. Город по-прежнему маленький, но не провинциальный. Изменился шум города, изменилось дыхание его.

На базарной площади по-прежнему ржут лошади, рыкают коровы, но нет-нет да и рявкнет откуда-нибудь автомобильный рожок. Играют гармони, но не тальянки с колокольчиками, а ве́нки, и песни не те, не старые. Из трех церквей две закрыты. В бывшем соборе приемный пункт для зерна нового урожая. У палисадника стоят подводы и тут же, в очередь, грузовики, доверху наполненные мешками с хлебом. На кузове одного грузовика огромными белыми буквами выведено: «Собственность колхоза «Ясное утро». У входа в храм работают две сортировочные машины. А церковь на базарной площади звонит во весь свой единственный колокол — сзывает к заутрене.

Иван Михайлович замечает радостное волнение сына и, вспомнив предыдущий спор, одергивает подол вышитой рубашки, расправляет шелковые кисти пояса и начинает хвастать:

— Тут, браток, мы без тебя такое наделали, что не приведи господь. Можно сказать, весь мир на ноги поставили.

— Да!..— мычит в раздумье Павел.— Что же вы такое наделали?

— Да вот две церкви закрыли. В одной зернохранилище, в другой — кинотеатр. Теперь, можно сказать, они стали народу служить.

— А народ как?

— А я тебе не народ? Видел — у нас в деревне: свинью зовут Богородицей, а барана — Батей. Вот тебе и «народ как». Нечем было скотный двор застеклить — районщики подвели, наш народ покумекал да и приказал обезоружить все иконы в часовне. Скот нынче, можно сказать, за святыми стеклами живет. А сколько машин в полях — видел? А дорогу видел? То-то!

Иван Михайлович гордо выпячивает грудь и поминутно одергивает рубашку. Вид его напоминает мальчишку, который запрудил у крыльца дождевой ручей, поставил самодельную мельницу и прохожим говорит: все сам выдумал.

Павел покосился на отца, так же одернул свою красноармейскую гимнастерку и стал смотреть вдаль.

На площади в два ряда стоят ларьки потребкооперации и колхозов. Девушки в шелковых кофточках с оборками, в юбках с воланами из самого яркого сатина, толпами — шумные, как на смотринах, разноцветные, как балаганы на колесах, переходили от ларька к ларьку, рылись в игрушках, в мануфактурной за́вали. Мужики толкались больше у шорных изделий. Колхоз «Зеленый берег» торговал с автомашины садовой клубникой: кружка — полтина.

Базарная площадь находилась на высоком берегу реки. Бросишь, бывало, камень с обрыва, он долго летит вниз, как ласточка, а упадет в воду, и звука не слышно. Вдалеке, на берегу, где года четыре назад был пустырь, высились столбы качелей, на площадке играли в футбол. А над рекой вместо немудрой лавы, которую каждую весну лед ломал и уносил в Северную Двину, стоял мост — настоящий, каменный, на двух широколобых быках. Похоже было, что с обеих сторон подступы к мосту устланы тесаным гранитом.

— Где они плитняку набрали?

— Какого плитняку? — спросил Иван Михайлович.— На мосту? Это, браток, усопшее купечество доставило. Кладбище переносили, ну, а старинные плиты — куда же их? — давай на мост. Так народ порешил. Первое время ходили по мосту и читали: «Здесь покоится с миром благодетель города

купец второй гильдии, лен и конопля...», «Упокой, господи, душу раба твоего иеромонаха Серафима...» Молодые хохотали да притопывали, а стариков в дрожь бросало. Тогда начальство взяло да песком все крестики и засыпало. Хороший мост, долго служить будет. То-то!

— Да! — сказал Павел.

— Вот и я говорю: да! — подхватил Иван Михайлович.— Ты, можно сказать, поживи — и не то увидишь. Все изменилось. У жизни все нутро навыворот. Колхозы, браток, и так и эдак действуют. Народ совсем другой стал.

Иван Михайлович снова начал хвалиться своей землей, полями, дорогами. Казалось, он сейчас скажет: все это я выдумал.

— Как только зажили мы в одну душу, одной думой, тут все это и начало обстраиваться. Лес был — дома выросли, пустошь лежала — рожь зреет. Народ у нас теперь такой, что самое время с таким народом в коммуну идти. И пойдем! Первые пойдем...

— Что-то спешишь, тятя, очень торопишься. Душу надо сперва переделать,— сказал Павел.

— Душу переделать? Душа, браток, у нас ныне как стеклышко. Ты погляди только, что люди делают! А застаиваться нам долго нельзя — закиснем.

Павел думал, как лучше ответить отцу, но в это время дорогу им преградила подвода, нагруженная гончарной работой, и он, не имея больше охоты спорить, решил воспользоваться предлогом и замолчать.

Через глубокую рытвину, полную загустевшего глиняного теста, с ревом прошла автомашина. Ринувшаяся за ней лошадь застряла в грязи всеми четырьмя колесами. Возчик — немощный безбородый мужичонка — дернул ее за узду, крикнул раз, крикнул два, лошадь рванулась, но вытянуть телеги не смогла. Тогда он перебежал назад, взялся за спицы колеса, крикнул снова, поднатужился — колесо провернулось, залепив его грязью, а телега ни с места. Возчик занервничал, взял с горшков кнут и резко стегнул коня по волосатым ногам. Лошадь всем корпусом подалась вправо, потом влево, передние колеса начали выходить из ухаба, но тотчас же скатились обратно.

Толпа народа, подождав, когда будет освобожден проход, стала обходить подводу по обеим сторонам дороги. Кто-то выругался:

— Ишь, где раскорячился, пентюха! Ни пройти, ни проехать. Давай проваливай, не мешай народу.

Появились любопытные, остановились. Остановился и Иван Михайлович.

— Экая паршивая лошаденка у тебя, браток,— сказал он возчику.— Из какого колхоза будешь?

Гончар ничего не ответил, но, видимо оскорбившись, вдруг ожесточенно молча начал бить лошадь кнутом по ногам, по спине, с пр́одергом. Кнут свистел, лошадь то отступала, то рвалась вперед, в стороны; скрипел хомут, скрипела вся упряжь, но телега скатывалась обратно в грязь, в яму. Тогда мужик взвизгнул и хлестнул лошадь кнутовищем по голове. Она зажмурилась, резко вскинула голову, стукнулась мордой о запряг и заржала. Мужик продолжал ее бить, зло, с выдохом, но лошадь, переступив задней ногой за оглоблю, больше не порывалась вперед, а стояла и лишь убирала голову и жмурилась.

Народ начал негодовать.

— Ты что, очумел? Колхозного коня уродуешь. Откуда такой? Чья лошадь?

Кто-то даже посоветовал:

— Надо его самого кнутовищем стукнуть и послушать, что запоет.

Иван Михайлович весело поглядел на сына.

— Видал?! Животину никому в обиду не дадут. Вот какой народ стал. Понимают: кол-хоз-на-я! — И продолжал стоять.

Гончар перекинул кнут на спину лошади и опустил руки.

— Что же мне делать?

— А вот что надо делать,— сказал Павел, одернул гимнастерку и посмотрел на отца и на проходящих мужиков.— Давай, Иван Михайлович, засучивай рукава. Подходите и вы: ты, дядя, становись, и ты еще — кто помоложе. Старик, отойди! А ну, беритесь. Хозяин, выправь ногу у лошади-то. Так... Взяли!

Мужики навалились, гончар подхватил лошадь под уздцы, она рванулась — взяли! — и телега пошла.

— Рано в коммуну, Иван Михайлович! — сказал Павел отцу, когда они подходили к следующему ларьку.

1939 г.

ЖУРАВЛИ

Сила слов

Были в детстве моем и праздники, и весна не одна, и не одна золотая осень. Много было всего. Были и свои журавли в небе.

Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль. И над этой ширью и золотом появлялись треугольники журавлей. Для детей это время птичьих перелетов всегда празднично. Мы выбегали из домов, неслись за околицу и кричали вдогонку журавлям:

Журавли, журавли,
Выше неба и земли
Пролетайте клином
Над еловым тыном,
Возвращайтесь домой
По дороге прямой!

Или много раз повторяли, приплясывая, одни и те же слова:

Клин, клин журавлин,
Клин, клин журавлин!..

Птицы шли по небу ровно, спокойно, красиво.

Но находились озорники, которые не желали добра птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, какой-нибудь босоногий заводила вдруг вопил истошным голосом:

Передней птице
С дороги сбиться,
Последнюю птицу —
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!

И часто журавлиный треугольник неожиданно начинал ломаться, птицы, летевшие сзади, рвались вперед либо уходили в сторону, а вожак, словно испугавшись, что он остался впереди совсем один, круто осаживал, делал поворот и пристраивался в хвост колонны. Мы удивлялись силе наших

слов, визжали от удовольствия. Но кто-нибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и хорошие чувства брали верх в детской душе. Мы в раскаянье кричали уже хором, чтобы слышнее было:

Клин, клин журавлин!
Путь-дорога!
Путь-дорога!

Кричали до тех пор, пока журавли не выравнивались.

И вот опять вспомнилось мне детство.

В этом году дожди, затяжные, упрямые, начались так рано, что стало казаться, будто вовсе не было лета. Свету недоставало даже в полях, и утром и в полдень было одинаково пасмурно. Сырость пронизала небо и землю, в самом густом лесу не оставалось ни одного сухого места. Дороги испортились, поплыли, шипели, как тесто в квашне, вылезая на стерню, на луговую отаву. Листья на деревьях, всегда мокрые, не желтели и не облетали, сколько ни свистел ветер по ночам. Где же «бабье лето»? Где золотые рощи? Где кружевная паутина на скошенных лугах?.. Наверно, и птицы уже улетели, давно улетели...

Но вот выдался солнечный денек. Потом другой, третий... И стала осень делаться заново. Пришла тишина, мягко пригрело солнце, подсохла земля, даже дороги стали проезжими. А когда просохли на деревьях листья, оказалось, что они давно желтые. Как-то утром, проснувшись, моя дочка глянула в сад на засверкавшую осинку и ахнула: «Папа, у тебя под окном красавица!» Потом закружилась и листва в воздухе, облетели осинки, березки, тополя, даже дубы начали понемногу оголяться. Совсем сквозным стал орешник, и откуда ни возьмись на опушку рощи выступили вдруг елочки.

А солнце с каждым днем становилось нежнее к земле, ласковее. Казалось, и так красиво кругом, а оно как выглянет, как начнет наводить порядок — не налюбуешься, не нарадуешься.

Наконец затрубили, закурлыкали журавли в небе. Все-таки взяла осень свое и на этот раз: появились над полями птичьи треугольники. Странным показалось это: зачем они покидают нашу землю? Все устроилось так хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы жить и жить, а вот улетают.

Стою я на крыльце, вспоминаю детство, слежу за журавлями и вдруг вижу — нарушился их строй, сбились птицы в кучу, заходили кругами, стремительно набирая высоту.

Словно самолет пронесся близко,— завертело их ветром, подкинуло.

Но мне представилось, что это опять ребятишки-озорники из какой-нибудь соседней деревни сбили журавлей с толку обидными словами. Я поверил в это, и такое доброе чувство к летящим птицам охватило всю мою душу, что я не заметил, как начал, правда, негромко, почти про себя, но все-таки вслух шептать слова, которые знал с детства: «Клин, клин журавлин! Летите не сбивайтесь, домой возвращайтесь!.. Счастливого пути вам, дорогие! До скорого свидания. Путем-дорогой! Путем-дорогой!..»

И вот уже выправились журавли моего детства, угомонились их всполошенные голоса, и, благодарные, полетели птицы все дальше и дальше под ясным солнцем родного края, полетели путем-дорогой.

1954 г.

ПРОВОДЫ СОЛДАТА

Я долго верил, что запомнил, как уходил мой отец на войну. Верил и сам удивлялся своей памяти: ведь мне было тогда не больше двух лет.

Сердобольные деревенские старушки часто тешили меня рассказами о погибшем батьке. В этих старушечьих воспоминаниях отец мой выглядел всегда только хорошим, и не просто хорошим, а необыкновенным. Он был силен и смел, весел и добр, справедлив и приветлив со всеми. Все односельчане очень любили его и жалели о нем. Кузнец и охотник, он никого не обижал в своей жизни, а когда уходил на войну, сказал соседям, что будет стоять за родную землю так: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах».

Чем больше слушал я рассказов о своем отце, тем больше тосковал о нем, жалел себя, сироту, и завидовал всем ровесникам, у кого отцы были живы, хоть и без крестов. И все больше мои личные, правда, не очень ясные воспоминания совпадали с тем, что я слышал о нем.

А припоминались мне, главным образом, проводы отца на войну.

Это было в ту осеннюю пору, когда вся земля начинает светиться и шелестеть сухой желтой листвой, когда и восходы и закаты кажутся особенно золотыми. Около нашего дома с незапамятных времен стояли четыре могучие березы. Я отчетливо вспоминаю, что они были совершенно прозрачными, что синее небо было не над березами, не выше их, а в самих березах, в вершинах, в сучьях.

Вся деревня собралась на проводы отца под березами. Народу было очень много, и людской говор и шум листвы сливались. Откуда он взялся в старой деревне — духовой оркестр, но он был, и медные трубы светились так же, как осенняя листва, как вся земля наша, и непрерывно тихо гудели. Отец мой, высокий, красивый, ходил в толпе и разговаривал с соседями, то с одним, то с другим; кому пожмет руку, кого по плечу потреплет. Он был здесь главный, его провожали на войну, его целовали женщины.

Я помню цветистые домотканые сарафаны, яркие желтые платки и фартуки. Потом отец взял меня на руки, и я

тоже стал главным в толпе. «Берегите сына!» — говорил он, и ему отвечали всем селом: «Воюй, не тревожься, вырастим!»

Много мелочей об этих проводах вспоминал я отчетливо. Там было все — клятвы, объятия, советы на дорогу. Не запомнил я только слез. На праздниках не плачут, а для меня там все было праздничным. Самый же большой праздник начался, когда подали для отца тройку лошадей. Он сел в плетеную пролетку, которую у нас зовут тарантасом, крикнул: «Эгей, соколики!» — и кони понеслись. Уже вслед ему кто-то озабоченно успел спросить: «Табачок-то взял ли?» — затем все шумы покрылись громом медных ясных труб.

Широкая улица от нашего дома, от четырех могучих берез шла к полю, забирая немного вверх, на подъем. Полевая изгородь и ворота были хорошо видны. С обеих сторон околицы золотились березки. И вот, когда тройка на полном скаку подлетела к воротам, березки вдруг вспыхнули.

Может быть, их осветило в этот момент заходящее солнце, может быть, мне все это когда-нибудь приснилось, но березки вдруг вспыхнули самым настоящим огнем, а от них загорелись ворота. Пламя, очень яркое и совершенно бездымное, сразу охватило все сухие жердочки до единой. Разгоряченные кони не смогли остановиться перед горящими воротами, а открывать их было уже поздно и некому, отец мой вдобавок еще крикнул каким-то развеселым голосом, словно ударил молотом по звонкой наковальне, и кони вдруг взвились в воздух и перенеслись через огонь. Только колеса пролетки слегка задели ворота, из-за чего красные жерди рассыпались и ворох светящихся искр поднялся к небу.

Я хорошо все это запомнил и долго верил, что все было именно так. Позднее сам уходил на войну, и ощущение великой торжественности момента опять совпало с тем, что я вспоминал о проводах отца. «Но как это могло быть? — спрашивал я себя.— Ведь мне тогда года два исполнилось, не более».

И вот что выяснилось со временем в связи с этими воспоминаниями.

В детстве мне приходилось порой слушать граммофон в доме моего дедушки. Бывали случаи, когда дедушка доверял мне самому проиграть одну-две пластинки. Тогда я раскрывал все окна горницы, ставил удивительный ящик на подоконник, направлял орущую зеленую трубу вдоль деревни и священнодействовал. Конечно, отовсюду сбегались

ребятишки и с раскрытыми ртами издалека смотрели в трубу. А мне казалось, что они смотрят на меня, что я становлюсь героем не только в своих глазах, но и в глазах моих сверстников, что все они завидуют мне. И я торжествовал. Не все же было мне, сироте, завидовать им. Вот я какой, вот я что могу — смотрите! А может быть, мой батько еще не убит, еще вернется он, тогда я вам покажу... Так я мстил за свои маленькие смешные обиды.

Спустя много лет вернулся я в родную деревню, и в доме покойного дедушки довелось мне еще раз сесть за старый квадратный граммофон. В груде еле живых пластинок с наклейками, на которых были нарисованы то ангелочки, то собачка, сидящая у граммофонной трубы, нашел я одну незнакомую мне, уже с трещиной, пластинку — «Проводы на войну», или «Проводы солдата». Сердце ничего не подсказывало мне, когда я решил проиграть и ее. Среди ржавых иголок выбрал я одну поострее, снова с усилием несколько раз провернул ручку, отключил тормоз и, когда собачка и зеленая труба на этикетке пластинки слились в один кружок, опустил рычаг с мембраной. Сначала был только треск ржавой пружины и шум, словно иголку я опустил не на пластинку, а на точильный камень,— ничего нельзя было разобрать. Потом появились голоса, заиграл духовой оркестр, и я услышал первые слова: «Табачок-то не забыл ли?»

И сразу я увидел широкую деревенскую улицу, золотой листопад осени, толпу односельчан и родного отца, уходящего на войну. «Берегите сына!» — говорил он соседям. А его целовали и клялись ему: «Воюй, не тревожься, убережем!»

Дорогие мои, родные мои земляки! Что со мною было! Медные трубы оркестра звучали все яснее и взволнованней, их песня пробилась через все шумы времени, через все расстояния и наслоения моей памяти, очищая ее и воскрешая все самое святое в душе. Уже не одно село, а вся Россия провожала моего отца на войну, вся Россия клялась солдату сохранить и вырастить его сына. И опять не было слышно слез. Но, может быть, медные трубы заглушали их.

Потом я услышал звон бубенчиков и последние напутствия на дорогу. Вот, значит, откуда шли мои слишком ранние воспоминания. Вот где их истоки.

Но откуда же взялось золотое видение осени и горящие ворота сельской околицы? Это был, конечно, сон.

Ведь приснилось же мне однажды, что гвозди достают из дерева-цветка, который называется гвоздикой, а разно-

цветные нитки бисера находят готовыми в стогах гнилого сена, и я тоже долго верил, что это именно так и бывает.

Но нет, не только во сне привиделся мне бешеный скач тройки. Живет и поныне в нашем колхозе Петр Сергеевич, талантливый конюх и лихой наездник. Это он мог часами ехать, не торопясь, лесом, полями — через пень колоду. А перед деревней, перед людьми преображался он и преображались его лошади. «Эгей, соколики!» — вскрикивал Петр Сергеевич, широкая русская душа, и откуда бралась силушка в мохнатых ногах — со свистом, с вихорьком взлетал тарантас на горку мимо четырех моих берез. Бывало, самая незавидная лошаденка в руках Петра Сергеевича да на глазах у всей деревни или, как у нас говорят, на миру превращалась вдруг в конька-горбунка.

Услышал я недавно развеселый, из глубины души вырвавшийся крик моего земляка, как будто он бросался сломя голову вприсядку, и опять живой картиной встали в моей памяти проводы отца. И опять все показалось мне невыдуманным, неприснившимся, а подлинным — даже горящие ворота и сказочные кони, взвившиеся в воздух, все, как провожала на войну родимая сторона своего солдата.

1954 г.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Я перестал учиться, когда получил первый гонорар. До чего же это было давно и до чего весело вспоминать обо всем этом!

Гонорар пришел из Москвы, из «Пионерской правды». Там время от времени печатались мои заметки о школьной жизни, а однажды была помещена даже басня «Олашки» — о буржуе, который отказался есть оладьи, когда узнал, что они испечены из советской муки. Принципиальные были буржуи в то время!

Денежный перевод, если не ошибаюсь, рублей на тридцать, застал меня врасплох. У меня больше двадцати — тридцати копеек в кармане еще никогда не бывало.

Не без труда получив деньги на районной почте, я купил в магазине конфет, обливных пряников и папирос и ринулся пешком в родную деревню. Дело было зимой. Носил я тогда лапти, теплой одежонки, конечно, не было, и идти мне было легко. Но я не шел, а бежал. Бежал бегом все двадцать километров. Напевал ли при этом песни и приплясывал ли — не помню. Помню только, что за всю дорогу не съел ни одной конфетки, ни одного пряника, потому что хотел все целиком донести до деревни, для своей матери. Похвастать хотелось: вот, мол, я какой, на-ко выкуси! И конечно, пачку папирос не распечатал — я еще не курил тогда.

Зимние дни коротки, и как ни легок я был на ногу, а все-таки до деревни добрался только к ночи. В темноте углы срубов потрескивали от мороза, а в избах горела лучина в светильниках. В одном только доме была керосиновая лампа, окна его светились ярче прочих. В этом доме собиралась молодежь на посиделки. У нас такие посиделки зовут беседками. Девушки чинно сидят на лавках с прясницами, прядут лен или куделю, да поют песни под гармошку, да стараются понравиться парням, каждая своему, а некоторые всем сразу, а парни, пока не начинается кадриль, просто бездельничают, зубоскалят.

Мне было тогда меньше пятнадцати лет, но не это важно. Важно то, что одна из деревенских девушек мне уже нравилась, я был уже влюблен — в нее, во взрослую, в невесту.

О чем я тогда думал, чего хотел — один бог знает. Сам я если и знал что, то теперь забыл.

Не донеся до дому пряники и конфеты, я прежде всего решил появиться на беседках. Еще ни разу на беседках не принимали меня всерьез, ни в чьих глазах я еще не был взрослым. «Ну, что ж, что не принимали,— думал я.— Не принимали, а сейчас примут».

Очень я нравился себе в тот день!

Керосиновая лампа висела на крюку посреди избы и горела в полную силу: беседка еще только началась, и воздух еще не успел испортиться вовсе. Но клубы и кольца табачного дыма уже не рассеивались, не таяли, а передвигались под потолком, плотные и густые. Девушки в ярких домотканых, реже в ситцевых сарафанах, как обычно, сидели на прясничных копыльях вдоль стен по окружности всей избы и крутили веретена и поплевывали на пальцы левой руки, вытягивавшие нитку из кудели. Парни толпились посреди избы, а кое-кто, посмелее, сидели на коленях у девушек либо рядом, занимая их разговорами и мешая прясть. Довольные девушки повизгивали, похохатывали. В темном углу за большой русской пекаркой, где всегда пахло пирогами и кислым капустным подпольем, какая-то парочка целовалась. Сладостное и таинственное для меня на этих посиделках только-только возникало.

Моя любовь, Анна, сидела далеко не на самом почетном месте, а в углу справа, в полусумраке кухни, но была она самая красивая из всех. Красный пестрядинный сарафан с белыми нитяными квадратами, кофта синяя, яркая, тоже пестрядинная, и никакого платка на голове. А на лице улыбочка, не улыбка, а улыбочка — ласковая, хитренькая, при которой щеки чуть подтягиваются кверху и на одной из них образуется ямочка, а глаза прищуриваются. Да еще волосы, заплетенные в косу с очень яркой, но уже не красной и не синей, а, кажется, фиолетовой, ярко-фиолетовой лентой; да еще глаза, поблескивающие, все понимающие, чуть прищуренные и, кажется, серые; да еще руки, быстрые, работящие и, наверно, тоже ласковые. Эх, потрогать бы их когда-нибудь! Правой рукой Анна крутила веретено и так сильно, что оно даже жужжало от удовольствия, а пальцы левой руки двигались все время у кудельной бороды и были всегда мокрые от слюны.

Анна была так красива, что, конечно, никто из парней не осмеливался сесть рядом с нею. Только я один осмелюсь сегодня! А что полусумрак на кухне — так это же хорошо:

тут, в углу, по крайней мере, ничего не будет видно. Ничего! И еще хорошо, что близко отсюда запечье, тот таинственный уголок, куда время от времени уходят сговоренные пары целоваться. Неужели и это для меня сегодня возможно?

Войдя в избу, я первым делом роздал ребятам папиросы. Кажется, ничего особенного при этом не произошло. Ребята просто расхватали всю пачку сразу и стали курить: папиросы все же, не махорка. Дыму в избе стало еще больше.

Затем я подсел к моей девушке, к моей Анне. Подсел, как садятся взрослые парни к своим девушкам. Раньше я никогда не осмеливался сидеть рядом с Анной, а сейчас сел. Анна пряла лен. Она не удивилась, что я ткнулся на лавку рядом с ее прясницей, она просто пряла. Теперь надо было заговорить с ней. Я еще ни разу не расхрабрился до такой степени, чтобы заговорить с нею. Не смог я заговорить и на этот раз. Но на этот раз все было по-другому, на моей стороне теперь были всяческие преимущества, на моей стороне была сила — и конфеты, и пряники, и то, что я настоящий писатель, иначе разве посылали бы мне деньги из самой Москвы. Сегодня на беседках я был самый главный человек.

Я достал из кармана конфету, развернул бумажку и сам, своей рукой положил конфету Анне в рот. И опять ничего особенного не произошло. Анна просто взглянула на меня, открыла рот, взяла конфету в рот и съела ее. Но все-таки она взглянула на меня. Все-таки она меня заметила. Я быстро развернул следующую конфету и снова положил ее в рот Анны. Она съела и эту конфету, но при этом засмеялась. Щеки ее приподнялись, округлились, красивые глаза сузились.

Так и пошло: я ее кормил конфетами, а она смеялась. Над чем? Над кем? Надо мной, конечно! Но меня это нисколько не смущало. Все равно она была красивее всех, и я сегодня был всех лучше. Ах, если бы я смог с нею заговорить!

Она бы спросила меня:

— Ты все еще учишься?

А я бы ей ответил:

— Учусь — что! Я — писатель! Понимаешь — писатель, самый настоящий. Мне уже и деньги платят за то, что я писатель. А ты знаешь, что это такое? Вот, например, все эти конфеты, пряники, папиросы — это все откуда? Просто, понимаешь, пишу, и все.

Так беззастенчиво хвастать в городе я, конечно бы, не смог, там сразу меня поймали бы. Но здесь можно было. К тому же

и обстановка все-таки необычная, духоподъемная. Ведь парень перед девушкой всегда немножко рисуется, хвастается. А как же иначе? Иначе разве она его полюбит?

Беда только, что я не смог и на этот раз заговорить со своей Анной. Но я был счастлив уже оттого, что она ела мои конфеты и смеялась надо мной. И когда она съела их все, я выложил ей в подол все обливные пряники. Она съела и пряники.

Сам я так и не попробовал ни пряников, ни конфет. Отчего это — от большой любви или от расчета, от скупости или от сердечной доброты?

Домой я пришел с беседок поздней ночью, когда все уже спали, и, голодный, заснул на случайной соломенной подстилке возле курятника.

Утром мать подошла к моей постели. Она не будила меня, а просто остановилась надо мной, заложив руки за спину, и я проснулся сам. Добрая, бедная мама! Она все уже знала. Она знала, что ее несмышленый, но опасно бойкий первенец, живущий в городе без родительского присмотра, где-то раздобыл деньги,— конечно же, не чистые это деньги, не трудовые! — покупает папиросы, курит сам и угощает других, а всякие сласти раздает девкам. Уж и до девок дело дошло!

— Здравствуй, мама! — говорю я ей.— Поесть бы чего-нибудь!

А она мне:

— Скажи, парень, где деньги взял?

И от этих слов счастье всего вчерашнего дня снова запело в моей душе и, вероятно, засветилось в глазах. Я не удержался, и опять понесло меня на хвастовство.

— Я, мама, писатель. Понимаешь, писатель! — говорю я ей, почти захлебываясь от восторга.— Мне заплатили гонорар. Из Москвы перевели. Я израсходовал мало, ты не бойся, я еще и тебе дам денег. А потом опять сочиню чего-нибудь. Гонорар, понимаешь?

— Ты мне зубы не заговаривай,— начала сердиться мать,— правду скажешь, ничего тебе не сделаю. Где взял деньги?

— Так я же правду говорю: я — писатель, поэт. Это гонорар. Творчество, понимаешь?..

Добрая моя мама! Вряд ли она и сейчас понимает, откуда у сына порой водятся деньги: на службу он не ходит, хозяйства не имеет, никаким промыслом не занимается. Сколько лет работали в стране ликбезы, а старая моя мама

так и доживает свой век неграмотной, и по-прежнему для нее что писатель, что писарь — одно и то же.

— Ах, ты так, сквалыга окаянный! — вконец рассердилась она.— Признаться по чести не хочешь? Думаешь, всю жизнь правду скрывать будешь, не по совести жить? Вот я с тебя шкуру спущу, раз ты писатель...

И в руках у матери за спиной оказалась свежая березовая вица — розга. Она стащила с меня замызганное одеяльце, и я, ненакормленный, неодетый, получил свой первый настоящий гонорар. Конечно, я ни в чем не был виноват, но ведь и она мне только добра хотела. Вот и суди после этого, кто прав, кто не прав.

1960 г.

ВОЛК В ГОРОДЕ

Летом 1960 года в городе Озерске жил волк. Не какой-нибудь ручной или молодой, несмышленый, а самый настоящий, дикий, лесной. Жил он долго и бесчинствовал, как и положено волку, и питался собаками и прочим мясом, как ему на роду написано. Люди принимали его за собаку, а собаки с ужасом разбегались в разные стороны и только выли от безысходного горя и тоски.

Когда же волк был опознан и было точно установлено, что это волк, а не собака и что убить его дозволено,— озерские охотники устроили на него облаву в центре города и убили его. За убийство волка была получена обычная государственная премия. Но главным вознаграждением для себя охотники считали добрую людскую молву — их благодарило и чествовало все озерское население.

Об этой истории рассказал мне старый рыбак и охотник Илья Евгеньевич Макаров.

Перескажу как сумею.

Волк попался в капкан еще зимой, и так как правосудие долго не обнаруживало себя, то он не стал ждать расправы, перегрыз себе ногу и ушел. Был он хищник старый и стреляный, попадать в беду доводилось ему и раньше, но на этот раз не повезло всерьез. Нога не заживала, начала гнить, волк исхудал страшно. Добывать пищу в лесу становилось все труднее и труднее. Но он не смирился, не стал вегетарианцем, а только больше обнаглел и ожесточился. Он начал околачиваться вблизи деревень, пробивался чем приведется, не брезговал даже кукурузой. Нередко и попадало ему — деревенский народ стал не в меру недоверчив.

Однажды ночью забрался волк в город и убедился, что в городе добывать пищу гораздо проще, чем в деревне. Там легче было затеряться. Собачки чаще всего попадались жирные, комнатные, вислоухие. С той поры и зачастил он в город.

И чем дальше, тем становился смелее. Бывало, люди еще из кинотеатра по домам расходятся, в парке репродукторы не умолкли, сторожа у магазинов еще заснуть не успели,

а хромой волк уже ковыляет к злачным местам, смотрит, где что плохо лежит. Не устраивало его только одно: далеко было ходить из лесу туда и обратно. Уставал волк на трех ногах, да и на работу времени оставалось мало — ночи коротки. А старый хищник спешить не любил. Спокойнее, когда действуешь осмотрительно.

Как-то зазевался он, промедлил, и утро застало его в городе на школьном дворе. Прибежали первые ребятишки в школу еще затемно, волк не очень их испугался — малы еще, но все же предусмотрительно залез в дровяной сарай. Так он провел в городе первый день.

Провел неплохо. Отдохнул. Хотя, конечно, и поволноваться пришлось. Через каждый час дети выбегали на перемену во двор и играли то в кошки-мышки, то в волков и овец, то в волейбол. Нередко мяч подкатывался к дровяному сараю, и ребята кидались за ним. В такие мгновения волку казалось: все! конец! разоблачат! Но каждый раз выходило, что детям не до него, что они просто играют, и бояться этого не следует. Так же вели себя и взрослые, им тоже было не до волка, у них было много других забот. Волк это отлично понял и осмелел еще больше.

Не понравилось еще, что весь день, с шести часов утра и до двенадцати часов ночи, на весь город гремели иерихонские трубы радиотрансляционного узла. Они действовали на нервы, не давали ни заснуть по-настоящему, не сосредоточиться на чем-нибудь. Волка больше бы устроило, если бы трубы гремели с ночи до утра, когда он промышлял, шум ему шел бы на пользу. Но он смирился с этим упущением городских властей, так как слыхал, что радиорупоры сотрясали воздух не в одном Озерске. Видимо, так было нужно.

Под гром радиомаршей волк вечером вышел из дровяного сарая и осмотрелся. Ничего страшного не случилось, и он направился к ближайшей помойке, чтобы позавтракать — как известно, у волков все не как у людей, ночь превращают в день, когда люди ужинают, волки завтракают, люди спят — волки жрут и пьют, мародерничают.

От помойки хорошо пахло. Но этот запах привлек не только волка, туда же потянулась и голодная собака — такие в любом городе встречаются. И волк решил, что пока можно обойтись и без помойки. Не успела собака сообразить, в чем дело, как волк ее взял и унес к себе в дровяной сарай. Собака все-таки немного повизжала, но ее вопль был заглушен очередным радиомаршем.

Как ни была собака худа, волк покушал плотно и потому

скоро заснул и остался в сарае еще на день. Летом школу не топили, и волка опять никто не потревожил.

На следующую ночь, увлекшись погоней за какой-то волосатой коротконогой собачкой, явной помесью половой щетки с гусеницей, он выскочил на улицу, прямо в людскую толпу. Перетрусил, должно быть, волк не на шутку, но результат оказался совершенно неожиданным: коротконожку кто-то из прохожих пнул, да так, что она полетела обратно к волку прямо в зубы. А его, мало того что не узнали — не узнать немудрено: районные города летом освещаются не ахти как,— его все стали еще жалеть: вот бедный пес, на трех ногах, не иначе под машину попал. Человеку без ноги плохо, а собаке — какая жизнь!

Собачку волк на этот раз не взял, не решился брать на глазах у всех, побоялся демаскироваться. Зато из города больше не уходил вовсе. И если поначалу он разбойничал в деревнях и в городе только потому, что тяжело было пробиваться трехногому в лесу, то теперь стал разбойничать уже потому, что так было легче жить. Совесть его не мучила. В конце концов, разве он виноват, что остался без ноги? Пускай впредь не ставят капканы. Должна же существовать какая-то компенсация за увечье, не пенсию же ему требовать! Зря, что ли, он пострадал?

Так рассуждал не один волк. Сердобольных людей находилось в городе немало.

С тех пор как волк осел в городе на постоянное жительство, события следовали одно за другим.

В мясной лавке начало исчезать первосортное мясо — конечно, оно шло на удовлетворение волчьего аппетита. Продавцам приходилось покрывать утечку за счет покупателей, продавать мясо второго сорта за первый сорт.

В столовых то и дело не хватало продуктов — волк похищал их еще со складов. Приходилось снижать качество обедов, уменьшать количество мясных блюд, мясные котлеты готовить в основном из толченых сухарей. Поварам, при всем их опыте, было очень нелегко выкручиваться.

Ухудшилось питание в детском доме и в детских садах и яслях — все по той же причине.

Однажды волк в гастрономическом магазине свалил полку с вином, разбилось несколько бутылок, а по акту списали в десять раз больше. В дальнейшем такое списывание по акту укоренилось: разобьется одна пустая бутылка-поллитровка, а спишут дюжину литровых, и не пустых, а с водкой. В торговых сферах считается допустимой норма боя посуды

при перевозке, кажется, пятнадцать процентов. Норму допустимую сделали обязательной, ее как бы узаконили, а по акту списывали уже то, что было сверх нормы.

На городской скотобойне волк зарезал только одного бычка, а по акту списали на первый раз шесть бычков и две коровы. Следы зверя на скотобойне были видны, это были волчьи следы, но так как волка никто не видел, то было решено считать, что это следы медвежьи. Акт благодаря такой находчивости выглядел очень солидно. Кругом леса, почему бы медведю время от времени и не заглядывать на скотобойню?

Расходы на волка росли с каждым днем. Убытки появились и на рыбзаводе, и на районной инкубаторной станции, и даже в учреждениях, не имеющих прямого отношения к материальным благам, то есть в так называемых гуманитарных. В торговой сети убытки назывались утечкой и усушкой, а, скажем, на рыбзаводе и на районной инкубаторной станции или в леспромхозе они стали называться производственными отходами. Если бы не спасительные акты, которые оказались самой емкой и гибкой формой творческой деятельности в сфере производства и распределения, нелегко пришлось бы кое-кому.

Хорошо еще, что волк был один, да и тот хромой. А если бы их сразу объявилось много? Не обошлось, конечно, в связи с этим без хищений и подлогов. Как говорится, у хлеба и крохи. Обстановка обострилась еще больше из-за того, что начали искать виновных. Ведь дыма без огня не бывает. А поскольку виновных обнаружить не удавалась, то, естественно, подозрения падали на честных людей. Возросшая подозрительность среди граждан города создавала атмосферу нервную, напряженную. Раздоры, клевета, ложные доносы — все, знакомое от сотворения мира, пошло снова в ход.

А волк уже расхаживал по улицам, и даже днем. Его ни в чем не подозревали. Кому могло прийти в голову, что это волк, а не собака? А известно, что собака испокон веков и страж и друг человека. Как же ей не доверять? Она призвана охранять народное добро, а не расхищать его.

Волку доверяли во всем, сочувствовали, что он калека, жалели его: «Безногий, значит, убогий!» — и прикрикивали на слишком усердных собак, которые приходили в неистовство от одного его вида.

Собак волк не боялся, тем менее боялся он машин. Собака рычит, беснуется, беспокоит, она чует, с кем имеет дело, и заставляет все время быть настороже. А машина есть машина,

транспорт. Она ничего не чует, что ее бояться? Но среди машин однажды появилась обыкновенная старая лошадь, тоже транспорт. И она-то и выдала волка. Она просто храпнула, взвилась по старинке на дыбы и понесла. Если бы не эта устаревшая лошадь, волк, вероятно, и поныне безнаказанно бродил бы по городу. Но тут он выдал себя — он бросился лошади на круп.

Прошло уже немало времени с того памятного дня, как в центре Озерска был затравлен матерый волчище, а последствия пребывания его в городе все еще до конца не ликвидированы. Люди все еще не могут прийти в себя от страха и вздрагивают, когда встречают обыкновенных безобидных собак: а вдруг среди них есть еще волки?

Илья Евгеньевич Макаров рассказывал мне, что он даже коротконогого щенка своего держит до сих пор под подозрением: не волк ли растет?

1960 г.

НЕ СОБАКА И НЕ КОРОВА

Моя сестра, возвращаясь однажды поздней зимней ночью с посиделок с пряслицей и с горящим пучком лучины в руках, встретилась посреди деревни с волком. Должно быть, очень голодный, он сидел, скалил зубы и не хотел уступать ей дорогу.

— Ты что, Шарик, с ума сошел? — прикрикнула на него девушка.— Пошел вон!

«Шарик» оскалил зубы еще больше и зарычал, глаза его нехорошо сверкнули. Сестра ткнула ему в морду горящей лучиной.

— Ошалел, что ли? Нет у меня ничего для тебя.

Волк отступил, прыгнул в сторону, в снег.

Когда всполошенные родители сказали моей сестре, что это был волк, а не Шарик, она удивилась и не поверила:

— Какой же это волк, когда он на собаку похож. Собака она собака и есть!

Недавно в Подмосковье к нашей даче подошел лось. Он был так невозмутимо спокоен, с таким хладнокровием, даже равнодушием смотрел на меня, что подумалось: не ранен ли? не болен ли? Самая настоящая корова, домашнее животное!

Я быстро собрал своих ребятишек, крикнул жене, и мы толпой, всей оравой двинулись к лосю, за забор, в мелкий осинничек. Дети радовались: наконец-то они налюбуются диким зверем.

— Какой же он дикий? Какой зверь? — возмутился я.— Захватите с собой хлеба побольше да соли, сейчас мы его будем кормить.

— Что ты, папочка?

— А вот увидите!

Мы осторожно, чтобы не испугать, подходили к лосю все ближе и ближе, а он повернул голову и смотрел на нас совершенно спокойно, без всякого интереса, даже как-то устало. Возможно, он думал, этот неприкосновенный владыка подмосковных рощ, стоит ли, дескать, связываться с этой назойливой мелкотой. Возможно, думал что-то другое. Только вид у него был до того домашний, коровий, до того ручной,

что я совершенно осмелел, а вернее сказать, обнаглел,— особенно с точки зрения лося.

— Тпруконь, тпруконь, тпруконь! — стал звать я его, как зовут в деревнях корову, и, протягивая вперед руку с густо посоленным хлебом, пошел к его влажной, к его мокрогубой коровьей морде. Иллюзия была слишком заманчивой.

Но когда я подошел к нему совсем близко, когда до него оставалось не больше десяти шагов и лось вдруг нервно переступил, я, должно быть, все-таки испугался его величественных размеров и особенно его огромной горбоносой чушки. А может быть, я побоялся, что лось, вдруг переступивший с ноги на ногу и на мгновение обернувшийся назад, убежит от меня? Во всяком случае, я остановился, замер. Затем решился и кинул хлеб ему под ноги.

Этого не надо было делать. Я забылся. Передо мной, конечно, был зверь, а не корова. Зверь, не уступающий в силе медведю.

Лось не побежал от меня, а бросился на меня. Он решил, что я на него нападаю, и сам пошел в атаку. Но бросился на меня он не быстро, без ярости, без воодушевления, лениво, только затем, должно быть, чтобы образумить наглеца и отвязаться от него.

Я закричал. Еще сильнее и, вероятно, еще менее красиво закричали мои дети, моя жена, моя семья. И лось не тронул нас. Он повернулся и, широко раскидывая в сторону огромные голенастые задние ноги, не спеша, скрылся в осиннике. «Ну вас к богу, лучше не связываться!» — казалось, сказал его белесый короткохвостый зад.

— Какая же это корова, папочка! — испуганно упрекали меня дети.

— Да ведь очень уж похож на корову, совсем ручной!

1962 г.

СТАРЫЙ ВАЛЕНОК

Ну как жизнь, старина? — ежевечерне спрашивал у своего приятеля седобородый нечесаный Лупп Егорович.

Толстый ленивый кот, давно прозванный Старым Валенком, спросонья поворачивал голову, чуть приоткрывал глаза и нехотя мурлыкал что-то невнятное. Можно было подумать, что он говорил: «И как тебе не надоест из года в год спрашивать об одном и том же? Ну, живу по-прежнему! Вверх головой! Чего тебе еще? Экий человек, право!»

Лупп Егорович и Старый Валенок много лет жили вместе, и каждый думал, что он старше другого. По этой простой причине, по старости, они были одиноки, и обоим казалось, будто и дружат они лишь потому, что больше дружить не с кем и остается одно — терпеть друг друга.

Но в их отношениях, кроме семейной привязанности, было взаимное уважение, а временами даже любовь.

Когда кот был молод и прост, он повсюду следовал за своим хозяином. Приохотился Лупп Егорович ходить перед праздником на рыбалку — и кот за ним. Поймает старик мелкую рыбешку: уклейку, пескарика или ершика,— выбросит на берег, а кот ее съест.

— Хоть бы посолил! — потешался над Старым Валенком Лупп Егорович.

Но коту нравилась рыба и несоленая, была бы она живая. Сидит старик с удочкой, не шевелится, а рядом у края воды рыбачит кот, сторожит всякую мелочь, проплывающую возле бережка. Подплывет рыбка совсем рядышком,— в прозрачной воде она кажется крупной,— цапнет ее кот лапой и удивляется, что в лапе ничего нет. А Лупп Егорович хохочет:

— Это тебе не мыши!

Приохотился хозяин в силки рябчиков ловить — и кот начал промышлять птичек в лесу и на огороде.

Со временем приятели даже внешне стали походить друг на друга: Лупп Егорович, обзаведясь большой бородой и пышными бровями вроде двух кошачьих хвостов, все больше смахивал на лохматого кота, а пушистый Старый Валенок —

на Лунпа Егоровича. Но сами они не замечали этого и любезничали друг с другом редко.

Старый Валенок с годами становился высокомерен, заносчив. Он презрительно смотрел со своей лежанки на возвращающегося поздней ночью волосатого Лупна и не трогался с места, даже когда тот начинал его гладить вдоль спины, только вытягивал хвост, чтобы рука старика прошлась и по хвосту. Мурлыкать от удовольствия, урчать, как положено всякому зверю кошачьей породы, Старый Валенок тоже не всегда находил нужным. А о том, чтобы сойти с лежанки, встретить приятеля у порога с задранным хвостом и потереться о его подшитые и заштопанные во многих местах катанки, он и думать не хотел. Такого случая ни он сам, ни Лупп Егорович уже не помнили. И если кот все-таки мурлыкал, то Лупп Егорович говорил:

— Мурлычешь, сукин кот, значит, жрать хочешь. Так просто, по доброте душевной, ты не замурлычешь.

Если бы не Лупп Егорович, Старого Валенка вообще не было бы на свете. Но разве он это понимает? Покойная жена Луппа Егоровича, Настя, держала в доме кошку, не запрещала ей даже котиться, но всякий раз уничтожала весь приплод. Положила однажды она слепых котят в ямку, прикрыла их камнем, а камень лег неплотно, и котята начали пищать, кошка услышала, заметалась, сама подрыла землю под камнем и вытащила одного котенка живым. Старуха хотела его сразу утопить, но Лупп Егорович воспротивился. «Судьба! — сказал он.— Пущай живет!»

И кот выжил. И стал Старым Валенком.

Лупп Егорович не работал в колхозе, годы вышли, но характер по-прежнему имел беспокойный, во все вмешивался, все и всех судил. В поведении Старого Валенка больше всего старика возмущала его молчаливая сонливость. «Как же ты можешь на все закрывать глаза, если ты живое существо?» — часто с удивлением и гневом допрашивал он кота.

Сегодня Лупп Егорович пришел домой подвыпивший и был особенно словоохотлив. Он повесил на крюк рядом с рожковым умывальником полушубок, смахнул кое-какую мокреть с усов, затем пошел на кухню, повозился ухватом в пекарке, вытянул горшок с остатком щей, принес их на стол и крикнул:

— Ладно, иди, старина, покормлю!

Кот издал в ответ какие-то влажные булькающие звуки, посмотрел, что ему предлагают и стоит ли из-за этого

покидать теплое место, и, осторожно приподнявшись и потянувшись, начал неторопливо спускаться с лежанки, с приступка на приступок. Движения его были замедленны, как и у Луппа Егоровича, должно быть, они все-таки подражали друг другу даже в этом.

— Не голоден, значит? — с обидой сказал Лупп Егорович, выжидая, когда Старый Валенок спустится с печурки и подплывет к столу.— Не голоден, старый черт, или пенсию уже успел получить? Лежебок несчастный! Ох и ленив же ты, братец, за что только хлебом тебя кормят! Имечко тоже тебе подходящее дадено, заслуженное имечко: Валенок ты — Валенок и есть!

Кот степенно подошел к столу, понюхал протянутую руку с куском хлеба, смоченным в жидких, нежирных щах,— от руки пахнуло не щами, а табачищем,— и отказался есть. Он недовольно мяукнул. «Твое имя лучше, что ли?» — казалось, выговорил он.

— Мое имя, братец, тоже не ахти какое, так в этом не я виноват. Поп на моего отца сердит был за вольномыслие и досаждал ему, чем мог. Народился сын, он и сыну — мне, стало быть,— еще в купели жизнь испортил на веки вечные. В школе и в деревне раньше мне проходу не давали, каждый перекрещивал, как хотел: «Лупа да Луна...» А разве я это заслужил? Ты вот заслужил. Твое имя к тебе пристало. Мурлычешь, гад? — ласково заключил свои высказывания Лупп Егорович.

«Мурлычу! — ответил Старый Валенок.— Чего тебе надо?..»

А Луппу Егоровичу ничего не надо было, ему просто хотелось поговорить, ему было хорошо. «Неужто и с котом своим по душам поговорить нельзя?» Уже лет пять, как Настя, старуха, умерла. Дочь вышла замуж, работает вместе с мужем на маслозаводе. «Вот бы тебе, Старому Валенку, где пристроиться надо!» Два сына поучились и уехали из деревни, в начальники ладят выбиться. «Все нынче в начальники лезут!» Об этом бы и хотелось поговорить Луппу Егоровичу, но — кот, что он знает?..

— Есть ли у тебя душа? — спрашивает кота Лупп Егорович.— Думаешь ли ты о жизни и как ее, нынешнюю, понимаешь?

Старый Валенок молчит и, недовольный, возвращается на теплую лежанку, на свое обычное место. Там он поджимает мягкие лапы, укладывает вокруг себя пушистый хвост, словно обертывается широким шерстяным шарфом, и, без-

участный ко всему, закрывает зеленые усталые глаза.

— Вот твой главный недостаток: равнодушный ты! Жизнь идет, а ты спишь да спишь,— продолжает выговаривать ему Лупп Егорович.— Нет у тебя души, только шерсть одна. И мышей ты лопаешь с шерстью. Чего глаза закрываешь? Если бы у тебя была душа, ты глаза не закрывал бы, когда с тобой о деле говорят. Ну выпил я, ну и что? Дочка без внимания не оставляет, ей спасибо: в люди выбилась, не зря учил, человеком стала. От нее всегда поддержка — и маслом и деньгами... Дела, понимаешь, в общем-то, идут, и народ живет, приспособился, а все-таки не надо закрывать глаза, а то движения не будет. Вот говорю я председателю: поставь меня на пасеку, не губи ее, самое это стариковское дело — пасека, выгодно будет. А он что? Не лезь, говорит, не в свое дело, тебе скоро пенсию дадим. Он, стало быть, проявляет инициативу, а мою, эту самую инициативу, куда? Опять же о дочке. Была бы жива старуха, легче было бы, а то мест в яслях не хватает, в детский сад очереди. Вот говорим девкам: учитесь, раскрепощайтесь! А детей кто нянчить будет? Понимаешь, о чем я говорю, или тебе, лежебоку, ни до чего дела нет?

Кот лежал спокойно, ничего не требовал, ни о чем не спрашивал.

В избе наступали сумерки, очертания Старого Валенка начали расплываться. Безразличие кота раздражало Луппа Егоровича, но он понимал, что обижаться на животину бесполезно. Опершись руками о лавку, он тяжело поднялся, прошел к суденке возле печи, ощупью отыскал ложку, кусок хлеба и, вернувшись к столу, похлебал щей. Свет бы зажечь, но к чему? Скоро спать, а пока даже не дремалось. Ночи теперь долгие, спать приходится много, зачем спешить? Охота разговаривать еще не оставила Луппа Егоровича. Он снова повернулся к коту и неожиданно рыкнул:

— Дай закурить!

Старый Валенок промолчал.

— Вот видишь, какой ты: с тобой как с человеком, а ты что? Ну выпили мы с Прокопом маленько, посидели, посовещались, души свои разбередили. Поди, и поворчать старикам нельзя? Сколько уже раз колхоз наш то укрупняли, то разукрупняли — как душе не болеть? Пасеку похерили — пчелы, видишь ли, невыгодны, кур похерили — куры невыгодны, лошадей на колбасу — лошади невыгодны. Земля стала невыгодной, лес наступает на сенокосы, на пашни. Того гляди, и старики станут невыгодны. Что же это такое происхо-

дит? Опять же говорю председателю: все берега по реке ивняком затянуло, отдай их мужикам исполу, расчистят, пущай два года косят для своих коров, потом колхозу перейдет, выгодно. А он что? На мелкобуржуазию, говорит, воду льешь... Чего молчишь? — кричит на кота Лупп Егорович.— Ну я выпил маленько, так я дело свое знаю, у меня душа болит. А ты ради чего живешь на земле, за что ты отвечаешь? Где твоя норма? Выполняешь ты свою норму или нет?

Лупп Егорович, у которого язык начинал все больше заплетаться, пришел вдруг в такое возбуждение, что сорвал катанок с ноги и бросил им в кота. Кот встрепенулся, но с лежанки не соскочил, только перешел на другое место. Он, должно быть, привык к подобным выходкам старика, спокойствие не изменило ему. Чуть приоткрылись круглые глаза, блеснул в сумерках зеленый огонек — и мирное течение жизни в доме восстановилось.

— Ну что, братец, поразговаривали мы с тобой? — стал успокаиваться и старик.— Это хорошо, что ты молчать умеешь, а то нарубили бы мы дров сообща. Пожалуй, этак и пенсию не получим. Не могу проходить мимо, братец ты мой, совесть не позволяет. Иные под старость либо косеют, либо слепнут, а я под старость только больше видеть стал. Вот, скажем, обратно плата за труд. Добавочная оплата есть — по животноводству, по льну, по сену — это все соблюдается. А сам трудодень опять ничего не стоит. Выгодно это колхозу или невыгодно? А деньги какие хитрые стали!..

Лупп Егорович зевнул. Бесполезность разговора с котом стала для него вдруг настолько очевидной, что он сразу устал и захотел спать. Но заключить разговор надо было так, чтобы на его стороне осталась победа. Он так и сделал:

— Я же не о себе пекусь, понял? Вот сидишь и носом не ведешь. Старый ты Валенок! Брюхач!

Спал Лупп Егорович нераздетым, только катанки снимал и ставил на печку. Один катанок он поставил рядом с котом, другого искать не стал: показалось, кот приоткрыл мудрые глаза и поглядел на него насмешливо — дескать, сам разбрасываешь, сам и собирай.

— Ну, ладно уж, ладно, поговорили! — сказал Лупп Егорович и погладил кота по голове. Тот не пошевелился.

Обычно Лупп Егорович спал на печи, подостлав под бока ватник. Но на печь лезть трудно, сейчас для этого не было ни сил, ни охоты. Поэтому он взял от стола скамью,

придвинул ее к другой скамье у стены, положил в изголовье тот же ватник с печки и лег на спину, закинув руки назад, кулаки под голову. Лохматые брови его сомкнулись у переносья, широкая борода закрыла всю грудь, вытянулась до кушака. Засыпая, Лупп Егорович бормотал про себя:

— Как в людях ни хорошо, а дома лучше. Сколь подушка ни мягка, а свой кулак мягче...

Старый Валенок беззлобно, даже доброжелательно поглядывал сверху, как укладывался его хозяин, а когда в избе раздался первый легкий храп, он словно преобразился: выгнул спину, легко и мягко соскочил с лежанки и юркнул в подполье на очередную охоту за мышами. Равнодушия его как не бывало: он пошел выполнять свою жизненную норму...

Ночью луна осветила бревенчатые стены избы, разверстую русскую печь, пустую лежанку-подтопок, темный, давно не скобленный стол, на нем горшок с остатками щей, скамьи, сдвинутые вместе, и спящего старика с широкой бородой на груди.

При свете луны из подполья неслышно, как привидение, вышел пушистый сибирский кот, крадучись приблизился к своему старому ворчливому другу, легко прыгнул ему на грудь и осторожно, чтобы не разбудить, положил ему в широкую нечесаную бороду полузадушенную мышь — самую крупную, самую жирную из всех, какие удалось ему промыслить за эту ночь.

1962 г.

ЖИВОДЕР

Мы нередко говорим: играет, как кошка с мышью. Сегодня ночью я видел, что это такое.

Я живу в деревне у одинокой женщины, моей родственницы, в большой чистой избе, устланной домоткаными половиками, увешанной рукотерниками и плакатами. Воздух в избе чистый, клопов сравнительно немного, питание здоровое: ягоды, грибы, капуста...

Но больше всего меня устраивает, что старушка моя рано ложится спать и, перед тем как лечь, наливает для меня полную лампу керосину и старательно чистит стекло скомканной газетой.

Ночью я люблю сидеть один — читать, думать, писать — в совершеннейшей тишине. Гудит в трубе тепло, суматошится метель под окном, и серая молодая кошка мурлычет рядом. Я не терплю кошек за их высокомерие и эгоизм. Говорят, собака привыкает к хозяину, а кошка к дому. По-моему, ни к чему она по-настоящему не привыкает и ни на одну кошку никогда нельзя положиться. Но эту, молодую, серую, я почему-то полюбил.

Сегодня в полночь кошка неожиданно подняла возню, начала мяукать, и я увидел, что она вынесла на середину избы живую мышь. Мышка была еще не измятая, совсем свеженькая, пушистая и маленькая, тоньше кошкиной лапы. Поначалу я не почувствовал к ней никакой жалости, а кошку, наоборот, похвалил про себя: дескать, не дармоедка, знает свое дело!

Кошка положила мышь на половик посреди избы и легла рядом с ней. Мышка припала к полу, вытянув хвостик, и удивленно замерла: ей, наверно, показалось, что она свободна и может убежать, куда хочет. Так и есть: мгновение — и ее не стало.

— Ах, черт! — воскликнул я от огорчения.— Ушла!

Но кошка спружинила, метнулась в задний угол избы, в темноту, успела за мгновение обшарить там своими толстыми лапами весь пол, нашла мышь,— как мне представилось, ощупью,— и уже спокойно, держа ее в зубах, вернулась на середину избы.

— Упустишь, дура! — сказал я.

Кошка положила мышь на прежнее место и снова легла рядом с нею, щурясь и беспрестанно мурлыча. И мышке опять поверилось, что она вольная птица. На этот раз кошка поймала ее у меня в ногах, под столом. В следующий раз — под печкой-лежанкой, затем на кухне. И все это в полумраке, потому что моя керосиновая лампа не освещала всей избы. Половики на полу были смяты, жесткий кошачий хвост, как лисья труба, мелькал то в одном месте, то в другом. Сколько раз я считал, что все кончено, мышь сбежала!

— Прозевала-таки, полоротая! — ворчал я.

Но кошка не зевала. И я убедился, что этот зверь знает свое дело.

— Что вы там возитесь? — спросонья спросила хозяйка с печи и, не дождавшись ответа, снова захрапела.

Мышь устала, начала хитрить. Она подолгу не двигалась, вероятно прикидываясь мертвой. Кошка ложилась на бок, кувыркалась, поднималась на ноги, дугой изгибала спину и легонько, издалека, трогала мышь своей страшной лапой, и мырлыкала, и мяукала. Ей хотелось играть. Она требовала, чтобы и мышь играла с нею, не умирала бы раньше времени.

Я осветил их лучом китайского фонарика и увидел: мышка еще жива, черные глазки ее поблескивают, только она выжидает, ей хочется перехитрить свою смерть. Но, господи, до чего же она была мала рядом с этим страшилищем! И я вдруг, впервые в своей жизни, пожалел мышь, мне даже захотелось, чтобы она сбежала. И, словно почувствовав, что я на ее стороне, мышка кинулась под печку, но кошка, даже не вскочив, накрыла ее своей лапой и вместе с ней игриво перевернулась через спину.

Это продолжалось долго. Долго мышку не оставляла призрачная надежда на свободу. Только покажется ей, что наконец-то она перехитрила своего врага, может вздохнуть, скрыться и располагать собою по своему усмотрению, а кошка опять прижмет ее к полу, к земле. Прижмет и отпустит. Отпустит и отвернется, делая вид, что ей все безразлично. И мяучит требовательно, недовольно: «Да беги же снова, играй со мной!» Не мурлычет, а мяучит.

Хозяйка с печи опять подала голос:

— Кошка-то, видно, на улицу просится, выпусти!

— Нет, она мышь поймала, играет! — ответил я.

— У, тигра окаянная! Живодер! — с ненавистью сказала хозяйка.

Наконец и я ощутил ненависть к кошке.

Я направил узкий электрический луч прямо в ее бледно-зеленые, с серым дымком, глаза, когда она, валяясь на спине, жонглировала мышью, как фокусник мячиком, и ослепил ее.

Воспользовавшись этим, мышь сделала последнюю попытку уйти в свое подполье. Но у тигры кроме зрения был еще звериный слух.

— У, подлая! — с откровенной ненавистью зашипел я.— Поймала-таки опять! Кровопийца! — и я готов был пнуть ее, потому что вся моя застарелая неприязнь к кошачьей породе поднялась во мне.

Мышь больше не подавала признаков жизни. Кошка мяукала с недоумением, обиженно и гневно толкала ее то левой, то правой лапой, словно бы отступалась от нее, отходила в сторону — мышь не двигалась и лежала либо на боку, либо на спине, задрав кверху голенькие, тонкие, как спички, ножки.

Тогда кошка съела ее. Ела она неторопливо, лениво, щуря глаза и чавкая. Похоже было, что ест без удовольствия, ест и брезгует. Мышиный хвостик долго торчал из ее рта, словно кошка раздумывала: глотать ей эту бечевку или выплюнуть ее. Под конец она проглотила и хвостик.

Хозяйка моя свесила ноги с печи.

— Ты что, полуношник, сегодня долго не спишь?

— Смотрел, как кошка с мышью играла,— ответил я.

— Ой, паре! — охает хозяйка, должно быть удивляясь моей несерьезности.

— Что — «ой, паре»?

— Ну-ко, надо!

— Что — «ну-ко, надо»?

Хозяйка задумывается и наконец, что-то обмозговав, произносит:

— Тигра — она тигра и есть! У нее свое дело, а у тебя свое. Спи давай!

— Ладно! Давай буду спать.

Я ложусь и засыпаю тревожным, тоскливым сном.

Снится мне моя страшная житейская беспомощность: меня ловят, со мной играют, хотят меня съесть. Захотят — съедят немедля, захотят — оставят до утра. А я — просто игрушка, я — просто для игры.

— Ой, паре! — вскрикиваю я, удивляясь и негодуя на самого себя.— Ну-ко, надо!

1962 г.

ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ





БЮРО РАЙКОМА

Я завтра лечу в Никольский район к матери на Ан-12...

Первого февраля 1958 года. Мороз серьезный. В 9 часов 50 минут взлет. В Никольск возвращаются директора школ, ездившие в Вологду на совещание при облоно. Сели в Никольске в 11 часов 55 минут. Аэродром около Кузнечихи. До Никольска на лошадях. Давно не испытывал удовольствия проехать на санях по морозцу.

В райкоме третий день идет бюро: подбирают и уговаривают новых председателей для колхозов — из разных служащих, учителей. Там же сидит и Видясов Михаил Ефимович, секретарь обкома комсомола.

Первый секретарь, Новожилов Илья Григорьевич, переведен сюда из Чёбсарского района. Он сменил Смирнова, который «завалил район», хотя в народе о нем говорят в общем неплохо: человечный, не грубый, старавшийся жить не в тягость людям.

Новожилов уже на пленуме, где его выбирали первым секретарем (он принял дела в начале января этого года), заявил: «Я приехал сюда с тем, чтобы вытащить, поднять район либо шею себе сломать». При этом кто-то из зала ему будто бы крикнул: «А долго вы у нас думаете пробыть?»

Новожилов — сорока семи лет, рыжеватый, с большой залысиной, низкого роста, с лицом совершенно несимпатичным, с губами тонкими и злыми, злой весь рот. Вероятно, не так силен характером, как напускает на себя. Эта «сила характера» постепенно усваивается такими начальниками, как поза, из-за того, что им постоянно внушают: «Партийный руководитель должен быть твердым, несгибаемым, деловым, энергичным, настойчивым в достижении своей цели и т. д.»

Разговаривая с человеком, он как бы все время воспитывает его, то есть рубит кулаком либо воздух, либо стол, при этом рот его приобретает жесткое, резко очерченное выражение, губы почти исчезают, остается одно небольшое отверстие, как провал, как темное озерко среди зарослей щетины, но Новожилов брит...

Если человек начинает что-то возражать, пытается вставить свое слово, сопротивляется, Новожилов обрывает его:

— Помолчите, я вас не перебивал! — Хотя еще тот и не говорил ничего. Или: — Подождите, я еще не высказал до конца свою мысль!

Он часто ссылается на себя, на примеры из своей собственной жизни и деятельности, как на положительные примеры, чтобы аргументы свои в пользу того или иного утверждения сделать совершенно неопровержимыми, неотразимыми. И они, видимо, становятся неотразимыми, так как он верит в это. Новожилов похож на коменданта любого концентрационного лагеря — такими их описывали в войну.

За три дня заседания бюро райкома они отобрали двенадцать председателей, каждого из них проработали, обговорили. Под сомнением один: то есть один из двенадцати все-таки может положить на стол партийный билет и не поехать в деревню.

Я видел, как ломают, калечат порой судьбы. Предлог благородный — во имя улучшения жизни сотен людей в колхозах. Но делалось это с таким жестокосердием, с таким невниманием к судьбе человека, к его слезам, растерянности, мольбам и с пренебрежением к сути возражений, что было абсолютно очевидно, что имеются в виду не судьбы людей, не счастье их и процветание великого дела, а только одно: любыми средствами «вытянуть» район и не сломать себе шею.

Меня приняли сразу, поздоровались все поочередно, поговорили о том о сем, о «земляке-поэте».

— Значит, потянуло на родную землю?

— А как же, тянет...

— Очень хорошо, что не забываете. Может, и напишете что-нибудь о росте людей, о переломе в сельском хозяйстве, о претворении в жизнь решений...

Я остался на бюро:

— Только, пожалуйста, пусть вас никак не связывает мое присутствие здесь. Я не в качестве корреспондента.

Как раз первого подбирали председателя для моего колхоза «Красный пахарь». Деревни: Блудново, Пермас, Липово, Сторожевая.

Присутствуют: Новожилов, Видясов, второй секретарь — Денисов Геннадий Владимирович, предрик Шабанов Борис Кузьмич, его заместитель Оборотов (ездил за мной на аэродром, когда я уже был в городе) и редактор газеты...

Два часа дня. **Скоробогатов** Владимир Макарович — директор головного маслозавода. Он заулыбался, когда согласились послать его в колхоз «Красный пахарь», а не в колхоз имени Ленина — туда 60 километров от района, дорог нет и

прочее. Новожилов дважды пожимает ему руку. Прибыть к месту работы не позднее 3 февраля, то есть в понедельник, послезавтра. Его будет кто-то сопровождать из районного руководства. Я решил ехать с ними, в понедельник, чтобы проследить первые шаги нового председателя, но потом раздумал, когда увидел, как грубо все это делается и так же грубо, с нажимом, будет делаться и в деревне. Решил, наоборот, стоять в стороне и выехать в деревню раньше.

Следующий входит **Сорокин** Иван Акиндинович, директор Кумбисерской средней школы. Сам преподавал историю и ручной труд, сейчас оформился биологом. Он намечен в колхоз «Вперед» на территории Никольска. Колхоз большой. Бывший его председатель, Шилов, вначале работал неплохо, колхоз вытянул, а потом растратил 95 тысяч рублей и был снят.

Сорокин — чернявый, сухощавый человек, с черными, замершими от неизвестности глазами. За все время разговора с ним, около часа, наверно, все силы его, казалось, были сосредоточены на одном: устоять, не сдрейфить, не сробеть. Он редко смотрел в глаза Новожилову и другим, наступавшим, обрушивавшимся на него,— а все больше вниз либо просто в сторону и вдаль — только бы не потерять выдержки.

Разговор начинается так:

— Садитесь, товарищ Сороков,— говорит Новожилов и смотрит в бумажку.— Да, товарищ Сорокин... Иван Акиндинович! Так вот, есть такое мнение у бюро: использовать вас... Вы догадываетесь, о чем пойдет речь?

— Догадываюсь немного,— хмуро отвечает Сорокин.

— С вами уже беседовали?

— Да, было...

— ...Решили направить вас председателем колхоза. Сколько вы сейчас получаете?

— 1475[1].

— Будете получать 1500 рублей. Четыре тысячи дадим на обзаведение коровой. Да трехмесячное выходное пособие. Будете строить дом — можете получить десять тысяч ссуды с рассрочкой на десять лет.

— Я не согласен в колхоз.

— Подождите, подождите, я еще не кончил свою мысль. Что значит — не согласен?..

— Так, не согласен. Я больной, контузия с войны, расстройство нервной системы.

---

[1] Денежные исчисления до реформы 1961 года.

— Вы знаете, какие сейчас партия ставит задачи перед сельским хозяйством, перед всеми коммунистами? Надо в ближайшие годы догнать и перегнать... Знаете, что для этого от нас, строителей коммунизма, требуется?..

— Я хочу работать в школе... Мне не справиться в колхозе. У меня очень большая жалость к людям.

— Вот это и хорошо. А вы что думаете, партия не жалеет людей? У партии, у нее нет другой цели...

— Я все понимаю, только не справиться мне. Кончится тем, что опять будут голову снимать.

— А вам за что снимали?

— В 1949 году дали выговор без моего присутствия за пьянку и хулиганство... И в другую школу перевели.

— Вот видите... потом сняли выговор, что ли? Мы сейчас его снимем.

— Да нет, его и не записывали в мое дело. Я же не пил. Проверили и убедились, что в это время я был в Вологде, на учительских курсах.

— ...

— Нет, не справиться мне. Потом пошлете и меня в лес, как не обеспечившего руководство... Это ж надо ночей не спать. А у меня здоровья нет.

— А вы думаете, у нас здоровье... Вот я в двадцать пять лет поседел (между прочим, у Новожилова залысины, но никакой седины нет). А партия сказала, что мое место здесь, где трудно, и я пошел. Задача строительства коммунизма требует от нас... Уже двадцать лет живем при коллективизации, а нищенские условия жизни. Кадрами мы не занимались. Мы не можем больше играть на нервах народа.

— Да болен я...

— А мы что, не больны?.. Вот я... На днях обсуждался вопрос о путевке... Инженер Детинцев из подмосковного угольного бассейна имеет туберкулез легких, а его послали в Вологодскую область. И справился... На самый плохой колхоз поставили.

— Не справлюсь, и меня в лес пошлют...

— Если так говоришь, то тебе только и остается, что дрова рубить... Я вас не перебивал.

Видясов говорит, Сорокин задает вопросы. Видясов все время перебивает его:

— Это уже второй вопрос... Это уже третий вопрос...— И обрывает его.

— Работы в десять раз больше будет...

— Верно,— говорит Новожилов.— А мы не работаем? Третий день сидим, забыли уже, когда обеды бывают...

— Я со своими учителями не справляюсь, да с техничкой...

— Если бы мы думали, что не справитесь, не пригласили бы на бюро. Бюро известны ваши деловые качества: рука у вас твердая,— Новожилов показывает свой сжатый кулак,— характер крутой,— и опять кулак, как подтверждение деловых качеств и надежной твердости характера.— Вы уже здесь показали, что вы твердый, упрямый человек.

— Пятый раз вызывают. Пятый раз на беседе.

— Упрям! Но сейчас решение будет последнее.

— Колхозом мне не руководить.

— Будете руководить, заставим. Будете, это я вам твердо обещаю. Зачем даете себе ложную характеристику? Ведите себя по-партийному.

— С техничкой и с учителями не справляюсь. Спросите.

— Мы техничек не спрашиваем.

Кто-то другой вмешивается:

— Надо решать. Сколько же можно уговаривать.

— Не пойду я в колхоз.

— Вы себя коммунистом считаете?

— Считаю.

— Как же вы не подчиняетесь партийным решениям?

— Я подчиняюсь. А в колхоз не пойду.

— Значит, вы липовый коммунист.

— Пусть липовый... У меня уже и так все в душе перекипело. Сколько я болею после войны, мне ни разу десятки на лечение не дали. А каждая путевка больше двух тысяч.

— Вы сейчас получаете 1 450. Дадим 1 500. Стыдно, такая зарплата!

— Будем лечить, будем. Обещаем!..

— Знаю я это...

— Шутить такими вещами на бюро нельзя.

— Мне терять нечего. Да я и не шучу.

— В лес пойдете.

— Пусть.

— Он, наверно, не понимает, что ему грозит. Думает, что в лес — служить. Дрова рубить будете. Он, наверно, думает, что его оставят директором, учителем? Нет, таким людям воспитание молодого поколения мы доверить не можем...

— Все знаю. Нечего запугивать.

— А ведь дай ему зарплату побольше — пойдет.

— Не пойду в колхоз. Уже запугивание начинается.

— Не запугиваем. Сегодня примем такое решение: о направлении вас в колхоз. Не пойдете — может быть, придется оставить партийный билет. Апеллировать, конечно, можете...

— Буду апеллировать — и в обком, и в ЦК.

Видясов:

— Относительно обкома заранее скажу — решение будет одно. Да и в ЦК тоже вас не поддержат. Надо коммунизм строить...

Новожилов:

— Я обещаю вам — будете в колхозе.

— Не буду.

— Будете — председателем либо рядовым.

— Председателем не буду.

— Надо решение принимать! — подсказывают другие.

— Все дело в том, что его уже пятый раз вызывают, а до сих пор решения не принято. Избаловали.

— Вы на ложном пути как коммунист и как учитель.

Решение стандартное: «Считать целесообразным использовать товарища Сорокина И. А. на руководящей работе в колхозе «Вперед». Предложить товарищу Сорокину выехать к месту рекомендуемой работы не позднее 7 февраля 1958 года».

— Я и седьмого скажу то же самое: не поеду!

Новожилов:

— При таком упрямстве вы могли бы стать *хорошим* председателем колхоза. Вы себе цены не знаете.

Сорокин ушел. У него в Кумбисере свой дом, есть корова. Жена тоже учительница, в той же школе, ребенок один. Разговор без него продолжился:

— Мы развращаем людей своим *либеральным* отношением к ним.

(Вот либеральное: человек говорит: «Она же его не любит, что уж тут...» Новожилов: «Заставим любить!» — и кулак сжат.)

Одинцов Василий Тимофеевич. Следователь, учится заочно на четвертом курсе юридического института. Рыжий, рыхлый, лет сорок, не меньше, возможно больше. Только вчера на бюро райкома приняли его кандидатом в члены КПСС.

Одинцова решили проверить, задумали эксперимент: сначала пообещать ему должность прокурора — согласится или

нет: конечно, согласится,— а когда согласится, кто-нибудь из членов бюро внесет иное предложение — послать его председателем. Отказываться ему будет тяжелее, да почти невозможно: прокурором быть согласен, а в колхоз ехать не желаешь?!

— Вот какое дело. Хотели вас послать в колхоз, но посылаем в колхоз прокурора, а вас на его место. Думаем, что справитесь.

Одинцов помялся и согласился:

— Если в верхах не будут возражать.

Видясов, секретарь обкома комсомола, предложил:

— Думаю, что не хуже было бы, если б направили товарища Одинцова председателем колхоза...

— Ну, раз есть другое предложение, надо его обсудить.

Одинцова попросили выйти. Посоветовались и решили дать Одинцову колхоз имени Ленина. Новожилов сказал:

— Ну так я делаю ход. Будем говорить, что мы не сошлись во мнениях.

Покурили. Вызвали Одинцова. Он чем-то напоминал нашего техникумского учителя физкультуры.

— Ну вот, мнения у нас разошлись. Решили посоветоваться с вами. Можно вас на колхоз имени Ленина. Сколько вы сейчас получаете?

— 975.

— Будете получать тысячу рублей. Дадим трехмесячное выходное пособие. Ссуду на строительство дома — можно десять тысяч рублей. Четыре тысячи на приобретение коровы.

— У меня же учеба пропадает, товарищи. Вся жизнь ломается.

— Почему ломается? Дело коммунистического строительства только выиграет. А институт вы кончите...

— У меня война оборвала учебу. Ушел добровольцем на фронт с четвертого курса землеустроительного института... В армии был сержантом.

— Значит, мы очень правильно решили, справедливо — оказывается, у вас землеустроительное образование есть.

— Опять мне института не кончить...

— Институт вы кончите обязательно. Это мы вам гарантируем. Обяжем вас кончить.

— Разве уж тут кончишь...

— Кончите! Было бы неправильно, если бы райком партии выступил против ученья председателей колхозов.

— Вся жизнь моя ломается... Я не согласен.

— Значит, вы не согласны только из-за учебы?

— Да надо бы и с женой поговорить.

— А жена кто?

— Была раньше бригадиром тракторной бригады.

Все обрадовались:

— Значит, решили очень правильно, и жена будет на месте.

— С женой вы поговорите по народной поговорке: куда игла, туда и ниточка.

Одинцов сидит, тяжело думает. Новожилов спрашивает членов бюро:

— Ну, так решаем?

— Я не согласен! — говорит Одинцов.

— А с женой посоветуйтесь. С какого угла советоваться надо? Вот, дескать, милая моя, состоялось такое решение... А насчет учебы гарантируем. Попробуйте-ка не окончить...

— Это одни разговоры.

— То есть как? Здесь же партийный орган!

— Придется, значит, жизнь начинать заново...

— Как заново? Разве не почетно быть председателем колхоза и получить юридическое образование?

— Поддержку духовную и материальную мы вам окажем. Сколько вы сейчас получаете?.. И колхозу поддержку окажем. Пилораму дадим.

— По-моему,— это говорит уже другой,— мы решили очень правильно, справедливо: не прокурором, а председателем колхоза... В Кему его!

Одинцов уже опустил руки:

— На смерть поеду. Опыта нет, не справлюсь.

— А прокурором справился бы?! Да еще с неоконченным образованием,— вдруг подсекли ему ноги одним ударом, словно подшибли, подрезали...

— Да, решение принимаем правильное! — продолжают хвалить себя разные члены бюро.

Новожилов встает:

— Ну так, товарищ Одинцов, идите, не теряйтесь!

— Я не согласен.

— Что значит, не согласен? Мы вас вчера принимали в кандидаты партии — вы что говорили? — пойдете, куда партия пошлет.

— Да разве я думал, что все так сразу изменится и решится?!

— Идите, идите домой, к жене, посоветуйтесь с ней, скажите ей...

— Я не согласен,— с этим он покидает бюро.

Чета Незадоровых. Незадорова Алевтина Николаевна. Бухгалтер, инструктор МТС. С ней уже говорили. Ссылается на болезнь головы. Бывают припадки. Высокая, видная, но изможденная женщина. Ее встречают вопросом:

— Подумали?

— Да.

— Ну и как ваше мнение?

— Осталась при старом интересе.

— Тогда мы вызовем врачей, спросим их и решим.

О ее несогласии даже речи нет, словно и не слышали.

Незадоров — здоровый, краснощекий мóлодец. Был секретарем райкома комсомола. Потом инструктором РК партии. Освободили за пьяный разгул, дебош на свадьбе.

— Где сейчас трудитесь?

Он говорит:

— Домашняя хозяйка.

— Что случилось? Я вас знаю по прошлому году, по райкому...

— С сентября не работаю. Провинился. С женой живем на одной ее зарплате. Долгу уже пять с половиной тысяч рублей.

— Мы хотим жену вашу председателем колхоза послать. Дадим тысячу рублей, трехмесячное выходное пособие. Десять тысяч на строительство дома. Четыре тысячи на корову. С долгами расплатитесь. Жену пошлем на курорт, в Кисловодск. Проконсультируемся с врачами.

Незадоров стоит навытяжку, не спорит, он понимает, что это бесполезно, только говорит о болезни жены, рассказывает о своей работе в колхозе за трудодни и что он не заработал, а только в долги влез.

— А мы ее освободим от семейных забот, и голова перестанет болеть.

По каждому поводу Илья Григорьевич Новожилов находит живой пример из своей биографии:

— Вот я, например, получил телеграмму, тоже на свадьбу зовут...

Когда Незадоров ушел, работа закончилась. Стали обсуждать результаты трехдневного сидения.

— Двенадцать председателей есть. Из них под сомнением только один — Сорокин. Упрямый мужик.

— Сорокин еще пойдет! — говорит Новожилов.— Я таких знаю. Его испортили послаблениями. А когда нажмем как следует — на все пойдет. Вот как я у него буду отбирать билет да класть его в сейф — а тут будет сказано много

всяких красивых суждений,— до слез проймем. Тут он и сдастся, если ему партия дорога. Билет он получал на фронте, в окопах. Нет, скажет, не отдам, признаю свою ошибку, верните билет, на все согласен.

Договорились, что седьмого февраля я снова буду на бюро.

Это собеседование в райкоме на меня произвело угнетающее впечатление. Новожилов начал работать в районе лишь в начале января 1958 года и уже меняет столько председателей колхозов, так «укрепляет» кадры: «Заставим! Обяжем!»

* * *

Второго февраля. Утром пришел на совещание молодых лесозаготовителей — комсомольцев и молодежи. Доклад Оборотова. Меня избрали в президиум. Я попросил разрешения остаться в зале.

Встретил Фокина Георгия Ивановича. Решил ехать в Блудново. Директор леспромхоза Лосев дал ГАЗ-69 до Андонгского лесничества — Югского лесопункта. Фокин вызвался ехать со мной. Я сначала не понял, что ему нужно... Обошли магазины — он прямо попросил опохмелиться. Я решил, что возьму пол-литра, он выпьет — остальное для матери. В столовой он выпил стакан, «закусил» чаем. Бутылку не отдал. Половину пролил, когда сел в машину.

В машине от водителя Леонида Федоровича узнал все о водке, о пьянстве в районе. Недели за две до моего приезда замерз на улице пьяный... Раньше замерз другой талантливый человек, художник Дерябин.

И Фокин — талантливый человек.

Спиваются все председатели колхозов. Из всего районного начальства разных рангов не пьет, может быть, только зав. райфо Виталий Петрович Смолин, и то только потому, что горбун — здоровья нет.

Я рассказал свою выдумку про «дежурных» бешеных собак в ЦДЛ.

— У нас никакая бешеная собака не поможет. Один так стал засыпать где-то в лесу, на дровах. Проснулся оттого, что его кто-то стал тащить за ногу с саней. А это был волк. Он вскочил и пилой убил волка. Тот оказался бешеным. Искусанного увезли в Вологду, вылечили, предупредили, что пить нельзя после прививок. Все-таки выпил. И помер в тот же день.

Потребкооперация выполняет планы только за счет водки. Товаров нет. Говорят — из-за отсутствия дорог. Но ведь в лесозаготовительной торговой сети (орсы) есть товары: и сахар, и крупы, и валенки...

Фокин доро́гой опьянел совсем. Я заметил, что все пьяные становятся ласковыми, всех хвалят, перехваливают. Это своеобразная защита.

Только о Кучумове он говорил без похвал, сдержанно: «Он же совсем больной человек, он не может работать корректором, обижают его... Как-то пришлось его выручать,— пьяный выбил стекла в типографии, челюсть потерял, сейчас совсем не может работать, дрожат руки и голова».

В Югском лесопункте — Андонгское лесничество — живет лесником блудновский Николай Иванович Горчаков.

Один сын, жена из Козловки. Собирают семена еловые — 32—38 рублей за килограмм. Заготовляют дрова, сено и разные поделки. Так подрабатывают к 250 рублям.

Он вместе с другими подъехал с сеном. Лошади устали, поэтому решили идти пешком. Саквояж на санки — я привез сахару, лимонов, а в Никольске взял три килограмма сушек, килограмм печенья, килограмм конфет.

Доро́гой Николай рассказывал о своей жизни в армии — охрана лагерей — и как он спешил, когда возвращался домой к жене, спрямляя пути, пользуясь разными попутчиками и, часто, таща чемодан-сундук на себе.

Лыжные следы меня удивили.

— Это девки собирают еловые шишки! — узнали по следу стоявшей корзины.

У речки девки, видимо, пили воду: в одном месте разрыли снег — воды не оказалось, в другом месте течет.

— Холодна ведь для питья?

— Не замерзла, значит, не холодна.

Дома мать. Она выглядит неплохо. Живет с «вдовой» Нюрой из Липова, продавщицей сельпо,— Анной Федосеевной Коноплевой. «Муж уехал на производство, звал с собой. Договорились, что он устроится, то я и приеду. А устроился и не позвал...»

Второго февраля было воскресенье. Собиралось в Блудново правленье. Были мужики из Липова, из Пермаса. Все заходили ко мне. Но в этот день я не видел ни одного трезвого мужика. Пьют в деревне все, и молодые ребята. Особенно пьют Петр Михайлович Береснев — двадцать пять лет был на «ответственной работе», начальником сплавучастка. Здоровье потерял, сейчас пенсия 650 рублей. И шофер, Федор

Иванович Панков. Он говорит, что может выпить в день два литра и больше.

Петр Михайлович смертным боем бьет свою жену. Когда был «ответственным» — жил с другой, сейчас вышел на пенсию, вернулся в свой дом и ее же ревнует и избивает. А ревновать-то нечего: старуха.

Михаил Алексеевич Горчаков, мой охотник, с удовольствием выпил граммов 300. Я взял один литр и 0,25 литра.

Третьего февраля. Шофер Федор Иванович Панков продолжает пить. Нюру тащат в магазин и днем и ночью... Он продал свои валенки, ходит в сапогах в мороз.

С утра я ездил с Саней за сеном на Козловские лога. Шесть подвод из одного озорода, четыре или пять из другого. Сено было скошено в сентябре. Оно сухое, но питательность, конечно, уже не та.

Четыре бабы, два «мужика». Люди стали очень низкорослые. Кони, пожалуй, еще мельче. Все веселы, много шутят, хохочут. Один парень, уже побывавший в армии, все декламировал первую строфу «Молодой гвардии»: «Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками...» и т. д. Лошадь он понукал так:

— Полный вперед!

Саня кричала на лошадь: «Эй ты, клюква!»

Один воз наложили на одну сторону. Нужно было идти сзади и за веревку от оглобли поддерживать его.

Четвертого февраля. Утром пошли на прогулку с ружьем Михаила Алексеевича: я, Миша «Баринов» — Михаил Иванович Горчаков — и Василий Иванович «Свистун» (нравится мне этот живой, черноглазый паренек, что-то есть чистое в его облике) — на Переволоки, на реку там, где «глубь и черти живут». На обратном пути над нами пролетела стая тетеревов, штук пятьдесят, не меньше. Выстрелить не успели.

Какой-то человек прошел на лыжах, упал, съезжая с берега на реку. Это оказался Василий Ильич Коноплев, Васютка — сын тети Анны Григорьевны. Маленький, щупленький... Он пришел повидаться со мной.

Вечером ходили с Васюткой на беседки — в доме дочерей Павла Сергеевича. И там, на беседках, пьяные ребята пляшут развязно. Кадриль. Все ребята низкорослые, нагловатые. Девки и ребята раньше, в дни моей молодости, были крупные.

«Скамейка»: садятся спиной друг к другу парень и девушка. По команде ведущего они поворачивают головы: если в одну сторону, то не целоваться, в разные — целоваться.

Один уходит и по заказу оставшегося посылает следующий номер.

С Васюткой же ходил к Пермасу до Линовского поля. С нами увязался чей-то щенок.

Пятое февраля. Блудново. Утром проводил Васютку в Скочково. К вечеру пришла Анна Григорьевна. Анна рассказывала, что родила девятерых, выжили только двое. Умирали примерно в возрасте одного года. Всегда работала до самых родов. Однажды, едва вошла в дом, «ребенок и выпал». Анне сейчас 52-й год.

Дедушка был обложен твердым заданием, посажен в тюрьму, потом из Никольска сослан в Енталово и там умер зимой. Зарыт в общей яме. Василий, мой дядя, ездил на могилу, за вещами. Вырыть и похоронить как следует не дали — сторож побоялся.

Дядя Саша умер в городе. Он болел долго. Спасался от болей только либо в бане, либо в печке. Жена за трупом долго не ехала, сено убирать надо было...

Общее собрание колхозников в помещении школы — бывшая горница Михаила Михайловича Попова[1]. Дверь в другую половину дома заколочена. На потолке крест-накрест украшения от Нового года: флажки бумажные разноцветные из тетрадочных обложек и снежинки — колобки из ваты на нитках на стенах. Окно сатиры — вырезки из «Крокодила». Лозунги: «Будем бороться за 400—500 тысяч рублей дохода от льна!»; «Взял обязательство — выполни, дал слово — сдержи!», «Товарищи доярки, отвечайте делами на призыв животноводов. Боритесь за получение 10 — 16 литров молока от каждой новотельной коровы в сутки!».

Стенгазета «За урожай» — орган партийной и комсомольской организации колхоза «Красный пахарь»: «Чего мы добились в 1957 году.» Показатели, целая таблица. «Добьемся в 1958 году надоев молока не ниже 1 700 кг на каждую корову». Лучшие люди колхоза «Красный пахарь».

Для президиума два составленных стола. Сзади президиума классная доска для мела, портрет Ворошилова в маршальской форме с орденами, в рамке. Пионерский уголок: что-то вроде стенгазеты. Во всю комнату — скамьи. Парты убраны.

Вчера в Премасе было открытое партсобрание. Там впер-

---

[1] Попов М. М.— дед А. Яшина (*сост.*).

вые представили нового, рекомендуемого райкомом председателя. Не поехал я больше из-за того, что решил, что все будет то же самое и на общем собрании. Начало его было намечено на 10 часов утра. Начальники подошли к 13 часам: третий секретарь РК — Тележкин Савватий Иванович, райфо — Смолин Виталий Петрович, директор МТС — Гуревич Абрам Исаакович, от газеты — Петров. Скоробогатов Владимир Макарович — кандидат в председатели.

Из 178 пришло 128 колхозников.

До начала выдавали рублей по двадцать пять на сахар. Вчера привезла Нюра двести килограммов сахарного песку. Потом пришли газеты.

Отчет Горчакова А. В.— бывшего председателя. Сначала общие слова о «славном 1957 годе». Средний надой по стране 1810 килограммов на корову. Производство молока достигло 95 процентов производства в США...

По колхозу: ячмень вымок, МТС не выполнила плана по всем видам работ, яиц получили по десять штук на одну куру. Пятнадцать человек по колхозу не выполнили минимума трудодней — 200 трудодней для женщин, 250 для мужчин. Заросли сенокосы, особенно в Лубниках.

В этом году недополучка доходов против прошлого года 126 тысяч от одного льна. Если бы не это, по 1 рублю 50 копеек на трудодень дали бы.

В президиуме сидит, ведет собрание молодой парень, член правления, бывший бригадир второй бригады Чегодаев А. И., 1927 года рождения — тридцать лет.

Содоклад ревизионной комиссии — председатель Кучумов А. Я. Читает доклад Упадышева Людмила Никифоровна, инструктор-бухгалтер Никольской МТС.

Третий доклад — директор МТС Гуревич: «Двухсторонний договор не выполнен обеими сторонами. Из двадцати пяти видов работ, взятых на себя МТС, полностью выполнены лишь шесть. По «гектарам мягкой пахоты» договор выполнен на 90 процентов. Но от такого мерила нам, особенно в Никольском районе, надо категорически отказаться. Надо мерить по видам работ и по качеству их. Трактористы еще не живут жизнью колхоза. Один тракторист-бригадир оставил работу и на тракторе перевозил дом — попросили».

Гуревич раньше работал в Вахневской МТС.

«Даю гарантию, что в колхозе «Красный пахарь» будет организована вывозка торфа нашей торфодобывающей бригадой.

В этом году с колхоза государство не взяло хлеба 41 тонну, заменив его молоком. Лен провалили. Для прыжка — заняться льноводством. Еще не собираются, а надо немедленно собирать удобрения — золу, птичий помет. Сеять корм для скота.

На днях в МТС поступила от колхоза просьба забить шестнадцать голов молодняка, которые дошли до полного истощения из-за плохого кормления и летом. Лиц, подписавших такой акт, надо привлечь к ответственности через прокурора — я передал. Зоотехника Мишинева Д. Н. рекомендую с работы снять. Вопросов?.. Нет!»

Не раскачались. Только шум поднялся сразу. Пусть выступят для начала бригадиры.

Бригадир первой бригады (Блудново) — Попов Павел Степанович — сын Степы Оганенка, брат Санки Степкина:

— Я малограмотный. Бывает так, пошлешь человека на работу, не запишешь сразу и после сам не помнишь, куда кого посылал. Потравы большие — «огороды»[1] чиним на год.

Вторая бригада (Липово) — бригадир Чегодаев В. М. Высокий, с хорошим лбом, русый, курчавый. Производит впечатление грамотного и неглупого человека. Учился три года на сельскохозяйственных курсах:

— Потравы большие. Не занимаемся «огородами». Как только стает снег, надо заново ставить изгороди. Сейчас заготовляем жерди и колья. Отсюда и урожайность: тридцать жеребят — бегаешь, не ухранить. Еще: нет в бригаде кузницы. С каждой поломкой жнейки едем в Пермас. Дисциплина у нас везде очень низкая. Три тысячи жердей привезены к месту, надо еще три тысячи, не меньше, чтобы капитально отремонтировать все огороды. Есть 1800 кольев. Как их заготовляли? Пошел с женой, нарубил, привез, тогда пошли и другие. Навозу у нас, конечно, не хватит. Надо не меньше двадцати тонн на гектар. Где его взять? Перегребаем пустой песок на полях. А среди полей, рядом, лежит торф. Вот где выход.

Животноводство во второй бригаде было всегда самое низкое. А ныне чуть ли не на лучшем месте — заслуга доярок. Телята в Блуднове едва на ногах стоят. Живы ли они еще? А Гуревич и думать не дает, чтобы прирезать, пока не подохли. Подохнут — еще хуже будет.

Нет картофелехранилища — гибнет картошка. С начис-

---

[1] «Огороды» — изгороди.

лением трудодней много ошибок. Иногда и сознательно «кривуляли» в силу необходимости.

Третья бригада (Пермас) — бригадир Мишинева Г. И. Приняла бригаду в мае 1957 года. Дисциплину поднять не смогла. Мужчин три-четыре человека, все остальные на производстве — на ка́тище, в лесопункте. Голые ходят, и кормиться надо. Старухи одни в деревне. Не найти человека кипятить воду. А дояркам не до того.

Выступления колхозников. 14 часов 45 минут. Пока один шум. Постепенно начинают говорить, но не так, как обычно: сло́ва не берут, просто вдруг начинает кричать с места та или другая.

— В Блуднове, говорят, пятьдесят мужиков, так они же не ро́бят. Где они? Робят по-за колхозу. Все ходят по ка́тищам. Колхоза не поднять, пока большинство мужиков шатается. Закон для меня, так и для тебя закон, для всех один закон! Иные женщины с сентября не работают, да с мая начали. По два месяца в году многие работают только! Старух таццат, а тридцатилетние женщины сидят дома.

— Что мужики молчат?

— Мужиков прижали...

— Вон какие рожи у них!

— Пусть пошумят! — говорит Виталий Петрович Смолин.

— Тут ничего не поймешь.

— Они поймут друг друга.

Это уже мудрость!

Масса тупых лиц. Но вдруг мелькнет лицо осмысленное и потому сразу резко выделяющееся красотой.

Берет слово бригадир первой бригады Попов, говорит о том, какие женщины отличились на заготовке жердей. «Сто жердей, восемьдесят колов... А вот какие бабы не приступали ни к колу, ни к жерде... Всего вырубили только 1240 жердей и кольев 600 штук. Горчаков Василий Васильевич насадил топорище, а потом изрубил его, потому что не заплатили три рубля, а за трудодни не хочет».

— Я бы отдала!

— Вот с такими поднимай колхоз.

А Попов-то честно, видимо, работает.

Смолин Виталий Петрович — зав. райфо:

— О дисциплине. Устав сельхозартели не выполняется. Планы снизу составляем и не выполняем их. Надо увеличивать культуры наиболее выгодные. Промахнулись на льне — редкий посев — и ответственных нет. На га надо семнадцать центнеров тресты, а дали семь центнеров. Теребить надо было

руками! Меньше потерь было бы. Спутанный лен почему-то не сдали. И его сейчас разворовывают, валяется он. А в других колхозах эта путанйна — доходная статья.

Потравы. Пашут, сеют и стравливают на корню. Изгородей нет, и охраны нет. Животноводов полно, им дают трудодни, премии, а они травят хлеб.

Лучшие участки к Пермасу и к реке не убирали, с неделю ждали комбайна, а потом косили косами, когда уже хлеб осыпался.

Кто виноват, что выдаем сорок копеек на трудодень? Правление. С него надо и спрашивать. Сорок лет Советской власти: корзину дали в руки колхознику, вторую дают. Председатель сначала взялся хорошо, потом опустил руки, потерял веру. Он уже сам понял это, и его заявление об освобождении принято районными организациями.

Василий Васильевич изрубил топорище, а ему всем колхозом дали леса на избу, голосовали все. Хулиганство это! Нахал!

Забота о колхозе в 1957 году была: ссуды отсрочены, семян двадцать пять тонн не взыскали, от хлебопоставок освободили, недоимки списали, МТС — худо ли, хорошо ли — работала. Как же еще винить государство?

Семена лежат влажные под снегом, чуть потеплеет, и все будет черным. В Пермасе кладовщица до того изленилась, что на чердаке льносемя все заметено снегом. И с сором! У вас в колхозе семян по существу нет. Поднимать колхоз — начинать с семян.

МТС не оказывала настоящей помощи колхозу. Того директора сняли. Пусть новый запомнит (его имя-отчество Абрам Исаакович): будет относиться к колхозу так же — все пойдем к нему в кабинет.

В зале движение, смех.

Ну как поправлять колхоз? Рабочей силы у нас мало, а сеем много. Давайте изменим направление хозяйства. В Пермасе раньше было человек семьдесят рабочих, а ныне — семь. А поля те же. Давайте ныне посеем тра́вы и овес с горохом на корм процентов сорок — пятьдесят полей. Да будем по-хорошему кормить скот.

— Клеверу бы побольше!

— Давайте самого боевого товарища пошлем в другую область за семенами клевера. А. В. Горчаков, председатель колхоза, ездил в Москву, чтобы при содействии писателя достать семян клевера.— А он даже не повидал меня. Мне он сказал, что ездил в Москву в гости к своякам.— Итак: лен! Навоз. Надо конский навоз по десять центнеров на га

выбросить под лен. Часть пашен засеять льном. Давайте установим авансы по одному рублю на трудодень.

В зале шум:

— И в прошлом году устанавливали, да ничего не выдали.

— По шестьдесят копеек намечали.

— По рублю аванс с первого января — это надо найти только пять тысяч рублей.

Нестерова Анна Алексеевна, доярка:

— Если корм не организовать по участкам — воду воруем друг у друга — удоев не будет. Корма возят нерегулярно, по погоде. Взвесят, свалят — и все. Котел кипятить мы не в силах, за двумя зайцами гнаться нельзя. Если пожар — коровам со двора не выйти, и тропинок нет.

— Кто имеет слово? Мужчины неактивны...

— Чего шуметь так, толку мало, только устаем.

— После собрания поговорят...

Тележкин — третий секретарь РК партии:

— Многие живут за счет раздувания личного хозяйства приусадебных участков, а колхозной вывеской лишь прикрываются. Достают средства к жизни где угодно, только не в колхозном общественном хозяйстве. Коней колхозных используют для своих нужд: заготовки дров — и сам председатель! — да поездки на базары. Дай вам на трудодень по пять рублей, стали бы трудиться?

— Убились бы все на работе.

— Двести трудодней, минимум, может женщина выполнить летом за три месяца. А остальные девять месяцев гуляй! Единственной Вологодской области разрешили заменить сдачу зерна продуктами животноводства. А Никольский район надоил всего 1186 килограммов молока от коровы. А в вашем колхозе и того меньше. А в колхозе «Вперед» 2100 дают с коровы, а два года назад давали по 600 литров с коровы.

(Надо достать семян клевера в Москве. 8 центнеров на 50 га.)

«В овсяно-гороховой смеси пастух кормит коров, идя впереди них, а пастухом-то ставят лучшего колхозника.

Едут председатели колхозов:

— Эй, пастух, чего рот открыл, хлеб коровам скармливаешь?

— Вижу, что вы, председатели, сами рот открыли, поэтому и едете к нам в учение!»

— Животноводство не только кормовая база... А какие у вас дворы?! В Липове двор новый, а срублен плохо. Ни лю-

дям, ни животным там быть невозможно. Районная партконференция решила вложить за три года в строительство животноводческих построек не менее двадцати пяти миллионов рублей. Где их взять? У государства. Платить их, конечно, придется. Но они должны дать доход, если использовать с толком. Один колхоз взял ссуду у государства в миллион двести тысяч рублей. И не боится. Зато останутся отличные условия в животноводстве. В Пермасе строить коровник надо немедленно, иначе задавит коров. В Блуднове неплохой, только порядка нет.

Лен может расти ежегодно, а не через год-два. Энергично собирать золу, вывозить навоз. За каждый центнер собранной золы платить по десять рублей дополнительно к основной оплате.

Теребить руками можно и нужно! И доплачивать по полтора-два рубля с сотки за теребление. Так и нарядов не нужно. Лен не сдавать трестой, а обрабатывать вручную. Кузнецу немногое сделать надо для этого. Я не антимеханизатор. Делать льноагрегаты самим, льнотеребилки. С 16 гектаров получили дохода 120 тысяч рублей благодаря ручной обработке. А сдавали бы трестой — получили бы тысяч тридцать, не больше...

Заключительное слово Горчакова А. В.

— МТС не дала ни кустореза, ни канавокопателя, ничего. Да если еще лошадей убавить — сейчас двадцать, раньше было восемьдесят — то совсем с голоду подохнем. Я дрова возил, так дровами никто не обижен. И я с дровами, но без хлеба. Еще бы дров не заготовил себе!

Колхозница говорит:

— Ведь не год, не два уже живем как нищие. У меня дочь возвращается голодная с работы и говорит: «Мама, я тебя съем!»

Проект решения: Работу и правления, и ревкомиссии признали неудовлетворительной. (Надой за год 866 килограммов на корову.)

Проводить с 1 января 1958 года ежемесячное авансирование колхозников по одному рублю на трудодень. Зоотехника Мишинева Д. Н. снять с работы. Просить в районе подобрать нового зоотехника. Новые соцобязательства на 1958 год: получить зерновых восемь центнеров с га... Выдать на трудодень колхозника не менее четырех рублей. Вызываем на соцсоревнование колхоз «Заря».

Куклин — бывший председатель сельсовета, сейчас работает на лесопункте, на свалке леса:

— В прошлом году постановили добиться по два рубля на трудодень. Дали по сорок копеек. Сейчас принимаем по четыре рубля. Не получим ли по двадцать копеек? Самообманом занимаемся. У меня вера уже потеряна.

— У всех потеряна!

Шум...

Смолин В. П. (райфо):

— Не надо бояться! В колхозе 74 тысячи трудодней за год. Что — мы по рублю не можем дать, не найдем 74 тысячи рублей в год! Пусть правление к концу каждого месяца находит 5 тысяч рублей.

— Нет уж, не поднять колхоз, пока не накормишь человека! — говорит женщина. — Леший ли в трудоднях-то!

— Если обманете — никто не будет работать.

За аванс в один рубль голосовали: «за» — человек десять, «против» — нет, воздержавшихся — нет. Так всегда голосуют.

Предлагается семь человек в новое правление. В председатели Скоробогатова рекомендует Тележкин:

— Получал 1100 рублей, и у вас будет столько же. Где брать деньги на председателя? Если он умный — сам всегда найдет, 12—13 тысяч в год заработает. А если неумный, то ему и сто рублей жалко.

Из угла:

— А не будет он лошадь продавать себе на зарплату?

Тележкин:

— Плохих мы стараемся не выбирать, не рекомендовать. В пьяных я его не видал, в пьяных не числится, но ведь тоже человек, иногда и выпьет.

Куклин:

— Станет председателем — научится, научим пить!

На обратном пути заглянули на скотный двор. Коровник. Телятник. Навоз не убирался с осени.

— Ясли высокие, дак ничего...

Вонь, грязь. Жалко животных. И для них это не жизнь, а му́ка и полуголодная пытка.

Воду кипятят в большом котле около речки. Костер чуть закрыт изгородью из мелких елок. Прудик. Прорубь. Начало речки рядом — ключи, болотце.

— Как речку зовут?

— Речкой и зовут — и все тут.

Вечером пир большой у «Бариновых». Я посидел 45 минут. «Шонга́»[1], водка. Столы — в ряд: похожи на старые,

[1] Шонга — картофельная брага.

праздничные, престольные. Ведь объяснил: не пью, нет — лезут все, не дают покоя. Конечно, я удержался, но настроение портят.

На пиру разговоры.

Васютка скочковский рассказывает, как много было зайцев раньше: «Пять-шесть в день увидишь, когда работаешь в лесу или на сенокосе. Одного стрелял с телеги. Кони испугались, рванули. Сам грохнулся на землю. Но и зайца убил».

За пять месяцев в блудновском магазине получено товаров на 129 тысяч рублей. Из них водки на 21 тысячу. Другие товары: мука, соль, мануфактура, мыло, табак, папиросы, спички и т. д.

Пишет из лагерей осужденный понапрасну сын Ильи Григорьевича (скочковский): «Вот отсижу свой срок и съезжу в Москву на прием к Ворошилову, узнаю: там-то есть правда или ее нигде нет». Ему дали два года за драку — а он разнимал, растаскивал дерущихся. Но какая покорность судьбе: «Вот отсижу свой срок...» Тоже водка подвела.

Сумку хозяйственную из заменителя здесь зовут «воровкой».

В войну на сенокосе: «С полведра воды выдуешь, травы насопёшься, да опять напьешься — и попыхиваешь, как корова».

«Чего делаешь?— Помогаю кому делать нечего».

Скоробогатов рассказывает свою автобиографию:

— 1922 года рождения. Незаконченное среднее образование. Родился в Вологодской области Мяксинского района. С 1940 года в армии. Инвалид Отечественной войны. С 1945 года работаю в маслоделательной промышленности... Женат. Трое детей...

— Он не сказал, как будет справляться с работой?

Тележкин отвел вопрос.

Чегодаев В. М.— поддерживает Скоробогатова:

— В колхозе нам жить и жить. Надо идти выше. Были все свои председатели, все блудновские — дело не идет. Пусть будет чужой, из районных работников. У нас из-за блудновских председателей бригады дерутся.

Проголосовали дружно и за Скоробогатова и за всех других членов правления. Бывший председатель дает себе отвод. Не отвели.

После собрания объявили, что привезено два мешка сахарного песку — 200 килограммов, и первые пусть покупают колхозники из дальних деревень — Пермаса, потом Липова и Сторожевой, затем уже блудновцы.

В доме у матери остановились с лошадьми какие-то бабы — родственники дальние из Пермаса.

Съезд на общее собрание колхоза напомнил старые престольные праздники или воскресные съезды на торговой площади Пермасского погоста, к обедне.

Шестого февраля. Блудново. С утра до часу дня с Мишей «Бариновым» и его зятем Васюткой ходили на Свою реку. Ружье и собака Роска Михаила Алексеевича. Лазили по сугробам, по заячьим следам. Михаил на лыжах. Одного зайца все же видели. Мы были уже на льду реки. Василий хотел даже стрелять, но далеко.

День удивительный. Морозно и солнечно. В середине дня погода испортилась, к вечеру завьюжило.

«Теленок не пьет. Не знаю, что и делать».— «Поставь его председателем колхоза, пить научится».

Митя Ванин, будучи «директором» кирпичного завода (пятеро рабочих), захотел «идти выше» и стал писателем:

— Купил две тетрадочки да карандаш потолще да подлиннее — плотничий. Сижу в бараке у печки и думаю: «Чего бы сочинить, кого прокатить?!»

«Что-то сегодня солнце задерживается — давно пора бы утру быть».

* * *

В морозное утро над рекой тишина морозная, поют клесты, далеко через реку метнулся пушистый лисий хвост, дятел то и дело дает резкие автоматные очереди. А ветлы плакучи и зимой и летом.

Не надо бояться просто писать обо всем, что видишь, что происходит в деревне,— просто писать, только писать, и все будет расчудесно.

Седьмое февраля 1958 года. Пятница. За ночь замело все дороги. К 10 часам утра мне обещали послать машину в Козловку. Туда еду с Васюткой на лошади. Прошелся в поле к Своей реке. Кто-то пробрел до старых росстаней, а потом по снежной целине повернул на дорогу к Липову.

Выехали на вороном рысачке в 8 часов 45 минут. В Козловке — в 9 часов 40 минут. Я удивился, что машина из Никольска все-таки прошла, несмотря на снежные заносы — ГАЗ-69 без демультипликатора. В райкоме — 10 часов 20 минут. Разговоры о подвозке муки автоконторой: в районе 44 тысячи населения, в Кеме 5 тысяч — речь идет о том, чтобы кормить народ.

Новожилов:

— А то в дни 40-й годовщины Октября, когда во все трубы мы трубим о победах революции, у нас в Кеме ели манную кашу, смешанную с мхом и картошкой — из этого пекли хлеб. И не потому, что муки нет, а просто завезти не могли.

В Чебсарском районе одна семья в колхозе при годовом расчете сразу получила 37 тысяч рублей — четверо трудоспособных. Здесь где-то одной семье причиталось 50 тысяч рублей. Где это? В Кеме? Рассказываем — не верят.

Сентябрь, октябрь — самые голодные в финансовом отношении месяцы в колхозах. Раньше деньги концентрировали к маю, к моменту объявления подписки на новый заем. Сейчас нужно сосредоточить колхозные деньги в банке к осени для авансирования колхозников на уборке льна. Если хотим получить доходы, надо теребить лен только вручную.

Пожарник запрещает прокат кинокартин в тех колхозах, где не готовы кинобудки, а с 1923 по 1956 год крутили без всяких будок. Но вот вынесли решение о строительстве кинобудок, а построили еще не везде. Секретарь райкома и секретарь обкома комсомола ничего не могли сделать в Кеме в колхозе «14 лет Октября». Пожарник штрафнул киномеханика на 50 рублей и запретил картину. Тот исчез.

В МТС пожарник запретил топить печи, опечатал их, а зимой не переложишь их. Летом же он попасть сюда не мог — дороги не было. Начальник МТС сорвал печать — его оштрафовали на 100 рублей.

Зимой, когда установилась дорога, в район сразу нагрянули все начальники, все контролеры, всех категорий.

Бюро райкома: Новожилов, Шабанов, Тележкин, Вьюшин — редактор газеты, Никаноркин — председатель колхоза, Видясов — член бюро обкома партии, позднее подошел Денисов.

Чегодаев, директор лесхоза:

— Продумали вопрос о поездке в колхоз?

— Да, продумал. Так как опыта работы в сельском хозяйстве не имею и от этого будут страдать сотни людей, то я решил не ехать в колхоз. Посылайте на любой лесоучасток. Я — лесник.

— Это уловка, чтобы уйти от партийного решения вопроса.

— Я с тринадцати лет в лесу, я уже отвык от сельского хозяйства.

— Вот Никаноркин, председатель колхоза, был шофером,

потом секретарем парторганизации, а вот стал председателем колхоза. Сейчас колхоз дает 1500 литров молока на корову, было — 350 литров, обещает в 1958 году дать 2100 литров.

— Вы обязаны выполнить решение райкома?

— Как коммунист обязан, но как?

— Это уж мы потом будем говорить. Значит, вы не намерены выполнять решение?..

— Значит, не намерен.

Новожилов:

— У вас партбилет с собой?

— С собой.

— Разрешите посмотреть.

Чегодаев отдает. Билет смотрит Тележкин и опять уговаривает:

— Вот вы вступали в партию в войну, вероятно, клятву давали. На вас партия надеялась. Кто же будет решать вопросы, если не мы, коммунисты? Пьяницы разные?

Шабанов:

— Вопрос ясен. Прошлый раз уговаривали час. Доводы его ясны.

Новожилов:

— Вы будете работать в колхозе и не председателем, а рядовым либо в лесу — лесорубом. Партия не позволит так...

— Да, партия не позволит так играть с людьми, как вы играете.

— А это не партия, здесь?

— Ее представители...

— Перегибы...

— Вас народ уважает, вы можете руководить, вас народ просит руководить, а вы отказываете в просьбе народу. Вы нас можете обвинять в перегибах...

Видясов:

— Перегибов здесь нет, Илья Григорьевич. ЦК утвердит решение. Тут недогибы есть. Вы боитесь ответственности... Плата будет выше, верно, а вы все равно отказываетесь ради личного благополучия.

(Его просили в колхоз им. Ленина, сами колхозники просили.)

Видясов:

— У вас два пути: отказаться от партии, либо... Вы хотите до конца измотать членов бюро?

Тележкин:

— Помните, как шла коллективизация?

Никанорки́н:

— Товарищ Чегодаев, вы очень быстро увидите, будете ли заваливать колхоз.

Новожилов (твердо):

— Я вам гарантирую, если возьметесь за дело с полным понимаем задач, какие поставила партия... Он поднимет колхоз, и через год колхоз будет впереди вашего, Никаноркин, хотя вы, как член бюро, и много сделали для подъема своего колхоза.

Рассказывает о Марченко в колхозе «14 лет Октября».

— Он физику преподавал и математику, а сейчас говорит: «Меня не снимешь с колхоза, не хочу». Он — физик, был московский житель. Со второго курса ушел на фронт. После войны окончил пединститут. Пять лет работы в школе.

— Как будем решать?

— Предложить ехать.

Новожилов:

— Да что мы будем в бирюльки играть? Есть предложение: исключить из партии и снять с работы. Есть другие?

— Может, у Чегодаева есть... Может, он не понимает...

— Да он все понимает...

— Товарищ Чегодаев, как вы относитесь к партийности?

Продолжают уговаривать, уматывать... и так и этак.

Новожилов:

— Если вы... я вам гарантирую, вы будете исключены и сняты с работы. Запомните, для нас, коммунистов, нет почетнее той работы, где можно проявить максимум способностей ради народа.

Тележкин:

— Образование-то вам дал народ...

Никаноркин:

— Лесоводов найдется, а председателей хороших мало.

Чегодаев:

— У меня не укладывается мысль — почему честный лесовод не может быть коммунистом?

— Вас исключают не как лесовода.

Тележкин обратился ко мне:

— Вот вы присутствовали, видели, как народ избрал Скоробогатова...

Новожилов:

— Народ изголодался без хороших председателей и от наличия у руководства бездарных людей.

Решение: «За невыполнение решения райкома о выезде в колхоз по просьбе народа Чегодаева из партии исключить и с работы снять».

Новожилов кладет билет в сейф.

Чегодаев выходит:

— Партийный билет надо было в области сдать.

(Оказывается, это верно.)

Денисов:

— Тут знают, где отбирать: здесь выдавали.

Ушел.

Новожилов:

— Ничего, в обком позвоним. А он знает, где отбирают билет! Как разболтался партийный актив. За всю мою жизнь это первый случай.

Видясов:

— У него кулацкий подход и взгляд.

Ярушкин Кирилл Кириллович — управляющий сельхозбанком.

— Товарищ Ярушкин, в какой колхоз вы решили ехать?

— Я бы просил членов бюро не посылать меня в колхоз.

— Решение было принято — направить!— менять решения не будем. Вы хотели подумать, плюс просили не направлять в колхоз «Красный пахарь», хотели в «Заречье».

— У меня жена отказывается ехать. Ей нечего делать в деревне. Не хотелось бы, чтобы семья развалилась. А развалится.

Новожилов:

— А вы читали, что товарищ Хрущев говорил?

Денисов:

— Вот у меня, Кирилл Кириллович, жена тоже с высшим образованием, механик, а меня послали сюда, и она стала работать продавцом.

— Ну что ж, раз выхода другого нет. Только в «Заречье» хотят иметь своего.

— Ничего. Народ изголодался по умным председателям. Изберут.

— Так что, Кирилл Кириллович, давай: можно «Совет» или в «Заречье».

Новожилов:

— «Совет» развален, там корма уже разворовали. Тридцать верст до правления... А какой народ! Чудесный народ!— улыбается мило, ласково.— Решай, дело твое добровольное. Может быть, в «Совет» подослать? В обоих колхозах ждут. Собрания проводить давно надо.

— В «Заречье».

— Собрание во вторник. Вот так, товарищ Ярушкин.

Во-первых, пожелаю вам успеха от имени бюро райкома.

— Спасибо.

— Во-вторых, я вам советую поближе стоять к райкому и райисполкому, мы — отзывчивые люди. И дело пойдет наверняка.

Терентьев Николай Михайлович — районный инспектор Госстраха.

— Ну, времени подумать было много.

— Илья Григорьевич, я учусь.

— Вот Ярушкин, только что был, тоже учится. Разве мы против? Будет трудно, но вы будете продолжать учиться. Получите вызов — РК и РИК в любое время чинить препятствия вам не будут.

Денисов:

— Тут, Николай Михайлович, побольше решимости, честнее, как коммунист... С вами мы уже беседовали.

— Если вопрос идет серьезно, то я пошел бы в «Победу».

Новожилов — рука с указательным пальцем вытянута вперед, или вдруг развернутые веером пальцы собирает в кулак. Правая рука у него играет все время, и очень выразительно.

— Вы можете стать хорошим председателем — деловой, энергичный... Нам нужнее всего председатели в Кеме? В «Совете» корма уже разворовали. Давайте решать. У нас было такое мнение, что его, как горячего парня, сильного, живого работника, послать не в «Победу», а на «Красный путиловец».

Решили в «Победу». Родственных связей там никаких нет, а народ знает давно. Собрание проведут числа до 15 февраля.

— Итак, поближе к РК и к РИКу. Златых гор не обещаем, но не оставим никогда.

Денисов ушел готовить районное предвыборное собрание.

Рыжков Геннадий Аристархович — инструктор РК партии по зоне. Живет в Криводееве. Маленький, невзрачный, с неинтеллигентным лицом.

— Подумали, на какой колхоз?

— Илья Григорьевич, я прямо говорю: мне с этой работой не справиться, образование у меня низкое. На Кему и на «Герой» я не пойду, мне не справиться. Если на «Память Ленина», пойду.

Новожилов:

— Интересно вы рассуждаете. Вы так всегда будете рассуждать, инструктор РК?.. Мы не собираемся спи-

мать председателя в «Памяти Ленина», и он не уходит.

— В других не справиться.

— Я вам хочу сказать, что «Памяти Ленина» — это самый тяжелый колхоз. Почему? Потому что 50 процентов колхозников каждое утро уходят на службу в районные кабинеты. Вам хочется быть в городе? Вот ваша идея, она разгадана. Не берете «Героя», «Совет» — берите «Грозу». У нас есть из чего выбирать.

— Тогда я не пойду в колхоз, мне не справиться.

— Вообще не пойдете в колхоз?

— Не пойду. Вот я был... пьют... А мы оторваны от народа.

— Тогда и говорить нечего. Отнять билет и сегодня же рассчитать. Вот так, инструктор РК!

— Подумал ли как коммунист и как работник партийного аппарата?

— Это же вызов всему бюро районного комитета партии. Каким духом от вас пахнет?

Видясов:

— Он бы лучше сидел тут и обсуждал других. И ведь, наверно, говорил, как укреплять кадры, как людей подбирать. Это Чегодаеву простительно. У него кулацкий характер, взгляд.

Насели все! И опять обработка разными путями, только бы изнасиловать.

Рыжков:

— Я учился на кусочках... Чего ж тут кулацкого?

— Это не о вас, но это хуже, чем кулацкое.

— А где вы учились?

— В советской школе.

Новожилов:

— А все мы учились в советской школе... Вот я расскажу, как я учился...

— Так вы что, боитесь, что вас убьют в колхозе?

— Почему же вы до сих пор не подавали заявления в райком, что вам не место в партийном аппарате?.. Зарплату получаете 900 рублей, а за собой народа не чувствуете! Чем вы народу отплатите?..

Новожилов прибегает к испытанным методам — уговоры, ссылки на народ — «Какой у нас народ!», «Зачем вы охаиваете народ?»

Но Рыжков эти приемы уже знает, поэтому молчит.

— Надо встать на защиту этого народа. Он такой!.. А мы носим под сердцем красный билет... А вы охаиваете народ:

пьянствуют, не слушаются председателя... Народ наш учитель, наш воспитатель, а мы у народа — ученики! Давайте о народе разговоры откинем, а давайте поговорим о мещанстве в партийном аппарате, о гнили... Вот решение: просмотреть и очистить партийный аппарат. Давайте так и запишем.

Но Рыжков молчит, и Новожилов снова говорит.

Никанорким:

— Что вы говорите о состоянии здоровья?

— Туберкулез.

Все молчат.

Тележкин:

— Вы четвертый год работаете, а не было такого заявления о болезни.

— Фиброзная пятнистость... Значит, предпосылки... А здесь в больнице не был.

Новожилов звонит главврачу — его нет, заму — Ереминой, просит узнать, что в лечебной карточке у Рыжкова.

— Вы в больнице не бывали по всем этим вопросам, я вам гарантирую... А болтаете... Послушайте, я вам другой пример приведу: приехал москвич, товарищ Детинцев, пятидесяти четырех лет; двадцать пять лет работал в угольном бассейне; вторая группа инвалидности, открытая форма туберкулеза, каверны; а он самый задрипанный колхоз поднял... по двенадцать рублей на трудодень будут давать. (Дают?)

Тележкин:

— Я считаю, что надо исключить из партии, снять с работы.

Рыжков билет не отдает, молчит.

Новожилов требует билет:

— Раз вы им не дорожите! И двухнедельного выходного пособия не давать. Что вам дороже, работа или партбилет и вместе с народом?

— Мы вас ждем, товарищ Рыжков.

— Я подумаю и приду.— И заговорил горячо: — Народ будет на меня надеяться, а я, что я ему дам... Специального образования нет — ни зоотехник, никто.

— Он может работать только инструктором райкома.

Вышел.

Новожилов предлагает на этом оселке проверить всех инструкторов райкома. Все молчат.

Видясов:

— Можно не вызывать, а так посмотреть всех,— говорит тихо, советует.

Новожилов:

— Вот тебе и передовые, фронтовые, командирские партийные кадры... Вот в таком порядке, в таком аспекте, в разрезе этом и будем действовать.

Минут через пятнадцать пришел Рыжков. Он пренебрег всеми угрозами.

— За «Героя» берусь. Только прошу у бюро помощи. Я слабый, прямо вам говорю. Попрошу разобраться с тракторной бригадой, убрать горлопанов, поставить нового бригадира. Ну, попрошу помощи, силенки у меня маловато.

Новожилов, помедлив, начинает читать мораль о том, что надо верить в народ и не теряться, верить в победу. Говорит почти пророческим голосом:

— Запомните, мысль о том, что вы слабый человек, выбросьте немедленно из головы...

Звонит врач Еремина: «Болели глаза, был грипп. В 1956 году три раза обращался в больницу, в 1957 году — один раз...»

— Не тушуйтесь! Поближе к райкому, к райисполкому, когда нужно. Зря не дергайте... Поможем деньгами, бригадира тракторной бригады можно дать нового...— Жмет руку.

Тихонов — заместитель начальника связи.

— С вами разговаривал Савватий Иванович?

— Так точно.

— Ну и на какой колхоз вы решились?

— Да ведь я не в курсе.

— Сколько получаете?

— 840.

— Гарантируем вам 1 000 рублей. Трехмесячное выходное пособие, на дом — десять тысяч, корова есть?

Тихонов мычит...

— Не теряйтесь, товарищ Тихонов,— говорит Новожилов вкрадчивым, ласковым голосом.— Я вас как работника еще не знаю, но вот члены бюро говорят...— Расхвалил.— Сколько у вас детей?

— Три ребенка.

— Жену сделаем начальником почты. Больше будет получать? Больше!

Вершинин Николай Авенирович — инспектор райсобеса, молодой человек, лет тридцати, в зеленом, «руководящем» костюме.

— ...

— Ввиду того что руководителем не бывал никогда, я решил в колхоз не ехать. Вот я читал «Районные будни» —

на руководителей колхозов едут руководящие работники района. А я в актив попал случайно.

— Бригадиром пошлем.

— И бригадиром не гожусь.

— Рядовым поедете?

— Я не колхозник.

— Что это такое: он, видите ли, не колхозник! Вот я: у меня родители в колхозе. И я не смею называть себя неколхозником. Колхозники создают национальный доход. Мы с вами его благополучно проедаем... Можно ли отрекаться от колхозников? «Я не пойду!»

— Чувствую, что мне не справиться.

— Да вы еще не работали!

— На глазах было: поработали с год — изгнали. Зачем же и мне идти по этому пути?

Пока никто не идет по охоте, по идейной убежденности. Все изнасилованные.

— Так какой колхоз ему затвердим?

— «Совет».

— Что ж, колхоз хороший, только трудно там сейчас.

— Председателем я не пойду.

— Рядовым пойдете?

— Рядовым пойду.

— Зачем лукавите? У вас же и в мыслях нет идти в рядовые колхозники. Да еще без партбилета.

— Это последнее ваше слово?

— Да, рядовым пойду, а председателем или бригадиром нет. Вот я читал «Районные будни», там посылают не инспекторов каких-то, а начальника милиции, да прокурора, да предрика...

— Потребует обстановка — все поедем.

— Вы думаете, что на место зав. райсобеса пойдет ваша жена? Не выйдет, хотя и думали об этом.

— Я зарабатываю 500 рублей, такие деньги я в любом месте коленкой заработаю.

— Послать его бригадиром в колхоз, из которого он родом!

— Как он развязно ведет себя при председателе райисполкома!

Вершинин:

— А разве коммунист не может слова сказать?

— Бюро знает ваши деловые качества. Из вас хотят сделать руководителя.

Видясов:

— С чего же начать?

— Я на ответственной работе не бывал. Эта работа не меньше, чем работа председателя РИКа.

— Значит, он хочет, чтобы его поставили сначала предрайисполкомом.

— Я двумя человеками не командовал.

Вершинин говорит быстро, как пулемет, веса в нем не чувствуется.

Предложение: «Учитывая его личную просьбу (??), предложить товарища Вершинина бригадиром в отстающий колхоз «Рассвет». В случае невыезда, отдельно решить вопрос о партийности. Проверить 15 февраля».

Новожилов:

— Из него хотели сделать человека, а он вишь чего...

Никанопркин:

— Почему все боятся? Я не понимаю этого.

— Так можно идти?

— Можно идти.

— А может, передумаешь, Николай Авенирович?

— Нет, я же сказал, не поеду.

Ушел.

Харитонов Семен Семенович — зав. отделом социального обеспечения. Говорит робко, тихо:

— Не получится у меня ничего! Ну какой из меня председатель колхоза?! Вообще-то я просил бы меня оставить...

— Вообще-то вам придется поехать. Из вас выйдет хороший председатель колхоза, если вы будете чуть позлее.

— Да не могу я позлее быть.

— Жизнь заставит...

— Он партийный товарищ, талантливый человек (!!!).

— У меня характер неподходящий.

— Так у вас же такая и работа была, скромная, с инвалидами.

— Не получится у меня ничего...

— Ну, предположим, что РК партии допустит ошибку, так мы это увидим и вернем вас на старое место.

Так убеждали и Вершинина Николая Авенировича.

Видясов:

— Нет, человек он честный, душа у него партийная, партия ему дорога, поэтому он справится и будет хорошим председателем.

— А куда Вершинина Николая Авенировича?

— Его бригадиром в «Красный путиловец».

— Вот и меня пошлите бригадиром.

— Нет, у вас же совсем другой партийный облик! Он мал для председателя, вы сами его знаете.

Новожилов:

— Раньше были телеграммы из области. Я позвонил Ширяеву Глебу Афанасьевичу: «Можем мы распоряжаться своими кадрами?»

— Ничего у меня не получится...

— На фронте был. Взводом руководил?! Отличнейший человек. Вы на хорошем счету в облисполкоме: честный, преданный, дело знаете, вами дорожат... Справитесь! Зачем же вы ярлык на себя наклеиваете? Скромность украшает большевика, но это излишняя скромность.

— Не поеду я никуда.

— То есть как это вы не поедете?!

Видясов:

— Тут у него и характера хватает. А говорит еще: «У меня слабый характер».

Новожилов:

— Что же вы предлагаете решить? Тогда давайте перейдем на официальный язык, на партийный, а то мы с вами, как с человеком, говорим. Ну, а если мы от вас сегодня партийный билет отберем. Нечего шутить больше!..— Жестко, грозно!

— Нет, это не желательно.

— Что, как Чегодаева хотите?..

— В свой колхоз пойду.

— Там есть председатель.

— А я не претендую на председателя.

Видясов:

— Давайте исключать!

Новожилов:

— Дайте партбилет!

— У меня не с собой.

— Идите за ним.

— Далеко, четыре километра.

Видясов кричит:

— Что?! Это же райком! Почему пришел без билета? Бежать, и все... Как ребенок...

— Тогда зачем ребенка посылаете?

— В шесть часов явитесь с партбилетом! Там бюро решит: исключать или нет. Под приглаженной личностью скрывается тип... личина.

— Зачем посылать человека слабого?..

— Бюро больше известно — слабый вы или нет.

Послали за партбилетом. Видясов считает, что у него партбилет с собой.

Баев — беспартийный, старший землеустроитель Никольской МТС. Рекомендовали, а он опять отказывается:

— Я же отказался. Со мной беседовали. Сельское хозяйство я знаю, а на руководящей работе не бывал.

— Да если б у нас хватало председателей...

— Не поеду, окончательно...

— Тогда нечего вам работать и в МТС. Не будете вы воодушевлять народ.

— Зачем браться за невыполнимое. Мне колхозника не обругать ни разу.

Тележкин:

— Зачем же ты землеустроителем работаешь?

— Работают и постарше меня, а сдвиги есть или нет?

Новожилов говорит по телефону с зав. сельскохозяйственным отделом обкома: подбирают директора Вахневской МТС.

Барометр с «осадков» пошел на «переменно», но за окнами все еще метет.

Новожилов:

— Вы молодой (лет тридцати двух, жена учительница), здоровый, упрямый, имеете солидное образование, главный землеустроитель. Где же нам найти лучшего председателя колхоза?! Пора кончить играть на нервах народа. Не поедете?

— Нет.

— Тогда отдайте распоряжение о расчете без выходного пособия. Позвоним в обком и в областное управление сельского хозяйства — никуда не устроитесь, будьте спокойны. Идите! Пошлем бригадиром.

Он сидит.

— Всё. Можете быть свободны. С завтрашнего дня на работу можете не приходить!

Баев ушел. Распоряжение уже записал Шабанов.

Новожилов схватился за голову:

— Ну и упорство, ну и упрямство, какая развращенность! Я в жизни не встречал ничего подобного. Тут с ума можно сойти...

Видясов:

— Мы сходить с ума не будем. А видно, кое-кого надо свести с ума.

Новожилов:

— Вот кого надо послать в председатели колхоза! Главного агронома Никольской МТС — был директором...

Никаноркин:

— Не пойдет!

— Как не пойдет! Развратили кадры.

— Ладно, Илья Григорьевич,— говорит Шабанов.— Ошибка была. Будем сейчас по-иному. Вот о Чегодаеве уж, наверно, разнеслось по району... Сейчас же дать материал в газету!

Незадорова Алевтина Николаевна. Отказывается.

— Мы вам дадим легкий колхоз.

— Все колхозы хорошие.

— Савватий Иванович, мне не справиться, зачем же я буду подводить вас всех, такой авторитетный орган — бюро райкома?..

Новожилов:

— Председатель из вас выйдет хороший. Мы тут уже посоветовались с врачами, правда не... но в общем вы все можете.

(А только что говорили, что с врачами не советовались.)

Новожилов стонет, держась за голову.

— Материально мы вас поддержим. В «Память Ленина» пойдете? — Криводеево, Родюкино, Кузнечиха, Борисово и Мещане...

Незадорова испугалась:

— Ой, самый тяжелый. Там кормов хватит только до первого апреля.

— Не в кормах дело. О вас надо решать.

— Боюсь я.

Новожилов:

— Алевтина Николаевна, дорогая, не бойтесь, я гарантирую вам удачу.

Тележкин:

— Милая Алевтина Николаевна, мы же с тобой все оговорили...

— Вас будут уважать и как женщину. Пойдет дело! Секретаря парторганизации надо шерстить и, может быть, сменить...

— Ну ладно, решайте! — вздохнула она.

— Ну, теперь поближе вы к райкому и к райисполкому. По мелочам, конечно, не нужно, но поддержку, и духовную, и материальную, мы вам окажем. По душам подойдите к народу. В колхоз «Памяти Ленина».

Пудков Андрей Анатольевич — Блудново. Его просят согласиться стать бригадиром в Блуднове; он же был председателем когда-то.

— У вас там свой дом...

Новожилов:

— Вот народ оказывает вам большое доверие... Надо вытянуть колхоз. Хотим укрепить его кадрами, возьмитесь вместе с Владимиром Макаровичем Скоробогатовым.

— А почему не поставите Горчакова Александра Васильевича?

— У вас не партийный подход к подбору кадров: снят с председателей за развал колхоза и ставить на бригаду? Как можно?

— Да я тоже снят, был председателем...

— Но вы по вашему же заявлению освобождены...

— Не пойду!!! — Резко.— Я пятнадцать лет, полжизни, ухлопал на это дело.

— Завхозом вы работать не будете.

— Пожалуйста. Меня нечего страшить. Я и так на пенсию перехожу. У меня позвоночник перебит, выделения идут и теперь, нога и рука и желудок больной. Третья группа инвалидности. Дадут вторую.

Новожилов проверил справку о болезни:

— Меня интересует другой вопрос — мы еще не успели рта открыть, а вы уже от всего отказываетесь.

— Почему! Вы сказали всё.

Новожилов берет трубку, звонит в больницу, чтобы навести справки о Пудкове.

Его отпустили на побочный заработок (должен был рассчитаться), а он дал «винторезу» совсем.

— Я развалил колхоз, сейчас и бригаду развалю. Вам Горчаков «укрепил» колхоз за два с половиной года...

Шабанов:

— Это была ошибка райкома. Мы сейчас ее исправляем. Вот писатель ваш помогал вам, и райком помогал, а развалили.

Новожилов:

— Что ж, не работайте, но в райком по части трудоустройства, как инвалид войны, не ходите!

Пудков:

— Я лучше в воду полезу, на шахту пойду, а не возьму бригаду!

Новожилов:

— А чего вы кричите?

Пудков:

— И вы не кричите на меня. Если секретарь райкома, так можно кричать?..

Видясов:

— А как же тогда с вами разговаривать?.. Вы больной — понятно, но ведь у нас не хватает здоровых... Сидим тут днями, ведь трудно тоже, и голоса нельзя повысить... А вы с секретарем райкома говорите.

— Вас не исключили из колхоза. Почему же вы не пойдете в колхоз?

— Мне там работы нет по инвалидности.

— Мы вам найдем.

Никаноркин:

— Как же так, на шахту пойдете, а в колхоз не хотите?

Видясов:

— Вы себя нехорошо ведете. Вот это ваша партийность.

Пудков Видясову:

— Бригадиром — это надо не спать ночей. Вы меня не...

Новожилов:

— Во-первых, предложить товарищу Пудкову вернуться в колхоз не позднее 15 февраля, где ему будет дана работа, соответственно здоровью. Во-вторых, предложить рассчитать на лесоучастке (там он — завхоз). В-третьих, в случае невозвращения в колхоз, вопрос о партийной принадлежности Пудкова поставить на бюро райкома.

Панов — председатель колхоза «Буревестник» (Скочково, Шелково). **Рогозин** — секретарь парторганизации (9 человек) и заведующий молочнотоварной фермой — животновод.

— Что у вас получилось с кормами?

— Мы выделяли по 400 граммов сена на трудодень, помимо десяти процентов. Всего 27 тонн добавочно. Из Скочкова приезжает сразу двадцать три лошади. Поникаров и Волков решили забрать не то сено, которое им было указано. Они хотели взять для себя лучше, а похуже оставить для колхозных коров.

— Получилось, что они выдали по трудодням двадцать процентов сена.

Новожилов. Считает:

— Вы даете корове 5,5 кормовых единиц, это еле-еле на 4—5 килограммов молока в день. Можно требовать от коровы выполнения нормы молока? И от таких крохотных рационов они еще отрывают двадцать процентов для собственных коров!

— Кормить-то личный скот стало нечем. Мы дали всего 30 тонн (десять процентов) на 150 коров. А колхозных коров пятьдесят четыре головы... И последние харчи отобрали и раздали по деревням.

— Вы обязаны заботиться об общественном стаде, а не о личном. Вы поменьше заботьтесь о личном стаде.

Видясов:

— По логике как будто он и прав: из 300 тонн он дает на 150 коров — 60 тонн, на 54 — 250. Но ведь своих-то коров прокормят, а общественное стадо вам не прокормить. А вы еще будете давать, грамм по 400. Заставят?

— У нас часть сенокоса снесло водой.

Председателем колхоза Панов стоит семь месяцев.

— Ну, подохнут свои личные коровы. Честные колхозники зарежут в первую очередь,— они работали в колхозе, сена себе не накосили.

— Почему же вы не пришли в райком и райисполком, почему вы идете по неправильному пути?

— Я пока что иду правильным путем! Колхозные коровы дохнуть не будут... Вы подумайте, что я застал в колхозе! В парторганизации девять человек. Работает только сам секретарь парторганизации — бригадир.

— Ну мы Панову, как молодому председателю, простим, а секретарю — строгий выговор.

— Он тоже молодой...

— Работаю всего второй месяц.

Новожилов:

— На крутых поворотах крутить надо и поворачивать. Вот было: мы 180 тонн заготовили в лесах. Лесник пугал ружьем. Я ему сказал: «Уходи! А то самого застрелим!» Что у тебя с семенами, где они? Почему не показываешь?

— Никуда не делись. Ни грамма колхозникам не выдал. 68 тонн засыпал. Все, что было на поле — все засыпал.

— А сколько отходов?

— 12 тонн.

— Из 68 — 12?

— Да, из 68 тонн — 12 отходы, мусор, сортировка.

— Выходит, что мы зря сообщили о полностью засыпанных семенах. Какое образование?

— Деревенский мужик, образование крестьянское. Четыре класса.

— А хватка у вас добрая. Из вас может выйти хороший председатель, если будете держаться указаний райкома и райисполкома.

— В райпотребсоюзе было 3,5 тысячи долгов. Пришел получать комбикорма, а мне говорят: «Вот и попался! Плати 4,5 тысячи!» 90 тысяч долгов у колхоза — вот что я застал.

— Но ведь дана отсрочка всем. Мы 870 тысяч по району

отсрочили. А облисполком отсрочил нам около 700 тысяч из 5 миллионов, отпущенных на область.

Новожилов:

— Да у вас еще золотой народ. На 41-м году Советской власти — и есть нечего. Дураки, что не разбежались все. Правильно делают, что бегут. Мы организовали голод для народа. Если бы меня назначили председателем колхоза, я бы за один год дал бы семь рублей на трудодень, за один лен, гарантирую. Я бы сейчас сам с колхозниками по печкам лазил, а по шесть центнеров золы на гектар набрал бы. Трудоспособных в колхозе 90 человек... И правильно народ делает, что бежит. На 41-м году Советской власти люди умирают с голоду, да что это такое!..

(Вот демагогия! Кто же организовал???)

— Ну что — их наказать обоих за разбазаривание кормов? Так поймут!

Вернулся Харитонов Семен Семенович, ходивший за партбилетом.

— Ну, разрешите посмотреть партбилет.

— Я еще домой-то не ходил. Пообедал, и все. Четыре километра, мне же не успеть.

Видясов:

— Ползком должен, на коленях должен был доползти!.. Большего наглеца я в жизни не видел!

— Как тебе не стыдно? Наглец! Наглец!

— Подлец! — кричат другие.

— Нисколько не стыдно.

— Есть предложение: «Из партии исключить за отказ поехать в колхоз. Предложить председателю РИКа освободить Харитонова завтра от работы».

Ушел.

Новожилов:

— Мещанский дух тут жив...

— Так здесь же есть верхние мещане и нижние мещане, они так себя и зовут. И праздники устраивают поочередно — верхних мещан и нижних мещан. И гостят друг у друга.

На ночевку Видясов в Дом колхозника не явился, а я с ним к Денисову не пошел: чувствую, что непьющий всем становлюсь в тягость. Да и разные мы. Особенно это ясно стало после бюро.

1958 г.

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

СОСНОВАЯ ГРИВА

Леса здесь раньше были непроходимые. Да и некому было по ним ходить. Жили в лесах лоси, медведи да рыси: лось на болотах, рысь в вершинах, а медведь везде царь и бог. И забрел сюда как-то молодой охотник из далекой-далекой деревни. Забрел и заблудился. Сколько ни кружил, сколько ни ходил по звериным тропинкам — вечером все тропинки его на старое место выводили. А место было высокое, лобное — одуван. Кругом сосновые гривы — хребтины. Делать нечего, решил молодой охотник на том месте поселиться. Построил избу и женился на лесной царевне. Она-то его и водила по лесу, из-за нее охотник блудился. Выросла на одуване деревня, и стали звать ту деревню Блудновом.

Это не сказка. Было так — об этом вам скажет каждый, в ком течет кровь лесной царевны.

1944 г.

ОЗЕРНЫЕ КОРОВЫ

Недавно из лесу в деревню зашел с коровами лось. О чем он размечтался — кто его знает. Большие люди, как и большие звери,— народ рассеянный. Огромная сохатая корова, вероятно, примкнула к стаду еще на пастбище, где-нибудь на лесной поляне. Когда стало смеркаться и коровы направились к дому, пошла за ними и сохатая.

Деревня еще пустовала, народ был на работе, и не окажись на улице старая Пелагея да не закричи: «Бабоньки, лешой идет!» — лосиха, может быть, и во двор бы к кому-нибудь зашла. Но, услышав человеческий голос, она высоко вскинула голову и, всхрапнув, бросилась через изгороди, по картофельным огородам в ближний лесок.

Разговоров в связи с этим было много по всем окрестным деревням. Блудновские женщины решили в один голос, что

это хороший знак: не перевелись, значит, еще в нашем стаде старые «озерные коровы», оттого сохачи и тянутся к ним.

Удивительно, как народ этих лесных мест все еще живет иногда в мире сказок, поверий и легенд... Большинство за всю жизнь ни разу не видало железной дороги. Зато эта глушь сохранила для нас почти нетронутыми «преданья старины глубокой».

Знаменитое вологодское масло от плохих коров не получишь. Ученые-животноводы ничего не знают о том, откуда идет породистость северной коровы, ее выносливость, жирность ее молока, резвость походки и благородство осанки. А вот бабушка Авдотья Павловна знает. Она очень любит вологодскую корову и неодобрительно отзывается об ученых.

— Учат, учат их, и все без толку! — говорит Авдотья Павловна.— Не в коня корм. А про коровушку нашу и за морем, за океаном добрая молва идет. Худославиться ей не из-за чего. Родовитая корова. А откуда ее род — спроси коровьего ученого — не знает...

Родовитость нашей кормилицы от озерных коров. Ты приглядись к стаду, когда оно с выгона, из летовища идет,— приглядись. Солнце к западу, день к вечеру, на траве роса. Идут наши милые домой, по широкой улице,— пыль по лесу, мык до неба, хвостом мух отгоняют. И наперед — лётом летит вожак-корова. Рога у нее широкие да крутые, спина ровная, передок на весу висит, ноги несет бойко — какое колоколо на нее ни навесь, все за версту слышно,— и в глазах огонь, глаза веселые. А коли у коровы глаза веселые — знай: озерного роду корова. За такой-то коровой часто и лось в деревню заходит.

Покойный Миша Митёнок рассказывал: «Выходили из нашего озера на ранней заре некрещеные озерные коровы — траву щипали, ключевую воду пили. Некрещеные, а стада своего держались хорошо — ни одна в сторону не отойдет, все рог к рогу, как люди нынче — локоть к локтю. Верховодила завсегда одна корова. И ежели эту корову крещеным людям с колоколом обежать, обколотить ее, не пустить к омуту — все стадо за ней пойдет, куда ты покажешь».

У Миши-то Митёнка все стадо, сказывают, озерное было. От этих озерных коров и пошла по округе хорошая порода. И холмогорки от них, только там озера были другие, поглубже наших, и коровы еще позаправней, окладистей. В деревне Кожаево тоже много озерных коров — там озера большие.

Одно худо было — порознь коровы эти жить не хотели,

стадо любили. Разведут их по дворам, каждому хозяину по корове, они ревут, ясли ломают, а потом чахнут. Редко ведь у кого был большой двор. А ныне, как дворы-то большие понастроили — лучше стало. Ожили наши коровушки.

Вечером, когда колхозное стадо возвращалось с выгона, Авдотья Павловна подозвала одну:

— Тпрукоиь, тпрукоиь! — и показала: — Ты посмотри, какие у нее глаза веселые да умильные. И доит хорошо.

На закате сельские улицы оглашаются бренчаньем коровьих колоколов и криками и песнями ребятишек. Ходить за коровами всегда было особым удовольствием для детей. С собою они берут корзины и попутно собирают по лесу ягоды и грибы. В летовище — постоянном выгоне для скота — растет много рыжиков и масляников. Рыжики — молодые, хрустящие, с закругленными краями грибки на низкой зеленой травке — напоминают разноцветные пуговицы от синеватого до бархатисто-бордового цвета со всевозможными узорами. Рыжики эти с не меньшим удовольствием поедаются коровами, поэтому искать их всегда нужно вместе: где больше рыжиков, там и коровы, где коровы, там и рыжики.

1944 г.

О ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ

Он живет где-то своей жизнью, большой или маленькой, и хорошо, что я в нем был когда-то. Там учительница моя Ширунова. Город наполовину сказочный, и в нем много нового: заводы, запонь, колхозы.

Устье двух рек и начало третьей большой реки.

1956 г.

ДВЕ СОБАКИ

Две собаки с ожесточенным, злобным лаем носятся вдоль ограды, забора — с одной и с другой стороны,— изображая драку. А отверстие есть, и большое, но ни та, ни другая не замечают его, делают вид, что не замечают.

Щенок высунулся в это отверстие в заборе и удивленно смотрел на собак: почему же они не хотят подраться всерьез?

1956 г.

ОТЧЕГО ПРАВДА ГОРЬКА

Журналист — газетчик — молодой, горячий, восторженный, неосторожный.

Задание редакции: показать, как рождается изобилие. Урожайный год. И это изобилие в совхозе он увидел. Но... увидел и нелепости.

Богатство пришло: урожай хлеба, трав, прибавка удоя, а *принять* это богатство не могут. Такова бюрократическая система хозяйства. Тут — узел всех экономических проблем. Боятся урожая.

Работники совхоза видали нелепости и пострашнее, почти привыкли к ним и о сдаивании молока на землю разговаривают спокойно — вот невидаль! Писать должны о достижениях, о лучших людях.

А газетчик горячится, негодует. Пили водку вместе — ну и что ж! Он хочет помочь изжить недостатки. В совхозе выпивки для командированных, система лжи, очковтирательства, бахвальства. Хлеб гниет убранный и неубранный, в валках. Плотина без воды. Жилищный кризис — орудие зажима критики, всего живого.

Отношение к представленному материалу в редакции разное. Тут — картина работы нашей печати. Отрыв ее от жизни народа. По газете не узнаешь, чем живет область, район, как живет народ. Тут и газетный штамп, и демагогия: «В обстановке высокого патриотического подъема», «Вся страна восторженно приветствует...», а страна еще газету не получала, «Дальнейший подъем...». Тут и обращение к колхозникам и колхозницам помочь рабочим и служащим совхоза убрать урожай без потерь, и уборка картофеля горожанами. Дали бы по 10—15 рублей нашим колхозницам, картофель был бы давно убран!

Представитель министерства поначалу просто старался

оградить себя, когда посыпались запросы из Министерства совхозов, и действовал через директора совхоза и главного агронома: опровержение, сбор подписей.

Подписи рабочих совхоза под письмом собирались очень просто: одни подписывали потому, что уже имели и комнату и прочие блага, другие потому, что надеялись получить комнату, хорошую работу... Тут и запугивание увольнением, и напоминание о старых грешках — когда-то что-то украл с поля. А что за границей скажут? Круговая порука среди жуликов.

Газетчика довели до больницы — партвыговор, сняли с работы, перевели «на письма». *Восторженность сбили.* Стал хитрее, злее.

1956 г.

КАК ОН СТАЛ КРИТИКОМ

Андрей попал в руки страшного старшины, который его, студента, вольнолюбца (Белинский растет! — говорили в институте), мордовал, унижал за то, что он умнее его. Мытье черной лестницы, четырехэтажной, снизу вверх, пост на морозе и прочее. Пожаловался начальнику, но — опять ему же нагорело. Андрей вырвался на фронт: «Лучше в штрафники, только бы не у старшины».

Потерял ногу. И понял: лучше любая терпимость, соглашательство, но чтобы ноги были целы.

И стал осторожным критиком.

1956 г.

О ЧЕСТИ ПИСАТЕЛЯ

Нет-нет да и начинают разные озлобленные жучки и подонки кампанию травли литераторов. И травят, пока их не одернут. Грубые фельетоны, с намеками, с оскорблениями;

оскорбительные статьи — «Хапуга», «Во сне и наяву». И защититься невозможно.

Критика подменяется простою бранью либо простым оскорблением без аргументации: «Пытался оклеветать...», «Напечатал малохудожественные и идейно-порочные...» А в «Комсомольской правде» некий «Н» дошел до того, что от имени читателей стал заранее поносить книги, которые еще из печати не вышли... и что читатели якобы не хотят их покупать.

1956 г.

НАЧАЛЬНИК

А. Г. снят с работы в Сталинграде, и вот он стал начальником главка в Москве.

Приезжий долго добивался к нему на прием и вдруг видит перед собой товарища по институту *Сашку* — приятного, но не одаренного, покладистого, но беспринципного, без морали — и расхохотался:

— Вот кто у нас в министерства идет.

1956 г.

* * *

Хороши были первые речи Никиты Сергеевича, задорные, многообещающие — о сокращении аппарата, о переводе на периферию многих министерств, институтов, главков. Рыбные — к рыбе, к морю, хлопковые — к хлопку и т. д. А ведь ничего не сделано. Речи остались речами. Видимо, и ему сказали: «Пресечь!», «Цыц!»

Когда были сказаны первые хорошие слова о необходимости сокращения управленческого аппарата, об уничтожении параллельно действующих учреждений, председатель райисполкома испугался:

— Неужели и нас сократят, один райком останется?!

На него цыкнули:

— Говори, да знай меру. Молод и мал еще, чтобы плевать

в свой колодец. Пока помалкивай, а там видно будет, как дело обернется.

Предрика получил партийный выговор за прожектерство.

12 января 1957 г.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ТЕМА

За столом компания. Люди разных профессий. О чем бы ни говорили — все сводится к непорядкам, они хозяева жизни.

Жена старается навести разговор на нейтральную тему: тропки, березки, погода, дети. Ее разговор поддерживают, но в любой теме переходят на то же самое.

— Тропинка. Помнишь, путешествовали?

Он начинает говорить с возмущением о непроезжих дорогах, устланных обломками машин.

Лес — вырубают без толку.

Урожай — уборка руками горожан, солома на полях.

Пережитки капитализма в сознании — а разрыв материальной обеспеченности разных слоев народа не пережитки капитализма?

Захребетничество, воровство.

И так далее.

Нейтральных тем нет.

И это не брюзжание, это хозяйский подход к жизни.

Рассказ состоит из эпизодов и воспоминаний, из бывальщин, каламбуров, прибауток, пословиц и острой сердечной боли.

1957 г.

ВОЛЬНАЯ

Кузнец колхоза — работал неохотно, добился, что ушел из колхоза. Он долго искал места в жизни. Наконец, получив паспорт, стал работать в своем же колхозе и делал для колхоза больше, чем раньше, и сам жил лучше. Работал он по найму производительнее. А может быть, не по найму, а тоже на трудодни, но у него было ощущение свободы.

— Я от вас в любой час уйти могу.

Но никуда не уходил и не мог уйти, он любил родное село, родную землю.

Это рассказ о том, что раскрепощенный человек работает в полную силу.

1957 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

Человек выступает с подлой статьей или речью против друга, с которым у него не было расхождений раньше, но сейчас требуется отмежеваться, и он кривит душой.

Так поступаются своей совестью, предают друг друга, важничают, меняют скромный образ жизни потому, что «положение обязывает».

1957 г.

МАТЬ И ДОЧЬ

Зубной врач Елена Сергеевна, уроженка Сталинградской области, живет в Москве. Мать — из колхоза, не может у нее жить, потому что ей здесь нечего делать: ни скота, ни земли, даже постирать не дают. Зовет к себе дочь в колхоз, там *все* теперь есть: сын, уходя в армию, засыпал пол-избы хлебом, полученным на трудодни.

Но Елена Сергеевна не может жить в деревне, потому что ей там *нечего делать.* Корову доить? Кур кормить?

1957 г.

ЖИВИЦА

Человек с девушкой остановились в березняке. Листья на ветровом стекле. Потом в сосняке. Только в сосняке он и смог объясниться в любви. И тут же понял, что эти деревья он всю жизнь, с детства, любил больше любого другого леса — и дубов, и даже лиственниц.

Вспоминается: Бабья дорога, дорога в Дунилово. Дорога в сосновом бору всегда сухая! Песок. Сосны всегда зеленые. Мукково — во время войны. Рижское взморье. Яиково — Великий Устюг. Пицунда. Теберда. Почему же он так сильно любит сосны?

И вот он заболел туберкулезом. Куда ни ездил, как его ни лечили — нет пользы. И вспомнил о сосняке. Попал в него случайно. Только сосны и вылечили его. Он вернулся к своей первой любви.

1957 г.

СТАРИКИ

Встретились два старика: бодрый, подтянутый, энергичный, огромный Корней Иванович Чуковский семидесяти пяти лет и маленький Анциферов Николай Павлович, лет семидесяти. Оба седые.

Анциферов болезненно насторожен, боится, чтоб не пострадало его самолюбие.

— Помните меня? — спрашивает он с вызовом, забавно выпячивая сквозь реденькие белые усы нижнюю губу и белый с бородкой подбородок. Кажется, он заранее готовится к отпору.

— А как же, что вы! — весело отвечает Корней Иванович и идет ему навстречу: — Старик старика видит издалека. Когда же напечатают ваши письма о Герцене?

— Вы пятый том читали?

— Как же, читал.

Самолюбие Анциферова удовлетворено.

Всем своим видом — вздернутым подбородком, глазами, перебегающими с одного слушателя на другого,— он говорит: «Нате-ко вам!..», жмет Корнею Ивановичу руку и поворачивает назад.

— Вы, кажется, в столовую шли? — спрашивает Чуковский.

Анциферов разворачивается опять и, довольный, плетется в столовую.

1957 г.

* * *

Мать в городе тоскует по родине. А никто не может понять ее тоски. Ночью ее волнует далекий петушиный крик на Беговой. Она ждет его каждую ночь.

Поет частушки.

Вскочила, чтобы идти дать корове сено — спросонок.

Тоскует по русской печке — без нее кости болят. Полежать бы хоть на тепленькой, чуть тепленькой — и то болеть перестали бы.

Как ни старался сын приласкать ее, приучить к городу, задобрить, заласкать, вызвать умиление всем городским — метро, кинотеатры, балет Большого театра, такси — она все тоскует по своей деревеньке.

— Разве уж так сладко там?

— Не сладко, сынок. И в колхозе плохо, впроголодь живем, сахару, чаю нет. А ведь — у меня там все. Душа там.

1957 г.

* * *

Десятилетиями воспитывается у писателей особое умение отображать жизнь: чтоб ни в коем случае не было чистой правды и походило бы на правду. И для тех, кто научился так «приподыматься над действительностью», «дорисовывать», «довоображать», «типизировать» — для таких, по существу, жуликов — все блага!

Поэзия перестает быть поэзией, а поэтому и своей служебной роли она уже не выполняет.

Подлинного служения литературы народу сейчас не вынесли бы. Настоящий писатель, вроде все обнажающего Льва Толстого, был бы бедствием.

1958 г.

* * *

За Правдой пошли все.

И она победила. Теперь все оказалось в ее руках: земля и воды, банки и фабрики, дворцы и курорты.

И Правда забыла о бедности. Сорок лет и сорок зим она только то и делает, что празднует свою победу. От сытой жизни, от частых банкетов она раздобрела, разбухла и уже перестала ходить пешком, а ездит только на красивых богатых машинах.

Живот у Правды стал непомерно большим, как у Кривды, щеки одрябли, заспанные, завидущие глаза заплыли жиром. И все, кто раньше шли за ней, теперь недоуменно спрашивали друг друга:

— Что же с ней такое случилось? И уж Правда ли это?

1958 г.

* * *

Колхозница крадет в колхозе лен, яйца, хлеб, чтобы прожить. В отношении соседей она — честнейший человек.

Истопник в Лаврушинском переулке экономит на угле и продает его, чтобы купить дорогое лекарство для больной жены, и не считает себя вором.

Продавец крадет — дочку одевать надо.

Никто не может прожить на свою зарплату. Хотя все они честные люди.

Не крадет министр, у него все есть, он обеспечен. Он честен в мелочах. И он самый бесчестный человек потому, что у него совести нет, он продажный. Он и подхалим, и идет на любые сделки со своей совестью.

1958 г.

А НЕ СТАНОВЛЮСЬ ЛИ Я ОБЫВАТЕЛЕМ?

Этот вопрос все чаще и чаще начал возникать предо мною. Так бывало и раньше. Почему многое стало меня раздражать? Почему все больше расходится с элементарными понятиями о порядочности, о честности многое из того, что я наблюдаю вокруг, чем мы живем, к чему привыкаем?

Двуличие, возникающее вследствие того, что нельзя высказывать вслух свои мысли, свои сомнения. Двоедушие. Жульничество, порой узаконенное.

Мы два дня ездили по скотным дворам и ни разу не заглянули в людской дом. Секретарь райкома делает замечание птичнице, когда видит больного утенка, но он будто не замечает, что рядом с нею копошится ее испитой, кривоногий, рахитичный ребенок. За ребенка с него не спросят, не взыщут, а за птичье поголовье могут с работы снять, навсегда освободить от партийной работы, исключить из номенклатуры, испортить ему карьеру и всю жизнь.

Из моих очерков подобные заметки вычеркиваются, при этом на меня смотрят как на ненормального — с сочувствием и горьким смешком. А разве плохо, что мне бросился в глаза рахитичный ребенок и я пожалел его. Бросился мне на глаза, почему же не увидел его секретарь райкома?..

Не обыватель ли я? Но ведь я замечаю не только это, не только плохое вижу я и в работе секретаря райкома, близкого мне человека и моего товарища. Почему же я обыватель? Почему очернитель? Разве я плохого хочу и требую?

До чего не спокойна наша Советская власть. Раскулачивание, смена севооборотов, кролиководство, сселение, укрупнение, ликвидация МТС, ликвидация РТС, зональные группы, травосеяние, кукуруза... Это можно говорить в одобрение и в осуждение — кто как поймет. А заключительная глава колхозной эпопеи: перевод колхозов в совхозы, когда уже деревень почти не стало.

Человек боится, что стал обывателем,— он часто ворчит, во всем видит оборотную сторону политики. А он просто стал хорошим человеком.

1960 г.

* * *

Списать по акту — это одно из бедствий экономической системы. Дома́ и все хозяйство на Сладком острове, конечно, *спишут по акту*. Огромные в торговле хищения возможны благодаря тому, что все исчезнувшее, разбитое, сгнившее (продукты) разрешается списывать. Падеж скота списывают — заморенный в пути скот идет на мясо половинным весом.

Неужели и эти мои горестные записки «спишутся по акту»?

1960 г.

ТРАГЕДИЯ ЧЕТЫРЕХ

Один инженер попал в ссылку на строительство. И создал там книгу. Он умер. Рукопись романа продала женщина, которая была близка с ним, завхозу — тоже из ссыльных.

Этот хозяйственник опубликовал книгу под своей фамилией и стал известным писателем. Так он и жил: в славе и вечной тревоге.

Женился. Жена узнала, что он не писатель, но не оставила его, а стала сама лгать. Знаменитый «писатель» ничего больше не создал, ни одного рассказа. Но был в высших слоях нового общества и государственной бюрократии.

Умер. Хоронили с почестями.

Сын «писателя» узнал правду об отце — тоже трагедия.

1960 г.

ТРОПИНКА

Лес казался таинственным и жутким, пока по нему не ходили. А стали выходить — и страха как не бывало. Когда же мы проторили тропинку да расчистили ее — лес стал почти обжитым и начал понемногу открывать для нас одну тайну за другой.

В сумерках и в пасмурную погоду лес был густым, непроходимым, а в ясный день деревья словно бы расступались и молодели. Так деревянный город под дождем кажется старым, крыши и стены его темными, а при солнце все дома вдруг новеют и веселеют.

Раньше мы почти не замечали березовую поляну, а с появлением тропинки она стала для нас самым красивым местом на земле. Мы любили смотреть, как по утрам на поляне разгуливает солнце. Осветит березу — и она вся заулыбается, затрепещет, осветит другую — и все птицы на ней запоют.

Ночью тропинка бывает холодная и мокрая, босому ходить по ней трудно, днем же она подсыхает и приятно греет подошвы.

Если бы не ходить босым, может быть, мы и не заметили бы, что тропинка только на первый взгляд кажется везде одинаковой. Не о кореньях я говорю, кореньев много повсю-

ду. А о том, что в хвойном лесу — и тропинка хвойная, вся в иголках сосновых да еловых, а в лиственном лесу — и она лиственная, выстлана мягкой листвой и пахнет прошлогодней прелью.

В дождь по тропке течет ручеек, образуются плесы и заводи. В жару хвойная тропинка становится колючей и на ней вдруг объявляется множество маленьких ежиков — это хвойные шишки, почти незаметные ранее, раскрываются, ощериваются и никому проходу не дают.

В апреле на лиственной тропинке мы заметили, что прошлогодние листья кем-то сгребаются в маленькие кучки и ставятся на ребро. Получается что-то вроде крошечных шатров. Что за чудо совершалось здесь каждую ночь? Какие невидимые существа собирали прелые осиновые листики? Что за орда, что за сказочное войско раскидывало тут свои походные палатки?..

Все, наверно, видали вытаявшие из-под снега серые коконы из сухой травы, этакие хатки-сеновалы. Каждый знает, что это зимние мышиные гнезда, не заметить их трудно. А замечал ли кто из нас эти вот укрытия из осиновых листиков, которые, пожалуй, иначе как палатками и не назовешь. Если бы не обжитая лесная тропинка, мы, возможно, тоже не заметили бы. А когда заметили — захотелось разгадать, откуда они.

Оказалось, что под каждым, словно бы склеенным пучком листочков есть в черной земле круглые норки, как шилом проколотые,— одна, две. Иногда листья свернуты трубочкой и закрывают отверстия, будто пробки. Смахнешь ногой такую пробочку — никого, выдернешь другую — там дождевой червь. Дождевые черви света не любят, в землю уползают быстро. Удивительно, неужели это их шатры, их работа?.. Да, это их работа, это дождевые черви сгребают полусгнившие осенние листья, и это для них не убежище, а корм, заготовляемый впрок.

Ранней весной появились в рощах пернатые новоселы. Песни самые разные звучали беспрерывно, как ручейки в половодье. Такой беспечной, полной легкомысленной поэзии казалась птичья жизнь, что поневоле вспоминались стихи из старых детских хрестоматий: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...» Но вот началась работа на потомство, на будущее, вылупились птенцы в гнездах — и куда девались счастливые певчие праздники. По целому дню носятся самоотверженные родители, как угорелые, добывая хлеб для своих горластых отпрысков, о себе уже и подумать некогда, некогда

перышки свои почистить. Сами себя сажают на жесткий паек, вводят карточную систему.

Тропинка ведет в лес, как в неведомый мир. Страшного в нем ничего, а таинственного, неузнанного много. И нечего бояться своей невежественности, была бы только любознательность.

1960 г.

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

Бабушкины руки лежат на коленях — загорелые, большие, будто хорошо пропеченные пироги. На сером лице голубоватые глаза, словно просветы в осеннем небе,— сколь ни широко в нем, а видишь только эти веселые прогалинки.

Говорит бабушка неторопливо, знает, что ее никто не перебьет, никакие регламенты для нее не существуют. Сколько бы ни рассказывала сказок — все мало, все просят: «Бабушка, еще одну!»

1960 г.

СОН

Человек встретился с медведем — как он пыхтел, потом побежал! — и двумя выстрелами убил его. Медведь упал, но не умер и не хочет умирать. Шерсть на нем стоит дыбом. Он не встает, но копит силы, готовится к прыжку.

Добить нечем и ни подойти, ни отойти нельзя. Жутко стало. И вдруг человек замечает, что медведь приоткрыл один хитрый глаз и следит за ним. Вот-вот вскочит, неистово взревет и бросится на него.

Человек уже сам был готов зареветь, заорать, но разве кто услышит — и он проснулся в холодном поту.

1961 г.

МЕДВЕДЬ

Яков Борисович долго и настойчиво рядился, покупая неубитого медведя вместе с его берлогой. Он «руками и зубами» дрался за каждую сотню, потом за полсотни, затем выцарапывал и выцыганивал по десятке и по пятерке, пока вконец растерявшийся и озлобившийся охотник не плюнул и не согласился на его требования. Сошлись на 435 рублях[1]

— Всю душу из меня вытянул, измотал меня хуже всякого медведя.

О том, чтобы медведь его тянул так же, он ничего не сказал из-за деликатности, присущей всем зверовикам,— как угодно шути, но о медведе молчи. В этом сказывалось и извечное суеверие и понятная почтительность в отношении зверя.

Но жена не была так деликатна:

— На медведя идешь, не на зайца, пятерку бы и переплатил, дак худо бы не было.

Охотник заплатил за свою смерть. Он купил берлогу, и медведь задрал его.

1961 г.

СТРАХИ

По старым обычаям утопленников хоронят не на кладбище, а на берегу реки, вблизи того места, где обнаружат труп. За долгие годы на нашей реке скопилось немало могил. Как правило, это были небольшие углубления в земле, вроде окопчиков, заросших травой, без каких бы то ни было особых примет, без крестов, без ограждения. О многих могилках даже старики не помнили, кто в них похоронен и когда, да и могилы ли это? Мало ли из-за чего могла образоваться прямоугольная яма на юру под сосенкой, под елочкой. Но из поколения в поколение передавались как легенды: «Жила-была девушка бедная-пребедная, и как ни приглядна была она обличьем, а из-за бедности ни один парень не хотел ее взамуж взять, и опостылела девушке ее горемычная жизнь. Пришла она на реку ранним утром,

[1] Денежные исчисления до реформы 1961 года.

поклонилась солнышку ясному, наревелась досыта в который раз да попросила за глаза прощенья у родной матери и кинулась-бросилась с высокого берега в холодную воду...» Или еще: «Переправлялся паренек по шаткой лаве без перильцев с бережка на бережок да загляделся в ясную воду на глубокое дно, стал считать ракушки да камушки, и пошла у него голова кру́гом. Прибежала к лаве родительница — матерь его, да запоздала — на воде одни кисточки от пояска плавают. Прокляла она, горюшица, заводь окаянную: чтоб ей, мутной луже, ни дна ни покрышки, ни рыбы ни раков, ни солнца ни месяца,— разыскала паренька своего, подняла его на руки, с плачем донесла до погоста; только поп длинноволосый повернул назад, не позволил хоронить неотпетого неприкаянного на людном месте, на кладбище...»

В половодье тонули в реке неловкие сплавщики, торопливые купальщицы, вываливались из долбленых лодок жадные до наживы рыболовы — тонули не часто, не каждый год, но их всех погребали поблизости от гибельной воды, и за долгие годы накопилось на берегу памятных всем мест с десяток, а то и больше, и каждое считается нечистым. Пройдет мимо старая женщина — пугливо перекрестится, молодица, то и дело оглядываясь, сторожко минует стороной, а ватага ребятишек пронесется вихрем, наперегонки, подгоняемая несусветным страхом, и потом мальчики наперебой рассказывают друг другу, как последнего из них кто-то вроде как за ноги хватал. Рассказывают всякие бывальщинки и небылицы и тут же на глазах друг у друга привирают, придумывают разные страхи — и сами верят тому, что придумали.

«Вот было однажды: ехал мимо Окуневого мостика мой батько на телеге и я с ним, ехали мы вместе в сельсовет по делам, а день был, и ничего такого с нами не приключилось, проехали и все. В сельсовете мы обмозговали все свои дела, и зашел батько в магазин перед обратным путем, ну зашел, и назад отправились мы уже затемно. Едем, а батько песни военные напевает. Как вдруг у самого Окуневого мостика, напротив этой вот утопленниковой могилы, Карько наш остановился и сдвинуть телегу с места не может. Конечно дело, батько выругался, загнул покруче, хлобыстнул витнем по лошадиной спине, Карько храпнул, рванулся вперед, навалился на хомут, да так, что гужи заскрипели и вылетела дуга из оглобель да и упала прямо на могилу. Батько мой опять ничего, только загибает покруче; вылез из телеги, сходил за дугой да и говорит: «Ах, вот он что!

Шутки, значит, шутить будем!» Принес он дугу, запрягает снова, понукает Карька, а тот опять телегу сдвинуть с места не может, только оглобли стонут. Тогда батько заглядывает под телегу и видит: промежду осями, передней и задней, здоровенный пенек стоит. Это на середине-то дороги,— будто он из-под земли вырос! Никогда раньше на том месте никакого пенька не бывало. Поднял батько тележный задок, лошадь рванула, и все опять пошло по-хорошему. Только когда мы оглянулись, то увидели, что никакого пенька на дороге уже нет,— ничего не увидели. Вот тут-то и он перепугался.

— А ты где был?

— В телеге сидел.

— И тоже ничего не видел?

— Я видел, что пенька уже нет.

— Его и не было.

— Был пенек. А когда телега двинулась, пенька не было — я все сам видел. И батько мой то же говорит всем».

Много воды утекло с той поры, много лет прошло.

1961 г.

СНЕГОПАД

Снег шел весь день и вчера, но вчера он был шумный, с ветерком, и ни на чем не застревал, не залеживался. Ветерок сдувал его с деревьев, с дорог, сметал с крыш, с подоконников — метелил. Земля и лес были черными. А сегодня ветер улегся, погода потеплела еще больше, и мелкий тихий снежок постепенно обсыпал все сады и перелески. Ветки елок все больше и больше пригибаются к земле. Сучья дубов, тополей, лип, лиственниц — всех деревьев без листьев и хвои — необычайно утолщились, побелели и похожи на теневые рисунки: сам сучок вроде бы совершенно белый, а снизу лишь подтенен, как бы подведен тушью. Все деревья стали теневыми же.

Скамейки и столики в саду еле виднелись из-под белоснежных кружевных скатертей. Казалось, эти столы накрыты кем-то для пира. Круглые матовые фонари на чугунных столбах вытянулись кверху и стали похожи на большие белые желуди с колпачками и кончиками черешков, торчащими тоже вверх.

Все было настолько пышным, настолько декоративным, что, если бы такую картину увидели на сцене Большого театра, художнику не поверили бы, сказали бы, что так в жизни не бывает.

А что будет твориться в лесу, когда снова подует ветер (а он подует не сегодня-завтра) и закачаются деревья, и весь пушистый снег, скопившийся на них, окажется в воздухе, и на какое-то мгновение небо смешается с землей. Это будет второй снегопад.

Провода как тросы. Сойки осыпают снег. Чем чище и свежее снег, тем ярче снегири. Они — игрушки на новогодней елке, их перевешивают.

1961 г.

О МАТЕРИ

Неграмотная, старенькая, ничего от тебя не надо. Мать убогая, робкая, даже сына своего боишься. Но пока ты жива, есть у меня дом на родине. У кого-то — молодая еще, а ты вся уже иссохла, как поздний гриб. Для всех ты бабушка, для меня — мать. И ничего делать не можешь, только печь истопить да лежать на печи.

1961 г.

УБЫТОК

До войны Семен Катушков ничем не славился, вероятно, потому, что был еще молод и как человек не определился, не выладился. А после войны он сразу стал заметен тем, что беспрерывно пил и много рассказывал о боях, в которых участвовал, и о том, как смерть ни разу не решилась коснуться его.

За бесстрашие на войне Катушкова уважали, а к послевоенной его слабости относились снисходительно: по возвращении с войны запил не один он. Это случалось с людьми и раньше,— должно быть, на фронте все солдаты спаиваются.

Больше всего слушала рассказы о войне мать Катушкова,

старая добрая женщина, у которой, кроме Семена, никого на свете не осталось. Когда она начинала плакать, Семен просил:

— Поищи там чего-нибудь на опохмелку, мама.

Старуха выносила из сундука какую-нибудь залежавшуюся шаль или остатки праздничной одежонки старших сыновей, погибших на войне, и Семен исчезал из дому дня на два, на три.

Когда у матери ничего не осталось, Катушков женился.

1961 г.

ДОКТОР С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ

Ненку посылают в большой город: «Там есть знаменитый доктор, только он может спасти твоего ребенка».

Ряд рассказов о докторе — молва. Он знал, что ему верят.

Женщина дошла. Ей сообщили, что доктор умер.

— Мало-мало помирал твой доктор.

Она все же пробилась к нему. Доктор встал. Осмотрел ребенка, выписал два рецепта, дал ей денег на лекарство и умер снова.

1961 г.

* * *

Врач добился чего-то, что-то открыл, написал научную работу. Его выдвигают по партийным и государственным линиям, и он перестает работать. Потом он не угождает в чем-то, его отовсюду изгоняют, и он опять начинает заниматься научной работой и опять добивается успехов. Тогда его снова поднимают вверх, и опять он лишается возможности работать.

И это может происходить с человеком любой профессии.

1961 г.

СЕРЦЁВАЯ БОЛЕЗНЬ

Рассказывают, как выдавали силой одну девку на Упиралове, Клашку Прокопьеву. Батько бил ее вожжами, дул.

«Не долго ведь нажила, не любила да не любила, всё серцё болело да болело. Сделалась серцёвая болезнь, порок. Со вторым ребенком пошла во хлев, родила, да и умерла от сёрця.

А мужик женился на другой, и еще куча ребятишек была».

1962 г.

КОСТРЫ

Деревья умирают стоя.

Не знаю, что из этого получится: рассказ, фельетон или очерк? Буду описывать по порядку все происходившее на днях на Ленинских горах во дворе студии «Мосфильма».

Корпус отдела декоративно-художественных сооружений (ОДТС) и склады находятся в конце территории «Мосфильма», в десяти минутах ходьбы от проходной. Кругом пустырь: группа деревьев и остатки разваленных бараков. Дым, огонь...

Шли, думали отдел горит, всполошились. А оказывается: было распоряжение Мосгорсовета очистить территорию. Облили все бензином и зажгли. Огонь пошел. Вызвали городскую пожарную команду. Потушили. Стали жечь снова, по частям, под деревьями. Жгли свои пожарники: день жгут, день тушат.

В отделе началось волнение, пожалели деревья: желтые, скрюченные. Костя и Владимир подняли горячку:

— Неужели вас не беспокоит? Живые деревья горят, озеленение!..

Звонят в городское управление по озеленению. Оттуда дали телефон районного управления. Из районного управления ответили, что они занимаются опрыскиванием насаждений ядохимикатами от вредителей. А спасение от огня не их дело. «Пожаров не тушим». В отделе охраны природы ответили: «Это не наше дело. Обращайтесь либо в милицию, либо...»

Костя целый день не работал. Еще Люся-сметчица. На-

чальник их был очень занят. Костя к нему — он как заорет:

— Ты думаешь, мне заниматься нечем? — но через полчаса пришел и сообщил, кому звонил.

А деревья продолжали гореть. Ребята хотели растащить костры, но пожарники им не дали: они зарабатывают деньги.

Все угорели: дым, смола. У техника Евгении Давыдовны начался сердечный приступ.

Многие, всё видавшие, смотрели на горячих ребят с равнодушием и горькой улыбкой. А дым застилал всю территорию Мосфильма. Кора не кожа — пересадку не сделаешь.

Деревья сгорели.

— Напишите в газету.

— А для чего?

— Думаете, не напечатают?

— Возможно, что напечатают. Даже, наверно, напечатают, но когда уже поздно будет.

Так и вышло. В газете «Советский фильм» появилась статья — «Костры горят». Но костры уже давно прогорели, и деревья стоят голые, мертвые. Непарный шелкопряд так не оголяет деревья, как оголил огонь. Был приказ очистить территорию — значит сжечь отходы лесоматериала, а о живых деревьях приказа не было...

А режиссер говорит: «Где бы сюжет подходящий найти, емкий, чтобы через него многое виделось?»

1962 г.

МОЛЕВОЙ СПЛАВ

Зима была многоснежной, и воды весенние разлились широко и шумно. Приречные луга оказались затопленными, русло реки исчезло; казалось, где-то в нижнем течении ее перекрыли плотиной, и еще одно рукотворное море начало плескаться среди сосновых лесов. Бесчисленные стаи уток перелетали по утрам и вечерам над необозримым половодьем, не узнавая родных мест и крича не то радостно, не то тревожно.

Самоходные баржи, с годовым запасом продовольственных

и промышленных товаров для глубинных районов области, торопливо двинулись вверх, навстречу ледоходу, и с трудом добравшись до городка, дальше которого никогда в жизни не заходил ни один пароходик, спешно разгружались, дорожа каждым днем, каждой ночью, чтобы освободить реку для молевого сплава. И как только баржи и буксиры повернули обратно, начался сплав леса.

На сотнях километров с крутых лесистых берегов сплавщики скатывали на воду заготовленную за зиму древесину. Бревна шли сплошным потоком, тычась в берега, ударяясь одно о другое, разворачиваясь, скопляясь в излучинах, громоздясь у столбовых ограждений, поднимаясь на дыбы. И тогда только наметилось снова направление русла реки. Если бы не столбы, заранее поставленные на крутых поворотах ее, да не боны, разнесло бы весь лес по лугам и озерам, что раньше и случалось, когда молевой сплав только-только входил в обиход. Многие тысячи кубометров драгоценного пиловочника обсыхало на берегах, затягивалось илом, зарастало травой, гнило. С годами люди научились предупреждать эти потери.

Но от одного бедствия не избавились и поныне — от заломов или заторов, кто как назовет.

Высокая сплавная вода держится недолго, и рабочие лесопунктов торопятся скидать в реку за несколько дней все, что ими нарублено и подвезено за год. В низовьях реки древесины скопляется так много, что она идет густо во всю ширину реки. Невозможно бывает уследить, когда, где возникает затор. Обычно ночью на какой-нибудь излучине образуется пробка, бревна распирает, выбрасывает на берег, ставит стоймя, ломает как спички. Сначала застопорится верхний слой бревен, сила течения уплотняет, сбивает их, затем под верхний слой подкатываются еще бревно за бревном, они забивают реку на всю глубину, до самого дна, а напор растет, лес сверху все прибывает, и он грудится уже сверху. Не успеют люди сбежаться, как затор удлиняется на километр и больше, и уже не видно воды в реке, только лес, лес — мертвый, застывший, страшный. И не нужно никаких мостов, по нему с берега на берег, через всю реку и вдоль ее теперь свободно могут ходить гусеничные тракторы, да хоть танки.

1962 г.

* * *

Муж погиб на фронте. Жена всю жизнь вспоминает о нем по разным случаям:

— Это он меня научил ножницы точить. Повестка из военкомата уже пришла, он и говорит: «Давай-ка я тебя научу ножницы точить...»

Потом:

— Дрова-то я все с мужем пилила на пару...

1962 г.

БОЛЬШАЯ ДОРОГА

— Если б не большак — когда бы мы в люди вышли! А тут сразу: чайная, Дом культуры, кино что ни вечер. Шофера на постой просятся — заработок.

Провели шоссе, и глухая деревня оказалась в центре жизни. Давят кур, гусей — только перья летят. Гудят, пылят грузовики. Цветы под окнами в пыли...

1963 г.

ГОРЯЧО, ГОРЯЧО!

С женой разговариваем о том, что повидали в родных местах.

— Не написать ли об этом?

— Холодно, холодно!— говорит вдруг жена.

— Не понимаю.

— Разве ты забыл о детской игре: мальчонка ищет вещь, спрятанную без него. Все смотрят, кричат, когда далеко: «Холодно! Мороз! Полюс!» Мальчонка поворачивается обратно. Ему кричат: «Уже теплее! Горячо! Горячо!» Потом орут: «Обожжешься!» Так и с тобой. Поищи материал поинтересней, поближе к жизни.

Я начинаю рассказывать о другом.

— Горячо, горячо! — поддерживает жена.— Давай, давай.

И вдруг:

— Вот об этом пиши. Обожжешься!

Я написал, напечатал и обжегся.

1963 г.

ДОБАВЛЕНИЕ К «ВОЛОГОДСКОЙ СВАДЬБЕ»

В избе много курили. В открытые двери из сеней беспрерывно валил морозный воздух, но эти белые клубы рассеивались, как снег, не докатившись до первого ряда столов. Подвыпив, я, как водится, начал произносить речи. Поначалу люди испугались этой моей слабости, им и так часто приходится слушать: выполним, перевыполним, сдадим, подымем!.. Но я стал говорить о том, что на земле все еще не хватает счастья, и людей это заинтересовало. Ко мне стали подходить с белушками, со стаканами, чокаться и выпивать за счастье человека на земле.

Дойдя до изнеможения от духоты и самодовольства, я вышел на морозную улицу и всем ртом начал хватать свежий воздух, словно только что вынырнул из глубины морской. За мной юркнула из избы девушка в какой-то меховой шубке, торопливо наброшенной на плечи. Еще раньше сквозь дым табака и туман я заметил ее восторженно и хмельно горевшие глаза, и, когда она заговорила со мною, я, что называется, был уже на седьмом небе. Девушка оказалась инженером с льнозавода.

— Вы захотели пройтись?— с не очень еще понятной для меня взволнованностью и почтительностью заговорила она.— Воздух здесь и все такое, конечно, надо пройтись.

— А вы тоже?— спросил я ее.

— Пожалуй, да... Но мне необходимо заглянуть домой. Может быть, вы меня проводите?

— Почему нет, всегда да. С удовольствием!— заволновался и я.

— Вы тот самый Яшин, правда?

— Пожалуй, правда.

— Я сразу это поняла. Как это удивительно пройтись по свежему воздуху. Свадьба, и вдруг Лев Яшин.

— А, вы о Льве Яшине?

— Конечно! А как же! Еще бы!

— А я Александр.

— Какой Александр?

— Не вратарь.

Девушка сразу утратила всякий интерес ко мне и к прогулке по свежему воздуху.

1964 г.

РЫЖКО

Аля рассказывает о дедушке.

Бог хранил. Ездил поздно-запоздно. Однажды на выезде из Шарьи трое схватили. «Один за оглобли, другой — ко мне. Я кистенем его. Крикнул лошади: «Грабят, Воронко!» Второго сбил оглоблей».

Ездил он всегда с риском. Даже по осеннему слабому льду в Шёлково. Говорит и мне: «Не бойся, только лошадь хлестни, чтобы несла быстро, не остановилась». К Никольскому однажды и я так же через речку по тонкому ледку рискнула:

— Ну, Рыжко, давай! — И он махом вынес меня.

А то надо было домой прямо из Никольска,— муж торопил. Возвращаться через Плаксино долго.

— Рыжко ты, Рыжко, как нам теперь?

Ну, думаю, лошадь перескочит. А муж сказал: «Если лошадь утопишь, и домой не возвращайся». Думаю, лошадь утоплю, так и я с ним.

А полынья. Скочил он с берега, ухнул в воду, но там лед твердый. И на середине полынью перескочил и у другого берега тоже перескочил. Обняла его:

— Рыжко ты, Рыжко, спас меня.

Соседи удивлялись:

— Как проехала?

— Через Кунавино.

— Да ведь там не ездят.

— А я проехала.

— Ну, вся в батюшко родимого. Смела!

1964 г.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ПОХОРОНЫ

Старику сто лет. К нему уже корреспонденты ездят, пишут о долголетии. Причина: здоровая местность? Может, пища? Не пил, не курил, может быть? Нет,— в н а ш и х условиях сам бог велел жить долго. Это результат социальной революции и оптимистического взгляда на жизнь.

А старик рассказывает совсем другое, чем написала газета:

— Народ пошел мелкий, скот мелкий, собаки перевелись, кошки злые. Вот, помню, было!.. Меду, пива — хоть купай-

ся. Пиры. А какие делали сани, прясницы, сундуки, колеса... Смолу и деготь гнали... А теперь: как прокормить корову? Стожки в лесу...

Когда старика похоронили, тогда лишь корреспондент решился опубликовать свои заметки,— в которых было все наоборот. Он произнес речь на могиле:

— Этот человек страдал еще от крепостного права. Нищенская жизнь... огонь и воды... унижения... оскорбления... Только в тюрьме не сидел, не за что было...

1963 г.

В БОЛЬНИЦЕ

1

В субботу был удивительно ясный день. А вчера пошел дождик, но мне все равно хорошо. Все скверики Боткинской больницы забиты кленовым, и липовым, и каштановым листом.

«В багрец и золото одетые леса».

В палате нас трое.

Старые деревянные корпуса развалены, их сносят, и на оголенном паркетном полу одного из них, на остатках паркета жгут костры.

Сегодня с утра присоединился к одному.

2

У нашего 80-летнего старика, которого сынок — референт Совмина — сбагрил сюда умирать, чтобы дома за ним не ухаживать, сидят сейчас и сын его — прыщ 41—42 лет — и его жена. Сидят только ради проформы. Невестка говорит:

— Павел Михайлович, расскажите что-нибудь?

— Не умею я сказки-то рассказывать.

Сынок:

— Одеколончиком-то душишься?

Отец:

— Чего? Ты что?

Сын:

— Ну, батя, расскажи — чего-нибудь... Снимок-то сделали тебе?— и начинаются долгие советы и размусоливания о барии, о снимке желудка и кишок.— Вот сделают все, обследуем и возьмем тебя опять домой... Сразу возьмем, только скажи...

Старик молчит. Он сидит.

— Может, устал, отец?

— Ну что ж, отдохну.

Невестка:

— Лучше, чем жена, все-таки никто не умеет ухаживать. (У старика недавно умерла жена.) Правда, Павел Михайлович?

Сын:

— Да, уж она за тобой поухаживала. На коленях ползала.

Невестка:

— 80 лет на коленях служила.

Старик:

— Да, у меня была жена...

Невестка:

— Сейчас таких нет, верно? — и похохатывает.

Сын:

— Радио слушаешь?

Отец:

— Не люблю я...

Сын начинает злиться — в который раз:

— Что это ты все не любишь? О чем тебя ни спросишь, ты все не любишь...

Старик молчит, кашляет. Долго сидят молча. Потом либо невестка, либо сын задает какой-нибудь ничего не значащий вопрос.

Сын:

— Положить тебя не нужно?

Отец:

— Да что вы все. Я сам лягу...

Сестра принесла кальций. Старик отказывается, но робко.

Сын прикрикнул:

— Пей все, что дают.

Старик выпил смиренно.

Уже скоро ужин. Пора уходить, но они все еще деликатничают «согласно морального кодекса».

Лицемеры!

1964 г.

ГАТОВ

Любопытен Гатов. Был ли он всегда таким многословным, или это уже от старости. Память у него огромная, ясная, ему бы сейчас мемуары писать, а он все растрачивает на разговоры.

В столовой мы за одним столом. Он всегда приходит первым. Не успею я усесться, он уже начинает, как Швейк: «В 1916 году встретился мне однажды...»

1965 г.

О ЮРИИ КАЗАКОВЕ

26 февраля 1964. Читаю Казакова Юрия: сборник «Голубое и зеленое». Нет в его живописных рассказах ощущения эпохи, ее трагизма. Должно быть, он сознательно уходит от всего.

28 февраля 1964. Дочитываю Ю. Казакова «Голубое и зеленое» — сборник рассказов. Художник великолепный, но трагизм времени нашего почти не проникает в книгу.

12 ноября 1965. Перечитываем рассказы Ю. Казакова: сборник «По дороге». Я снова и два раза подряд прочитал «Кабиасы». Этот рассказ и еще «Трали-вали», да, пожалуй, многие — вероятно, всегда будут вызывать у меня зависть и восторг.

А «Кабиасы»-то ультрасовременный рассказ. Чего ж я молол, будто почти весь Казаков, при всем его художественном великолепии, находится где-то в начале XX века или в конце прошлого столетия.

О ЧЕРНОЙ БАНЕ

А черная баня — чем она плоха?

Жару в ней — сухого, вольного — хватает на весь долгий зимний вечер, на всю большую семью, а то и на две. Правда, вместо печки в ней каменка без трубы, и дымом и чадом прокопчены не только потолок и стены, но даже и пол, и табуретки, и скамьи. И вода греется не в котле, а в деревянных бочках и ушатах при помощи раскаленных камней. Но чем такая вода хуже воды из котла? Нагревается она тоже до кипячения. И если перед мытьем вытаскать из воды все камни и дать ей отстояться, то такая же она станет чистая и мягкая, а может, еще лучше.

Разговор с матерью.

— Баню-то замкнула?

— Неуж-то я забыла перекстить? — и она вместо петли или замка широко и старательно перекрестила дверь бани.— Ну, теперь пойдем, басловясь.

1965 г.

ПРОСТРАНЩИК

Утром сходил в баню. Там новые под черным стеклом надписи. Банщик всюду называется *пространщиком.*

Спрашиваю банщика:

— Что значит пространщик? Новое слово какое-то.

Банщик отвечает:

— Это значит, что я вас обслуживаю, могу полотенце дать, веник. Вот и пространщик (выговорил он с трудом).

— А кто выдумал такое слово?

— Ну это уж сверху. В Моссовете будто бы!..

— А банщик — разве обидно?

— Почему обидно. Банщин он банщик и есть.

— А пространщик что означает?

— Это и есть банщик.

— А почему пространщик?

— Какой-то вы, гражданин, бестолковый. Пространщик — это значит я обслуживаю вас, номерки принимаю, билеты, место даю, могу предложить веник, полотенце. Вот значит пространщик.

Так мы ничего и не поняли оба.

1965 г.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Начало, леший водит по лесу.

Земля: животноводство — удобрения — урожай.

В личных отношениях: тот же заколдованный круг.

Лагерь был средоточием злых сил. Его закрыли, но ничего на этом месте другое не прививалось. И пришлось снова открыть лагерь.

Это все в виде сказки.

Был монастырь. Была красивая веселая жизнь, малиновый звон, престольные праздники и гулянья. Сбитень. Стены вырастали прямо из воды. Въезжали в сказку по озеру на лодках, устланных домоткаными половиками и коврами. Деревни кругом процветали.

Налетели злые силы, превратили остров в тюрьму: будки с пулеметами, колючая проволока поверху стены. Купола снесли.

Деревни вокруг захирели. В одной осталась только «бабаяга». Карлинки — деревня, но все люди в ней служат где-то,

значит, и деревни уже нет. Крестьяне обслуживают лагерь — это их новое дело в жизни. Опилками засыпали трясину. Все превратили в трясину. Рыба дохла.

Но вот злые силы рухнули, и остров освободился. Что от него осталось — красоты никакой.

И никто не знал, как вернуть старую жизнь острову, для каких надобностей его приспособить.

Кролики дохнут. Куры тоже. Птицы от острова улетают, звери с него бегут — от каждого камня кровью пахнет. Свинарник открыли — свиньи погибли в трясине, закиданной опилками. Остались собачники, колючая проволока даже на кустах, а не шипы на шиповнике.

Люди, бывшие крестьяне, остались без работы: надзиратели, сторожа. Собак распустили, они прижились в деревне, но народ не мог собираться в толпы, в праздничные колонны — они немедленно становились лагерными псами.

И на пустующий остров злые силы вернулись снова. Больше им никто уже не мешал, никто не сопротивлялся им,— даже странно это для них было и обидно. Казалось, исчезли причины кидаться на людей.

Но скоро они привыкли это делать и без причин, без поводов.

1965 г.

КОКТЕБЕЛЬСКИЕ КАМНИ

Драгоценная специфика и слава Коктебельского курорта — камни. В мире лишь два курорта с вулканическими полудрагоценными камнями — этот и еще где-то в Японии.

Сейчас камни Коктебеля из года в год вывозят десятки воинских грузовиков для строек. И никто не может запретить это варварство.

Специалист по камням огорчил нас своим холодным разбором коллекции сердоликов и агатов, словно раздел все камни. Прекрасный ферномпикс оказался простым «халцедоном в рубашке».

Как собирали: встать до света, первому пройти по берегу. Особенно важно успеть после шторма. Стиль ходьбы-поиска: быстрый, медленный. Сначала пройти быстро, потом уже копаться.

В Коктебеле было лишь два дома отдыха: Литфонда и «Медсантруд». Писатели ревниво оберегали свой берег. Шагинян кричала:

— Это наши камни, наш берег, вы чужие, зачем вы здесь?!

Коллекционеры ездили семьями. Лучшие камни ежегодно привозили в Коктебель, «на родину их», чтобы выдержать в морской воде, обновить... Кидались к каждому приехавшему с коробкой старых камней... Мастера шлифовки, «каменотесы» приезжали со своими станочками. Названия камней: сердолики, агаты, ферномпиксы, собаки, нефрит, зеленые... В какой бухте какие камни.

Могила Волошина. По камню на его могилу, другие — с нее.

Жертвы каменной страсти — камнеискатели, добытчики, камнеироходцы.

Между Лисьей бухтой и Козами, за бухтой Гагар, я бродил морем, собирая камни, а Посейдон выбросил мне обыкновенную чернильницу, как бы указывая на то, чем должен я заниматься.

1965 г.

ДЛЯ СЪЕЗДА

Литературное дело — не биржевая игра. Соображения конъюнктуры, спекуляция темой, именем своим, подыгрывание не всегда умным пожеланиям начальников могут привести лишь к временному материальному благополучию, но сама русская литература здесь ни при чем.

Пора вспомнить, что мы всерьез являемся продолжателями лучших традиций великой русской литературы, той литературы, которая называлась *совестью народа,* с которой считались все — слабые и сильные мира сего, на которую с надеждой взирали униженные и оскорбленные, к которой прислушивался весь читающий мир.

О чем выступить на таком важном съезде, за что ратовать, против чего ополчиться?

Литературная борьба. Каковы ее корни у нас? Не слишком ли мы много едим друг друга, именуя это литературной борьбой?

Подготовка писателя — дело общественное. На это уходит у государства, у партии много сил и даже средств. А загубить писателя дело весьма несложное. Стоит ему «отбить печенки» — и дело с концом.

«Бороться» проще, чем писать талантливо. Если для этого и требуется талант, то особого рода. Это не писательский талант. Есть люди, которые существуют в литературе лишь

благодаря тому, что периодически кого-нибудь изничтожают, свергают и как бы даже «разоблачают». А из-за них очень много по-настоящему талантливых людей надолго и часто выходят из строя.

Что выиграло наше государство от того, что некая литературная среда все время боролась с Пастернаком или, скажем, с Андреем Платоновым? Прошло немного времени, и уже появляется сомнение в правильности и в справедливости содеянного в отношении этих и многих других замечательных художников слова.

Писать надо больше. Гений — это труд, наконец,— это и количество.

1965 г.

О ЗАГРАНИЦЕ

О загранице надо бы писать тоже с полным презрением к цензуре, восхищаться всем, что восхищает, и думать только о правде, о том, чтобы полнее, точнее, не лукавя, передать свои собственные, свои личные впечатления, ощущения, переживания.

И проводить параллели, пусть даже не в нашу пользу: в конечном счете все должно пойти на пользу. Параллели по линии большого и малого, по линии экономики, быта, житейских мелочей, политической жизни, свободы мысли и разговора.

Сервис в гостиницах, в магазинах нас восхищает потому, что мы у себя понятия о нем не имеем, мы устали от грубости, от нерадивости, от незаинтересованности людей в том, чтобы другим людям было хорошо. А чины наши и у нас, у себя дома, окружены исключительным сервисом за счет государства — номенклатурным, раболенным, и потому их раздражает, что мы, бедные простые люди, попадая за границу, восхищаемся западным сервисом, который там все-таки для всех в основном одинаков.

1965 г.

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГЕРОИ

Вряд ли разумно в течение многих лет культивировать какого-нибудь одного литературного героя, да еще с использованием учебных школьных программ, всей многообраз-

ной системы пропаганды и агитации. От такого культа у живого героя мозги становятся набекрень, а выдуманный, литературный приобретает черты монумента, затвердевает, дубеет, перестает быть живым, которому хотелось бы подражать. В школе средней и высшей такое «бронзовое многопудье» начинают просто ненавидеть всей силой молодой души.

— Читай Толстого, Герцена, Успенского, пока проходить его не начали в школе.

Жизнь течет, герои меняются, представления о героизме так же претерпевают значительные изменения. Например, героический поступок Павлика Морозова для многих давно уже перестал быть образцом нравственной чистоты, а мы все еще активно внедряем его в сознание новых молодых поколений, и уже едва ли не в административном порядке. Есть литераторы, которые до сих пор зарабатывают хлеб свой на имени Павлика Морозова, пишут пьесы, сценарии. Нечистый это хлеб, неправедный, много в нем примесей — дубовой и всякой иной коры и дуранды.

Время поправляет наши представления о герое, но, к сожалению, не всегда вовремя, часто с большим запозданием. К сожалению, сказывается такое и на литературном процессе. Мне думается, что только свободное творчество, не обусловленное кабинетными схемами, может приводить к подлинным находкам литературных героев.

Прошло пристрастие к героям с обязательной физической ущемленностью, совершающим свои подвиги в борьбе с какими-либо недугами, недостатками, героям, выделенным из общей массы людей какими-то обстоятельствами, ущербинкой.

Верность своей главной теме, данной с детства,— вот наиважнейший путь к созданию литературных героев, типов. Колхозник бежит из колхоза, писателю бежать некуда.

1966 г.

ВСТРЕЧА

Человек идет полем по снежному насту легко и весело. Наст поднимает его, и человек на этом чистом, белом, уже не зимнем просторе кажется непомерно высоким. Издали он похож на Христа, шагающего по морскому, сверкающему под солнцем заливу, — прямой и легкий. Но вот человек по пояс проваливается в снег, и евангельское видение исчезает.

Николай Михайлович узнает в маленьком человеке, с трудом выкарабкавшемся на дорогу, своего сверстника, Александра Андреевича, неугомонного и неутомимого рыбака.

— С реки?— спрашивает Николай Михайлович.

— С реки. Лед двинулся. За сеткой бегу. Сейчас самое время рыбу сочить.

— А я на реку.

— Сходи, сходи. Ружьишко бы взять надо, утки прилетели. Ну, я тороплюсь.

Они разошлись: Николай Михайлович пошел под уклон по дороге, Александр Андреевич — заспешил в гору, опять прямиком по снежной целине, изредка проваливаясь.

1966 г.

* * *

Вспоминаю о своих первых выходах на охоту в ранней юности, с Михаилом Алексеевичем. Любой лес, в который мы заходили, даже в 200—300 метрах от деревни, мне казался огромным и жутко таинственным, жди от него чего хочешь.

1966 г.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

1. ДОМОВОЙ — он добрый, а все же страшно...

Попробуй не поверь в него,
Когда втолковывают с детства,
Что с ним не избежать соседства,—
Он переходит по наследству,
Считай, от деда самого.
Чуть сруб под крышу подведут,
А домовой уж тут как тут.

Ни в Вологде, ни в Днепрянах — без домового никуда.

В Днепрянах встретили меня добром. Всё в моем распоряжении: и удочки, и виноградник. Только злющий пес все старается вцепиться в ляжку, все налететь прицеливался сзади. И если бы цепь не коротка была, не знаю, что со мною стало бы. Я старался задобрить и калачом, и колбасой. Схватит кусок — потом за руку.

Наумовна за что ни весть любила пса, но тоже злилась:

— Цепной, так он цепной и есть. Не образумишь, не сго-

воришься. Все будто с цепи сорвался.— Наумовна неутолимую собачью злость ценила...

— А вы его спустите с цепи, быть может, подобреет сразу.

Я спускаю пса на ночь с цепи в сад. Он — в сад, будто с цепи сорвался. Не выхожу из комнаты. Но я забыл закрыть окно... И вот ночью просыпаюсь от того, что кто-то мне целует щеку, лижет руку. Со страхом открываю глаза и вижу у постели цепного пса, счастливого, что он свободен.

Довольный, что в споре я победил, утром рассказываю Наумовне, как пес меня благодарил. Но я ее ни в чем не переубедил:

— Це ж домовой был, и коли облизал он вас, то значимо принял — признал и принял в свой дом — вы хороший.

2. ВОДЯНОЙ. История со щукой в озере около мельницы, где живет водяной. Рыба с крыльями — водяной. Поймали ее, а на ней орел, вонзивший в нее когти.

Ночная заводь. Луна тянет сети — рыбы-то сколько. В ночной заводи не спят только водяные. Рыбы спят.

3. БЕЛАЯ БАБА. Отчим в зимнюю полночь пошел на поветь, чтобы скоту в ясли сено сбросить. Взял вилы и видит перед собою белую бабу. Проколол ее вилами, она охнула и упала.

Это была нижняя рубаха матери, повешенная на веревку после стирки и замерзшая с раскинутыми рукавами.

А домовой, да лесовой, да водяной неразделимы, и с ними лучше в мире жить. Заодно вся нечистая сила — попробуй с нею сладить.

1966 г.

ГОСТЬ

Гостя встретил у конторы правления сам председатель колхоза:

— Милости просим, Станислав Ильич, давно ждем вас.

— Вы знаете мое имя?— обрадованно удивился гость.

— Как же! Из района звонили, просили оказать содействие, говорят, отдохнуть приедет: Станислав Ильич.

— Спасибо.

Райкомовский шофер выставил из «газика» два чемодана, небольшой этюдник, лыжи, ружье в чехле.

Под ногами приятно хрустел снежок.

— Избу для вас приготовили теплую, светлую,— продолжал председатель,— окна от пола до потолка, как в городе. В такой избе и порисовать можно, ежели что... Отдыхайте у нас, это можно. Вот с ружьишком пока рановато, тоќов еще нет, разве что на лунках тетеревов попугаете. Зато у нас озеро рядом, сейчас рыба на струю пошла, кислороду не хватает.

Станислав Ильич осмотрелся, щурясь от яркого мартовского снега. Деревенька в несколько домов на бугре до крыш завалена рыхлыми сугробами. На улице перед избами снег, поля — слошной снег на все четыре стороны, а вокруг полей темный ельник, и лишь в одном низком месте среди темного ельника широкая, белая и круглая, будто свадебное блюдо с пирогом, поляна, тоже снежная,— значит, это и есть озеро.

— Могу и с охотой вас и с рыбкой свести, что больше по душе, любители у меня есть. Вот только, смотрю, лыжи у вас узковаты, не для наших снегов.

— Да, лыжи не охотничьи,— только и сказал гость.

Станислав Ильич был бородат, волосат, сутуловат,— не поймешь, стар или молод, и совсем не походил на горожанина. Зато опрятный, чисто выбритый и легко одетый председатель рядом с ним выглядел совсем юношей, тоненьким студентом, приехавшим в деревню на каникулы.

Подходили к конторе еще несколько мужиков, и у тех ни одной бороды. Получалось, будто настоящим-то деревенским мужиком был один приезжий художник, а все остальные — горожанами.

Ночью Станислав Ильич спал плохо, прислушивался к свисту и вою ветра в трубе и на улице, к шороху мышей за отклеившимися обоями. Его не обманули — в избе было и тепло, и сухо, не ощущалось обычного для деревенского жилья кислого запаха пеленок, ушата с помоями или курятника под шестком, и спать бы ему здесь да спать спокойно, но тяжкие городские тревоги и думы еще не оставили его — спалось плохо.

Утром он чувствовал себя старым, больным, без всякой любви к жизни.

1966 г.

СОСЕД

Ко мне изо дня в день приходит сосед, не стучась открывает дверь, кряхтя опускается на лавку либо поближе к столу, если на столе самовар или обед, либо у порога, когда хочет покурить, и сидит по часу-два. Почти всегда говорить ему не о чем.

— Подумать только, вот, к примеру, рыба тоже живое существо, вынешь из воды, она и умирает. Скажи пожалуйста — природа!

Он может молчать подолгу, либо если и говорит, то не часто, не много. Просто потому, что ему не о чем говорить.

— Вымылся?

— Хорошо вымылся.

— А с веником?

— С веником.

— Я всю жизнь веника на себя не поднимал.

— Нет, я с веничком люблю.

— А жена у меня, Марья, тоже с веником любит. Так себя выхвощет, что хоть скорую помощь вызывай.

Про все новое прежде всего спрашивает:

— Сколько стоит-то транзистор? Ну и деньги нынче пошли, хитрые! А лыжи сколько?

— Восемь рублей.

— Восемь рублей! — удивляется он.— За что? Где их возьмешь — восемь рублей! — Хотя покупает пол-литра за три рубля, а иногда сразу два за шесть рублей и не жалуется, что дорого. Водка — это неизбежность, от нее никуда не скроешься!..

Я хвалю пейзаж:

— Взгляните-ка сюда, вот мимо стогов, мимо сена.

— Ну? Какие уж тут стога, больше снегу, чем сена.

— А красиво?

— Ничего, баско, будто на картинке.

1966 г.

РАЗВЕ ЧТО...

— Мне там, на вечере, делать нечего, разве что повидаться с К. С.

И вот — вечер. И его затягивает пустота, болтология,

и весь вечер уходит вхолостую. Подходили друзья-собутыльники, одни, другие — всё как будто интересно и всё ни к чему. Пропал вечер.

А надо работать, работать. Надо блюсти свою сосредоточенность, свою творческую тишину.

1966 г.

* * *

В западок попал поползень и, нисколько не испугавшись, начал набирать полный клюв хлебных белых крошек. Пока я завтракал — западок с поползнем стащила с подоконника кошка.

Выпустил поползня. Он сразу запел на лету. Сел на высокое дерево — дуб — и долго радовался, чирикал.

Второй попал — то же, прежде всего набирает в клюв крошек, улетает — поет.

1966 г.

НА ТОКУ

Выжидал, не трогал первого петуха.

Тетерка села на шалаш, так хотелось цапнуть ее за ноги — удержался. На другое утро опять пляшет один петух, только один. Чуть подальше — другой ток, там несколько черных пятен. Здесь — один. Зачем вредить природе...

И вдруг налетел тетеревятник, сгреб петуха и унес.

Вот и весь рассказ.

1967 г.

* * *

Живет в городе человек, занимает пост неслышный и сам ведет себя тихо. А когда-то он гремел.

— Сей!

— Рано, Николай Семенович, заморозки, климат.

— Климат подчиняется большевикам, у нас ничего нет беспартийного.

Боролся с религией. «Святое место» вместе с соснами приказал за ночь залить мазутом. Паломничество только усилилось: за другую ночь народ слизал весь мазут.

1967 г.

* * *

В детстве я не думал, что мне придется и умирать. Больше того,— что когда-нибудь я буду стариться. Думать об этом теперь так странно.

А когда учился, я не представлял, как это я буду работать. Не представлял себе, что у меня может слабеть память. Как это можно не хотеть вина, не рваться на войну, не убивать птиц, жалеть деревья...

Слава богу, я еще не разучился любить.

1967 г.

ХРАНИЛИЩА

Сколько их, детинцев, на Руси! Кремли: в Новгороде, в Казани, в Рязани, в Москве, в Вологде... Ярославль, Суздаль, Переславль-Залесский, Владимир...

Монастыри-крепости: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Симонов, Троице-Сергиев, Новодевичий, Ферапонтовский...

Земляные валы: Белозерский, Дмитровский.

Башни: Сухаревская. В Таллине — Длинный Герман, Толстая Берта.

Ворота: Красные, Мясницкие. Золотые ворота — Владимир, Московские ворота — Ленинград. Триумфальные ворота.

Углич, Великий Устюг, Соловки, Нижний Новгород, Боголюбов, Кижи...

Срыли, снесли многие стены, многие башни, монастыри, кремли.

Зачем башни, ворота?.. Только для красоты?..

И строятся, роются подземные убежища, подземные ангары, атомные хранилища.

О человечество! Чудны дела твои!

1967 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ

ЯШИН Александр Яковлевич

ЗЕМЛЯКИ

Повести, рассказы,
из дневника писателя

Редактор *М. И. Вострышев*
Художник *В. В. Шорц*
Художественный редактор *О. Г. Червецова*
Технический редактор *В. И. Тушева*
Корректоры *Т. М. Воротникова, Т. Г Люборец*

ИБ № 5267
Сдано в набор 22.04.88. Подписано к печати 01.03.89 А 04152. Формат 84x108 $^1/_{32}$.
Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2.
Усл. печ. л. 31,08. Усл. краск.-отт. 31.82. Уч.-изд. л. 34,31. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 935. Цена 2 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское ш., 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

2 р. 40 к.

«Современник»

